ЛЕОНИД
ЛЕОНОВ

6

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ ШЕСТОЙ

(Дополнительный)

РУССКИЙ ЛЕС

РОМАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1955

РУССКИЙ ЛЕС

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Поезд пришел точно по расписанию, но Вари не оказалось на перроне. Кое-как перебравшись с багажом в сторонку, Поля долго искала в толпе это исполнительное и доброе существо, милейшее на свете после мамы.

Конечно, ее задержала какая-нибудь беда или заболевание... но что могло случиться со студенткой в Советском государстве, где, кажется, самая молодость служит охранной грамотой от несчастий? Какая хворь пристанет к двадцатилетней девушке, еще недавно дальше всех толкнувшей ядро на межрайонном спортивном состязании? Верно, забыла завести будильник с вечера и сейчас, расталкивая пассажиров и чужую родню, мчится по вокзалу, чтобы с разбегу обнять свою подружку... Однако уже и схлынула обычная по приходе поезда суматоха, а Вари все не было.

Поля решила своими силами добираться по записанному на бумажке адресу. И сперва ей никак не давался чемодан с оторванной скобкой, а потом выяснилось, что не хватает рук на узелки и свертки: так всегда бывает, когда провожают четверо и не встречает никто. Она растеряла бы половину вещей, если бы откуда-то сверху не свалился к ней чумазый паренек с комсомольским значком на спецовке,— явно не носильщик. Повесив через плечо спальный саквояж и мешок с шубкой, накрест перехваченный веревкой, он вскинул чемодан подмышку и двинулся по

опустевшему перрону так обыкновенно, словно это повторялось у него изо дня в день. Привыкнув к маленьким удачам, сопровождавшим ее всю дорогу с Енги́, Поля молча покорилась чудесному вмешательству.

Благодетель попался на редкость неразговорчивый, и, с одной стороны, это было неплохо, так как чудеса всегда тускнеют от объяснения, а с другой — все же полагалось ему, хотя бы из учтивости, справиться если не об имени ее, то по крайней мере о цели приезда в столицу, тем более что Поле не терпелось поделиться с кем-нибудь планами жизни на ближайшие сто — двести лет. Чуть забежав вперед, она извинилась за подвязанный к саквояжу чайник, потому что он бил по колену и бренчал крышкой, выбалтывая свои провинциальные новости, но молодой человек сдержанно успокоил Полю в том смысле, что и в старину бабушки ездили в Москву со своими самоварами. Выйдя же на улицу, заметно в испарине, он уже сам осведомился у спутницы, не дровец ли, или бутового камня прихватила она с собой в качестве гостинца столичной тете. Пока онемевшая от его дерзости Поля сбиралась выпустить ответные коготки, они уже добрались до троллейбуса.

Теперь чудеса пошли так густо, что и не различишь, где кончалось одно и начиналось другое. Голубой сверкающий вагон на воздушных колесах и с предупредительно распахнутой дверцей поджидал Полю у остановки. Не успела войти, билет взять, как ее багаж сам собой разместился внутри, и, несмотря на переполненье, даже нашлось местечко у окна, приспущенного из-за жары. Поле не хотелось уезжать, не отплатив по заслугам молодому человеку, и троллейбусное начальство тотчас предоставило ей время для беглого сведения счетов.

— Скажите, пожалуйста, сколько я вам должна за этот ваш... ну, подвиг? — спросила она через окно, с притворно-озабоченным видом роясь в стареньком мамином кошелечке.

Паренек поднял глаза, и вначале Полю поразило его удивительное сходство с Родионом: они у него были такие же строгие, зеленоватые, с задорными искринками на донышке — и та же подкупающая привычка глядеть прямо в лицо при ответе. Правда, этот был моложе и ростом чуть пониже ее приятеля; лишь копоть да рабочая одежда придавали ему видимость старшинства, а на деле, если бы

его помыть немножко, он оказался бы разве только на годок старше Поли, совсем мальчишка, видимо из щегольства решивший не улыбаться никогда. Нет, этому далеко было до Родиона; тот не посмел бы с первого раза потешаться над малознакомой девушкой, несколько оробевшей от счастья, как и должно быть при исполнении желаний.

— Ровно ничего! Просто меня губит любопытство... наблюдать из будки и жалостливое сердце ко всем, попавшим в безысходную беду...— невозмутимо отозвался благодетель.— Я кочегар на паровозе, который вас привез в Москву.

Тогда, не умея изобрести чего-нибудь поядовитей, Поля посоветовала ему торопиться назад, а то вокзальные жулики уведут у него паровозишко, пока он ухаживает за незнакомыми девицами, и ему придется тысячу лет выплачивать из жалованья. Склонив голову набочок, молодой человек сочувственно кивал на ее жалкие потуги мести, пока она сама не покраснела от бессилия и досады. По счастью, водителю удалось, наконец, накинуть на провод соскользнувшую дугу. Машина плавно тронулась в путь, и Поле сразу стало легко и радостно от солнышка, от встречного ветерка, от обилия заманчивых приключений, ожидавших ее в будущем, а в душе на все лады пелась любимая ее поговорка, эпиграфом надписанная в дневничке: «И вот былинку понесла река!»

Лишь теперь Поля с удивлением приметила, что все ее новые попутчики чему-то улыбаются с такими осветленными лицами, словно слушают перекличку ранних птиц в лесу, еще обрызганном росою. Никто не смотрел в полину сторону при этом, но, значит, каждому из них уже известны были ее безоблачные обстоятельства и благороднейшие намерения, тем в особенности завидные, что все у ней было впереди... Видимо, всем, от кондукторши до сурового усача в разлетайке и черной стариковской шляпе, может быть, профессора из того учебного заведения, куда собиралась поступать Поля,— всем им было лестно, что такая привлекательная девушка, как Аполлинария Вихрова, отныне поселится в их превосходном городе и станет вникать в разные полезные науки на радость маме, Ленинскому комсомолу и всему их великому отечеству. Так что едва Поля осведомилась вполголоса про Благовещенский тупичок, где проживала Варя Чернецова, все

наперебой и даже немножко ссорясь, принялись объяснять ей дорогу, причем, так совпало ко всеобщему удовольствию, две полины соседки ехали в ту же многоэтажную новостройку, потому что работали как раз во дворе дома 8-а, в швейной мастерской, а профессор, оказавшийся смотрителем чего-то, имеющего почти оборонное значение, даже и квартировал там, в деревянном особнячке наискосок... Словом, чуть ли не каждому в то утро оказалось с Полей по пути.

Все четверо они вышли на остановке и двинулись по солнечной стороне, добросовестно поделив полину кладь. Присмиревшая, подавленная великолепием московской улицы, Поля шла посреди, едва ступая, словно боялась повредить какое-нибудь всенародное имущество и стараясь запоминать подробности для вечернего отчета маме, на Енгу́. Слепительный милиционер придержал поток машин, пока шествие перебиралось через перекресток; наряднейшие здания мира высились по сторонам, и из всех, сколько их там было, распахнутых окошек гремела одна и та же торжественная радиомузыка с единственно возможным названием — *приглашение к жизни.* В то лето вдобавок было ужасно много цветов: на любом углу — в киосках, на лотках и прямо с рук — продавали целые копны цветов с необсохшей влагой на срезах, окутанные облаками душистой утренней свежести... Но почему-то всякий раз при этом Поля торопилась пройти мимо, ревниво прижимая к груди сверток в серой бумаге, единственную ношу, не доверенную никому.

Профессор в разлетайке, лихо возглавлявший шествие, повернул направо и потом еще раз вправо, в прохладную, поросшую травкой улочку с домиками под ленивыми, расклонившимися деревьями, каким положено расти только на окраинах. Здесь весело кружился тополевый пух, запоздалая в тот год летняя вьюга, и маленькие местные жители самозабвенно ловили этот волшебный, невесомый снег, а ветерок сдувал его с доверчивых детских ладошек, и, пожалуй, весь смысл жизни в том и заключался, чтобы снова с криками гоняться за ускользающими хлопьями. Если бы не дети, было бы там совсем пустынно, так что событием пришлось бы считать одинокого велосипедиста, который, посверкивая зайчиками, проехал в глубь тупичка. Вчерне законченный восьмиэтажный дом возвы-

шался в этой мирной житейской заводи. Поля озабоченно взглянула вверх, где под самой крышей обитала ее Варя, и вдруг, в довершение чудес, оказалось, что лифт после длительного простоя начал работать как раз в то утро.

— Вот спасибо вам!..— на прощанье сказала провожатым Поля и поклонилась им с особым чувством, как если бы перед ней находились не просто попутчики, а доверенные представители доброго и умного человечества.— Мы теперь соседи, так что еще непременно увидимся и поговорим обо всем... правда?

Квартира была не заперта, но никто не выглянул на шум, пока Поля по частям втаскивала в прихожую свои пожитки. Она перевела дух и прислушалась. Где-то в глубине глухо посвистывал сквознячок и капала вода с прозрачным звуком. Несколько дверей, иные под замками, выходили в полутемный коридор. Поля постучала наугад в первую налево, и женский голос разрешил ей войти.

Опрятная пустоватая комната смотрела на солнечную сторону; через настежь раскрытое окно вся она была залита резким, почти кварцевым сияньем неба. Сидя на детском стульчике, женщина чинила вздетый на руку шелковый чулок. Вороха цветного трикотажа лежали на фанерном рабочем столе перед нею и прямо у ног, сваленные как попало. Работа была изнурительна, а женщина уже пожилая, но ей нравилось ее ремесло, потому что заказов было много и, кроме хлеба, они доставляли сознание полезности, необходимое для осмысленного существованья. Когда-то она была хороша собою; тугой жгут почти белых волос, по-старомодному уложенных валиком, венчал ее чистый, очень выпуклый лоб. Поле почудилось, что не раз встречала эту женщину в компании таких же чопорных, седовласых стариков,— кажется, на колоде карт.

— А, помню: вязаный мужской жилет... вашего отца? — для верности переспросила женщина и, приоткинув картонный козырек со лба, мельком и близоруко взглянула на гостью.— Да, я смотрела его и держусь прежнего мнения. Против судьбы не пойдешь. Он отжил свое, остается лишь распустить его на нитки.

Жесткая окончательность диагноза не допускала ни расспросов, ни возражений, и хотя происходило явное недоразумение, у Поли почему-то сжалось сердце.

— Вы, наверно, ошибаетесь. Я только что приехала. Мне Варя Чернецова нужна...— пояснила она внезапно пересохшими губами.

Женщина снова оторвалась от работы:

— А, знаю... Вы та самая девушка из провинции... простите, с периферии,— поправилась она по моде века, стремившейся уравнять всех граждан, чтоб никому не было обидно.— Товарищ Чернецова скоро вернется, ее срочно вызвали в районный комитет Коммунистической партии,— прибавила она, и почему-то в ее устах это прозвучало в особенности внушительно и непривычно.— Присядьте... если только вы богаты временем. Через минутку я покажу вам, где она прячет ключ... а то у меня петля соскочит.

— О, пожалуйста... уж в этом-то отношении я богачка! — задорно улыбнулась Поля, и действительно, первым впечатлением от нее было — будто привезла с собою свежий прохладный воздух и уйму просторного и, не в пример городскому, дешевого времени, как другие везут из деревни масло или небеленый крестьянский холст.— Мне хоть и сто лет нипочем!

Тогда женщина попросила Полю подойти ближе.

— Какая вы еще молоденькая! — вскользь заметила она.

— Ой, что вы...— зардевшись, отмахнулась Поля.— Это я только выгляжу моложаво, а мне уж скоро восемнадцать стукнет.

— И когда же это вам восемнадцать... стукнет? — раздельно и не спуская с нее прищуренных глаз, спросила женщина.

Выяснилось, что до совершеннолетия оставалось всего два часа девять минут и — тут Поля справилась по серебряным часикам, подарку матери после окончания школы,— и три секунды. Она стала горячо доказывать, что восемнадцать не так уж мало,— «вон Дарвин в ее возрасте уже доклады делал, а Герострат, к примеру...» По ее убеждению, свою знаменитую истину древний философ мог открыть лишь в детстве, когда босыми ногами бродил по гальке древнегреческого ручейка, а вот она, Поля, сколько ни бродила по лесу, нарочно забираясь в дебри поглуше, ничего путного пока не изобрела. Отсюда вытекало с очевидностью, как много предстоит ей сделать,

чтоб не осрамиться перед лицом своего народа и внести что-нибудь свое и новенькое в сокровищницу человеческой культуры, несколько подзапущенную, как она намекнула, по вине мирового капитализма.

— Наверно, вы Гераклита имели в виду? — осторожно поправила женщина с чулком.

— О, конечно... я их всегда немножко путаю. Да еще, говорят, какой-то Геродот был вдобавок?.. это который же из них церковь-то спалил? Извините, я вас все от работы отрываю...— Тут Поля смутилась и стала извиняться за свою неуместную говорливость.

— Нет, все это очень интересно и важно очень...— в раздумьи сказала женщина, и было похоже, что она радуется вынужденной передышке в работе.— Продолжайте, прошу вас.

— Да уж все! — еле слышно призналась Поля.

Женщина не сразу склонилась над своим чулком; кажется, еще и еще хотела слушать наивную, противоречивую музыку полиной болтовни.

— Впрочем, если вам скучно со мною, девочка, возьмите книжку с комода...

— Ничего, я и так посижу, мне все равно надо еще привести в порядок разные свои там... ну, мысли и впечатления! — шепнула Поля.

После томительного уличного зноя приятно освежал горный сквознячок восьмого этажа. Присев на краешек чего-то, служившего вместо кресла, Поля огляделась украдкой. Главное место было отведено детской, стерильной чистоты, кроватке с тумбочкой возле, где, кроме недопитой чашки молока, лежали сложенные по ранжиру и на бочок три заласканные до глянца матрешки. В гораздо меньшей, правой половине, за китайской ширмой, сгрудилось все остальное, нужное для жизни и добывания хлеба, между прочим — манекен на деревянной ноге, во весь рост отразившийся в старинном зеркале меж двух резных колонок. С тех пор как сквозная, непоправимая трещина раздвоила его во всю длину, вещь эта относилась скорее к разряду семейных реликвий, чем мебели.

Слегка подавшись вперед, Поля заглянула в зеленоватое, потускневшее стекло и догадалась об источнике своих удач и чудесных совпадений на протяжении последних суток. Из овальной ореховой рамы на нее глядели,

две сразу, забавные провинциальные девчонки лет по пятнадцати, с беспричинно сияющим взглядом и до такой степени обгоревшие на енежском солнцепеке, что и кожа и кофейной раскраски платье совершенно сравнялись по цвету. Ясно, подобное существо и шагу не могло ступить незамеченно в таком глазастом городе, как Москва. И значит, все они, кто потчевал ее в вагоне дорожной снедью, бегал для нее за кипятком на станциях, чтоб не отстала от поезда, кто в десяток рук втаскивал ее багаж в троллейбус и потом провожал до варина тупичка,— все они жалели ее той особой, не обидной, чуточку даже эгоистичной жалостью, какою простые люди возмещают горький пробел в своем собственном безрадостном детстве.

— Вы бывали прежде в Москве? — продолжая работу, спросила женщина.

— Я и родилась здесь... но четырех лет меня увезли в лесничество.

— Ваш отец служит в лесу?

— Нет, он здесь, он состоит...— почему-то замялась Поля,— ну, лесным профессором!

— Значит, вы живете врозь с отцом?

— Мама разошлась с ним, когда я была маленькая совсем. Он даже довольно известный, имеет много специальных трудов, только... человек он оказался плохой.

— Кто же посвятил вас в историю семейного разлада, мать?

— А никто.

— Тогда почему же вы думаете, девочка, что он плохой человек?

— А потому... потому что мама хорошая! — возвысила голос Поля.

И дальше не могла остановиться, пока не выплеснула всего, что, подобно илу, отстоялось на душе. Получалось одно к одному, что и наука его скучная и профессор он, надо думать, неважный: не зря же то и дело хлещут его в лесных журналах за то, что из-за деревьев леса не видит. Ладно еще, что подружки этих статеек не читают, а то затравили бы Полю насмешками да допросами, на какой помойке ухитрилась себе такого родителя подобрать.

— Его Иван Вихров зовут... не слыхали? — назвала, наконец, Поля и с робкой надеждой подняла увлажнившиеся глаза.

Судя по тому, как оживилась вдруг женщина с чулком, ей, видимо, известно было это имя. Да, в молодые годы в Петербурге она встречала одного молчаливого студента с такой фамилией, тем лишь примечательного, что был он, помнится, кухаркин сын... Мельком, чтоб не слишком огорчать свою собеседницу, женщина помянула также, что наслышана и о вихровских неудачах от одного из своих знакомых того же петербургского периода,— гораздо более удачливого, даже процветающего ныне лесовода... И тучка грустного, нежелательного воспоминания набежала на лицо женщины с чулком. В противоположность Вихрову и в опровержение полиного мнения о людях лесной профессии этот человек отличался, по ее словам, на редкость живым, хоть и несколько озлобленным умом, придававшим особый блеск его общепризнанному дару даже слишком уж беспощадного анализа. Но, значит, в таких и нуждалась эпоха, если именно ему доверили вести критические обзоры в специальных изданиях, высказывать руководящие соображения, разоблачать ереси и ошибки своих товарищей.

— Этот человек — тоже профессор, и, сколько мне помнится, он рассказывал мне кое-что о Вихрове. Впрочем я слишком далека от лесных дел и распрей...— сдержанно заключила она.

— Вы можете говорить со мной откровенно. Я ненавижу моего отца... Так что же он сказал?

Непоправимое горе светилось в глазах у Поли, и с одной стороны нельзя было не пожалеть это кроткое провинциальное создание, вынужденное расплачиваться за родительские грехи... но, пожалуй, еще хуже было бы обидеть его неправдой.

— Я держусь правила никогда не лгать детям. Не хочу огорчать вас, девочка, но... это была не очень лестная и даже сердитая оценка.

— Да, мне тоже попадались его статьи,— покорилась своей участи Поля, наперед зная имя прославленного критика своего отца.

— На вашем месте,— милосердно продолжала женщина с чулком,— я утешилась бы сознанием, что, во-первых, у вас еще остается мать, а во-вторых... видимо, ваш отец все же немало потрудился в жизни, если привлек к себе перо и гнев такого выдающегося ученого. Милая,

не надо предаваться отчаянию: не всем же обладать талантами, а, судя по вашим семейным делам, этот Вихров вдобавок не без странностей?..

Тот же зловещий и неопределенный отзыв Поля неоднократно находила между строк в рецензиях на отцовские книги, причем, несмотря на различные подписи, иногда лишь инициалы, в их обостренном до резкости стиле легко угадывалось одно и то же авторство. Можно было любым образом объяснять существование Вихрова в лесной науке — великодушием эпохи или же, напротив, недостатком ее внимания к лесным делам, но этот сложившийся приговор уже не подлежал ни отмене, ни даже обсуждению, и лишь по наивности сердца, по бедности воображения, по незнакомству со строгими условиями века еще можно было рассчитывать на помилование.

— Но... этот ваш знакомый, он тоже долго в лесу жил? — наобум спросила Поля.

— Нет, по слабости здоровья и необходимости постоянного врачебного присмотра он почти не покидает города.

— Но, значит, он... издали предан лесу, сам пишет книги, если он все же... такой уж замечательный знаток?

Женщина с чужим чулком на пальцах должна была объяснить это мнимое противоречие.

— Дело в том, девочка, что он не совсем лесник... Я бы скорее назвала его просто выдающимся деятелем в этой области. И вообще — это человек большой трагической судьбы и разнообразнейших дарований... в юности близкие пророчили ему будущность поэта или музыканта. О, вы еще не знаете, милая, как судьба склонна посмеяться над нашими планами! Нет, я не скажу, чтобы он был очень привязан к лесу, хотя, бывало, часами бродил по парку, приезжая к нам в именье... Впрочем, это было совсем небольшое поместье, скорее просто так, старинная хижина с колоннами,— быстро поправилась она, приметив ревнивое и пристальное полино любопытство.— Кроме того, талантливому критику и не обязательно все знать или уметь самому, его дело в общем наблюдении. Во всяком случае у него достаточно вкуса и культуры, чтобы судить о деятельности других: что хорошо там, что плохо. Вот уже лет восемь подряд из-за всяких общественных нагрузок он не имеет возможности закончить... я не

помню темы... но один очень такой фундаментальный труд. К сожалению, у меня крайне плохая память на эти вещи,— неожиданно прибавила она, как бы отстраняясь от окончательного суждения в таких сложных и запутанных проблемах.

— А скажите, этот человек... он не родственник вам? — тихо и как-то в особенности настоятельно спросила Поля.

Вопрос был явно неприятен этой женщине. Нет, она не состояла с ним в родстве, а просто однажды в молодости, проходя мимо, они ненадолго приметили друг друга. Да и дружба-то их, если позволено назвать этим словом мимолетные отношения тридцатилетней давности, распалась еще до революции, и теперь они встречались совсем изредка, главным образом на улице, хотя та же насмешница-судьба поселила их на старости лет в одном и том же доме, правда, в разных подъездах и этажах. Оказалось, что с годами при всех прочих сохранившихся достоинствах из порывистого, общительного юноши получился довольно холодный и нелюдимый в обращении человек... и Полю поразила смена оттенков, то горечи, то восхищения, то раздражительной досады — в том, как эта женщина отзывалась о главном судье ее отца, словно одновременно и жаловалась на него, и под защиту его брала, и проклинала за какую-то непрощаемую вину.

— Вы не скажете, как его зовут? — еще поинтересовалась Поля.

— Вы же сказали, что знаете... так зачем же вам это?

— Мне для точности, если только не секрет.

— Здесь и нет никакого секрета. Его знает вся страна,— вынужденно и уже не без гордости отозвалась та.— Ну, Грацианский... а что?

— Нет, ничего... я так и знала,— без всяких задних мыслей усмехнулась Поля.

Обе, пожилая и молоденькая, замолкли ненадолго. Вот так же, бывало, в дремучих енежских лесах прежних лет встречные настороженно расходились, стараясь проникнуть в намерения друг друга. Тем временем женщина с чулком припомнила поподробнее, при каких именно, ускользающих теперь, обстоятельствах она услышала впервые имя полина отца. Странно, прежде чем оживить в ней образ человека, довольно расплывчатый за

давностью той чуть ли не единственной встречи, оно сперва вызывало в памяти большую порцию малинового мороженого с вафлями, такого вкусного по жаре, и вслед за тем продолговатое, залитое праздничной публикой поле Коломяжского ипподрома в Петербурге, с облачком несчастья над ним, похожего на кратковременный дождик, и, пожалуй, больше ничего, кроме полурастворившейся во времени щемящей тоски. В тот самый день, попозже, близ шести, разбился известный летчик Мациевич, первая жертва русской авиации, а за час перед тем Грацианский представил ей, восемнадцатилетней девушке Наташе Золотинской, трех своих приятелей, *мушкетеров,* причем один из них принес мороженое на трибуны, где они сидели; видимо, это и был Вихров. Его товарища, длинного и басовитого, звали почему-то Большая Кострома. И, как песчинка или шевеление ветерка в горах, слово это привело в движение подтаявшую лавину стареющей памяти.

Сперва нужно было непременно удостовериться в чем-то:

— Боже мой, Вихров, Вихров!.. ведь я тогда как раз в вашем возрасте была. Ваш отец учился в Петербурге?

— Не знаю. Он женился, когда уже стал профессором, а я еще позже родилась. Он хромой...

— Вот не помню, хромых в этой тройке как будто не было, но... он потом был арестован и выслан на север, правда?

— Я никогда не задавала маме вопросов об отце, чтоб не причинять ей боли. Только однажды я спросила ее мельком... она смутилась и сказала: когда-нибудь ты все узнаешь сама... увидишь его и поймешь сама.

— Как же могло случиться, что ваша мать не проговорилась об этом ни разу, если все время вы жили вместе с ней?

Нет, они как раз не все время жили вместе: в Пашутинское лесничество к матери, где находилась ее больничка, Поля приезжала лишь на летние каникулы. Три последние зимы она прожила в семье у Вари Чернецовой, отец которой, Павел Арефьич, бывший уральский партизан, служит теперь ветеринаром при райисполкоме. Все дело в том, что в Шихановом Яму́, недалеко от лесхоза, имелась только семилетка, и потому среднюю школу Поля кончала в городке Лошкареве... ну, который при впадении

в Енгу шустрой лесной речонки Склани!.. Раньше, как и Шиханов Ям, это было просто богатое раскольничье село, но в революцию, после постройки текстильного комбината, его выдвинули в города и, по слухам, собирались также фабрику кинопленки строить, но, значит, получше нашли местечко. Оно, конечно, городишко не чета Москве: и улицы травой заросли и дома помельче... но зато воздух — хоть в бочках на экспорт гнать, зато необозримые заливные луга за Енгóй, и в половодье как отразится в них опрокинутая небесная ширь, то буксиришки с плотами как бы по облакам бегут. А в лесах лось и барсук, да и рысь видали, а незадолго до полина отъезда хитрущие тамошние мужики с Васильева Погоста притащили в лесхоз на жерди живого мишку, которого опоили медовой водкой из дуплянки, с вечера поставленной на заветной тропе. «Он сперва-то крышку лапой собьет, потом с урчаньем по земле катается, пчел по привычке давит, хоть и нету их, после чего приступает к самому пированью. Тут его сонного, пьяненького и берут, и он лежит, повязанный, оплакивает свою долю человечьими слезами...» И сама Поля слышала, будто в стародавние времена, пока не свели подступавшие с юга березовые рощи, соловьи в окна залетывали, прямо хозяйкам во щи! Старики же подревней доныне хвастаются, будто в бывалошнее время по высокому берегу — не то на полтораста километров, не то на четыреста, но уж никак не меньше восьмидесяти,— маленько не доходя до двинских болот, простиралась отборная корабельная сосна. Да и теперь еще в грозу, как поразойдутся, как заскрипят с ветром в обнимку енежские-то боры, как дохнут раскаленным июльским маревом, так даже подушки ночи три подряд пахнут горячим настоем земляники и хвои... Вот как у нас на Енгé!

Варя все не шла, а нельзя было обрывать рассказ в разгоне, как и песню на высокой ноте: только с птичьим щебетом и сравнить было звонкий полин голосок.

— Нет, мы на наш Лошкарев не жалуемся... Есть у нас и стадион побегать и дворец труда при кожевенной фабрике, а в городской библиотеке даже переписка Микельанджело имеется. И мы еще с седьмого класса клятву дали: как в люди выйдем, городка своего не забывать и каждый месяц слать в него хоть по книжке: у нас

комсомол дружный, строгий, грамотный... Правда, все у нас из дерева пока, в лесу живем, даже бронзы на памятник Ленину не нашлось... так мы отличный парк в честь его учредили. Уж шумит над головами, наш: ничего, бронза потом сама придет. А как сажали, то на каждом деревце всего по двадцать листочков было, а нынче... Вот мы все о будущем да о родине твердим, словно за горами они. А если б каждый всерьез подзанялся ею в радиусе шажков хоть на десяток вкруг себя,— и Поля пощурилась, мысленно умножая цифру π на квадрат радиуса круга,— да прибрал бы эти триста четырнадцать квадратных метров, как комнату свою, как рабочее место, как стол, где пища твоя стоит, да кабы приласкал землицу-то свою в полную силу, да хоть бы вишенку посадил, пускай одну за всю жизнь... Ой, чего можно за час в сто тысяч рук наделать! Вот я и хочу с письмом обратиться ко всему комсомолу, чтоб брали пример с нас, с лошкаревских ребят. Как вы думаете, напечатают?.. не сочтут меня за выскочку? — доверчивым шопотом осведомилась она.

Потому ли, что слишком много знала о жизни и о Грацианском тоже, женщина с чулком не решилась взглянуть в полины, ничем пока не омраченные глаза. Склонясь над работой, она думала о том, что никогда, пожалуй, такой длинный перегон не разделял в России двух смежных поколений.

Минутку спустя она переборола свое необъяснимое смущенье:

— Вас, кажется, Полей зовут? А меня — Наталья Сергеевна. Вы хорошая, горячая, большелобая девочка... и я рада, что познакомилась с вами,— заговорила она растроганно, но почти сухо, а Поля внимала ей, вся раскрасневшись и догадываясь, что сейчас услышит слова, каких не повторяют дважды.— Запомните, что я вам скажу... непонятное само разъяснится впоследствии. Когда жизнь догорает дотла, то в пепле остается одна последняя золотинка. Она бежит, гаснет, и потом наступает холод... Вот в ней-то, в той последней искре, и заключен весь опыт пройденного пути. Вот вам моя золотинка... Люди требуют от судьбы счастья, успеха, богатства, а самые богатые из людей не те, кто получал много, а те, кто как раз щедрей всех других раздавал себя людям. Что касается меня самой, я выяснила эту истину слишком поздно...— Она во-

просительно подняла глаза.— Я вижу, вам хочется возразить мне?

— Не сердитесь, Наталья Сергеевна, но будет нечестно с моей стороны... если я сейчас промолчу. Это хорошо сказано, об этой... ну, о золотинке!.. Но сегодня вы уже три раза подряд назвали слово *судьба.* Мы на эту тему даже коллективное обсуждение у себя в Лошкареве провели, два дня бранились и выяснили, наконец, что это — вредное слово слабых, ничего не выражающее, кроме бессилия. Так что судьбы-то нет, а есть только железные воля и необходимость.

Наталья Сергеевна улыбнулась, и за весь их разговор это была первая ее улыбка.

— Все зависит от того, Поленька, откуда рассматривать человеческую биографию, с начала или с конца. В вашем возрасте мы тоже мечтали о великих делах, читали рефераты, динамитцем играли, спорили до хрипоты... и вот через тридцать лет я чиню чужой немытый чулок, чтоб заработать на молоко для внучки. А ведь я бывала на самом верху жизни... и, признаться, вовсе не сожалею о том, что она разжаловала меня... просто в люди! Но я не знаю, как это получилось. Человеку и свойственно меру своего удивления называть судьбою, вот. Однако вы правы в том смысле, что молодость человека длится до той поры, пока он не произносит впервые это слово *судьба* в применении к себе.— Женщина отложила законченную работу.— Если вы хотите умыться с дороги, то — по коридору вторая дверь направо. Потом тушите свет.

Целая жизнь, добросовестно оплаканная, заключалась в ее кратком, очень спокойном признании. Поле стало грустно и душно, потянуло к окну. Она подошла, взглянула сверху,— с непривычки к высоте у нее закружилась голова. Очень много неба она увидела там, и в нем изредка проплывали невесомые тополевые пушинки. Прямо внизу лежал Благовещенский тупичок с ветхой, спрятанной меж деревьями недоломанной церквушкой. Там, на лужайке, малыши водили хоровод, и, судя по тому, как живое, пестрое колечко то смыкалось, приседая до земли, то расходилось с поднятыми ручонками, то была любимая детская игра *каравай.* Звук их песенки достигал восьмого этажа, как ни глушил ее ровный гул из-за ближней вереницы зданий, где «река жизни катила свои каменные

воды». Поле в особенности нравилась эта уже сложившаяся фраза из будущего письма к маме. Потом она подняла глаза, и у нее захватило дух от объемности зрелища... Перед ней лежала Москва.

Все застилала трепетная полуденная мгла с постепенным, по мере удаления, цветовым разбегом в голубую бесплотную дымку. Только глазами живописца можно было охватить это согласное множество разнородных строений, как бы струившихся в перегретом воздухе. На самом ближнем плане еще различались массивные, грубые тона материалов, из каких слагается пейзаж современных городов: лиловатые в тени, почти не разбавленные крапп-лаки старого, обжитого бетона,— либо светлая, уже с прибавкой кадмия, зелень древесной листвы, потому что в разгаре стояло лето,— либо розоватая от расстояния сиенна кирпичной кладки на коммунальных новостройках, ступенчато пробивающихся сквозь старинные городские кварталы,— либо, наконец, стократно повторенное дыхание столичной индустрии, размытые потеки заводских дымов, сажей нарисованные в исполинском небе. Все это было сжато, втиснуто одно в другое, предельно уменьшенное до макетных размеров, чтоб уместиться в такой просторной, даже безбрежной тесноте.

Дальше простирались километры крыш, вперебежку сверкающих перепутанными гранями,— целое море крыш, подернутое, если прищуриться, слепящей радужной зыбью,— почти совсем как море, если бы в эту плывучую стихию тончайшей акварельной кистью не были вписаны то нитевые сооружения радиостанций и электропередач, то островерхие кровли вокзалов, похожих на кили перевернутых кораблей, то беззащитные в стремительном натиске индустриального прогресса, полные отцветшей прелести московские колоколенки, то расставленные полукружиями и сложными кривыми фасады общественных зданий, которыми, как пунктирными мазками, обозначалось направление набережных или крупнейших магистралей. В одном просвете между ними сизым, никелевым блеском мерцала река, конечно, самая красивая и полноводная на свете, потому что это была московская река!.. Еще на градус выше, на далеком холме, как бы у подножия снеговых гор, на горизонте, угадываемое скорее по сердцебиению, чем даже по знакомому с детства силуэту,

вставало самое знаменитое архитектурное создание русских, Кремль, величественное нагромождение каменных плоскостей и полусфер с гигантской белокаменной колонной посреди, без вычурных изощрений Запада, но и без созерцательной лени Востока. Что-то неярко блистало на слегка сплющенных, как бы под тяжестью неба, золотых куполах,— верно, необсохшая роса истории, как загадочно определил это в одном своем стишке Родион... Тонкий и желтый ранящий лучик оттуда, проникнув в сердце через ее расширенный зрачок, позвал Полю к себе, и она незримо вошла туда сквозь древние ворота, где на мгновенье ее ознобило холодком вечности. Мысленно она обошла собрание шедевров и святынь, эти каменные ладанки, царственные и все же невзрачные в сравнении с подвигами предков, на чью грудь они были повешены в самом начале пути. Придерживая соломенную шляпку на затылке, Поля осмотрела рубиновые звезды, тем и схожие с небесными, что отовсюду видны были на планете; она попыталась также сосчитать артиллерийскую вражескую медь вдоль петровского арсенала и почтительно коснулась знакомых ей по картинкам — колокола с осколком и самой мирной на свете пушки с ядрами, богатырских игрушек наших прадедов...

Полины впечатления о Москве ложились на благодарную почву, подготовленную рассказами Павла Арефьича. При нем, двадцать с небольшим лет назад, на Восьмом съезде Советов, была впервые произнесена крылатая формула коммунизма как суммы советской власти и электрификации, технической базы современного крупного производства. Он сидел так близко, енежский делегат Чернецов, что слышал звенящий шелест листков в ленинской руке, рассекшей воздух при этом. За семейным столом вечерами он любил еще и еще разок припомнить, как же он выглядел в ту пору, на заре, великий город, уже тогда снискавший восторженную признательность бедных, какой и проверяется сила движущей идеи, и завистливую ненависть богатых, чем всегда мерилось низменное почтение врага... По отзыву Павла Арефьича, скромна была в те годы внешность Москвы, хотя советский народ, вступавший в пору почти вулканического извержения ценностей, мог бы в одну пятилетку одеть ее нарядней младшего северного брата, которого два века

сряду холила и обряжала вся империя... Собственно Поля и ехала сюда с намерением посвятить себя целиком приукрашению своей столицы.

Она растерялась, как все опоздавшие к началу великого дела. Все пространство до горизонта было уже застроено, ни местечка не оставалось там для ее собственных замыслов, родившихся в жарких спорах с товарищами или на страничках девичьего дневника. Казалось, город уже созрел для обыкновенной вечной славы и теперь нуждался разве только в необыкновенных подвигах, которых Поля вовсе не умела. Она почувствовала себя ничтожней ребятишек, там, внизу, старательно выполнявших возложенные на них обязанности... И когда снова перевела на них глаза, она увидела, наконец, свою Варю; та изо всех сил пробивалась сквозь блокаду обступавших ее малышей.

Поля ринулась вниз, по лестнице. Лифт уже не работал из-за обеденного перерыва. Подружки столкнулись на площадке третьего марша и затем, обнявшись, пешком добирались до квартиры.

— Ты извини, но я же знала, что ты у меня смышленая, что ты доберешься и одна! — говорила Варя, с материнской лаской вглядываясь в подружку.— Понимаешь, выбрали секретарем организации, и вот просто минутки не остается для себя. И, кстати, такой суматошный день сегодня...

— Какие-нибудь неприятности?— всполошилась Поля.

— Напротив, все очень хорошо. Даже голова кружится, такая отличная жизнь настает! Так спешила домой по жаре, вся мокрая. Да еще эти противные маленькие гражданята всякий раз проходу не дают... У меня тут вся окрестная детвора в приятелях! — и тихонько усмехнулась, крайне довольная перечисленными обстоятельствами.

2

Действительно, дружбу с детьми Варя заводила с полуслова, такое доброе человеческое тепло постоянно излучалось из нее. Домашние шутили, что со временем Варя обзаведется семьей в тридцать восемь человек, причем все будут обшиты, обмыты и накормлены; более

умеренные представления о семейном благополучии как-то не вязались ни с расточительной щедростью ее сердца, ни с самым обликом ее. Варя была крупновата, а большое, сильное тело требовало и соответственной нагрузки. Наверно, счастье ее давно и осуществилось бы, будь она чуть покраше с лица, несколько плоского, с тонким разрезом рта и широко расставленными глазами. Она выглядела бы куда естественней, если бы из стен педагогического института перенести ее куда-нибудь на выжженные склоны Тянь-Шаня, посадить на мохнатого конька да пустить против полуденного ветра с камчой в руке и ниткой бус на загорелой шее. Трезво сознавая свои качества, Варя и не стремилась приукрасить себя, а волосы носила гладко, без пробора зачесанные назад, но даже ее белый, всегда туго накрахмаленный воротничок на скромном и темном платье выглядел жалкой попыткой хоть чуть посгладить несправедливость природы.

Варя засыпала приезжую тысячью вопросов о лошкаревских новостях, о родных и соседях, о милом дальнем лесе, и еще — кто теперь в комсомоле орудует за главного, и постарела ли учительница Марфа Егоровна, та самая, по которой за отсутствием башенных часов лошкаревцы проверяли время, и даже как чувствует себя Балуй, неизменный спутник всех охотничьих достижений Павла Арефьича,— словом, обо всем и, желательно, в мельчайших подробностях, каких не перескажешь в самом обстоятельном письме.

В ответ полилась пестрая полина скороговорка. Оказалось, Павел Арефьич попрежнему, неутомимо, катает на велосипеде по всему району, хотя, сдается, все еще тоскует по жене, вариной мачехе,— а соседка Зоя Петровна, что у Чернецовых во дворе четвертый год живет, прислала Варюшке, своей любимице, енежского медку по старой памяти и домашней сушки грибков, чтоб не тратиться зря в столице, а Марфа Егоровна, как и раньше, в мужских калошах шлепает по осенним грязям в школу, но что-то стали ее часики припаздывать на минуту-другую в сутки, а Балуй и совсем плох, за курами не гоняется, а только чихает да к печке тянется...

— Да и мамочка моя, Елена Ивановна, тоже немножко подалась в ту же сторону,— продолжала Поля, выкладывая гостинцы из чемодана.— Внешне-то и не скажешь ху-

дого, только еще построже стала... но как провожала меня, отозвала в проулок у пакгауза и всплакнула украдкой... А казалось бы, о чем ей теперь слезы лить? И главное, вся сразу стала такая маленькая, болтливая на жалкое слово, чего в ней прежде тоже никогда не замечалось.

— Старое стареет, Поля, а молодое постепенно выходит в первую шеренгу... И раньше так бывало!

В остальном, кроме мелочей, все обстояло благополучно. В прошлую зиму окончательно дорубили и ту часть Облога, что еще оставалась перед речкой Горынкой, так что теперь с Шабановой горы, которая возвышается над пристанью, стала видна дылдистая труба новой электростанции, что на Васильевом Погосте. «Оно и поприВольней как-то стало без леса-то, и вид на индустрию открылся, но, знаешь, Варенька, в душе чего-то вроде и поубавилось...» И такие теперь верховые ветры обрушиваются на город Лошкарев, что недавней бурей сорвало шпиль с каланчи, хотя он и не нужен в настоящее время, а у заслуженного врача республики Гаврилова унесло его знаменитую черную шляпу, и она у всех на глазах летела до середины Енги́, пока не пропала в сердитой пенистой волне. Кроме того, с той поры шибко воет в трубах по ночам, и старухи, не сведущие в метеорологии, шепчутся в очередях, будто это Горынка со Скланью убиваются по сосенкам, унесенным вешними водами, кажется, в Казахстан. Впрочем, плоты этого года внезапно обмелели, не дойдя до Волги, так что их вручную снимали с переката.

— Значит, Пустоша́ тоже свели? — огорченно спросила Варя.

Нет, если не считать самого краешка, Пустоша́ стоят пока неприкасаемо, во всей своей сытой и рыжей красе. А в колхозах кругом словно с ума посходили: строят, да женятся, да песни поют. В самом Лошкареве временное кино открылось в бывшей трапезной Премиловского монастырька... но поленились старую штукатурку прокупоросить, и накануне полина отъезда сплетничали местные старушенции, будто какие-то старинные святители своевольно, каждый сеанс, проступали на экране среди действующих лиц, так что заведующему даже сделали внушение из области. И потом, забыла сказать в суматохе, все кланяются Варе: и слепенькая Прасковья Андреевна,

и киномеханик Петя Чмокин, наиболее корректный в городе Лошкареве танцор, который в этом году уходит на военную службу, и все семейство Ермаковых, одиннадцать душ, и директор краеведческого музея Гвидоненко, собственными силами открывший два зуба и позвонок некоторого ископаемого чудовища, и Ниночка Цыпленкова — присланной на дом запиской, потому что накануне увезли ее в родильный дом... словом, все помнят милую Вареньку, кроме одного, от которого как раз больше всего хотелось бы Варе получить поклон.

— Однако хоть и шлют приветы, но обижаются, что мало писем пишешь, ждут с дипломом назад, на место старенькой Марфы Егоровны...— закончила Поля, любуясь на разложенные гостинцы, и вдруг с изменившимся лицом метнулась к забытому впопыхах свертку в серой грубой бумаге.

Казалось бы, Варя ей родней сестры была, однако же свой подарок Поля раскутывала с опаской заслужить пусть хоть необидный смешок. Но Варя все сразу поняла и благодарно прижала к груди ее скромный личный дар. То был снопик простеньких полевых цветов, перевязанный ленточкой с конфетной коробки. Всего там нашлось понемногу — и полевая геранька, раньше прочих поникающий журавельник, и — с розовыми вялыми лепестками — дремка луговая, и простая кашка, обычно лишь в виде прессованного сена достигающая Москвы, и жесткий, скупой зверобой, и желтый, с почти созревшими семенами погремок ярутки, и цепкий, нитчатый подмаренник, и еще десятки таких же милых и неярких созданий русской природы, собранных по стебельку, по два с самых заветных, вместе исхоженных лугов. Это походило на кроткое благословение родины, залог ее верной, по гроб жизни, любви.

— Их бы в воду теперь, хоть я их всю дорогу в чайнике и держала. Наверно, истомились от жажды, бедные! Просто не знала, Варька, что тебе привезти...

Погрузив лицо в цветы, Варя улыбалась ей своими монгольскими, в ту минуту по-женски привлекательными глазами. Жизнь еще теплилась в этих обвядших травинках, а в золотых кувшинчиках зябры еще не высохла и капелька меда, а смолка еще липла к пальцам, а пушица не утратила своего шелковистого тепла.

— Eriophorum vaginatum! — почтительно произнесла Варя, и, верно, никогда так проникновенно не звучала линеева латынь; вдруг вспомнилось, что только на другом берегу, на заболоченной пойме, росла у них пушица. Она ужаснулась размеру подвига: — Безумная, ты для этого ездила за Енгу́.

— О, я туда на лодочке, быстро!..— и сама вся светилась отраженной радостью подружки.— Знаешь, они еще живые... их только надо в воду поскорей!

— Ты бесконечно милая,— с закушенными губами сказала Варя и, отвернувшись к окну, влажными глазами посмотрела во глубину родной земли, в крохотную, еле проставленную на картах точку.

Тем временем, чтоб не мешать подруге, Поля деловитым взором обежала комнату, где ей предстояло жить.

Собственно окна у Вари не имелось, его заменяла стеклянная балконная дверь. Дом заселили до окончания стройки, и в проеме, между железных перекладин балкона, сразу открывалась пропасть с залитой солнцем, длинной улицей внизу. Ее желтоватый, послеполуденный отсвет смутно отражался в потолке; комната глядела на запад. Она была гораздо теснее предыдущей, так что вторая кровать, еще без подушки и накануне взятая у соседки, занимала весь излишек вариной жилплощади. Зато, если у Натальи Сергеевны во всех мелочах сквозила застарелая, непреодолимая сложность, здесь легко, без примечаний, читалась жизнь советской студентки, поставившей себе простую и ясную цель. И вот с чем она отправлялась в дорогу: окантованная на стенке фотография двух вождей, когда они в последний раз встретились в Горках, и под нею, чуть поменьше, ее любимый Дарвин с мальчишескими глазами, потом платяной шкафчик в углу, стопка книг на столике, этажерка с вещицами самого непритязательного обихода... все, кроме зеркала.

— Теперь рассказывай о себе,— приказала Варя, когда букет был заправлен в склянку.— Я так и не поняла из твоих писем, куда же ты решила поступать.

— Тогда уж я с самого начала... можно?

— Надо всегда с начала... и чем короче, тем ясней.— Варя всегда старалась говорить точно и понятно, словно диктовала на пробном уроке в классе.— Только имей в виду, через полчаса я снова должна уйти по срочному делу.

Оказалось, виднейшие лошкаревские граждане приняли участие в выборе полиной профессии, но все советы их пришлось отвергнуть за крайнюю противоречивость. Так, например, доктор Гаврилов настаивал на физике и даже на астрофизике, этой единственной из наук, способной в ближайшие полвека дать ответ на все основные вопросы бытия, о которых, по его мнению, так вразнобой и так недоступно для простого люда мямлит философия со времен гугнивого Фалеса...

— И в общем, Варька, я согласна с этой оценкой. За три тысячи лет сколько они трудодней потратили, эти философы, а не пришли к единому мнению даже в таком простом вопросе, как... ну, существуешь ты, к примеру, вне меня или ты только совокупность моих ощущений... подобно тому, как ложные солнца по теории относительности образуются на пересечении звездных лучей,— пояснила Поля и даже показала на пальцах, как ей самой представляется это, а Варе стоило большого труда удержаться от улыбки: в полиной речи она слышала знакомые лошкаревские голоса, и среди них громче всех выдавался рассудительный басок главного мыслителя из полиных сверстников, Родиона Тиходумова.— Только, пожалуйста, не улыбайся, милая. Я, конечно, маленькая, но я тоже имею право знать, *кто* я, *откуда* я и, наконец, *зачем* я... а то еще так и помрешь глупой деревяшкой!

— Как поживает Родион? — кротко спросила Варя.

— Ничего, все худеет. Накануне отъезда мы с ним поссорились на всю жизнь,— наотрез бросила Поля.

...С другой стороны, товарищ Валтасар, заведующий райздравотделом, уговаривал Полю посвятить себя медицине и таким образом ускорить процесс изживания социальных недугов, доставшихся нам по наследству от старого мира. Были также высказаны неотразимые доводы в пользу химии, животноводства и даже железнодорожного транспорта. Сама же Поля сперва склонялась в сторону литературы, чтобы описать обычаи горцев и гордые предания ихней старины с точки зрения современности, но ее отговорили, как отговорили и от намерения стать художницей для создания эпохальных полотен о передовых заводах, крупнейших электростанциях, поскольку как-то неловко заниматься рисованием обыкновенных пейзажей в наше переживаемое время. Впрочем, Родион очень едко

подметил, что произведения о технике живут, пока не высохла краска на холсте, и по мере развития социалистического производства и приближения к коммунизму будут диалектически становиться карикатурами на могущество и героику нашего народа. «Тут переменная функция... понимаешь? — значительно намекнула Поля.— И придется каждый год подновлять немножко такие произведения, чтоб не состарились».

Кроме того, по ее мнению, спрос на живопись должен значительно подсократиться в будущем, потому что при скоростном выпуске художественных произведений скоро не хватит музеев на земном шаре, и тогда придется хранить уже законченные сокровища в штабелях, на открытом воздухе; что же касается частного потребления... Она рассказала, что когда Павлу Арефьичу к шестидесятилетию поднесли портрет магнитогорского металлургического комбината во многих красках и с массой труб, он тут же передарил его в только что открывшийся клуб текстильщиков, у себя же на стене оставил прежнюю *цыганочку*. «Представь, губастая дивчина в монистах и с бубном, а ведь, казалось бы, такой передовой человек!» Однако все идет к лучшему, успокоила Поля свою подружку: именно тогда-то общество и кинет армию художников на оформление социалистического быта — жилищ, одежды, утвари, самых обыкновенных вещей, повседневно и не менее, чем книги, воспитывающих вкус и, следовательно, эстетическую требовательность тружеников в их собственном труде и поведении.

— Я твердо верю, Варя, что коммунизм призван истребить боль, зло, неправду, то есть все некрасивое, бесформенное, низменное... и, значит, коммунизм, кроме всего прочего, есть совершенная красота во всем,— несколько менее связно, из-за отсутствия Родиона под рукой, распространилась Поля, а Варя с тревогой и не без удовольствия прислушивалась к этим крепнущим голосам из завтрашнего дня.— Запомни мое слово, Варя: любое, самое скромное изделие, кроме марки завода, будет носить и метку мастера, и о нем писать будут рецензии, как о книгах и спектаклях. Именно поэтому хорошо обработанная капитель общественного здания нужнее десятка посредственных картин, содержание которых зачастую дешевле и умней выразить типографским шрифтом. Ну и

влетело нам с Родионом от ребят за эту крайность... Теперь брани ты.

— Ну, я не могу решить это сразу,— отвечала Варя, поглядывая на часы.— И ты рассуждаешь так, словно коммунизм уже построен, а еще имеются злые люди, которые хотели бы отнять у тебя право на будущее. Я поняла твою мысль, твой протест против перегрузки художественной ткани утилитарными заданьями, но... не надо сердиться, если художника приглашают поработать сперва над оформлением общественной мысли, прежде чем приняться за оформление вещей. Конечно, кистью работать приятней, чем лопатой, но все же лопатой — легче, чем ружьем... правда? — Она всегда перемежала свою речь паузами, чтобы ее воображаемые маленькие собеседники успевали следить за нею.

Спор углубился, Поля пыталась возражать. В конце концов не поверхностным изложением идеи, а лишь глубиной постановки вопроса и высотой исполнения удавалось искусству прошлого прославить свою эпоху. Она приводила имена, стили, отдельные произведения, и можно было сделать вывод, насколько разносторонним, кроме своей любимой математики, был ее Родион. Временно подружки поладили на том, что чем значительнее нагрузка на искусство, тем выше должно быть его качество.

— Да откройся же, наконец... куда ты собираешься итти?

— В архитектуру... а что? — покосилась Поля, облизав пересохшие губы.

Варя в раздумьи поправила уголок клеенки на столе. Ей не хотелось отговаривать подружку, она лишь намекнула, что, требуя мастерства от художников, она забывает про тройную ответственность зодчих, чьи каменные творения нередко, к сожалению, переживают все остальные памятники эпохи. Можно не читать торопливых, недобросовестных книг, не посещать дурных спектаклей и выставки посредственных картин, но сограждане не могут ходить с закрытыми глазами по городам, застроенным плохими зданиями.

— Впрочем, Аполлинария, если ты чувствуешь призвание в себе и силы... Ты привезла какие-нибудь свои художественные работы? Покажи.

Раскидывая платья и белье, Поля достала со дна чемодана рисунки, сделанные на картонках канцелярских папок и меловых обложках старых журналов.

— Только, чур, не смейся... ладно? — и со страхом ждала приговора.

— Ну, что ж, это совсем неплохо... из тебя, пожалуй, выйдет толк.— Уже Поля протягивала ей второй и третий, а Варя все держала первый, оказавшийся сверху.— И знаешь... подари-ка мне вот этот, ладно?

— О, Варька, я сделаю тебе гораздо лучше! — обрадовалась Поля успеху своего первого испытанья.

— Нет, мне хочется именно этот,— и неожиданная для нее краска слабости выступила в варином лице.— Он очень похож тут. Как живой, если бы не эти закрытые глаза. Это Коля Бобрынин?

— Нет, что ты! — ужаснулась Поля.— Это же Антиной!

— А-а...— облегченно вырвалось у Вари.— То-то меня поразило, что у него зрачков нет, как у мертвеца. Но все равно, я отбираю это у тебя на память... о первых шагах архитектурной знаменитости.

Не дожидаясь авторского согласия, она сунула рисунок в ящик стола и, чувствуя на себе вопросительный взгляд подруги, самым невозмутимым тоном спросила что-то о Родионе. Маневр удался на славу, и Поля по-детски забыла про этот незначительный эпизод. О, Родион... если бы Варя знала, как он вырос за последний год! Лошкаревские педагоги просто избегали спрашивать у него уроки, потому что он отвечал с обстоятельностью, которой они не в состоянии были проверить, и сам задавал вопросы, заставлявшие их терять душевное равновесие. Между прочим, он наполовину решил одно головоломное уравнение, над которым бились самые головастые математики прошлого века, да так и не добились ничего. Кстати, за два дня до ее отъезда Родион уехал в Казань для поступления на физико-математический факультет.

— И ты, пожалуйста, не щурься, Варька, но представь себе, этот долговязый мальчуган вздумал утверждать передо мною...

— Знаешь, ты мне доскажешь потом историю вашей ссоры,— прервала Варя, поднимаясь.— Какая у тебя про-

грамма на сегодня? Может быть, съездишь со мной на биологическую станцию?

— Мне надо сделать кое-какие покупки,— уклонилась Поля.

— Отлично. Тогда обедать будем вместе, в шесть. Будь добра, не опаздывай и не заблудись. Во всяком случае, я подожду тебя с обедом.

Разговор закончился во-время: электрический чайник уже кипел на столе, а через край ванны тоненькой струйкой начинала переливаться вода.

3

Поля еще в дороге составила расписание действий, куда входило посещение театров, художественных галерей, архитектурных памятников и в первую очередь Мавзолея Ленина, этой заглавной страницы в большой книге, куда предстояло и ей вписать собственное имя. Но список был рассчитан на длительный срок до начала занятий, и, перед тем как приступить к генеральному обходу столицы, ей хотелось привести в исполнение некоторые свои ребячьи причуды, за последние полгода сложившиеся в неодолимую потребность.

У Родиона на чердаке, где из голубятни открывался богатейший вид на Енгу́ и где втайне от всего мира читал он Поле свои стихи, среди пыльной рухляди и в кипе дореволюционных еженедельников она наткнулась на часто повторявшееся объявление одного профессионального астролога. Будучи в близких отношениях с потусторонними сферами, он за рубль девяносто пять копеек почтовыми марками предсказывал будущее, произвольно умножал доход клиентов, отращивал на плешивых незаурядные волоса, бесследно изгонял страдания, бессонницу, вредных насекомых, детские пороки и совершал многое другое, что может придумать проголодавшийся плут с небогатой фантазией. Судя по напечатанному сбоку изображению сравнительно моложавой личности в чалме и с исходящими из чела молниями ясновидения, ему теперь было бы не свыше шестидесяти, и если только за годы революции не оказался замешанным в менее благовидные предприятия, он вполне мог бы сохраниться и до

нынешнего дня. Поля сберегла пожелтевший адресок с намерением утолить при случае свое законное любопытство безгрешно-чистого существа к биологии и быту вчерашней жизни. Именно ввиду того, что уже не застала в своей стране отживших профессий — царей и банкиров, водовозов и свах,— а факир этот был единственным из обломков прошлого, доступным для обозрения, ей представлялась последняя возможность под выдуманным предлогом постучаться к нему в дверь и с тем же смешанным чувством почтения и страха, с каким разглядывала палеонтологические древности у Гвидоненки, заглянуть в тусклые, как бы непромытые спросонья очи таинственного *старого* мира.

Вторым того же рода предприятием был у Поли намечен визит к отцу. Она не была знакома с ним даже по фотографиям, а мать, видимо, из нежелания ворошить прошлое воздерживалась в присутствии дочери от оценок своего бывшего мужа. Однако,судя по редким и всегда недоброжелательным статьям в специальной печати, это был угрюмый, несговорчивый, устаревшего мировоззрения человек, далекий от понимания задач современного лесного хозяйства... и дай бог, чтобы описываемые там промахи да ошибки получались у него бессознательно! Надо думать, в сочетании с неуживчивыми чертами характера это и стало причиной распада семьи. Не желая вникать в обстоятельства той загадочной истории, Поля безоговорочно принимала сторону матери, фельдшерицы в межрайонной больничке, незаметной и всеми уважаемой труженицы. Кроме печатных отзывов, в основу заочных полиных представлений об отце легло одно краткое, как промельк при свете молнии, воспоминание раннего детства.

Всякий раз, когда среди душной летней ночи слышала замирающий клик паровоза, в полином воображении неизменно возникали пузырьки горьких лекарств, выпуклые очки с колючим блеском на массивной золотой оправе и за ними выцветший, безразличный взор человека, склонившегося над ее кроваткой; Поля болела корью перед самым бегством Елены Ивановны на Енгу́. Ни у кого в Лошкареве не имелось таких дорогих очков, на самом деле принадлежавших врачу и ошибочно отнесенных к Вихрову, и примечательно, как самый металл их условиями воспитания и ходом политических событий скомпрометированный в глазах комсомолки, определял дальнейшее развитие и не

очень благородное содержание этого образа. Постепенно предубеждение против отца превращалось в жгучую потребность отомстить за мать, высказать в лицо ему честное комсомольское суждение о людях подобного сорта... Еще дома Поля не раз упоенно рисовала себе, как однажды сквозь анфиладу парадных, устланных коврами комнат, мимо горничных в раскрахмаленных наколках она войдет в полутьму профессорского святилища со старорежимной несдвигаемой мебелью, с плюшевыми гардинами, пропитанными развратным запахом сигар, с чернильным прибором под раскинутыми крыльями двуглавого бронзового орла... С порога и без поклона, не садясь, она поблагодарит пожилого обрюзглого господина, привставшего над письменным столом, за то, что тринадцать лет без судебных напоминаний высылал деньги на ее прокорм... И вот дочка пришла сказать, что выросла и стоит перед ним налицо, так что не было с маминой стороны какого-либо вымогательства, скажем, на мертвенькую, хотя и сам за тринадцать-то лет мог бы лично удостовериться в существовании своего ребенка!.. И теперь, свободный от дальнейших обременительных отцовских обязательств, может он хоть водку пить, хоть в бубны бить. И затем она исчезнет навсегда, оставив отца вычерчивать свои тоскливые диаграммы о годовом приросте у оси́ны. О, только бы по-девчоночьи не разреветься при этом!

Однако с приближением цели все полино существо начинало противиться задуманной расправе, причем причиной была не трусость и не брезгливая боязнь испачкаться через мимолетное прикосновение к дурному, а что-то еще, чего не умела выразить словами, может быть — опасение наткнуться на какое-то непредвиденное разочарование. Так что после ванны, часом позже спускаясь по лестнице, Поля и совсем уж никуда не торопилась — в подсознательном расчете, что при благоприятных обстоятельствах у нее и времени не останется на свидание с отцом. Еще длились тополевая поземка в Благовещенском тупичке и праздник над городом, когда она выходила на простор магистральной улицы. Поля дважды повернула налево, попала в поток перекрестного движения, и вдруг все приметные ориентиры оказались потерянными, и стало ясно, что заблудилась в огромной волшебной сказке, о чем столько лет мечтала у себя в Лошкареве.

...Нет ничего заманчивей на свете, чем прогулка по незнакомому городу в осьмнадцать лет — без присмотра старших, без боязни опоздать к уроку да еще с такими дополнительными радостями бытия, как пятьдесят рублей, выданных мамой на утоление самых необузданных желаний. Избранная Полей улица как раз изобиловала всякими соблазнами, и в одной из витрин полулежали в завлекательной пестроте книжные новинки, причем от одного созерцания заголовков уже как бы повышался культурный уровень прохожих, а в другой — шестнадцать выдающихся мастеров с помощью научных достижений завивали шестнадцать столь же выдающихся красавиц, а в третьей матово светилась такая чудесная и любых размеров алюминиевая посуда, что невольно возникало раздумье, как обходился род человеческий до открытия этого великого материального благодеяния. И почему-то цветов на улице уже не было, распродали, а на всех углах красовались теперь эмалевые тележки со стеклянными флаконами, и всякие ответственные работники вокруг задумчиво потягивали из бокалов цветные воды, сообразные их складу души и настроениям. Страшная сила повлекла к ним и Полю, потому что еще пылал летний день, но пока искала в сумке подходящую монетку, две небесного цвета цистерны низким дождичком пробрызнули застойную, с бензиновым перегаром духоту, и таким образом Поле удалось сберечь мамины деньги для более существенных потрат.

Она мужественно пыталась миновать искушения, но они догнали, одолели — мороженое на лучинке, ранняя черешня, засахаренные орешки... и опять, из-за нового ее платья, что ли, ей везло на хороших людей. Так, например, стрелка весов в кондитерском магазине показала двести десять граммов, хотя в кассу было уплачено лишь за двести, и продавщица не пожелала вступать в пререканья по этому поводу. Когда же Поля зашла послать две совершенно необходимые и с одинаковым текстом телеграммы «Поздравляю тебя с началом жизни», одну по совершенно секретному адресу, в Казань, а другую самой себе, в варин тупичок, для придания дополнительной праздничности этому необыкновенному дню, то сдачу ей выдали самыми новенькими, еще хрустящими бумажками. Снова не удавалось Поле справиться с уймой мелких, распадающихся свертков, и меланхолический аптекарь,

верно какой-нибудь несостоявшийся алхимик, сам предложил ей увязать покупки в один пакет... Итак, Поля шла, и жизнь ей представлялась чудесным эскалатором из сказки: стоило лишь вступить на начальную ступеньку, чтобы через положенное количество лет, не успеешь дух перевести, оказаться на самом верху. И действительно, в ее стране имелось все необходимое для счастья — и различные пальмы, и апатиты, и отзывчивые человеческие сердца; она шла, и люди навстречу ей попадались только веселые и нарядные, уж такая была эта улица, и теперь Поля сама улыбалась всем, даже подвыпившему точильщику с его деревянной машиной на плече; она шла, отдаваясь царившему вокруг всеобщему возбуждению, происходившему, наверно, от сознания громадного простора впереди и манящей новизны всего на свете, кроме лишь стареньких *рыжиков,* или *рваников,* как ласкательно за верную службу называла свои разношенные туфельки. И едва вспомнила о них, тотчас в нише необыкновенно нарядного дома объявился могучий и черный, весь как бы из щеток составленный волшебник, возвращающий обуви молодость.

— Весь сияешь... Вижу, замуж идешь, красивый товарищ?

— О, еще... в тысячу раз лучше! — смеялась Поля, следя, как сквозь колдовское мельканье рук проступает зеркальный блеск на потрескавшейся рыжей коже.

Она уже не замечала времени, и вдруг ей показалось, что расшалилась не к добру. Правда, она подсчитала в уме, что три часа непрерывного блаженства обошлись ей всего по двадцать четыре копейки за минутку, но зато теперь следовало подсократиться в темпах, чтоб во всеоружии встретить какой-нибудь главный и притаившийся за уголком соблазн. Очень кстати станция метро оказалась рядом, и, перебегая с одной платформы на другую, Поля принялась кататься по всем доступным пока маршрутам, потому что и метро входило в список объектов, подлежащих осмотру и удивлению. Сверкающие поезда мчали ее во мрак тоннелей, и по пути, как во сне, то и дело вспыхивали голубые или нежнорозовые мраморные залы. Здесь могла бы Поля наблюдать, как осуществляется ее мысль об участии художника в оформлении общественных сооружений, но сейчас почему-то она не видела ничего

перед собой, кроме массивного, как мясной прилавок, письменного стола с бездарной бронзовой чернильницей,— и по ту сторону ждал ее холодный, изготовившийся к поединку человек, *судьбою* назначенный ей в отцы. Поле все хотелось забраться от него куда-нибудь в противоположный конец города, подальше, но когда она на всякий случай назвала соседу адрес Лесохозяйственного института, на территории которого помещались вихровские апартаменты, оказалось, что ей надо сходить на ближайшей остановке. Пассажиры сразу расступились, давая ей проход к двери и к самой суровой правде... Это была конечная станция метро, эскалатора здесь не было. Людской поток вынес Полю наружу.

Только тут она заметила какой — не то чтобы пасмурный, а душный и безвыходный стоял денек. Асфальтовый чад и пыль летней окраины охватили Полю. Город наступал здесь на изрытую, как после артиллерийской подготовки, равнину. Тракторные катки с урчаньем устилали дымящейся лавой ответвление шоссе, между пыльных картофельных полей, туда, где стройной чередой, сразу в дюжину корпусов, вылезали из почвы красноватые этажи. Один из чернорабочих этого индустриального наступления, отирая черную испарину с лица, показал Поле дорогу. До здания отцовского института, помещавшегося в загородном дворце старомосковского вельможи, было двадцать минут ходу по щебенчатой дороге, между опытных делянок и подсобных теплиц. Здесь у загорелого, как сама она, наклонившегося над грядкой практиканта Поля спросила, где проживают лесные профессора, и ей указали сразу два, через улицу, четырехэтажных каменных строения, с квартирами педагогического персонала. Чуть на отлете стоял третий, победнее, о двух этажах, деревянный, с угла на угол перевитый цветущим вьюнком, и с навесом над входной дверью; в палисаднике сушилось штопаное бельишко на веревке. Странное чутье подсказало Поле, что ей как раз сюда и надо. Она дважды прошлась мимо подтекавшей водоразборной колонки, где мальчишки самозабвенно месили ногами желтую отличного качества грязь. Обстановка несколько не совпадала с представлениями Поли о роскоши отцовского быта: враждебное чувство пока не меркло, но уже покрывалось трещинками ребячьих сомнений. Еще оставалось время

повернуть назад... но вдруг из глубины за рощей, где проходила окружная дорога, донесся петушиный, призывающий крик маневрового паровоза.

Тогда, подчиняясь неодолимой силе своей реки, Поля пересекла улочку с нестерпимо зеленой травкой, пробившейся сквозь булыжник, поднялась во второй этаж и безошибочно, вопреки всякой логике, позвонила у самой невзрачной двери, без ожидаемой медной дощечки с научными титулами Вихрова и даже в клочьях войлока, набитого для утепления восемнадцать лет назад, когда родилась она, Поля.

Ей пришлось дополнительно постучать кулаком. Брякнул засов, и в полутемной прихожей с фонариком на потолке Поля увидела некрупную, моложавую, верней — вовсе без возраста, профессорскую работницу с неестественно низко посаженной головой, в темном, по-раскольничьи распущенном на плечи платке, как еще недавно повязывались все пожилые крестьянки на Енге́. Это сбивчивое впечатление вскоре разъяснилось, и опять в сторону, противоречивую полиным ожиданиям.

— Ой, какая же ты пригожая-то, девонька... верно, с зачетом к Ивану-то Матвеичу? — приветливо догадалась горбатенькая, снимая мыльную пену с рук.— А профессор-то наш, непутевый, третьевось в тульские Засеки со студентами укатил... ишь грех-то какой! — Она приласкала взглядом незнакомую девушку, украдкой любуясь то ли свежестью ее, то ли робостью.— Что-то не припомню я тебя... видать, новенькая?

Так было даже лучше для Поли: притти, утолить любознательность и уйти неузнанной; от первоначального плана не оставалось и следа.

— Я как раз новенькая...— кивнула Поля и улыбнулась через силу.

— То-то, я гляжу, руки-то дрожат. А ты не трясись, не зверь у нас Иван-то Матвеич. Эва, студенты-то души не чают в нем! Иные без дела, ровно в клуб, по субботам к нему забираются.— Она сообщала это с такой безыскусственной простонародной приветливостью, что нельзя, бессовестно было бы не верить каждому ее слову.— Сымай свою шляпочку, складай свои вещицы, у нас не украдут... Обещался вернуться засветло. Нет чего хуже, как я гляжу, в другой раз на экзамент собираться. Пойдем,

девонька, я тебя на хорошенькое местечко усажу, обвыкнешь пока,— прибавила она, замыкая дверь на засов.

Она пустила Полю вперед и не позволила на кухню заглянуть: «Нечего тебе чужую стирку глядеть!»,— а провела прямо в кабинет и усадила в протертое, заслуженное кресло; впрочем, кухня приходилась из двери в дверь, так что Поле поминутно слышны были то размеренный стук корыта о раковину, то плеск сливаемой воды. Стоило повернуть голову — и Поля, не подымаясь с места, могла ознакомиться с расположением и содержанием обеих комнат вихровской квартирки.

Трудней всего Поле было привыкнуть к мысли, что каждая пядь этого скрипучего, крашенного охрой пола была когда-то на коленях исползана ею, маленькой. Без сомнения, в былые годы детская у молодых Вихровых могла помещаться только в соседней,— гораздо меньшей, но самой веселой и солнечной из всех. Там в углу непонятно, подобно сметенному сору, лежали всякие разобранные механизмы, и виден был часовой токарный станочек на верстаке. Кроме того, накрытый тряпицей от пыли, висел мужской костюм на стене, железная кровать стояла под байковым одеялом, а из-под нее, сломясь в голенищах, выглядывали аккуратные, вроде и не отцовские сапоги; как Поля успела разглядеть, вихровская койка помещалась за книжным шкафом в самом кабинете. Значит, завелся тут кто-то третий, и тогда у Поли впервые родилось ревнивое желание хоть глазком взглянуть на человека, занявшего ее место у отца.

— Не скушно тебе там одной-то, девонька? — время от времени спрашивала горбатенькая с кухни.

— Нет, ничего, в самый раз,— стараясь попадать в тон ей, отзывалась Поля.

Все рушилось у Поли: обстановка квартиры до такой степени противоречила придуманному заранее, что казалась почти нищей, хотя здесь имелось все необходимое для жизни и работы, только с явным подчинением первого второму. Не было здесь плюшевых гардин, да они и не обязательны для жилища, где хозяева, по лесному обычаю, встают и ложатся со светом; не только золота не виднелось нигде, но и старинных, с позолотой, фолиантов, живописно нарисованных враждебным воображением, книг-олимпийцев, свысока, сквозь зеркальные

стекла наблюдающих бесполезную суету смертных. Лишь настоящему ученому нужны именно такие книги-труженики, с оборванными корешками и полосками исписанных вкладок: их можно марать заметками, совать в рюкзак перед экспедицией, даже употреблять для баррикадного боя, тем более что все не уместившееся на дощатых прогнувшихся полках громоздилось на подоконниках и даже подпирало потолок, увязанное в плотные, непробиваемые блоки. Как всегда, изощренная логика предубеждения неохотно отступала перед ясной логикой жизни... и тут Поле открылось, хоть и не сумела бы выразить это словами, что жизнь всегда умней и убедительней любых выдумок, какими люди из различных побуждений стремятся умножить красоту правды или усилить уродство зла.

По обиходу опрятной, двусветной комнаты, где сидела Поля, можно было сделать кое-какие выводы о характере ее хозяина. Наверно, то был жесткий к себе человек, не очень умелый в устроении собственного быта. Скупой на время, он не признавал никакой литературы, кроме той, какая помогала ему добиваться истины в его науках, но, судя по тематическому содержанию книг в ближайшем шкафу, он отправлялся за нею в самые отдаленные области знания. Немало и сам он побродил по России, чему свидетельством были десятка два деревянных изделий, каких за любые деньги не купить в столице,— резная спинка северной прялки, маленькая поэма в дереве, вологодский туес с киноварным всадником на бересте, гроздь расписных тамбовских ложек цвета старого меда, по заказу долбленные чаши из березового и орехового капа, чьей-то слепотой оплаченный резной ларец, пара изысканных девичьих, лощеного лычка, лапотков с деревенской золушки и другие бесхитростные сокровища, мужицким гением добытые в русском лесу. Ничто не указывало на какую-нибудь личную прихоть Вихрова, кроме, пожалуй... И тут, легонько приподнявшись, Поля разглядела за стопкой рукописей вещь, отливавшую настоящим золотцем и единственную здесь, на какую польстился бы вор. То была дорогая, в размер открытки, чеканной бронзы рамочка для любимого существа, и Полю соблазнила возможность без труда разведать кое-что о нынешних привязанностях Вихрова.

— То-то, гляжу, незнакомая... постарше-то я всех знаю,— снова и снова начинала из кухни горбатенькая,

стуча корытом в стенку.— А ты жизни-то не трусь... ничего с тобой сверх того не приключится, что тебе отпущено. И экзамены свои сдашь, и на работу укатишь, и деточек народишь, и станешь, ровно яблочко печеное, вроде меня, и посмеешься былым горестям своим. Ты, что же, лесоводство пришла сдавать али таксацию?

— Нет, я таксацию,— машинально повторила Поля неизвестное ей слово.

Чтобы скоротать время, горбатенькая спрашивала и еще что-то, а Поля отвечала наугад, не сводя глаз с золотого блеска на столе. Любой ее шорох вызвал бы подозрение на кухне... но, значит, река всегда сильней былинки. Поле удалось неслышно достигнуть отцовского стола. Рамка оказалась тяжелая, литой бронзы, и под стеклом находилась отличная, образец любительского мастерства, фотография молодой, неподдельно очаровательной женщины. В промокшем, облипнувшем сарафанишке, верно после летнего ливня, она сидела на гигантском пне, напоминавшем трон лесного владыки, причем откол служил ей высокой, готической спинкой, и безудержно смеялась с закинутой головой, как возможно это только при друзьях, после веселого приключения, и в самой ранней, беззаботной младости. Кто-то, лишний в этом документе и наискось отрезанный Вихровым, протягивал цветущую калиновую ветку, и рябое солнце пополам с брызгами дождя сеялось на голые ноги женщины с соскользнувшим грубым башмаком, на выдавшиеся вперед ключицы, потому что подпиралась руками при этом. Поля сперва узнала место,— только на Енгé еще встречались подобные растительные исполины; потом с холодком восторга она признала мать. Документ относился ко времени до замужества Елены Ивановны, когда та звалась просто Леночкой. И оттого, что никогда Поля не видала матери в такой легкой, почти беспечной радости, ею овладело необоримое желание тайком вынуть фотографию из-под стекла и унести с собою.

Она и сделала бы это, если бы скрип половицы не заставил ее обернуться. С порога, нащурясь и по-деревенски подпершись ладонью, на нее улыбалась горбатенькая.

— Поленька... что ж ты мне сразу-то не открылася, Поленька? — мягко, чтоб не спугнуть застигнутую врасплох, попрекнула она.— Аль ты меня не признала? Ведь

я Таиска, сестра Ивана-то Матвеича... Таиска я, не помнишь? — еще поразборчивей назвалась она в надежде, что звук ее имени пробудит в Поле детскую признательность к первой няньке, но ничего, кроме растерянности и смущения, не отразилось в полином лице, а та не посмела обнять племянницу влажными руками.— Да ты вглядись в меня, девонька!.. Чего там отыскала?

— Я тут маму свою нашла...— откликнулась Поля и поняла ошибку в определении возраста Таиски: лицо ее и впрямь походило на яблоко, только до срока сорванное, обвядшее, подсохшее на ветру, но что-то девичье, нерастраченное еще сохранилось в ее взгляде.

— Да и где меня запомнить, уж столько годов! — продолжала та, и морщинки заструились вокруг ее глубоко запавших глаз.— Ведь мы с тобой и не прощалися. Ивана-то как раз в командировку услали... тут тебя Леночка и увела с собою. Так в одну ночку все у нас и свернулося, как молочко...— Вдруг она засуетилась, всплеснула руками, стала на столе прибирать, чтоб чайком напоить гостью.

Как это в обычае у простых русских женщин, хотелось Таиске всплакнуть немножко и в обнимку до ночи просидеть, перебирая события невозвратных лет... Но после сделанных открытий об отце Поле было впору бежать отсюда без оглядки. Она старалась не думать, что означала находка на отцовском столе: и без того каждая лишняя проведенная здесь минута казалась ей изменой маме.

— Я сыта, и мне ничего не надо. Я ведь мимоходом забежала, в милицию прописываться шла...— твердила Поля без разбору, что в голову придет.

— Так ведь не разоришь ты нас, Поленька, мы богато живем. А к отцу-то можно и непрописанной... Ишь, кто-то по лестнице подымается, не Иван ли: вот и пообедаете рядком. Давай, говорю, шляпку-то, я ее на гвоздь! — и, как когда-то, ногой притопнула на непоклонную, но Поля не отозвалась на шутку, и та отступила, померкнув.— Где ж ты, доченька... аль у чужих людей где приткнулась?

— Нет, я у своей подруги старинной остановилась...— и опустила голову, защищаясь от ее глаз.

Тогда Таиска приняла рамочку из ее рук и бережно вернула на место.

— А можно бы и у отца... Эка квартирища, хоть табуны в ей гоняй, а жильцов трое всего! По утрам, как в лесу, перекликаемся...

— У меня все есть, мне ничего не надо,— упорно повторила Поля.— Так что вы не сердитесь на меня, Таисия... Таиса...

Она сбилась и замолкла.

— Матвеевной меня зовут,— с холодком подсказала горбатенькая.— Отца-то твоего вишь Иваном Матвеичем, а я старшенькой ему сестрицей довожусь. И правда твоя, чего у нас хорошего. Живем в отдалении... в театр ежели, так трамваем на полтора целковых ехать надо. Да и то сказать, старики нонче скушные пошли, мору на них нет...

Она по-старушечьи, насухо, вытерла губы тыльной частью руки и отошла от двери в сторонку, как бы выпуская пташку на вольную волю... но подняла глаза на милую Поленьку и простила ей черствую неблагодарность, такую понятную и по молодости, и по давности истекших лет.

— Коли не желаешь отцовских-то харчей отведать, девонька, дозволь уж, какая есть, вкруг тебя посидеть.

И, чтобы вторично не обидеть ясную и кроткую преданность Таиски, Поля примирилась с необходимостью подарить целый час престарелой тетке, для которой она была вдобавок и весточкой с родины. Горбатенькая сама была с Енги́, повыше Лошкарева, из Красновершья, живала в людях в Шихановом Яму и у брата в Пашутинском лесничестве, так что Поле пришлось описывать все известные ей по району изменения за минувшее время. Она покорно села у окна, выходившего на учебную рощу института; молодые сосенки выстроились там по линейке, такие непохожие на своих вольных енежских сестер, точно присмиревшие из опаски, чтоб не уволили их за нерадивость.

Как ни спешила Поля, разговор затянулся. На каждую мелочь Таиска отзывалась ответным воспоминанием и, не сдержавшись, обронила, наконец, три скупые слезинки о том, что хоть и грустное, а не воротишь. Слушать ее было интересно и немножко жутко, потому что каждое мгновенье Таиска в душевной простоте могла обмолвиться о чем-то самом главном, приоткрыть семейную тайну Вихровых, чему ревниво и целомудренно противилось все полино существо.

Чтобы отвлечь в сторону нежелательный разговор, Поля высказала вслух догадку, что раньше, *тогда,* этих сосенок в окошке не было. Оказалось, дендрарий был заложен при самом основании института, но, действительно, четыре гектара на правом крыле, уничтоженные на дрова в годы гражданской войны и разрухи, Иван Матвеич подсаживал самолично вскоре после перевода в Москву.

— И в ту пору они стояли там... твоего росточку были, Поленька. Как водила я тебя туда гулять, ты с ними за ручку здоровалася, ёжичками звала. Разве упомнишь: годков-то!..

Нет, Поля еще помнила их,— только не глазами, а, пожалуй, поверхностью исколотых пальцев. И оттого, что Таиска принялась описывать, сколько Иван Матвеич жизни вложил в эту крохотную рощицу, она спросила у тетки в упор о том, что так мучило ее все время пребыванья тут: за что же, если он *такой,* бранят ее отца?

— А как же, как же не бранить-то его?! — горько посмеялась горбатенькая.— За то и бранят, что лес бережет.

— От кого же он его бережет... от народа? — враз насторожилась Поля, и в голосе как бы струнка прозвенела, естественный отголосок постоянного стыда перед теми счастливцами, чьих отцов не бранят никогда.

— Не от народа, а от топора, Поленька. У топора глаз нету,— тотчас отвечала Таиска.— Железный он, на рукоятку надетый.

— Интересно, как же ему стеречь его приходится, лес... С ружьем, что ли, вокруг ходит?

— Разве обойдешь его весь-то! Вот он и пишет книжки про то, что все меньше остается лесу у нас. Сама же сказала, что уж за Пустоша́ принялися... Да ведь кабы он еще тайком зудил, отец, а то ведь все книжки у него проверенные и от начальства дозволенные...

— Постойте-ка...— перебила Поля, неподкупно отстраняясь от протянутой к ней руки.— Я только спросить хочу, кто же, ведь народ хозяин лесу-то? И потом: известно ли Ивану Матвеичу, какая стройка идет в стране... и зачем его рубят, этот самый лес?

Тонкими, не крестьянскими пальцами Таиска раздергивала на волокна какой-то подвернувшийся ей лоскуток.

— Видишь, Поленька... ведь он лесник, отец твой. Дело его такое, раз он к лесу приставлен. Скажем, заболела ты...

и нежелательно, скажем, Леночке тебя в постельке видеть. Вот и сбрехнет иной доктор-то в угоду матери, что ты здоровенькая. Ему-то что, ты ему чужая!.. Так ведь за такую неправду взашей гнать его надоть али даже в казенный дом сажать о сорока решетчатых окошечках... не так ли? Вот и он обманывать народа своего не желает...

Иначе объяснить она не умела, да и у самого Вихрова ответ на полин вопрос занял бы слишком много времени, каким, к несчастью, не располагала ни Поля, ни, судя по всему, ее страна. Таиска потерянно улыбалась, как повинную опустив голову. Она переставала узнавать свою Поленьку в этом гневном, вдруг таком непримиримом существе, хотя, с другой стороны, и самой Поле показались поспешными черные обвинения, брошенные на Вихрова.

— Конечно, мне трудно судить обо всем этом с налету,— оговорилась она, вся в пятнах смущенья.— Я даже не видала его никогда.

— Пойдем тогда, я покажу тебе твоего отца,— тихо сказала горбатенькая.

За руку она подвела Полю к стенке, где в фанерной любительской рамочке висела большая, человек на шестьдесят, групповая фотография, снятая давно, при очередном выпуске молодых лесоустроителей. Участники торжества были расставлены лесенкой, наподобие хора перед исполнением юбилейной кантаты и с тем лишь различием, что басы, которые поплотней и посердитей, довольно просторно сидели на стульях впереди, а один, явный регент с брюзгливыми усами,— даже и в кресле; прочие же с заметным уплотнением размещались в высоту, так что самые верхние стояли уже чуть спрессованные, вплотную и плечиком вперед. Неуместившаяся часть аспирантуры и служительский персонал с независимым видом полулежали на переднем плане, но Вихров, хоть это и было лет пятнадцать назад, уже самостоятельно сидел, правда — пока еще крайним справа и опершись на чужое колено, чтоб попасть в поле объектива. На каждую личность приходилось не более квадратного сантиметра, но Поля отлично разглядела отца; ей даже почудилось, без особой, впрочем, уверенности, что однажды и не так давно она не только встречалась, но и беседовала с ним, однако самых обстоятельств припомнить уже не могла.

То был некрупного роста, сухощавый человек с бород-

кой, отпущенной по старым традициям лесного ведомства, с большими взлохмаченными бровями, круто приподнятыми вспышкой какого-то внезапного осенения; косой пробор с оторвавшейся на лоб прядью придавал ему внешность мастерового полуинтеллигентной специальности. Он ничем не походил на *того,* ненавистного ей, ожиревшего в довольстве, Вихрова.

— Теперь-то похуже он стал, мой Иваша, обносился... не король. Годы-то туды идут, милая, а не сюды!

Поля помолчала.

— Скажите, он носил когда-нибудь очки... золотые?

— Никогда. У нас, у Вихровых, все и без стекла глазастые, а к чему тебе?

— Так, воспоминание одно... Это он сам рамочку выпиливал? — отходя, спросила Поля.

Таиска правильно поняла, что ее вопрос выражал лишь степень ее замешательства. Нет, рамочку мастерил сынок Ивана Матвеича, Сережа, появившийся в их семье вскоре после леночкина отъезда. По отзывам горбатенькой, это был славный паренек, одногодок Поле; он и занимал теперь угловую, бывшую детскую Вихровых.

Вот так же весной бывает на речной пойме, когда после спада вешних вод клочками проступают в разливе знакомые полуобсохшие островки. Постепенно, по каким-то ускользающим признакам, Поля узнавала отцовскую квартиру. Одну из полок сверху донизу занимала коллекция разнопородных, с продольными и торцовыми шлифами древесных брусков, вначале принятая Полей тоже за книги. В сущности, то и были книги о почвах и климатах земли, только очень ёмкие и лишь ученому доступные для прочтения. И как полтора часа назад — паровозный гудок, теперь запах сухой древесины повел Полю назад, в детство. Обострившимся зрением она глядела сквозь холщовую, свисавшую до полу карту советских лесов и видела за ней, без красок, как во сне, другую комнату, потемней и поменьше... и там, на чем-то пушистей травы, она сама воздвигает башенки из деревянных кирпичиков.

— Здесь дверь должна находиться, за картой... можно мне туда? — с внезапным речевым затруднением спросила Поля.

— И верно, угадала, быстроглазая ты моя,— обрадовалась Таиска.— В твою-то пору там спаленка ихняя

помещалася, родителей твоих... нынче ее садоводу Дидякину отдали с семейством. Ничего, человек бесшумный, непьющий вроде Ивана, покладистый.— Она размашисто оправила платок и вздохнула.— Раздумаешься этак-то... жить бы им вместе годков тыщу, пока очей в одночасье не закроют, а вишь, как обернулося!

Следовало ждать, что сейчас тетка приподымет последний пласт памяти и покажет родительскую тайну, пахнущую запретным тленом. Поле стало тошно и жутко, она потянулась за шляпкой. Напрасно уговаривала ее Таиска посидеть до отца, посмотреть забытые леночкины вещи, заботливо сбереженные ею для законной наследницы. Вниз по лестнице спускалась через ступеньку; запыхавшаяся Таиска догнала племянницу на улице, чтобы отдать забытые свертки.

— Ты уж навести нас еще хоть разок, девонька,— просительно шепнула она напоследок.— То-то праздник ему будет, старику!

— Непременно, вот устроюсь немножко и прибегу...— кивала Поля с решимостью не возвращаться на это место никогда.

4

Домой Поля отправилась пешком, чтобы выветрить из себя жестокую путаницу чувств и догадок; на полдороге ее, обессилевшую, подхватило метро. Потом она шла по той же улице Веселых, как она мысленно окрестила ее в еще не написанном письме к матери, но теперь люди ей попадались только пожилые, озабоченные, с глазами, устремленными в себя. Поля так устала, что на обследованье факира вовсе не оставалось ни охоты, ни сил.

Варе она ни словом не обмолвилась про свое путешествие в детство,— просто ей захотелось совершить коекакие последние шалости, еще допустимые сегодня и уже предосудительные завтра.

После обеда занялись разбором полиных покупок, и Варя лишь головой покачивала на причуды младшей сестренки, всего на полдня оставленной без присмотра.

— Мне просто плакать хочется, глядя на тебя, Полька! Среди лета варежки зачем-то приобрела... ну ладно, зимой их может и не оказаться в продаже. Я даже согласна

простить тебе эти детские кастрюльки,— они... приятные. Но куда тебе столько мыла? И потом... ты что, миллионерша, самое дорогое покупать?

— Мне, знаешь, оно так по цвету понравилось! — подкупающе улыбнулась Поля.— Посмотри, какая чудесная гамма получается...

— Отказываюсь понимать. А ландышевые капли... разве ты больна?

— Видишь ли... У них такое красивое названье!

— Пора тебе за ум взяться, Поля... Как-никак, ты уже наполовину студентка,— рассудительно выговаривала Варя.— Ну, подумай, кто порешится такому легкомысленному существу поручать стройку жилого дома! Теперь объясни по крайней мере, как ты намерена применить в своей будущей деятельности купленный тобою словарь итальянского языка?

— Ну, знаешь ли! — не на шутку вспылила Поля.— Жизнь широка, и никому пока не известно, что ему пригодится впоследствии. Да ты сама, сама можешь предвидеть, что́ тебе самой потребуется через полгода? А вдруг меня пошлют, скажем, во Флоренцию, для изучения архитектуры... что я буду делать там без языка?

О, разумеется, все это можно было достать и у себя, в лошкаревском кооперативе, но там у товаров не было оттенка московской новизны и все они слегка припахивали сыромятной кожей либо керосинцем.

— Кстати, телеграмм мне не было? — с деланым равнодушием спросила Поля.

Их оказалось шесть, и в одной, кроме Павла Арефьича, расписались все ближайшие соседи со псом Балуем в самом конце, две — от подруг, четвертая — своя; от мамы имелась отдельная. Шестая, самая сдержанная, всего в три слова, пришла из Казани, и, судя по цифрам в уголке, отправлена она была в тот же час, когда и Поля стояла у телеграфного окошка. Все поздравляли ее со вступлением в совершеннолетие, и Поля зажмурилась от счастья: отлично жить на свете, когда ты в нем не одна. И как смешно, что мамочка перед отъездом пугала ее ужасами столичного существованья...

— Дуется несчастный Родиошка, всего на три слова расщедрился!.. На всякий случай я ему все же напомнила телеграммой про день рождения, чтоб не забывался.

Неизвестно, как там дальше сложится, но пока парадом командую я...— и, обхватив подружку, Поля закружилась с нею, насколько это было возможно в тесном проходе между кроватью и столом.

То был неповторимый вечер, каждая подробность его представлялась впоследствии клочком драгоценного сновидения. А так как нельзя в такой праздник обойтись без гостей, Варя постучала соседке, и попозже, уложив внучку, та зашла поздравить Полю с новосельем.

Втроем, не зажигая света, они пили чай с вареньем, черешней, засахаренными орехами, и когда было обсуждено все, от покроя новых платьев до событий в Западной Европе, они сидели молча, глядя на полин букет, подсвеченный отблесками закатных облаков.

Наталья Сергеевна ушла поздно: перед сном Варя поделилась вполголоса скудными сведениями о своей соседке. Жильцы дома в обиходе между собою звали ее дамой треф; седые волосы, валиком уложенные на голове, оставляли впечатление коронки. Она и ее внучка были единственные, уцелевшие из когда-то обширной семейной колоды. Догадывались, что она не легко расплатилась за легкость прежней жизни, но никто не слышал от нее жалоб, даже когда месяца два назад в уличной катастрофе погибла ее дочь, секретарь в одном лесонаучном учреждении; по слухам, бабушке с Зоенькой предстояло выселенье из ведомственного дома... В общем Варя почти ничего о ней не знала.

«Наверно, она была красива в молодости»,— вслух подумала Поля уже в кровати.

— Да...— откликнулась Варя, глядя в синюю пропасть за балконной дверью.— Кстати... мне писали, что Коля Бобрынин женился. Это правда?

— Еще прошлой осенью! Ему давно нравилась Нина Цыпленкова. И занятно... года два назад мы играли в *желанья,* и он написал мне в записке, что хотел бы иметь сердце из нержавеющей стали, хвастун! А на поверку бросил ученье, комсомол и в церкви с Нинкой венчался. Да еще Родиона в шафера приглашал... ты понимаешь, наглость какая?!

— Ну, видишь ли, всякое случается с людьми,— откликнулась Варя и зевнула, и Поля поняла, что это фальшивый зевок.— Завтра много дел, давай спать.

Они еще долго лежали без сна и молчали, каждая о своем. За балконом пошелестел теплый ночной дождик. Перед Полей плыли потускневшие лица и события дня. Видения распадались тотчас по возникновении, и дольше всех держался в памяти паренек с вокзала. О, повторись ее приезд еще раз, теперь она проучила бы чумазого цыганенка за непрошенное покровительство! Она прогнала его, и на смену тотчас пришел Родион. Украдкой они поднялись на чердачишко, и потом он стал читать ей новые стихи, написанные уже после полиного отъезда, чуть нараспев и прислушиваясь в паузах, не идет ли кто, потому что свою прикосновенность к поэзии считал слабостью, недостойной не только математика, но и любой мыслящей личности.

В эту ночь фашистские самолеты сбросили первые бомбы на спящие советские города.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Профессор вернулся часом позже полиного ухода, и сестра до ночи не решалась сообщить ему о посещении дочки. Цель своей незадавшейся жизни Таиска полагала в заботах о брате и в охранении его от всяких, как она называла, уязвительных огорчений. К брату Ивану она пришла однажды после пятнадцати лет разлуки, в бытность его пашутинским лесничим, пришла просить лесу на починку их завалившейся избицы в Красновершьи, но задержалась до ночи за пришивкой пуговиц к одежде холостяка, да так и прижилась навечно. Собственно они были сводные, от разных матерей, так что вовсе не сознание родства или своей бездомности заставило ее впоследствии тащиться вслед за братом в столицу.

По безответной легкости характера, по исполнительности, по отсутствию сторонних привязанностей она везде пришлась бы ко двору, а с физическим несчастием своим, случившимся еще в младенческую пору, давно свыклась, как другие свыкаются с богатством и красотой. К тому

же она не шибко разбиралась в вихровских идеях насчет сохранения лесов, а просто пожалела его сперва, хромого и одинокого, а потом поверила в святость его дела, потому что не гнался, как другие, ни за быстрой славой, ни за личной корыстью. Они так сжились, в особенности после побега Леночки, что понимали друг друга с полуслова, и оттого в доме стояло постоянное безмолвие, столь удобное для писания всяких ученых сочинений. Обычно на исходе вечера Таиска заходила к брату условиться про завтрашний обед и обсудить события дня, а когда счастливо обходились без событий, то отсиживали положенный срок в полном молчании, как делали это в старину енежские мужики, на избяных завалинках, с потухшими трубочками, перед сном. Усыновление Сережи не изменило заведенного распорядка, и, пожалуй, именно эти вечера сплавили их, троих, таких разных, в дружную и прочную семью.

В тот раз Сережа задержался на работе, и на вечернюю посидку Таиска зашла одна. Ночные бабочки кружились вкруг настольной лампы, а сам Иван Матвеич, уже без пиджака, глядел в открытое окно на свой искусственный лесок, откуда влажная, как от реки, тянулась прохладка.

— Ладно уж, докладывай, что там у тебя приключилось,— сказал он через минуту, не оборачиваясь.

Никаких особых новостей у Таиски не оказалось, кроме одной, а именно, что в полдень забегал Грацианский, расспрашивал, куда и зачем укатил хозяин, причем, всегда такой скользкий, с холодящим смешком, он показался ей в тот раз озабоченным, как бы невыспавшимся, и обычного жальца не показывал, а, напротив, посильно старался утешить старуху в ее недобрых предчувствиях. Действительно, визит его носил на себе некоторый оттенок чрезвычайности. Как часто бывает к старости, человек этот давно перестал быть вихровским другом, хотя и продолжал числиться среди его старых товарищей. Они вместе в 1908-м поступали в Лесной институт, и если бы не двухлетняя административная высылка Вихрова из Петербурга, в 1911-м, вследствие чего и завершил образование лишь в самый канун первой мировой войны, они в один и тот же год вышли бы на служение русскому лесу. Однако эта вынужденная и в конце концов несуществен-

ная разница придавала Грацианскому видимость старшинства, навсегда удержавшуюся в их отношениях.

Собственно, судя по тематике их дипломных работ, в дальнейшем исключалась всякая возможность соперничества, однако их практическая деятельность протекала в тесном — не то чтобы соревновании, но в крайне обостренном, временами даже бурном соприкосновении, что представлялось окружающим вполне естественным при полном несовпадении их научных воззрений. В этой знаменитой полемике Вихров занимал пассивную позицию, не имея склонности ввязываться в публичный поединок с сильнейшим противником, однако было бы преждевременным считать вихровское поведение признаком слабости, высокомерным пренебрежением к указаниям, так сказать, старшего товарища или же добровольным признанием совершенных ошибок.

Никто не помнил, с чего началась эта поучительная, оставшаяся не освещенной для широких советских кругов, распря Вихрова с Грацианским, но с годами лесная общественность как-то привыкла ждать после каждой крупной работы первого не менее основательной по силе удара, даже с преимуществом безнаказанной страстности, статьи второго, настолько привыкла, что обычно рецензии на очередную книгу Ивана Матвеича не появлялись в специальной прессе, пока не высказался о ней сам Александр Яковлевич; в шутливых кулуарных разговорах это так и называлось *наколоть из Ивана щепы.* У любителей изящной словесности, несведущих в скучных вопросах лесоустройства, статьи эти, неуязвимые по силе формулировок, блистательные по стилю, вызывали похвальные сравнения с речами Жореса, памфлетами Марата и, как-то раз, в одном иностранном журнальчике — даже с филиппиками Цицерона против Катилины, после чего, к чести самого Александра Яковлевича, он целую неделю озирался и выглядел не только сконфуженным, но даже как бы смоченным чем-то неподходящим. Старые лесники помалкивали, чтоб самим не попасть под лупу обстоятельного разбора, но некоторые утверждали доверительно, что маленькие, порой всего на страничку, ругательные шедевры Грацианского не составляют вклада в большую науку. И действительно, как по соображениям доходчивости до читателя, так и — секретности профессор

Грацианский обычно не приводил в своих статьях ни цифр, ни личных позитивных предложений; их подкупающая скромность в этом смысле даже слишком как-то бросалась в глаза. Но пускай и маловато в них было о самом лесе, пускай временами они лишь усиливали и без того запутанную лесную неразбериху, как о том шептались в закоулках вихровские единомышленники, раскрывая свою нетерпимость к обстоятельной критике, зато Грацианский всякий раз обнаруживал всестороннюю, к сожалению — кроме самого леса, эрудицию, разящий сарказм, а в последние годы и великодушную недоговоренность об истинных причинах вихровских заблуждений. Словом, из всех снисходительно-умеренных критиков Вихрова это был наиболее грозный, деятельный, осведомленный в мелочах вихровской подноготной и до такой степени удачливый, что за последнюю четверть века репутация Ивана Матвеича не просыхала ни на сутки.

Перечисленные обстоятельства не мешали им встречаться, чаще всего на служебных заседаниях, и по праву студенческой близости сразиться иной раз на злободневные темки отечественного лесоустройства. В подобных случаях Грацианский проявлял к бывшему приятелю какую-то просветленную, даже братскую терпимость, сопровождаемую двусмысленно печальными вздохами — дескать, мы-то понимаем с тобой, брат, напрасность взаимных огорчений, но что поделаешь: эпоха! И хотя это вовсе не относится к делу, почему-то глаза у Грацианского раздваивались при этом, так что один проникновенно и, можно сказать, вполне перпендикулярно уставлялся в переносицу собеседника, другой же отъезжал в сторону и чуть поверх плеча, куда-то в недоступный никому тайничок... И все намекал на необходимость встретиться как-нибудь за бутылкой кисленького, однако к себе почему-то не приглашал, а собирался сам нагрянуть к Вихрову, чтобы уж разом обсудить скопившиеся мировые проблемы и, между прочим, вспомнить ту благословенную пору, когда вместе, из одного котелка хлебали фасольную похлебку в одной греческой кухмистерской на Караванной. Мимоходом стоит отметить, что, происходя из обеспеченной семьи профессора санкт-петербургской духовной академии, Александр Яковлевич никогда в кухмистерских не питался, да и помянутый грек подавал пищу исключительно на фаянсовых тарелках,

но так выходило складней, нарядней для слушателя, а Иван Матвеич, к стыду его и невзирая на вскипавшее в нем глухое бешенство, ни разу не опровергал этого романтического, довольно частого у людей на склоне лет округления действительности.

Как бы то ни было, у Грацианского имелся незаурядный ораторский талант в сочетании с коварным умом и твердой, дробящей препятствия волей, впрочем — не всегда в согласии с вечно юным мятущимся сердцем. Именно он, Саша Грацианский, единственный из старых друзей, включая Чередилова и Валерия Крайнова, пребывавшего, впрочем, в частых отъездах, предлагал Вихрову деньги после его крупнейшей творческой неудачи в 1936 году, причем в довольно значительной сумме и как будто даже без отдачи... Эпизод этот, подкупавший проявленным в нем участием к судьбе поскользнувшегося товарища, заставил Вихрова призадуматься о противоречивом характере своего противника, полном неврастенических бросков то в непоказанную ему лесную науку, то в историю русского революционного движения, то, наконец, в политэкономию... он в ней и застрял без каких-либо заметных достижений, если не считать томика помянутых статеек по такому ничтожному поводу, в масштабе его дарований, как вихровская особа.

В надежде доказать при свидании свою правоту Вихров наказал сестре запастись кисленьким, но вскоре после того, уже в центральной печати, Грацианский разразился самой убийственной из своих статей, где подводил итоги всем многолетним попыткам Вихрова лимитировать социалистическое строительство, и, значит, стремление к истине еще раз одержало в Грацианском верх над личными влечениями сердца, если уж решился назвать вещи своими именами. Тот заключительный удар, нанесенный под самое ребро недрогнувшей рукой и несмотря на старинное приятельство, в чем со стариковской горечью не преминул покаяться между строк, почему-то не завершился соответственными *оргвыводами* в отношении Вихрова, как говорили тогда — из-за вмешательства высших партийных органов. Однако очередной провал, естественно, настораживал вихровских единомышленников, отсекал у него часть колеблющихся друзей и учеников, раскиданных по всем лесам Союза, и самого Вихрова заставлял поразмыслить

еще раз, правильно ли выбрал себе профессию... Так завершился их разрыв, назревавший столько лет, и в этом свете визит явного врага, как ни в чем не бывало и всего месяц спустя после погрома, становился выдающимся и загадочным происшествием.

Единственное объяснение следовало искать в возникшей у Грацианского потребности примирения, что также случается иногда к старости, но и оно отпадало для пристального наблюдателя. Теперь такого рода поворот означал бы отступление, капитуляцию, даже крушение Грацианского, слишком мало вероятное в связи со слухами о предстоящем выдвижении его в члены-корреспонденты Академии наук. Разумнее было бы искать причину в повышенной, почти сейсмографической чуткости Грацианского ко всем колебаниям и политическим изменениям в окружающей обстановке. Иван Матвеич всегда верил, что именно его, вихровские, идеи, зародившиеся из патриотических и научно обоснованных мечтаний передовых русских лесоводов, когда-нибудь найдут широкое признание в народнохозяйственной практике. Однако великая битва за лес длилась уже полтора века, и было бы самонадеянностью полагать, что как раз Вихров увенчает ее победой... Он запутался в мыслях и молчал.

— Уж решила по дурости, не мириться ли, часом, дружок-то прискакал,— делилась своими недоуменьями Таиска.— Побежала я на кухню за чаишком, глянула, а уж он, батюшки, вокруг стола твоего кружит и бумаги разные вроде как со скуки шевелит. А чего ему там, при твоем столе?

— Надо думать, брильянты наши фамильные собирался покрасть. Погоди, я ужо кадушку железную для них заведу,— отшутился Иван Матвеич не столько от подозрений, сколько от сочувствия сестры, и осведомился, следуя начальному ходу мыслей, купила ли винца на всякий случай.

Таиска призналась, что взяла кагорцу; по ее крестьянским понятиям, жалко было деньги изводить на кислятину, в которой ни радости, ни крепости.

— Ты от дела-то не отвертывайся,— погрозилась она.— Хуже волка его страшусь, заклятого дружка твоего.

Вообще же она и представления не имела о размере неприятностей, доставляемых брату этим человеком.

— Волков бояться — в лес не ходить! В прежние годы лесника потому в военную форму и рядили, что он есть караульщик при лесной казне, тот же солдат... а солдату трусить не положено.

— Вот я и говорю: уж сдавался бы ты, шел бы на поклон, пока не поздно,— сказала сестра со зловещей прямотой.— Повалит он тебя, как учителя твоего повалил.— Она подразумевала раннюю гибель видного лесного теоретика Тулякова, с чего и началась блестящая карьера Грацианского.— Пришел ты из лесу и возвращайся в лес. Детки подросли... много ли нам с тобой надо? В лесные-то обходчики примут тебя, на ходьбу крепок пока. Отведут нам с тобой избушку на кордоне, и стану я тебе по праздникам пироги с морошкой печь!

Обычно Иван Матвеич начинал сердиться: не любил такого рода искусительных напоминаний, подрывавших его силу.

— Видишь ли, сестра, деревья на краю леса получают больше света и пищи, без утесненья растут... оттого повыносливей. Вот и меня природа поставила вроде дуба на опушку, для ограждения от напрасного ветровала. Как же мне уйти отсюда?.. корешки себе же рубить придется, а?

Но на этот раз под шуткой скрывалось уже полусозревшее согласие съездить заблаговременно на Енгу́, погостить, приглядеться, примериться к черновой работе, с какой начинал себя ровно четверть века назад; теперь уже самый малый толчок заставил бы Вихрова привести свою мысль в исполнение. Вдобавок его давно тянуло побродить по родным местам и, пока спина гнется, поклониться зеленой колыбели, откуда впервые увидел свет.

Тогда, бессильная повлиять на брата, Таиска сама разъершилась, как лесная птица.

— Ой, Ивашка, не смеялся бы!.. Столько годов шумишь, а толку-то! Эва, за Пустоша́ твои принялися!..— прикрикнула она, зная его слабое место.

Пустоша́ми звался один знаменитый бор на Енге́, помянутый еще в указах Петра; там зарождалась тихая Склань, священная речка вихровского детства.

— Приехал кто-нибудь или письмо получила?.. кто тебе наболтал про Пустоша́?..

Здесь-то и открылось то самое, что Таиска сбиралась утаить от брата. И так безрадостно сообщила она про

полино посещенье, что у Ивана Матвеича сердце сжалось от дурных предчувствий. Полагалось бы поподробней расспросить о дочке, а он боялся, потому что в самом тоне сообщения уже заключался ответ.

— И что же... выросла она?

— Такая ладненькая да аккуратная получилася, косомолочка, а ндравная... видно, в бабку Агафью вышла,— и поделилась с братом теми крохами знаний, что удалось ей выпытать у Поли.

— Может, нуждается в чем-нибудь... адрес-то свой оставила?

— Вот про адресок-то и забыла я в суматохе...— И вообще одну себя считала она виноватой в том, что Поленька не согласилась поскучать с нею до возвращения отца.— А промежду прочим, шляпочка на ей аккуратная, желтая соломка, и сарафанчик нарядный такой, осыпного горошку. Сама и шила, хвасталась...

Она явно не договаривала главного; тогда Иван Матвеич подсел рядом, взял за руку и слово за слово заставил сестру раскрыться до конца. Впервые возникало одно соображение, никогда раньше не приходившее в голову: конечно, разоблачительные отчеты Грацианского о его сомнительной и даже опасной для государства деятельности редко появлялись в общей печати, но как раз все лесные издания неминуемо достигали Пашутинского лесничества и могли попасть его дочери на глаза.

— И что же... бранилась, выспрашивала она про меня?

Как ни пыталась Таиска оправдать Поленьку, все же не обученная лгать или беречь свои тайны, проговорилась про неподдельное детское презренье, прозвучавшее в ее единственном вопросе о сущности вихровских идей. Значит, прочла дочка и осудила, отреклась и умножила собой лагерь его недоброжелателей.

Потухший, с изменившимся лицом, Иван Матвеич отошел к окну и глядел в ночь перед собою.

— Чего же ты замолк, лесной солдат? Сражайся! — с сердцем добила его со спины Таиска.

Он потерянно молчал. Лишь немногие в стране обладали достаточными знаниями — разобраться в лесной путанице, носившей, по его ошибочному мнению, чисто ведомственный характер. Конечно, с самого начала ему следовало заниматься своим прямым и скромным лесниковским

делом, не впутываясь в высокую лесохозяйственную политику. Так случилось, что первой же книгой своей он поддержал тогда еще не скомпрометированное научное течение так называемого непрерывного лесного пользования, но, пожалуй, повторил бы свою оплошность и теперь, если бы даже предвидел, какой оборот это может принять в глазах незрелой советской молодежи... а именно ради нее он и возлагал на себя труд и лишения своего ремесла. Что-то подсказывало ему теперь, что отныне свою вводную лекцию на первом курсе, вступительный разговор с молодежью о русском лесе, он не сможет читать с прежней уверенностью и без тоскливого ожидания получить в ответ булыжное словцо, где спрессуются все заработанные им обвинения.

Надо оговориться, Иван Матвеич давно примирился, что в списке гражданских призваний того времени его собственная профессия занимала одно из последних мест. Любое прочее: работа на хирургическом столе, геологическая разведка, строительство гидростанций, уборка неслыханного урожая без потерь, вождение военных кораблей в атаку, создание хитрых машин, умножающих количество рабочих рук, испытание пробного самолета и тысячи других специальностей — справедливо представлялось во мнении народа подвигами, требующими предельного духовного напряжения и доблести. Во всех помянутых областях возможны были также поиски новых горизонтов, ускорение производственных процессов, великие открытия, имевшие первостепенное значение для народного благосостояния и здоровья; там правильность расчетов, искусство мастера, количество затраченного труда проверялись в одном уплотненном, заключительном результате, доставляющем всеобщее признание, правительственные награды, авторскую гордость, причем такие свершения могли повторяться неоднократно до той поры, пока не наступит роковой час подведения итогов.

Всего этого, в глазах Ивана Матвеича, была лишена деятельность лесовода, рассчитанная на исполинское долголетие и подчиненная законам скупого накопления растительных клеток. Правда, в ней наиболее ярко сказывалась подлинная социалистическая эстафетность, если разуметь соавторство поколений в преобразовании планеты. Требовались две и даже три творческие жизни, чтобы вырастить

полноценное промышленное дерево; если же стремиться к единственно правильной, так сказать, многопольной системе, с чередованием лесных пород, потребовались бы века. Наука же еще не владела умением выращивать корабельную сосну в пятилетку... и потому нет пока памятников лесоводам на земле!

Еще меньше надежд на быстрое признание современников приходилось на долю рядовых работников лесоустройства, представляющего собой систему лесохозяйственных изысканий и технических расчетов для составления плана рубок с возможным увеличением продуктивности лесов. Вдобавок по возрасту и положению в науке сам Вихров был уже избавлен как от изнурительных скитаний по непролазным лесным дебрям, так и от писания никем не читаемых отчетов о миллионах исхоженных гектаров. Газеты той эпохи набатно звали к непрерывному трудовому героизму, а профессия Вихрова не содержала в себе таких возможностей; ему нередко ставили на вид, что продолжительность жизни лесников стоит всего лишь на четвертом месте после пчеловодов, священников и садовников, а основное их заболевание — ревматизм, от которого не умирают. Вот отчего, порой, называя свою должность, Иван Матвеич испытывал мучительную неловкость, как если бы состоял хранителем Большой Медведицы или смотрителем черноморского пейзажа. Утешением служили письма многочисленных учеников да сознание, что в таком же положении находится целая армия безвестных тружеников леса, раскиданных по глухоманям и зачастую лишь через детекторный приемник связанных с благами современной цивилизации.

Подобные припадки совести можно было лечить лишь щепетильной честностью в отношении к делу и оттого, что сам он уже не сажал лесов, величайшей осторожностью в применении почти единственного своего инструмента: рубки. Однако страна требовала лесоматериалы во все возрастающих количествах, а при сохранении прежних расчетов и скоростей, а также взглядов на лес как на сам по себе возобновляющийся божий дар это могло привести к вовсе уж нежелательным и непоправимым последствиям. Поэтому у Ивана Матвеича и сложилась привычка проверять свою деятельность не количеством наград, которых у него не было, не чувством сомнительного творческого удов-

летворения от выпуска еще одной обруганной книги, а прежде всего приблизительной прикидкой, как его усилия отразятся на благополучии грядущих поколений.

Поля приходилась ближайшей к нему в этой вереницс потомков, так что суждения ее не были безразличны Вихрову. Получалось на поверку, что впустую ухлопал больше чем полвека, если после такой разлуки даже поклонишка от родной дочери не заслужил.

— Да, ты права, сестра...— согласился он, постукивая пальцем в стол.— Вот съезжу-ка я на-днях туда, на родину, Пустоша́ мои навещу, помокну под дождичком, с птицами посоветуюсь... хорошо! Ступай пока, ложись, твое дело сделано. Тут уж я как-нибудь и один разберусь,— с горечью прибавил он и махнул рукой.

Так начался второй и более обстоятельный, чем даже после бегства жены, пересмотр самого себя, а главное — что же именно происходило в ту эпоху и какова его человеческая должность в ней. По его убеждению, Октябрьская революция была сражением не только за справедливое распределение благ, а, пожалуй, в первую очередь, за человеческую чистоту. Только при этом условии, по его искреннему убеждению, и мог существовать дальше род людской. И если прогресс наравне с умножением средств благосостояния заключается в одновременном повышении моральных обязанностей, потому что только совершенный человек способен добиться совершенного счастья, для этого надлежало каждому иметь и совершенную биографию, чтоб не стыдно было рассказать ее вслух, при детях, в солнечный полдень, на самых людных площадях мира. С этой точки зрения, принадлежавшей Валерию Крайнову, с особой наглядностью представало, насколько человечество нуждалось в великом очищении через грозу и бурю.

...Валерий был однокашником Вихрова по институту, старшим товарищем и вожаком их неразрывной когда-то петербургской четверки. Для него вообще не существовало неразрешимых узлов даже в тот, казалось бы, безвыходный период отчаянья, царских провокаций и распада общественных сил. Он обладал ясным, прозорливым умом ленинской школы в сочетании с даром почти научного предвиденья, и Чередилов, подобно Грацианскому, происходивший из духовного сословия, в шутку именовал его в тот период наставником и праотцем социалистических

человеков. Вместо лесоводства Валерий ушел сперва на партийную работу, потом много лет провел за границей на посту советского посла; как нередко случается у русских друзей, Вихров встречался с ним не чаще раза в десятилетие. Переписки не получалось; личные события современников совмещались тогда с общественными,— о них быстрей было прочесть в газетах. Но всякий раз, попадая в трудность, Иван Матвеич мысленно привлекал его в собеседники, и таким образом они вдвоем решали наиболее сложные уравнения действительности.

Так было и теперь:

«Определи же свою цель, возможно объемней и грубей»,— сказал Валерий.

«Я ее знаю. Она в моих книгах».

«Проверь ее на будущем».

«Не вижу иного способа помочь ему».

«Тогда делай... и если не достигаешь цели, еще раз прикинь дорогу, которой ты шел к ней».

...Чтобы утром, до лекций, выпростать время для личной работы, Иван Матвеич ложился рано. На протяжении последних лет то была первая ночь, проведенная им на ногах; впрочем, на завтра приходился выходной день, воскресенье 22 июня. Все ходил по комнате, пятнадцать шагов по диагонали, заглядывая в каждую щелку своего прошлого. Неизменно, при повороте у стола, в поле его зрения попадал незаконченный очерк о раке обыкновенной сосны. Работа резко выпадала из круга вихровской специальности и не предназначалась для печати... но наступают моменты у стариков, когда они торопятся закрепить на бумаге неизрасходованный опыт по любимому предмету. Сейчас эти пространные, мелким почерком изложенные рассуждения о вредном для данной породы соседстве осины мнились ему преступной чепухой в сравнении с тем, что полагалось ему свершить в жизни и достигнуть чего не сумел.

2

Остановясь, он вглядывался в желтоватые листки рукописи и, как сквозь осеннюю успокоенную воду, видел там, на дне, свою детскую сказку; горьковатый привкус убеждал его в ее достоверности. Любая зрелость начинается с

разоблачения сказки, а в этом смысле мальчик Иван довольно рано узнал, из каких незамысловатых лоскутков, при лучине, сшивались увлекательные народные сказы, и как сказочно, с песней да поножовщиной гуляет перед паводком сплавная вольница, и как посылают ходоков на поиск сказочной крестьянской правды, и как скупо, бесслезно женщины плачут на сказочной Руси. Однако, если пренебречь скудостью пищи и бедностью крова, к чему всегда равнодушны крестьянские дети, то жизнь Ивана Матвеича началась как раз в сказочном богатстве, потому что владел игрушками, недоступными и заправдашнему богачу.

Достойно удивления, как умещались на планете необозримые пространства, входившие в круг мальчишеских владений и населенные легендарными созданьями. На пойме за Горынкой расхаживал меднокожий, трактирщика Золотухина, бык с железной серьгой в ноздре, а в барской усадьбе, что белела близ излучины на высоком берегу, сам престарелый барин Сапегин ежевечерне постреливал ворон, мешавших ему сосредоточиться на осмыслении превратностей византийской истории; в полузаросшем русле старицы ютились русалки, и в послегрозовые летние вечера видать было с Шабановой горы, как, простоволосые, караулят они православных в намерении защекотать их проворными шелковистыми перстами... и, наконец, в ближнем дремучем лесу, на Облоге, проживала мохнатая *блазна,* местная разновидность нечистой силы, с не менее странной прихотью валить лес по осени. Чуть полночь, даль оглашалась стуком топора по звонкому смолевому стволу, томительным хрипом падающего дерева, прощальным всхлестом вершинки, но малолетние исследователи ни разу не находили там ни щепы, ни пня...

И вот как выглядела топография тогдашнего мира. В центре его, при слияньи Склани с Енгóй, сползало к воде Красновершье, а вокруг — зеленые, синие и голубые — ступенчато простирались леса. От барской усадьбы деревеньку отделяла сосновая, десятин на полсотни роща, чье местоположенье определялось самым названием — Заполоски. С востока клином спускалась в овраг, тоже сапегинская, часть громадного Облога, а непосредственно за ним синели казенные неприступные Пустошá. Они пребывали в постоянном тумане, и над ними вечно дождик моросил, потому

что, по непроверенным ребячьим слухам, небо в том месте вплотную смыкалось с землей. Главная тайна этого древнего бора, тщательно продуманная Иваном совместно с первейшим его дружком, Демидкой Золотухиным, состояла в том, что, чем дальше, тем выше росли там деревья, так что кудлатые кроны их сокрывались в облаках, благодаря чему обыкновенная белка могла взбираться по ним в самую высоту и грызть там свой орешек, усевшись на излучинке молодого месяца. А уж оттуда было рукой подать до бездонного каменного обрывища, и в нем ни рек, ни травки, ни печали земной, а только дымно стелется гиперборейский мрак и еще нечто, чего не может выдержать взор самой отчаянной человеческой души. Это и был край света.

Именно Облог стал причиной известной в свое время лесной тяжбы, начавшейся вскоре после отмены крепостного права. Казенные леса отстояли далеко, а ближние принадлежали наследникам разных исторических фамилий, одна другой влиятельней, почему и не представилось возможности наделить лесом освобожденных мужиков. Население же на Енгé, кроме сплава, исстари занималось деревообделочным ремеслом: точили ложку и вязали колесо,— сами же красновершенцы от веку славились как сундучники, так что приданое всех зажиточных невест в империи помещалось исключительно в пестрых красновершенской работы укладках, обитых цветной фольгой под обрешетку, со стальным, тонким пеньицем в замках. Мужики невозбранно пользовались липой и молодым дубком из сапегинских угодий, пока во владение не вступил последний в роду, просвещенный деятель освободительной реформы и переводчик византийских хроник на русский язык, Илья Аполлонович. Неоднократные увещания мужиков со стороны властей светских и духовных, чтоб не обижали ближнего своего, хоть и помещика, не приводили ни к чему, так что под конец просвещенный переводчик взыграл и прибегнул к закону для ограждения ежегодно повреждаемой собственности. По отсутствию архивных документов Иван Матвеич мог ознакомиться с тем невеселым анекдотом лишь в передаче енежских старожилов и перед самой революцией, когда сквозь административную путаницу тяжбы стала проступать отстоявшаяся живописность народного предания.

Вначале якобы успех склонялся на сторону мужиков. Из-за неоднократных передвижек Красновершья, как часто бывает после опустошительных пожаров, в губернских землеустроительных записях это село на указанном месте не значилось вовсе, а следовательно, и лес там повреждать было некому. То был особый вид чиновничьей слепоты, и для излечения ее Сапегин применил одно испытанное на Руси средство — протирание глаз кредитными билетами, после чего в одночасье прояснилось, что Красновершье действительно существует, и основатель его раскольник Федос ставил свою моленную именно тут, в непроходной хвойной дебри, которая на Енгé так и зовется *чернь* и *кремь* в обозначение гущины и недоступности. Но с течением времени, как всегда в соседстве с человеком, лес изошел пепелком, дымком да стружкой, а остаток федосовы потомки спустили вниз по реке, так что причитающаяся им лесная доля была ими вроде как и получена. Дело, впрочем, с места не сдвинулось по той простой причине, что сообразительные красновершенцы так же, дважды в год, возили в город даровые дровишки, глухарей, самотканную холстинку и разное другое, служившее немалым подспорьем для многосемейных законников.

По той же крестьянской молве, после вторичного сапегинского даяния губернские власти установили даже, что и вообще тамошние жители в лице беглого Федоса завелись на Склани без дозволения правительства, а раз так, то и даров природы им не положено; однако не смогли ни вовсе отменить красновершенских мужиков, как того добивался просвещенный переводчик, ни взыскать с них возмещение за полуторавековое расхищение помещичьего добра. Тогда Илья Аполлонович перекатил дело в сенат, но и крестьянским ходокам не воспрещен был доступ в императорскую столицу. По рассказам стариков, к тому времени мужики находились уже в крайне накаленном состоянии. На великом красновершенском сходе с привлечением трех смежных деревень решено было не сдаваться, производства всемирно известных сундуков не закрывать, а добиваться дедовской правды.

Матвей Вихров был третьим по счету посланцем Красновершья. Первые двое вернулись ни с чем, если не считать незначительного телесного ущерба. Выбор пал на Матвея, уже не за пронырливость или речистость, не

оправдавшие себя в предыдущих хождениях, а, наоборот, за исключительную кротость его характера при крайне внушительной внешности. Был он такого роста, что когда входил, к примеру, в волостное правление, поднырнув под притолоку, все невольно приподымались перед столь значительным явлением природы; ему тогда было за пятьдесят. Величие русского крестьянства сквозило в его спокойной, напевной речи, в степенной, чуть тронутой проседью бороде, в медлительности тяжких рук, годных хоть на былинные подвиги. Униженный поклон такого великана не мог не повлиять на самую закоснелую в законе душу; с помощью Матвея красновершенцы намеревались выказать свою мирную, однако же чреватую опасностями покорность перед тогдашними столпами государства российского. Имелся и еще довод именно за его посылку: младший матвеев брат, Афанасий, занимал пост дворника в Санкт-Петербурге, носил номерную бляху, следовательно мог указать секретные ходы в недра законов и предоставить временное пристанище.

Событие это лежало вне ивановой памяти, и лишь в зрелые годы он от сестры узнал про бывалый обычай проводов ходока: как всем селом снаряжают его в путь и приносят по силе возможности — пятак, сукрой хлеба, клок веретья ноги утеплить, а потом с причитаньями, как на погост, ведут под руки до околицы под ветром да косым осенним дождичком, и все кланяются ему, лес и люди, колючий порыжелый татарник при дороге в том числе, и дальше он уходит сам, с берестяником за плечами, отрезанный ломоть, и тот ломоть есть его, иванов отец... Много наказов было дано Матвею на расставании, и главный в том заключался, что-де от бога всему обществу лес даден и грешно отдавать его в одни руки, которые и топора-то не держали отродясь. «А еще,— пополам с кашлем якобы покричал ему вдогонку захудалый старичонка Зот,— ты им такой пример произведи, Матвеюшко, что коли тыща у одного ворует, так еще неизвестно, кто там сущий вор!»

В свой крестный путь Вихров Матвей вышел глухой осенью 1892 года и сперва как бы канул бесследно, а потом на всю Россию прошумел в несколько неожиданном направлении. Впоследствии донесла молва, будто полгода усердно и безуспешно, лишая себя пищи и покоя, проби-

вался он с мужиковской слезницей к некоему полувлиятельному лицу, от которого зависело не то чтоб решение бумаги, а преподача ее перед наивысшими государственными столпами, но все не давался тот. А уж Матвея признала полиция и жители соседних домов, пока он в мокреть и стужу караулил у подъезда, даже полюбили за смирность, а генеральши кликали ковры выбить либо дров наколоть, и он все выполнял безвозмездно и с неизменным благодушием, понимая свое предназначение, но потом стал заметно печалиться, с тела спадать, так как уже прожился дотла. И вдруг улыбнулся господь на мужицкую горесть; аудиенция состоялась одним вечерком, на том же людном проспекте, когда полувлиятельное лицо садилось с супругой в сани, направляясь по своей неотложной надобности.

Опустившись на колени, как повелели односельчане, Матвей ждал его высокого решения с бумагой на обнаженной голове,— и надо думать, даже для бывалого, ко всему привычного Петербурга это было пронзительной силы зрелище, но полувлиятельное лицо проследовало мимо, причем супруга его краем ротонды смахнула наземь народное писание с матвеевой головы. Меховая полость была уже застегнута, а кучерок подшевельнул вожжой левого, каракового, когда Матвей в два прыжка настиг сани и, согласно материалам судебного следствия, нанес полувлиятельному лицу оглушительное оскорбление действием по шее, сквозь бобровый воротник, и с таким ожесточением, что означенное лицо скончалось на месте. К этому необходимо добавить, что, по рассказам матери, к вину Матвей не прикасался, церковные службы выстаивал до последнего отпуста, застенчиво обожал птичек и вообще всякое дыхание послабже себя, но, значит, в тот раз скипелось внутри мужицкое горе и прорвалось через его длинную, пушечной тяжести руку... Кротостью поведения и нежностью к природе Иван Матвеич удался в отца, внешностью же больше походил на мать, Агафью, некрупную, безжалобную, статную женщину с некрестьянски-тонкими руками. Соседи жалели ее и по мужу звали Медведушкой.

Назад, в лоно покинутого семейства, Матвей вернулся года три спустя, когда мальчику Ивану минул шестой годок. Еще с зимы Вихровых стали навещать стражники,—

один раз будто ошиблись избой в поисках сотского, а то еще заходили воды напиться... и ничего бы, что в ночное время, и ночью, случается, жажда людей томит! — но почему-то оба раза до свету прокачались они на лавке в потемках, когда сытому казенному мужчине самый сон. Потом затихло, и тут, перед святой, в глухой полночный час Матвей без стука объявился у себя в избе. Неизвестно, как он пронес мимо стольких дозорных глаз свое огромное тело, собак обманул, отомкнул запертые изнутри ворота,— но только он уже сидел близ стола, безразлично к своей участи и спиной к окошку, когда проснулась жена, скорей от тревожного озноба проснулась, чем даже от шороха. Она все поняла еще раньше, чем разглядела мужа. Лунища такая светила, что впору хоть зажмуриться.

— Вот и я, мое почтение...— как бы сказал Матвей, причем пощупал лен на лавке рядом и покачал головой, но Агафья и без него знала, что не дотрепала: кострики много.

Не в пример другим бродягам, он был в чистой, наскрозь черной, исправной одеже,— может, попользовался с кого-нибудь на тракте у Шиханова Яма, хоть и не слыхать было про грабительство в округе. Вроде как бы купец на побывку приехал, только без гостинчика, чудной, молчаливый и весь такой непривычный, какими обычно покойники и представляются в сновидениях. Не зажигая огня, Агафья спустила ноги с нар и все глядела на новые мужнины сапоги, на его белые, свешенные меж колен руки. В стремлении удостовериться в чем-то, она спросила, что там, в Питере; он отвечал, что в Питере хорошо, круглый день играет духовая музыка и свет жгут до зари. Также пришло в голову узнать, откуда прибыл в такой справе; оказалось, отпросился со службы из самых холодных краев, а смышленой бабе нетрудно было вывести из этих слов, что подразумевается могила.

— Где ж ты такие раздобыл-то, Матвеюшко?..— подивилась жена, потому что и на купцах подобных сапогов не видывала.

Прежде не замечалось в нем привычки переспрашивать: все прислушивался к чему-то за стенкой.

— Это сапоги-то? Чего же таиться, грех к греху бежит! — и посмеялся дерзким острожным смешком, но

тихо, чтобы не будить детей.— Едите-то што? Как шел, в Сурчалове уж снытку-травку варя́т. Куды шибко живут! Совсем оробели мужики с голодухи... лошадки, и те без силы полегли.

Не иначе, как намекал, чтобы поесть дали хозяину, но Агафья не посмела, так как не положено, чтоб не приваживать живой пищей угощать мертвых. Тогда не для жалобы, а единственно из хитрости стала баба сказывать, что совсем подобрались с едой, и горбатенькая дочка уж просилась в побирушки, но она, Агафья, не пустила, хоть и мачеха, а ходила к Золотухину одолжиться хлебцем; дескать, Матвей воротится, все разом отдаст из первого зерна, да нарвалась на сноху. «Баба, сам знаешь, лютая, на язык-то злей скребницы, до мяса издерет. И как зачала она меня страмить, Матвеюшко, на всею деревню, у меня и ноги подломилися». Тут на счастье сам вышел, Золотухин-старик, пихнул ругательницу, Агафье же пшенца отвесил, велел приходить каждую субботу, после закрытия, полы в трактире мыть. Матвей не пошевельнулся при этом, а только спросил ровно бы издалека, жива ли у Золотухина собственная-то жена; помнилось, ногами маялась. А уж ему, с того-то свету, полагалось бы знать, что с полгода как померла старуха... И будто бы тут спустилась Таиска с полатей, и отец, погладив дочку, пожелал узнать, не болит ли у ней горбик на спинке, а Таиска отвечала тонким голоском, что со спинкой ничего, обошлось. И по собственной догадке задала вопросик, не в разбойниках ли теперь ее папаня, а Матвей засмеялся: совсем полынь-дело с малыми-то ребятами... и мертвенно как-то рукой махнул. Уж на что ходики громко стучат в эту пору ночи, а и ходиков Агафья не запомнила: память отнялась. Но значит въявь то было: наутро выяснилось, что и Таиска видела тот же самый сон.

Мальчику Ивану довелось познакомиться с папаней ровно через недельку. Стражники застигли Матвея на Облоге, у одного тамошнего пчеловода; чудак вздумал обороняться сглупа да спросонья. Временно пути в тюремную больницу не было: в паводок сорвало и унесло паром, а ждать, пока пригонят новый, или переправлять в лодочке не позволяло здоровье арестованного. Домой Матвей приехал вечерком, в канун троицына дня. Он лежал на спине, держась за грядки телеги досиня стиснутыми пальцами,

чтобы ослабить боль на толчках, а дышал часто, словно торопился насладиться дымовитым, таким пригожим, запахом русской деревни, составленным из сытного дымка очагов, охолодавшей земли и пыли после пригона скотины; весь ружейный заряд находился у него в животе. Гроб сколотили все из того же ворованного сапегинского леса, но обмерились в суматохе, так как становой, сдавая на поруки, приказал не задерживать беглого преступника, и Матвей уместился в домовину с согнутыми коленями. По заветам старины, нести икону впереди прощального шествия дали Ивану, незапятнанной пока ангельской душе. Ради такого случая мать достала ему из укладки новую рубаху с ластовицами, цветными клиньями в подмышках, как у заправских парней. Похороны отца запомнились семилетнему мальчику как выдающийся праздник детства. Начать с того, что, смягчившись ради данного случая, Золотухин подарил ему было целый гривенник и тут же отпустил на указанную сумму мятных пряников, а кто победней, те норовили хоть мимоходным прикосновеньем приласкать сироту. С этого суетливого дня, озаренного какой-то неугасимой радостью бытия, начинала действовать самостоятельно память Ивана Матвеича.

...Нет ничего благодатнее на свете, чем перволетняя ширь той поры, когда повсюду выступают узоры полевых цветов, еще не познавших ни острия косы, ни зимней стужи, когда вразброд и еще шопотом учится речи народившаяся листва, хотя пряный ледяной холодок струится пока с лесных опушек,— когда еще не ясна конечная цель всей этой одуряющей заманки, но уже всему дано по капельке опробовать медок жизни, и уже прогрелась на солнце несмятая трава, и, что бы ни ждало впереди, хочется мчаться по ней босыми ногами, все вперед и вперед, пока не остановится сердце!.. В тот памятный денек припаривало с утра, живое стомилось по дождю, и, если не считать постукиванья колес по гребешкам задубеневшей колеи, в природе стояло совершенное затишье. Слез не было, не плачут по отрезанном ломте, но все по-своему провожало Матвея: прохожие без шапок сторонились на обочину, жавороночек малость позвенел в высоте, а на щелястом мостке, где когда-то Матвей на диво миру вымахнул плечом провалившийся воз с сеном, каждая мостовинка в отдельности попрощалась с мертвецом.

Все шли на погост пустые, лишь Ивашка с иконой, к великой зависти Демидки Золотухина. Тот все набивался подсобить, понести священный предмет шажочков тридцать пять; но хотя Иван и сознавал, что получать удовольствие следует наравне с другими, понимал также, что тот потом не вернет.

— Тяжелая? — через каждые пять шагов спрашивал Демидка про икону.

— Средне так... в общем ничего себе,— с непонятливым видом уклонялся Иван.

Везла Матвея белая и смирная золотухинская кобыла, обмахиваясь хвостом от досаждавших слепней, а при ней сбоку бежал худенький стригунок, время от времени поднимавший голову из любопытства: откуда взялся в хозяйской телеге чужой черный мужик. Таким образом, и Демидка, через отцовское имущество, принимал участие в этом выдающемся происшествии. Когда Матвей отставал, ребята угощались пряниками и сообща разглядывали икону: ветхий старикашечка в черной, с белым крестом, мешковине на голове нестрашно грозился им двумя перстами, чтоб не баловались впредь при исполнении мужиковских обязанностей. В церкви жалостно пахло увядшими березками. Батюшка произнес неразборчивую проповедь о пользе смирения и вреде непослушания. В яму опустили отца на веревках и бережно поставили на желтый песочек в глубине. Тут набежала краем запоздалая гроза и стрельнула в разорванном воздухе два разочка как бы из плохонького ружьеца.

— А ты не томись на людях-то, покликай, облегчись, внемли гласу благоразумия,— шамкал батюшка окаменевшей Агафье, снимая мокрую епитрахиль и стремясь исторгнуть из вдовьих глаз облегчительные слезы.— Теперь ему куды лучше нашего, без хлопот... авось, туда ходатаем пробьется! Теперь у него все препятствия позадѐ!..— и показал на розоватые после грозы застылые облака, похожие на распахнутые настежь чертоги, куда машистой походкой странника, в тогдашнем ивановом воображении, направлялся Матвей.

К слову, эпизода этого Иван Матвеевич никогда в анкетах не поминал, чтоб не подумали, будто ссылкой на отцовские приключения тщится обелить свою собственную деятельность.

3

Сближение с Демидкой с того и началось, что Иван поделился с ним похоронными пряниками; на протяжении ближайших лет оно превратилось в неразливную дружбу. Демидка был постарше всего года на два, и оба росли сами по себе, безотцовщиной. Старый Золотухин, взиравший на свое семейство, как на даровых батраков, не впрягал пока меньшенького в наживу за явной его непригодностью ни к ямскому делу, ни к сиденью за конторкой. Близость мальчиков крепла с каждым днем: рукастого, большеротого Демидку привлекало в Иване обостренное чутье природы — чудесный и врожденный дар, как другим даются, к примеру, карие очи, беспощадное к ближнему сердце или сверхъестественная резвость в ногах. Иван часами мог выслеживать обычай дятла или наблюдать толчею муравьиных городов, без числа раскиданных по Заполоскам. Везде у него имелись на примете гнездо, норка, дупло с пчелами, и когда это требовалось по ходу деятельности, он отправлялся в лес и без промаха, как дома на полке, находил птенца или замысловатую гусеницу, а возможно, те и сами ему давались, зная, что от него им не будет вреда!.. Но в то время как Иван удовлетворялся бескорыстным знанием тайны, Демидка во все их мероприятия вносил невинный пока оттенок детской коммерции. Возросшая храбрость, закалка по любой погоде мерять трехверстную даль до церковноприходской школы и неутолимая жажда новизны вывели их на простор более широких географических исследований. Как и человечеству в их возрасте, им становилось тесно и подмывало на преодоление чудесной неизвестности потратить избыток сил. Так возникла затея проникнуть за Облог, на край света.

В сущности, это был вызов всем темным силам леса и ночи. Именно на границе Облога и Пустоше́й проживал ужасный Калина Тимофеевич, грозное существо сверхбогатырского телосложения и замысловатого озорства, в особенности опасного для торгового сословия. Стародавняя бабья выдумка в острастку ребятам, чтоб не отдалялись от дому, с годами превратилась в тщательно разработанную легенду о том, как однажды, выйдя по зорьке

на свои благословенные труды, старец Федос обнаружил возлежавшего на приречном склоне удальца с колотой раной в боку, и будто человек сей оказался подручным самого Разина, бежавшим из-под царского палача; то и был Калина. По отзывам сведущих лиц, как ни старался оный Федос склонить его к спасению души посредством питания единственно росой да голубикой, тот непригожего своего ремесла не оставлял. И верно, еще незадолго до революции грибники и охотники находили на Облоге скелеты безыменных деятелей торговли и промышленности, погибших за свое злато проездом на известные лошкаревские ярмарки; недаром еще деды енежских богатеев давали по семь верст крюку во избежание встречи с Калиной. Как бы там ни было, а вечера на Енгé длинные, и лучины бывало вдоволь... к тому же старушки в урожайный год словоохотливые, а в детских душах гулко отдается всякий шелест богатырской старины.

В то время оба мальчика уже ознакомились с четырьмя правилами арифметики и с путаными, только дразнившими воображение сведениями из библейской космогонии. Ивана давно тянуло ступить ногой на край света и вообще полюбоваться на разные загадки мирозданья, но одному страшновато было Калины, и он доверил своему приятелю уже созревший замысел посетить Пустошà.

— Хоть глазочком бы заглянуть — и назад, а то еще голова закружится. Ахнуть не поспеешь, как засосет.

— Сказал!.. кто это нас с тобой засосет? — самонадеянно покривился Демидка.

— А пучина.

— Какая еще пучи́на?

— Ну, пучина... В церкви поют, слыхал?

— А, эта...— насмешливо отозвался Демидка и постоял на одной ноге из интереса, долго ли удержит равновесие.— Эта, брат, не засосет. Я тебя сзади за пятки придержу, гляди, сколько влезет.

Вдруг он нащурил левый глаз и облизал губы, как всегда при мыслях о барыше.

— Ты чего? — встревожился Иван.

— Соображаю... мешок с собою захватить!

— Пошто?

— А может, клад найдем. Поди, Калина не пустой к Федосу-то приперся... куда он *казну* свою девал?..

Знаешь, сколько ее у Стеньки было? Он даже за борт ее бросал, во!

Оба знали лишь на слух, а не по содержанию старинную песню про злосчастную, кинутую в дар Волге персидскую княжну. Правду сказать, Иван и сам был не прочь позаимствовать рублик-другой из стенькиных сокровищ, чтоб Таиске не побираться: он ее жалел. Из тех же соображений ему и пришло в голову захватить с собой и второго дружка, Паньку Летягина, уже самого что ни есть голого на деревне, к тому же обладателя незаурядной физической силы, но Демидка воспротивился, чтоб не делиться на троих, и тут пролегла первая трещинка в их отношениях.

Они собрались выйти со светом, чтоб вернуться обыденкой, однако с вечера Золотухин наказал сыну мыть бутыли из-под масла, и пока ребята полоскали их на реке песком с крапивой, роса уже сошла... Солнце стояло в зените, когда они подошли к Облогу со стороны старого лошкаревского тракта. Там и осенью, в пору ярмарок, редко проходили обозы, а теперь было совсем тревожно и пустынно. Булыжный, горбылем вспученный тракт сбегал в зеленую мглу просеки и сразу пропадал в низине, откуда несло застойной сыростью и каким-то зловещим тленом западни. Становилось понятно, почему проезжие начинали молиться Гурию, Самону и Авиву еще за три полустанка до калинова прогона.

— Гляди-ка, в лес-то и следочка нет...— озабоченно оглядевшись, шепнул Демидка.— Нам теперь впору хочь бы за ниточку ухватиться.

Иван молча указал на одинокую, на отлете, березу; кто-то давно и, видно, неспроста повесил там, в развилину сука, ржавую подковку, наполовину утонувшую в белой мякоти коры. Отсюда и начинался великий переход на Пустошá. Дорогу сразу преградила замшелая колода, могила лесного великана, ставшая колыбелью целой сотни молодых елочек. Она хрустнула, как гробовой короб, и просела под Демидкой — еле ногу вытащил, но зато тотчас за нею, сквозь плаун и моховой войлок, проступила тропка. Она услужливо повела ребят, но для чего-то поминутно петляла, пересекалась со звериными ходами, уводила в ласковые, приманчивые трясинки, заросшие таволгой и валерьяной. «Лукавит...» — от сознанья своей силы усмехнулся Демидка. Самый лес в этом месте был сирый,

с подмокшими, словно обугленными снизу стволами, в диких, до земли свисавших космах мха. Он прикидывался нищим, с которого и взять нечего, и то отвлекал в сторону малинничком на поляне, усыпанным спелой ягодой, то пытался откупиться гнездом с уже подросшими птенцами, то стращал, наконец, рослым можжевелом, что, подобно схимнику в темном балахоне с островерхим колпаком, выбредал навстречу из-за корней повалившейся ели; именно эти нехитрые уловки леса и доказывали правильность пути. Иван шел впереди с блестящими глазами, не пропуская ни значка в путаной лесной грамоте — свежий лосиный погрыз на ольхе, горстка накиданной дятлом шелухи или вдруг неожиданное, по взгорью, целое семейство кислички; и как всегда в истории человечества вслед за открывателем чудесных материков шагал купец, на глазок прикидывая барыши,— так и за мальчиком Иваном молча и с мешком поспешал властный, предприимчивый Демидка.

Двигались молча, но на привале возник жаркий спор о самой технике розысков. Как известно, заколдованные места на Енге опознаются по бледным росткам чешуйчатого петрова креста, а так как для отвода глаз уйма его растет в енежских борах — и нужно выбирать лишь тот, что голубовато светится в темноте, и сразу заломить ему верхушку, а то провалится на полверсты! — возникала естественная тревога насчет обороны от нечистой силы, приставленной на охрану древних кладов; на всякий случай дали взаимную клятву не бежать, не реветь при виде самой рогатой опасности. Разногласия обнаружились по вопросу о применении денег: Демидка настаивал, чтобы еще до леденцов и прочего баловства купить по тройке коней с полной ямщицкой справой, со звонцами под серебряной дугой,— и пускай стоят себе на приколе, пока хозяева не подрастут!

— Зачем тебе? — усомнился Иван.

— Чего, ямщиками станем! Знаешь, сколько с купцов за лихую езду дерут? Летось нашему Ганьке один спьяну-то перстень с камнем отвалил. Коня запалил, а отец хоть бы словом попрекнул Ганьку-то!

— А камень?

— Что камень?.. В потемках огнем горит, хочь прикуривай.

— Побожись!

— С места не встать, сам видал. На ночь в крынку от воров прячет.

Соблазн был велик, Иван задумался:

— Да ну их, твоих коней! Еще в ночное придется гонять...

— А мы Паньку Летягина наладим. Его за четвертак-то хочь в землю закапывай, вó! Ему больше и не надо, чтоб не избаловался: все лучше, чем под чужим окошком милостыню гнусить.

Иван промолчал, и новая обида за безответного товарища стала второй трещинкой на их дружбе.

Постепенно зеленая мгла стала редеть и таять, а краснолесье — просыхать и перемежаться с веселыми березовыми прогалинами, залитыми оранжевым, остывающим солнцем. В этой еще неоткрытой половине мира опускался тихий вечер. Тропка беспокойно заметáлась и покинула ребят на просторном лужке, полого спускавшемся в гулкую и темную лощину. На другой стороне, с расстояния обжигая смолевым зноем, сияли и уступами подымались в гору таинственные Пустошá.

Бор начинался прямо, без подлеска. Неохватные, стрела к стреле сосны вóзвышались там, как подпорки неба, и легко было догадаться, чье жилище сокрывалось за этим исполинским частоколом. Хозяин готовился к ночлегу; видная издалека вековая надломленная лесина, подобно шлагбауму, запирала проход в его владения. Верно, успели упредить страшного Калину о приближении опасных людей, если выслал навстречу им свою летучую разведку. Изредка проносились голубые стрекозы, как бы благовествуя близость тихой воды; пчелы с разлёту зарывались в пылающие костры кипрея вокруг прошлóгодних дровяных поленниц, и, похожие на сановников в бархатных камзолах, неторопливо сновали шмели. Низкая жильная струна пела в загустевшем медовом воздухе, пропитанном сверканием цветочной пыльцы. И словно ведьма на празднике, стояла поодаль зловещая, вся в синих лохмотьях, разбитая громом ель; продольная трещина надсадно скрипела, в последний раз предостерегая ребят от объятий грозного Калины. Но отступление было отрезано: сзади по их следам наступала ночь. Хлеб кончился, томила жажда... однако потребовался целый час, прежде

чем подсказало им кладоискательское чутье, что достигли места.

— А как назад добираться станем? — на пороге счастья слегка струхнул Демидка.

— Теперь молчи, а то, неровен час, услышит...

Постепенно жар сменился прохладой, а хвоя — листвой, уж позолоченной закатцем. Тени удлинялись, дорога назад была потеряна. Но повторялась счастливая колумбова ошибка: вместо котомки с золотом ребята отыскали новый мир. Им открылся чистенький, ничем издали не примечательный овражек, без единой соринки или валежины, без единого цветка по теплой, как бы подстриженной траве, даже без птичьего щебета, словно и шуметь запрещено было в том месте. Вдруг необъяснимым холодом дохнуло в лицо, и волнение искателя подсказало ребятам, что перед ними находится самое важное в округе сокровище, может быть и на всей земле. Громадный плоский валун, не иначе, как стол Калины, лежал на дне овражка, под навесом древних лип. И, подобно кровинкам от накануне растерзанной жертвы, отблески дальней рощицы пламенели в его щербатой поверхности, подернутой лишаем. Потом голос падающей воды позвал мальчиков вниз. Они спустились и стояли со склоненными головами, как и подобает паломникам у великой святыни.

— Вот оно...— торжественно и непонятно шепнул Иван.

Это был всего лишь родничок. Из-под камня в пространстве не больше детской ладони роилась ключевая вода. Порой она вскипала сердитыми струйками, грозясь уйти, и тогда видно было, как вихрились песчинки в ее размеренном, безостановочном биеньи. Целого века не хватило бы наглядеться на него. Отсюда начинался ручей, и сперва его можно было хоть рукой отвести, но уже через полсотни шагов рождалось его самостоятельное журчанье по намытой щебенке.

То была колыбель Склани, первого притока Енги́, а та, в свою очередь, приходилась старшей дочкой великой русской реке, расхлестнувшей северную низменность на две половины, так что полстраны было окроплено живой водой из этого овражка. Без нее не родятся ни дети, ни хлеб, ни песня, и одного глотка ее хватало дедам на подвиги тысячелетней славы. Не виднелось ни валов

земляных, ни крепостных стен поблизости, но все достояние государства — необозримые пашни с грозами над ними, книгохранилища и могущественная индустрия, лес и горы на его рубежах — служит родничку прочной и надежной оболочкой. И, значит, затем лишь строит народ неприступные твердыни духа и силы, и хмурое войско держит на своих границах, и самое дорогое ставит в бессонный караул, чтоб не пробралась сюда, не замутила, не осквернила чистой струйки ничья поганая ступня. Всего этого Иван еще не понимал в тот вечер, но ни при каких обстоятельствах впоследствии он не ощущал себя таким ничтожным, как перед лицом того беззащитного, казалось, родничка, никогда не испытывал такого светлого, беспричинного ликованья.

Когда оно улеглось, мальчики с колен напились воды и, передохнув, снова пили — на всю жизнь, потому что больше нечего было унести отсюда.

— Вострa, из земной жилы бьет,— похвалил Демидка, рукавом вытирая губы.— А что, заткнуть если?

— Всеё землю тогда разорвет. Знаешь, сила какая!

Вдруг тишину прокликнула желна, и ей отозвалась другая дозорная птица, потом третья, оповещая кого-то о самовольных гостях,— следовало ждать беды. Смутный ропот пробежал по вершинкам. Лес быстро погружался во мглу; туман пополз из глубины, мальчики озябли, это был страх. Уже глаза угадывали в потемках то очертания громадной волосатой ноздри, словно *оно* уже принюхивалось к человечьему следу, то полуприкрытый веком зрачок, обманно устремленный мимо. В ожидании неминуемых наваждений ребята так прижались друг к дружке, накрытые одним мешком, что если бы не еще более могущественные события последующих лет, никакая сила не разъединила бы их до гроба.

Что-то во тьме похохотало над незавидным ребячьим жребием.

— Во, видишь его? — шепнул Иван, стиснув демидкино колено.

— Где?

— Вона, к стволу приникло... с лошадиной головой.

Демидка увидел и вздрогнул:

— У, никак подпалзывает! Ну, брат, купорос — наше дело: не дыши теперь.

Началось с того, что два дерева явственно поменялись местами, а белесая тьма, повешенная на кустах, как сеть на просушку, местами порвалась, образуя проходы. Вслед за тем длинное полупрозрачное тело заколыхалось над ручьем и двинулось к ребятам, укладываясь в обычные человеческие размеры. Все же чуть полегче стало на сердце, когда лошадиный череп оказался всего лишь белой бородой. Надо думать, главный хозяин ленился покидать логово по пустякам, раз прислал подручного, видно состоявшего при нем управителем на манер известного Аверьяныча в сапегинской усадьбе.

Оно подошло и наклонилось над ребятами.

— Вы чего ж это, ровно грибки, на дороге уселися? — нестрого спросил полухозяин и почесался под рубахой вполне обыкновенно, будто и не был на самом деле нечистой силой.

— Мы тут воду пьем, дедушка,— в голос и возможно приятнее, чтоб задобрить, отвечали кладоискатели.

— То-то я иду, смекаю — грибков бы на жарево... Глянь, тут они и сидят, двоешки! — И коснулся ивановой головы, сразу утонувшей в плечи.— Чего дрожишь-то, малый?

— Это мы от сырости,— жалостно признался Иван,— подзябли...

— Ну-ка, айдате за мной греться, я вас спать уложу...— И ждал, и лукаво помянул про какой-то особенный медок, духовитей на свете не сыскать, но ребятам страсть как не хотелось греться на калиновой сковородке.— Замолкли-то, ай голосишко потеряли?

— Мы не можем...— простонали обреченные души.

— С чего бы это?

— Нам Калины боязно: осерчает...— было ему ответом.

— А пошто ему серчать? Я и есть Калина,— посмеялся полухозяин, и ребята поняли, что сопротивление бесполезно.

Все время беседы старик то удалялся, то ближе подступал, так что можно было разглядеть его. Он был совсем как человек, лыс и бос, в длинной рубахе с веревочной опояской; на траве белели большие, отмытые росой человечьи ноги. Но могущество лесного владыки как раз и состояло в способности принимать любое обличье —

от волка до проливного дождика, а уж убавляться в росте ему вовсе ничего не стоило, иначе снизу и не докричаться было бы до него!.. Бежать стало некуда и опасно из-за риска оступиться в пропасть на краю света; кроме того, ребят живо заинтересовало упоминание о меде.

— Ты не смотри, что маленькие, а мы крещеные...— схитрил Демидка в намерении одновременно и пригрозить нечистой силе и намекнуть, что покамест несозрелые души в них кислей лесного яблока.

— Слава-те, и сам я не пень лесной!.. Ладно, подымайтеся, а то всю воду выпьете у меня...— и двинулся напрямки, без тропки.

Калина шел впереди, и в лысине его, нагоняя дрему, мерцал звездный свет. Пленники тащились следом, еле волоча ноги, цеплявшиеся за коренья и плауны. Недавний страх без остатка растворился в непреодолимом желании сна... И всегда впоследствии, когда ему бывало плохо в жизни, Иван Матвеич вызывал в памяти дикую красу ночного бора, и нешелохнутую тишину, проникнутую еле внятным разговором сосен, и точно окривевшую на один глаз избушку с ворохом соломы на полу, а незадолго перед тем — кованый железный ковшик с ключевой водой, где плавала и дробилась звезда, да еще черствую краюшку с ломтем старого меда, такой густоты и сытности, что и доныне у Ивана Матвеича слипались пальцы и смыкались веки от воспоминания о ночном ужине на Облоге.

Богатырским сном угостил их Калина да еще каких-то особо звонких птиц припас на пробужденье, что твои колокольцы под дугой! Но когда утром гости вынырнули из сна наружу, как из холодной, на самом стреженьке, реки, ничего не оставалось и в помине как от колдовских чар, так и от кладоискательского зуда. Лесного владыки не виднелось в избушке, и все его царское имущество было на виду: холстинковый рушничок у входа, бараний кожух на гвозде, дымарь и топоришко под лавкой и другая обиходная мелочь, пропахшая старым ульем. Да еще муравленая плошка меда светилась на столе, и в солнечном луче над нею вились три пчелы, чудом пробравшиеся сквозь затянутое паутинкой окошко. На двери чернел углем начертанный крест, и это была первая житейская подробность, поколебавшая в глазах ребят романтическую славу Калины.

Не теряя из виду сторожки, они обследовали прилежащую окрестность. Сама похожая на улей, избушка помещалась на опрятной прогалинке, сплошь покрытой глянцевитым настилом игольника, посреди отборных сосен. Самая рослая из них, в два обхвата, приходилась как раз над тесовой кровлей калинова жилья. Наверно, старуха еще застала Федоса на земле; лишь одна ее крона, отяжелевшая от бремени столетий и распадавшаяся на островки, возвышалась над всеми Пустоша́ми. Ровесниц ей там не было даже в таком исполинском бору, и, разумеется, только в корнях ее могла бы сохраняться утаенная от Федоса казна. Гладкий, размером с молодую рысь, калинов кот следил за всеми вороватыми движениями Демидки. Он прикидывался, будто дремал, и желтый полдень светился в его прищуренных глазах, зеленоватых как крыжовник.

Демидка не замедлил высказать Ивану свои подозрения, после чего, как бы обидевшись, кот отправился в кусты и тотчас вышел оттуда в обличьи самого Калины, да еще с бадейкой воды, к изумленью ребят. Смирные пчелы ластились к нему: он был свой и сладкий. Не подавая виду, старик сходил в дом за медом, нарезал хлеба с луком на крыльце и сел с гостями за трапезу.

— Вон и Марья Елизаровна к нам торопится,— заметил он про белку, камнем спускавшуюся по стволу из голубой, прохладной высоты.— Присаживайся, зверь, да человекам не мешай,— и кинул хлебца ей, пристроившейся на нижней ступеньке.— Вы отколе ж такие славные, бояре, будете?

— Мы не здешние, дедушка, из Красновершья мы,— сказал Демидка, как зачарованный, нацелясь на белку.

— А! Давно уж, как Матвея убили, не бывал я в Красновершьи-то. Дружок сердечный был, он ко мне частенько захаживал...

— Так это же папаня мой! — весь озарился Иван, потому что таким образом прямая близость устанавливалась у него с этим лесным царем, оттого лишь таким ласковым и медлительным, что уже не на кого ему было сердиться при таком могуществе, некуда спешить в его тысячелетнем возрасте.

— Ишь как концы с началами-то сходятся! Не было ровни ему по силе... ты не в отца пошел, мамкин сын...—

усмехнулся Калина, перстом доставая из меда утонувшую пчелу.— Знавал я Матвеюшку, еще лесником его знавал. Он одно время у Сапегина в службе состоял, за потачку мужикам его уволили. А тихий был... и ничего-то, бывало, ни у бога, ни у людей не попросит. Тут же его и прострелили у меня,— и кивнул на видневшиеся за порогом полати с ворохом веретья на них.— Значит, потянуло его из сибирской каторги на родину, а там и караулила беглеца судьбица-то. Кабы не ружье-то стражницкое, и не совладать бы с им... Ну, и мне заодно влетело. Фыкин-то как налетит на меня: «Чуешь, ты,— кричит,— хреновая твоя башка, как я могу тебя разработать... во что превратить я тебя могу за подобное пристанодержательство... ну, укрывательство, тоись!» А сам все глазищами меня подобно тому, как саблей, рассекает. Да, слава-те, отходчив: поучил малость от собственной руки, не без того, потом утих, заурчал, медком занялся. Дай ему господь здоровья!

Фыкин был становой на Енгé, гроза, а по могуществу своему в сознании ребят — третий после царя и Калины.

— Крепко побил-то? — из неуловимого пока практического интереса осведомился Демидка.

— Чево, стуканул по усам разочка два!.. С него тоже службу спрашивают, а у него, не как у меня, зубов-те полон рот... есть что вышибать! Нет, ничего худого не скажешь, хороший такой, обходительный господин.

Иван слушал это признанье с незнакомой ему горечью и тешил себя мыслью, что будь Калина годков на сто помоложе, вскинул бы он Фыкина превыше небес да хряснул бы во всех регалиях оземь... но поизносилась легендарная калинова стать, огорбела спина, столько веков служившая опорой государства российского, и от былого былинного удальства оставалось лишь бессильное старческое увещание. И тут впервые укололо Ивана жалостливое удивленье на столь беззлобную память Калины.

— А ты чьих же будешь, паренек?

— Я-то? Золотухиных я,— рассеянно отвечал Демидка, поглаживая Марью Елизаровну, настолько ручную, что уже вынюхивала что-то в его рукаве.

— Та-ак, наследник, значит...— протянул старик, наслышанный о входившем во власть красновершенском богатее.— С мешком ходишь, купец будешь, в одиночку

век свой проживешь: нужда-то роднит людей, а богатство их разъединяет! И захотится тебе в старости замок железный на весь свет навесить... а запор-то не вору страшен, он его с голодухи зубами сгрызет, а хозяину. Вот я тебе открою, а ты мое словечко сбереги! Как накопишь себе груду золота, ты от ей в одну темную ночку и утеки! Она тебя искать почнет, а ты затаись, пересиди под кусточком, не сказывайся. Пошумит, похнычет, пойдет других подлецов своей жизни искать...

— А зачем же, с деньгами-то тѐпле, небось! — усмехался Демидка.

— На чужом пожаре всего теплей! — только и сказал старик, не без огорчения покачав головой.— Да что ж, грейся, коли и на солнышке озяб.

Так раскрывалась полная обыкновенность Калины. И ничего в нем тайного не оказалось, а был он всего лишь бессрочной царской службы солдат, Калина Глухов, по милости Сапегина кормившийся от двадцати своих дуплянок, а меды свои возивший на продажу исключительно в Лошкарев, по другую сторону Пустоше́й. Таким образом, сказка рушилась, и край света если и не пропадал совсем, то отодвигался от ребят дальше, на запад... но если один из них испытал при этом грусть первого детского разочарования, другой — освобождение от сдерживавших его пут.

Демидка как бы распрямился в то утро, словно развязали, наконец; домой он возвращался с добычей. Что-то билось в его мешке, чокало и скреблось, просясь на волю... тогда он резко и властно встряхивал ношу, и движение затихало. Так поплатилась Марья Елизаровна за излишнюю доверчивость к людям.

— Покажи...— попросил Иван и долго, виновато разглядывал в глубине мешка усатую, слегка притупленную мордочку с быстрыми блестящими глазами.— Когда ж ты ее... успел?

Оказалось, Демидка взял ее, пока старик во́дил Ивана на пасеку показывать свое гудучее царство, и спрятал в дупле, на дороге, привалив тяжелым комлевым поленом.

— Хватит, а то ускачет,— сказал он, по-хозяйски закручивая мешок.

— Отпустить бы... нехорошо! — намертво вцепившись, заикнулся Иван.

— Полно чудить-то, парень, мы ее к делу определим. Ты на жизнь крепче смотри, а то, я гляжу, сердчишко в тебе больно трясливое...— и все зализывал свежие прокусы на руке.— Не бойся, старик другую себе привадит!

— Жалко, живая ведь!

Демидка без труда оторвал от мешка его руки, впервые применив явное преимущество старшинства и силы.

— Рыба тоже живая, а ты ее ешь.

— И рыбу жалко...

Кстати, выяснилось на прощаньи, мальчики напрасно целый день блуждали накануне — прямым путем до Калины было два часа ходу, бегом еще ближе. Как вчера — Иван, теперь уже Демидка с трофеем за спиной шествовал впереди. К концу пути у него созрел план дальнейших коммерческих операций, и, едва завиделись деревенские задворки, он повернул мимо Заполосок на проселок, к сапегинской усадьбе. От скуки там покупали все, что приносили красновершенские и других деревень бабы и подростки, даже полевые букеты. Демидка не сомневался, что и белка на что-нибудь сгодится в мудреном хозяйстве у бар.

4

Ребята отыскали знакомый лаз в белой каменной ограде, пересекли лиственничную аллею с запущенным прудом в конце и прямиком, через парк, вышли на площадку перед террасой, густо обвитой каприфолью. Пришли они явно не во-время: в доме сидел гость, сам великий Кнышев, а чем он был велик, того еще не ведал пока никто на Енге́. У каретника гнедой норовистый конек, запряженный в ковровые, на железном ходу дрожки, хрупал овес, обмахиваясь хвостом от паутов. На этот раз некому было прогнать ребят, словно и челядь и собаки, все попряталось от лютых сапегинских гостей.

По давности лет уж выпало из памяти Ивана Матвеича, присутствовал ли при этом Пашка Летягин, встретившийся им по дороге, или же вдвоем сидели они с Демидкой до полной одури на скамеечке под террасой, откуда доносился звон посуды и неразборчивая, лишь по позднейшей догадке восстановленная речь. Там происходил обычный торг — с обманом, уходами и ленивыми взаимными

угрозами, хотя обе стороны, разморенные жарой, одинаково стремились к благополучному завершению дела.

— А ты погоди, Софья Богдатьевна, дай и нам слово молвить,— говорил простуженный, как из погреба, голос.— Ну смотрел, смотрел я твою лесную дачу, все утро на пару с Титкой выхаживали. Сколько мы с тобой насчитали, Титка?

— Да ведь как считать! Ежли со снисхождением, деток ихних жалеючи, считать, то десятин без малого тысяч семь наберется,— безразлично проскрипел второй, не иначе, как приказчик покупщика.— Коснись меня, так я и дарма с подобным лесом связываться не стал бы... дело хозяйское!

— Да что вы, господа...— заволновалась пожилая женщина, видимо, сама помещица.— У меня же и бумаги гербовые на лес имеются, я таксатора нанимала. Там сосны одной девять верных будет, да за Горынкой липового клина десятин тысячи две.

— То-то и горе, что мелковата твоя десятинка, Софья Богдатьевна... В Европе две-то тыщи десятин — целое королевство. Да и не гонюсь я за липой... липу я тебе всею оставлю, только корье с ней заберу. А бумага?.. Осподи, да прикажи, я тебе за красненькую такую бумаженцию предоставлю, будто ты и есть генерал Скобелев с усами, во как! — машисто сказал первый под рассыпчатый титкин смешок.— Извини, хозяйка, что я так, попросту с тобою, от души. Ой, держись, Титка, опять она нам наливает.. ой, хитра! Спорить нам нечего, можно и еще разок шагами промерять. Займись-ка с утречка, Титка... прихвати с собой и барыньку, погуляй с ей вдвоем.

— Ноги свои, не купленные,— согласился приказчик и зевнул в знак полной своей незаинтересованности.— Можно и еще разок сгулять.

Снова заговорила хозяйка:

— Ладно, предположим... пусть будет всего только восемь. Однако у меня сейчас денежные затруднения, и мне хотелось бы теперь же знать, сколько я на руки получу. Если даже по семидесяти кубов взять на десятину...

— Да откуда ж там семьдесят, ваше степенство? — фальшиво взмолился Титка о пощаде и снисхождении.— Да там от силы, пошли господь, хоть сорок-то наковырять.

— Ах, ах! — как под ножом стонала кнышевская жертва.— Где ж у вас совесть-то, господа?.. да как же вы с бедной вдовой поступаете? Мне тогда придется к закону за защитой обратиться.

— А зачем его, батюшку, зря будить-беспокоить? Кабы мы еще на тебя с кистенями навалились, тогда другое дело. Мы, голубка ты наша, и так уйдем, пущай спит твой закон... Ты чего к месту прирос, Титка? Вставай, дуборос, кланяйся за угощение... поехали!

Послышался беспорядочный треск сдвигаемой мебели, шарканье ног и беспомощные женские вздохи.

— Я все же прошу вас присесть, господа... и войти в мое положение: я уж вам открываюсь, как на исповеди! У меня сгрудились срочные платежи, и проценты в банк совсем замучили. Кроме того, внуки малые на руках, да еще зять психопат... Отвернитесь, не слушайте, дети. Ну, просто выдающийся психопат! — повторила она с таким страдальческим выражением, что теперь со стороны купцов было бы бессердечно не надбавить цену.— Давайте же прикинем хоть начерно. Даже если по-вашему... скажем, восемь тысяч десятин по сорок кубов... пусть будет по пять рублей... хорошо, даже по четыре с полтиной за сажень. Посчитай на листочке, Коко, сколько получается... и не щипай Леночку, стыдись: ты уже мужчина!

Наступила пауза, и потом срывающийся от волнения детский голос объявил причитающееся к платежу в миллион триста сорок тысяч, а это показывало, в свою очередь, что мужчина был не слишком силен в арифметике.

— Ну, вот...— упавшим голосом сказала хозяйка, и мальчикам стало ясно, что барыню победили.

— Такие деньжищи только в задачниках Евтушевского попадаются, обожаемая,— жестко и речисто отрезал главный покупатель.— Ты не барыши свои, ты мои убытки считай. У тебя там одной гари поболе двух тыщ будет, а куды мне ее к черту... разве только самовары ставить? Так мы чайком-то почти и не балуемся!..

— Осподи, с него обопьешься, с чаю-то! — весело хохотнул приказчик.

— ...да еще прогалины среди лесу, да поруби, да короедом побито... а мне лес-то не по грибы ходить, мне шпалы из него тесать, голубушка, по ним люди ездить станут. Как на духу тебе сказать, там и лесу-то настоящего нет.

— Вот как мы на Волыне, у графа Чернышова дуб валили, так то лес был,— скороговоркой вставил Титка.— Глянешь наверх-то: мамынька моя родимая, сердце обомрет!.. Ровно тятеньку по́д корень рубишь, а тут...

— Помолчи, Титка,— оборвал главный.— Лес-лес, а ты сама в том лесу бывала хоть разок, Софья Богдатьевна? В России все под лесом числится, где косе ай серпу делать нечего. А его, лес-то русский, питерский чин в халате циркулем по карте считал. На поверку же гарь да топь, щучкой поросла... бурелом да подтоварник, а иной вовсе у чорта на рогах... эва, достань его! Его пока до катища дотянешь, бородой по пояс обрастешь, понятно?

— Господи, да чего ж вы на меня в четыре руки напали...— оборонялась, как могла, хозяйка.

— Терпи, раз уж подпоила. И лес-то твой от здешних мужиков краденый: слыхали мы про тяжбу твою... и сам я тоже не лучше тебя, вор, раз краденое покупаю. И не дай бог, запоет красный петушок на Руси, на одной вожже нам с тобой, милая барынька, висеть-проклажаться. Оба мы, ты да я, с бритвы мед лижем, понятно? Вот тебе мой счет: по выплате банковской ссуды и куртажа сутягам, на руки тебе сорок тысяч... да от зятя береги, пропьет! Подмазка в губернии твоя, мое дело — топор. Остальные полтораста к Новому году. Думать до завтра, а то на Дон укачу.

— Ой, не щедрился бы, Василь Касьяныч... проторгуемся! — костяным голосом подзадорил Титка.

— Э, бог с ей: детишечек ейных жалею!.. А нас пущай осподь за печаль нашу вознаградит. Теперь наливай, барынька, да вели-ка нам яишенку спроворить, а то отощали мы у тебя...

Так просватали под топор знаменитый Облог на Енге́. Пышное великолепие усадьбы, мнившейся ребятам волшебным раем, давно носило следы крайнего упадка. Отмена крепостного права, лишившая дворянское сословие даровой рабочей силы, заставила покойного Сапегина заложить имение в банк для других, новейших, по моде века, сельскохозяйственных начинаний; они должны были озолотить его, но не озолотили. И как свалился, так и покатилось все под гору: вымер от поветрия породистый скот, рухнули оранжереи с приколотыми к стенам шпалерными абрикосами, сквозь осыпь штукатурки в углу гостиной

стало гнилое дерево проступать. Одна сирень, буйствуя по веснам, распространяя густой, до головокруженья аромат, наступала на цветники, выползала на дорожки, прикрывая полуразоренное дворянское гнездо. Старый управитель Аверьяныч, правая рука и око покойного Сапегина, погрузился в непробудное пьянство, и таким образом хозяйство перешло в руки самой Софьи Богдатьевны, еще в университетские годы вывезенной из Померании,— дамы рыхлой и болезненной, умевшей только серебряные ложки считать да ставни на ночь запирать от воображаемых злоумышленников. Основное старухино богатство состояло из переспелых, никому в том краю не надобных лесов; в связи со слухами о скором проведении чугунки через Лошкарев на Вологду ей представлялась последняя возможность выбраться из затруднений. Сам бог посылал Кнышева, хоть и нетрезвого, на ее вдовье горе.

Сделку надлежало спрыснуть, а так как за столом сидели лишь женщины да дети, Титка же не смел, находясь при должности, то гость спрыскивал в одиночку за всех по очереди, и скоро достиг того окоселого состояния, когда необходимо стало либо выносить его на сеновал, либо самим выбираться на свежий воздух. Тут все Сапегины и высыпали на ступеньки деревянной лестницы, с каскадами отцветшей каприфолии на покосившихся перилах.

Впереди выступала огромная старуха в лиловой люстриновой юбке, вся в пунцовых пятнах недавнего волнения по землистому, нездоровому лицу. Собственно она в полном одиночестве коротала век в усадьбе,— только в летние каникулы у ней гостила дочка с сыновьями от незадачливого брака. Оба они и шли сейчас рядом с бабушкой, стриженые, с синими подглазьями, аккуратные мальчики в парусиновых гимназических курточках. Ивану запомнилось, старший из любознательности надевал желтого слепня на соломинку, а младший рассеянно жевал травинку. «Не жильцы»,— чуть свысока усмехнулся на них Демидка.

Главной барыне не понравилось присутствие посторонних, хоть и детей, в такое время; она ворчливо осведомилась у подвернувшейся горничной, не появлялся ли Аверьяныч, но нет, Аверьяныч пока не выплывал, как та выразилась, *насосамшись* с вечера.

— Ну, что у вас там, милые пареньки? — спросила хозяйка издалека.

— Вот белка...— буркнул Демидка, сдергивая картуз, что сразу расположило старую барыню в его пользу.

— А у тебя что? — обратилась она в иванову сторону.

— Мы все вместе,— отвечал Панька Летягин, который присоединился по дороге и, значит, также участвовал в продаже Марьи Елизаровны.

Пятеро Сапегиных, если не считать горничной, тотчас окружили продавцов, и пятою была девочка лет пяти в затрапезном, бывшем розовом платьишке, с непонятными Ивану цветными кружками и полосками по лицу. Кто-то из мальчиков разрисовал ее под индейца детской акварелью; маленькую звали Леночкой. Ей тоже хотелось полюбоваться на лесного зверка, но все ее попытки оказывались напрасными, пока не догадалась пузыриком протиснуться между ног старшего гимназиста. Довольно звучно тот щелкнул ее перстом в затылок, меж косичек, и она безжалобно отползла назад, на крокетную площадку, приученная к второстепенному положению в доме.

— Покажите вашу белку, дети,— приказала барыня помоложе с унылым и таким длинным носом, что пока доберешься до конца, приходилось возвращаться назад, чтоб вспомнить начало.

Отважно, хоть и зажмурясь, Демидка запустил руку в мешок и выхватил за шейку Марью Елизаровну. Та не сопротивлялась, еще не знала, что обычно все живое здесь ласкают до смерти, после чего с подобающим пением хоронят на крошечном погостике с прежними любимцами мальчиков Сапегиных. Демидка держал белку прочно и потискивал слегка — не затем, чтобы отомстить за покусы, а чтобы барчукам захотелось поскорее избавить бедную от мучений. Тут все принялись упрашивать Демидку, чтобы не причинял боли божьему творению, и неравный поединок длился до тех пор, пока слабые не сдались. Мать разрешила сыновьям истратить содержимое своей копилки и прибавила по-немецки, чтобы учились на примере вести торговые операции с крестьянами.

— Сколько стоит? — сладким голосом спросил младший, умильно взирая на затихший рыжий комочек с обвисшим хвостом.

Тогда старший подкинул в воздух слепня, улетевшего со своим грузом, и деловито отстранил брата.

— Скажите, это у вас хорошая белка? — приступил он, держа руку на пряжке ремня.

— Злющая, первый сорт, еле с дерева оторвал. Што кровишши вытекло: прямо один купорос с ею! — и показал свободную пораненную руку, чтобы поднять цену товара.

— Значит, она у вас кусается? — чуть отступив, спросил младший.

Демидка презрительно глянул ему в ноги:

— О, и не думает. Это я сам об нее искровенился...— ложь оказалась своевременной, так как дурной характер белки мог и отпугнуть покупателей.— Она у нас смирная, Марьей Елизаровной зовут.

Среди обитателей усадьбы начался спор, куда поместить белку, и бабушка советовала поселить ее в клетке погибшего накануне щегла, молодое же поколение намеревалось держать белку на тонкой, совсем незаметной проволочке вокруг горлышка, чтобы не стеснять ее свободы.

— А ее можно мылом мыть? — кротко поинтересовался младший, пока другие продолжали спор.

— Мылом-то? — с видом знатока задумался Демидка.— А чего ж, можно и мылом. Да она и в бочке проживет, если кормить. Окромя огурцов, все жрет... мелкому зверю, главное, костей не давать, чтоб не подавился.

Тут Ивану стало не то чтобы противно, он еще не понимал существа частной коммерции, а как-то не по себе... Сперва его внимание привлек Титка в щипаном сюртучке, выползший наружу, чтоб не сквернить махоркой господских хором. То был сухопарый, старый плут с продавленным внутрь лицом и до такой степени выдвинутыми вперед губами, что непонятно становилось, чем можно было добиться такого поразительного результата. Он похаживал на террасе, злорадно ковыряя ногтем лупившуюся краску... И вдруг еще неизвестная Ивану сила подвела его ко всеми оставленной Леночке, которая жизнерадостно, усевшись на крокетной площадке, наслаждалась горсткой незрелой бузины в подоле платья.

Иван рассудительно покачал головой:

— Ты смотри, этого не ешь, от них помирают... в желтый песочек уложат,— и по праву старшинства, отобрав ягоды, покидал в кусты.— Кто это тебя, несчастную, так размалевал?

— Братики...— кротко отвечала маленькая.

— Иди, смой... нехорошо: люди смотрят! — почуяв в ней родню, посоветовал Иван.— Ну, ты чего больше всего на свете любишь?.. скажи, я тебе достану.

— Птичку,— улыбнулась девочка, слепительно глядя в самую душу Ивана.

И за один тот синий взгляд, за тоненькую, еще не осознанную боль детского сочувствия на всю жизнь полюбил он эту невозмутимую замарашку, как и Калину Глухова с его родничком.

— Тогда уж я тебе сыча принесу...— у меня есть на примете. Только, смотри, его мышами надо кормить... ничего, наловишь! Я тебе за так, без денег принесу,— прибавил он тоном погрубей, чтобы не ронять мужского достоинства.— Ты отпросись завтра к пруду в это время... придешь?

Сыч попался отличного качества, с когтищами, еще дитенок, но уже страшный; сквозь громадное, как тулуп, серое с белыми крапинками оперенье прощупывалось воробьиное тельце. Иван прождал у пруда до вечера, целую тропку натоптал в траве, но женщина не пришла на свидание. Оно состоялось только через семнадцать лет.

С той поры Демидка стал придворным поставщиком барчуков. Для них ловил он птиц на привадах и водопоях, сучьем заваливая ручеек и накрывая лоскутом рыбацкой сети крохотное зеркальце воды. Пленницы нуждались в пище,— он с малых лет обучился пользоваться смирением обездоленных, сваливая муравьиные кучи на току, откуда труженики сами стаскивали ему под разостланную холстину желтоватое отборное яйцо. Воробьев и зябликов он продавал за соловьев, на опыте постигая искусство торгового обмана, помогавшего ему брать вчетверо против того, что было затрачено на легкий труд поимки. На глазах у потрясенных гимназистов, облепленный пиявками, он вычерпывал карасей из тины сапегинского пруда и никогда не отпускал товара в кредит; когда же у покупателя не хватало наличности, принимал в уплату все — от стальных перышек до византийских монеток из потихоньку раз-

грабляемой нумизматической коллекции деда. И хотя они не имели хождения в трактирах империи, Золотухин с одобрением следил, как у его любимца пробивается первый кулацкий зубок. В этой встрече двух соперничающих сословий обе стороны ненавидели друг друга, но Демидка был сильнее: на спесивую заносчивость квелых, всегда с завязанным горлом барчат он отвечал затаенной мужицкой ненавистью.

...Остаток лета Иван почти сплошь провел у Калины; мать отвыкла кликать его к ужину. Их день начинался с зорьки, когда первый луч вместе с птичьей перекличкой цедится сквозь туман в голубоватый, влажный сумрак леса. Старый и малый обходили свою державу, неслышно подсматривая новости: как поживает господин барсук в своем кургане или как в четыре приема, всякий раз с детенышем в зубах, перебирается на новую квартиру сестричка несчастной Марьи Елизаровны,— вековой настил хвои скрадывал шорохи людских шагов. Обычно маршрут повторялся, но в лесу, как в хорошей книге, всегда найдется непрочитанная страница. Здесь, в дороге, Калина учил своего питомца узнавать по росам погоду, а урожай по корешкам лесных трав — и прочей тайной грамоте леса, в которой скопился тысячелетний опыт народа.

Поход завершался на высоком бережку Енги́; был там один заветный мысок, поросший кошачьей лапкой. Далеко внизу, где в тонком разливе воды просвечивали мели и перекаты, буксиришко оттаскивал на зимовку целое семейство пестрых бакенов, и коршун парил с кровавым отсветом заката на крыле. Сказка кончалась, шла осень, все голей становилось вокруг.

Старик давно переступил рубеж, за которым стирается разница возрастов. То была немногословная дружба старого и малого, без боязни разлуки, но и без фальшивого обоюдного ласкательства. Один примиренно прощался со всем, что принимал в свои руки другой. О себе Калина рассказывал скупо, но можно было понять между слов, что чарку своей жизни выпил он, не поморщась, и было бы совсем славно, кабы толченого стекла щепотка не оказалась на донышке. В этих рассказах кончался сказочный Калина и начинался милый, двое дороже мальчику, телесный человек.

— Значит, и не святой ты, дедушка?.. значит, и ты помрешь, да? — разочарованно спрашивал Иван.

Тот смеялся и прощальными глазами обводил багряные, уже облетающие ближние леса за Енгой, поля с неубранными кое-где крестцами снопов, и дальше — свежую песчаную, убегавшую вдаль, насыпь неизвестного пока назначения, и на горизонте — город Лошкарев, за пятнадцать верст сверкавший своими, точно фольговыми, окошками. Калина охотно разъяснил приятелю свою веру, ставшую впоследствии верой и самого Ивана Матвеича. И если б пригладить его слова на книжный образец, получилось бы, что нет бога на земле, а только никогда не остывающий хмель жизни, да радости пресветлого разума, да еще желтая могильная ямина в придачу — для переплава их в еще более совершенные ценности всеобщего бытия... Как всегда, старик плел очередной кузовок, а мальчик лежал на спине и глядел в небо на спокойный, растянувшийся клин улетавших журавлей с чуть оторвавшейся точкой, вожаком, впереди. Детскому разуму трудно было понять мудрость Калины, но голубой отсвет ее Иван унес с собой в жизнь и однажды даже попытался воспроизвести ее по памяти в одном петербургском споре о личном бессмертии.

Не меньшую осведомленность проявлял Калина и в отношении нечистой силы. За долгий срок раздольной столичной жизни старик выяснил с достоверностью, что черти бывают двоякие, и лишь низшие из них, встречаемые в местах присутственных, отмечены смрадом и прыщами исключительной неприглядности. Старшие же — малодоступные для всенародного обозрения, нередко отличаются даже чрезмерным благообразием, квартируют в нарядных хоромах, откуда и взимают подать с православных: жирную еду, рекрутов для сражений, девок для баловства, кормилиц для питания не окрепших пока чертенят. Следовательно, и опознаются они не по хвостам, не по серному дыму при дыхании, а, как правило, по тяготам, причиняемым простым людям... Покончится же все это страшным судом, где обелятся труженики, нечисть же сгинет навеки. На доверчивый вопрос Ивана, помогает ли свячёная вода от нечистой силы, старик отвечал, что очень неплохо воздействует, коли спустить поглубже и малость придержать за хохолок.

— Вот бы повидать ее, темную-то силу! — вздохнул Иван, слушая слабый плеск реки внизу, на отмели.

— Погоди, малый, еще налюбуешься!

Мальчик познакомился с нею в ту же зиму.

5

Крупнейшая лесная операция на Облоге была обставлена с кнышевским размахом. За месяц до начала Титка объездил с угощением все прилежащие деревни,— тут и старухам досталось по стаканчику. Железнодорожники торопили поставщиков. В ту осень первопуток установился ранний, и однажды с рассветом, тотчас за Димитровым днем, тысяча саней со всех концов устремилась к Облогу. После гульбы накануне мужики ехали, качаясь и распустив вожжи; у каждого шумело в голове и тускло поблескивал топор за поясом. Непроспавшееся солнце подымалось над бором, когда пали на снежок первые сосновые хлысты. Не втянувшись пока в работу, лесорубы курили и толклись без дела, наблюдая, как более ретивые довершали приземистые курные избушки и всякую подсобную снасть для разделки леса.

— Чего заглохли, окаянные... чего, дятелки, не постукиваете? — торопил и грозился, умолял и науськивал вконец осипший Титка, такой суетливый, что четверился в похмельных глазах мужиков.— Чугунка придет, ситчиком вас завалит... то-то попируем, деточки! А ну, навались, родимые...— и еще разок сбрызгивал свою армию водчонкой.

Тут, как на поджоге, требовалось лишь огонька заронить, дальше само шло, а распродавшийся Золотухин то и дело посылал. в Лошкарев за спиртным подкреплением.

— Вот она с чего и не стреляла, не заряжена была...— говорил иной, берясь за рукавицы либо оправляя бороду после чарки.— А ну, где он там, космач-то наш?

Со вторым рассветом грянул железный ливень по Облогу, низовой ливень в тысячу дружных топоров. Рваный гул огласил окрестность, и, как над всяким побоищем, взмыла и загорланила черная птица. Целых два дня бор стоял несокрушимо, словно каждую ночь свежая смена заступала место павших; к концу третьего, когда артели

врубились в чащу, Облог дрогнул и заметно попятился: дело пошло спорей. Сваленный лес тут же превращали в тесаную шпалу, либо в подтоварник и просто на швырковое полено... потом везли куда-то в сизую, мерзлым туманцем подернутую даль, где раньше в эту пору, бывало, учились подвывать волчьи выводки, а теперь, если только не мнилось уху, уж продирался сквозь тишину паровозный свисток... Сосну берут по март, покуда крепок санный путь, и Кнышев торопился, чтобы с мая взяться за липу, тотчас по началу сокодвижения.

По свойственной ребятам жажде новизны, мальчик с обостренным любопытством, но без страха за своего милого приятеля принял весть о разорении Облога. Наверно, как все лесное в эту пору, спал старик в непролазных сугробах, и невероятным казалось, чтобы даже такая беда пробудила зимнюю спячку Калины. Вдруг на рождестве ужасная тоска потянула Ивана в лес. Вечером накануне ударил морозец, праздничное оживление с утра воцарилось на дороге, усеянной корьем и клоками сена. Навстречу тянулись подводы с разделанным лесом, пела под полозом остекленевшая колея. На полпути Ивана подхватил возвращавшийся порожняком пашкин отчим. Лошаденка попалась резвая, домчались мигом. Облог объявился точно графитом нарисованный на полупрозрачной кальке. Дальше Иван пошел пешком.

Вкусно, хвойным дымом и смолой несло с лесосеки, где махали топорами, кричали на лошадей, плясали со стужи, разбирали вагами сцепившиеся кряжи и жгли навалы сучья́ в громадных смирных огнищах. В утреннем сумраке таинственно и розовато светился запорошенный лес. То и дело по нему шарахались тени, когда с мерным выдохом ложились деревья. И уже уносили среди криков молчащего, с немигающим взором бородача, которого Облог лапой нахлестнул, защищаясь повадкой ослепленного болью зверя.

Словно в плечико толканули, мальчик двинулся влево, где за лесным выступом шумел другой такой же табор. Обширная, отлого сбегавшая в лощинку порубь с торчащими кое-где метелками подлеска открылась его растерянным глазам. Он не узнавал Облога и знаменитую рослую сосну, разметавшую в небе снежные космы, опознал лишь по черневшей под нею калиновой избушке; вокруг

нее толпился народ. Из страха опоздать к чему-то главному, мальчик ринулся напрямую через сечу и долго не мог пробиться сквозь людское кольцо, под локтями у взрослых.

— Эй, куда тебя несет, малец? — спрашивал кто-то сверху.

— Я к дедушке Калине,— просительно отзывался Иван, и его пропускали.

На истоптанном дочерна снегу толпились лесорубы. Понуро и недоверчиво, как на диво лесное, взирали они на старика, сидевшего возле своей нетопленной, с распахнутой дверью хатки, на свежем пеньке. Калина был без шапки, какой-то чистенький и помолодевший, на плечи накинут кожушок; медноватый свет его последнего солнца отражался в лысой голове. Видимо, происходила прощальная беседа, однако не она одна привлекла сюда лесорубов. В сторожке подкреплялся медком и рыжиком калинова засола сам Кнышев, наехавший произвести порядок на Енгé. Всем была охота взглянуть на знаменитого деятеля, который, по слухам, вырубил полмиллиона десятин и снял зеленую одежку с трех великих русских рек.

— Так-то, хорошие вы мои, детки несмышленые...— говорил Калина тихо и ровно, словно читал по книге.— К тому я и веду, что прозябнет землица без своей зеленой шубейки и здоровьишко станет у ей шибко колебательное. Будет коровка по семи верст за травинкой ходить, а раньше с аршина наедалася. И будет вам лето без тучек, иная зимица без снегов... и поклянут люди свое солнышко! И захотится в баньке веничком похлестаться, а нету. А случится вам сказывать, как на бывалошних-то пнях человек врастяжку ложился, и внучки вам не поверят. И как побьете до последнего деревца русские-то леса, тут и отправитесь, родимые, за хлебушком на чужую сторонку!..

Слезящимся, невидящим взором он обвел оголенное пространство перед собою, ближний край обреченного леса, лица мужиков, иваново в том числе, и уже не признал своего юного друга. Та же злая сила, что по частям отобрала у него зубы, радость, русые кудри, пришла теперь за его душою. И опять, к великому огорчению Ивана, не гнев, не жалоба звучали в речах Калины, а только жалость к остающимся.

— Теперь уж чего там головами качать! — так же прощально, словно с другого берега, отвечал один из тех, к кому обращался Калина.— Раз что начато, то надобно заканчивать...

И тогда Иван увидел Кнышева, показавшегося из сторожки в сопровождении постоянной свиты. Это был хорошего роста господин в сборчатой поддевке гладкого синего сукна, нестарый, даже в полной мужской поре, только слегка одутловатый, с водянистыми, выцветшими и чуть навыкате глазами, по каким узнаются убежденные противники виноградного вина, со стриженой по моде своего сословия бородкой, в иных поворотах почти былинный молодец, если бы не крупные уши, похожие на те державки, что приваривают к чугунным трамбовкам для удобства в обращении с тяжестью. Вышел он заметно навеселе и слушал конец калинова сказа, мизинцем сковыривая вощину с зубов. По сторонам его встали коротконогий Титка, весь подавшись вперед, с длинными, обвисшими вдоль тела руками, и длинный, изможденный, как бы сам себя съедающий Золотухин, с маленькой клювастой головкой на длинной шее и со сверлящим взглядом жестяных непокойных глаз,— уже на склоне лет, хотя покамест седины у него было больше, чем лысины. В знак подчинения заведомой силе Кнышева он стоял с обнаженной головой и свой тяжелый, с высокой тульей картуз держал чуть на отлете в откинутой руке... Кстати сказать, он с самого начала и вместе с сыновьями прикрепился к прославленному мастеру лесного барыша не столько ради заработка, сколько для самообразования на коммерческом поприще. Оба, Титка и Золотухин, обезьяна и ястреб, готовы были ринуться на выполнение любого хозяйского приказа.

— Полно вякать-то́, дед... не отпевай Россеи раньше сроку. Да шапку надень, простынешь, плешивый дьявол,— сдержанно посмеялся Кнышев, упруго спускаясь со ступенек, и все поколебались в мысли, может ли действительно такое время подступить, чтоб со всей русской земли банного веника не наскрести.— Эко развел надгробное рыдание, прости господи, а самому, небось, еще да еще пожить охота... ась?

— Ох, деточки,— простодушно покаялся Калина,— у́ моря согласен песок считать, абы добавочек выдали!

Вот ровно бы и тыщу годов прожил, уж и ноги заплетаются, а пуще меду ндравится она мне... жизнь!

— С чего ж тебе не жить? — покровительственно вставил Золотухин.— Покеда самолично сидишь, да еще людей пугаешь, значит, ты у нас еще не старый.

— А я и есть молодой, да вот годков-то на плечи навалилося.

— Вот и живи: тыщу прожил, вторую откупоривай... правильно сказал я, сынки? — бросил Кнышев в расступившуюся толпу под одобрительный гул лесорубов.— Нука, поднеси ему, Титка!

Немедля плоская серебряная фляжечка появилась в проворных руках приказчика. Он налил с верхом, и Калина лишь головой покачал, узнавая родимую, и все облегченно вздохнули, что вот, дескать, и властители, а не обделили старика. Произведя же затравку, Кнышев замолк, и дальнейший разговор вели на сменку его сподручные.

— Небось, немало повидал за тыщу-то годов, Калинушка?

— Не счесть, милые, всего было. Ить я в кирасирах служил... кони вороные при черном седле, салтаны на касках: нам обмундировка хорошая полагалася. Опять же завсегда трубачи впереди! То-то, говорю: в кирасирах... потом за год до крестьянского ослобождения в драгунов нас произвели...

— И самому повоевать пришлось?

— В Крыму-то, было дело, коня подо мной ядром зашибло. Я во младости-то, ух, удалой был... в экскадроне песельником состоял.

— Ишь, ты! Бровь-то у тебя посечена, видать, от сабли. Охромел не на войне ли?

— Не, то потом... лошадка подо мной оступилася, а нога-то в стремени: бальер брали при самом государе... ну, который нонешнему-то отец. Промежду прочим, на потретах неверно его указывают: он больше в рыжеватину вдарял, усы во всю щеку.— С непривычки Калина быстро захмелел, а у Ивана дважды сердце кровью облилось на его жалкую пьяную разговорчивость.— А еще скажу про лес вам, деточки...

— Про лес ты потом сбрешешь! — оборвал Титка.— Ты нам чего посмешнее доложи. В Санкт-Петербурге, небось, кухаркам спуску не давал? Столичные-то бабеночки,

они форсистые, поди, а? — играющим голоском продолжал он, кося глазом в толпу, для снискания симпатии у этой голытьбы, нанятой по четвертаку в день.

— А чего ж дремать-то с ними! — отвечал за Калину Золотухин под невеселый, недружный смех мужиков.— Знай, веселись, заводи по́д корень.

— Забыл уж я про то, годов много... больше о братьях думал,— отнекивался Калина.— Все они перемерли, пока я там в Питере государевы бальеры брал.

— Ай хворость какая?

— Да ведь колюку в недород, перекати-поле по-нашему, ели. Толкли да ели. Видать, объелися.

— Вон к чему чревоугодие-то приводит,— сдуру аханул Титка, и вдруг все помрачнело кругом, и самое солнце от стыда спряталось.

С глазами, полными слез, Иван глядел в снег под собою: подступал конец его сказки. Правда, добрая половина Облога стояла еще нетронутой, но в сознаньи мальчика бор перестал существовать одновременно с гибелью той могучей хвойной старухи, что осеняла калинову кровлю. Оставлять ее было немыслимо: в первую же пургу, при падении, она раздавила бы калинову сторожку, как гнилой орех.

— Теперь раздайсь маненько, православные,— тусклым голосом сказал Кнышев, спускаясь по ступенькам.— Дакось и мне чуток погреться!

Неожиданно для всех он сбросил с себя поддевку и остался в белой, кипеня белей вышитой рубахе, опоясанной кавказским ремешком с серебряным набором. Десяток рук протянул ему сточенные, карзубые пилы; он выбрал топор у ближайшего, прикинул на вес, одобрительно, на пробу, тронул ногтем лезвие, прозвеневшее, как струна, плюнул в ладонь, чтоб не скользило, и притоптал снежок, где мешал,— прислушался к верховому шелесту леса и неторопливо, как на эшафоте, с маковки до пяты оглядел свою жертву. Она была неслыханно хороша сейчас, старая мать Облога, в своей древней красе, прямая, как луч, и без единого порока; снег, как розовый сон, покоился на ее отяжелевших ветвях. Пока еще не в полную силу, Кнышев размахнулся и с оттяжкой на себя, как бы дразня, ударил в самый низ, по смолистому затеку у комля, где, подобно жилам, корни взбегали на ствол, а мальчик

Иван чуть не ахнул от удивления, что кровка не забрызгала ему рук.

— Вот как ее надоть,— наставительно промолвил Золотухин.— Учитеся!

Сперва топор отскакивал от промерзлой заболони, но вдруг железо остервенилось, и в воздухе часто засверкала мелкая, костяного цвета щепа. Сразу, без единой осечки, образовался узкий, точный выруб, и теперь нужна была особая сноровка, чтоб не увязить в древесине топора. Звонкие вначале удары становились глуше по мере углубления в тело и подобно дятловому цокоту отдавались в окрестности. Все замолкло кругом, даже лес. Ничто пока не могло разбудить зимнюю дрему старухи... но вот ветерок смерти пошевелил ее хвою, и алая снежная пыль посыпалась на взмокшую спину Кнышева. Иван не смел поднять головы, видел только краем увлажнившегося глаза, как при каждом ударе подскакивает и бьется серебряный чехолок на конце кнышевского ремешка.

Зато остальные пристально наблюдали, как разминается застоявшийся купец. По всему было видно, что он хорошо умел *это,* только это и умел он на земле. В сущности, происходила обычная валка, но томило лесорубов виноватое чувство, будто присутствуют при очень грешном, потому что вдобавок щеголеватом и со смертельным исходом, баловстве. И хотя Кнышев действовал без передышки, все понимали: он несколько подзатягивает свое удовольствие, чего простые люди никогда не прощали и заправским палачам... Чтоб довершить дело, купец перекинулся на другую сторону: до конца оставалось стукануть разок-другой. Никто не слышал последнего удара. Кнышев отбросил топор и отошел в сторонку; пар валил от него, как в предбаннике. Подоспевший Золотухин молча накинул поддевку на его взмокшие плечи, а Титка звучно раскупорил ту плоскую, серебряную, неусыхающую. Сосна стояла попрежнему, вся в морозном сияньи. Она еще не знала, что уже умерла.

Ничто пока не изменилось, но лесорубы попятились назад.

— Пошла-а...— придушенно шепнул кто-то над головой Ивана.

Всем ясно стало, что когда-то и Кнышев добывал себе пропитание топоришком, и теперь интересно было прове-

рить степень его мастерства: соскользнув с пня при падении, сосна, как из пушки, могла отшвырнуть калинову скорлупку... Еле заметное движение родилось в ветвях, что-то деловито хрустнуло внизу и мелкой дрожью отозвалось в вершине. Сосна накренилась, все вздохнули с облегчением; второй заруб был чуть выше начального, лесина шла в безопасную сторону, опираясь в будущий откол пня. И вдруг целая буря разразилась в ее пробудившейся кроне, ломала сучья, сдувала снег,— сугробы валились наземь, опережая ее падение... Нет ничего медленней на земле, чем падение дерева, под чьей сенью посещали тебя смутные грезы детства!

Не дождавшись конца, весь содрогаясь, Иван отправился побродить по оголенному пространству. Он вернулся, когда миновал приступ отчаяния; нигде не видать было Калины, народ разошелся, только досужий старичок для грядущих поколений мерял четвертью поваленное явление природы, в срубе доходившее ему до шапки, да еще на крыльце, уже в дорогой дохе, закуривал сигарку Кнышев. Непонятно по прошествии стольких лет, откуда у тихого крестьянского отрока взялась такая ярость... но следует допустить одно для понимания всего дальнейшего: призвание смолоду ведет человека по искусно подобранным зрелищам бытия, чтобы воспитать в нем сноровку и волю на осуществление его исторических целей. Можно только гадать, каким чудом оказалась у Ивана панькина рогатка, кто вложил ему камень в руку посреди зимы.

Кнышев успел выпустить первое облачко дыма, когда в щеку ему угодил иванов гостинец. Произошло замешательство, скверная брань вспыхнула, причем по вдохновению Иван крикнул изобретенное им словцо, прогремевшее потом на всю Енгу́... и опять неизвестно кто подшепнул ему о страшной кнышевской болезни. Подоспевший Титка псом бросился на обидчика, пустившегося к лесу по снежной целине. Молодому было легче перескакивать завалы, зато на одном из них у Ивана соскочил валенок, и он смаху распорол себе ногу о сук, спрятанный под сугробом. Уже не больше десятка шагов разделяло их, и ходить бы профессору Вихрову век с надорванным ухом, если бы не подвернулась та спасительная, под отлогим углом наклоненная береза. Мальчик с ходу взбежал до

развилины и сидел там, как в седле, обнажив зубы, страшный в своем недетском озлоблении, а Титка похаживал внизу, длинным языком лизал снег с ладошки, перстом грозился, пока во всем снаряжении не подоспел сам Кнышев.

— Слазь, волчонок,— глухо сказал большой, еле переводя дух.

— Гнилой барин! — повторил маленький, словно знал, что для Кнышева, гордившегося своим здоровьем и плебейским происхождением, нет клички обидней.

— Дерево срублю, с неба достану... слезай.

— Уходи... барин гнилой,— и дрожал весь.

Тут за дело взялся Титка:

— Покарауль его, Василь Касьяныч... сейчас мы его, зародыша, жердинкой оттеда сковырнем!

Кнышев щурко смотрел на мальчонку, на его под рваным треушком сверкающие глаза, на босую, в крови, слегка посиневшую ступню. Что-то изменилось в его намерениях: вряд ли пожалел человеческого зверка в лохмотьях, но подивился, что за целое десятилетие его злодейской деятельности лишь один этот, во всей России, крестьянский паренек с кулаками вступился за русские леса.

— Ступай отсюда, дурак! — приказал Кнышев Титке.— Нет, погоди... валенок ему сперва отыщешь...— и прибавил леностным тоном, не оставлявшим места для сомнений: — пальцем мальца коснешься — убью...

...С тех пор мальчик ни разу не побывал у Калины, не оттого только, что свойственно детству бессознательно чураться горя и смерти, а просто страшился взглянуть на обломки бесценной игрушки, разбитой вдребезги. Ранка затягивалась понемногу; как-то на лекции в петербургском Лесном институте пришло ему в голову, что не замешайся сюда судьба Калины Глухова, он, наверно, и не вспомнил бы впоследствии о поверженном Облоге. Во всем мире начальный прогресс подымался по древесным ступенькам, а пока Иван Матвеич копил лесные знания, десятки таких Облогов исчезли у него на глазах, не оставив по себе — пусть вдесятеро меньшего по площади — потомства... К тому времени образ Калины даже несколько затуманился, чтобы еще много лет спустя, через первую книгу Ивана Вихрова, вознестись в богатырское бессмертие.

6

Кроме Ивана, за смертью отца не обученного местным ремеслам, работников в семье не было, не перепадали сюда и кнышевские четвертаки. Как ни билась Агафья, а под вечерок мыть полы к трактирщику не шла. Близ крещенья, в середине той зимы, Таиска впервые отправилась с сумой по дальним деревням, где не слыхали про Вихровых, причем не просила, сложенной корытцем руки не протягивала, а пела под окошками заученное от прохожих слепцов сказаньице, как на смоченном слезами камне мать точила ножик на деточек, чтоб избавить их от постылой, голодной доли. Много позже, к старости, в откровенную минуту сестра похвасталась однажды брату, будто один прославленный в ту пору на Енге́ конокрад по пьяной лавочке прослезился на ее песенку. От гордыни или же нежеланья приучать сына к легкому хлебу Агафья не пускала Ивана с сестренкой. До весны держались на таискины куски с приправой из мякины да коры, что всегда под рукой у нищего. Тогда-то и пришел на помощь деверь Афанасий, почитавший покойного брата, как отца: неженатый, угрюмый и набожный, он выглядел еще страшней Матвея, по отзывам земляков, а кротостью будто бы превосходил его вдвое. Он-то и отписал невестке, чтобы бросала вдовье пепелище и, подкинув старшенькую одинокой тетке из дальней Бахтармы, привозила бы Ивана в Питер, где открылась ваканция в соседней пекарне: жалованья не сулил, а в том состояла выгода места, чтоб неотлучно состоять при хлебе.

...В ожидании *Евпатия* все шестеро долго томились на черной, смоленой, красновершенской пристани: кроме тетки, проводить пришли ивановы приятели, и Демидка все сманивал Ивана итти с ними любоваться на небывалый в том краю лесной пожар; горьковатая гарь свыше недели окутывала окрестность.

— Ганька, братан, из Лошкарева с керосином возвращался... так еле ускакал,— восторженно захлебываясь, рассказывал Демидка.— Огонь за ним гонится, коня под брюхо лапает, так и дерет. Идем давай, до гудка-то разов семь поспеем обернуться, а?

— В Питере у них пожары, поди, похлеще бывают,— возражал Летягин и по перенятой у взрослых привычке солидно поглаживал место, предназначенное для усов.— Куды ему, еще насмотрится!

Такими они и застыли навсегда в представлении Ивана Матвеича: он рос, учился, скитался по стране, получал ученые степени, сутулясь понемногу, а два босоногих мальца в застиранных рубахах все спорили в сизом падымке, на тусклозеленом красновершенском бережку.

— Ярочку-то продай, ежели нужда стукнет. Да не обижай сиротку-т, Агапьевна! — уже с борта с поклонами и сквозь гудок прокричала мать.

— И-и, Медведушка, для меня горбатенькая — божья копилка. Из одной плошки станем хлебать,— густым гусиным голосом откликалась Агапьевна, вцепясь как в добычу в таискино плечо.

...От Лошкарева уже бегала чугунка, но дешевле было полдороги добираться водой, а там пересесть на прямой петербургский поезд. Вихровы поместились на обитой железом нижней палубе, среди соляных кулей и бочек с говяжьим салом. Пахло перегретым маслом, прелым тряпьем от лежавшей вповалку голытьбы, а пуще всего, начиная с двадцатой версты, удушливым хвойным дымом. Одетая в зарево лесных пожаров, Россия вступала в двадцатый век.

После небывалой двухмесячной суши синевато-призрачные, под самые облака, столбы двинулись по России, перешагивая реки. Объятое багровой мглой стояло архангельское Поморье, и Висла в своих нижних, замедленных частях, текла, подернутая пеплом. Неоглядными косяками чадила сибирская тайга, великая гарь Смоленщины местами смыкалась с гарью Пошехонья, даже на крымском Чатыр-даге чадило что-то. Пылали торфяники, зароды сена, пильные товары на пристанях... никто не знал в точности, сколько, где и отчего горит. В газетах попадалось, будто во Владимире видели бродягу, варившего похлебку на опушке, а в Витебске — лисятника, выжигавшего лису из норы; в Саратове местный барин стрелял перепелов на огонек, служивший им привадой, а близ Чернигова местный лесничий всеобщею бедою прикрывал свои грешки. И за все лето был напечатан лишь один судебный отчет о двух тамбовских мужичках, пустивших

петушка в помещичью рощу в отместку за запрещение собирать мох для конопатки. Все это также служило Ивану наглядным пособием к познанию лесов российских, и, надо сказать, природа не щадила себя, повествуя мальцу о преступном людском небрежении.

Грозная по весне, Енга обычно слабела к концу лета, но вряд ли когда достигала подобного ничтожества. По опустелой реке пароходишко тащился наощупь, сквозь молоко сплошного дыма, день и ночь с сигнальными огнями и круглосуточным промером глубины. «Пять, четыре с половиной, пять...» — то и дело раздавалось на носу, и всякий раз с приближением к четверке капитан сатанинским голосом кричал в латунную трубу — убавить ходу; плицы шлепали медленней, под брюхом *Евпатия* хрустел песок. Сквозь порыжелую дерновину вокруг, там и сям сизыми струйками курилась торфяная подслойка... Когда же фарватер подводил посудину к берегу, команда вперехлест окатывала из ведра пузырившийся борт и надстройки, на чем свет костерила хозяина, приказавшего им этот рейс... Впритирку проползли мимо брошенной беляны, превращенной в пловучий костер, и видели лисицу с обгорелым хвостом, переплывавшую реку. Было бы совсем нехорошо обмелеть в таком пекле, как прошлой ночью в Ногатине, где горящей лесиной с бережка стегануло насмерть одного простоволосого странника в чуйке. Еще накануне, ужасно возбужденный видом пламени, он приставал к пассажирам с разъяснениями, что белесое и курчавое перед очами ихними является не что иное, как дым, а вкрапленный в него багрец и есть самый огнь, плоть от плоти пылания гееннского, причем грешничкам в аду еще пожарче будет! И все это с сладострастной злобой праведника на опечаливших бога людишек... И теперь замолкший знаток загробных дел ехал на корме, лежа, вполглаза поглядывая за Иваном из-под своей рогожи... Мальчику становилось жутко мертвеца; он бочком выбирался наружу и, положив подбородок на перила, безотрывно глядел на охваченное пожаром левобережье.

В сущности, лес жил прежней жизнью... вот ветерком рвануло позолоченные листья с осинника, вот испуганной стайкой вспорхнули красные дрозды, и вслед за ними огненная же белка перескочила на соседнюю запылавшую

ветку. Уже тогда в глаза Ивану бросилось странное непротивление бедствию со стороны тех, кого оно прежде всего касалось. Правда, в памяти уцелела наивная картинка: будто у околицы заброшенного лесного селенья, чем-то похожего на Красновершье, цепочкой выстроились старухи с иконами, а ребятишки его возраста скорей из баловства, чем ради самообороны, еловым лапником сбивают с травы наползающее пламя. Судя по наличию церковного причта, там происходит молебен, причем все голосят что-то, перекрываемое зловещим шелестом из ближнего леска, где пасется смирный пока, словно припутанный огонь... Вот расхрабрившийся попик впереди кропит его крест-накрест свячёною водой, стараясь добрызнуть, и с таким видом — вот мы тебя, дескать, рыжего, вот мы тебя ужо со богородицей!.. И, значит, какая-то капля достигает зверя, потому что в то же мгновенье из глубины — с пальбой падающих стволов, с визгом извергающихся газов — вырывается слепящая бесноватая сила. Она наступает стеной, подгрызая подлесок, отражаясь в прибрежной воде... и, как на всякой *стенке,* в рукопашном русском бою, первыми бегут по высохшим кусткам и вереску задиралы, пострелята огня. И вот в восходящем вихре вертится обугленная птица и не может упасть. И вот длинная ель у самой воды с шелестом освобождения одевается в пурпур и присоединяется к большинству.

Дальше ничего нет. *Евпатий* заходит за мысок. Концовкой тому беспощадному зрелищу служит чье-то восхищенное замечание, произнесенное над поникшей от горести головой Ивана:

— Ой, шибко лущит... то-то брусничка сочна сыпанет в грядущее лето по злосчастным сим местам!

...Надо оговориться, все эти происшествия, размещенные на переломе двух веков, Иван Матвеич теперь различал уже с неодинаковой четкостью. Память невольно сглаживала подробности, выпирала на передний план одно, приглушая другое; в ту ночь ему пришлось не раз прибегать и к искусству археолога, чтоб на черепках прошлого прочесть когда-то кровью начертанные письмена.

В полдень по радио он узнал о событиях минувшей ночи.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

В отличие от противника, Москва встретила войну без хвастливых угроз и уличных демонстраций. Митинги на предприятиях и заводах прошли деловито и немногословно, как если бы речь шла об очередном, хотя и грознее прежних, задании истории; все понимали, однако, что теперь от выполнения его зависит нечто гораздо большее, чем только частная судьба столицы. Сквозь сожаления о незавершенной стройке звучало презрение к врагу — и к этому, ближнему, и к тому, главному и скрытному, что испугался мирного соревнования двух систем. Война была еще далека, и на протяжении целых трех недель лишь самые ничтожные изменения коснулись распорядка жизни в Благовещенском тупике.

До начала учебного года Варя познакомила подругу с Москвой. В часы, свободные от рытья щелей и занятий по воздушной самообороне, они обошли районы города по составленному Полей списку. Правда, несколько непривычно выглядели центральные площади, раскрашенные в тусклые цвета камуфляжа, и наиболее знаменитые здания с витринами, заложенными доверху мешками песка; кроме того, рядом с театральными афишами появились призывы к донорам, добровольцам ополчения, к женщинам — сменить мужей у станков, а в картинных галереях, какие еще оставались на месте, прежде всего бросались в глаза адреса ближайших бомбоубежищ. Но, как никогда, чудесно сияло солнце в почти невыносимой синеве, только теперь это никому не было нужно и, больше того, даже мучило напоминанием о чем-то бесконечно дорогом, утраченном надолго. А в улицах, по жаре, шли то солдаты в шинельных скатках, то отряды молодежи с лопатами на плечах, то первые партии притихших московских малышей. Они покидали столицу без обычных шалостей и песенок, однако и без слез, неестественно прямясь от тяжести рюкзаков; матери поддерживали сзади их ноши.

В сумерки все это бесследно поглощали вокзалы, и тогда по шоссейной магистрали, как раз за дендрарием Лесохозяйственного института, на всю ночь начиналось

движение танков. Машины отправлялись своим ходом, волна за волной; природа содрогалась от лязга и зябла от обилия железа. В такие вечера взоры всех без исключения обращались в одну и ту же сторону: в гаснущей полоске заката всем одинаково виделось зарево надвигающейся войны.

Она добралась до Москвы лишь месяц спустя, когда на рассвете однажды черное облако, похожее на разлитую тушь, поднялось в небе Подмосковья: после первого налета горела толевая фабричка в Филях. Вскоре воздушный удар повторился, и опять внешне все по-старому оставалось на Москве, но какое-то новое, строгое, обязывающее содержание открылось в ее древних камнях. Именно в те дни созревало у москвичей сознание единства, исторического превосходства перед противником и еще тот, притупляющий боль и сожаления молчаливый гнев, из которого творится пламя подвига; страна уже нуждалась в нем. Сильные внезапностью нападения, германские войска к середине июля прорвались к Ярцеву, через Демидов и Духовщину, с севера обойдя Смоленск; и в прежних войнах всегда требовалось особое время всколыхнуть глубинные просторы России. Из-за этого лётная трасса на Москву сократилась втрое, и отныне каждую ночь на подступах к ней разгоралась жаркая схватка зениток с фашистской авиацией.

С наступлением темноты стаи серебряных аэростатов заполняли небо, а в шумовую мелодию города вступали властные, никогда не освоенные человеческим ухом инструменты воздушной тревоги. Они заставляли умолкнуть все, даже шелест листвы и детский плач, словно живое страшилось обнаружить себя, а улицы становились такими длинными, что казалось, никак не добежишь до их конца. Для Поли, привыкшей к енежской тишине, наступали часы изнурительного ожидания чего-то худшего, чем даже прямое попадание. Чуть вечер, в особенности при ясном небе, ею овладевал приступ более тяжкого заболевания, чем любое из перенесенных ею в детстве; оно состояло в неотвязном чувстве воздуха: речь становилась неточной, все валилось из рук. Она ни на что не жаловалась пока, и Варя по своему почину решилась предложить ей единственное лекарство от этого одуряющего страха.

Разговор произошел однажды после варина возвращения с дежурства на крыше. Ранняя в тот вечер атака вражеской авиации была сразу отбита и не повторилась, потому что небо затянулось тучами. Поля находилась уже дома и суетилась по хозяйству, чтобы хоть как-нибудь оправдать свое пребывание в этом городе в такое время. Через полчаса зашла и Наталья Сергеевна, которую Варя мимоходом пригласила пить чай.

— Теперь уж не полетят, я уложила внучку спать,— значительно сказала она с единственным намерением успокоить бледную, растерянную Полю.— Кажется, дождик начался... вы не вымокли... Варя?

— Нет, пустяки... только вот зацепилась рукавом за гвоздь на чердаке. Ты зря не поднялась посмотреть на это волшебное зрелище, Поля: на летний дождик над Москвой.— Она кивком поблагодарила Полю за иглу с ниткой, немедленно оказавшиеся перед нею.— Ужасно люблю глядеть на мокрые московские крыши, когда они светятся во всю широту горизонта!

— А ты уверена, что... это хороший дождик будет? — спросила Поля, и, пожалуй, не столько спасительный дождик ее интересовал — долго ли он продлится, сколько проверить хотелось по интонации ответа, не испытывает ли Варя холодка или презрения к ней за постоянное сиденье в бомбоубежище.— Я тоже очень любила дождик... на Енгé, но, конечно, здесь это вдвойне красивей... и, главное, нужней.

— Не в красоте дело... и как раз московские крыши не очень привлекательны: заплаты, поржавевшие желоба. Вообще сверху виднее, что все эти года страна заботилась о чем-то более важном, чем ее жилища... Кстати, тебе стоит подумать, как будущему архитектору, почему мы украшаем города лишь с фасада, хотя, по существу, давно переселились с плоскости в три измерения. Зато сверху Москва такая понятная, теплая, простая. Рождается волнительное желание вложить в нее и свою силу, пусть маленькую... но ведь чем меньше я, тем больше нас, таких, правда? — Варя выдержала паузу, чтобы до Поли дошла ее спрятанная мысль.— И пока ждала самолетов... которые, кстати, так и не прилетели, мне пришло в голову... кто полностью не разделил с народом его горя, непременно будет чувствовать себя отверженным и на празднике его радости.

— Вы всегда такая строгая, товарищ Чернецова, что я сама порой как бы за партой чувствую себя в вашем присутствии,— вставила Наталья Сергеевна, сжалясь над Полей.— Все придет само собой. Оставьте девочку в покое.

— Я только хотела спросить ее... я хочу спросить тебя, Поля: нет у тебя потребности подняться со мной туда... завтра? Ты можешь заложить вату в уши, если звука боишься.

— Нет еще... не теперь! — и с таким неподдельным ужасом затрясла головой, что обе рассмеялись.

— Ну, я вижу, фельдмаршала из тебя не получится,— без порицания или насмешки шутила Варя.— Ты думаешь, что я меньше тебя боюсь смерти?

— О, нет! Совсем не то...

— Так что же именно?

— Я не знаю пока.

— Тогда, может быть, тебе лучше вернуться на Енгу́? А когда все кончится...

— Как тебе не стыдно, Варька! Я и сама себя порицаю, как последнейшего человека в стране, но не могу, пойми, не могу пока...— и заплакала от обиды.— Я просто не понимаю...

— Что ж тут понимать, Поленька? Это война.

— Нет, я другого не понимаю: ведь я еще никакого зла им не причинила... за что же они непременно хотят убить меня?

Вопрос был поставлен в такой откровенной наготе, что у Вари, хотя положение будущей народной учительницы и обязывало ее к универсальному знанию, не нашлось на него ответа.

...Итак, все осталось попрежнему. Как и раньше, по сигналу тревоги Варя вместе с прочими дружинниками воздушной обороны, вооруженная длинными адскими щипцами и в рукавицах, поднималась на крышу, а Поля торопливо сбегала в подвал, где горел настоящий, незатемненный свет и по углам, такие успокоительно-прохладные, стояли ящики с песком. Там было глухо, чуть сыровато, совсем хорошо, как в земле, только первое время, за отсутствием других каменных строений в их тупике, уйма народу набивалась сюда со всей улицы. Большинство состояло из людей пожилых да еще матерей с детьми, по

разным причинам задержавшихся в столице. Все молчали, потом в тишину, насыщенную деловитым посапыванием спящих ребят, просачивались булькающие разрывы фугасок. Поля закрывала глаза, и ею овладевало знакомое томление детской поры, когда при засыпании в потемках казалось, будто великан в холодной и гадкой лягушечьей коже шарит вокруг, бормоча что-то, и притворяется, что не может найти, отчего вдвое страшнее. Она прижималась к стене, и все остальные желания вытеснялись одним — стать незаметней горошинки, закатиться в норку, если не уничтожиться совсем.

По мере того, как свыкалась с военным бытом, к Поле возвращались речь и зрение. Так она распознала Наталью Сергеевну в санитарке, дремавшей у выхода, а попозже различила сухощавого, надменно-профессорской внешности старика с непокрытой головой и с добротным пледом на коленях, рисунком внутрь, чтобы, видимо, не слишком отличаться от прочих жителей Благовещенского тупика. Всю тревогу профессор просиживал в одном и том же углу, под лампой, с книжкой в руке, изредка делая пометки на полях, но судя по тому, сколько у него уходило на каждую строку и как часто возвращался к прочитанным страницам, ему также не особенно удавалось отвлечься от действительности за железной дверью убежища. Полю сразу потянуло к нему: он представлялся единственным здесь, кто мог помочь ей в разрешении некоторых житейских недоумений.

Оказавшись рядом однажды, она не преминула задать ему эти вопросы в порядке возрастающей важности. Так, например, ее уже давно одолевало сомнение, допустимо ли произвольное уширение земляной щели на двадцать сантиметров, что́ из-за осыпи грунта непроизвольно получалось у ней всякий раз при рытье противовоздушных окопчиков во дворе... и, кроме того, нужно ли на время тревоги завертывать пищевые продукты в целлофан, как того требовала инструкция по самообороне. Сосед указал ей со снисходительной улыбкой, что на данном этапе военных действий целлофаном можно пока пренебречь, зато любое отступление от инженерных расчетов крайне нежелательно.

Поля горячо поблагодарила его за обстоятельность ответа, ценного не столько по глубине содержавшихся в нем

сведений, сколько тем, что общение с бывалым человеком избавляло ее от нестерпимых мук одиночества.

— Я потому решилась вас обеспокоить,— благодарно призналась она,— что нигде не могу достать этот проклятый целлофан!

— Временно у вас имеются все основания, э... не затруднять себя поисками,— размеренно успокоил сосед и, коснувшись ее трепетной руки, прибавил что-то о своей постоянной готовности пойти навстречу, как он выразился, с видимым удовольствием выговаривая слова, нашей пытливой и чуткой молодежи; затем, вскинув очки, он продолжал мужественно преодолевать очередную страничку.

Все еще длился воздушный поединок в Подмосковьи, и хотя разрывы не слышны были на этот раз, попрежнему висела над городом вынужденная тишина. Даже странно было представить, что где-то грохочут ужасные танковые битвы и во весь разлив полыхают необжитые колхозные новоселья, а вчерашние счетоводы, лекальщики, кандидаты наук ползут на огневой рубеж в дымящихся гимнастерках, и Родион в том числе!.. но еще труднее было допустить, что дотла выгорит вся, таким подвигом добытая советская новь на запад от московского меридиана, а сталь броневых машин не однажды обернется через мартены, а люди проползут по многу тысяч километров, так что сотлеют от пота их рубахи, и станут солдатами нынешние подростки, прежде чем закончится *это*.

В такие вечера Поля имела возможность наблюдать животный ужас собак, при первом же вое сирены забивавшихся под скамейки убежища, и краска заливала ей щеки при мысли, что станет с нею самой, если война затянется еще на месяц... В другой раз, оказавшись рядом с тем же человеком, Поля жарким сбивчивым шопотом заговорила о низости капиталистических владык, извлекающих барыш из человеческого страдания. В детском воображении своем она любила иногда побродить по предместьям коммунизма, и тем горше было возвращаться оттуда на тот химерический Дантов круг, где все терзает все — без радости, утоления и смысла. Возможной длительности этого ада и касался третий, главный полин вопрос.

— Простите, я недослышал...— сказал ее ученый сосед, извлекая из уха клочок ваты, с помощью которой

иные в ту пору защищались от чрезмерных впечатлений бытия.

— Мне очень неловко отрывать вас от занятий, но... я спросить хотела: сколько же продлится *этот ужас*... полтора, три месяца? Неужели больше, чем полгода?

Прежде чем удовлетворить любознательность сидевшей с ним плечом к плечу скромной и почтительной девочки, профессор долго изучал длинный ноготь на мизинце.

— Ваш вопрос застает меня врасплох, дорогое дитя,— рассудительно начал он, играя карандашиком в пальцах.— Для нас, стариков, наиболее трудные вопросы как раз те, какие задаются розовой, неискушенной юностью. К сожалению, я не смогу представить вам ничего, кроме общих размышлений вслух, которые, э... вы вправе и отвергнуть, если в них слишком уж отразится мой личный опыт, копилка печальных знаний престарелого, вполовину изношенного человека. Возможно, иные из них, э... покажутся вам далекими от нашей сверкающей действительности,— алогичными, даже в какой-то мере обывательскими и, пожалуй, с предосудительным налетом пессимизма, но всякое суждение неминуемо является источником противоречий и, кроме того, носит отпечаток места, где оно высказано. В данном случае мы сидим с вами в малокомфортабельной пещере с томительным ожиданием минуты, когда на нас с вами рухнут, э... не будем прятаться от фактов: восемь этажей, не считая крыши и чердачных перекрытий. В подобной ситуации редко навещают возвышенные мысли. Это потом приходит величавый летописец и в десяток каллиграфических строк укладывает годы лишений, несчитанные километры зарева и тысячи одновременных гангрен, а пока... Я выражаюсь несколько пунктирно, но... вы следите за ходом моей мысли?

— Я... я стараюсь,— откликнулась Поля, робея перед столь обстоятельным вступлением.

— Начнем с того, милое дитя,— веско и каким-то до крайности жирным голосом продолжал полин собеседник,— что война доныне применялась для установления господства над слабейшим и подчинения его воле победителя. Естественно, достигнутые таким способом успехи нельзя считать прочными, как и все то, что достигается применением угрозы или насилия. Никакие параграфы мирных договоров не обязательны для внуков, если только,

э... операция не сопровождалась поголовным истреблением побежденных. Примером тому служат немедленно, после смерти создателя, распадавшиеся империи Дария и Ксеркса, Александра и Саргона, Тимура и Наполеона... а уж тем более этого заносчивого ефрейтора Шикльгрубера. Последующим поколениям всегда стеснительна одежда предков: обычно они ее, э... перешивают! Раз согнутая пластинка распрямляется с захватом не принадлежащего ей пространства... и таким образом война родит войну, и потому, надо признать, некоторые не без основания рассматривают пройденный путь человечества как сплошное, скажем мягко, рукопашное препирательство... иногда с довольно значительными промежутками покоя, необходимого в целях накопления жиров и средств для будущего столкновения. Поэтому разумнее было бы говорить о длительности не войны, а самых передышек. Какая у вас отметка по этой, как ее... политграмоте?

— Четыре...— правильно поняла Поля его вопрос, однако начинала уставать от скользкой и неточной речи, которой лишь немногочисленность аудитории мешала превратиться в развернутую лекцию.

— О, этого вполне достаточно для понимания механики капиталистического существования. И здесь я вынужден огорчить вас, мое дитя! Боюсь, что по мере роста промышленных возможностей и соответственного усложнения отношений такие паузы будут все более сокращаться, пока человечество не образумится... или не превратится в газовую туманность местного значения, когда его разрушительный потенциал подавит окончательно потенциал созидательный. «Здесь жили несколько неосторожные и вспыльчивые боги»,— скажет про нашу планету какой-нибудь доцент астрономии с соседней звездной системы. Я прошу вас учесть в особенности, что, э... великие изобретения бывают рассеяны в воздухе эпохи и абсорбируются противниками почти одновременно. Словом, мне неотвратимо приходит в голову образ колеблющейся пластины, зажатой в тисках, э... так сказать, исторической необходимости. Дело решалось бы просто уравнением, где элементами служат длина помянутой пластины, упругость материала, сопротивление среды и первоначально заданная сила, но, к сожалению, рассматриваемый процесс несколько сложнее. Видите ли, милая девочка, факты

истории строятся на гораздо большем количестве координат, чем это доступно человеческому разуму... и вывод историка целиком зависит от того, какие — из ему известных на данном отрезке времени!.. какие именно ему благоугодно принять за главные. У всякой эпохи рождаются самостоятельные взгляды на причины исторических событий, так что в будущем, я допускаю, э... возможны самые захватывающие открытия, скажем, даже о пелопоннесской войне! Разумеется, легче всего было бы ответить, что длительность войны определяется соотношением резервов, качества вооружения, экономической мощью соперников... или что при внешнем равенстве сил решающее влияние окажут образованность полководцев, ярость армии, духовное оснащение народа... но боюсь, не входят ли в это уравнение еще какие-то числа, для познания которых мы не располагаем пока достаточным инструментом, если ничто, ничто, повторяю я, не смогло предотвратить гибель выдающихся цивилизаций прошлого. Дайте же мне эти массы и числа в полном объеме, и я, подобно Лапласу, возьмусь предсказать любое их положение через любой отрезок времени. Но вы молчите, мой юный товарищ, и вот я затрудняюсь вам ответить, сколько же времени может продлиться этот научно организованный, кровопролитный беспорядок, в просторечии называемый войной!

Полю начинало клонить в сон, но и сквозь дрему все ее существо бессознательно противилось этой глубокомысленной путанице, где, несмотря на внешнее благополучие, временами явственно вскипал газированный ядок сомнения. Она не могла не согласиться, что, конечно, все на свете совсем не окончательно, потому что ежесекундно обновляется река жизни, но, с непривычки к дискуссиям и без помощи Родиона, не умела возразить на то неуловимое недоброе, что крылось в ускользающих профессорских намеках.

— Значит, вы думаете, война еще долго протянется? — вздохнула Поля.

— Во всяком случае, у нас с вами будет достаточно времени для многих таких, э... невольных бесед.— В этом месте он пристально поглядел на Наталью Сергеевну, с безучастным видом наклонившуюся в их сторону, и уже не для Поли прибавил как бы с оттенком зависти, что у юных все впереди, так что еще успеют побывать в

блистающих предгорьях коммунизма. Ему оставалось закрепить состоявшееся знакомство: — Кстати, я не расслышал... как ваша фамилия?

— Зовите меня просто Полей...— и доверчиво подняла глаза.— А вас?

Таким образом и он был поставлен в приятную необходимость назвать себя. Его звали Александр Яковлевич, фамилия его была Грацианский. Следовало считать особой удачей, что судьба без промедления свела Полю с крупнейшим знатоком леса, главным судьей ее отца, способным пролить свет на историю сомнительной вихровской известности...

К счастью, что-то отвлекло в сторону внимание Грацианского, и Поля имела время оправиться от молниеносного потрясения.

2

В ближайший вечер она в подробностях рассмотрела своего нового знакомца с пледом на коленях. Как и в прошлый раз, он сидел в профиль к ней, но в этом заключалось и некоторое преимущество: не мешали очки, не заслоняла книжка, служившая ему как бы ширмой от посторонних наблюдателей. У него было продолговатое, аскетической худобы, овеянное непримиримым величием и не без оттенка надменной гордости, лицо с матовым цветом кожи и с небрежной, чуть сединою тронутой бородкой; как бы ветерком вдохновенья вздыбленные волосы его были умеренно длинны, и слегка мерцающие тени лежали во впадинах под высоким лбом. Все это придавало ему образцово-показательную внешность стойкого борца за нечто в высшей степени благородное, что, в свою очередь, вызывало самые глубокие к нему симпатии. И при одних поворотах он напоминал некоего православного миссионера с Курильских островов, запомнившегося Поле по картинке из *Нивы,* а при других — даже пророка древности, приговоренного к мученическому костру... если бы не странное, к прискорбию, устройство глаз у Александра Яковлевича Грацианского. Время от времени там, в глубине, под бесстрастно опущенными веками начиналась быстрая, на тик похожая беготня зрачков, мало подходящая

для проповедника не только слова божия, но и менее возвышенных истин. Какое-то неотвязное воспоминание преследовало этого человека, так что каждую четверть часа требовалось ему удостовериться в отсутствии поводов для беспокойства. Наверно, река жизни основательно потрепала его на порогах, прежде чем вынесла в устье заслуженного общественного признания, и Поля, приученная уважать поколение отцов, правильно восприняла указанные странности как след какого-то потрясенья, испытанного в годы революционного подполья.

Через минуту такое толкованье ей самой показалось книжным, проще было искать объяснение в самой обстановке той ночи. Полю тоже давили и эта насыщенная бедствием тишина, и виноватое сознание своего дезертирского сидения в подвале, в то время как другие стоят на крыше или во весь рост идут в атаку — Родион в том числе! — и, наконец, вся эта содрогающаяся, восьмиэтажная толща камня, в особенности напоминавшая о своем весе именно здесь, в низком сводчатом подземельи. Детям свойственно понимать поведение старших в пределах своего собственного опыта.

Вдруг Поля поняла, что Грацианский боковым зрением заметил ее напряженное внимание; он еще держал томик перед собой, но глядел поверх страницы.

— Довольно легкомысленно приходить сюда в легкой блузке. Дом новый, штукатурка еще не просохла,— сказал он, освобождаясь от очков.— Хотите мой плед?

— Ничего, я крепкая... с ребятами в глухую осень реку наперегонки переплывала!

— Похвально... как раз безумства юности и служат нам порой тренировкой для героических свершений в зрелом возрасте,— и вдруг с неожиданной для его возраста резвостью повернулся к Поле лицом: — Ну, признавайтесь теперь, откуда вы знаете меня?

Ей удалось схитрить; она ненавидела ложь, но теперь пустилась бы и не на такое, лишь бы выпытать правду об отце.

— О, я читала ваши сочинения об этом... как его?.. ну, об ученом, который собирается запереть на замок от народа русский лес.

То была подлинная цитата из его собственной статьи, только там гораздо злее намекалось на еще существующих,

якобы весьма живучих старушек, которые с семнадцатого года хранят в сундучках манную крупку и сахарок на предмет некоторых чрезвычайных и, надо надеяться, не продолжительных политических событий, после чего все должно воротиться в колею, так сказать *нормальной* жизни.

— О, вы имеете в виду мою старинную полемику с Вихровым...— польщенно улыбнулся он.— Каким же образом вам попались на глаза эти мои... торопливые рукоделья?

Она правдиво рассказала, что познакомилась с ними у матери, в лесничестве, где, по многолетней традиции, выписываются все специальные издания.

— Библиотечка там маленькая, все до корки перечитала. Но вот уж цельных восемнадцать лет живу на свете и не могла подозревать, что в такой тишайшей области, как лес, могут твориться такие *громкие* происшествия.

— Простите... это в каком лесничестве... живет ваша мать? — в упор и быстро спросил он.

Встречная предосторожность заставила Полю назвать соседнее,— по ту сторону реки Горянки:

— Сватковское, на Енгé... Глушь и тоска ужасная!

— Напротив, отличные места. В годы молодости я бывал в ваших краях, только в лесничестве Пашутинском... как раз в гостях у этого самого Вихрова,— с приятностью вспомнил Грацианский, взглянув куда-то наискось и поверх Поли.— И, скажите, какую же оценку получили мои сочинения в вашей милой, пытливой головке?

— Я бы так определила, что это... очень сильные статьи. Только одного не могла понять: откуда ж и у нас берутся *такие* люди, да еще в наше время, когда весь народ безраздельно отдает себя созидательному труду,— прочла она словно из газетной передовой.— Едят советский хлеб, а сами...

Грацианский крайне сочувственно принял ее безыскусственную вспышку.

— Видите ли, светлая девочка, мы живем в чудесную эпоху сдвигов и преобразований, когда классовая борьба принимает порой самые причудливые формы, э... пока не выливается, наконец, в открытую схватку двух сторон. Нельзя забывать, что лишенные прямой возможности наносить ущерб, к тому же и бессмысленный при нашем

гигантском творческом напоре, враги пускаются порой на ювелирные хитрости, среди которых не последнее место занимают так называемые невинные заблуждения, обычно выдаваемые за оттенки научной мысли. И у этого Вихрова поразительная склонность к так называемому самостоятельному мышлению. А чем крупней размах народной деятельности, тем чреватей начальное отклонение в идеях даже на полградуса... не правда ли, мой друг?

Последняя надежда на оправдание отца рушилась от этого приговора, высказанного с печалью запоздалого сожаления, и Поля напрасно цеплялась за что придется при падении.

— Вы полагаете...— кусая губы, начала Поля, но дыхание оборвалось у ней, и заговорила снова, и так повторялось до трех раз.— Вы полагаете, что Вихров сеет свои вредные идейки... не совсем спроста?

Только полгода спустя, при сопоставлении некоторых обстоятельств, вспомнилось ей, что в этом месте Наталья Сергеевна приоткрыла глаза, пристально взглянула на Грацианского и снова предалась своей дремоте.

— Я понял, на что вы намекаете, но нет... не допускаю,— с неуверенно кислым видом протянул полин собеседник.— Сопротивление людей *этого* класса давно сломлено... я бы сказал, оно погребено в бетоне социалистической стройки. Конечно, в плохих романах еще попадаются загадочные фигуры с потайными фонарями, хранящие в зубной пломбе похищенную схему городской канализации, без чего в наше время трудно бывает провернуть громоздкий и дидактический сюжет, но... судя по критическим обзорам, это и в литературе становится запрещенным приемом. Кроме того, лес не является оборонным объектом, туда ходят даже без пропуска!.. Нет, тут действуют другие, ржавые пружинки отжившего общества... скажем, застарелая обида бездарности, уязвленное самолюбие неудачника, а иногда и поганая надежонка заработать *налево* полтинник, недополученный от советской власти...— Он выдержал краткую и естественную паузу гражданского негодования.— Конечно, Вихров — иное дело, я даже не могу отказать ему в известном даровании... к несчастью, мы всегда пренебрегаем тонким психологическим анализом в наших слишком обобщенных суждениях!.. Оттого-то и неизвестно в конце концов, когда и где,

при самой стерильной анкете, тот или иной подобного рода деятель хлебнул глоток мертвой воды, который всю жизнь потом рвет ему внутренности. Признаться, мне еще не приходил в голову ваш вариант, но... нет, не допускаю! — еще категоричней повторил он, машинально захлопнув книжку, куда по рассеянности заглянула было Поля.— У Вихрова его научные выверты — скорей проявление болезни, чем сознательно направленной воли.

Он произнес это с такой искренностью, что Поля устыдилась своей недавней неприязни к собеседнику, даже прямой вражды, порожденной, кстати, обостренным и зачастую безошибочным чутьем юности.

— Как вы хорошо говорите, продолжайте! — умоляющим шопотом попросила она.

— Я знаю Вихрова со студенческих лет,— продолжал Грацианский, увлекаясь воспоминанием,— и в моих глазах это всегда был совсем не плохой товарищ, несколько одержимый, возможно, даже зараженный манией преследования... я бы сказал, лесного преследования, но, безусловно, честный человек. И вовсе не потому я беру его под защиту, что когда-то мы совместно хлебали фасольную похлебку в одной нищей кухмистерской на Караванной и подвергались гонениям от царского режима! Больше того, я уважал бы его за настойчивость, с какой он стремился протащить свои теорийки в народнохозяйственную практику, если бы, э... они не противоречили кое-каким интересам социалистического прогресса. Именно теорийки! Взгляните на карту сибирских лесов, и вы поймете, что при любых годовых нормах рубки никакая опасность истощения не грозит этому, буквально неисчерпаемому зеленому океану.

Поля просительно коснулась его рукава:

— Скажите... а вы не пытались убедить его... не с помощью брани, нет, а с глазу на глаз, как друг, как большой человек? Может быть, вам удалось бы повернуть его на наши рельсы... если, конечно, этот Вихров стоит усилий такого человека, как вы!

Грацианский с безнадежным видом качнул головой:

— У него первоклассные знания и все еще ясный ум, а... лишь в молодом возрасте случаются такие озаренья. Вспомните, сколько лет было Савлу на пути в Дамаск или Белинскому, отрекающемуся от гегельянского примиренче-

ства... но кто, кто поверит в раскаяние семидесятилетнего Галилея? И все же я отвергаю ваши законные подозрения в злом умысле, хотя временами и сам склонен предположить нечто близкое к этому... но совсем другое. Видите ли, девочка моя, люди в нужде всегда особо чувствительны и памятливы на проявленную к ним ласку.

— Это какую же ласку? — тихонько спросила Поля.

— Всякую,— значительно обронил Грацианский.— В биографии Вихрова имеются кое-какие моменты, заслуживающие внимания... не следователя, нет, но именно социального психолога.— И с той же неприятной для Поли туманностью во взоре намекнул, что не сомневается в необходимости такой должности в завтрашнем обществе — для исследования различных обстоятельств, не уловимых сводками государственной статистики, «если, конечно, целью последней является не только подтверждение кабинетных истин, а и открытие новых, обогащающих человеческое знание».

И оттого, что длительное сидение в бомбоубежище располагает к особой, хоть и временной, близости, Грацианский деликатно приоткрыл Поле чужую тайну. Так, со смешанным чувством боли и отвращения она узнала от собеседника, что все три года их совместного пребывания в Лесном институте Вихров получал, «как бы это поточнее назвать... нет, не стипендию, но регулярное ежемесячное пособие в двадцать пять целковых от неизвестного частного лица». Сопроводительные почтовые уведомления бывали подписаны явно вымышленной фамилией, и вряд ли в ту пору крайнего обнищания рабочего класса мог под ней скрываться, скажем, токарь Путиловского завода, этакий заочный любитель и покровитель лесов. Переводами этими Вихров пользовался вплоть до своего ареста, но есть основания полагать, что и по возвращении из двухлетней административной высылки помощь эта продолжалась до самой дипломной работы, к слову, защищенной им по первому разряду. К чести Вихрова, он всегда делился этими случайными деньгами с беднейшими из приятелей, а впоследствии значительную часть суммы отсылал их общему другу, Валерию Крайнову, отбывавшему срок своей ссылки где-то за Енисеем. Таким образом, получения этих денег Вихров не скрывал, однако на расспросы товарищей отзывался незнанием.

— Словом, пройдя тяжелую школу жизни, лично я в филантропическое бескорыстие как-то не слишком верю,— заключил Грацианский,— и, надо думать, вихровский благодетель, несомненно,—дальнего прицела человек, рассчитывал на его дальнейшую признательность, э... в будущем!

Возникало естественное недоумение, как Вихров мог принимать деньги столь загадочного происхождения, но, по мнению Грацианского, от голодного, оборванного человека и нельзя было требовать особой щепетильности, тем более что получение их не сопровождалось никакими встречными обязательствами: «В пустыне некогда разбираться, чью воду пьешь, если она холодна, прозрачна и способна утолять жажду».

— Понимаю... вот он, глоток мертвой воды! — с похолодевшим сердцем повторила Поля.— Скажите, а что представлял собою этот ваш... Крайнов?

— О, это был исключительный товарищ, наш общий друг, тоже студент... только старшего курса, уже в те годы перешедший на положение профессионального революционера. Все трое... Чередилов, Вихров и я, мы многим обязаны ему в отношении тогдашнего политического образования. Собственно он-то меня и в революцию втянул...— И тут выяснилось, между прочим, что это был тот самый известный Крайнов, сряду два десятка лет проведший на посту советского дипломата, что, в свою очередь, указывало на незаурядность его ума, такта и партийной репутации.

— Но ведь, принимая помощь от товарища, Крайнов не мог не знать имущественного состояния Вихрова...— выбредая на свет из потемок, сообразила Поля.— Значит, он знал, что это *чистые* деньги, если не отказывался от них!

Грацианский одобрительно усмехнулся.

— Вы могли бы с успехом работать в уголовном розыске,— похвалил он полину проницательность.— Все это так, если бы сюда не привходила одна... нет, не отягчающая, но, нельзя не согласиться, темная подробность. Помнится, на прощальной пирушке по окончании института завязался разговор о некоторых непонятных явлениях из области этой самой социальной психологии... и Вихров сам, без понуждения, рассказал про двадцать пять рублей, выданные ему в пьяном виде одним крупным лесопромышленником, гремевшим тогда на всю Россию. Нет, в том-то

и дело, что пьян был именно купец, а не Вихров, хотя лично я предпочел бы обратное. А возникшие при этом отношения могли продолжаться и дальше, не правда ли?.. Надо сказать, дело шло к рассвету, все мы были крепко на взводе, да еще этот оглушительный Чередилов, Большая Кострома по прозванию, на гитаре бренчал... так что я и не уловил в чаду, в каком именно качестве Вихров попал на оргию петербургского миллионера, а главное, зачем было Вихрову выбалтывать такого рода секретцы.

— И вы тоже в тот раз... на взводе были? — впервые таким стеклянным, хрупким голоском вставила Поля.

Оказалось, алкогольные излишества с юности были запрещены Грацианскому по шаткости здоровья, в доказательство чего он и привел самую болезнь, из названия которой, прозвучавшего красиво и загадочно, можно было заключить, что она дается лишь избранным за чрезмерное напряжение интеллектуальных сил. Поле очень хотелось сказать, что вот-де как хорошо тем, кто мало пьет, а все сидит себе в сторонке да на ус наматывает... и она непременно высказала бы это, если бы в ту же минуту не произошли два, один за другим, где-то поблизости оглушительных разрыва. Свет замигал, дрогнули стены, заплакали проснувшиеся дети. Наталья Сергеевна метнулась к выходу: бомбы упали в Благовещенском тупичке, и кому-то могла понадобиться ее медицинская помощь... В тот вечер из-за раздумий о своем отце Поля почти не заметила бомбежки и теперь на примере Грацианского сама могла наблюдать, как выглядит человек, полуразбитый параличом страха.

Больше разговор не возобновлялся, а вскоре затем по радио был объявлен отбой воздушной тревоги.

3

Шатаясь, Поля поднялась на свой этаж; всегда после бомбоубежища ноги становились ватные, и почему-то ныла спина. Впервые к возвращению Вари с крыши не оказалось горячего чая на столе. Свою подружку Варя застала у раскрытой балконной двери; в потемках, откинувшись виском к косяку, Поля глядела на силуэтные нагромождения затемненного города. Она не отозвалась

на варин оклик, и не сразу удалось отвлечь ее от манящей отвесной глубины. Спустив синюю бумажную шторку, они сели за стол; полина кружка стыла, нетронутая. На все вопросы Поля отвечала невпопад или — такой заискивающей, неискусно подделанной улыбкой, что и ничем невозмутимую Варю охватило предчувствие беды.

— Ты заболела?

— Нет-нет, ничего... спасибо.

— Но... что именно случилось?

Поля сидела, как оглохшая,— безучастная и немая.

Тогда, насильно напоив малиной, Варя уложила ее в постель и так же молча гладила ее холодные ладони.

— Лучше не трогай меня, не поганься,— отстранилась Поля, до горла натянула одеяло, вытянула вдоль тела спрятанные руки.— Нельзя!

— Но почему?

— На мне лежит страшная тайна.

Варя сделала добросовестную попытку удержаться от смеха.

— О, это звучит серьезно! Хорошо еще, что я знаю все твои секреты. Кайся, окаянная: ты съела пирожное от меня украдкой... так?

И опять дрожавшая в ознобе Поля не посмела поднять на нее глаза.

— Ты не прогонишь меня? — Она тотчас поправилась, чтоб не обидеть Варю.— И вообще, как ты думаешь... *все они* меня не прогонят?

— Кто тебя погонит, откуда?

— Ну, вообще... из народа моего, из страны.

— Мне не нравятся твои мысли, Поля. Как можно допустить, что кто-то лишит родины молодую советскую девушку...— Вдруг она истолковала полин вопрос в свете своих неотвязных тревог: — или ты думаешь, что мы будем разбиты? Да ты отдаешь себе отчет, чем мы сильны и сколько нас... сколько у нас этого, главного, чем побеждают, и сколько мы можем еще произвести, если потребуется? Ты пойми, пришлось бы каждого убить в отдельности, чтоб истребить в нас накопленное за эти годы. И народ никому тебя не отдаст: ты как зернышко у него в ладони. Ну, ложись и спи!

Только эти последние слова и достигли полиного сознания. Она приподнялась и, точно прорвалось, лихора-

дочно заторопилась, куда-то мимо глядя красными, набухшими глазами.

— Но что бы ни случилось дальше, ты меня не бойся, Варя, не бойся... я не кину на тебя тень, не подведу. Позволь, что же еще я хотела тебе сказать? Вот ниточку потеряла...— Она пошарила глазами вокруг себя.— Да, вспомнила... не бойся: я тогда заранее уйду, *сама,* найду себе место... и даже маме не пожалуюсь. Я уверена, она тоже ни в чем, ни капельки не виновата. Впрочем, нет, я все вру, Варенька... я никуда отсюда не уйду... потому что я заслужу прощение всей жизнью моей! — и по лицу ее покатились обильные облегчительные слезы.— Знаешь, я буду делать самое трудное... уж когда все откажутся, а я пойду и сделаю. Я за нас обоих отработаю... как ты думаешь, хватит у меня сил на двоих, а?

Она отца своего имела в виду. Варя не поняла, нахмурилась:

— Это истерика, перестань, не люблю. Говори начистоту... что-нибудь с Родионом? — Затем последовали сухие, отрывистые приказанья: — Перестань же, я сказала! Ты получила письмо *оттуда,* с фронта, я видала давеча на столе. Немедленно дай сюда...

Воспаленное состояние Поли, а главное, ее сбивчивая, двусмысленная речь — все подсказывало самые худшие догадки, много страшнее, чем даже родионов плен или его смертельное ранение.

— Да нет же, тут другое совсем,— содрогнулась Поля и, отвернувшись к стенке, протянула из-под подушки смятый, зачитанный треугольничек.

Впоследствии Варя очень стыдилась своих начальных предположений, но... редкие транзитные эшелоны не задерживаются в Москве, а вокзалы находились поблизости, а Родиону был известен полин адрес. Конечно, командование могло и не разрешить солдату отлучки из эшелона в Благовещенский тупичок... тогда почему же хоть открытки не черкнул своей-то, любимой-то, проездом в действующую армию?.. Итак, это была его первая фронтовая весточка с более чем двухнедельным запозданием. Во всяком случае, сейчас выяснится, с какими мыслями он отправлялся на войну: Варя нетерпеливо развернула листок, весь проткнутый карандашом,— видно, писалось на колене.

Пришлось к лампе подойти, чтоб разобрать тусклые, полузаконченные строки.

Варя сразу наткнулась на главное место.

«Пожалуй, единственная причина, дорогая моя, почему молчал все это время,— негде было пристроиться,— кратко, с неожиданной полнотой и прямолинейно, как на исповеди, писал Родион.— Мы всё отступаем пока, день и ночь отступаем, занимаем более выгодные оборонительные рубежи, как говорится в сводках. Я очень болел к тому же, да и теперь не совсем еще оправился: хуже любой контузии моя болезнь. Самое горькое — то, что сам я вполне здоров, весь целый, нет пока на мне ни единой царапины. Сожги это письмо, тебе одной на всем свете могу я рассказать про это.— Варя перевернула страничку.— Происшествие случилось в одной русской деревне, которую наша часть проходила при отступлении. Я шел последним в роте... а может, и во всей армии последним. Нам на дороге встала местная девочка лет девяти, совсем ребенок, видимо на школьной скамье приученная любить Красную Армию... Конечно, она не очень разбиралась в стратегической обстановке. Она подбежала к нам с полевыми цветами, и, так случилось, они достались мне. У нее были такие пытливые, вопросительные глаза: на солнце полуденное в тысячу раз легче глядеть... но я заставил себя взять букетик, потому что я не трус... матерью моею клянусь тебе, Поленька, что не трус. Зажмурился, а принял его у ней, покидаемой на милость врага... С тех пор держу тот засохший веничек постоянно при себе, на теле моем, словно огонь за пазухой ношу, велю его в могилу положить на себя, если случится. Я-то думал, семь раз кровью обольюсь, прежде чем мужчиной стану, а вот как она происходит, в сухую, купель-то зрелости! — Дальше две строчки попались вовсе неразборчивые.— И не знаю, Поленька, хватит ли всей моей жизни тот подарок оплатить...»

— Да, он очень вырос, твой Родион, ты права...— складывая письмо, взволнованно сказала Варя, потому что при подобном строе мыслей вряд ли этот солдат оказался бы способен на какой-либо предосудительный поступок.

И опять на дальнейший поток вопросов Поля отрицательно, с закушенными губами трясла головой. Тогда Варя накрепко заперла балконную дверь, так как холодало к рассвету, и всю остальную ночь не сомкнула глаз, по шо-

рохам следя за всяким полиным движением. Утро не принесло ясности. Двукратная варина попытка расспросить Наталью Сергеевну, что именно произошло в бомбоубежище, не удалась; оба раза Варе показалось, что дама треф избегает ее. Среди дня Поля пропала, и бросившаяся на поиски Варя нашла ее лишь к вечеру во дворе соседнего домовладения; та копала землю на постройке чужого укрытия. Никто не звал ее туда, а просто она увидела людей за работой и сама взялась за попавшуюся на глаза лопату.

— Вот... иду мимо, заглянула, увидела знакомое платье. А ты чего тут, поразмяться вышла? — искусно, без тени тревоги спросила Варя.— Ты уже пообедала?

— Я из вчерашнего поела... скучно стало сидеть одной,— тоже незначащим тоном отвечала Поля.— Я скоро приду, ты ступай.

Она вернулась в сумерках, когда стало накрапывать, с опущенными глазами, почерневшая, точно подгоревшая изнутри. За чаем читали вслух сводку Информбюро, и Варя, как всегда, разделяла паузами боевые эпизоды, чтобы яснее представить, как *это* выглядело наяву. Не были в сводке упомянуты ни населенные пункты, ни другие ориентиры приближающейся войны; о недосказанном следовало догадываться по тому, как при чтении сжималось сердце... Поля сидела с видом не очень желанной гостьи и, время от времени удостоверясь в чем-то, зажатом у ней в кулаке под столом, снова обращала рассеянный взгляд к проему балконной двери. Оттого ли, что вследствие затемнения все отвлекающее было удалено из поля зрения, орнаментальные подробности зданий и вечерние огни, казалось — там умещался гораздо больший кусок московской панорамы, чем обычно, и глаз легко схватывал архитектурное единство столицы. Было в ее ночном профиле что-то от громадного, на развороте, боевого корабля, покидающего гавань для долгого и грозного плавания; впечатление усиливали блески мокрой палубы на площадях и стальные конструкции новостроек.

Обнявшись, подружки слушали шелест дождя и редкие, затухающие гудки автомашин. Темой беседы служили события истекшего дня: открывшаяся на центральной площади выставка трофейных самолетов, незасыпанная воронка на улице Веселых, как они уже привыкли ее называть в обиходе между собой, Гастелло — чей самозабвен-

ный подвиг прогремел в те дни на всю страну: все, кроме полина горя.

— Знаешь, нехорошо у нас с тобой получается,— со вздохом сказала Варя.— Может быть, в эту самую минуту милые наши бегут по несжатому полю с именем Сталина, кричат и падают... а мы сидим и чай пьем с малиновым вареньем.

— Это правда. Надо отдать его...— испуганно согласилась Поля и отодвинула свое блюдечко.

— Но кому, кому?

— Я тут знаю госпиталь один. Вчера *их* выгружали при мне... много. И хоть бы застонал какой-нибудь! Вместе отнесем завтра, ладно? — И на короткое время от одной этой решимости обеим стало немножко легче.

...На другой день Варя сообщила о своем скором отъезде на строительство оборонительных рубежей; целые две недели Поле предстояло оставаться хозяйкой. Детское огорчение омрачило ее лицо, и Варя задумалась, что все эти годы, всемерно оберегая молодежь от сомнений и житейских будней, достаточно ли подготовили ее старшие к принятию на свои плечи такого же груза, какой сами несли в их возрасте? Как бы в ответ Поля заискивающе осведомилась, сможет ли и она присоединиться к вариной группе, и опять украдкой заглянула к себе в ладонь.

— Хорошо, я поговорю в институте,— кивнула Варя.— Кстати, что ты там прячешь в кулаке?

— Ничего... тебе показалось,— вспыхнула Поля.

— Тогда покажи.

Поля протянула ей пустые, пальцами вниз, руки с обгрызенными ноготками, в смоле от неошкуренного черенка лопаты; лишь ночью, при свете спички Варя разглядела в ее разжавшихся ладонях темные, порванные кровоподтеки мозолей. Видимо, эта маленькая боль помогала вихровской дочке преодолеть ту, большую, пока неизвестную Варе.

4

В следующий раз сирены взвыли тотчас по возвращении девушек из театра. Лунная ночь обещала обстоятельный налет. Поля сама вышла на крышу, и Варя сразу узнала подругу, едва та в кожаной куртке и с противогазом

на боку появилась из слухового окна. Чутье педагога удержало ее от удивления или похвалы. Она отвела Полю к ближайшей дымоходной трубе и рассказала вкратце, что должен делать взрослый невооруженный человек при нападении громадных летучих машин на его жилище.

— Знаешь, Поленька, я так терпеливо ждала, когда же в тебе созреет твоя гордость...— Впрочем, Варя не догадывалась, какую роль при этом сыграло полино опасение вторично оказаться в соседстве с Грацианским.— Вооружайся: вот тебе совок и клещи... ну, бери, не руками же ты будешь скидывать *ее* вниз, когда она свалится с неба возле тебя. Остальное сделают другие. Ты не боишься высоты?

— Самую капельку...— созналась Поля и не сдержалась,— а если *она* упадет прямо на меня?

— Ну, тогда... то же самое: остальное сделают другие! — засмеялась Варя и без единого слова ободрения ушла на свой пост.

Легкая, перемежающаяся со светом мгла висела над столицей. Сквозь облачную пену увертливо бежала луна, и у всех, кто дежурил в ту ночь на московских крышах, рождалось бессознательное желание стрелять в нее, как в наводчика предстоящего злодейства... и тем подлее выглядело ее дело, что была она молоденькая и невинная, напоминавшая цыпленка своей пушистой желтизной. Когда она зарывалась в облака, город внизу походил на первозданные нагромождения скал с каньонами улиц, с черными кратерами площадей... но тень сбегала, и опять он становился неправдоподобно прекрасен — почти декорация героического спектакля за минуту перед вступлением главных действующих сил. Воздух был не то чтоб холоден, но до дрожи проникнут ожиданием болезненного постороннего прикосновения. С непривычки Поля зацепила совком за нитку наружной антенны; шумно скользнув по железу, он полетел вниз и летел так долго, что Поля успела вытереть пот со лба, прежде чем ее слуха достиг приглушенный дребезг падения. Этот единственный в тишине звук и послужил сигналом к началу.

Луна снова нырнула в тучку, и сразу по всему югу московского горизонта возникли недолговечные фонарики заградительных огней; минуту спустя донеслась воркотня разрывов. Вскоре они приблизились, и, несмотря на безмолвие, Поле понятно стало вдруг, что скалистые громады

вокруг полны людей, готовых на собственное тело принять воздушный удар врага. Потом было так, словно внезапно открылись шлюзы света и грохота; взрывная волна слегка толкнула Полю в спину, а ее длинная, переломленная тень вместе с силуэтами дымоходов и чердачных надстроек легла на соседние строения. Одновременно с ближней крыши ответили зенитки, как в грозе выхватывая из мрака то мертвенно бледный фасад, то древесные кроны неизвестной породы, а в небе, падая и скрещиваясь, закачались лучи прожекторов. Неторопливыми пальцами они перебирали складки неба, ища что-то производившее тот надсадный, точно от камешков в жестянке, всюду слышный звук. Все не то попадалось им — охапка ваты, тело рыбы с недвижными плавниками... и вдруг нечто серебристого цвета, вроде пташки на крутом вираже, объявилось в световом диске над полиной головой: вражеский самолет ослепленно кружил на месте.

Усилием воображенья Поля разглядела в нем крохотное существо с ожесточенным лицом и в защитных очках, сдвинутых на такой же взмокший, как у Поли, лоб. Оно силилось поймать в прицел безоружную, прижавшуюся к каменной кладке, московскую девчонку там, внизу, и, возможно, в этом и заключался единственный смысл всеевропейского поединка. Уже разрывы вспыхивали рядом с летчиком, а он все не отказывался от клятвенного обещания своему фюреру разнести в щебенку именно этот недостроенный дом лесного ведомства и Полю Вихрову вместе с ним, и лично ей принадлежащий сундучок с маминой карточкой на крышке, с новым маркизетовым платьишком и стихами Родиона на самом дне. На долю мгновения Поля испытала озноб нечеловеческого бесстрашия, каким сопровождается всякое благородное преображение души. Такою при очередной зенитной вспышке и запомнила ее Варя — с поднятыми кулаками, словно грозилась расквитаться впоследствии.

Остальное сделали другие. Самолетик задымился и, пригибаемый лучом, пошел к себе, на запад. Лицо фашиста исчезло из воображения. Поле не досталось видеть, как он умер. Еще один шквал обрушился на затемненный город, а когда Поля раскрыла глаза, звенело стекло невдалеке и какие-то факелы множественно сияли кругом, одни — в пробоинах крыши, другие снаружи, каскадно

извергая искры. Ближняя горела в жолобе у самых ног, задержавшись на железном костыле, и Поля сама удивилась, как легко удалось ей скинуть во тьму, за борт это маленькое озлобленное пекло... Их выпало тысячи в ту ночь, атака продолжалась почти до света, пока Поля физически не устала от непрерывного движения — бежать, скользить и побеждать их прежде, чем возникнет обстоятельный пожар.

...А уже светало, и под синей шторкой туч алела полоска на востоке. Все схлынуло как дурной сон. Утренняя Москва была тиха и девственно хороша собою. Кроме большого дыма в Замоскворечьи, ничто не напоминало о ночной схватке. Похожая на испарину после пережитого волненья, легкая роса лежала на опустелых крышах.

— Я вижу, ты в полном порядке, и это очень хорошо,— похвалила Варя, признанная мастерица в тушении зажигательных бомб.— В такой суматохе больше всего надо бояться своих же зенитных осколков. Тебя не задело?

— Я их не заметила... но, признаться, как же мне хотелось, Варька, чтоб все это кончилось скорее! Как ты думаешь, сколько еще ее осталось?.. год, два?

Варя сразу поняла ее вопрос:

— Да уж к Новому-то году вряд ли кончится. Ты о войне?

— Нет, я вообще спросила...

Варя задумалась, не очень уверенная, достаточно ли подросла ее подружка, чтоб знать правду.

— Видишь ли, Поленька, фашисты — только эпизод в большом историческом соревновании.— Она помедлила с ответом, потом решилась.— Вспомни сама: если на выяснение мелких наследственных неурядиц между Алой и Белой розой ушло целых тридцать лет, то на великий спор между алой и белой половинами человечества — столетие совсем немного. Впрочем, считай, что процентов двадцать уже сделано...

Разгоряченная происшествием ночи, Поля без труда представила себе, во что превратилась бы она, если бы весь этот срок просидела в подвале с Грацианским и по окончании выползла на солнце старухой, сохранившая жизнь лишь затем, чтобы испытать презрение к ней.

— Как я благодарна тебе, Варька, что ты вытащила меня *оттуда.*

— Прежде всего, никто тебя не вытаскивал, ты сама притащилась на крышу. Так и должно было случиться. Рассказывай же, как это было. Сперва тебе казалось, что целят в тебя одну, так?.. потом ты увидела миллион таких же вокруг себя... верно? — Она усадила Полю рядом с собой.— Да ты не стыдись, глупая, людям свойственно бояться нападения из темноты.

— Это не совсем так...— сказала Поля, ища Кремль в рассветных сумерках.— Знаешь, было как бы полуобморочное состояние вначале, словно от ледяной воды, а потом я увидела врага над собой, и сразу страх сошел с меня как будто вместе с кожей, и что-то загорелось во мне, как бы это сказать точнее... все тело души! — В руки ее вернулась дрожь недавнего возбуждения.— А ты видела, видела, как *он* удирал с дыркой в боку? Не хватило силенок ударить собою, как снарядом. Тоже, Икар... не чета нашему Гастелло!

Варя удовлетворенно кивала, словно выслушивала заданный накануне урок; потом, чтоб закрепить первый успех подруги, она произнесла некоторые хрестоматийные истины своего изобретения, вроде того, что «никакая большая победа не дается раньше маленькой победы над собой», или что «на войне жестокость к себе самому не менее важна, чем ненависть к врагу», или что «подвиг, как и талант, сокращает путь к цели». По ее словам, чтобы побороть грубый инстинкт самосохраненья, необходимо в первую очередь преодолеть мистику войны, первоначальное оцепенение перед неизвестностью, точно так же подавляющее человеческую волю, как у доисторических людей это случалось при соприкосновеньи с мамонтом, землетрясением или грозой.

— Отсюда мы можем сделать ценное заключение,— поучительно диктовала Варя, и только очков на ней не хватало для полного сходства с Марфой Егоровной из лошкаревской десятилетки,— что самое важное в борьбе — увидеть врага во весь рост, понять, что и он смертен. Поэтому-то на фронте, конечно, во сто крат опаснее, чем в тылу, но, мне думается, менее страшно, чем в подвале Благовещенского тупика... Вот так же люди когда-то называли холеру и чуму бичом бога, пока не разглядели их сквозь выпуклое стеклышко микроскопа и не загнали в пробирку, то есть от страха перешли к действиям. Капи-

тализм не страшней холеры, Поля, только хитрей, живучей, потому что гнездится не в теле, а в душе... но вглядись в него глазами науки, и ты поймешь, как ненадежна его сила, как он боится даже тебя, маленькой и безоружной... и даже не столько шахт или заводов твоих, а прежде всего сияния молодости в твоих глазах! Молодость никогда не помирится со злодейством: она и в прорубь и в пожар кинется... Вот почему эти люди убивают детей... и на тебя замахиваются в том числе, Поля.— Она кончила и едва не приказала Поле повторить.

— Варвара, ты великая женщина! — полминутки спустя заговорила Поля с влажными глазами и смешно наморщив нос.— Если тебе в двадцать два уже приходят такие замечательные мысли, то что же будет, когда тебе станет пятьдесят?

— Ну, знаешь ли, милая...— заливаясь краской, оборвала Варя,— в подобном состоянии тебе лучше помолчать.

На крыше они просидели до солнца, слушая сверлящий свист стрижей. Сгоняемые утренними лучами, аэростаты заграждения погружались в индустриальную дымку пригородов. Потихоньку алели шпили, башни, купола, тронутые золотцем восхода. Начинала грохотать река жизни, и казалось, вот-вот двинется подъемный кран на ближней новостройке... Однако по мере того, как остывало полино ликование, все сильней разгорался в запястьи ожог от термитных искр, незамеченный в переполохе.

— Я тебя ужасно уважаю, Варька,— опять и опять возвращалась к своим мыслям Поля.— Нет такого на свете, чего бы ты не знала... и сколько осадков выпадает в Тургайской степи, и какие притоки у притоков Амазонки: все! А признайся, мы ужасно хорошие, верно? Это не самохвальство, вовсе нет, не я или ты — хорошие, но вместе с прочими ты и я... пусть в самую последнюю очередь! Ведь мы хотим сделать, чего никто не мог, чтоб все на свете было умно и честно... хотя бы для этого пришлось весь мир перебрать по песчинке. Никто не смел — ползал, плакал, грыз землю и не смел,— а мы решились.

— Ну, дорогая моя, мы беремся лишь за то, что возможно. Человек... он и называется так не потому лишь, что носит шапку зимой или ходит в кино по воскресеньям.

Поля говорила без остановки, действовал опьяняющий напиток первой победы. Она доверчиво призналась, что еще вчера ей хотелось срезать все цветы на земле, чтоб ничто не радовалось, не цвело, потому что это оскорбительно в такую пору, когда умирают самые замечательные люди. Значит, то была ее ребячья слабость: не губить надо цветы, а телом защищать их от танков, от чужих сапог, от огнеметов — нежные лепесточки жизни... Она оборвала на полуслове, неожиданный ручеек аромата коснулся ее ноздрей. Вдруг он потерялся, и Поля жадными ноздрями искала его в холодноватом, вкусном воздухе избегнутого несчастья.

— Что это, хорошее такое?

— Это липы... Они уж доцветают,— подсказала Варя.— Сама говоришь о цветах, а не видишь их. Думаешь, если война, так все остановилось? Напротив, жизнь продолжается, Поля. Ну, пойдем спать!

— Погоди, Варька, дай мне поздороваться с ним...

Подняв головы, с опущенными руками, они благодарно глядели на восходящее солнце, очень спокойное, но как бы слегка затянутое крепом.

5

Однако все это были лишь обманчивые признаки близкого выздоровления. Утром Полю разбудило жженье в заметно подпухшей руке; оно пронизывало запястье насквозь, отдавалось в плече, и все же боли теперь не хватало, чтоб заглушить ту, главную. Поля услышала голос Натальи Сергеевны в коридоре, и через цепь передаточных звеньев замолкшие было измышленья об отце вернулись к ней в расширенном объеме. Наступала мучительная ясность прозрения, и вот в новом толковании предстали перед ней еще вчера успокоительные обстоятельства: бедноватая обстановка вихровского жилья и неестественное после долгой разлуки радушие этой... ну, как ее? — Таиски. Злодейство не ходит без маски в наши дни... и уж если *этот* человек способен был в прошлом продавать свою совесть за двадцать пять помесячно, на что он мог пуститься теперь, под шумок войны, когда внимание народа отвлечено в другую сторону?

Несмотря на ранний час, Вари не было дома. Газ почти не горел, есть не хотелось, занятия к вступительным

испытаниям не шли на ум. Обмотав руку платком, Поля вышла наугад из Благовещенского тупика. Целей не было, работать лопатой не могла: в качестве лекарства она избрала тот же маршрут, что в день приезда, но и прогулка по любимой улице не доставила облегчения. Больше не было там веселых искусительных товаров. В одном месте ноющий зноб в зубах пробудил ее от оцепененья,— оказалось, машинально разглядывала хирургические никелированные инструменты в магазинном окне. Она вся сжалась при мысли о Родионе. Дальше шла, не подымая головы, и за всю дорогу ей запомнилась только глубокая воронка, на краю тротуара, исчезнувшая на обратном пути.

Москва жила обычным утренним распорядком. Разгружали теплый хлеб, а дворничихи подметали улицы... но в то же самое время везли подбитый самолет на грузовике, и стройные девушки несли длинный зеленоватый баллон, похожий на многоножку. В поисках применения себя Поля безуспешно заходила во дворы: в одном извлекали бомбу из водопроводного люка, а в другом домохозяйки учились перевязкам плеча на добровольном старичке, в кепке набекрень, явно не расположенном к щекотке. Иногда Поля останавливалась возле уличных витрин со старыми объявлениями и удивлялась, что еще совсем недавно она могла предпринять одиннадцатидневное путешествие по Волге, а теперь ей приходилось думать о способах морального существования после разоблачения Вихрова: всякий раз при этом слово *родство* с ним приобретало значение *сообщничества*. Нет, она не бедствий и кары боялась, а стыда и одиночества. Вдруг ей представилось: рядом стоит солдат с лицом Родиона. Он усмешливо глядит ей на руку, готовый даже и этот ненамеренный, очень болезненный ожог счесть за маскировку преступленья.

«И ты мне не веришь тоже?» — спросила она Родиона с жалкой улыбкой.

«Я ничего не знаю. Я далеко, мне некогда. Мы выползаем на огневой рубеж. Их уже видно, и какой-то бежит мне навстречу. Мне до него ближе, чем до тебя. Сейчас один из нас умрет».

И правда, он выглядел тревожно, возмужавший от загара и худобы. Серые струи реки текли сквозь него.

Подошедший милиционер сказал Поле, что нельзя так долго стоять на мосту. Он делал вид, что смотрит ее паспортную книжку, а сам разглядывал полино лицо. Слава богу, он ничего пока не слыхал о деятельности Вихрова!.. По бессознательному влечению Поля поднялась к Василию в девяти азиатских шапках и двинулась вдоль кремлевской стены. Мавзолей был закрыт. Поля дважды прошла мимо, потому что в один раз не успела рассказать о себе великому человеку, другу всяческой молодости на земле. Вся полина исповедь, включая биографию и перечень выпускных отметок по школьным предметам, уложилась в полтора конца. Ленин сказал, что нехорошо тратить время на личные горести, когда армией оставлены Смоленск и Киев. Он сказал также, что самочувствие советского человека складывается не только из отношения к нему пусть даже самых больших людей, но и от сознания размеров собственного труда, вложенного в бессмертное дело социализма. А когда спускалась к реке, прибавил вдогонку, что верит ей, и, если только не ослышалась, назвал *дочкой*. Вся река жизни затихла — и сердце и пожар в руке,— пока он говорил с нею. На это ушел весь день. Синие тучи наползли на город, пока дотащилась до Благовещенского тупика. Шумней галчат перед дождем ребятишки выкрикивали свой *каравай*. Восемь этажей показались Поле за восемнадцать; лифтерша накануне из патриотических побуждений ушла на завод... Небо потемнело, двухдневная жара сменялась предчувствием разрядки. Варя прибежала за минуту до грозы.

Тут выяснилось, что сдача неприятелю Вереи на целых два дня ускорила срок ее отъезда в прифронтовую полосу. «Если тебе это так нужно, Поленька, ты можешь поехать с нами... Думаю, что ненадолго. У тебя останется целая неделя до экзаменов». Беззвучно сверкнуло на горизонте, и синий холодок тишины повис над городом. Ветер запарусил платье на Варе, высунувшейся на балкон поостыть от бега. О, ей бы на Енгу́ сейчас, за весла, да чтоб пенистые гребешки по воде! Вообще она хорошела, статней становилась в непогоду, когда получали оправданье ее здоровье и ненужный в городе запас прочности, а Поля подумала с тоской, насколько эта некрасивая девушка умней, чище и нужней людям, чем она сама.

Еще не начиналось. Где-то в померкшем небосклоне ворчливо и глухо прокатился гром. Опять закричали дети, помогая разродиться грозе.

— Милые, как же они стараются!..— заметила Варя, словно в музыку вслушиваясь в детский крик внизу.— Будто хотят отпугнуть войну. Боже, как хорошо могли бы жить люди! — и покачала головой.

Дрожащими руками Поля накрывала на стол, и вдруг из перевязанной ладони выскользнула любимая варина чашка. То была фамильная ценность, подарок дулевских мастеров Павлу Арефьичу на память о совместном партизанстве в гражданскую войну. Особой красоты в ней не было — только суровая, по девственно белому фарфору, надпись о мире хижинам и войне дворцам. Обернувшись на звон, Варя увидела слепительные черепки на полу, залитые молнией, и почти черный румянец испуга на полиных щеках. Все скопившееся за эти дни вырвалось наружу. Ливень грянул одновременно по всей Москве. Он зыбунами ходил по крышам, захлестывал в комнату, превращаясь в туман и брызги, так что полина подушка тоже оказалась мокрой. Напрасно Варя старалась утешить подругу. Тучка стояла прямо над Благовещенским тупиком. Можно было дивиться, как в такой маленькой умещалось такое отчаянье. И едва ливень в два могучих маха промыл застойный воздух, горная свежесть разлилась по Москве.

Еще вся в слезах, шаг за шагом, Поля раскрыла свою тайну, а Варя перевязывала ей руку и качала головой: неизвестно, какая из двух ранок была опаснее для жизни. Получалась грустная повесть о том, как постепенно Поля теряла отца,— с начального вечера, когда впервые в пашутинском чулане со статейкой Грацианского в руках оплакала свое горе, вплоть до того, как образовалась защитная привычка даже на школьных тетрадях возможно неразборчивей надписывать отцовскую фамилию и, называясь, переносить в ней ударение на первый слог. Легче было бы примириться с сознанием полной бездарности своего отца, даже с сиротством, чем с этими расплывчатыми, никогда не сформулированными политическими обвинениями Грацианского, особенно зловещими в свете недобрых сводок с фронта.

— Мне сказал один человек, что я гожусь в следователи. И верно: теперь я знаю все. Слушай же меня, Варя!

Разговор в подвале прояснил многие недостающие звенья в системе полиных подозрений. Разумеется, Грацианский знал о Вихрове гораздо больше, чем проболтался в тот раз из стариковской потребности блеснуть осведомленностью и заработать уважение у незнакомой девчонки. Без сомнения, и матери ее, Елене Ивановне, было известно прошлое мужа, если заблаговременно поторопилась увезти дочку на Енгу́ от возможного разоблачительного скандала. Всегда до щепетильности честная в отношениях с коллективом, она, надо думать, лишь после долгих колебаний решилась утаить от общества какую-то случайно обнаруженную улику. И если сам Грацианский все время пытался немножко обелить бывшего приятеля из опасения бросить тень на собственную репутацию, тем понятней становилась малодушная логика женщины, стремившейся обеспечить спасительное неведение своего ребенка. С каждой минутой таинственность росла, и вот уже, как в воронку водоворота, сюда втягивалась и мама!..

Из-за невежества в лесных делах Поле было не под силу самостоятельно разобраться в отцовских грехах; конечно, самолично он сосновых рощ не поджигал и не взрывал советских лесопилок, что сразу было бы замечено вследствие происходящих при этом разительных изменений, но, следовательно, был выдающимся артистом в этой области, если, несмотря на многолетнюю темную деятельность, удержался на профессорском посту. По мнению Поли, дело требовало самого срочного общественного вмешательства.

— Пойми, Варя, я просто иду ко дну... с камнем на шее иду,— бормотала она сквозь всхлипывания.— Выход один: мне надо пойти в наш райком, но ведь у меня же нет никаких улик, и я никого там не знаю. Пойдем вместе, сейчас... мы и так пропустили столько дней, ладно?

— У тебя жар, Поля, наверно от ожога. Надо показать врачу. В комсомол можно и завтра.

Выразительным жестом Поля обозначила свое отношение к вариной попытке свести разговор на пустяки.

— Тебе хорошо: ты Чернецова!.. а ты поставь себя на мое, вихровское, место. Вот мы сидим, и, вообрази, входит солдат в простреленной шинели и ничего не делает мне — ни зла, ни боли, а только, нащурясь, смотрит не в твое, а в мое, мое лицо... что тогда, а? — и горящим взором посмотрела на смущенную, усомнившуюся Варю.

— Да ведь я сказала только, что *туда* можно и завтра сходить,— отвечала Варя, и никогда у ней не бывало такого озабоченного лица.— Но что́ ты можешь сказать там? У тебя нет никаких точных сведений, а жизнь вообще строится сложнее любых предположений. Например, я возвращалась сюда, зная наперед все обстоятельства, какие застану дома... а не могла предвидеть, что разобьется эта чашка. Я вовсе не хочу опорочить твоего знакомого в подвале... ну, а если он по злобе или зависти сознательно оговорил Вихрова и для безопасности придал этому характер этакой встревоженной дружбы, тогда как? Есть такой примелькавшийся сорт клеветы, произносимой с видом ангельского неведения,— дескать, это очень добрый и застенчивый товарищ, если бы не его излишняя привычка обучать школьников гадостям. Потом этот тип вернется домой, поест колбасы и ляжет спать с приятным сознанием, словно деревце на чужой могилке посадил... которое будет все расти, развиваться и приносить обильные плоды. Что касается разъезда твоих родителей, тому могли найтись и другие причины. Сколько мне помнится, твой отец происходит из крестьян, но мать... кажется, дворянка?

— Дальняя...— невпопад и проваливаясь еще глубже, вставила Поля в стремлении сохранить для себя хоть мать.

— Это неважно! Воспитанные в разных условиях, они могли разойтись во взглядах на некоторые явления нашего времени. И вот второе твое сооружение оказывается построенным на песке, архитектор! Остается выяснить, насколько принципиальна критика твоего подвального собеседника... все забываю его фамилию. С другой стороны, любая наша работа проверяется мнением коллектива, потому что в обмен на нее мы берем хлеб или обувь, изготовляемые другими. Отсюда резкость общественной оценки пропорциональна недостаткам работы. Тут надо разобраться... да ты сама-то читала папашины творения?

— Я старалась... но у меня не получается.— Внезапный свет надежды зажегся в полиных глазах.— Варенька, ты же географичка, а он о лесе пишет: тебе легче всего разобраться. Кроме того, ты терпеливей всех на свете... почитай, пожалуйста, его сочинения и потом скажешь мне одну сущую правду, ладно? — И тут же комсомольским словом поручилась, что больше никогда и ничего не попросит у нее до конца жизни.

— Что же, я готова,— не сразу согласилась Варя.— Но где мы достанем теперь эти книги?

— О, разве я заставлю тебя бегать по библиотекам! У меня все есть... почти все!

И не давая подруге одуматься, она выхватила из-под кровати свой чемодан: так объяснился, наконец, чрезвычайный вес ее пожитков. Под слоем носильных вещей помещались книги: никак не меньше дюжины, в матерчатых переплетах и до крайности объемистые. Вряд ли могло служить утешением, что между ними, сверх того числа, находились и брошюрки или просто журнальные статьи, оклеенные корешками из обойной бумаги. Торопясь избавиться от непосильного груза, Поля выкидывала эти килограммы лесной мудрости прямо на пол к ногам подруги, то и дело справляясь с выражением ее лица.

— Ну, что ж ты замолкла? — виновато спросила она с колен.

— Нет, как было тебе обещано, я непременно прочту... со временем,— менее уверенно отозвалась Варя.— Однако он у тебя продуктивный сочинитель... Сколько их тут?

— Только двух не хватает. Обе имелись в Пашутине, но я постыдилась увозить без спросу. Знаешь, ты принимайся пока за чтение, а я буду тебе подкидывать недостающие тома. Советую тебе начинать с тоненьких, а когда втянешься, там уже легче пойдет. Это я по себе знаю.

Итак, все устраивалось отлично: неподдельная радость светилась в лице у Поли, подкрепленная безоговорочной верой в неподкупность судьи. Вся жизнь Вихрова валялась на полу перед ними, его мечты и заблуждения, улики его любви и гнева, и прежде всего — черный, неоплатный труд, проделанный во исполнение мальчишеской клятвы Калине. Здесь были лишь введения в лесные науки, основы и ученические опыты, направленные к пониманию леса как географического явления, товара, живого организма, климатического фактора, сырьевой базы народного хозяйства; значит, главные свои работы Вихров полагал еще впереди. Верхняя носила название — *Судьба русского леса.* Варя подняла — и заглянула на последнюю страницу — их там было семьсот с чем-то. Почти весь объем книги занимали набранные петитом столбцы десятичных дробей, таблицы и карты России чуть ли не с олеговых времен. Для прочте-

ния подобного труда требовались не только специальные знания и терпеливая выдержка, но еще вдобавок энтузиазм или ненависть.

Варя колебалась: она успела сообразить, что для обстоятельного вывода ей никак не обойтись без ознакомления и с доводами вихровских противников, а равно и с государственной лесной практикой в разные исторические периоды России, на что уйдет не менее полугода.

— Видишь ли, я с удовольствием прочла бы все это, Поленька, но мне не ясно... управлюсь ли я до отъезда.— Вдруг она усмехнулась, представив себя в роли арбитра по лесным делам.— Знаешь, положи-ка все это назад... завтра я попытаюсь добиться истины другим путем.

— Но ведь война, и, может быть, в эту самую минуту...— разочарованно настаивала Поля.

— Все беру на себя. С утра ты пойдешь к врачу. Потом займись алгеброй, пока есть время. К обеду завтра меня не жди.— Она приподняла за подбородок огорченное лицо подружки и заставила улыбнуться.

Очертания города расплывались в теплом тумане после дождя; точно так же и горе полино таяло от материнской вариной ласки. Ночь прошла без тревоги, утро, к счастью, выдалось такое же пасмурное. Докторша побранила Полю за легкомысленное обращение с зажигательными бомбами. Весь день длилась благодатная пустота полуисцеленья. Варя вернулась как раз к обеду — веселая, загадочная, голодная.

— Ты так ко мне присматриваешься, что я тебя немножко боюсь,— через силу пошутила Поля.

— И не без оснований, берегись. Могу проглотить тебя в один прием. Варила что-нибудь, окаянная?

— На всякий случай я сготовила на двоих,— и все не смела расспросить о результатах вариной разведки.— Стыдись: я так люблю тебя, а ты меня съесть хочешь...

— Одно не противоречит другому. Как-то при мне, укладывая внучку, Наталья Сергеевна рассказывала ей про великаншу, которая так любила малышей, что на ночь непременно прятала парочку их себе в животик...

— По-моему, это не педагогично — прививать детям такие выдумки...— и опять Поля не решилась на прямой вопрос.— Что нового на свете?

Варя достала из сумки два розовых талона.

— Возьми, у нас сегодня праздник. Ходят упорные слухи, что какой-то там зондерфюрер поднял в Берлине восстание против своего ефрейтора... Это билеты в кино. Мы будем сидеть в креслах первого ряда с виднейшими представителями нашей золотой молодежи и кушать роскошное мороженое на палочке... Позволь, да это же настоящая пшенная каша? Поля, ты впадаешь в изысканность...

— Извини только, масло у нас кончилось.

— Вот и видно, что у тебя нет законченного кулинарного образования. Чудачка, кто же ест пшенную с маслом!

Она с наслаждением вдохнула с тарелки горячий пар и мысленно похвалила Полю за выдержку, с какою та удерживалась от допроса о самом главном.

После обеда она сама посвятила ее в свои мероприятия по розыскам правды о Вихрове. Ей еще вчера пришло в голову, что для постановки правильного диагноза желательно в первую очередь выслушивать пациента. С этой целью она отправилась в Лесохозяйственный институт и героически, около двух часов, прождала полина отца в красном уголке. Вокруг здания наблюдалось оживление, обычное в это время года, когда начинается съезд студентов. Уборщица сообщила Варе, что в большой аудитории наверху происходит общее партийное собрание, на котором принимают в партию профессора Вихрова; при этом старушка назвала его по-домашнему, Матвеичем. «Словом, Поля, поздравляю с благополучным исходом, цветы за мною... из первой же стипендии!» Вскоре Варя познакомилась с ним самим: Вихров спускался по лестнице, прихрамывая и взмахивая рукой, как бы отсчитывая ступеньки. Для завязки разговора Варя сказала ему, что ее двоюродная сестренка собирается поступать в их институт, но сперва ей хотелось бы ознакомиться, или, как она выразилась впопыхах, дыхнуть воздухом лесной науки.

— Но я же в архитектурный иду... Варька, ты солгала, как тебе не совестно!

— Во-первых, в твоем возрасте выбор специальности нельзя считать окончательным, и кроме того... разве ты перестала мне быть сестренкой?

— Ладно... а он?

Профессор выразил неудовольствие, что будущая студентка поленилась притти сама. «Лесник нашего профиля,— сказал он,— это считать в уме, запоминать,

сравнивать... и прежде всего ходить, ходить, не жалея ног». Он иронически осведомился у Вари, между прочим, что именно привлекает в лесу ее подопечную особу — цветы, грибы, ландыш или самые дрова; последнее слово он произнес якобы с оттенком нескрываемого раздражения. Варя объяснила выбор сестренки наследственным влечением, так как отец ее также является старым лесным работником.

— Как видишь, я старалась держаться в рамках правды.

— Дальше... а он что?

— Тогда он довольно справедливо указал, что если работник леса не сумел внушить дочке почтительного представления о своей работе, значит, он далеко не гений.

— Вот здорово, сам про себя... ну, а ты?

— Я выразила надежду, что дочка загладит отцовские упущения.

— Ой, Варька, даже голова закружилась... А он что?

— Рассмеялся и пригласил на свою вступительную лекцию недели через три... если я смогу тебя доставить хоть в детской колясочке, так и сказал... А к тому времени мы как раз вернемся с окопов.— В дирекции Варя получила сведения, что собственный курс Вихров читает лишь с третьего года обучения, но вводную речь, по многолетней традиции, поручают ему, и будто бы даже профессора смежных кафедр приходят послушать этого заступника лесов в его коронном репертуаре.— Надо полагать, что первую-то беседу с зеленой молодежью он ведет на доступном языке, и потратить на нее часок-другой тебе гораздо выгоднее, чем самой глушить тысяч шесть страниц убористого текста.

Не скрываясь, Поля все кусала и без того обкусанные ноготки, пока Варя не отвела ее руки.

— Скажи, Варька... он по крайней мере приятный в обращении человек?

— Я не советую тебе, милая, делить людей по этому признаку. Это может привести к большим просчетам.

— Но казался он хотя бы взволнованным... что его приняли в партию в такое время?

— Нет, я ничего такого не заметила.

Варе запомнились только черные пучки его бровей, желтоватый цвет лица, крупный под выстриженными

татарскими усами рот, как бы приспособленный произносить не очень приятные слова,— хромота, угловатость повадок и наискось сброшенные на лоб волосы довершали облик малообщительного и побывавшего в нужде мастерового. К сожалению, Варе показалось, что все это лишь маска...

— ...как, как ты сказала? — всполошилась Поля.

— Я говорю, маска, под которой скрывается большая доброта и даже чрезмерная мягкость.

— Но почему же — к сожалению?

— Не потому, чтобы я злых любила... но смирных не люблю. Всякая доброта и смирность влекут за собой взаимное всепрощение, а нам требовательные и гордые нужны, готовые ответить и на требовательность других. Поэтому вначале он мне больше понравился, чем в конце. Во всяком случае обещанная лекция покажет, в какой степени ты виновата перед ним за опрометчивость своих подозрений.— Она мельком взглянула на пояснevшее небо, предвещавшее скорый налет.— Ой, погода портится, не пропали бы наши билеты...

Так и получилось, что в кино итти не пришлось... Воздушную тревогу объявили рано, и никогда с начала военных действий такое количество вражеских самолетов не пробивалось на город. По замыслу врага, Москве надлежало обратиться в горстку золы, столько было сброшено огня, и все же опять его не хватило прожечь тонкую пленку людского сопротивления. Однако работы девушкам выпало много в тот вечер, и Поля отлично выдержала повторное испытание мужества.

Им пришлось стоять рядом в тот раз.

— А хорошо жить на свете, Варька!..— кричала Поля в передышках, сбивая искры с затлевших рукавиц, вызывая у дружинников такую же улыбку, как в троллейбусе тотчас по приезде в Москву.— А ведь я даже в том раскаивалась, несчастная, что на свет родилась.

Варя же исполняла свое дело молча, и чем сильнее Поля выражала радость окончательного выздоровления, тем больше смущало Варю чувство вины перед подругой. Конечно, в те дни величайшей опасности и как всегда — политического единства, немало честных людей вступало в партию, чтоб разделить с ней труд и ответственность обороны... но та же пылкая восприимчивость, с какой еще

вчера Поля преувеличивала свои подозрения, сегодня заставляла ее придавать несоразмерное значение вихровскому поступку. Второпях Варя как-то забыла сообщить Поле, что на том же партийном собрании в институте был принят в партию и профессор Грацианский.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Надо сразу же исправить неточности, вкравшиеся в рассказ Александра Яковлевича о кое-каких скорбных обстоятельствах вихровской молодости. Действительно, в биографию Ивана Матвеича затесался досадный факт получения двадцати пяти рублей от видного промышленника, хотя и без расписки, зато из рук в руки и даже при свидетелях, правда, давно умерших. Вместе с тем достойно сожаления, что среди многочисленных вихровских коллег не нашлось смельчака — если не поучить наложением руки, то хотя бы упрекнуть в легкомыслии рассказчика, связавшего этот эпизод со всей дальнейшей и беспорочной деятельностью своего научного собрата. При желании Александр Яковлевич мог бы извлечь из тайничков своей памяти ряд дополнительных сведений, не менее поучительных для незрелой советской девушки. Прежде всего пусть бы она убедилась на примере, чего стоило нищему пробиться к знанию в те годы, в отличие от нынешних времен; наряду с этим уточнилась бы и дата происшествия.

Это случилось во второй половине лета 1899 года, в самый вечер прибытия Вихровых в Петербург. К слову, за безбилетность Агафью с ее мальцом высадили из поезда за две остановки до столицы, на Мге, так что только легкая лыковая обувь да отсутствие лишней клади позволили им завершить путешествие в тот же день. Мать с сыном долго блуждали по длинным проспектам, концы которых терялись в белесой мгле бедствия, охватившего тогда всю Россию. Медноватое в дыму, на заходе, солнце придавало пугающую призрачность соборам и дворцам, коляскам и

мундирам, внезапно проступавшим в десятке шагов,— бронзовым царям на каменных подставках, золоченым грифонам на мостах и прочим неразрешимым загадкам для подавленного окружающим великолепием крестьянского ума... Ничем нельзя пренебречь при учете состояния одиннадцатилетнего мальчика, уличенного самим Грацианским в предосудительном поведении.

Любая улика требует применения лупы, хотя бы потраченное время и не окупалось ценностью добытых подробностей. Ко времени прибытия деревенской родни Афанасий Вихров успел возвыситься до чрезвычайной должности коридорного в меблированных комнатах *Дарьял*. Дядя размещался в довольно тесной, зато вполне теплой каморке под лестницей, впрочем, не очень тесной, если там же, кроме койки и колченогого стола, находились подпертое поленом кресло и рулон персидского ковра, подготовленного в чистку. Словом, несмотря на тесноту, все расселись удобно и сообразно наклону дощатого потолка, причем дальний угол достался Ивану, а крайнюю позицию у двери занял по росту сам Афанасий. Пожалуй, во всем Питере не сыскать было местечка уютнее для семейного свидания, если бы только при поминутном сновании по лестнице не сыпалась с потолка всякая дрянь на изысканное афанасьево угощение.

Собственно лишь лососина да рябчики в застылом соусе поместились на столе; блюдо с заливною поросятиной, например, покоилось на коленях Агафьи, а чайник, как вещь третьестепенную, пришлось и вовсе составить на пол, возле ног. Что касается торта со множеством лакомых завитушек, он был целиком передан в распоряжение Ивана. Отсюда, учитывая роскошество еды, скромное жалованье коридорного, а также его невероятно мрачную внешность, следовало заподозрить только что состоявшееся ограбление постояльца... впрочем, этого не смог бы предположить даже особо бдительный Александр Яковлевич Грацианский. Вся представленная пища имела несколько ковыряный вид... не настолько, однако, чтобы стала непригодной для употребления: стоило лишь повынуть вдавленные в нее окурки и посрезать обгрызенные места. В свою очередь, это объяснялось тем, что в *Дарьяле* шестые сутки гулял крупный денежный туз, полюбивший данное заведение за близость простонародной бани с от-

менным парным полком, тихость местоположения и еще за то, что ни в какой другой точке Российской империи не давали столь дивной квашеной капусты, наилучшего очистительного средства для богатырского похмелья. Обычно на первую половину кутежа гость откупал ресторацию в нижнем этаже, денька же через три, на главное беснование, переселялся в номер с избранным кругом наиболее стойких лиц. Таким образом, Афанасий не ложился уже три ночи, и, пока беседовал с родней, дважды гоняли его в буфет по неотложным купеческим надобностям.

В последний раз он воротился с заметным облегчением: гульба подходила к концу. Прежде чем пролезть в свою квартиру, он извлек из кармана поношенных плисовых шаровар еле початую бутылку хереса; сам он хереса не пил, а прихватил единственно для невестки, чтоб пригубила с устатку и постигла смак аристократической жизни... Необходимо сказать про Афанасия, что это был не плоше Матвея великан в синей крапчатой рубахе навыпуск, под жилеткой, с тяжким взором и такой смолевой бородищей, что Иван Матвеич всю жизнь ждал случая разузнать, не с дяди ли знаменитый живописец писал мятежного старшину в своем *Утре стрелецкой казни.*

— Все гудит, гуляка-то? — усмешливо догадалась Агафья, сдувая чайный пар с поднятого на пальцах блюдечка.

— Стихает, речного льда стребовал. С утра прибираться почнем. С игро-ой!

— Богатый, видать, коли гудит.

— У него их ровно щепы, денег-то. Прошлый раз гадальца с собой привозил, теперь пророка при своей особе завел. Первейшего сорта ругатель: веришь ли, аж в мозгу отдается, как сверлильце свое наставит...

— Пошто же ему ругатель-то, дядя Афанасий? — почтительно спросил Иван, уже в ту пору отличавшийся недетской любознательностью.

— А, значит, для прочистки ума... чтоб уличал его беспрестанно: хмель сгоняет. Ну, вроде как заместо хрена, для нюхания, при себе содержит. Купец-то ему вишь на обитель обещался капитальцу отвалить, вот старик и лезет из кожи вон, старается.

— Чем же таким он торгует, купец-то твой? — попрежнему бесстрастно осведомилась Агафья.

— А ничем... он лес зорит. Сказывают, три реки ободрал, четвертую сбирается пустить по миру.

Афанасий и сам понимал, что это не доброе дело — родную землю голить, и даже имел в мечтах поговорить с царем при случае, чтоб навел, наконец, порядок у себя в державе, однако, в качестве коридорного, невольно преклонялся перед широтой разгула, перед этой ужасной волей к разоренью, в чем и заключалось его существенное отличие от покойного брата Матвея.

Со слов пьяного купцова приказчика Афанасий рассказал присмиревшей родне про начало той удивительной карьеры; десятью годами позже и так же случайно студент Вихров стал свидетелем ее бесславного конца... Выходец из бурлацкого рода, будущий искоренитель лесов сперва ходил с отцом в артели снимать обмелевшие караваны с перекатов, валил заветные помещичьи дубравы, еще красовавшиеся тогда кое-где на Руси, сиживал десятником на чужих катищах — всего хлебнул за свою постылую редьку с квасом. Нужда закинула его весной в низовья Волги, и с этой поры молва приписывала ему изобретение опасного, но доходного промысла, так называемых *мартышек*. Полая вода разбивала сплавляемые плоты о берега, рвала на прибрежных корягах, так что к концу пути от них нередко оставалось лишь обезличенное, шедшее россыпью, ничейное бревно. Речная голытьба ловила его в расставленные кошели и вторично продавала владельцам сплавных билетов. Вороватый и сметливый, этот человек в три года подмял окрестную мелюзгу и по ее скрюченным, ревматическим спинам вышел в щуки всероссийского значения. Заблаговременный подкуп плотовщиков в целях облегченной вязки удваивал добычу хищника... и вдруг он бросил реку. Рост промышленности и возраставший спрос на лесные товары погнали его как бесноватого с топором по лесам скудевшего дворянства. В отличие от известного в ту пору лесопромышленника Сукина, проредившего леса от Олонца до Пскова, или Афанасьева, вырубавшего центральные губернии, Кнышев подобно коршуну кружил над всей Россией, высматривая наиболее лакомые куски; только хрип древесного падения мог утолить его страшный зуд. Холодный пожар тем быстрей двинулся по русскому лесу, что обнищалое крестьянство легко поддавалось на приманку зимнего заработка.

Мужики подпрягались к заморенным савраскам, помогая купцу сдирать зеленый коврик с родной земли. Было что-то символическое в образе терпеливого крестьянского коняги, как в морозный денек, весь дрожа, как струна, исходя паром с натуги, рвался он из хомутишка да веревочной сбруи, из самой кожи своей, и валился под кнутом, кормилец, и потом его волочили на господскую псарню по целковому за животину. Таким образом, нередко к исходу рубки у мужиков не оставалось ни хлеба, ни леса, ни коня, и — тогда вразброд, с чем придется, бросались на обманщиков. Гул рассекающих воздух кольев сменялся последовательно скрипом судейских перьев, звоном цепей, женским плачем, но все это перекрывал лязг торжествующего топора.

Иван слушал дядю вполслуха; лишь упоминание о нанятом пророке запало ему в душу. В учебную программу тогдашних церковноприходских школ входили и библейские предания о такого рода отчаянных людях, чье призвание состояло в обличении земных владык; за это одних жгли или распиливали пополам, более удачливые возносились живьем на небо, но мальчик и не рассчитывал на такие увлекательные зрелища. Его бескорыстно потянуло взглянуть на профессионального пророка хоть сквозь дырочку от самого мелкого гвоздика. И как только дядю в третий раз кликнули в номер кутилы, Ивана точно ветром выдуло из каморки.

Он крался по малиновой, прилипшей к полу ковровой дорожке до тех пор, пока не услышал за приоткрытой дверью сверлящего, презрением налитого голоса: кто-то вычитывал там, в номере, разного рода устрашения, нараспев и как бы из священного писания. Словом, мальчику повезло: пророк находился в самом разгаре своей уязвительной деятельности:

— ...думаешь, скверный греховлюбец, медаль-то от персидского шаха выхлопотал, так и управы на тебя нету? Врешь, купец... врешь, волосатая твоя душа. В апокалипсисе слово проставлено нерусское, *авадон,* сбоку звездочка. И такая же звезда под чертой внизу, при ёй всего одно слово: губитель. Вон еще когда, значит, Иван-те Богослов про тебя намекал...

— Чего городишь, старый хрен... кто меня там знает, в апокалипсисе? Мое дело лес,— хриповато и довольно

резонно огрызался уличаемый богач.— Эй, плохо, праведник, работаешь: не можешь, не можешь ты ничем меня пронзить... Знать, не выбьешь ты из меня нонче ни гроша!

— А ты не скалься, ой, не скалься, нищий царь... зрю, по бровам твоим зрю скорую твою, ужасную кончину. Ишь, ровно собачьим мехом подбитый, весь ты черный изнутре... ну, ответствуй мне, чей, чей это гнусный гроб в мутном зраке твоем отразился? — с новым приливом сил продолжал ругатель, и напрасно старался заглушить его чей-то щекотный женский смешок.— Опять же, голубь и лев живут с единою женою, а ты, гноепомазанный блудник, пошто богиню-то преисподнюю сюды приволок?.. белую, гремящую костьми! Не торопился бы, еще до́сытя натешитесь с ею в могиле...

Столь разнообразного набора угроз никогда раньше не попадалось крестьянскому мальчику. Он приник было к замочной скважине — взглянуть на пророка, пока того не пресек уличаемый нечестивец, но в скважине торчал ключ. Тогда Иван просунул голову в щель, и дверь сразу беззвучно отошла, а какой-то проходивший коридором озорник поддал его сзади коленом. Мальчик Иван пролетел сенцы, распахнул головой драпировку, запнулся о складку ковра и, во исполнение желаний очутясь посреди пиршества, молчал, сидя на полу и потирая ушибленное плечо.

— О, немножко запоздавши, бедни молодой шеловек,— с неуловимым костяным акцентом проворковал над ним женский голос.

Видимо, кутеж подходил к концу. Кроме Афанасия да посыльного молодца при входе, их оставалось всего четверо здесь, в довольно просторном номере, расписанном мраморной синевой под казанское мыло, и с красной плюшевой мебелью. На диванчике, лицом к спинке, спал в одних носках курчавый толстозадый дядька в короткой гусарке, окантованной черным шнуром; залихватские, с кисточками на голенищах, сапоги его стояли возле. Поодаль, у зеркала, пудрилась какая-то — долговязая, без кровинки в щеках, но с бездонными промоинами под нарисованными бровями, одетая в черное, щемящей красоты платье и — шляпищу с ниспадающими перьями. Ивану почудилось, что все это на ней нарочно, накладное, в том числе и желтые, в локонах, пленительные волосы, причем

только стальной косы на длинном древке недоставало ей для полного сходства с тою, на которую ожесточенно намекал ругатель. Для отвода глаз *она* курила длинную папиросу, а дым тонкой струйкой вытягивался в окно, как бы в обход пророка. Последний оказался рыжим раскольничьим, не с Ветлуги ли, начетчиком в долгополом, замасленном и в обтяжку полукафтаньи, с ременной лестовкой, которую зачарованно трогал лапкой откуда-то взявшийся котенок... В четвертом мальчик сразу узнал Кнышева.

Нет, Иван не мог ошибиться: это был он, разоритель Калины. Однако лесопромышленник заметно пооблез со времени их памятного знакомства на Енгé, стал рыхлый и желтый после многодневной гульбы, весь — как соломой набили, и с глазами еще больше навыкате, чем прежде. Никто пока в России не догадывался, что уже началось падение Кнышева. Правда, он еще мог причинять зло и творил его посильно, но все чаще опережали его предприимчивые, более образованные соперники, подавлявшие его стихийный разбойничий талант беспощадной и расчетливой наукой обогащенья. Как все сильные в упадке и слабости, Кнышев становился ласковее к тем, кого вчера запросто перешагивал на своем пути. Оставалось утешаться раздумьями о тщетности бытия, и, может быть, убедительней, чем ветлужскому пророку, все кругом, включая и этот прекрасный, в чадных сумерках, город за окном,— все мнилось ему сейчас бесцельным и мимолетным сгущением материи.

Он глядел на мальчика с особой щуркой приглядкой, непонятной для тех, кто сам никогда не носил лаптей; затем последовал вялый знак подойти. Афанасий подтолкнул племянника вперед, как под благословенье, а Кнышев притянул его, упирающегося, железной пятерней и запер меж колен.

— Из деревни приехамши, не отошел еще, Ваня звать. Он у нас строгой, в лесу вырос,— заторопился коридорный, скороговоркой сминая слова.— Лесные мы, а братан мой так даже и погибнул в причастности к лесному делу... а уж силен-то был, Василь Касьяныч: я его робел! Вот двое ртов осталося, рази их без отца прокормишь? Так что стремлюся парнишку в пекарню к Егорову определить.

— Дело, дело...— размягченно одобрил Кнышев.— Только первая денежка трудна, а уж как приживется, она

тебе сама ума подбавит, в путь-дорогу поведет! Ну, Ваня, скажи что ни есть, потешь меня, раз пришел. А может, песенку какую знаешь? Спой мне ласковым голоском, а я б тебе за песенку на сапоги отвалил...

— Мне не надо,— задыхаясь от пьяного кнышевского перегара, наотмашь качнув головой, бросил Иван.

— Как так не надо, пенек-топорик? — мирно и покровительственно шутил Кнышев.— Еще когда за службу твою жалованье-то положат... а Питер не деревня тебе: кому ты в Питере без сапог нужен? Вон у Егорова орлы царские на вывеске-то: самого главного величества поставщик. Пожалует к вам, примерно, митрополит за горяченьким калачиком, а ты и вылезешь на него эким чудищем в лаптях? — И, чтоб укротить неразумие дикого лесного отрока, коснулся его темени, неумело постриженного лесенкой.

Иван рывком стряхнул его руку.

— Не тронь, укушу...— пригрозил он вполне убедительно.

— Ай не побоишься, волчонок? — и пересыпаемые камешки похрустели в голосе Кнышева.

— А когда боялся-то? — бесстрашно усмехнулся мальчик.— Забыл, как я на Облоге запалил-то в тебя тогда?

В этом месте пророк не без зависти покосился на мальца, а смерть в шляпе рассыпала возбудительный смешок; тут бы и конец кнышевскому просветлению, если бы дядя Афанасий на выручку не подоспел. Перечислением родовых вихровских несчастий, действительных и мнимых, ему удалось кое-как отвести беду.

— Помню тебя,— с холодком сказал Кнышев.— Я тебя от Титки спас. Зубастый был... и меня бы загрыз, каб его лесиной прошлое лето не придавило. С чего ж ты тогда рассерчал на меня, ай лесок пожалел?

— И лесок,— кивнул Иван.

Кнышев поднял глаза на мальчика, и теперь все показалось ему значительным в этом желторотом птенце. Он вспомнил себя таким же, в выгорелой застиранной рубашке об одной стеклянной пуговке у ворота, и умилился мысли, что при своих-то капиталах он, такой покорный сейчас и незлобивый, все отдал бы — богатство, свою ужасную славу, продажную женскую ласку — в обмен на давнюю невозвратимую ночку детства в стогу, под звез-

дами, которые еще верили ему, любили, стояли хороводом вкруг, подмигивали.

— Чего ж его жалеть, Ваня, лес-то: все одно чужой он,— сказал Кнышев тихо, словно оправдаться хотел.— Думаешь, без меня и не раскрадут ее, Россею-то? Все берут, эва, из-за моря ручищи тянутся. Как же русскому-то близ матушки не поживиться? — Вдруг как бы зарница опахнула его потемневшее лицо.— Не жалей, Ванюха, стегай ее втрое, трать, руби... хлеще вырастет! — Он так и недосказал, колени его разжались: недолго солома горит.— Ладно, ступай, дурачок...

Здесь-то и случилось происшествие, о котором началась речь. На прощанье купец стал втискивать мальчику в ладонь внезапно появившийся четвертной билет, а тот не брал, к удивлению свидетелей, отбивался, словно чувствовал нечистый смысл подарка; тогда Кнышев попытался всунуть его за пазуху Ивану, но и тут не достиг успеха. Даже смешно получалось, что отстегать отечество гораздо легче, чем нищему милостыню всучить... Сопротивление всегда будило в Кнышеве приступ бешеной силы, и неизвестно, чем покончилась бы та потешная сценка, если бы снова не вмешался Афанасий. Он просто зажал в своем огромном кулаке иванову руку вместе с даянием да так и вывел племянника из номера... Возможно, случись при этом Александр Яковлевич Грацианский, один его укоризненный взгляд учетверил бы стойкость крестьянского паренька, но по несчастному совпадению обстоятельств суровый вихровский судья был в ту минуту занят освоением чудесного микроскопа, отцовского подарка ко дню рождения.

Впрочем, нельзя и винить его: Александр Яковлевич слышал этот эпизод лишь в самом беглом пересказе, без художественных подробностей. Иначе, минуя рассказанные пустяки, он прямо обратился бы к рассмотрению таинственных пособий в студенческую пору Вихрова... Однако и на этот раз кнышевские деньги послужили для Ивана источником таких ценнейших приобретений, как наилучший в Санкт-Петербурге картуз с лакированным козырьком, не говоря уже о совсем мало ношенном пиджаке, размеры которого обеспечивали запас заплаток вплоть до совершеннолетия. Но прежде всего достойны упоминания выдающиеся сапоги, первые в жизни Ивана и столь

скрипучие, что почтительно оглядывались городовые. По утверждению зазывал Апраксина рынка, с подобной внешностью легко было получить должность и в Зимнем дворце.

Последнее оказалось сущим обманом: Ивана взяли всего лишь на дровяной склад, и то в ученье, то есть без жалованья. Зато Агафья сразу нанялась черной кухаркой в тот нарядный, с каменными геркулесами над подъездом дом, где раньше дворничал Афанасий.

2

Таким образом, мальчику предстояла вечная молодость личности на побегушках, если бы каким-то окружным путем и с запозданием в два года столкновение его с Кнышевым не стало достоянием гласности. В одном журнальном очерке был описан случай на Облоге, по воле автора превратившийся в героический поединок крестьянского ребенка со знаменитым лесоистребителем; при этом, для пущего укора отцам отечества, полностью назывались фамилии участников и место действия. В то время передовые люди прилагали немало напрасных усилий сдержать беспорядочное наступление топора, а хозяин Агафьи был тот самый, скандальный впоследствии, Туляков, читавший курс лесоустройства в петербургском Лесном институте.

Он выразил желание познакомиться с заступником за русский лес, но, значит, выразил не с достаточной силой, потому что встреча произошла еще полугодом позже после появления статьи — в очередное посещение Ивана. Молодого человека извлекли из-за ситцевой занавески, где мать украдкой кормила его вчерашними хозяйскими щами, и прямиком предоставили в богатый и неуютный кабинет скорее департаментского чиновника, нежели ученого лесовода. Перебирая рукописи на громадном столе, Туляков рассеянно выслушал историю разорения Енги́; из кнышевских подвигов ему были известны и похлеще, да и сам крестьянский ребенок уже подрос, ему было близ пятнадцати, так что и острота происшествия попритупилась к тому сроку. Но вскоре бесхитростный рассказ Ивана коснулся обстоятельств матвеевой гибели, дружбы с Калиной и еще — как ребятки благоговейно стояли на коленках

у лесного родничка. Мальчик заволновался, впервые в нем пробудился голос будущего депутата лесов... и вдруг как бы весь поверженный Облог втиснулся сюда, в апартаменты лесного вельможи,— громадный слепец в зеленых лохмотьях, бормоча свою зряшную гугнивую жалобу; Иван был только поводырь при нем.

Никогда еще Туляков в такой близости не соприкасался с лесными бедами, о которых за могучими государственными делами всегда забывали жительствующие в столице начальники. Он пристально и сперва не без некоторого раздражения взирал на худенького пришельца, так некстати, казалось бы, среди полного благополучия, напомнившего ему о существованьи большой России. К немалой чести профессора, он до такой степени расстроился на иванову повесть, что даже не приметил следов на дорогом ковре — от разбитых ивановых сапог. Затем произошел краткий разговор, определивший будущность Вихрова.

— А не приходило тебе в голову, любезный, посвятить себя безраздельно... ну, если не научной, то вообще лесной деятельности? — деловито, как у взрослого, спросил Туляков.

Ему пришлось терпеливо разжевать вопрос, прежде чем добился толкового ответа. По счастью, профессор был из умных, понимал, что в конце концов мы никогда не знаем, кому снисходительно дарим пятак на леденцы.

— Оно бы неплохо, барин, да ведь средствóв наших не хватит...— с дядиной солидностью и подтягивая голенище, отвечал Тулякову крестьянский ребенок.

Видному профессору не составило труда устроить мальчика на полный пансион в известную лесную школу, в Лисино, и по ее окончании отправить юношу в экспедицию с лесоустроительной партией. Это и было первое основательное ознакомление Ивана Вихрова с положением лесов в России. Ему не удалось побывать в те годы за пределами двух северо-западных губерний, но и по ним можно было постичь, что творится в остальной империи. Всюду, где еще бежали речки сквозь толщу лесов, стук топора стал таким же обычным содержанием тишины, как вечерний благовест, крик петуха, звон бубенца на проселке. Похоже было, что владельцы лесов, напуганные первой революцией, торопились сбыть громоздкое и

неправедное имущество до вступления в права истинного хозяина. Маленькое горе Енгй зеркально повторялось в любом уголке России. Юному Вихрову не хватало достаточных знаний предвидеть неминуемые следствия лесного разгрома, но все чаще рождались в его душе злые вопросы, небезопасные в ту пору царской мести и реакции... Лично для него эти пять лет обошлись без всяких событий, но по возвращении в столицу он в один день узнал как о смерти матери, так и о бесследном исчезновеньи дяди Афанасия, вздумавшего в числе прочих русских простаков душевно потолковать о наболевших делах с государем-императором в крайне неудачное воскресенье девятого января. В темной прихожей у Туляковых Ивану вручили агафьино наследство в виде дубленого полушубка и почти ненадеванных бареток; кстати, туляковская доха покоилась на вешалке, но сам профессор, видимо, считая расчеты с совестью поконченными, даже не удостоил взглянуть на подросшего кухаркина сына. От Таиски не поступало вестей со дня разлуки, так что у Вихрова не оставалось родни на свете, кроме леса, который ничем не мог ему помочь, да еще — народа, не подозревавшего пока о его существовании.

Заработанные деньги истаяли, пока готовился к испытаниям на аттестат зрелости. Кроме того, Лесной институт был на полгода закрыт после студенческих беспорядков 1907 года; не приходилось рассчитывать и на пособие, а безработица тех лет исключала всякую надежду на постоянный заработок. Нечем было платить за чердак на Лиговке, и домовладелица, дородная и одинокая дама, все настойчивей приглашала оголодавшего жильца спуститься с голубятни к ней в гнездышко, где он мог бы более широко пользоваться ее гостеприимством. Наступала та степень нужды, что зовется в народе непокрытой нищетой, и, пожалуй, сам Александр Яковлевич, всегда отличавшийся изобретательностью, не сумел бы выпутаться из столь сгустившихся затруднений... Тут-то почтальон и принес Вихрову спасительный перевод на двадцать пять рублей с намеренно неграмотной припиской о пожелании успехов на благо русского леса.

Второй такой же поступил только через полтора года, когда в студенте Лесного института начал проступать облик будущего ученого; стремление заступиться за род-

ничок, затоптанный Кнышевым, и плебейская неукротимость в достиженьи цели уже тогда определяли объем, направление и, следовательно, политическое содержание предстоящей вихровской работы... Если на циферблате детских суток у мальчика Ивана имелось всего три значка — утренний рожок пастуха, обед и возвращенье стада,— теперь он покрылся десятками новых; самое мелкое деленьице было отведено для сна, но шутил Большая Кострома, что Вихров и среди ночи встает подзубрить гербарий. Когда же у него скопилось достаточно сведений для начальных выводов о судьбе русского леса, он принялся искать подтверждающие истины в окрестностях избранной науки. Не оставалось времени давать уроки или чертить иллюминованные планы и сдавать экзамены за богатых лентяев. Собственно при его отменном мужицком здравии, фунта стародубского хлеба и средней упитанности селедки Вихрову с избытком хватило бы для счастья, но и в половинном размере оно выпадало не всякий день. Обратиться было не к кому; Туляков же просто не узнавал его на лекциях. К этому периоду относятся несколько вполне своевременных, следовавших с месячным перерывом денежных переводов от анонимного благодетеля.

То был снова *четвертной,* в двадцать пять рублей, билет, но теперь что-то безмерно унизительное заключалось в этих подаяньях без единой сопроводительной строки. Повторность и сходство суммы указывали на Кнышева, хотя навряд ли при постоянных разъездах по стране он мог в продолжении восьми лет следить за своим обидчиком и даже своевременно узнавать о его голодовках. Гриша Чередилов, ближайший приятель Вихрова, видел в данном случае происки вдовы, якобы стремившейся с расстояния растопить сердечный лед сбежавшего от нее постояльца. Валерий же Крайнов, также призванный на совет, начисто отрицал вдову и по социальным мотивам сомневался в какой-либо способности Кнышева к благородным движеньям сердца; по его мнению, помощь могла исходить только от Саши Грацианского, хорошо осведомленного о нищете товарища и не стеснявшегося в карманных расходах. Когда же, оставшись наедине в дендрологическом кабинете, Вихров попытался благодарить Сашу и второпях, по-братски поцеловал его куда-то в ухо, тот

смутился, но не отрекся сразу, как ему полагалось бы, раз не он, а сперва пролепетал нечто в том роде, что все это, дескать, мелочи среди друзей, после чего заспешил удалиться; получилась досадная, обоюдоострая неловкость. Наиболее вероятным оставался кнышевский варьянт, а судя по почтовому штемпелю на переводе, благотворитель находился как раз в Петербурге... Итак, в лютое январское утро студент второго курса Иван Вихров по внезапному осенению вздумал уточнить свои отношения с российской буржуазией.

В понятном ожесточеньи, потому что натощак, он спустился на улицу в летнем пальтишке, очень пригодившемся ему для закалки воли и организма, и резво — тогда он еще не хромал — побежал по мучительно длинной, при таких морозных градусах, Лиговке в адресный стол. В его намерения входило узнать временное местопребывание купца и вернуть ему деньги с произнесением некоторых слов, чтоб избавил впредь от незаслуженных им, Вихровым, благодеяний. Он полагал застать Кнышева в раздражающе богатом халате с кисточками, за сельтерской, а навстречу дул пронизывающий ветер с Невы, а через час Вихрову надлежало быть в другом конце города, в институте. Все это помогло ему подзаострить слова заготовленной благодарности; приводить их даже неполностью нет нужды... Он уже миновал часть пути от Волкова кладбища, поблизости которого квартировал тогда, и уже приближался к Чубарову переулку, где ютились ночлежки, ночные трактиры, портерные и прочее для столичного сброда, как вдруг судьба решилась пощадить здоровье и время молодого человека. Возле *казенки,* как назывались винные лавки в империи, у гнусной стены в скверных потеках и багровых запятых от раздавленных сургучных головок, он увидел пропойцу, сидевшего на тротуаре, повязанного платком, чтоб не мерзла лысина, и с деревяшкой вместо ноги. В рваной шапке меж колен лежали медяки и конфетка в бумажке, что́, наверно, уронила какая-нибудь сердобольная школьница, проходившая мимо в свою большую жизнь. Это был Кнышев; то ли поездом его, пьяного, обкарнало, то ли обмерз где... Он не просил милостыни — он вымогал ее самым видом своим. Уцелевший водянистый зрак его был наставлен прямо на морозное солнце и, видимо, не узнавал его, как не узнал бы теперь ни

матушки, ни родимой Волги, ни своего отечества, которым причинил столько непоправимого и бессмысленного ущерба. При полной недвижности левой стороны, правая рука еще не отучилась от прежнего отрывистого движенья, словно подхлестывал кнутиком жизнь в неодолимой жажде поглядеть, что именно находится там, при самом ее конце.

— Бей ее, тычь, наворачивай...— приговаривал он, но постороннему было бы уже не разобраться в его бормотне.— Дави ее, прижаривай, мать честнýю...

Вся тоска тогдашней русской жизни читалась в его взоре, и Вихров без сожаления перешагнул деревяшку, подобно шлагбауму преграждавшую тротуар.

Из этой встречи вытекало с очевидностью, что в настоящем положении Кнышев не был способен заботиться о нуждающихся студентах. Нет, в ином месте следовало искать виновника чудесного вихровского обогащения, и действительно — не на Балтийском, конечно, заводе да еще в разгар столыпинской расправы, когда мировые суды ломились от дел по выселению рабочих семейств за неплатеж лачужной платы. Таким образом, намек Грацианского на темные вихровские связи до некоторой степени оставался неопровергнутым.

Если уж на то пошло, если бы Александр Яковлевич действительно желал опорочить своего противника, он смог бы привести кое-что и погуще из частной жизни Вихрова — задолго до того, как тот посмел выступить с критикой современного лесного хозяйства. Здесь имеется в виду вступление Вихрова в брак с представительницей не того сословия, какое ему надлежало бы избрать как выходцу из беднейших-то слоев крестьянства. А чего стоило усыновление внука одного енежского кулака или хотя бы демонстративное участие Вихрова в похоронах своего сомнительного учителя. О, Грацианскому было известно о Вихрове несравненно больше, чем приоткрыл по ходу их знаменитейшей полемики!.. Но самое показательное состояло в том, что, если бы Вихрову представился случай исправить свои опрометчивые, столь неблаговидные поступки, этот закоренелый отступник без раздумья повторил бы их...

Однако всему этому предшествует длинная цепь пояснительных обстоятельств.

3

Именно к тому петербургскому периоду относится возникновение в Лесном институте частного студенческого братства, куда, кроме Вихрова, входили вышеупомянутые Гриша Чередилов и Валерий Крайнов. Все трое, ни в чем не похожие, они как бы дополняли друг друга, делились всем до нательной рубахи, и нельзя придумать затруднения, что бы помешало любому, в любое время суток кинуться на выручку товарища. Уже тогда проглядывались будущие склонности каждого из них, исключая разве Чередилова. Сын беспутного костромского дьячка и тоже любитель выпить, он сбирался заняться врачеванием ближних, но, по его собственному признанию, прямо с вокзала его, пьяного, отвезли в Лесной институт, откуда он так и не взял назад документы, видя в ошибке извозчика указующий перст провидения; он вообще не прочь был повеселить друзей превратностями своей биографии. Старший из всех, Крайнов принадлежал к разряду вечных студентов, но лишь впоследствии раскрылось, отчего ему не хватало времени для сосредоточенных научных занятий. Один из немногих в ту пору уныния и революционного отступления, он сохранял ясность ума и веру в низовую Россию, владел даром в самом незаметном угадывать признаки наступающего общественного подъема и, таким образом, служил источником бодрости для остальных; через него-то Вихров и понял, что спасения русских лесов надо искать не в добровольном самоограничении помещиков, а в решительном народном перевороте.

Их сперва так и звали в институте *мушкетерами,* пока к тройке не присоединился еще один, самый младший по возрасту, Грацианский, и почему-то звание это закрепилось за ним одним, причем в каком-то неуловимо обидном значении. Впрочем, это двадцать лет спустя у него обнаружились холодные глаза, практическая сметка, смертельная хватка, а в те годы он носил длинные волосы и щегольскую тужурку, знал уйму стихов напамять и сам писал плохие, а глаза его ужасно нравились девушкам из хороших семейств. Все трое дарили его искренней привязанностью за разнородные таланты, за всегдашнюю одержимость неосуществимыми идеями, хотя и порицали в нем исключительную подверженность всяким модным ере-

сям,— количеством их определялась тогда степень общественного распада.

Неблагополучной тишиной отмечены эти сумерки советской предистории. Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге опустела, наконец, от просителей, бунтовщиков, вооруженного простонародья, и страшно, отвернувшись от замолкших просторов России, глядел ангел с вершины Александрийского столпа. Казенная скука и военно-полевое правосудие стали образом жизни этой несчастной страны. Победители рыскали в поисках побежденных, таких не было. Разгромленная революция не умерла, не притворялась мертвой — она как бы растворилась до времени в безоблачно-суховейном небе. Взрослые защитники русской свободы, не успевшие укрыться в подпольи, более глубоком, чем братская могила, в тифу и кандалах брели на каторгу. Да еще дети оставались — и те, чьих матерей расстреляли девятого января, и те, кто ползком подтаскивал патроны на Пресне или прятал за пазухой отцовские прокламации; надо было ждать, пока смена освоит отцовский опыт восстанья. И когда живое покинуло поле великой битвы, над ним закружились призраки. То была пестрая круговерть тления, предательства, противоестественных пороков, которыми слабые восполняют природные немощи мысли и тела. В ней участвовали недотыкомки, андрогины, зверобоги, коловертыши, прославлявшие Ницше, Иуду и Чезаре Борджиа, бледные упыри в пажеских мундирах, сектантские изуверы с пламенеющими губами, какие-то двенадцать королевен, танцовавшие без рубашек до радужной ряби в глазах, отставные ганноверские принцы, апокалипсический монах, гулявший по Невскому в веригах и с пудовой просфорой на груди, загадочные баронессы в масках и вовсе без ничего, мэки, призывавшие интеллигенцию к братанью с буржуазией, анархисты с дозволения полиции и еще многое, вовсе утратившее признаки чести, национальности, даже пола. Все это, ночное, таяло при свете дня, не оставляя ни следа, ни тени на отечестве, по которому вторично от начала века проходил насквозь царь-голод.

— Мертвое царство, мертвое...— мимоходом однажды, за фенологической работой, заметил Вихров своему другу Валерию Крайнову.— А тянет меня, старина, обойти это непаханое полюшко, покоптиться с лесорубами у костерка,

потолкаться среди стариков на ярмарках, послушать подспудную думку России. Ну, брат, и зимища застала нас...

Разговор происходил в дендрарии института, возле мелкоплодной пенсильванской вишни; красноватая атласная кора просвечивала на стволе сквозь шелуху, колеблемую ледяным ветерочком. Не удавалась в тот год весна, метель то и дело забивала распусканье природы.

— Не бойся, Иван, наступившего затишья... Это копится энергия в нашем обществе. Приложи руки к его полюсам, и тебя убьет на месте разность потенциалов. И ты не на сугробы, ты сюда смотри,— отвечал Валерий и, вскрыв ножом набухшую, пока наглухо закрытую почку, показал в зеленой мякоти пусть еще не цветы, но уже по окраске различимое — предвестье близкого цветенья.— Так было и *прошлой* весной, шесть лет назад... помнишь? Теперь представь, что́ будет, если дважды, с небольшим промежутком сбрызнуть все это теплым дождичком...

Что-то вещее было в его усмешке, а случившийся при том Грацианский припомнил ее месяцев через семь, когда одна за другой вспыхнули первые стачки на Невском судостроительном и на Вознесенской мануфактуре.

...Кроме исключительной памяти, этот одаренный юноша вообще отличался пытливым умом и до некоторой степени, подобно Вихрову, жадному на любое знание, искал истины во всех попадавшихся ему колодцах. При такой широте запросов, политических и духовных, Саша Грацианский еще в гимназии чтение Маркса и Бернштейна искусно сочетал с глубоким интересом к Ницше, Максу Штирнеру и даже Рамачараке, так что впоследствии не только умел по системе иогов дышать через одну ноздрю, но и сам изобретал способы социального устроения рода человеческого, заботясь о том, чтобы как-нибудь в суматохе не запамятовал он Сашу Грацианского. Нынешнее, суровое и столь возвысившее его в глазах современников призвание лесного судии далось ему лишь после мучительных исканий. Уже по получении диплома он попеременно пробовал свои силы то в роли экономиста, то литератора, то историка, наконец... причем по окончании гражданской войны усердно изучал уцелевшие от погрома архивы санкт-петербургского охранного отделения, но дельной книжки о революционных течениях среди молодежи тех лет из-под его пера так и не вышло. Вообще

представлялось странным его поступление в Лесной институт, одно из самых демократических учебных заведений, куда шли либо по наследственной склонности дети лесных тружеников, либо яростные любители охоты и родной природы. Выбор карьеры объяснялся врожденной сашиной слабогрудостью и настоянием матери, деспотически-властной дамы, чтобы трудовая деятельность сына протекала в спокойной санаторной обстановке.

Сашина мама представляла собою черненькое, надменное, на редкость малоразговорчивое существо, перламутровой лорнеткой прикрывавшее чуть приметную косинку. Когда по пятницам, обычно без Крайнова, молодежь сбиралась у Грацианских на благополучной Сергиевской улице, Чередилову доставляло удовольствие говорить ей невинные дерзости, смягченные простодушием незаурядной русской силы; так, однажды он кротко попросил у ней лорнеточку, чтобы ее глазами обозреть сей ничтожный окружающий мир. Озорнику и забияке, ему в ту пору не очень нравилась эта уютная барская квартирка, с мерцаньем зеленоватых торшерных ламп на коврах,— причем лица и мысли оставались в тени! — с декадентскими водорослями на бархатных портьерах и уставленная развесистыми пальмами, меж которых с ловкостью золотых рыбок сновали сочные, неслышные горничные. Вообще говоря, это был довольно скуповатый дом, и угощение там подавали довольно скудное, зато в самой изысканной сервировке. Саше давно хотелось залучить на свои сборища и Крайнова — скорее из тщеславия, однако, чем уважения, потому что чутьем балованого барчука угадывал под его беспечной оболочкой какую-то жгучую и враждебную ему народную правду. По удачному совпадению, визит Крайнова пришелся на сашины именины, когда один из гостей в пылу пустячной ссоры проговорился о существовании подпольно-межпартийной организации среди учащихся, возглавляемой Сашей и носящей явно подражательное название *Молодой России.*

Главных участников того примечательного столкновения неделей раньше перезнакомил сам Грацианский на празднике воздухоплавания, происходившем в начале сентября 1910 года. Скучающая петербургская знать заполнила трибуны Коломяжского ипподрома в надежде на какое-нибудь чрезвычайное происшествие, да еще тысяч

десять самовольных зрителей разместилось по ту сторону забора, прямо на траве или же на извозчичьих пролетках, чтобы на худой конец поспешно ускакать от неосторожно падающего пилота. Программа шла довольно гладко, и вначале публику очень поразвлек пожилой и видный адвокат, который сперва задумал победить воздушную стихию на русском монгольфьере системы господина Древицкого, но потом, осознав безумность своего предприятия, стал кричать и биться в подвесной корзине... Вслед за тем наиболее видные *летуны* столицы стали проделывать над собравшейся публикой опасные воздушные эволюции на головоломной высоте, иногда не в одну сотню сажен. Ближе к вечеру должен был показать свое мастерство бывший корабельный инженер и тоже выдающийся авиатор своего времени капитан Мациевич... В перерыве мушкетерская троица отправилась посмотреть стоявшее на скаковой дорожке чудесное изобретение человеческого разума, аэроплан, представлявшее собою две соединенные стойками и растяжками парусиновые плоскости с железной машиной посреди и на устойчивых, велосипедного образца колесиках. Тут-то Грацианский и подвел к товарищам тоненькую, в соломенной шляпе девушку, не спускавшую с него послушных и влюбленных глаз, Наташу Золотинскую, а через минуту рядом с ними как-то оказался и другой сашин приятель — с квадратной, низко присаженной головой, хмурый, вроде недовольный то ли мирозданием, то ли собственной своею прыщавой россыпью на лице, назвавшийся студентом Психоневрологического института Слезневым. Личность эта показалась знакомой Крайнову, но самые обстоятельства первого столкновенья с нею он вспомнил лишь несколько дней спустя... Вот когда и сбегал Вихров за мороженым на всю компанию.

Вскоре молодых людей оттеснили назад ради высокопоставленного лысоватого полковника, подошедшего в сопровожденьи свитского генерала и неотлучных ингушей императорской охраны. Опершись о палаш, великий князь любознательно расспрашивал авиатора, можно ли простудиться в полете, за какие снасти держался гофмейстер Столыпин, когда именно с Мациевичем летал два дня назад, и вообще какая сила способна поднять на воздух эту железную, с позволения сказать, карамору в несколько

пудов весом, не считая груза в виде самих смельчаков. Видимо, его тоже подмывало полюбоваться на Петербург из поднебесья, но несколько опасался осиротить Россию; впрочем, каждый благополучный полет той поры лишний раз подтверждал существование провидения... Все это время Крайнов иронически вслушивался в происходившую беседу, а Слезнев, в свою очередь, из-под приспущенных век с низменным почтением наблюдал за поведением Крайнова.

— Чего это вы на меня уставились, изучаете по своей... психомедицинской специальности? — весело, полуобернувшись, спросил Крайнов.

— Нет, я вообще люблю открытые, без утайки, русские лица,— нахально улыбнулся тот и стал холеным ноготем мизинца снимать соринку, приставшую к мороженому на вафле.

Гул оваций сразу утих, когда летательный аппарат, подпрыгивая, побежал по траве, а минут через пять и зрители за забором увидели отважного капитана, мчавшегося в синеве вечереющего неба со скоростью не менее семидесяти верст в час. Уже целых пять минут находился он в воздухе, и, казалось, забыл про землю; вот и смерклось и уже грохнула сигнальная пушка, возвещая конец состязаний, но авиатор забирался все дальше в гаснущую высь,— как все сразу разгадали, на приз высоты. Никто не понял вначале, что происходит, когда черное пятнышко отделилось от аэроплана и, увеличиваясь, пошло вниз. Потом с трибун и сквозь проломы в заборе сотни людей ринулись к месту происшествия, наши студенты в том числе... однако, пока протискивались сквозь цепь городовых, тело Мациевича успели отнести в санитарную карету; только длинный, вдавленный отпечаток на земле да оторванный капитанский погон обозначали место паденья. В наступившей тишине слышно было, как кричала вдова и по-бабьи всхлипывал бородатый комендант поля. Крайнов снял фуражку, его примеру последовали другие.

Молодые люди молча пошли назад. Холодало поосеннему, и, помнится, Грацианский накинул свою тужурку на дрожавшие наташины плечи. К ночи снова ожидался ранний заморозок.

— А небо-то, небо-то какое над Россией,— вполголоса обронил Вихров, шагая рядом с Валерием.— Сколько же

оно несчастий повидало на этой земле, а, гляди, будто ничего и не было!

Валерий поднял глаза. Действительно, небо было безветреное, безжалостной красоты и какого-то кроткого цвета, только нижний край его, по образному сравненью Саши Грацианского, пылал и плавился, как цыганский платок у костра.

— Что ж, вполне отличное небо,— так же тихо согласился Валерий.— К такому да прибавить бы справедливые законы, да всеобщую грамотность, да побольше денег на науку, чтобы не разбивались смелейшие наши, да сюда бы еще хорошие дороги, да водки меньше, да чтоб женщин не били смертным боем... не было бы неба на свете краше нашего!

— Вы упускаете главное, Крайнов, без чего немыслимо все остальное,— непримиримо распалился Слезнев, шагавший в шеренге со всеми.— Не забывайте про тех, кто целое столетье убивал лучших русских людей... Вон они, рассевшиеся на ступеньках царского трона. На рогатину их надо, братцы мои, на рогатину...— и, наугад выхватывая из расходящейся толпы, почти с пеной на губах показывал то на молодцевато-бодрого генерала от кавалерии Сухомлинова, то на сухопарого конногвардейца Врангеля, то на случайно оказавшегося в поле зрения — японского гостя, принца Токугава, прямо с поезда прибывшего на полеты.

— Боже, как ты неосторожен, Виктор! — оборвал его Грацианский.— Ведь мы же не одни здесь.

Валерий молчал. Возможно, занятый своим раздумьем, он и впрямь не расслышал слезневской, на него и рассчитанной истерики. В перспективе десятилетий ему живо представилась лестница крылатой русской славы, где каждая ступенька обагрена кровью героя, и — «если бы хоть глазком могли они заглянуть в завоеванное небо будущего, куда отважно бросались в разведку на своих смертельных этажерках». Кажется, Слезнев и сам раскаялся в допущенной оплошности и, кидаясь в другую сторону, предложил поужинать всей компанией на Вилла-Роде, что у Строганова моста, или, еще лучше, в Бельвю, где имелся шикарный кегельбан... «раз уж все равно вечерок испорчен»,— как скверно соскочило у него с языка. Предложение явно относилось к Валерию, но тот вторично

промолчал, и Слезнев сконфуженно перевел глаза на крайновского соседа. Вихров сухо указал ему на неприличность его тона в связи с трагической гибелью русского авиатора и за обоих отказался от приглашения, сославшись на отсутствие времени и денег.

— Ну, касательно второго — дело поправимое. Сколько вам нужно? — засмеялся Слезнев, прикинувшись, будто достает бумажник.

— Не знаю, как вы добываете деньги, я свои — трудом,— сказал Вихров.

— Зря... На вашем месте я бы выучился играть в макао. При известном навыке, хе-хе, это дает неплохой доход.

Испуганная Наташа замахала руками, а Вихров с белыми губами двинулся на психоневролога, и, наверно, завтрашний дневник происшествий пополнился бы еще одним событием, если бы не вмешался Чередилов. Поприддержав Вихрова за рукав, он в общедоступной форме довел до слезневского сведения, что отец господина Вихрова убил человека и что рискованно пробуждать в его сыне дурную наследственность.

Они разошлись, не попрощавшись.

4

Приблизительно через неделю, в очередную пятницу, скандал повторился по другому поводу, на очередном сборище у Грацианских, как раз в присутствии Крайнова, уступившего настоятельным сашиным просьбам. Однако вопреки своему обещанью не звать посторонних и, надо думать, с целью примиренья Саша пригласил на свои именины и Слезнева. Кроме других, уже известных, лиц, здесь еще находились две тощих, будто промаринованных острыми специями курсистки, обе — Нюши, беленькая и рыженькая, один крайне сосредоточенный толстячок лет семнадцати в гимназическом мундирчике щегольского офицерского сукна, чем-то похожий на шоколадную бутылочку, стремящуюся выглядеть, как динамитный снаряд,— еще там кое-кто и, наконец, видный, выдающийся по грузности петербургский богоискатель Аквилонов, весь вечер усиленно налегавший на копченого сига. По случаю

торжества стол в тот вечер был особенно наряден, хоть и постный; в доме до такой степени соблюдались постные дни, что даже глава семьи, впервые спустившийся со своих высот к молодежи, чем-то напоминал большую снулую рыбину, только в сюртуке. По свежим впечатлениям разговор коснулся похорон Мациевича, вылившихся в громадную двухсоттысячную уличную демонстрацию, и — через бессмертную славу покойного героя — перекинулся на личное бессмертие души.

Профессор канонического права настолько пространно, с привлечением текстов из Оригена и Августина, излагал свою точку зрения, что гости стали тревожно переглядываться, пока сашина мать не намекнула мужу, что и другие хотели бы высказаться по затронутому вопросу.

Ближайшим к хозяину оказался Вихров, ему и предоставили право первого возраженья.

— Как биологу, мне не приходится прибегать к таким гипотезам, как мнимая вечность отдельной личности,— смущенно начал Вихров,— даже если бы они еще более возвышали человека в наших глазах. Полагаю, если не очень мешать ему, он и сам, подвигами труда и мысли, добьется подобающего ему величия. Во всяком случае, моя наука учит меня, что все живые организмы умирают прочно. Природа — слишком ревнивая и скупая любовница, чтоб отпускать своих любимцев в некий потусторонний мир, где нет ее самой и куда не простираются ее законы. Кроме того, будучи грубым выходцем из крестьянского сословия, я, признаться, не владею достаточным воображением, чтоб представить себе кусок отвлеченного пространства под названием, скажем, землемер Иванов. Если же он не занимает места, то что́ он? — Здесь Вихрову почему-то вспомнился Калина, его неомраченная улыбка перед неизбежным, его готовность пойти на любой переплав, потому что в том-то и состоит справедливость природы, чтобы *все* побывало *всем*. По словам Вихрова, смешные притязанья на загробное бытие свойственны главным образом тем, кто не чем иным, героическим или в должной мере полезным, не сумел закрепиться в памяти живых, что́ единственно и может являться настоящим бессмертием.— Нет, не верю!.. и никогда потом не вспыхнет проблеск твоего сознания хотя бы в шелесте кладбищенской травы. И это тоже хорошо, иначе сообщенная

душе старая телесная память о былых неудачах и разочарованиях тормозила бы порывы и свершенья молодости. Материя забывчива, и ничто не помнит на земле, чем и *как* оно было раньше. И это не менее замечательно, так как внушает человеку особую ответственность за врученные ему дары ума и воли... Поэтому, чем бесследнее исчезновенье, тем дороже каждая крупица бытия. Вот вы помянули давеча, профессор, о грехе неверия,— закончил Вихров, обращаясь к хозяину,— а по-моему, нет черней греха, чем пролить бесполезно хоть росинку жизни в такой пустыне... в такой, я говорю, пустыне, как наша. Таким образом!

Все одобрительно помолчали. Аквилонов укоризненно поглядел на костяной каркас окончившегося сига.

— Давно когда-то, в вашем благоутешительном возрасте, я и сам держался приблизительно тех же убеждений. Что же, помните у Горация: Dulce est decipere in loco! [1] — сочувственно вздохнул ученый богослов и, минуя сидевших посреди, сразу обратился к Крайнову: — Было бы крайне заманчиво обогатиться и вашим суждением, господин... Простите!

— Да Краевский же... ты стареешь на моих глазах, Яков! — покрываясь пятнами, еле слышно подсказала жена.

По всем признакам, родители достаточно наслышались от сына про этого загадочного гостя, и теперь всем не терпелось проверить восторженные сашины оценки. Тот, однако, молча поглаживал складку скатерти, и тогда Саша Грацианский всунул в образовавшуюся паузу собственную теорийку, согласно которой человек при рождении ничем не отличается от животного, но повседневным упражнением в молитве, творчеством или частым созерцанием божества выращивает и умножает тело своей души, откуда с наглядностью следует, что посмертное долголетие особи прямо пропорционально количеству проделанной ею над собою морально-нравственной работы. Следовательно, Саша уже в то время ограничивал загробный пантеон избранным кругом лиц, владеющих рентой для подобного рода занятий. Аквилонов заметно оживился, зато обе Нюши, обе плебейского происхождения,

---

[1] Приятно подурачиться в свое время! *(Лат.)*

немедленно ошикали бестактную, да еще в присутствии горничных выходку своего предводителя.

— Знаешь ли, отче, поведал бы ты нам лучше, что за рояль ты там изобрел... кажется, для цветовых симфоний? — насмешливо вставил Чередилов.— Страсть обожаю, под надлежащий харч, вникать в биенье твоей жгучей, неугомонной мысли.

— Нет уж, давайте посдвинем рояль в конец повестки, а пока подвыясним кое-что насчет бессмертия,— сверляще заявил Слезнев, все это время демонстративно листавший альбом семейных фотографий.— Итак, мы слушаем вас, Крайнов, если только обсуждение этой темы...— и улыбнулся гниловато и заискивающе,— если оно совместимо с вашим марксистским достоинством!

Все замолкли, обе Нюши не менее чем на десять сантиметров вытянули шеи, гимназист прокашлялся, главным образом чтобы заявить как-нибудь о своем присутствии.

— Я не знаток в делах загробных,— сказал Валерий Крайнов,— я собираюсь заниматься всего лишь лесом, весьма подзапущенным русским лесом, но, что ж... о чем только не шумят во время чумы! — Это не было отвлеченным намеком на состояние умов в империи; действительно, в тот месяц имелись вспышки холеры и чумы в столице, но все правильно поняли и чуму и русский лес в самом расширенном толкованьи.— Мой коллега уже объяснил, что основными условиями жизни являются движенье, развитие и смена, то есть непременная смерть, которой подчинено все... в том числе и личная память наша. Собственно в этом и весь мой ответ, потому что смысл вашей веры в бессмертие заключается в притязаньи слабых людей сохранить от распада личную память... которая есть, с вашего позволенья, архив моего ума, то есть Я. Обезличенное же посмертное состояние подчинено общим законам сохранения энергии... так? — спросил он у вздрогнувшего Аквилонова, который мирно доламывал второго сига...— А раз так, то рассматриваемый предмет, память, как и все прочее в классовом обществе, окрашивается социальной принадлежностью. У богатых жажда бессмертия выражается в стремлении продлить воспоминанья о благоустроенной квартире, о хорошо оплачиваемой, хотя зачастую и бесполезной должности, даже о копченом сиге в сочетаньи, скажем...— он неторопливо

справился с ярлыком стоявшей перед ним бутылки,— в сочетаньи, я говорю, с отличным красным винцом Сент-Эмильон. При этом неограниченный запас времени у покойников допускает многократное повторенье всей программы без всяких дополнительных расходов. У бедняков же эта идея выражена в более скромной надежде, что их земные горестные переживанья если и повторятся, то в несколько исправленной редакции. Я полагаю, мы все сойдемся на том, что было бы жестокостью еще разок повторить им сеанс земных переживаний! ...Вместе с тем вполне понятно стремление бедных продлить себя в потустороннем царстве: ведь призраки не боятся городовых, не зависят от эксплуататора, не нуждаются в хлебе, одежде и жилье. И, наконец, у восточных народов, забитых колониальным кнутом и тысячелетнею нищетою, вера эта вылилась в религиях абсолютного небытия... Им вспомнить вовсе нечего: память — проклятие для них. Представляете себе,— спросил Валерий, обводя взглядом свою затихшую аудиторию,— как нужно терзать человека, чтоб ему захотелось удрать из жизни в ничто? Примечательно, кстати, что самые могучие вероучители не смогли придумать такого ассортимента райских блаженств, какие были бы недоступны на земле... Именно поэтому долг людей образованных и честных — убедить всех тружеников, что не стоит ради исправления своего материального состояния пускаться в такие мучительные превращенья, когда все радости жизни находятся буквально под рукой... стоит лишь протянуть ее поэнергичней! Словом, господа, вам выгоднее согласиться со мною... потому что вера в личное бессмертие означает веру в бога, а людям ваших профессий было бы не к лицу признать, на основании самых неустранимых признаков, что бог ленив, равнодушен и зол... не правда ли?

Тут Валерий приветливо улыбнулся хозяйке, которая нервно постукивала лорнеткой о край стола.

— Виноват, против каких же столь неприятных, повторных впечатлений бытия у людей необеспеченных, э... направлены ваши возражения, господин Краевский? — с необъятной скорбью в голосе вопросил профессор канонического права.

— Главным образом против тех,— мирно отвечал Валерий,— чтобы вторично мерли с голодухи волжские

мужики, или с деревьев Александровского сада сыпались подстреленные ребятишки, как это случилось у нас в Петербурге девятого января, или, скажем, чтобы палач вторично надевал петлю на Александра Ульянова. Подобные явления и в загробном мире неминуемо привели бы к восстанию призраков... поэтому давайте уж поразумней устраиваться на этом свете, господа!

И сразу тишина напряженного внимания сменилась тишиною замешательства. Такое вступление не сулило тихих семейных радостей, и сашина мать даже предложила гостям поиграть в лото,— настоятельно, однако же с возможной мягкостью, так как именно с этими людьми ее сыну предстояло жить и работать в будущем. Ее призыв остался без отклика, и сперва незаметно исчез Аквилонов, хотя еще один непочатый сиг имелся в запасе на столе, а вслед за ним удалились и сашины родители под благовидным предлогом не стеснять нашу милую и пытливую молодежь... Тогда-то, шумно отодвинув стул, потребовал слова Слезнев.

Прежде всего он высказал неудовольствие по поводу развязной и, как ему казалось, политически незаостренной речи Крайнова. По его мнению, русские достаточно растратили времени на бесполезные рассуждения о пользе грамоты и вреде клопов, и оттого пора переходить к решительным действиям, то есть к прямому захвату власти в России. По примеру Катона Старшего, он не уставал при любой оказии твердить одно и то же по поводу императорского Карфагена.

— Разумеется, точка зрения зависит от темперамента, господин Крайнов... и мне не очень понравилась ваша высокомерная усмешка еще в прошлый раз, в Коломягах, когда я в вашем присутствии действительно неосторожно выразился... ну, вы помните, насчет чего! Поэтому я и дивлюсь, что именно *вы*, как партия, присваиваете себе исключительное право заботиться о благе народа, как если бы все остальные желали ему зла.

— Мы и не отрицаем сего, о дубе младый,— в обычном своем дьячковском стиле выступил Чередилов,— не отрицаем, что и другие жаждут ему преуспеяний... и чтобы церковноприходские школы везде, музеи восковых фигур, театры там, анатомические и прочие. И другие жаждут, чтобы всем было хорошо, но чтобы им самим, поелику

возможно, сытней и лучше... именно за то, что сами они такие благородные!

— Не имею желания состязаться с вами в клоунаде, господин Длинная Кострома... или как вас там?.. да это и неважно,— с каким-то хрустящим вызовом продолжал оратор.— Между тем в речи вашей, господин Крайнов, мне послышались обидные и незаслуженные намеки в адрес главы дома, где мы сидим сейчас, поглощая ценную и интеллигентную пищу. На правах старого сашина друга я настоятельно приглашаю вас, Крайнов, либо вслух извиниться, либо уточнить свое отношение к его отцу.

— Давайте лучше уж в лото сразимся...— весь пылая, взмолился молодой Грацианский.

— Не мешай, Александр, речь идет об элементарных приличиях,— отмахнувшись, взрывчато продолжал Слезнев.— А между тем в этих гостеприимных стенах, да будет вам известно, господин Крайнов, второй год собирается подпольная ученическая организация... и в настоящее время вы имеете честь видеть ее центральный комитет! — Он суховато и разбористо отчеканил ее названье, которое лишь тридцать один год спустя снова выступило из потемок истории.— В противовес другим партиям, которые топчутся на месте и даже держат в царской Думе своих представителей, мы ставим целью немедленное свержение самодержавия... и пускай это начнется с умерщвления династии! Мы за честную русскую плаху, но... рассчитываем, конечно, на вашу скромность и неболтливость, Крайнов. Я кончил... передаю вам слово!

Он стал закуривать в таком припадке ожесточения, что из десятка спичек у него не загорелась ни одна.

«Поражение революции 1905 года породило распад и разложение в среде попутчиков революции». Валерию ясно было, что организация столь наивного в ту пору профиля была лишь шлаком и накипью общественного отчаянья: всегда после отлива большой бури что-нибудь живое корчится на берегу. Судя по всему, подпольное сообщество Слезнева — Грацианского состояло из дюжины-другой школьных заговорщиков, без участия рабочей молодежи, но с обломками разбитых, неустойчивых партий; можно было заранее предсказать ему скорый и бесславный конец.

— И много вас? — не поднимая головы, поинтересовался Валерий.

— Это не имеет значения,— как на баррикаду, вырвалась вперед рыженькая Нюша.— Один идейный солдат стоит роты полицейского сброда.

— О, так это вполне серьезно? — с той же откровенной печалью продолжал Валерий.— Наверно, вы запасли и динамиту с фунт-другой, шрифта горстей десяток и даже аршинный кинжал, смазанный синеродистым калием?

— Не смейтесь над нами, Крайнов. Пускай мы еще не так опытны, как вы, зато не страшимся ни кандалов, ни петропавловских казематов... и вы еще услышите о нас! — со сверкающими глазами, как в клятве, пообещалась Наташа Золотинская.— Есть на свете оружие пострашней и динамита...

Вслед за тем с высоко поднятыми бровями привстал гимназист, разглядывая простой железный перстень на мизинце и как бы подчеркивая, что не ради личных выгод, а в высшей степени наоборот, кинулся он в пучину революции.

— Моя фамилия Казачихин, и я тоже уполномочен заявить от лица.... от лица...— Намереваясь высказать самые незаурядные мысли, он обдернул было свой мундирчик и уже взъерошил перстами волосы, но внезапно потерял голос, кашлянул со странным писком, словно из раскупоренной шоколадной бутылочки воздух вышел, залился краской, смаху опустошил недопитый аквилоновский бокал и сел.

При всем том они с цыплячьим виноватым восторгом поглядывали на Валерия, вряд ли только из уважения к его очевидному старшинству или к сопровождавшему его ореолу таинственности, преувеличенному сашиной болтливостью, а скорее по тому безоговорочному восхищению, с каким юность угадывает прямую, честную и веселую силу. И ждали, нетерпеливо ждали его высшего суда и если не зова, то хотя бы маленького одобренья, но Валерий молчал, будто его это не касалось.

— Теперь,— вызывающе и при совершенно тусклых глазах возгласил Слезнев, раздвигая посуду на столе,— теперь, когда мы начисто открыли свои цели и даже место наших сходок... когда вы приняли наше доверие и не покинули нас своевременно, а вместо того порешились на до-

полнительные расспросы... теперь мы вправе спросить и у вас, что вы сделали для революции и кто вы такой — максималист или экс... или, случайно, не из террористов? Ну-ка, подымайте свое забрало, Крайнов...— И вдруг не то чтоб побледнел, а как-то обмяк под насмешливым взором противника.

Помнится, всех тогда озадачил двусмысленный ответ Валерия, что он испытывает бессилие удовлетворить суровую слезневскую любознательность, так как, к сожалению, не знает за собой подвигов, достойных похвалы, хотя бы беглого упоминания или полицейской кары, но зато — и общественного разоблаченья. С одной стороны, Валерию и жалко было этих обреченных юнцов, а с другой — хотелось построже выяснить у Саши Грацианского историю возникновенья его организации. Валерий и еще произнес что-то шутливое и незначащее, а сам все шарил в памяти... и тут, словно фонариком подсветили, вспомнил первомайскую загородную массовку 1909 года в лесной заросли за Старо-Парголовским проспектом. В тот раз после короткого крайновского вступленья о путях и средствах к освобождению русского рабочего класса выступил с возраженьями какой-то осатанелый анархист, теми же словами, что и Слезнев теперь, упрекавший большевиков в отсутствии политического темперамента; кстати, делал он это так громко, словно хотел довести свою тираду до сведения если не всего земного шара, то по меньшей мере — ближайшего полицейского поста. Но маевка происходила ночью, и *тот* оратор был в пенсне, да и волос на том вроде погуще имелось, а одного сходства интонаций было недостаточно для установления тождества двух этих лиц. Но чем больше прояснялись перечисленные подробности, тем меньше становилось Слезнева: он как бы усыхал на глазах и, верно, испарился бы вовсе, если бы сам же, очень искусно, не повернул разговора на тот пресловутый, сашин, цветовой рояль. Из самолюбия ли, или желая выручить приятеля из неловкости, Саша сам, без понуждения рассказал, каким образом клавиши соединяются с цветными прожекторами, экраном же служит любая снеговая гора, вокруг которой и размещаются избранные зрители.

Лесные мушкетеры загадочно похмыкали и вскоре ушли все разом. Тогда-то на улице и под проливным

дождем, как только Валерий распрощался с друзьями, Слезнев внезапно вынырнул к нему из-за угла.

— Одну минутку, я прошу у вас всего одну минутку...— униженно забормотал он, чтоб разъяснить свои позиции.— Вы дурно поняли мой давешний неосторожный вызов, и я должен опровергнуть ваши невысказанные подозренья, которые, именно поэтому, мне оскорбительней плевка...

— Ступайте,— не оборачиваясь, сквозь зубы бросил Валерий,— а то я сделаю вам больно.

Он перешел улицу, но Слезнев следовал за ним, на расстояньи чуть большем, чем возможный взмах руки.

— Пусть я пока ничтожен, как всякий лишь вступающий на поприще революции... и я не хочу вам лгать, что полюбил вас навечно... потому что мы разных тактических убеждений, но ведь это не должно препятствовать хотя бы взаимному нашему уважению перед лицом общего врага? Я даже не набиваюсь на ответ, но прошу у вас всего одной минутки...

Соблазнившись послушать, какими сведениями располагает о нем Слезнев, Валерий остановился и стал закуривать, а тот немедленно понял это как позволение продолжить разговор.

— Я с вами, как на духу! Ходят слухи, что еще в девятьсот пятом вы входили в известное общество *лесных братьев* на Мотовилихе...— меленько, как зернышки на птичьей приваде, сыпал Слезнев.— Ох, и дали же вы *им* жару в тот раз! А по другой версии и стычка с казаками на Васильевском острове... помните, у завода Шиффа?.. тоже не обошлась без вашего участия: ишь где-то височек вам повредили, не иначе, как в рукопашной! Однако же никакое материальное тело не может находиться одновременно в двух местах, верно?.. и я вовсе не спрашиваю, как это случилось... но это же поистине гениально, и мне только хотелось высказать вам мое... ну, просто животное преклонение перед человеком, который...

— Вам лучше уйти заблаговременно, Слезнев,— угрожающе повторил Валерий, глядя на вскипавшие под ногами зеленоватые пузыри дождя; разговор происходил возле магазинной витрины с освещенными на просвет цветными стеклянными шарами, по каким в ту эпоху издали узнавались аптеки.

— И опять же все это недоразумение у Грацианских получилось не из стремления секреты ваши выудить, а, право же, скорей по младенчеству... Нам равенство хотелось подчеркнуть и независимость сторон, чтоб вы не подумали, будто мы... ну, маленькие, что ли, и боимся вас. Нельзя принимать это как обиду... напротив, я в любую минуту готов пожать вам руку, потому что...

Воодушевленный молчанием собеседника, он даже прикоснулся легонько к рукаву его пальто, и на сей раз Валерий уже не удержался от искушения исполнить свою начальную угрозу, после чего вторично перешел улицу.

5

Если только нарочно воду не мутил, оба слезневских предположения о местопребывании Валерия в годы революции были неверны; на этот счет у Валерия имелся надежный, *железный* паспорт, как это называлось тогда. Однако по положению пропагандиста ему нередко приходилось бывать на рабочих окраинах, и полицейские наблюдатели могли составить приблизительное мнение о его принадлежности к левому крылу РСДРП... Значит, подозревали наличие повода для привлечения его прямо по пункту первому сто второй статьи, каравшей военным судом за попытку к ниспровержению царского строя.

В ту эпоху «большевики боролись за сохранение и укрепление нелегальных партийных организаций. Но в то же время большевики считали необходимым использовать все легальные возможности, всякую легальную зацепку, при помощи которой можно было бы поддерживать и сохранять связи с массами и усилить тем самым партию». Будничная разъяснительная работа велась везде, откуда слово правды могло вырваться на простор народной молвы,— от трибуны Таврического дворца до кружков самообразования, страховых касс и студенческих землячеств. Однако Валерий заинтересовался *Молодой Россией* Грацианского не из стремления прибрать ее к рукам, как кричал о том ужасно разобидевшийся на него за пощечину Слезнев... и не потому только заинтересовался, что пожалел Казачихина с Наташей, шедших прямиком если не к виселице пока, то в объятия нового Азефа из Психо-

неврологического института; к слову, Валерий так и не узнал, что при техническом организаторе дела, Слезневе, Саша Грацианский играл в нем роль вдохновителя и идеолога. Но ему стало известно, что с помощью своей нечистой аферы Слезнев уже пытался проникнуть в рабочие марксистские организации. В последующей беседе, через несколько дней после скандала на Сергиевской, Саша Грацианский подтвердил, что Слезнев уже побывал у молодых печатников в Экспедиции заготовления государственных бумаг, и тогда Валерий принял предупредительные меры, чтоб пресечь влияние врага на рабочую молодежь.

Между прочим, Грацианский держался крайне заносчиво в том разговоре, происходившем в отсутствии Чередилова. Однако Вихрову удалось вызвать Сашу на запальчивую откровенность, приоткрывшую секрет новоизобретенного им и якобы неотразимого политического оружия. Оно носило наименование *миметизма,* в данном применении — притворства, то есть готовности итти на работу в любые царские, даже полицейские учреждения, чтобы доведением вражеских методов до абсурдной крайности взрывать их изнутри. Саша проговорился при этом, что великие цели стоят своих жертв, человеческих в том числе.

Вихров такими глазами поглядел на этого элегантного зеленоглазого мальчика и всеобщего любимца, словно рога отросли на нем.

— Позволь, мил человек... но ведь для того, чтобы *они* вашему брату, притворяшкам, поверили... вам понадобится и выдать им кого-то? — растерянно спросил он.

— Что ж!.. К сожалению, мы не обладаем таким гражданским терпением, как иные... глядеть на мерзости и дожидаться, пока *это* осуществится мирным способом,— холодно отвечал Саша Грацианский.— Любое святое дело скрепляется кровью мучеников...

— Но для этого полагается заручиться предварительным согласием самих мучеников,— усмехнулся Вихров.— В таком случае... кто же у вас намечает кандидатуры... вы ли, господин Грацианский, или сам Слезнев?

Саша еще молчал, но уже как бы шарил щелку вкруг себя, размером хоть в горошину: уйти. Тогда Вихров жарко высказался в том смысле, что рассматривает эту

дьявольскую махинацию как последнюю степень душевного растления, что подобные вещи не забываются и посмертно, что только безглазый щенок мог попасть в такую нехитрую вражескую западню... И хотя, помнится, произнес при этом некоторые слова, выражавшие степень его гадливости, все же и тогда считал Сашу скорее жертвой, чем виновником.

— И как далеко продвинулось у вас *там* это дело? — очень тихо спросил все время молчавший Валерий.— Уже установили контакт?

— С кем это? — развязно, с неверным, раздвоившимся взглядом переспросил Саша.

— Ну, с охранным отделением, с кем же еще! Какие же именно предприняли вы там... практические шаги?

— Что вы... ой, что вы! — опомнившись, закричал Саша Грацианский и даже лицом смертно осунулся от ужаса, такой стужей пахнуло на него из глаз Валерия.— Все это только в мыслях пока, только в мыслях...

...Прежде всего Валерий предостерег от Слезнева партийные организации столицы, но *Молодая Россия* и без того распалась быстро: имена ее участников больше не всплывали в революционном движении петербургской молодежи. Надо оговориться: добровольно отстранившись от всех студенческих объединений, Грацианский сам распустил своих птенцов, всемерно пытался загладить вину, не напрашивался на общественные порученья, но своими связями с артистической средой помогал по устройству концертов в пользу столичной бедноты, причем всячески старался, чтоб о его деятельности стороной узнал Валерий; лишь ко времени второй революции, за большими делами, подзабылся этот грешок сашиной молодости.

Приблизительно через год стало известно, что Саша Грацианский читает лекцию о Пушкине в так называемом Народном доме графини Паниной, на Лиговке, где, кстати выступали и виднейшие деятели пролетарского движения; это был тоже легальный способ закинуть в народ семена политических раздумий. Мушкетеры отправились послушать выступление Грацианского в рабочей аудитории, но лектор по болезни не явился... Всем хорошо запомнился тот вечер, 1 сентября 1911 года, потому что к концу его стало известно о состоявшемся в Киеве покушении на Столыпина. Последующая смерть главного усмирителя

русской революции вызвала полицейские репрессии, коснувшиеся большинства помянутых лиц. Валерий получил вечную ссылку в отдаленные местности империи, с одновременным лишением гражданских прав; охранка сочла также нежелательным дальнейшее пребывание Вихрова в столице. Чередилов счастливо избегнул общей участи, выехав в Костромскую губернию по вызову к умиравшему отцу. Что касается Грацианского, то обыск у него не дал вещественных доказательств причастности к крамольникам, и, по слухам, он отделался двумя сутками несколько стесненного пребывания в известной петербургской тюрьме, в Крестах.

...Валерия угоняли в ссылку посреди зимы, когда Вихров снова попал в полосу нужды; очень кстати подоспевшая от неизвестного благодетеля, шестая по счету, получка была целиком передана товарищу при отправке его в край заполярной мерзлоты. Они разлучались в тот раз на шестнадцать лет. Провожающие заранее собрались у вокзальных ворот, в большинстве — передовые рабочие столицы. Стояла вьюжная ночь, всех немножко занесло снежком, когда подошла партия пересыльных... Сперва послышался глуховатый звон не то дорожных чайников, не то чего другого, потом при свете факелов заблестели обнаженные шашки конвоя. Каторжные шли попарно, но шагали враздробь, погруженные в свои думы. Вместе с политическими были там и бродяги, и сектанты, и двое настигнутых расправой потемкинцев со знаменитого броненосца, и степенные мужики, страдальцы за крестьянский мир вроде покойного Матвея, и еще какой-то безунывный старичок, оказавший милость и приют беглому сыну, и чья-то злосчастная жена, на верную гибель перегоняемая к мужу по этапу,— всего близ трехсот, медленные, как свинцом налитые и чем-то бесконечно похожие друг на друга: родня. «Вот они, типографские литеры,— подумал Вихров,— из которых составляется негласная летопись народной жизни».

Был поздний час, солдатикам тоже хотелось спать, но все крепились, словно сообща выполняли важнейшее, хоть и подневольное, государственное дело. Вдруг незнакомая старушка рядом с Вихровым заволновалась, забормотала что-то вроде «ласковый ты мой, касатик родимый, веселая душа...», зажимая рот краем шерстяного платка; шестеро

ее спутников, тоже неизвестные Вихрову, задвигались, загудели, рывком обнажили головы. Можно было подивиться, что у вечного студента и круглого сироты, если не считать проживавшей на Урале тетки, остается в Петербурге столь обширная родня... Валерий шел скованный об руку с долговязым, каким-то остекленевшим от стужи парнем, и такой кашель раздирал ему внутренности, что становился главным звуком той ночи. Вихрову удалось пристроиться к шествию, пока задний конвоир остановился подогнать отставших.

— Здесь деньги, все кланяются, береги себя,— скороговоркой, без выраженья и запятых, сказал Вихров, передавая другу трехкопеечный калачик.— Куда тебя теперь?

— Пока в распоряженье охранки на Мотовилиху, а там понадежнее куда-нибудь... Словом, в гости к себе не зову! — Он усмехнулся, неуклюже, левой, свободной, рукой запихивая калач справа за пазуху.— Кстати, теперь можешь звать меня просто Степаном: разгадали...

— Кто же раскрыл тебя?

— Не знаю... но вели Грацианскому остерегаться Слезнева! — Он поднял свободную руку и помахал стоявшим без шапок рабочим.— Что Большая Кострома?

— Поехал на родину отца хоронить. Теплое-то есть на тебе?

— Ничего, злость греет... да и весна скоро.

Пока не растолкал подоспевший конвоир, последние три шага из одиннадцати они прошли в молчании: оно лучше всяких слов наполняло ограниченное время свиданья. Расстались даже без рукопожатия, спутник Валерия справа вдруг стал клониться на снег; как подрубленное, само просилось в землю его израсходованное тело.

Вихрова взяли двумя часами позже, по возвращении домой.

6

Свою двухлетнюю высылку он проскитался с лесоустроительной партией по Крайнему Северу России. Геодезические знания и достаточный навык в оценке лесной нивы пригодились молодому помощнику таксатора в такой же степени, как и вся предварительная закалка на нищету.

Пристальные наблюдения за тамошним зеленым океаном окончательно определили направление Вихрова в лесной науке. Туляков неоднократно твердил на лекциях, что правильное лесное хозяйство — это дороги и еще семь раз дороги, без чего лес становится первобытной мглой, где все тянется к свету, борется, зреет и мрет с единственным назначеньем — стать когда-нибудь тонким пластиком антрацита; впрочем, под дорогами профессор разумел все необходимые инженерные средства, чтобы легко войти в сосновую дебрь, взять нужное и унести без затруднений... Но вот выяснялось теперь, что и эта дорога не приведет к процветанию данную отрасль народного хозяйства, если в корне не изменится пренебрежительное отношение к лесу со стороны любого владельца, как к безгласному и нелюбимому пасынку. Все говорило о том, что нет такого пункта в едином организме природы, длительное воздействие на который не сказалось бы в самых отдаленных ее областях. Вековые сплошные вырубки с последующим ветровалом нестойких дровяных пород вели к заболачиванью бескрайной, сглаженной ледником северной равнины. Едва исчезали древесные исполины, могучие растительные насосы, начинали скапливаться неиспаряемые грунтовые воды; набухшая почва затягивалась мхами, и у древесных семян уже не хватало силенок пробиться сквозь зыбкий ковер крохотных влаголюбов. Дальше требовались стихийные палы, ледниковые нашествия, чтоб взборонить запущенное, бесхозное пространство тундры. Она ширилась, сушила северные реки, нарушала водный баланс страны, родная сестра пустыни, наползавшей с юго-востока. Так постепенно избранная Вихровым лесная инженерия уступала место общей философии леса.

Через топи, порою лишь по охотничьим затёскам, сквозь комариную пургу, дымя жесточайшей махоркой вместо подкура, он исходил малый клочок нашей земли между нулевым и десятым меридианами. Он мерил углы, считал деловые бревна на десятину и так, за делом, полюбил неспешный и без лени уклад северной жизни, избавленной от всякого расслабляющего излишества, и тишайшее, ровно такой продолжительности лето, чтоб все живое успело улыбнуться солнцу. Побывал он и на славном острове Конь в устьи Онеги и убедился, что коровы там едят рыбу, а девушки ходят своенравными царевнами-

неулыбами, а жулья там вовсе нет. Оттуда поднимался на онежские верховья посмотреть воровскую работенку иностранных концессий — как на отбор вырубали они лучшую корабельную сосну на свете, кондовую беломорскую сосну, оставляя по себе захламленную, разграбленную кладовую русской древесины. Или, пересекши Полярный круг, в устьи Ковды, сидел на прогретом за день камушке с карелом Ананием, великим мастером любых древя́ных творений, от поморского, червленного киноварью туеса до ходких двухмачтовых шняк, благонадежных в любую океанскую погоду.

Плыл оранжевый вечер, и казалось, нет выше радости, как сидеть здесь, в Князьей губе, под шопот кроткой воды у ног, глядеть в закатное небо, похожее на древнюю морскую битву с обильем крови и пылающих парусов,— вдыхать солоноватый ветерок, разбавленный ароматом древесной прели и сохнущих сетей, слушать скрип запани и певучую ананьеву речь.

— Сказывался ты, будто древесных краев человек, а забыл, поди, отцовско-те ремесло? — приблизительно так, шутки ради, экзаменовал Ананий молодого лесника.— А скажи, какие бывают обруча́?

— Бывают дубовые, а бывают и кленовые.

— А с сучком?

— Не куплю...— отсмеивался Вихров.

— Вот тоже черемховые хороши,— лукавил Ананий.

— Черемховых-то не пропаришь, отец.

Радовался чему-то Ананий:

— Дельно, дельно, желанный. Ну, скажи мне теперь про завертки к саням.

— У нас на Енге́ их с конопелью вязали.

— И то, правда твоя: с куделью-то и мороза они не страшатся,— и всякий раз зачем-то прибавлял полюбившееся ему слово *панорама*.

Залетная гагара кричала в тишине, скрипели уключины карбаса за мысом, да стучала лесопилка купца Русинова на длинном островке впереди. И тут поведал собеседнику Ананий, что берега того островка, где морские суда становились на причал, образовались из опилок, реек и горбыля, скинутых в воду за ненадобностью.

— Чего дивуешься, весь и Архангельский-то город, корабельно-то пристанище, на древе стоит. И не счесть,

сколь спущено во сине морюшко добра и силов, земных и небесных.— Под небесной силой разумел Ананий солнышко, безмерно обожаемое за Полярным кругом.— Да считай, сколь его, нашего золотца, по лесу да по дорогам раскидано... небрежно живем, желанный. Обижаем родную матушку: надкусим да и бросим материнско-то угощеньице. Мы не жалуемся, наше житие богатое: треска и пикша, да сполох в небе, да морошка-ягода... панорама! А эвон жарких-то стран жители не имеют ни избицы, ни тубареточки. В букварике у внука писано: на голой земле да в кожаных шалашах сидят, чего уж хуже. И вот приходят молодые наши робятки в лес, валят богатырско дерево, отсекают зеленую главу, волокут его водой да чугункой... и всяк его лущит, пилит, да строжет по пути, сорит единственное наше богачество... и тает моя лесина, что льдинка на полой воде, и достигает до жаркой-то страны в размере не свыше веретенышка. А уж кака веретенышку цена? А кабы не гонять лесок по мытарствам, сладить бы у нас на месте ту избицу с тубареточкой,— глянь, лишняя бы рубаха молодухам нашим. Да кабы останки-то огнем не палить, в море не гноить, а к дельцу чинно приладить — и лишняя бы денежка нам набежала. И на те бы медные прибыля привезти нашим деточкам на Ковду яблочко, хоть зелененькое... посколь не хуже прочих они, да и солдатушки из них ладные получаются.— Он поднял на зачарованного собеседника детски ясный взор.— А хватит копеечек, тут бы и старикам хоть по горстке сушеного изюмцу. А то еще, верно ли сказывают, виноградье-плод на свете имеется. Ой, сладок, говорят... не едал ли?

Было в облике Анания что-то привлекательное и неизгладимое, роднившее его с Калиной. Со временем к этим двум голосам присоединились и другие голоса родной земли, подслушанные Вихровым в последующих скитаньях... Позже, на знаменитых вихровских лекциях, это они говорили устами профессора, что любовь к родине, чем и пишется национальная история, немыслима без бережного обхождения с дарами природы, предоставленными в распоряжение не одного, а тысячи счастливых и разумных поколений. И, пожалуй, скорее карелу с Ковды, чем самому Ивану Матвеичу, принадлежала крылатая концовка одной из них: «наклонись, не пожалей спины, советский человек, и подыми этот ближний миллион, что

давно уже под ногами у тебя валяется». К сожалению, этот немаловажный вопрос о повышении доходности в лесном промысле Севера Вихров неосторожно подкрепил ананьевой притчей о зеленом яблочке, расцененной Грацианским в одном частном разговоре как сентиментально-демагогическая и даже враждебная вылазка якобы против дружбы советских народов.

Разговор этот состоялся много лет спустя в деканском кабинете Лесохозяйственного института, за полчаса перед одним, весьма памятным обсуждением вихровской деятельности. В тот день многие видели их сидящими рядом в дружеской беседе, так как оба держались мнения, что научная борьба не должна отражаться на их личных отношениях, сложившихся еще в пору царских гонений.

— Плохо выглядишь, браток... смотри, не рухни,— подбодрил Грацианский свою жертву словцом товарищеского участия.— Все буйствуешь... и прямо скажу, не понравилось мне это ананьево яблочко: с червячком оно. Схлопочешь ты себе неприятности по первому разряду... А почему бы тебе не отдохнуть, не погулять под черным паром годок-другой, э... и даже третий? Мне при моих слабых легких гораздо виднее, каким бесценным благом является неповрежденное здоровье.

— Ну, при своих слабых легких, Александр Яковлевич, ты дожил почти до пятидесяти годов и еще не устал гадить на мой рабочий стол,— неожиданно грубо и желчно посмеялся Вихров, что объяснялось его естественным состоянием перед проработкой.

— Все шутишь, Иван, а зря. Сколько у тебя гемоглобину? Не знаешь, а в нашем возрасте пора знать. Береги себя хотя бы для нас, твоих поклонников и, э... сателлитов. Представь, о чем же я буду писать, если ты... ну, скажем, расхвораешься? — Прямой угрозой припахивал тот ножовый разговор.— А в конце-то концов, чорт с ним, с лесом... здоровье дороже полена, даже самшитового!

— Дай мне вторую жизнь, я употреблю ее на доказательство тех же истин.

Тень застарелого раздражения набежала на лицо Грацианского:

— Но мы-то знаем с тобой, милый, что истины не бывает. Можно говорить лишь о страстном движении человека к ней, составляющем предмет истории. В данном

случае лес надо рассматривать как повод, который помог тебе проявить свою личность, закалиться в лишениях, повидать страну... Кстати, говорят, ты недавно даже на Енисее побывал?.. когда это ты успел?

— Да, держу там под наблюдением рощу одну уже пятнадцать лет. В пору молодости я ведь постранствовал немало, пока не охромел.

— Вот и поделился бы впечатлениями! И вообще, давно мы с тобой не сидели за бутылкой, с глазу на глаз... с *тех* пор, пожалуй, как нас заодно с Валерием замела охранка. Кстати, как это ты сумел тогда из ссылки выбраться? — и подозрительным взглядом, поверх очков, уставился Вихрову в переносье.

На самом же деле Грацианскому было отлично известно, что из ссылки Вихров выбыл по амнистии тринадцатого года и свыше года затем пребывал в непонятных скитаниях по стране. Действительно, вместо возвращения к прерванной учебе или жаркой общественной деятельности, как поступил сам Грацианский незадолго до первой мировой войны, Иван Матвеич предпринял тогда полугодовое путешествие по губерниям Европейской России — даже с заездом в Сибирь. Кстати, по расчетам Грацианского, заработанных на севере средств Вихрову могло хватить недель на семь, и оттого его, как ребенка, мучило любопытство: продолжались ли и после ссылки даяния неизвестного покровителя?..

И правда, она выглядела несколько загадочной, эта бродяжная прихоть, казалось бы, изголодавшегося в ссылке и внешне рассудительного человека, чего ради отвергнувшего все соблазны столичного бытия? Полупешком и впроголодь пускаться в тысячеверстную прогулку, чтоб вникнуть в незамысловатые повести исподней русской жизни,— слезать на полустанках поглуше и брести невесть куда до встречного шляха, дорожной ветки, малосудоходной речушки... и снова тащиться с паломниками в дальнюю обитель, трястись зайцем на товарной платформе, плыть матросом на камском буксире, пока не пожелается исчезнуть для других, столь же сомнительных предприятий,— под руководством одноглазого столетнего старчища изучить сидку дегтя где-то на Припяти или послушать, как осипшими от царевой водки, гусиными голосами тянут песнь про своего героя астраханские амбалы:

Волга любит, чтоб на ней пели о Стеньке... И всю дорогу всматривался в ненаглядные морщинки материнского лица — с нежностью и оттенком той неизменной грусти, без которой не бывает ни большой любви, ни, пожалуй, душевного здоровья... И, сам мужик, дивился нераскрытому богатству ее пространства, выносливости ее мужчин, строгой осанке женщин и по прошлому старался угадать будущее своего племени, взращенного на черном хлебе и снятом молочке.

7

Сбывалась старая вихровская мечта — еще раз прикоснуться щекой к суховатой, вскормившей его груди. С сапогами за спиной, в просолоневшей подмышками рубахе шагал по проселкам и суходолам от света до свету, и, подобно отраженьям в зеркале, одни и те же картины представали ему. Как сквозь полуденные видения, проходил он через невеселые свадьбы или, напротив, оживленные поминки с гульбой наотмашь,— мимо ярманок с бешеными каруселями и русских пожаров, оставлявших по себе речку слез да горсть золы,— сквозь престольные праздники, драчливые сходы и прочие сборища, где горланит, пляшет, слезами заливается народная душа. Видел нешумную, пугливую детвору, утопленниц в ромашках и растоптанных конокрадов, пучеглазых урядников-стрекачей, мчавшихся под хмельком на мертвое тело, слепцов с гугнивыми преданьями святославовых времен, кандальников за мирское дело... похоже, вся тогдашняя Россия шла навстречу Вихрову в своей заплаканной красе. И опять на неделю поглощало его огромное, даже без кузнечиков, безмолвие полей. Серый пламень суховея шелушил ему лоб и клин тела в расстегнутом вороте рубахи; тут-то и прилечь бы под хвойными кущами сей знаменитой лесной державы, но, как ни менял направления, все не появлялось спасительного леска на мглистом горизонте.

Глаза уставали быстрее ног. Садился у прохладного болотца с чахлым лозняком, глядел в оконце смуглой воды, где однажды зародилась вся эта незадачливая жизнь и где, верно, и теперь чей-то отважный, незримый глазу праотец в полмикрона ростом переплывал страшный,

полуторааршинный океан. Или, задыхаясь от зноя, валился на некошеной пойме, то следя за ястребом в синеве, то разглядывая насекомую мелюзгу в травяных дебрях. Мураши с подтянутыми животами сновали по своим тропинкам, шумели на диких скабиозах шмели, земляные осы тащили поживу к норкам... и студент Иван Вихров спрашивал у них, куда же подевались в этой зловещей тишине истинные хозяева России?

Мерный скрип колес подымал его с лужка. Обоз подвод в пятнадцать двигался мимо; сбоку плелись подобия людей, иные с буренками в поводу, иные налегке, с кнутьями. Молодые и старые, они казались одного гнезда и возраста,— всякие бывают цветы, но бумажные все похожи друг на друга, как и люди в беде. То были переселенцы в сытные, приманчивые издали края. Как и положено призракам, шли не подымая пыли, без жалобы и не спеша, в избытке владея несчетным континентальным временем... Шествие начинала и замыкала такая же древняя, из тьмы веков бредущая телега. Вровень с коньком плелся рослый мужик с черными обводьями вкруг глаз и, в голову за ним, небом ему дарованная жена, чтоб было с кем родить сынов, сохой царапать землю, проклинать белый свет; полдень им был темнее ночи. В кузове поверх рухлядишки качался пожелтелый от жизни дед со спящим внучком на коленях... Отвесное солнышко палило прямо в горлышко малютке. И оттого ли, что призраки не примечают живых, никто не обертывался на стоявшего при обочине Вихрова, даже дети.

Его самого втягивало в поток, и вот шагал рядом, и тут выяснялось, что все они погорельцы, идут из-под Кадома на привольные алтайские пристанища, что в дороге уж закопали маманю, слава богу, отмучилась от своей жизни, что теперь уж недалеко, абы перевалить уральские хребты, а там, коли смилуется господь, рукой подать. «И как пройдете Крестовое село,— наизусть, заострившимися зрачками глядя вперед, читала женщина,— то встренется вам дивная долина вся в цветах, но вы туда не ехайте, а забирайте все влево, на Китай. Тут будут вам и некошеные луга, и нерубленые боры, и полноводные речки с превеликим множеством рыбы и утвы в затонах, а уж клевера-то...— отписывал в том же письме земляк,— осподи, не знаешь, отколь и починать, такие клевера!»

— Смотри, дедка, доедешь ли в такую даль?

— Вот, тащуся,— оживлялся тот, соскучась по человечьей речи,— я еще деловой! Ясно, уж хомутишка мне не связать, дровен тоже не обогну, куды. Зато вишь колодезник я... и сколь я их, ангел ты мой покровитель, этих самых колодезей в жизни моей ископал, произнести немысленно. У меня вишь на воду-то ключик есть. Веди меня под руки в самую что ни есть дикую пустыню, в ледяные края, и я тебе без протайки в снегу указание дам, где заступом вдарить... и выскочить не успеешь, зальешься. Помещик Зверопонтов — не слыхал ли? — на тройке за мной приезжал, веришь ли, в ночное время: «Добудь мне, дедушка Ефрем, той чистородной водицы!» А я знаю зверопонтовску-т усадьбу, камень-бурляк один... из него токмо в бане каменку складать...

— Небось сковородки с ночи расставляешь, по росе признаешь? — догадывался Вихров.

— Зачем, у меня позаветней средствие имеется.

— Уж помолчал бы... истинно как есть безунывное брехло,— всердцах осаживал его хозяин подводы.

— Все ругается... а мне хорошо, я глухой, не слышу,— подмигивал через минутку дед.— С того и серчает, изволите ли видеть, что ключика ему своего не раскрываю... а куды мне тогда одинокому без ключика-то? Ить не сын, не зять, а везет. Хы, да он и тонуть станет, со мной не расстанется. Вези-вези, не замахивайся, а то помру! — И грозился кривым землистым перстом.

Потом виденье расплывалось пыльным облачком, и Вихров оставался на дороге один со своими мыслями. Вскоре показывалась за косогором желанная, самые вершинки пока, зелень,— Вихров поспевал в последнюю минуту. Чудом уцелевшую, уже общипанную кругом, при овражке, березовую рощицу сводили на дрова, чтобы по первой пороше вывезти сухое звонкое полено. Лесорубы как раз полдничали и не то чтобы жевали нечто всухомятку, а обыкновенно сидели в отдохновении на бревнах, наслаждаясь мыслями о сытной пище и щемящей прохладкой вянущей листвы. Лишь один непоседа с припадающим дергающимся веком, подвязана тряпицей скула, продолжал работу, несмотря на зной, и было примечательно, с каким жарким вдохновением истреблял он свое последнее в том уезде лесное достояние. Среди взрослых

берез попадались вовсе молоденькие, гожие лишь на метлу; он валил их с удару, деловито, ровно шеи гусятам, пригибая стволики в золотистой шелухе. Надо думать, чем-то иным представлялась ему в запале эта безвинная молодь... Кстати, рубили высоко, то ли по лености, то ли в расчете на поросль, то ли с намерением воротиться в стужу за пеньком.

— Как покойницу-то звали? — для почину спрашивал Вихров, присаживаясь на поленницу.

— Чево-с? — недружелюбно откликался на полувзмахе тот, труженик, но, видно, имелось нечто в босом, заросшем, оборвавшемся студенте, подтверждавшее его право на столь дерзкие интонации.— А, ты про лесишку, то ись? Медунихой звалась, заветная.

Названье указывало на присутствие липы в прежние годы, но как ни вглядывался Вихров, ни одной не чернело в пестром от солнца перелеске. Тут и прочие подходили справиться об имени-званьи прохожего, и чем смешней сгоряча, графом или барином, назывался Вихров, тем скорей происходило сближенье. Беседа начиналась с шутки, дескать, покурим барского-то, а Вихров отдавал на расправу давно опустелый кисет, и тогда они сами безобидно делились с ним табачком.

— Мешала, видать, роща-то... теперь оно попросторней станет!

— Не-ет, при месте стояла, ничего не скажешь...— отвечали мужики,— да вот купцу приглянулася.

— Не жалко заветную-то?

— Старухи неделю цельную слезами обливалися. Девками сюда бегали на троицу, венки завивать... Чего ж, не саженая, чай, осподня!

— Кабы своя-то, либо своими руками саженная, тогда другой оборот,— подтверждал самый задний.— В России, окромя погосту, чего нашего-то? Столбовая дорога одна... и та с дозволения!

— Да ведь роща-то из крестьянского надела... значит, не совсем чужая,— настаивал Вихров.— Нет, не любите вы, братцы, лесу! Конечно, пошто его и любить, ежели он всегда под рукою...

Молчанье воцарялось среди мужиков, и все тогда поталкивали глазами неугомонного труженика с подвязанной щекой, чтоб ответил прохожему в полную силу. Тот

приступал негромко, но что-то клокотало в легких у него, и свист предшествовал слову.

— Ить как складно слово льет, щегол! — обрушивался он на Вихрова, обращаясь ко всему миру, дергаясь, как в припадке.— Подарит мужикам шуточку и не смеется. Он, видать, холостой, обходится... Думает, пряники едим, а мы, милый, мякинку! Вот у меня их семеро ртов, ровно семь пушек каждый вечер в меня глядят: заряжай! А хлебушко-то эва стреканул — не ухватишь. Я тебе на это такой пример произведу... Скажем так, дочка у меня имеется, ровно яблочко наливное, двенадцатый годок,— свистел Нефед.— Ну, чтоб остатнего семейства не губить, сынов моих единокровных, опору-то, и порешил я, скажем, с ею распроститься. Вот и обратаю я ее веревкой за горлышко да и выведу на ярманку, а доброй души купец и укупит мое яблочко за пудик крупчатки... Вот ты и скажи нам, ученый, чья башка тут повиннее?.. ужель моя? И думаешь, в расчете мы с им, с купцом-то? Не, а тут самый шабаш наступает, всей жизни моей шабаш. Тогда уж и мертвого меня бойся.

— Мало ль что в мире продается, тут сердце надо иметь,— словно лес под ветром, взгудели остальные.

Единственно от честности, чтоб не утаить от народа добытых знаний, Вихров пускался объяснять роль леса в едином хозяйстве страны и еще — про размываемое плодородие почв, мелеющие реки, наползающие пески... и все время мучительно сознавал, что совсем по-иному провел бы ту же беседу Валерий, но не умел иначе. Его слушали, учтиво прикрывая ладонью зевки, чтоб не обидеть столь благожелательного парня в опорках, готового поделиться с ними последним своим, кабы имел — чем.

— Но когда-нибудь все это станет *вашим*, и — даже гораздо скорее самых смелых предположений... как только народ с мыслями да с силой соберется,— с чувством безнадежно утопающего заканчивал лектор Вихров.— И придется тогда нам заново лес садить, заново!

— Чего ж его не посадить, кабы средствие было. Посадить — дело рук человеческих, а мужик завсегда при своих руках. А что реки мелеют, это точно. Там у нас на волоке дощаник с солью обмелел... веришь ли, на два года мужикам хватило, чисто бог послал.— И размашисто

брался за топор.— Ну, ребята, хватит, нам за дело пора... осподь даст, к вечерку управимся!..

Иван Вихров уходил с подавленным смущеньем чужака, чувствуя за спиной как их снисходительные усмешки, так и Валерия Крайнова с далекой Лены в том числе. Почти осязаемый, Валерий шел рядом, и здесь возникал непонятный постороннему разговор за двоих, по очереди:

«Что, полное фиаско, Иван?»

«Стыдней всего, что, сам мужик, я не нашел с ними общего языка. Да, Валерий, не любят леса на Руси. Действует до сегодня древлянская память о непосильном труде, затраченном на раскорчевку необозримых пашен. Но я бы голодом заморил наших генералов от просвещенья, не сумевших за двести лет привить народу чувство если не благодарности, то хотя бы справедливости к безгласному зеленому другу».

«Не бранись,— в шелесте сохлой ржицы смеялся Валерий.— Думаешь, спасение в кружках самообразования?»

«Дело в культуре... конечно, направленной на раскрепощение и счастье людей. Вот цель и дорога к ней».

«Культура, брат, не ящик со старыми, хоть и почтенными книгами, а движение, действие, способность мыслить *дальше*. Ищи базу, копай до твердого грунта, Иван. Иначе лес твой рухнет на тебя же».

«Я понимаю, Валерий, ты зовешь меня в дальний путь: он вернее... но что станет с моим лесом, пока мы все доберемся *туда* через большую Лену?»

Они расставались ненадолго, чтобы всю ночь затем в стогу сена и под скрип дергача проспорить о том же самом, но примечательно, что к концу путешествия Вихров все чаще соглашался с неумолимой логикой друга.

...Жара не унималась, последние соки полей струйками утекали вверх, и хоть бы ветерком дохнуло навстречу, но нет, не оставалось ветерочка во всей русской земле! Не успевала высохнуть щепочка в ладони, взятая на память о Медунихе, как ухо начинало различать прерывистый гул, схожий с похоронным отпеваньем. Вихров послушно двигался на звук, и перед ним открывалась преждевременно пожелтевшая нива на бугре, вздутом, как грудь в предсмертном вздохе. Кучка принаряженных людей, и среди них древние старухи на коленях, толпилась вкруг святыни, похожей на темную дверь крестьянского амбара,

только украшенную тусклой посеребренной латунью, шитыми рушниками и венчиками полевого вьюнка. Сердитые лики, ангелы с копьями глядели с хоругвей в бессовестные, дочерна бездонные небеса... В это самое время справлялось трехсотлетие династии, и цари ездили в гости друг к дружке, а здесь, во глубине страны, деревенский батюшка, тот же мужик в золоченой рогоже, усердно кропил никлые овсецы, забитые цветами недорода, и лиловатый, под ними, заплывший и в трещинах суглинок, с которого предстояло надоить *средствия* на царский оброк и благолепие храмов, на содержание воинства и процветание всемирно-прославленных искусств, на приукрашение сиятельной столицы и сверх того хоть немножко жита — перебиться до первой крапивки, снытки и щавеля.

И, видимо, сжалившись на отчаянье кормильцев, малость чернело на горизонте и выбегала тучка размером в детский кулачок, росла, попыхивая заправдашними молниями, роняла полминутный ливень и убегала с распоротым боком к другим таким же богомольцам. Сразу вечер наступал, и все расходились благостные, премного довольные достигнутым успехом.

— Вишь и намолили хоть до завтрева,— кротко замечала Вихрову старушка, жадно вдыхая запах свежесполоснутых сорняков.— А все говорят, бога нет...

— Маловато водицы-то, бабушка.

— Тучка-то одна, а нас много: всем поровну. А каб всем-то миром навалилися, тута бы и утопли мы с тобою!

И Вихров нередко вспоминал впоследствии, как недалеко было отсюда до осознанного могущества объединенных народных рук.

Студент Вихров срывал кудреватый кусток полынки из-под ног или пустой колос, измазанный дегтем у межи, и пытался угадать по ним, до чего ж докатится эта земля в ближайшие полвека, если теперь же каким-то всесветным набатом не пробудить тяжкий, полуденный сон России?

8

Лета едва хватило на беглый обход зеленого юго-востока,— с западом он знакомился уже в солдатской шинели год спустя. Ему вовсе не удалось, как он намечал, заглянуть в реликтовые, редеющие рощи тиса и самшита

по ту сторону Кавказского хребта и хоть потрогать исчезающие экземпляры грузинской дзельквы в долине Риона или земляничного дерева на Черноморском побережьи. Зато посетил последние островки южных лесов, начиная с бузулукского оазиса, на стыке оренбургских и заволжских степей, где из-за соседства пустыни редкая сосна преступала сорокалетний возраст. Забирался в глушь корабельной Шиповой рощи послушать вечерний разговор дубов, но и здесь, в сердце заповедного урочища, его преследовал хрип пилы: ветеранов и прямую родню петровского флота изводили на пивную и винную клепку... Равным образом любовался в осеннем закате медноствольным Хреновским бором на Битюге, выше чего нет наслажденья лесоводу, и почтительно поклонился великому человеческому подвигу в Каменной степи. Уже на обратном пути, по снежку, он прошел оголенные, разъятые на клочья тульские Засеки и понял, что судьба казенных лесов немногим слаще частновладельческих... Всюду тогда стоял немолчный треск сечи: помещик чувствовал приближенье Октября.

То был тринадцатый, полный томительных предчувствий год. Ширился ропот в народе, множились рабочие забастовки и опять, как бы на пробу, загорались леса, чтобы в полную силу полыхнуть в два следующих лета. Оттого ли, что народ копил ярость на решительный бросок вперед, ленивая пустота охватила просторы страны, но поэты обреченного класса провидели в них несметные полчища, готовые на штурм одряхлевшей старины. Им было страшно видеть потемневшее лицо России — в последнюю минуту, перед тем как, перелившись из сердца в сжатые кулаки, станет революцией народное горе. Та же застойная тишина установилась и в остальной Европе; Вихров писал Валерию на Лену, что следует ждать самовозгорания тишины.

Предвоенную зиму Вихров прожил в Петербурге, у себя в Лесном, на природе, и все чудилось: к сумеркам в голоса весны вплеталась протяжная нечеловеческая песня,— немногие умели разобрать ее слова, звавшие в поход к уже обозначившейся цели. Порой ветер стихал на неделю... и вдруг задул с такой возрастающей силой, что без надежных корней в почве не устоять стало на русской равнине. Потом однажды в летний день на проходившего

по улице Вихрова наскочил незнакомый, довольно плотный господин в котелке, с каким-то дымящимся ртом под противными слюнявыми усами и взасос стал целовать его главным образом в бровь по случаю объявления первой мировой войны. Вихрова призвали в армию через месяц после начала; впрочем, войны тогда были опасны лишь в радиусе трехдюймовой пушки. После бессонных занятий и беготни по урокам Иван Матвеич за одно лето даже поправился на военных харчах, но к осени угодил под Сольдау в составе второй самсоновской армии, разбитой не врагом, а изменой. Это была одна из тех военных катастроф, когда неминуемо утрачивают что-нибудь на выбор — жизнь или честь... или же стяжают то и другое ценой хотя бы временной утраты разума. Только этим и объяснялось, что за три месяца безумных скитаний по чащам он не запомнил ни возраста, ни бонитета холеных Августовских лесов. Летняя белостокская ночь 1915 года, когда на город совершилось нападение двух дирижаблей с леденящим названием *цеппелин,* окончательно доказала Вихрову невозможность существования людей в прежних условиях. Женщины бежали прятать плачущих малюток, посылая проклятия по адресу летучей немецкой колбасы, откуда по ним стреляли из револьверов и кидали всякие убийственные предметы, в том числе бесчеловечные новинки войны, металлические стрелки, при попадании в темя застревавшие в самой середке зазевавшейся жертвы... Сопровожденная грохотом огненная вспышка прервала вихровские размышления о непрочности капиталистической цивилизации; он очнулся на госпитальной койке с жестокой болью в колене, вкруг которой радиально размещался остальной мир.

Через три месяца Вихров выписался, уже неспособный бежать в цепи или совершать разные телодвиженья, положенные рядовому 108-го саратовского, 27-й дивизии, пехотного полка; зато увечье позволило ему успешно завершить дипломную работу, так что еще через год он прибыл лесничим на место постоянной работы в родной губернии, верстах в пятнадцати от Красновершья...

— Вот,— вслух сказал он себе, пытаясь осмыслить первый, завершенный цикл своей жизни.— Чрезвычайно интересно. Таким образом.

Утром ближайшего воскресенья он отправился домой,

в Красновершье, на побывку. Горы будто посгладились, дороги стали короче и прямей. Просека Заполосков вывела молодого лесничего в угад на подковку приземистых строеньиц с просветами запустенья, как от выпавших зубов: «Здравствуй, детство». Богатейшая крапива произрастала вкруг заколоченной вихровской избицы и лезла наружу сквозь прогнившие половицы крыльца. Наглядевшись, Иван Матвеич постучал в соседнюю, и девочка подросток вынесла ему бадейку воды, где плавал ковшик местной работы; пил, пока не полилось за ворот... Выяснилось между делом, что Таиска живет в работницах у Золотухина в Шихановом Яму, куда тот выселился после очередного красновершенского пожарища. По словам рассказчицы, старик совсем *присох* после того, как побили в сражениях его сыновей, всех, кроме Демидки, пропавшего на войне без вести. Тут на разговор щеночек из сенец вышел, черняденький такой. Напрасно дразнил его прутиком Иван Матвеич, чтоб тявкнул разок: осудительно оглядываясь на приезжего весельчака, тот пошел прочь.

Коня донимали овода, и вообще стало не под силу откладывать свиданье, ради которого затеял всю поездку.

— Ай живал у нас? — спросила на прощанье девочка, жмурясь от солнца.— Что-то я тебя не упомню, дяденька!

— Мала еще,— наставительно посмеялся Иван Матвеич.— Здесь раньше-то лес обложно́й стоял, белки по крышам прыгали!..— А сам подумал, что когда-нибудь и Облог станет темой отличного народного сказанья.

— Плетешь, поди? Сколько годов живу, ничего там, окроме поля, не было.

— Ну, значит, и меня не было...— непонятно согласился Вихров и, похрамывая, повел своего коня в направлении к лесу.

...Природа успела прибрать пенышки, причесала травку к приходу дорогого гостя. Пришлось поковылять по кочкам, чтобы установить приблизительное место калиновой сторожки. Вырубка и родничок заросли лещиной, все кругом стало получужое, исключая Пустоше́й, таинственно синевших впереди. Тут как раз проходил шихановский тракт, откуда они с Демидкой, лет двадцать назад, приступали к розыскам клада. Уже Иван Матвеич поддался было искушению вслух покликать Калину: сто страниц

поэтических переживаний предшествовали его намеренью. Что-то помешало его наивной попытке дважды войти в одну и ту же реку,— может быть, треск стада, шедшего напролом сквозь заросли.

...Дорога на Шиханов Ям пролегала через сапегинскую часть Пустошей. Те же рыжие хвойные великаны высились по сторонам, порой — на пределе древесного возраста. Иные по-стариковски поддерживали друг друга, иные клонились к земле, образуя арки из сцепившихся при сломе стволов, но большинство исправно несло атлантову службу, могуче подпирая небеса; любое становилось маленьким у их подножья. То и дело попадались на глаза нежные коврики кислицы, созревающей брусники, местами — кущи папоротника-орляка, где детский глаз, бывало, со страхом и восхищеньем угадывал безвредные лесные существа. Теперь для лесничего все это кругом стало лишь приметой почвы и промышленного качества расселившихся на ней растительных организмов... Итак, это был спелый, запущенный, с обилием сухостоя, бор-брусничник, в некотором роде — музейная диковина в разгаре русского лесоистребления. Состояние имущества указывало на скупого и нерадивого владельца,— даже решил заехать к нему в усадьбу при оказии, полюбоваться на это образцовое чудовище... Здесь накатила, догнала, с коня свалила полуденная дрема, и целых два часа плескалось над новым лесничим как бы прохладное зеленое озеро, пока не пробудил вечерний холодок.

Ознакомление с округой завершилось посещением Шиханова Яма. Темной славой овеянное село стояло в полукольце казенных Пустошей, на бережку Горынки — хоть и не особо рыбной речки, зато с роскошным видом на покосные раздолья. Все эти богатейские, сплошь двухэтажные, под железо крытые хоромы объяснялись близостью тракта, по которому лет двести сряду мчались почтовые тройки, торговая кладь, шальные дворянские деньги. Золотухинское заведение помещалось теперь на краю: две кривые черемушки, повитые куделью червеца, стояли, как загубленные души, у крытой лесенки на галдарейку в хозяйские покои. Куры у коновязи подбирали просыпанный овес, да еще при деревянной ноге солдат, сидя на завалине, навивал на пастуший бич язычок из конского волоса, такой злой да жальный, точно вкладывал в него все

свое невидимое миру клокотанье. Иван Матвеич поднялся в совсем пустой трактир, но не пошел на чистую половину, а присел у входа за ближний, застеленный клеенкой столик. Ему дали горсть баранок, два каленых яйца, мутного чаишка стакан,— как было сказано, *с войной*, вместо сахару, вприкуску. Задуманное свиданьице с сестрой не состоялось: ее с подводой услали за керосином в Лошкарев.

Стояло лето шестнадцатого года, было близ семи. Как всегда в годины бедствий, установилась пасмурная тишина — не смеялись дети, не вякали псы. За конторкой у раскрытого окна сидел костяного вида старик, сам Золотухин. Смяв бороду в кулаке, он глядел на бесконечную ленту тракта, то нырявшую в складках местности, то снова, втрое поуже, убегавшую на запад. Была она жутко безлюдна сейчас, и хоть бы облачко пыли либо бубенец на всем ее протяженьи. Все это, залитое закатной, как бы пряничной глазурью, ждало чего-то: поля — дождичка, трактирщик — утраченных сыновей, Вихров — любой освободительной новизны. Однако новый век наступал с запозданием в целых семнадцать лет. Именно в тот канунный, перед бурей, год случились некоторые значительные для Ивана Матвеича происшествия.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Внезапность германского вторжения летом 1941 года хоть и не решала исхода войны, тем не менее помогла первонападающему глубоко вклиниться в советские просторы. Было что-то самоубийственное в решимости, с какой он ринулся в эту пучину с вершин всеевропейского могущества. Как и наполеоновская, ранним июньским утром ворвавшаяся в пределы России, германская армия двинулась к своей гибели испытанной столбовой дорогой через Смоленск. Легкие военные успехи на западе заглушили в тогдашних немцах их врожденную любознательность к окружающему миру, в том числе к восточному

соседу, к его истории, национальному характеру, к существу политических перемен, происшедших в образе его жизни.

Потери германского фашизма росли по мере расширения фронта и приближения к своему концу. В условиях жаркого вражеского нажима перед Верховным советским командованием стояла задача соразмерить время отступления с подготовкой отпора неприятелю. Июльский разговор вождя с советским народом вызвал к жизни партизанскую ярость, и вот отныне объятые пламенем русские деревни доставались завоевателю по цене, какою на западе он покупал иные крепости. Так началась священная всенародная война, в которой советский народ, кроме своей земли, отстаивал ценности, принадлежавшие самым отдаленным поколениям.

Острие бешенства враг устремил к русской столице. Она мнилась ему завершающей ступенькой ко всемирному владычеству, как будто даже овладение ею могло повлиять на ход большой истории. Москва нужна была ему любая, пусть мертвая, в руинах: чем кровавей трофей, тем величественней он выглядит в глазах дикаря. И хотя эскадрильи вражеских бомбардировщиков редкую ночь не летели на затемненный город, Москва вопреки всему оставалась невредимой... правда, чуть посерела под пеплом войны, как пылится всякое жилье, откуда надолго отлучается его хозяин. В остальном столица жила с прежней полнотою ощущений, только спектакли нередко прерывались антрактами воздушной тревоги, а участники и болельщики шахматных турниров сбирались с противогазами на боку. По мере приближения к осени недавняя беспорядочность движений всюду сменялась точной и слаженной отработкой. На помощь обширной индустрии протянулись миллионы подсобных рук; железнодорожные депо готовили сверхплановые бронепоезда, заводы минеральных вод мастерили грозные минометы, солдатские жены штамповали коробки противотанковых мин.

Так свыкалась Москва с военным бытом, а ночные дежурства прочно вошли в распорядок рабочего дня. Чуть сумрак, Поля без понуждений поднималась с Варей на крышу, причем обе обучились без рукавиц скидывать термитные зажигалки, прежде чем успевал раскалиться стабилизатор. С восьмиэтажной высоты девушкам виднее

были подмосковные дороги в багреце надвинувшейся войны. Наверно, где-то там с посошком и с котомкой двигался на восток Павел Арефьич, а на возу с больничным скарбом, замыкая хвост беженской колонны, тащилась и полина мать. Но проходили дни, и ни варин отец, ни Елена Ивановна не появлялись в Благовещенском тупике обнять дочек... Однако не страхи за близких или тем более за личную безопасность владели Варей и Полей в ночные часы перед налетом, а чувство несоответствия их ничтожных усилий и громадности горя, грозившего родной стране. Ежедневно в газетах встречались описания солдатских подвигов, сопровожденные портретами героев; в большинстве это были молодые люди, ровесники подружек и тоже воспитанники комсомола. Всякий раз по прочтении сводки девушки молчали, не подымая глаз. И утреннее чаепитие, хоть и без сахара, представлялось им теперь гражданским преступлением, настолько противоестественным для человеческой природы, что даже не упоминалось в перечне военных запретов... Внештатная и добровольная работа в фабричных яслях поблизости также не облегчала их угнетенного состояния.

Оно началось еще до бомбежек, когда Москва стала заметно пустеть, разгружаясь сразу с двух концов. С одной заставы прямо в бой, как и сто тридцать лет назад, отправлялись отряды народного ополчения и молодежь — на строительство оборонительных сооружений, а с вокзалов другой стороны, в зауральскую глушь,— эшелоны заводского оборудования и московской детворы во избавление ее от случайностей полуосажденной столицы. Теперь малышей увозили в переполненных автобусах, и город долгим прищуренным взглядом провожал их, затихших, как воробьи в дождик... причем все знали, что это наиболее поправимая из разлук, потому что тонны солдатских треугольничков еще не перешли из почтальонских сумок в руки адресатов,— что скоро станет еще больней. В самом понимании объема грядущих огорчений и трудов уже заключалось нечто, позволявшее вести счет дням, остающимся до победы.

Лишь внизу, под окнами дома 8-а, попрежнему звучали детские голоса, отчего рождалась надежда, что положение на фронте обернулось к лучшему, и теперь постановление Государственного Комитета Обороны об эвакуации детей

не успеет дойти до Благовещенского тупика. Но однажды в начале августа и после беспокойной ночи Варя проснулась как бы от толчка резко наступившей перемены. В рубашке, как была, она выглянула наружу, но не нашла там ничего угрожающего для жизни. Ее разбудило отсутствие привычного детского щебета, на весь день наполнявшего Варю праздничным ощущением бодрости и уверенности, множественности чего-то и достатка.

И едва осталась наедине с мыслями и пустым небом, Варе почему-то припомнился единственный лесок на Енгé, точнее — ей одной известный, затянутый плауном лесной уголок, потому что лошкаревская молодежь предпочитала для прогулок соседний обрывистый мыс с нависшими над рекой соснами. И когда подруги разбредались с ребятами пошептаться или нежно погулять, сплетя похолодавшие руки, и Бобрынин тоже уводил свою девушку, всякий раз новую, но никогда Варю! она незаметно исчезала на скрытую в сосняке полянку и, расплеснув руки, бросалась навзничь, и лежала так, одна, большая и нескладная, как лодка бакенщика Ильи с раскинутыми веслами, глядя в небо над собой, пока оно не начинало слегка покачивать ее на своей материнской волне... Ей живо представилось, что теперь на том же самом месте лежит другой, еще теплый, еще легко можно было опознать его, даже с открытыми глазами, но уже такой мертвый, что вот муравьишко ползет по лицу и взбирается на отускнелую роговицу зрачка, а тому безразлично. Варя пошатнулась и уронила что-то звонкое с подоконника при этом,— Поля увидела ее скомканную на полу, с лицом в коленях.

— Да что с тобой, Варька?

— Не трогай меня... сейчас пройдет. Взглянула вниз — и закружилась голова.

Напрасно старалась Поля оторвать варины руки от лица.

— Выпей глоток. Уж я решила спросонья, что опять летят... Сколько сейчас?

— У меня остановились. Убери воду. Рано еще, и воскресенье сегодня... спи.

Не сводя глаз с подруги, Поля подошла к балкону, но ничего там уже не было: ни леска на Енгé, ни убитого Бобрынина, а лишь громадный небесный простор, легкий, синий, бессовестный. И такова была прозрачность

воздуха, отстоявшегося за ночь и по-осеннему пахнувшего укропцем, что даже сюда, на восьмой, доносился цокот копыт комендантского патруля. Перелом лета сказывался во всем, но, пожалуй, сильнее всего в пыльной, износившейся листве тополей... Вдруг Поля поняла все — детская площадка внизу была пуста, и сейчас крикливый *каравай,* в отличие от Вари, будивший ее по утрам, показался ей самым вдохновенным симфоническим творением жизни.

— А ведь знаешь, это очень плохо,— сообразила Поля, снимая с веревки выстиранное накануне платье.

— Что плохо... что?

— На фронте. Представляю, что творится на железных дорогах: все дети, дети... и железо им навстречу. И, значит, это надолго, иначе *их* не стали бы увозить.

Тем временем Варя успела справиться со своим испугом:

— Конечно, это не на полгода... но, нет, и не навсегда.

Одевались, уже не торопясь никуда; они так сжились за эти полтора месяца, что нередко одни и те же мысли одновременно приходили им в голову. Так обе с одинаковой горечью подумали, что отныне из-за выезда яслей они могли бы спать хоть до обеда... Когда сквозь стенку к ним просочился детский смешок, девушки разом бросились туда, захватив последнюю конфетку: расплатиться за радость.

Они ошиблись, Наталья Сергеевна готовила прощальный завтрак внучке, почти снаряженной в дорогу. Никогда девочка не выглядела такой оживленной. Незадолго перед тем они посетили зоопарк, и больше всего Зоеньке понравился лев, огрызавшийся на муху. Вся квартира знала про этот старый бабушкин должок, задержанный из-за количества порванных чулок у москвичек. Сидя с зеркальцем в кроватке, девочка наводила солнечный лучик на бабушкин рот, звонко радуясь удачам... и действительно было что-то очень похожее в том, как бабушка пыталась сцапать дрянного зайчишку, и тот вывертывался, неунывайка, и снова резвился по ее лицу.

— Ты поедешь по веселой реке на красивом пароходе,— говорила при этом Наталья Сергеевна, выбирая последние кетовые икринки из опустевшей масленки.— Каждую ночь ты будешь ночевать на новом месте, пока не доберетесь до белого домика на высокой зеленой горе.

У тебя будут тысячи подруг, и вас обучат самым хорошим песенкам на свете...— Здесь девочка задала встречный вопросик, неразборчивый, потому что сидела спинкой к двери, и бабушка отвечала с удивительным для такой минуты спокойствием, что нет, только больные пароходы ночуют в гараже, а здоровые, как и люди на войне, работают на открытом воздухе день и ночь.— Да войдите же, наконец... у вас что-нибудь срочное, девушки? — раздраженно сказала она на повторный шорох за приотворенной дверью.

Никогда подруги не заставали у Натальи Сергеевны такого беспорядка: зимние вещи валялись на полу, а не политая с вечера геранька повяла на подоконнике, верно от предчувствия разлуки с маленькой хозяйкой. Варя удачно пояснила свой приход желанием проститься перед отъездом на земляные работы. Соседка смягчилась, предложила сесть,— Поля примостилась на поручень кресла рядом с Варей. По старой памяти, она пощурилась на себя в овальное зеркало с трещиной наискосок, откуда ей снова ответили тем же две одинаковые, похудевшие, но уже вполне московские девчонки, и Поле было приятно, что с нее постерся, наконец, смешной лак провинциальной новизны.

— Вы едете вместе с Зоенькой? — спросила Варя у соседки.

— Нет, я остаюсь в Москве.

— Я потому справляюсь, что... вам-то уж незачем подвергать себя московским опасностям, которых так легко избегнуть.

— Ну, я столько повидала в прошлом, товарищ Чернецова, что впереди остались сущие пустяки,— улыбнулась Наталья Сергеевна.— Не может быть, чтобы в таком большом деле, как война, даже для старухи не нашлось бы подходящей нагрузки... не отнимайте ж у меня это! Кроме того, из близких у меня никого нет на фронте, а это нехорошо.— И сразу предложила присмотреть за комнатой подруг на время их отсутствия, тем более что приняла подобные же поручения от доброго десятка жильцов, ушедших на фронт; некоторые даже доверили ей деньги на оплату коммунальных расходов, под личную расписку, разумеется, как сразу, с внезапным оттенком сухости оговорилась она.— Словом, на семейном совете *мы* с

внучкой приняли окончательное решение разъехаться... на некоторое время.

— Но Зоенька будет скучать без бабушки,— сказала Поля, любуясь на просвет нежными, как сияние, кудряшками на затылке у ребенка.

— О, вряд ли... там ей будет лучше, без меня.— По мнению Натальи Сергеевны, чрезмерная привязанность стариков со временем неминуемо становится обузой для их любимцев. Кроме того, за последние полгода зрение ее настолько подпортилось, что пришлось бы отказываться от заказов, если бы количество их не сократилось само по себе: своевременная разлука избавит девочку от нежелательного зрелища человеческого разрушенья, а впоследствии и от других, горьких и утомительных обязанностей.— Насколько я вижу пока, вы опять не согласны со мной, милый товарищ Чернецова?

Обычно так начинались их частые отвлеченные споры. Варе многое и нравилось в этой жестковатой, немногословной женщине иного века и чужой среды, но почему-то всякая мысль ее немедленно будила в ней дух противоречия.

— Но это уж совсем неправильно,— тотчас зацепилась Варя.— У вас получается, что вроде как родители и не должны рассчитывать под старость на хлеб от своих детей... так? Но ведь в жизни ничто не дается даром, и к некоторым обязанностям их надо приучать с детства.— Она даже привела в пример потомков, которые получат в свое распоряжение чистый, стерильный от зла мир не просто так, по юридическому порядку наследования, а лишь под строгим обязательством сберечь и умножить исполинский труд отцов.— Неправильно, а пожалуй, и вредно для них же... Не отрекайтесь же, Наталья Сергеевна, от своих священных прав, для охраны которых специально создаются суровые законы!

Кивая и улыбаясь на пылкую девушку, молодую и справедливую, но бездетную, Наталья Сергеевна укладывала приданое внучки в тесный холстинковый рюкзак с вышитой на клапане собачкой, причем явно задерживала в пальцах эти крохотные пушистые вещицы, словно хотела запомнить их через прикосновение. Она отвечала Варе, что самые высокие из законов — это записанные в сердце, подразумевающиеся, и, чем больше таких у об-

щества, тем выше его моральный уровень. Именно поэтому товарищ Чернецова, как будущая учительница, и должна не только привить, а сделать бессознательной потребностью своих воспитанников основные гражданские добродетели... такие, как любовь к отечеству, уважение к старикам, хозяйскую бережность к социалистическому достоянию.

— Конечно, Варя, все зависит от личного вкуса... но вряд ли мне когда-нибудь потребуется защита советского суда. Все равно я не смогла бы проглотить кусок, добытый от продажи с торгов имущества моей Зоеньки! — закончила она и озабоченно взглянула на будильник.

Такого поворота Варя предвидеть не могла.

— Вам пора отправляться? — и приподнялась, с уважением глядя на старуху.

— Нет, сидите. В нашем распоряжении еще целых семь минут. Мы с Зоенькой успеем проститься на пристани.— И, не дожидаясь, пока Варя соберется с силами для дальнейших возражений, обратилась к ее подруге:— Вы уже повидались с отцом... хотя бы для проверки ваших суждений о нем?

— Я была, но не застала дома,— краснея, призналась та.

— Непременно застаньте.— Кажется, присутствие Зоеньки толкало ее на искренность.— Вопреки всему, что мне известно о нем, ваш отец представляется мне достойным человеком и добросовестным ученым.

— Вы читали его сочиненья? — стремительно вырвалось у Поли.

— Нет, но... как я уже сказала прошлый раз, мне доволось неоднократно встречаться с этим... ну, его противником. Кроме того, я слышала... правда, случайно и отрывками, ваш разговор с ним в бомбоубежище. К сожалению, у меня нет времени рассказать подробней, но критик вашего отца принадлежит к той породе увлекающихся судей, которые видят действительность не такою, как она есть, а скорее, как она отражается в их подозрительной и... не всегда благожелательной натуре. Такие не способны к объективным оценкам и к старости жестоко расплачиваются за свои ошибки и увлечения. Впрочем, у вас на зависть прямая дорога впереди, Поля... вам не придется в потемках нашаривать цель существования и,

следовательно, оступаться и падать, как... ну, иным из нас.— Она говорила все это, поглядывая на дверь, и, видимо, в стремлении затемнить свой таинственный намек советовала Поле не торопиться с выводами о своем отце, потому что они могут повести к необдуманным поступкам и поубавить ее веру в людей.

— Это вы все верно говорите. Смотря как упасть, а то ведь на всю жизнь ушибешься,— робко согласилась Поля и вторично обратила внимание на то, как старалась Наталья Сергеевна одновременно и обелить перед собою и наказать этого человека за что-то давнее и непрощенное, а Варя вдобавок связала это с тем, как Наталья Сергеевна все поглядывала на дверь при этом, словно ждала кого-то, кто не шел и все ниже падал в ее глазах.

— Вот и все. Теперь собирайся, Зоенька, нам пора,— сказала соседка и стала прилаживать ей на спинку вещевую сумку с привязанной сбоку эмалированной кружкой.

Девушки отправились проводить последнюю партию московской детворы, но все кончилось рано, и тот знойный бездельный августовский денек навсегда врезался в полину память. Они обошли главнейшие из столичных площадей, навестили Пушкина и все старались найти такую точку, чтоб он посмотрел на них; погоревали о Большом театре, обезображенном маскировкой, причем в обсуждении летящих коней на фронтоне принял участие безусый артиллерист с зенитной батареи на прилежащем сквере; улыбнулись кремлевским звездам и с прощальным волнением прослушали полностью отыгрыш башенных курантов. После прощанья стало как-то неловко оставаться в городе, но был всего лишь полдень; поезд на Брянск отходил близ полуночи. Мимо с лязгом кузовов проносились армейские грузовики, а из-за облаков поминутно лихорадил вой самолетов, набирающих высоту; все неслось куда-то по громадным государственным заданиям, все — кроме этих двух, обреченных на безделье. Варя вслух выразила предположение, что при коммунизме не будет выше кары за наиболее низкие поступки, чем отлучение от труда.

Спустясь к реке, они двинулись по пустынной набережной в расчете как-нибудь растратить свое постылое богатство. Тогда-то Поля и придумала зайти в кино на-

последок: хотелось хотя бы через очередной выпуск хроники соприкоснуться с войной и, может быть, увидеть одного лошкаревского паренька, давно не славшего ей своих треугольничков. И действительно, едва с экрана сошли саперы, чинившие мост на фронтовой переправе, а тульский оружейник, повесив замок на дверях, отправился на передовую с двумя взрослыми дочерьми, немногочисленным зрителям было показано фронтовое выступление артистов. Тут-то среди солдат, на опушке сильно побитого лесишка, Поля с жутковатым холодком отыскала Родиона; он слушал певца с опущенной головой, поглаживая винтовку на коленях. Хотя он сидел спиною к Поле, но даже во тьме, наощупь, среди тысячи подобных она опознала бы его по косичке запущенных волос, сбегавших в юношескую ложбинку затылка.

Это полуминутное киновидение, похожее на дождик в сумерках, надолго наполнило Полю свежей радостью. Оно неотступно сопровождало ее, когда, ликуя, поднималась с Варей за вещами по затемненной лестнице и когда из теплушки глядела на покидаемую Москву с аэростатами заграждения в гаснущем небе... да и позже, когда, выбившись из сил от борьбы с вихлявой, плохо прилаженной лопатой, присаживалась на край траншеи перевести дыхание, даже когда, замертво падая от усталости, черпала солдатскую кашу, сваренную в настоящей походной кухне. О, Родион был живой, живой... и верилось по-ребячьи, что как только дослушает фронтовой концерт, тотчас и вернется к ней, на уединенную лошкаревскую голубятню.

Вот если бы где-нибудь, хоть во сне, вот так же посмотреть на маму!

2

Первое время, пока неумело толклись на месте, едва поспевая от зари до зари выкинуть из траншеи положенные два кубометра грунта, они еще разнились чем-то друг от друга, но потом, когда платьишки обтрепались, а поверх загара впиталась глиняная пыль, такая густая, что и гребнем не разодрать волос, все эти московские девушки, на многие километры раскиданные под сжигающим небом, стали походить на сестер — с тем дополнительным священным сходством, что достигается через

одинаковый и беззаветный труд войны. У каждой из них имелись свои неповторимые печали, но они без следа растворялись в упорном, побеждающем множестве и поровну распределялись на всех, чтобы потом вытечь вместе с пóтом, начисто выгореть на солнцепеке. Через неделю, как только Поля втянулась в тягости, выпавшие на долю ее поколения, старая болезнь воротилась к ней с новой силой.

Из-за приближения фронта работа велась круглые сутки, на сменку. И ночью не стихал ожесточенный скрежет лопат, смешанный со скрипом повозок и мычанием угоняемых в тыл гуртов; шоссе проходило в полукилометре от фронта работ. Подруги уходили спать на откос в дальнем конце уже готового противотанкового эскарпа; накаленная за день глина жгла сквозь разостланную плащ-палатку. Прямо перед ними, волшебно и чуточку не дотянувший до *лебединого озера,* мерцал в луне прудишко, обсаженный осокорями и с гадким илистым дном; из-за отсутствия леска в окрестности в него-то и бухались девушки с разлету от одного воздушного стервеца, что повадился к вечерку в два-три захода на бреющем полете пугать работающих женщин. Не иначе как завсегдатай кегельбана откуда-нибудь из-под Цвиккау, он был настолько постоянен в своей неодолимой страстишке, что все очень скоро признали его желтобрюхую неопрятную машину по круглому масляному пятну позади белого, в диске, креста и по особо закатистому, с переходом в хохоток, звуку его пулемета. Ночью он не прилетал, не видно попаданий ночью,— и оттого нельзя похвастаться в письмах к старенькой маме эпизодами своей безопасной и увлекательной охоты.

В ту ночь подруги лежали, не ощущая тела от усталости и слушая крадущиеся звуки совсем близкой войны с пропадающим среди них плачем младенца из колхозного табора, ночевавшего под насыпью у шоссе.

— Чего ты не спишь? Спи... Завтра с утра переходим на новый участок.

— Душно... боже, как хорошо сейчас на Енгé! Если бы ты знала, как мне хочется нырнуть в реку с обрыва и какая же я грязная, Варя...

— Зато ты у меня стала ужасно самостоятельная... хоть и забавная, вся в полоску.— Она имела в виду цвет-

ные струйки с полина беретика, пролиновавшие ей шею и плечи после утреннего дождя.— Ну, о чем ты думаешь сейчас?

Поля сказала, что, по ее мнению, московская соседка неспроста отпускала внучку в эвакуацию без себя: в сущности, Наталье Сергеевне оставалось в жизни только умирать, и бесчеловечно совершать *это* на глазах у любимого существа. Несомненно, она что-то предчувствовала в прошлый раз и, конечно, после разлуки с Зоенькой перестала спускаться в подвал по ночам, и... может быть, именно в эту минуту большая черная капля, сверкнув стабилизатором в луне, проходит перекрытия дома 8-а в Благовещенском тупике.

— Я все продумала, Варя: умирать надо в одиночку. Звери это знают лучше нас. В этом смысле они деликатнее людей.

Приподнявшись на локте, Варя встревоженно взглянула на подругу, лежавшую на спине с закинутыми за голову руками. Она накричала бы на нее, если бы не эта серебристая дорожка, сбегавшая из глаза по полиной щеке...

— Знаешь, обожаемое существо, мне опять не нравятся ни направление твоих мыслей, ни тон, каким ты их высказываешь,— строго сказала Варя.— Напротив, я совершенно уверена, что через сутки старуха уже укатила вслед за внучкой. Ты не представляешь, на что способны бабушки из этой среды... Кроме того, у тебя остались в Москве тысячи более близких, чем Наталья Сергеевна... кровь стынет в жилах от раздумья, что может случиться с ними. Почему именно она одна вспомнилась тебе?

Впрочем, ей удалось полегоньку распутать полин клубочек. Судя по всему поведению Натальи Сергеевны в утро расставанья, она знала о Грацианском гораздо больше, чем высказала тогда в предотвращение какого-то темного грозящего Поле зла. И как ни стыдно было из личных соображений пускаться в такие доводы, но в случае гибели Натальи Сергеевны Поля утрачивала последнюю возможность разгадать этого человека и свалить с себя груз отцовской тайны.

— Слушай, я решительно предлагаю тебе бросить раскопки этой мертвечины,— брезгливо приказала Варя.— Поверь, в случае хоть капли какого-нибудь правдоподо-

бия, этой историей давно заинтересовался бы следователь по особо важным делам. А я-то надеялась, глупая, что окончательно вылечила тебя... моей поездкой в Лесохозяйственный институт. Да кто же это сломал тебя так, Поленька? Неповинная в чужом прошлом, ты можешь бесстрашно глядеть любому человеку в лицо в этой стране.

— Любому? — прищурилась Поля.— Ха, ты говоришь... любому?

— Да...— чуть дрогнула Варя, смутясь насмешливого блеска в ее зрачке, и опустила глаза.— Я считаю Родиона достаточно разумным пареньком... и в конце концов он не получает от твоего папаши миллионного приданого, нажитого каким-либо предосудительным способом.

— А мне этого и не надо! — с недоброй страстностью сказала Поля.— Я говорю: мне и не надо заглядывать кому-то в лицо, чтоб меня простили за нечто, чего я даже не знаю. И не беспокойся: как-нибудь выздоровею и сама, без следователя. Имей в виду... на этот раз речь идет не об отце. Я много думала и прихожу к заключению, что когда затяжная война, то убивают не только на фронте...

— Не понимаю. И вообще последнее время ты часто болтаешь как в лихорадке, на непонятном языке. Переведи же мне все это на человеческий...— взмолилась Варя.

Но Поля и сама не располагала пока ничем, кроме догадок; подобно детям, она переставляла во всех сочетаниях азбучные кубики известных ей второстепенных обстоятельств в расчете добиться, наконец, доступного ее пониманью слова. Оно уже получалось порой, но для проверки его нужно было торопиться в Благовещенский тупичок, прежде чем рухнет туда из самолетного люка не только изготовленная, как ей казалось тогда, но уже и на воздух поднятая фугаска.

Разговор оборвался из-за донесшейся к ним воркотни дальнобоек.

— Слышишь?..— упавшим голосом спросила Варя.

— Боюсь, что скоро потребуются наши окопы. Да, мы слишком много времени тратим на всякую болтовню. Завтра же подниму вопрос о повышении нормы хотя бы до двух с половиной кубометров.

. . Разговор о полиных раздумьях подруги возобновили недели через две после возвращения домой...

То ли от неловкости, что ее застали в комнате у девушек, то ли раскаиваясь в допущенной при расставании откровенности, Наталья Сергеевна встретила Полю с суховатостью, исключавшей всякую возможность посторонних вопросов. Вручив ключ и квитанцию на оплату жилплощади, она извинилась, что без разрешения жиличек прибрала их комнату: дни стояли пыльные, а рамы не закрывались круглые сутки, чтоб не продавило стекол взрывной волной. «Да, пожалуйста, пожалуйста... какие пустяки!» — в голос, виновато и невпопад сказали подруги, потому что обе ошиблись в своих предположениях относительно соседки. Наталья Сергеевна не убежала вслед за внучкой и была невредима, как вся остальная Москва.

В отмену девичьих опасений, выяснилось при беглом осмотре, столица стояла нерушимо. Кремлевские часы попрежнему вели хронометраж истории, Пушкин обдумывал стихи о героизме потомков, бронзовые кони на театре рвались куда-то... прямо на выставку сбитых в Подмосковьи вражеских самолетов, на площади внизу. Благодаря любезности опять подвернувшегося лейтенанта девушки смогли заглянуть в кабину, на обгорелое сиденье, потрогать рычажки и кнопки, с помощью которых осуществляется убийство. Поля зашла и с другой стороны, но нет — знакомого масляного пятна на фюзеляже не оказалось. Значит, *тот* еще летал, еще не отказался от мысли прострелить Полю Вихрову во славу своего фюрера. И вдруг, словно вполне вещественно в душу ей вложили это знание, Поля поняла, что скоро, хотя и не завтра, она встретится со своим убийцей один на один, если не считать смерти, которая будет терпеливо ждать на табуретке поодаль.

Стоило закрыть глаза, и Поля в подробностях представляла себе эту встречу со старым миром, жуткую и тем пленительную, что это и будет ее экзамен на человеческое звание. Поле не дано было знать, какая сила перекинет ее из благополучной Москвы на край прифронтового села, всего лишь накануне занятого немецкой частью... верно, тот же вихрь, что гонит из края в край эшелоны железа и людей, что холодит лицо при развертывании газетного листа и временами как бы приотрывает от земли, втолкнет ее в обыкновенную крестьянскую

избу, где еще сохранились лоскутные, такие нарядные от солнца дорожки на полу, а на окнах — привычные для русской деревни растеньица в побитых крынках, скажем *ночная красавица* и *ванька мокрый,* с поникшими от жары листочками; жалостный образ увядшей гераньки в день отъезда соседкиной внучки не покидал ее. Конечно, Полю втолкнут с размаху, так что упадет плашмя, и, пока комочком будет валяться в ногах у главного палача, она с молниеносной решимостью, как это бывает в подобных случаях, уточнит план бегства. Надо будет бесконечно глупым голоском попросить разрешения полить эти бедные зеленые создания, и, конечно, фашисты и их приятельница на табуретке поддадутся на ее уловку в расчете, что тогда-то советская девчонка и раскроет им сокровеннейшие замыслы Красной Армии, ее полководцев и лично товарища Сталина. С позволенья палачей она приблизится к окну, а тогда ей останется только вышибить телом стекло и промчаться пятьдесят шагов до обрыва, откуда она и бросится в свою Енгу́, крылато — как Ермак и Чапаев... А если не успеет, то в кратком, предварительном разговоре уж она выскажет хлыщеватому господину со свастикой на рукаве все, что думают о нем и ему подобных девчата Советской страны!

В общем это было наивное мечтание о мужестве, в разных вариантах знакомое многим молодым людям, так же как полет во сне, признак настающей зрелости. В связи с этим невольно вспоминался один драгоценный вечер на Енге́. Как-то вскоре после выпускных экзаменов Поля сидела с Родионом на знаменитом мысу Влюбленных, над речным простором, причем, вся в мать, озябла немножко, и Родиону пришлось накинуть на нее край старого почтальонского плаща, сохранившегося от отца в фамильной укладке. Было так чудесно кругом, что Поля даже позволила Родиону ужасно горячей рукой придерживать на ее плече дальний краешек крылатки, чтоб не сорвало ветром, если бы случился невзначай. Это нисколько не мешало им обсуждать некоторые наболевшие мировые проблемы и среди них свойственное юности влечение испытать себя на чем-нибудь страшном и большом, как это делали Максим Горький и другие выдающиеся деятели человеческого прогресса. Помнится, молодые люди уже договорились без недоразумений, что мы-

слящий человек может узнать свою цену лишь через количество труда или глубину самоотверженности, на какие он способен. Однако, едва коснулись душевного порыва, с каким герой, подобно птице, кидается в подвиг с высоты, Родион высказал глупейшее предположение, что это доступно не каждому, а только поработавшему над собой, потому что якобы для броска с той *огневетреной,* как он выразился, высоты — надо еще добраться до нее. Такой оговоркой он явно ограничивал массовость столь желательного явления, как подвиг, и Поля в обиде за сверстников даже спихнула с плеча родионову руку и обозвала его наиболее жалкой фигурой нашего времени... неужели затем лишь, чтобы теперь заочно согласиться с ним?

В самом деле, война уже не раз искушала Полю всякими блистательными возможностями благородных поступков, какие редко подвертываются в мирные дни, но всегда что-то тормозило ее — не то чтобы отсутствие убежденности или сомнение в готовности своей к подвигу, то есть недостаток презрения к боли, а нечто совсем другое. Так, ей казалось, между прочим, что смерть есть величайшая трибуна, и не к лицу советскому человеку уходить из жизни без последнего обличительного выступления в адрес тех, кто умерщвляет все живое, чего ни коснется хотя бы дыханием. Нет, она еще не знала, какие именно неповторимые, видно несозревшие пока слова кинет она в лицо своему убийце.

— Ты чем-то опять расстроена, сестренка?.. опять?

— Да... но теперь это совсем другое...— и прятала глаза и руки от Вари, чтобы та не разгадала, какая у ней ничтожная и неумелая душа.

3

Близился прием в вузы, но вместо того, чтобы заняться срисовываньем гипсов или повторить к экзамену курс десятого класса, Поля целые дни тратила на прогулки по набережным, стараясь подобрать слова для того предположительного расчета со старым миром — не прозапас, а просто из самолюбия: не итти же в райком комсомола, чтоб ей отстукали там на машинке приличную предсмертную

речь. Дар слова немедля покидал Полю после первой же школьной фразы о значении пролетарской революции для всемирного счастья трудящихся... и потом она в отчаянии озиралась в лабиринте придаточных предложений, словно гвоздями, утыканных знаками препинания. Что-то мешало ей подняться в помянутую Родионом, трудную даже для выговора *огневетровысь,* означавшую в переводе на полин язык человеческую чистоту. Выбившись из сил, она взглянула на ноги себе — ее держал свинец все той же неразгаданной отцовской тайны.

На ученических собраниях, бывало, Поле в особенности удавались выступления о пользе критики в деле общественного воспитания. Впервые она задумалась о возможных мотивах и способах применения этого средства и сразу запуталась среди детских вопросов: так почему все же печатались ужасные вихровские книги, вносившие смуту в умы юного поколения, по утверждению Грацианского; почему сведущие в лесных делах современники не помогли ему окончательно добить противника или, напротив, немедленно умолкали, едва посмев выступить на защиту Вихрова; почему, наконец, сам Вихров, если хоть чуточку дорожил своей советской честью, не ударил разка два-три-четыре по морде своего клеветника за его оскорбительные, высокомерные намеки... пускай бы даже в обход обязательных милицейских постановлений!.. Поля догадывалась, что в основе этого неразрешимого узла лежит нечто темное, обычно скрываемое от маленьких. В поисках правды и, следовательно, своей чистоты Поле оставалось обойти живых свидетелей прошлого, всех — кроме Грацианского, о повторном свидании с которым помышляла теперь почти с содроганьем... Однако Наталья Сергеевна всякий раз торопилась куда-то, а при встречах была такая неприступно-ласковая, словно провидела всю тысячу скопившихся у Поли бестактных недоумений. Тогда-то в развитие возникшей надежды Поля и решилась еще раз сходить к Таиске и в задушевной, наедине, беседе выпытать хоть крупицу запретного знания... даже если бы оно повредило маминой репутации. Ввиду отсутствия телефона на квартире у отца, она принялась звонить к нему на службу в институт, пока ценой тоскливых уловок не выяснила, что профессор выбыл из Москвы в какой-то уральский заповедник.

...Нет, притворяться так не смогла бы никакая русская женщина. Таиска не всхлипнула, увидав племянницу на пороге, не кинулась целовать, чего всю дорогу опасалась Поля, а только расцвела, задрожала вся и повлекла с собой куда-то, лишь бы не выпустить ее из рук на вторую вечность.

— Вот, мы с тобой на кухоньку, там попроще,— бормотала Таиска, заражая Полю своим волненьем.— Сережа нонче обещался с запозданием вернуться, а тревога взревет — так и вовсе в депо ночевать останется... никто и не помешает нам. У меня чисто на кухоньке, вдоволь наглядимся друг на дружку.

Она втиснула гостью в угол между фанерным шкафиком и столом с проношенной до ткани, но нигде не порезанной клеенкой, и принялась было колоть тоненькое поленце на лучину, чтоб развести огонь в подтопке, а Поле почему-то ужасно как понравилось, что вот, лесной профессор, а сидит без дров! — но потом занозила ладонь, сбилась и, решась на расточительство, поставила чайник на электрическую плитку.

— Опять обомрет отец-то, как узнает, кто тут без него побывал... Уж ты извини его за отъезд, Поленька, должность его такая, лесниковская.

— Ничего, еще успеется...— отмахнулась Поля, лишь бы избегнуть бесполезных и утомительных объяснений.— Да зачем же для меня электричество-то жечь?

— Я его неполный налила, чайник-то, всего на три стаканчика. Да и то сказать, не полуношники мы. О прошлый-то месяц на семь целковых не дожгли... Медку покушай, башкирского... ученик Ивану моему кадушечку прислал.— И вот уж невозможно стало отказываться от теткина угощения.— Ну, про тебя я не спрашиваю, раз здоровехонька сидишь. Что Леночка-то пишет?

— Я только одно письмо от нее и застала по возвращении, старое... Почти наизусть его выучила. Пишет, простудилась немножко, но потом выздоровела.

— Побранить бы ее, чтоб не сидела на сквозняках... нечего форсить в наши-то годы! — Таиска постаралась представить, что сейчас творится на Енге́, занятой немцами, померкла и, своеобычно оправив платок на голове, искоса взглянула на Полю: — Далеко ездила-то, махонька?.. за продуктами али просто так, в путешествие?

— Нет, мы окопы ездили рыть. Нас там много было, московских девчонок, несколько тысяч!

— То-то, гляжу, обгорелая ты, ровно пеночка с топленого молочка стала. Это очень неплохо, в святом деле хоть малую частичку на себя принять,— кивала Таиска, сокрушаясь на мозоли в полиных ладонях.— Спасибо тебе за труд твой, защитница ты наша.

— Какие мои труды! — вспыхнула Поля.— Вот я сижу с вами, и мед передо мной... а знаете, как сейчас нашей сестре достается... Иная, может, раненого из боя тащит, а другая, того хуже, вся растерзанная на допросе перед фашистом стоит... И чужие кругом, и в окошко не выпрыгнешь!

Ей и стыдно было за незаслуженную похвалу и немножко приятно, что кого-то, кроме мамы, могут радовать ее первые шаги в жизни. Захотелось поделиться с Таиской впечатленьями — и как пахнет на глубине гнилая, синяя глина, и как один изменник заставил их рыть эскарп валом в обратную сторону, так что немецкие танки легко брали бы ров с разгону, и как потом при общем гадливом молчании уводили его, закрывшего лицо руками, а Полю назначили участковым бригадиром на прорыв,— не для смеху, а чтоб росла на практической работе, так что впоследствии она сама подсчитывала кубометры и подавала команду *воздух* при налетах все того же воздушного негодяя. Однако ничто не заслуживало внимания по сравнению с историей старого Парамоныча.

Он пришел однажды посмотреть на работу московских девчат и представился им бессменным, от начала колхозной жизни, начальником свинофермы, видневшейся как раз по ту сторону прудишка, за потоптанной рожью; ходил еще без палки, славянской породы образец, гвардейского роста и с такой чисто-выставочной бородой, какою нынче только в опере и полюбуешься. С тех пор он довольно часто навещал — отвести душу с молодыми, да и тем работалось спорей от его ласкательного присловья: «А ну, подналягте, любезные и усердные мои внучки, подмогите солдатикам... то-то расцалуют, как из сражения возвратятся».— «Самокритику забыл... ты б уж лучше побранил нас, дед»,— хором отвечали девушки. «А нельзя,— степенно возражал тот, разводя выпрямленной ладонью.— Хорошего-то коня кнутом только спортишь: он

тебя бояться зачнет. Русского понимать надоть, его похваливать надоть под руку, он тогда вдвое себя обнаруживает...» Впрочем, как ни бодрился, а заметно тосковал по своему разоренному хозяйству, от коего на его попечении оставался только боров, особой грамотою отмеченный на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке и якобы по соображениям хрупкости уже непригодный к перевозкам с места на место. Когда фашистский летчик удачным попаданием лишил борова жизни, Парамоныч предоставил его целиком на довольствие москвичек... К слову, налетчик имел обыкновение внезапно выскакивать из-за пригорка, причем всегда шел вдоль траншей и так низко, что, верилось, при желании можно было достать его лопатой.

Разумеется, небезопасно бывало прятаться от него и в пруду, так что Полю однажды залило с головой от взрывного шквала, пронесшегося по воде, но почему-то все живое, заранее оповещенное воем мотора, стремилось туда, за исключением одного Парамоныча; то ли боялся намочить свою знаменитую бороду, то ли негоже ему было, с его-то медалями и георгиями на рубахе, склоняться перед немецким щенком. «Молодой, видать, козелок... ишь попрыгивает, ишь озорует, а не надоть бы... ох, не надоть бы. У самого небось сестренки на выданьи... то-то хлебнут бедухи за братние-то непригожие дела»,— приговаривал Парамоныч и грозился перстом вслед желтобрюхому, пока не стегануло однажды старика свинцовым дождичком от виска до паха.

Таиска выслушала рассказ с печальной и светлой улыбкой.

— Ведь наши, они — гордые перед врагом-то. До́сытя, поди, наревелися на дедушку? — спросила она спокойно и степенно, а Поле показалось, распрямилась и даже похорошела при этом.

— Всего было! Тут мы его и предали земле... и я рыла,— закончила Поля, а Таиска взяла ее за руку, и Поля не отняла.— Вот, больше-то ничего там и не было, пожалуй!

Они помолчали одну положенную над свежей могилой минутку, и, странно, Поля вдруг с небывалой остротой почувствовала свое кровное родство с этой женщиной, только не через Вихрова пока, а именно через простре-

ленного Парамоныча. Теперь совсем легко стало перейти и к главной цели посещенья; незначащим тоном она осведомилась у Таиски, не попадался ли ей в жизни человек с фамилией Грацианский.

— Кто ж его, склизкого, не знает? — помедлив и не без какой-то опаски ответила та.— Заклятый дружок иванов... он с мамашею вместе живет, за вокзалами вторая остановка. Ртутная такая старушоночка, запасливая!

— Значит, вы бывали у них, тетя Таиса?

— Да, случилось разок...— усмехнулась Таиска с тем холодком отчужденья, с каким старики поминают про особо замысловатых греховодников.— Послал меня както Иван книгу ему в подарок отнести, так она меня дале прихожей и не пустила. Только ведь глазастая наша-то, вихровская, порода: заглянула я скрозь стеклянную-то дверь, батюшки, а они там при раскрытых окнах рис на полу проветривают... смешно, ровно на гумне!

— А зачем же они его... ну, проветривают-то? — не поверила Поля.

— Мало ль зачем... не досмотришь, плесень заведется али жуковина какая лущить почнет. Вот и пропал весь чехауз! Про черный день хранят, ежели что... пока частная торговлишка не наладится.

— Как интересно...— прошептала Поля, и опять чудно ей стало, что вот укоряет своего товарища в смертных грехах, а сам украдкой с мамашей рис проветривает.— Это каких же они черных-то дней боятся?.. если с советской властью случится что?

— Да ведь разные дни-то бывают... иные с солнышком, а то и с чернинкой,— уклонилась Таиска и, в свою очередь, спросила, зачем ей, Поленьке, понадобился этот человек.

Непостижимое оцепененье охватило Полю, как бы руки отнялись и в горле пересохло. Таискин намек приводил ее к недавнему и самому грозному варьянту ее подозрений. Но прежде всего нужно было удостовериться, что не женщина, не мать ее, была причиной давней распри Вихрова с Грацианским, и Поля решилась на прямой вопрос, хотя даже невысказанный помысел об этом казался ей кощунственным.

— Скажите, тетя Таиса... мама встречалась когданибудь с этим человеком?

— Еще бы не встренуться. После революции, в двадцать ли первом или втором, не упомню, недели две он у Ивана в Пашутине прогостил... и Леночка была там же. Это уж потом, как в Москву перебрались, кошка черная промеж их проскочила. И скажи, пять годов потом этот Сашенька носу к нам не казал да вдруг и заявился: вроде как дружка старинного проведать. И всегда этак-то, без упрежденья: изморось с усов посмахнет, обымется с им по-братски, вобьет Ивану клинышек в больное-то место и айда по другим своим делишкам!.. В тот раз, как Леночка-то нас покинула, а Иваша-то у меня, впервой в жизни, замертво пьяный лежал, слышу — стучат вроде. Глянула, а на пороге Сашенька: ведь экой нос у человека, издаля мертвое тело учуял! Очень он тогда рвался на Ивана-то полюбоваться, да не пустила я его...

Судя по неуловимым очертаниям событий, причудливо проступавших из неизвестности, самый жестокий повод для распри как будто отпадал: конечно, не притащился бы в тот раз, злодей, если бы хоть в малой степени был причиной распада вихровской семьи... Очень уместно, едва закипел чайничек, во всем районе выключили свет; наступившие потемки еще более сблизили молодую и старую, облегчив им взаимную откровенность.

— Минуточку, по порядку давай...— очень волнуясь, прервала Поля.— А тебе не приходилось слышать, чтобы отец... или кто другой попрекал маму ее дворянством?

Та лишь руками всплеснула:

— А чего в ей дворянского-то? Старьевщиков-татар на Руси, что с мешками по дворам ходили да *шурум-бурум* кричали, тоже *князьями* кликали... Только и есть, что в барской усадьбе выросла. Дураку-то не объяснишь, что иные в куски побиралися, да вольней жили. Ведь я ее полумертвую на руки приняла, Леночку-то... Прямо сказать, из петли ее Иван вынул!

4

За давностью лет Таиска многое путала в той плачевной повести, но слышала из верных уст, что трехлетнюю Леночку на рождестве однажды привели и, позвонив, покинули на лестничной площадке у городской сапегинской

квартиры. Все было учтено в этом акте родительского отчаяния — от праздничного настроения обеспеченной полунемецкой семьи до бумажной, неплохо задуманной золоченой коронки на головке ребенка; пожалуй, лишь это и подтверждало его непростонародное происхождение. Имя и возраст значились в сопроводительном письмеце, черной ниткой пристебанном девочке на спинку. Само счастье стучалось в сапегинскую дверь... да и нельзя было смотреть без умиления на крохотную фею, настоящую рождественскую Christ Kind,— как вразвалочку, падая и не ушибаясь, скользила она по паркету вкруг зажженной елки, как радовалась жизни, как безответно выносила ласки и любознательность со стороны хозяйских мальчиков... Незадолго перед тем вдова Сапегина лишилась престарелой компаньонки и чтицы; это решило судьбу подкидыша. Леночку увезли на Енгу́, где ей предстояло последовательно пройти весь круг приживальческой жизни, стать игрушкой богатых, девчонкой для побегушек, забавкой холостых барчуков, сиделкой при паралично благодетельнице, главной плакальщицей и затем цепной грымзой в прихожей — стеречь шубы пирующих на поминках наследников.

Леночка заняла в усадьбе четвертое место после старухи, веерной пальмы, выращенной из косточки покойным Ильей Аполлоновичем, и еще — синей кусачей собачки, вечно дрожавшей, как душа подлеца. Ниже размещалась сравнительно немногочисленная челядь, местные просители и всяких земных благ окрестные поставщики, из коих следует мельком помянуть захудалого лесного мужичонку Калину Глухова за его дикие, исключительной целебности меды. При господском столе девочка быстро усвоила благородные манеры и беглую немецкую речь, а в летние каникулы с ней делился своими умеренными познаниями один сверхсрочный студент, всюду сопровождавший несчастливую в браке молодую хозяйку на правах репетитора ее детей. В дареных платьях Леночка выглядела настоящей барышней, умела при случае занять важного гостя и не портила прелестных окружающих пейзажей. Казалось, крестьянки, приносившие на продажу свои изделия и товары, просто не замечали ее, но девочка рано начала чувствовать на себе их изучающие недобрые взоры, смягченные покорностью бедных. Вместе с тем Ле-

ночке так и не далось подобострастие ее предшественницы, с каким та осведомлялась по утрам у дряхлеющей барыни: «Как вы спали, матушка, где вас блошки кусали?» — и уж вовсе не научилась вникать сквозь щелку, о чем шепчутся челядь и внуки насчет бабушкиной кончины, или же выслушивать ночные назидания старухи, когда ей не спалось... К слову, обычно они строились в виде злоключений некоей отвлеченной уличной девицы, наказанной за неблагодарность к благодетельнице и за доверчивость к первопопавшемуся офицеришке. Лишь доведя до хныканья пятнадцатилетнюю девчонку, старуха прощала ей воображаемую вину с обещанием захватить с собой, когда, наконец, бог отпустит ее на родину в Померанию; именно там она и познакомилась с покойным Сапегиным, кончавшим тамошний университет. Прожив полвека на русских хлебах, она постоянно жаловалась на повреждение здоровья, происшедшее от несовершенств этой страны.

Тем временем упадок усадьбы достиг предела; заждавшиеся внуки прижизненно тянули руки за наследством, а покупателя на оставшуюся часть Облога не предвиделось. Зимами жизнь теплилась в уцелевшем крыле дома, где не так дуло из подполья и меньше промерзали углы. Для сокращенья расходов старуха постепенно суживала круг челяди, должность конюшего объединила с кучером, дворецкого с конторщиком; надо было как-нибудь перебиться до первого погожего утра по окончании русско-германской войны. Но вместо ожидаемого замиренья угрожающие слухи докатились до Енги́, и, хотя ничего пока не случилось с пошатнувшимся царским режимом, население родовых дворянских гнезд стало ощущать тоскливую шаткость бытия, знакомую гарнизонам дальних осажденных крепостей. Уж на собственном сапегинском дворе откровенно поговаривали о том, как порасправятся с барами вернувшиеся из окопов солдатики, и то, чего наслышалась в ту пору Леночка о своем народе от старухи, еще долго заставля́ло ее бледнеть при мысли когда-нибудь оказаться с ним лицом к лицу. Зависимое положенье, всегда на грани между милостью и опалой, когда Леночку на недели ссылали в людскую, к челяди, рано научило ее сравнивать нарядную праздность своего существования с суровым укладом окружающей жизни.

И раньше сгорала от стыда, когда у церковной паперти, к примеру, высаживала из коляски грузную, отовсюду видную опекуншу свою, *бычиху* в просторечии мужиков; теперь же и вовсе под любыми предлогами Леночка избегала показываться с Сапегиной за воротами, чтоб не раздражать терпеливого, все запоминающего судью, такого зрячего, несмотря на потупленные в землю очи. Не отрываясь, день и ночь он глядел сквозь стены усадьбы, видел и запоминал, и ничто — ни леночкино сиротство, ни ее собачонкой покусанные в детстве ножки, ни горький хлеб невольницы, ни оскорбительные приставанья барчуков,— ничто не могло оправдать перед ним ее принадлежности к осужденному феодальному строю. Точно так же, как другие девушки того же возраста живут розовой мечтой, Леночка жила своими ночными страхами... и напрасно, пусть из благих побуждений, старался Вихров потушить в ней эти полусознательные пока проблески ответственности перед народом.

По словам Таиски, знакомство полиных родителей состоялось вскоре после прибытия нового лесничего на место службы. Еще в лазарете после раненья он задумал обширную работу, направленную против помещичьей расправы с лесами, и в его положеньи было бы неразумно не полистать находившихся буквально под рукой документов по известной ему тяжбе с красновершенскими мужиками за Облог; в начале лета он и отправился в усадьбу порыться в сапегинском архиве, разумеется, с разрешения владелицы. Когда выезжал из дому, ни его сомнительное красноречие, ни давность того позорного для русского дворянства дела не внушали ему надежды на успех, но во второй половине дня обильный июльский ливень просверкал над алыми, задымившимися после зноя клеверами; верилось, что наступившая в природе благожелательность непременно должна распространиться и на помещиков. И тут, на въезде в вековой сапегинский парк, едва вывернул из-за пруда на лиственничную аллею, вихровские дрожки сразу поравнялись с девушкой, поразившей его даже не красотой, а, напротив, какой-то кроткой домашней обыкновенностью. Судя по непокрытой голове и короткому, городского покроя платью, она была здешняя, но не из барышень, потому что босая и с цветной ярмарочной гребенкой в смоченных волосах. Она шла в

ту же сторону, к белевшему за деревьями дому, занятно отгребая воздух согнутой в локте рукой, как бы торопясь уйти от шелеста настигающих колес. Возможно, девушка испытывала неловкость перед незнакомым чиновником за мокрое платье, прилипшее к телу на спине и груди.

Началось с того, что Вихров побранил дождик, замочивший их обоих в дороге; она заступилась с горячностью, точно тот доводился ей дружком: «У каждого своя работа». На вопрос, не гостит ли она у Сапегиных, девушка отвечала, что с начала войны и в связи с упадком хозяйства даже наследники перестали навещать это гиблое место. «Одна я вот уж семнадцать лет гощу, совсем загостилась»,— не сдержалась она, а Вихров вторично отметил деревенские обороты в ее речи. Было немножко и ему неловко, что он едет, а она пешком идет, но не решался покинуть дрожки, чтоб не обнаружить своей хромоты. Единственно для поддержания разговора лесничий признался в целях своего посещенья. Та посмеялась его простодушию: не было в мире сил, способных прервать послеобеденный сон старухи; кроме того, всю прошлую зиму Феклуша таскала к себе в кухню на растопку какие-то шурстящие бумаги с бывшей половины Ильи Аполлоновича.

— А я уж думала, вы у нас лес торговать приехали. А то заждались мы покупателей!

— Куда, у меня своего много,— махнул рукой Вихров.

Так и случилось, в тот раз его не приняли, но дня через два он снова подкатил к площадке у самой террасы, где когда-то Демидка продал пленную белку: значит, уже имелись у Вихрова дополнительные причины облачиться по такой жаре в парадный виц-мундир с отложным бархатным воротником. Вся в оборках и подушках, Сапегина полулежала у себя в кресле, уставясь в портрет супруга, висевший в простенке между жирандолями под серой от пыли кисеей. Ее отечное стеариновое лицо принимало все более плачущее выраженье по мере того, как Вихров излагал свои лесные намеренья, по его мнению — небезразличные для любого порядочного, проживающего в России человека, и, наконец, испуганно покосила глазком на гостя, когда тот ввернул для убедительности, что его труд займет не менее тысячи страниц. Возможно, ей представилось, что сейчас этот мужиковатый чиновник с

бородкой и в сапогах вытащит из-за пазухи кипу исписанной бумаги и станет вышибать из нее дух посредством чтения чепухи, как нередко поступал с нею покойный Илья Аполлонович. Да и в самом деле было что-то неприличное в том, как с бесстыдством молодости Вихров отнимает у старухи считанные минуты, оставшиеся до отъезда в Померанию... Но вдруг хозяйка оживилась, и слезливый огонечек засветился под ее парализованным веком.

— Приятно... образованный... нашего круга,— разбитым голосом заскрипела она, теряя слова в одышке.— Видишь сам, какая... в ловушке... подсобил бы... такой молодой, обаятельный.

— Я, со своей стороны... в меру сил...— заражаясь ее манерой отрывистой речи, заспешил лесничий и в знак готовности отложил недокуренную папироску на плюшевую скатерть, позади кузовка с клубникой, выложенного кленовыми листьями.

— Домой ехать пора... кости... с чем ехать-то, а? Закладные в банк... нечем... обобрали всю... психопат начал, внучики закончили... обаятельные... уж ты бы мне... а там хоть вчистую вывози!

Дело приобретало неожиданный оборот, а Вихров в практической жизни отличался редкостным простодушием. Видимо, речь шла о деньгах, он стал соображать срок ближайшей получки.

— Собственно я с радостию, если согласитесь подождать... в данную минуту, будучи вынужден... устраиваясь на новосельи, сам не при деньгах.

— Э, какие твои деньги...— простонала помещица на его плебейскую непонятливость.— У меня на Облоге тыщ восемь еще... Поди, у тебя все лесные жулики знакомые... прислал бы какого подлеца похлеще: все одно обормоты раскрадут. И тебе самому...— Голова ее обессиленно откинулась, и только пальцы бегали по колену, досказывая, что, дескать, и маклеру достанется на табак.

Сперва до лесничего как-то не дошло, на что его нанимают; он слегка подивился, насколько длительное пользование русской пищей помогло этой глупой, престарелой женщине в освоении туземной речи. И вдруг ему живо представился лежащий под образами отец с согнутыми коленями, а рядом пьяненький Калина на пеньке, и все

поплыло в его глазах. Всегда несколько книжная — потому что рано уехал из деревни — вражда к этому сословию внезапно набухла мужицкой кровью... и, пока подыскивал словцо — плеснуть в глаза высокомерному барству, на звонок хозяйки стали являться всякие услужающие фигуры: огненно-рыжая девочка со смородинной наливкой, лакейского вида нетрезвый старец в чем-то чесучовом с хозяйского плеча и, наконец, девушка из лиственничной аллеи, та самая, которую Вихров трепетно ждал весь тот час. Двое первых смотрели на старухину руку и исчезали после им одним понятных мановений.

Сапегина издала какой-то полувопросительный звук.

— Это я,— спокойно отвечала та, третья.

— Не вижу... называться надо,— нажимисто скрипнула старуха.

— Ну, это я, Элен,— послушно повторила та, но губы ее повело, как от лимона.

— От рук отбилась... какая! Вот, полюбуйся-ка на нее, батюшка: она на меня ос наводит.

Минутку девушка с закушенными губами смотрела в пол.

— Да вы же сами три дня назад варенья спросили, а не скушали... вот осы и летят! — и что-то позвенело в ее голосе, потом улеглось.— Хорошо, я уберу...

— Так уж и доела бы, раз третий день стоит. Господи, вот и паленым пахнет... сожжет она меня живую.

Это прогорала скатерть под вихровской папиросой; он втихомолку потушил и спрятал улику в карман. И опять девушка помолчала ровно столько, чтоб перевести задержанное дыхание.

— На стол здесь будем накрывать или на террасе?

— Там, там... Вот, покажи ему сундук с бумагами... не тот, который... а другой. Угости там, с водочкой... этого господина в сапогах,— и еле приметно кивнула на лесничего, теперь уже без обиды, даже с живым интересом наблюдавшего усадебные распорядки.— Ну, чего торчишь, загляделась... мужчина сидит... ступай!

Привычная ко всему девушка не ответила, только чуть приметно пошевелились кончики пальцев и дрогнула взведенная бровь.

Что-то помешало Вихрову немедленно покинуть усадьбу, не простонародное упрямство добиваться цели вопреки

всему, а скорее потребность как-то загладить перед девушкой вину своего присутствия при оскорбительной для нее сцене. Выйдя из гостиной, он неуклюже попытался пожать ей руку, но Леночка отпрянула, не поняла, взглянула свысока, а он успел разглядеть ранние морщинки вкруг ее глаз.

— И сколько же вам платят за такие поношения? — тихо спросил он.

— А вам к чему это?.. нанимать, что ли, собираетесь?

— Просто так, из интересу и сочувствия.

— Так чего ж мне платить: я тут своя.— И сменила разговор: — Сразу водкой займетесь или сперва сундук посмотрите?

— Предпочту начать с сундука,— вполне оправдывая ее ожесточенье, иронически поклонился Вихров.

— Тогда... здесь прямого ходу нет, придется нам с вами двором итти.

Мимо заросшего бурьяном каретника без кровли и через полутемный кабинет, где над старинной конторкой в солнечном луче, пробившемся сквозь закрытый ставень, посверкивал перекрещенный с алебардой курдский ятаган, девушка повела гостя по винтовой лестнице и, пока тот взбирался вверх, отомкнула дверь в святилище исторического деятеля и переводчика. В низковатой комнате с полупустыми книжными полками пахло мышами и соломой, вороха поеденной бумаги устилали пол: цветные сумерки сочились сюда сквозь вставные, во фрамугу единственного окна, витражики из византийской базилики.

— Вот, глядите... тут все, что от Феклуши уцелело,— сказала вихровская спутница и, отвернувшись, присела у затянутого паутиной подоконника.

С чувством почтительного смятения взирал пашутинский лесничий на валявшиеся вокруг разрозненные издания и бесценные манускрипты, достойные национального музея, созданные чьим-то вдохновенным подвигом, может быть, украденные у огня изуверов, чтобы со временем пройти длинный путь из мешка малоазиатского мусорщика до парижского антиквара, купленные русским барином на крепостные труды вихровских дедов и теперь невежеством собственника обреченные на тление. Он взял с полу попавшую в поле зрения нарядную книгу, иконографию венецианских дожей, и смахнул рукавом с гра-

вированного на меди Николы Контарена узкий землистый следок от босой феклушиной ноги. Потом в поднятом наугад, наискось исписанном листке с улыбкой прочел сапегинское рассуждение о неминуемости деспотического византийства для любой российской государственности... Нет, едва ли здесь нашлась бы хоть в полторы строки справка о безвестном енежском мужике, застреленном в неравной борьбе; еще бесполезнее было искать ее в железном, тоже наполовину опустошенном сундуке, где, видимо, хранились самые отборные сокровища. Судя по расплывшейся надписи на обложке, сверху оказался отрывок из древнегреческого евангелия; рыжие потеки дождей посмыли киноварь и золотце тысячелетней красоты, и Вихров прикинул в уме, сколько ж русского льна и леса ушло за облезлый, скоробленный пергамент, который он держал в руке.

— Крыши-то чинить надо, малоуважаемые господа!— с сердцем заметил он и бросил чужую собственность назад, в яму.

Вслед за тем он невольно пожалел свою спутницу, безучастно притихшую у окна. Чтоб смягчить давешнюю старухину выходку, он сказал, что, пожалуй, обиды от больных и престарелых недействительны, хотя, конечно, всякий подавленный, невысказанный гнев лишь умножает степень рабства. Ему пришлось спросить, слышит ли она.

— Еще бы! Вот вы про крыши ругаетесь, так они везде у нас текут. Старуха ничего тут чинить не хочет. Мы деньги на отъезд копим.— И, несколько оживясь, спросила вдруг, в какую же сторону отсюда лежит страна Померания.

— Значит, вы вместе со старухой решили из России уезжать?

— Небось обманет, а то и поехала бы. Ведь страшно тут одной-то остаться.

— Чего страшно-то?

— А убьют.

Он нахмурился:

— Кто вас убьет?

— А мужики,— отозвалась она, дрожащими пальцами расставляя на подоконнике в кружок, усиками к центру, всех сохлых бабочек, чудом пробившихся сюда за четверть

века.— Знаете, как они нас ненавидят? Даже во сне вижу, будто вечер, и они входят вон в те ворота... сюда, на расправу! — и показала на входную арку, белевшую за окном, в проеме темнозеленых парковых кулис.— Человек одиннадцать, в черном все, ровно от обедни... значит, помолясь. Трактирщик Золотухин впереди...

— И, как же, с топорами они... или просто с кольями? — с жгучим любопытством осведомился Вихров, потому что сам не раз думал о том неминуемом, что возникает на границе терпения и в защиту попираемой народной жизни,— словом, о санитарной рубке, на языке его профессии.

— А не видать... руки-то за спиной у них. И будто уж занялось с заднего крыльца и дымище ползет понизу, а я в сирень спряталась, не дышу, и, главное, не ловят они меня, а только глазком смотрят искоса, куда побегу.

— Чушь какая. Кто же это вас так... старуха напугала?

— Уж не знаю, может, и старуха. Она беспокойная стала, все с портретом разговаривает. А то, бывает, разбудит среди ночи и слушать велит, не шумят ли где лиходеи. «Мне-то на краю могилы все равно, говорит, а тебя молоденькую не так еще уважут»,— с ясным взором, словно не понимая произносимых слов, рассказала девушка, и Вихров понял происхождение ранних морщинок вкруг ее глаз.— Господи, хоть бы старость скорей, чтоб и мне все одно стало...

Вихрова ужаснул тогда этот горький вздох, эта страстная покорность перед своей участью. Как и всякий честный человек на его месте, он жарко заговорил о своем народе, самом справедливом и великодушном из всех, потому что нет ему равных по силе духа и размаху его истории, о его чуткости к чужим несчастьям, о медлительном и печальном строе его песен, причем с особой нежностью помянул *ноченьку,*— о его вере в чистого и гордого человека, которую, как свечечку, пронес сквозь непогоду своей затянувшейся ночи; он не миновал ничего, что могло избавить приглянувшуюся ему девушку от ее изнурительных видений, и в первом ряду помянул беззаветный труд, которым только и можно снискать признание народа, потому что не ускользает от его внимания ни одна, самая тайная крупица содеянного добра или зла.

Она терпеливо кивала на его попытки помочь чужой беде с помощью таких умных и нарядных слов.

— Очень складно у вас получается. Это, пожалуй, правильно вы сказали, что песня — обратная сторона молитвы. Ну, что же, и на том спасибо вам...

— Благодарить-то не за что пока, милая барышня,— смутился он.— А вы сами пробовали подойти поближе к этим, я повторяю, очень хорошим людям?

— То есть как вас понимать?.. подольститься, что ли, к ним?

— Нет, я хочу сказать — открыто поговорить с народом, потому что это *ваш* народ... или всё в крепости отсиживаетесь?

— Не без того, пыталась,— с холодком призналась девушка, блеснув рядом отличных зубов.— Вот позавчера еще, например, как всегда перед покосом, *ихние* девушки хоровод водили у Заполосков. И уж так-то мне захотелось попеть с ними, просто в горле запершило. Я подобралась поближе, все ждала: авось, покличут. А они, как заметили, враз перестали и побежали вниз по межке. Одна еще оглянулась, пальцем показала, посмеялась на меня...

— А вы и обиделись?

— Чего ж на них обижаться... мне и снопа не связать,— значит, последний я у них человек. Только и научилась шить, штопать да на старуху стирать... чужим не доверяет. Правда, вишню еще ловко мариную: целый чулан стоит, а угощать некого... вот вам под водку целую плошку наложу.— И вдруг как бы крестом все перечеркнула: — Ничего, огонь все доест!

Жалость и странное, вдруг шевельнувшееся недоверие к ее искренности боролись в Вихрове; он заглянул своей провожатой в глаза:

— Вы и в самом деле так верите в него... ну, в огонь-то, или просто словечками играете?

Подавленная вспышка гнева прозмеилась в ее губах:

— Да смысл-то мне какой?

— Вот я и хочу разгадать.

— Воля ваша обижать меня... а только даже место могу показать, полыхнет откуда. Ведь я вам не жалуюсь... даже кто вы, не знаю! — сдержанно обронила она и поднялась, смахнув мушиное кладбище на пол с

подоконника.— Как, еще копаться станете в старье али домой поедете? У меня еще делов там подкопилось...

Замкнув книжное святилище от феклушиных набегов, девушка терпеливо ждала вверху, пока он спускался, гремя ногой по лестнице впотьмах. Молодые люди двинулись к дрожкам, привязанным у вековой липы на левом крыле, где когда-то стояли и кнышевские. Однако, по усиленной просьбе Вихрова, они прошли туда кружным путем, в обход пруда, так как у гостя возникло неодолимое желание посетить места своих детских приключений с Демидкой, в частности взглянуть, расправилась ли с тех пор трава, смятая его долгой и безнадежной ходьбой с сычом под рубахой. По дороге спросил спутницу мельком, настоящее ли это ее имя — Элен, и та объяснила без оттенка горечи или обиды, что раньше ее звали Леночкой, но когда в канун войны, по прихоти молодых хозяев, перебивали мебель английским штофом, стригли парк, заводили верховых лошадей и гончих, то заодно переименовали и ее в согласии с новым стилем усадьбы.

И опять Вихрову послышался нарочитый замысел в этом откровенном умалении себя, не смиренье, а безадресный, ни в чью сторону не направленный вызов, чтоб хоть кто-нибудь, любой, пришел избавить ее от страхов и повседневных унижений. Он принял этот упрек.

— Тогда уж, с вашего позволения, буду я вас по-старому Леночкой звать, а то Элен... на русской-то природе вроде клички получается! — сказал он и прибавил стариковским тоном, как если бы не допускал и мысли об иных отношениях между ними, кроме дружбы и участия,— вот вам мой простецкий совет: утечь вам отсюда надо. Сразу, как есть, без оглядки, без ничего, утечь.

— Куда, куда утечь-то? — посмеялась она неправдивым смешком, заложив руки за затылок.— Замуж если, так в земле они нынче лежат, женихи наши. Правда, присватался было один тут, молодой Золотухин... слыхали такого? И то заглазно сватался, через отца... длинная история, вспомнить тошно. Да я и пошла бы... все лучше топора-то! И чего они в тот раз раздумали, не знаю. Каб еще бедовая или припадочная там... а я тогда покраше, помоложе нонешнего-то была. Ну, к тому же и старуха никого ко мне не подпускает. Боится, ускачу: наследники в Петербурге жируют... с кем она без меня останется?

Потому только с вами и отпустила, что вы такой... ну, неподходящий.— Кажется, откровенным полунамеком, насколько безопасен был в этом отношении ее хромой и нескладный спутник, она хотела сразу положить конец тайным и недобрым догадкам Вихрова насчет ее скрытых намерений.— Хватит, заболталась с вами. Пойду старуху кормить, а то опять до ночи будет грызть да портрету на меня жаловаться...

...В этом месте Поля заинтересовалась, почему, в самом деле, не воспользовались Золотухины безвыходными условиями, в каких находилась ее мать, и Таиска пояснила, что и с самого начала сапегинская полубарышня была шихановскому трактирщику не ко двору; вскорости затем началась война, и Демид Васильевич оказался в германском плену. Самое же сватовство следовало рассматривать лишь как обходный маневр Золотухина с расчетом сломить старухино упорство в некоторых его домогательствах: речь шла о покупке сапегинских Заполосков. Ввиду того, что Поля не имела никакого представления о характере прежней жизни, Таиске пришлось мимоходом коснуться кое-каких бытовых мелочей, без чего Поле недоступно было усвоение дальнейшего.

5

Об истоках золотухинского богатства Полина собеседница знала лишь из рассказов тех же енежских старожилов. Молва утверждала, будто молодость свою Золотухин проездил по губернии *шибаём* — вышибал свою копейку, выменивая на леденец да на грошовую галантерею льняную ветошь, колотый чугун, рог и копыто от убоины. Он и спал на своей телеге, так что на церковных службах в престольные праздники стаивал особняком: сквозь ладан разило от него падалью и душным тленом, каким пахнет сгущенная людская нищета. Зато чуть попозже Таиска отчетливо помнила себя у его самого видного в Красновершьи дома с вырезными сердечками в ставнях, крытого тесом пока — не по нехватке, однако: железо давно хранилось в амбаре! — а лишь от злого глаза, чтоб не выделяться перед соседями; только под этим окошком всякий раз подавали ей нарядную медную денежку вместо

обычного черствого ломтя. К началу века, когда переженил старших сыновей и выдал дочек, Золотухин стал приторговывать бакалеей и маклачить на ярмарках, но главным своим призванием почитал товаропассажирский извоз, причем пьяные у него прибывали необмороженными и не бывало случая, чтобы гвоздь пропал из доверенной клади. Он так и примирился бы со званьем мироеда местного значения, если бы не знаменитый кнышевский налет на енежские леса. В той наглядной школе обогащенья Золотухин всю душу себе растравил, наблюдая хватку и удаль петербургского купца; когда же в довершенье учебного курса были скормлены лесорубам бочки гнилого судака, легонько спрыснутого винишком, какой-то смертельный зуд напал на красновершенского богатея: прямо хоть с кистенем под мост садиться.

Прежде всего он оглянулся на себя и возненавидел свою мелкостную суету, когда пальцами из навозной жижи рассыпанные овсинки выбирал и в горстке, украдкой от домашних, относил петуху, чтоб тот не отрывался от исполнения основных своих обязанностей; возненавидел свой смехотворный почет в волостном масштабе и достигнутое благополучие, сделавшее его псом сторожевым при собственном дворе; возненавидел поросячий визг в закутках, кроткий блеск лампад, укладки ненадеванного добра, оплаченного молодостью; даже зятьев своих, смиренных и покладистых, этих даровых батраков, возненавидел он за лошадиное довольство жизнью, сиявшее в их лицах. Близ того времени и перестали у Золотухиных подавать грошики Таиске, потому что отныне и семья нередко ложилась впроголодь; даже с любимца своего, Демидки, посогнал лишний жирок... Между прочим, на первых порах тот вполне оправдывал родительские надежды, но с возрастом начал проявлять неприязнь к коммерции, баловался книжонками, несмотря на отцовские телесные внушения, и вообще заболевал тем видом душевной порчи, что на языке деревни зовется — *стал задумываться...* Ранняя смерть избавила старика от последнего разочарования в сыне.

Старшему Золотухину было тогда за пятьдесят; это молодость его прошла, а ему-то казалось, что всего лишь сам припоздал к давно начавшемуся разграблению России. Одно лютей другого одолевали его мечтанья — если не чистородное золото, хоть нефтишку бы открыть у себя на

огороде или же на ближайших выборах пройти в Государственную думу, где, по народной молве, платили по сотне за заседанье. Вырваться бы на трибунку Таврического дворца да гаркнуть во всю глотку холеным дельцам при манишках и перстнях, с надвое расчесанными бородами — *«и мне!»* — чтобы раздались, как вода от камня, и поделились барышами. Будучи наслышан о новых веяниях от местного батюшки, о. Тринитатова, лошадника, эсера и подписчика столичных изданий с картинками,— самую принадлежность свою к крестьянскому сословию рассматривая как наследственный титул, Золотухин втихомолку ждал переворота: если при царе нажил кое-что, то уж без оного, как пошинкуют окаянных господ, то-то в полную волюшку рванёт он с православных. Оставалось силу копить, чтоб поспеть с дубинкой на великую российскую передележку. Решив заняться лесом после кнышевской науки, он на первых шагах и наметил к освоению сапегинские Заполоски, прилегавшие к усадьбе со стороны Красновершья.

То была чудесная, десятин на шестьсот и, значит, вполне посильная Золотухину роща высокоствольной сосны того сорта, про которую мужики говорят, что из нее *третьяк* выходит, то есть по три девятиаршинника в чистоте, без порока, сучка и морозобоинки; нависшая над заречными лугами, она как бы сама просилась в воду. Трактирщик и гнался-то вовсе не за прибылью, хотя и вычисленной до гривенника, а единственно для приобретения навыка в руке. Не сомневаясь в успехе, он отправился с задатком к помещице в усадьбу и вернулся без прямого отказа, но вроде бы и ни с чем. Вдова Сапегина соглашалась уступить любую часть своих владений, кроме Заполосков, которые служили естественным заслоном от зимних ветров и паровозных воплей с железной дороги, будивших у ней приступы беспричинной тоски. После вторичного визита Золотухин всерьез обиделся, что чужому, Кнышеву, экий кусок отвалила, а пожалела крупицу для соседа... Так со временем сложилась у старика привычка в праздники, после обедни, наведываться в усадьбу, вздыхать о втуне пропадающем богатстве, со староверским отвращеньем схлебывать с блюдечка горький кофеек и пилить, пилить, подпиливать помаленьку чугунную вдову лестью, ласковой угрозой, нечаянным наведением на

всякие ужасающие примеры... И то, бывало, спросит у старухи, застраховано ли имущество на случай поджога, то потрогает петли ставней и с печалью покачает головой. Раз неудовлетворенная затея превращалась у Золотухина в душевный недуг, наносивший ему неисчислимый убыток; даже задерживал переезд в Шиханов Ям, где присмотрел дом под трактиришко с постоялым двором: шагу теперь сделать не мог, не переступив колдовской черты Заполосков.

С виду он был жилист, высок и худ, с изрезанным морщинами лицом в жидкой, как подсохшие корешки, бороде; голодная тоска светилась из его часто и жалостно мигавших глаз в окаемке рыжих ресниц. Властная с другими, помещица робела в его присутствии, из самосохранения стараясь не глядеть на него подолгу, но прочь не гнала как от боязни нажить такого во враги, так и от болезненного искушения узнавать из первоисточника о настроеньях своего главного, по ее мнению, врага. За время пребывания в России она успела убедиться, что нет на свете земли опаснее для собственников, так что никто в ней не может уберечь себя от будущего. Ущербное самочувствие хоть и обрусевшей иностранки и было главным козырем в азартной золотухинской игре.

Челядь беспрекословно пропускала его в усадьбу из тех соображений, что старуха уберется к себе в Померанию, а Золотухин останется с ними навечно... Держа картуз на отлете, он терпеливо выстаивал свою хамскую минутку у террасы, пока не раздавался разрешительный скрип не то кресла, не то самой барыни, уже тогда полулежавшей под холщовым зонтиком и в чепце, сквозь который просвечивала желтая кожа.

— Это я, Тимофеич из Красновершья, проведать прибыл... можно ли? — и уж подымался по ступенькам, всякий раз норовя наступить на отставшую половицу, которая, приподымаясь с другого конца, заставляла вздрагивать Сапегину.— Как, не надумала пока насчет лесишка-то?

— Не до того мне, Тимофеич. Болею да мучаюсь.

— Все болеем, все мучаемся,— утешительно кряхтел Золотухин, надвигаясь как неотвратимое бедствие.— У каждой пташки, а свое горе. Да ты не морщься, Богдатьевна... могу и удалиться, коль не во-время.

— Ничего, сиди, я всегда тебе рада, Тимофеич,— и как бы ошибкой кивала на низкую скамеечку рядом, хотя такое же ковровое кресло стояло поблизости.— Ну, что там, в жизни-то?

— А в жизни, Богдатьевна, все в точь происходит, как у Ивана Богослова описано... ровно по канве вышивают. На кожевенном-то заводе будто подкидной билет нашли. Писано, земля шибко просохла, надоть ее красным дождичком спрыснуть... смекаешь, к чему ведут? Да еще вот егерька в Полушубове чикнули. Как за Скопну выберешься, тут он враз, в осинничке, у большака и лежит. Первым номером, из дробовика, в самую что ни есть личность жахнули... признать невозможно.

— Да кто ж его так, Тимофеич?

— Кому же иначе... наши православные шалят. По всему, они в барина ладили... ну, который пойму-то у мужиков оттягал. Барин-то вишь пинжак ему свой, верному слуге, на ватине клетчатый пожаловал, а верный-то слуга возьми сдуру — да в лесок его и надень, обновку.

Вдова унылыми глазами вглядывалась в заросль шевельнувшейся от ветерка сирени, и вот, несмотря на толстые, домашние чулки, смертный озноб вливался в ее отечные ноги.

— Чего ж ты меня все пугаешь, Тимофеич? Не по-соседски, нехорошо...

— Да чего ж там хорошего. Почнут этак-то палять, всеё начальствие на земном шаре переведут. Жутко сказать, на что замахиваются! Нешто я тебя пугаю, кроткая ты моя? Ты не меня, ты тех страшись, кто тебя страшится.— И, помахав этак ножичком перед глазами, прятал его в бархатный смешок, как в ножны.— Раздумался я тут о тебе, Богдатьевна, и затосковал. Жутко, поди, в осенние-то ночки? Не дай бог что̀, и до телеграфа не доскачешь, чтоб войско на подмогу прислали. И ты придворным-то своим не верь... они первые тебя и прирежут... это я тебе не как теорик, а как живой практик крестьянского дела открываю. Не ссориться бы тебе, Богдатьевна, с нами, мужиками серыми, а уж не удержалася в тот раз, с Облогом, так заведи ты себе старушечку понатуристее, вроде себя, да почаще пускай ее под своей шалью вечерочечком вроде в парк погулять. А как стрельнули бы по ней разок-другой, тут бы мы их, злодеев, шапкой и прикрыли

да в железный их в кузовок, ась? — и поталкивал глазами на самое что ни есть желательное ему решение.— А еще того лучше, перебиралась бы от греха в Лошкарев... сам же я тебя на новое место и предоставлю, благо кони временно без дела стоят!

Не давая опомниться, он скороговоркой рисовал ей радужные картинки городского существованья. Квартирку подобрали бы с видом на судоходство или на какие-либо особо художественные местностя, но близ самого собора обязательно, чтоб по грязям не таскаться за версту. В остатнее время ела бы кашечку со сметанкой от его швиц-симментальской коровы, читала бы книгу-библию о бедствиях грядущих времен да слушала бы, как скрипит сапожищами, выхаживает под окошком городовой в полном осадном облачении. «Мать честная, да я за пятишницу в месяц цельного гренадера на цепь к тебе прикую». Что же касается имения, уж он подыскал бы ей покупателя не из нонешних стрекулистов, что норовят летошним снегом заплатить. «Осподи, лишку не запросишь, так и за себя взять не поскуплюсь». Так он душу ей выкладывал, обхаживал, как паук муху, самим провидением предназначенную ему в пропитание и по каким-то безнравственным соображениям ускользающую от его тенет. Всякий раз помещица отговаривалась то паденьем военных денег, то нежеланьем оголять усадьбу, то, наконец, намереньем сохранить Заполоски в приданое воспитаннице, ежели годков через десять сыщется подходящий человек. Последний довод и послужил предлогом для золотухинского сватовства: так и быть, взять Леночку в придачу к роще.

...Точно так же, как Таиска Поле, историю эту в свое время и Леночка рассказала Вихрову, когда тот через несколько деньков вторично прикатил в Сапегино. На этот раз он вызвал ее через Феклушу, и в самой таинственной усмешке рыжей девчонки, нахально жевавшей подаренный пряник, в самой неправдоподобности повода для приезда Леночка прочла признание пашутинского лесничего. Она прибежала принаряженная, с неумелым цветком в волосах, в новых баретках на босу ногу — задохнулась даже, потому что боялась, как бы не уехал, не дождавшись ее, и потом они пошли по полуденному парку, где поглуше, и все было ясно им обоим, причем Вихров на этот раз не только не скрывал, но даже несколько преуве-

личивал свое увечье, чтоб знала, привыкала, не обманывалась на его счет.

Он шагал рядом, шибко припадая на ногу, ведя рукой по головкам высоких папоротников, слушая продолжение невеселой повести о подневольной девичьей жизни, начиная постигать источник леночкиных страхов.

— И уж так он старался старуху мою окрутить, старший-то Золотухин: то целебной травки против чирьев от знахаря за тридцать верст доставит, то невесток посулится прислать на прополку запущенной клубники, а под конец предложил освободить ее и от забот о нахлебнице... ну, от меня, то есть! — заканчивала Леночка свою откровенную исповедь, как будто хотела, чтоб и Вихров знал все наперед и впоследствии не корил ее за утайку истинных побуждений.— Тогда старуха моя опять уперлась: «А ну-ка, мол, он ей не глянется, Демидка, мужлан-то твой?» Тот лишь посмеялся: «Как же это, дескать, не глянется, ежели невестушке-то заблаговременное наставленьице дать?» — посмеялся и жутко так голенище погладил, словно кнут доставал. Я тогда за дверью стояла, как мне положено, в щелку видела, вот.— Леночка замолкла, нахмурилась на продолжительное молчанье спутника и вдруг схватила Вихрова за рукав: — Ой, как интересно... покажите-ка, что у вас там?

Качая головой, она рассматривала пуговицу на обшлаге, пришитую тонким звонковым проводом.

— Солдатская привычка... поскорей да попрочней. Таким образом.

— И не колется, ничего?

— Я кончики внутрь плоскогубцами загибаю,— вполне стойко пояснил Вихров.— Впрочем, это раньше, теперь-то у меня есть кому пришивать.

Она сразу выпустила его рукав:

— Вот как... и давно вы женатые?

— Нет, при мне сестра живет,— поторопился он разубедить ее.

— О... это хорошо, с сестрой-то,— засмеялась она, переведя дыханье.— А то все всухомятку небось...

— Ну, теперь-то я королем живу! — досказал Вихров.

Впереди завиднелись дрожки, из предосторожности привязанные у каменных ворот, с березовой порослью на арке. Лесничий стал прощаться с Леночкой; он понимал,

что цветок в волосах — нарочно для него, и все не мог решить, дает ли это ему право взять девушку за руку. В сущности, он мог бы в тот же раз увезти с собой свою самую драгоценную в жизни покупку; его насторожила, удержала именно готовность Леночки броситься за любого встречного от своих предчувствий. Уже тогда он слишком любил ее, чтобы воспользоваться ее бедою. В стремлении доказать серьезность своих чувств он шутливо напомнил Леночке о их давно состоявшемся знакомстве, когда впервые изведал непостоянство женского сердца.

Она оживилась, веселые искринки сверкнули в ее глазах:

— Да сколько же мне было-то тогда? Хоть убей, ничего не помню: ни белки в мешке, ни приятеля вашего... Впрочем...— словно сквозь туман рассмотрела она что-то,— так это и был Демид Васильич? Вот не знала... Постойте, что это вы все ровно бы принюхиваетесь ко мне?

— Показалось, будто липовым цветом от вас потянуло...

— О, целое утро его собирала да сушила, оттого! Старуха велит, на случай простуды. И верно... ведь утром еще, а пальцы до сих пор пахнут.

— Не может быть, ну-ка? — недоверчиво сказал Вихров и поднес их к своему лицу, чтоб научно убедиться в необыкновенной стойкости помянутого запаха.

Леночка с усилием отвела руку.

— Хоть бы карточку свою тогдашнюю поглядеть. Верно, занятная я была, в розовом-то платьице, да еще под индейца разрисованная...

— Кроткая и тихая была, но нынешняя лучше,— через силу проговорил лесничий, глазами досказывая, что чем дальше, тем ближе будет и родней.

Она промолчала в ответ на его признанье, и Вихров не заметил в тот раз беспокойства в ее глазах, повторявшегося каждый раз, когда он заговаривал о своих чувствах; ей нечем было равной ценой оплатить их.

— Ну, пора, Феклуша меня ищет... ой, достанется мне нонче за вас! Уж поезжайте...

...Дня три спустя, на закате, лесничий прискакал озабоченный и бестолковый: у него обнаружилась пропажа папиросницы, якобы связанной с особыми воспомина-

ниями. Леночка увидала его шарящим под кустами, на обратном пути со скотного двора, и самое странное заключалось в том, что в прошлый раз они сюда вовсе не заходили. Пришлось снова обойти парк по возможности прежним маршрутом, и о чем Леночка ни заводила разговор, лесничий неизменно сводил его к потерянной папиросннице. Вещь была настолько дорога ему, что он слегка осунулся за истекшее время.

— Золотая, что ли, была?

— Да нет, железная... но от товарища, который у меня в сибирской ссылке.

— Чего ж вы так расстроились? Господи, да найдется ваша табакерка!

По ее тону он понял, что она давно разгадала его состояние; к счастью, они уже добрались до ворот. Вихров вертел в руках форменную фуражку с кокардой из дубовых листьев на зеленом околыше.

— Опять вы плакали сегодня,— упрекнул он вполголоса.— Все огня ждете?

Ее глаза ожесточенно блеснули в сумерках:

— Да уж скорей бы!..

— Тогда... делайте что-нибудь: боритесь или бегите куда глаза глядят, только не стойте без дела, с опущенными руками.— Так он подсказывал ей выход из положения, которым она и воспользовалась год спустя.— Во всяком случае, вам нечего бояться: вы же не наследница, не родня, а просто ключница тут... пленная белка в черном мешке, вот кто вы!

Торопясь закурить, он вытащил из кармана пропавшую папиросницу, к слову — похожую на солдатскую мыльницу, залился краской стыда, хлестнул лошадь и едва не вывалился в канаву, когда, взлетая на выбоинах, дрожки понеслись вниз...

После недолгого отсутствия, однако, Вихров снова зачастил в усадьбу, так что его признала сапегинская челядь, а Феклуша оповещала запросто, что опять, дескать, пашутинский леший на дрожках прикатил. Молча и озираясь, как заговорщики, они крались из ворот и шли вдоль вечерней опушки Заполосков, и чем безлюдней становилось кругом, тем больше сторонились друг от друга. Порозовевшее в закате поле казалось клевером в цвету; удлинившиеся тени двигались впереди по высохшей

стерне. В ту пору Леночка проявляла неутолимую любознательность к дорогам: «А дальше, дальше куда она ведет?» Ее интересовало, куда по ней убежать можно с Енги́, а он из почтения к девушке понимал ее расспросы как решимость итти с ним по этой тропке всю жизнь, сквозь ночи, несчастия и горы, пока хватит сил итти, видеть и трогать, вдыхать, удивляться и узнавать. Он принадлежал к той категории людей — робких, не искушенных в науке сердца,— что, не будучи уверены в своем личном обаяньи, стремятся показать себя любимой в подвластном им царстве — будь то безбрежная вода или преисподние недра, ночное небо или же атом с одинаково нескончаемой лесенкой в таинственную и ускользающую глубину; он сам высказал однажды мысль, что лишь зрелость способна создать великие книги, но самые волшебные из них пишутся влюбленными. Вихров вел свою любимую через весь шар земной, по знакомым ему наизусть ботаническим ландшафтам: там он не хромал. Уставшую с полпути, он тащил свою жертву из русского леса сквозь Пустоша̀ прямиком в закаспийские степи, через Гималаи, мимо всегда манившего его Дарджилинга в Гималаях и с непременным заходом на Суматру, эту первородную опытную мастерскую природы, и дальше, к пределу своих мечтаний, в океан... и с авторской гордостью попутно показывал девушке, что́ можно создать из солнца, перегноя и влаги — весь растительный спектр от дивной и безгласной северной кислички до отвратительного и царственного чуда, тропической раффлезии. Так, обойдя весь мир, они возвращались на прежнее место.

Однажды, вспугнутая звоном бубенцов на дороге, она оборвала его на полуслове:

— Смотрите... опять Золотухин к моей в гости катит! Ишь, дуга его блестит... Ну, бежим скорей в овражек, пока не приметил,— и, пробежав шагов двадцать, в нетерпеньи оглянулась, прежде чем соскользнуть вниз по гладкой, словно навощенной траве.— Чего ж вы там застыли? Боже, неповоротливый какой!..

Вихров стоял на прежнем месте, у обочины, глядя в землю перед собою. Он был хромой, не мог быстрее. До самого отъезда он не произнес ни слова. Больше его не видели в усадьбе, хотя ни разу Леночка не нуждалась так в его поддержке, как в ту осень и на исходе зимы, когда

стала очевидной неизбежность больших русских потрясений.

Нередко, в одиночку теперь и вспугивая сытых, словно отлакированных грачей, Леночка обходила знакомую опушку. Шелест палых листьев под ногами заменял беседу с другом. «И мы, и мы были частицей мира,— шептали они, обгоняя друг дружку, влачась по земле.— Вот, насладясь, мы уходим без сожаленья, довольные и навсегда...» Наступала пора, когда лес последовательно пахнет грибом, ладаном и, наконец, жавелем хорошо промороженного снежка...

В ту осень тюрьма представлялась девушке относительным благом: оттуда когда-нибудь выходят. Одна и та же синичка звала ее своим колокольчиком вперед, к покою. Таиске неоднократно доводилось наблюдать сапегинскую полубарышню на опустелой пристани; привалясь к причальному столбу, та подолгу глядела, как у смоляного борта плещется шепелявая вода, уже со льдинкой и свинцовая. Никто не отвел Леночку от опасного зрелища... не потому ли, что при созревании каждый должен лично убедиться, насколько она свинцовая, безвыходная и там, в глубине.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Пашутинский лесничий был очень занят в ту осень. Свое хозяйство он принял в расстроенном состоянии из-за происходившей тогда первой мировой войны. Наукой там не занимались и раньше, несмотря на фундаментальную лесную библиотеку, а с сокращением ассигновок оборвались и мелиоративные работы. Вместе с тем новая лошкаревская ветка приобретала важное значение во фронтовых перевозках; беспорядочная рубка на дрова для железной дороги и близлежащих столиц грозила разорением кряжевых енежских боров. Требовались немалые усилия — без людей и средств производить хотя бы частичное лесовозобновление на вырубках. Война приостановила ремесла,

сельское строительство, даже ремонт кордонов. Жизнь замирала на Енге́.

Бедственное состояние страны, брошенной в пучину разрухи и военного поражения, требовало передачи национальных судеб в руки самого народа. После февральской революции законным наследникам России стало в особенности дорого все уцелевшее от алчности вчерашних хозяев,— зеленое достояние в том числе. В свою очередь, это заставляло вспомнить и о людях, занятых сохранением и посильным умножением леса, попрежнему — главной базы всенародного возрождения. Так, енежская общественность сочла долгом отметить подоспевшее семидесятилетие Лисагонова Минея Ильича, объездчика с девятого кордона и неутомимого вихровского помощника, скромным обедом с приглашением двадцати пяти его товарищей. В те месяцы, тотчас после свержения самодержавия, еще не вошло в обычай замечать мелкие винтики государственного механизма: в частности, ни лошкаревскому ревизору лесоустройства, большому чиновному барину, ни местному священнику о. Тринитатову, с которым пашутинский лесничий находился в неприязненных отношениях, не было никакого дела до дремучего лесного старчища, полвека просидевшего на охране Пустоше́й. Тем не менее, несмотря на гнилую апрельскую дорогу, поименованные лица заявились сами — занять очередь у этой возможной двери в завтрашний день России, даже с дарами: ревизор привез компас для определения всех четырех сторон света, а батюшка под аплодисменты собравшихся извлек из-под рясы бутыль мягчительного напитка домашней гонки, известного на Енге́ под названием *тенерифа,* изготовляемого батюшкой во благовременьи из меда с добавлением некоторых заповедных трав... Таиска, к тому времени перебравшаяся к брату на постоянное жительство, смогла последовательно перечислить Поле все обстоятельства того крайне памятного пиршества.

Начали под редьку с произнесением подобающего слова о пользе лесов, причем Иван Матвеич впервые выдвинул пока еще туманное требование, ставшее основным тезисом его первой книги: об уравнении леса в гражданских правах с другими источниками народного благосостояния. Лошкаревский гость солидно возразил, что, в отличие от прочих, лесу истощение не грозит, ибо он есть

источник, постоянно возобновляющийся, на что Егор Севастьяныч, заслуженный фельдшер местной больнички, очень уместно указал, поглаживая громадные сивые усы, что все выдающиеся на земле леса уже теперь известны наперечет, тогда как рудники и шахты с каждым годом открываются все новые... Вслед за тем провозгласили примирительный тост во здравие России, и хотя стаканы зазвенели в особенности дружно, а грибным таискиным изделиям сразу был нанесен значительный урон, уже тогда видно было, что каждый вкладывал в это высокое слово свое особое содержание. Когда же после пирога с соленой рыбой лошкаревский ревизор предложил выпить за героическое племя лесников, молодой Вихров задиристо осведомился, имеет ли его превосходительство в виду горстку послушного начальства, не сумевшего отстоять от разграбления даже водоохранные русские леса, или же ту миллионную меньшую братию, рядовых тружеников леса, которые с бессильным гневом наблюдают лесную разруху. Сразу и не на шутку запахло скандальцем.

— Так что же нам надлежало делать, по-вашему, господин Вихров? — суховато спросил лесной генерал.

— Кричать обществу о происходящем в доверенной вам области, драться и даже умирать, чорт возьми, если сие требуется по ходу выполнения обязанностей.

— Надеюсь, как обер-офицеру леса вам известно, что частновладельческие леса не подлежат юрисдикции нашего с вами департамента?

— Значит, народу придется силой восполнить этот пробел в лесном законодательстве! — Именно эта фраза и послужила причиной для последующего обвинения Вихрова в большевизме и отстранения от должности всего за неделю до Октябрьского переворота.

Спор перекинулся в дебри лесной статистики, недоступной большинству гостей, причем общее сочувствие было на вихровской стороне: одни дружили с его отцом, другие встречали его еще босоногим мальчонкой у Калины. Привыкшие ложиться со светом, лесники сонливо внимали перепалке, а на дальнем конце начинали шуметь песню обходчики, раздобывшиеся тем зловредным первачом из разбойничьего Шиханова Яма, что слыл в уезде за коньяк со зловещей маркой *три косточки*. В целях умиротворения и объединения сил о. Тринитатов похвастался, будто во

златые денечки юности самолично гонялся на башкирской байге под Уфой и даже получил жеребенка в приз. Разговор перекинулся на лошадей, а захмелевший Егор Севастьяныч похвастался выдающейся кобылой, незадолго перед тем приобретенной для медицинских разъездов; по его словам, до революции она возила какого-то видного архиерея, за что имела от него чуть ли не благодарственное письмо или что-то в этом роде. Тут все, кто еще был в состоянии, отправились лично ознакомиться с фельдшерской покупкой.

Ночь выпала на редкость бурная, весна с хрустом ломала зиму, гортанное журчанье слышалось отовсюду. Поеживаясь спросонья, конюшок вывел красавицу из стойла, и все принялись наперебой высказывать свое восхищение. Широкогрудая и рослая, вся в яблоках и промывах, как небо той ночи, она прядала ушами, перебирала копытами, стараясь стать по ветру, настолько усилившемуся к полночи, что едва не гаснул огонечек в щелеватом железном фонаре; дело происходило в середине апреля... Один лишь батюшка отозвался о покупке кисловато, за что фельдшер причислил его к вреднейшей породе знатоков, готовых брюзжать и на солнышко, лишь бы не уронить достоинства в глазах почтеннейшей публики, и даже назвал его *власоглавом,* что крайне ожесточило о. Тринитатова. За недоуздок отведя кобылу под защиту дровяной поленницы, где было малость потише, и обрекая остальное общество на мучения от ознобляющего ветра и какой-то мокрой, сыпавшейся с неба пакости, батюшка приступил к более обстоятельной экспертизе: оттягивал своей жертве губы, поочередно подымал ноги за щетку, стучал над глазом, дул в лошадиную ноздрю, после чего прикладывался ухом к подбрюшью в намерении подслушать, как сие отражается внутри испытуемого животного, которое в отместку и без особого успеха норовило ухватить его зубами то за рукав, то за некоторое другое место. Затем, кашляя и чихая, все пошли назад, чтобы в условиях домашнего уюта продолжить лошадиную дискуссию; по долгу хозяина, Вихров замыкал шествие. Тут-то и раскрылось значение необъяснимого вначале красноватого сиянья над черной хвойной кромкой Пашутинского лесопитомника.

— Любопытствую узнать, что̀ именно в нашем уезде способно предаваться столь яркому и продолжительному

горению? — спросил у фельдшера шедший впереди о. Тринитатов.

— Это уж оно затихает, батюшка, а часа два тому столбищем полыхало...— возбужденно отвечал за хозяина конюшок, и Вихрова точно знобом прохватило насквозь.— Не иначе, как мужики Сапегино дожигают... больше нечему!

Правда, два других села находились как раз в направлении пожарища, но в уме у всех Сапегино раньше других стояло в очереди на огонь, и, пожалуй, нельзя было выбрать ночки удачнее, чтобы спалить окаянную бычиху.

Первая мысль лесничего была о Леночке. Делом минуты было сорвать с гвоздя овчинный полушубок и дать наказ, чтоб в санках догоняли по дороге на Красновершье; через Максимково было короче, но рождалось опасение за мосток на Склани, ежегодно смываемый в половодье. Расклоченное небо неслось вверху, сминаясь в багровую пену над заревом, которое постепенно меркло и вскорости совсем погасло. Взамен, пока Вихров сквозь бурю добирался до большого леса, в сизом молоке тумана обозначился какой-то кособокий и несообразно тусклый предмет, предназначенный для свечения: видимо, луна. Сквозь призрачную муть, по сторонам хлюпающей дороги, проступали отвесные, обсосанные какие-то, потому что как бы без крон, стволы. Нога то и дело по колено проваливалась в изглоданный снег на обочинах. Никогда так не торопилась весна; разноголосый гул множества усилий стлался по лесу, причем отчетливо выделялись то вздохи оседающего наста, то сипенье проснувшейся воды, и все это перекрывало бурлацкое уханье ветра, помогавшего реке сдвинуть лед.

Ничего не разобрать было вокруг, и, лишь добравшись до незнакомой лощины, Вихров сообразил там по двум скрещенным, трущимся друг о дружку соснам, что идет прямиком на Максимково. Уже собравшись продираться сквозь ельник на соседнюю просеку, лесничий попытался точнее определить место, и тут во мгле впереди ему почудилась движущаяся человеческая тень, почти невероятная здесь в такую непогоду. Кто-то действительно двигался навстречу, подобно ему поминутно оступаясь в промоинах дороги, а это означало между прочим целость моста на Склани; тень тащилась с непокрытой головой, насквозь

промокшая и, как тогда, в лиственничной аллее, выкинув вперед полусогнутую в локте руку, что было для Вихрова приметой самого дорогого существа на свете. И верно,— то была Леночка.

Много лет спустя, на одной из вихровских проработок в Лесохозяйственном институте, Грацианский громово напомнил собравшимся последующее неблаговидное поведение государственного служащего в отношении помещичьей нахлебницы, видимо предоставляя ему на выбор спрятаться от нее за деревом либо опросить побасовитее, обнажив огнестрельное оружие, что она поделывает ночью в казенном лесу. И никому в тот раз в голову не пришло, какого же сам он мнения был о тех, в чьих глазах выслужиться хотел в качестве блюстителя гражданских добродетелей... И если бы даже Вихров мог предвидеть, какое горе причинит ему эта девушка впоследствии, он повел бы себя так же, то есть самовольно, весь дрожа, мял бы ей окоченевшие руки, пытаясь вернуть Леночке речь и передать клочок своего тепла, или, как если бы уже принадлежала ему, растирал ее ледяные и влажные, под легкой жакеткой плечи, в особенности ту уже бесчувственную впадинку под лопаткой у Леночки, откуда, по его предположению, должна была войти в нее весенняя смерть... и все глядел в полузнакомое теперь, мокрое лицо с частым подергиваньем в углах рта, с провалами глазниц, растушеванных до самых скул.

— Держись, родная моя, тут недалеко... баню шпалотесам топили. Бежать не можешь? ...а ты попробуй, только бы добраться поскорей! — бормотал он, кое-как закутывая ее в свой полушубок и боясь догадываться, что̀ у ней надето на ногах, тонувших в талой снежной кашице, и оглядывался в сотый раз, а саней все не было.

Леночка не узнавала его в лохматой, наудачу выхваченной из кучи, фельдшерской шапке, и вообще она никого не узнавала недели три потом; только лгала кому-то непослушным языком, будто вот вышла от угара пройтись и сбилась с дороги. Она говорила без передышки, причем отдельные звенья ее речи терялись за стуком зубов. Вдруг доверясь, Леночка бессвязно рассказала, как перед потемками налетел на усадьбу Золотухин со своей подкулачной свитой... и ничего они там не помиловали, даже сиреньки под террасой, потому что и сирень в том месте проклятая...

и будто один на кричавшую Феклушу замахнулся, а ударить не посмел сиротку... нет, не посмел, видно, сообразил, что за сиротские-то обиды злей всего наказывает бог! Что же касается самой старухи...

— ...все в Померанию обещалась меня увезти, так и не увезла.— Несчастье-то какое... и гребеночку потеряла.— Леночка собралась отвести налипшую прядь со лба, но забыла и вопросительно поглядела на поднятую было руку.— Ой, жалко гребеночки-то... Теперь уж не увезет меня в Померанию-то! Вот я и вышла погулять с больной головой, а уж тронулась река-то...— И, значит, дом пашутинского лесничего представлялся в ее сознании единственно безопасным местом на земле...

— Да пойдемте же, чорт возьми! — в голос закричал Вихров, чтобы как-нибудь пробиться сквозь весенний шум в ее помраченное сознанье.

...Леночку спасли русская баня, таискина преданность брату и та беспамятная воля к жизни, что провела ее двенадцать верст по ночному ненастью. Целый месяц длилась ее ночь, выздоровление началось однажды утром. Когда впервые раскрылись ее глаза, вся розовая яблоня-сибирка гляделась в распахнутое настежь окно, с горстку опавшего цвета нанесло ветерком на одеяло. Необыкновенная новизна сквозила в природе, когда похудевшая и без посторонней помощи Леночка с крыльца спустилась на траву, пестревшую первыми одуванчиками. Голова легонько кружилась от пьяноватого запаха тлеющих опилок, нагретых полуденным припеком, но, пожалуй, еще больше кружилась — от вольной обширности неба, где проносились облака, такие громадные, а бесшумные совсем. Чувство непрощенной вины заставило девушку обойти деловитого шмеля на цветке: он был свой тут, и за работой, а она — пришлая, из сгоревшего Сапегина, нахлебница, пригретая по милости добрых людей. Близ колодца встретилась местная незнакомая молодайка с коромыслом на плече; на робкий леночкин поклон она отвечала приветливо, но с холодком: муж на войне, законные дети и тяжесть двух полных ведер давали ей право на такое, чуточку высокомерное достоинство. Никто не мучил Леночку ни жалостью, ни любопытством, но все было известно всем... и в конце концов нужно же было кому-нибудь ежедневно записывать показания флюгера на пашутинской метеостанции и

количество выпавших за сутки осадков... Рождалась слабая пока надежда, что вчерашнее забыто и осталось позади; страшная ночь прошла для Леночки бесследно, если не считать, что очень озябла тогда и, кажется, на всю жизнь. Кроме того, образовалась привычка, чуть сумерки, забиваться в дальний угол, ближе к печке, но Таиска всякий раз изобретала предлог подвести Леночку к окну и показать пустой деревенский проселок на Красновершьи,— такой ухабистый, душу осенью изорвешь, такой безлюдный, какими они бывают по окончании кровопролитной войны.

На леночкино горе, два месяца сряду ни капли не пролилось с небес, так что и записывать вроде было нечего, а вынужденное безделье обостряло в ней чувство дарового, незаработанного хлеба. Ничто не изменилось, когда после усиленных, через Таиску, намеков ей дополнительно поручили отбор хвойных семян и испытанье их на всхожесть. Работа была доступна и школьнику, а отсутствие знаний мешало Леночке отдаться ей настолько, чтобы без стыда и наравне со всеми садиться за обед... Значит, Вихров понимал ее душевное состояние, если по собственному почину заговорил об ее отправке на учебу; кроме того, ему хотелось, чтобы повидала жизнь и других мужчин, прежде чем согласиться на предложение хромого и скучного лесника. Леночку подбодрила эта мысль: только перемена места могла излечить ее от изнурительного ожиданья, что завтра и сюда нагрянут за нею по следу... У Егора Севастьяныча нашлись связи на лошкаревских курсах медицинских сестер, а Таиска за неделю изготовила ей необходимое приданое от холстинкового бельишка до старомодного, еще с буфами на рукавах, полузимнего пальтишка, приобретенного ею на батрацкие гроши года за два до вселения к брату.

— Спасибо вам... жива не буду, а отработаю! — жарко шепнула Леночка на прощанье, уже одетая.

Вихров отечески разгладил пальто у ней на спине, все сбивавшееся горбом, несмотря на перешивку, и тут же, при закрытых дверях, передал ей часть очередной получки с обещаньем делиться и впредь.

— Берите же, я сказал... таким образом. Я не привередлив к жизни и мне рано копить на старость. Это не подарок, а лишь переходная сумма, которую я сам в

вашем возрасте получал от посторонних лиц. При схожих обстоятельствах можете передать кому-нибудь, попавшему в нужду, этот должок... Теперь все зависит от вас одной. Знания помогут вам быть более полезной людям. Любите жизнь, помогайте ей стать чище... а когда вернетесь, будете лечить бесплатно мои стариковские недуги... Все, таким образом.

— Да вы еще совсем не старые,— без особой уверенности вставила Леночка, а Иван Матвеич подумал, сколько усилий потребуется в будущем, чтобы изгнать эти униженные, за годы полной зависимости впитавшиеся в ее речь приживалочьи интонации.— Ишь еще ни сединки!..

— Это потому, что при чистке сапог я той же щеткой приглаживаю волосы, чтоб не пропадало добро. Теперь марш в телегу... Егор Севастьяныч сердится: слепни совсем заели его красавицу!

Пашутинскому лесничему было тогда едва за тридцать, Леночке же он если и не казался стариком, то самым моложавым из наставников человечества; она сделала неловкую попытку поцеловать ему руку. Вихров накричал ей что-то о необходимости — наравне с ее бездарным страхом жизни — искоренять в себе и остальные рабские привычки, грохнул дверью и даже на крыльцо не вышел платком в дорогу помахать.

2

Начатая работа над книгой и связанные с нею выезды в столичные библиотеки помогли лесничему почти без переписки пережить двухлетнюю разлуку с Леночкой. Его послания в Лошкарев, состоявшие из житейских советов, умещались на корешках денежных переводов, но самая мысль о будущей встрече ускоряла его работу; если правильно, что любое выдающееся произведение, помимо главной тематической цели, диктуется побочной,— скрытой от читателя в творческой биографии автора, для Вихрова она состояла в том, чтобы с помощью своей книги ввести эту девушку в лес, как в родную семью, и пусть она посильно поможет ему в борьбе за своих новых друзей. Для этого ему предстояло через тоненькую струйку чернил, медлительно стекающих на бумагу, пропустить целое озеро исторических справок и статистических дока-

зательств, собственных наблюдений и мыслей о мире, добытых инструментом его ремесла. Уже оставалось перебелить почтенную стопку разгонисто исписанных листков, как вдруг ясно стало, что его широкие обобщения не подтверждены достаточным материалом, что обилие поэтических образов лишь ослабляет научную ценность книги, что вместо задуманного исследования получается поэма о горькой лесной судьбине.

Утром однажды, перечеркнув все, он положил перед собой чистый лист и с первых же строк запутался в определениях леса как предмета науки. Их к тому времени скопилось достаточно, взаимно непримиримых, потому что в каждом отражался обособленный взгляд на место леса в экономике эпохи и, следовательно, принадлежность автора не только к научному, но и политическому течению. Жаркие споры велись под столь же оживленный аккомпанемент топоров, так что у людей несведущих возникало законное опасение, уцелеет ли самый виновник разногласий ко времени выяснения истины. Даже понимая важность этой, порою только догматической борьбы, Вихров решил приблизить дело к здравому смыслу, то есть впрямую к интересам народного хозяйства и коммунистических потомков... Итак, книга должна была начаться критическим обзором исторических понятий о лесе с параллельными сводками убыванья его в России; по ходу работы потребовалось уточнить, откуда пошла формула вульгарного понимания леса и дерева как фабрики и рабочего, производящих древесину. Цитата вскользь упоминалась в одном труде у Тулякова, и ученик обратился письмом к учителю за дозволением при случае ознакомиться с источником в подлиннике.

Встреча состоялась в очередной приезд молодого лесничего в Петербург, года полтора после революции, в том же мрачноватом кабинете с тяжкими стегаными гардинами в предохранение от жизни, действительно несколько шумной в ту зиму. Все там оставалось попрежнему с тех пор, как студент Вихров в последний раз приходил с зачетом; только вместо сигарного ящика на громадном, с дворцовую площадь, столе уже выстроилась для генерального наступления фаланга аптекарских пузырьков, а на ближнем краю, откуда раньше свисали яростно исчерканные рукописи, теперь, судя по корешкам, поселились те утеши-

тельные книги, что проникают в подобные квартиры с черного хода, незадолго до гробовщика,— библия, траволечебники и нечто шарлатанское о звездах — с энциклопедией тибетских знахарей, Жуд-Ши, во главе. Туляков находился за порогом возраста, когда любые огненные впечатления действительности полегоньку вытесняются созерцанием начавшегося внутри телесного разрушенья. О происшедших переменах еще обстоятельней рассказывали отускневшие глаза старика, сидевшего за столом в шубе с поднятым воротником. Пахло тлеющим фитилем лампады, предусмотрительно погашенной домашними за то время, пока Вихров находился в прихожей.

Профессор пожурил молодого человека за рискованное путешествие в столицу, видимо пешком, ради столь очевидных пустяков.

— Вы зря раздевались, коллега,— пробубнил бывший учитель.— У нас прохладно, и не следует искать неприятностей сверх отпущенных на нашу долю историей.

— Ну, мне пока не по чину беречь себя от неприятностей,— сказал бывший ученик.— Кстати, доехал я великолепно, и, кроме того, отличная ростепель на дворе.

Вслед за тем скользкий разговор о причинах всероссийских бедствий,— в особенности явно фальшивый тон туляковского изумления по поводу восстановленного движенья на железных дорогах, заставили Вихрова сократить визит и круто перейти к цели посещения. Старик не подавал вида, что узнал своего студента, но Вихров сразу понял, что тот помнит его еще мальчиком с дровяного склада. Книга находилась на верхней полке, под пыльным потолком, основательно продымленным от неопрятной железной печки.

— Возьмите сами... кажется, третья справа, в кожаном переплете,— сказал Туляков, кивая на библиотечную лесенку.— Должен предупредить, однако, книга написана по-басурмански. Я не помню, была ли она в русском переводе.

— Ничего, я немножко маракую по-басурмански,— уже с верхней ступеньки и без нажима посмеялся Вихров.

Это было забытое сочинение Пютона «Traité de l'économie forestière», и можно легко представить двойственные мысли столичного барственного лесовода при виде

кухаркина сына, без затруднения листавшего ученые откровения на иностранном языке.

— Вам нужна бумага? — ища какого-то сближения, спросил Туляков.

Вихров благодарно кивнул, не отрываясь от страницы:

— Благодарю, я принес с собою...— и посмотрел год издания.— Чорт, как трагически мало знали люди еще вчера!

— Ну, в ту пору людское невежество с лихвой окупалось количеством и отменным состоянием лесов,— брюзгливо заметил профессор.— Видимо, главные истины о лесе будут открыты, когда он вовсе исчезнет с лица земли... и я считаю, что это вполне в силах человеческих. Так для чего же вам потребовалась эта справка, мой молодой коллега?

Скупо, но достаточно отчетливо Вихров изложил хозяину тему своей работы и связанные с ней затруднения. Тот с ироническим почтением отозвался о намерении пашутинского лесничего взяться за святое дело защиты лесов, в прошлом оказавшееся не по зубам наиболее выдающимся русским лесоводам; он также пробурчал что-то о вреде самонадеянности как в личной, так и в общественной деятельности.

— Я пришлю вам свою книгу, если ее когда-нибудь выпустят в свет,— невозмутимо пообещался Вихров, продолжая делать выписки.

Туляков достал из стола пересохший табак и без приглашения курить подвинул гостю через стол.

— Что-то я не припомню вас... но, насколько я понял из письма, вы слушали у меня лекции и даже знакомились с моими позднейшими зловредными твореньями?

— Да... и, кроме того, имел неоднократный случай убедиться в вашей доброжелательности к молодым,— на пробу намекнул Вихров для проверки своих сокровенных догадок.

— Весьма лестно услышать хоть что-нибудь приятное о себе. Может быть, пообедаете со мною?.. У меня сегодня разварная макуха на обед. Это готовится из жмыха... не едали?

— Приходилось в детстве... но благодарю, я уже ел сегодня,— рассеянно кивнул Вихров, не принимая вызова и улыбаясь одной, в особенности наивной странице Пютона.

— Позволительно спросить в таком случае, в какой степени вы разделяете мои суждения о лесе? — осторожно, не без скрытого волнения осведомился Туляков.

Все поведение гостя показывало, что туда, в енежскую глушь, еще не дошла совсем недавняя туляковская брошюра с возражениями против национализации лесов, жестоко освистанная год спустя, а покамест встреченная зловещим молчанием современников и самых близких учеников.

— Очень склонен разделить,— поднял голову Вихров,— если речь идет не о последнем вашем прискорбном выступлении, а о постоянстве лесопользования.— Имелась в виду та самая система лесного хозяйства, когда в целях сохранения источника древесины ежегодная вырубка производится в объеме полученного за год прироста.— Но я с досадой прочел это ваше недавнее сочинение, по счастью, самое краткое из написанных вами. Не хочу извиняться за прямоту... мы вступаем в грозную и неизвестной длительности полосу жизни, когда успех величайшего дела будет зависеть от строгости современников и поколений в отношениях между собой... Считаю эту статью вашей жестокой ошибкой. Впрочем, у вас и раньше попадались опасные неточности, дорогой профессор.

— Объяснитесь... поподробнее,— запнулся тот, как в шахматах передвигая пузырьки на столе.

— Насколько я сам разбираюсь в этом... мне всегда казалось обывательским ваше сравнение лесов и добываемого в них сырья с капиталом и рентой. Лес есть сумма производительных, а не производственных сил... Его можно назвать капиталом лишь в случае, когда он становится средством эксплуатации людей.

Туляков так и рванулся было к нему через стол:

— По-моему, в таком виде ваша формула равным образом бессмысленна. Производительные силы потому и производительные, что проявляются в производстве. В чем глубокомыслие вашего противопоставления? — Он запутался сам и рассердился.— И вообще, смею напомнить вам, мой не слишком молодой и недостаточно вежливый проситель, что еще в первом томе своего *Лесоустройства,* задолго до того, как вы появились у меня на кухне, я уже цитировал Маркса и даже получал шейное воздаяние от надлежащего начальства.

— У вас это звучит так, словно вы именно и открыли Маркса для русских лесников,— отвечал Вихров, еле удерживаясь от прихлынувшего задора.— Я до сих пор помню ваши благодеяния и вовсе не хочу обидеть вас подозрениями... но неужели Туляков способен требовать одобренья своих очевидных ошибок в качестве благодарности за те пособия, которые он регулярно посылал мне в студенческие годы? — Он по возможности бегло произнес эту, внезапно осенившую его догадку, и хозяин даже не пытался опровергнуть ее.— Мне только хотелось предупредить вас, учитель, что небрежное пользование высшей экономической математикой может завести вас в довольно безрадостные дебри.

— Это... угроза?

— Нет, но стремление удержать крупнейшего русского лесовода от повторного паденья, таким образом.

Серые, заросшие щеки Тулякова налились краской:

— Итак, вы читали ту мою... действительно ужасную брошюру?

— Да,— складывая свои записи, сухо заговорил Вихров,— и мне, видавшему вас когда-то в таком блеске, было грустно читать вашу браваду, объяснимую лишь непонятным мне озлоблением. Сперва я собирался писать вам открытое письмо, но решил, что будущая моя книга будет лучшим ответом. Не сердитесь на меня, я друг ваш... Я всегда считал ваши книги лесной классикой, и неприличный тон мой объясняется не столько дурным воспитанием... а прежде всего опасением за их дальнейшую теперь участь. Таким образом, на вашем месте я обошел бы книжные прилавки России и скупал бы, на последние гроши скупал бы свое злосчастное изделье вот для этой железной прорвы,— кивнул он на печку,— скупал бы, пока юное поколение не подросло. Чего же вы перепугались в революции — вы, сколько мне известно — крестьянский сын, подзабывший своих темных вологодских родичей? Ступайте пешком по стране, в армяке, если потребуется, прислушайтесь к гулу пробужденья в русском лесу, постарайтесь проветриться на этом бодрящем ледяном сквозняке. Да, вы очень больны, учитель.— Он встал, полагая сказанное достаточным для своего немедленного изганья, которого не последовало; это подбодрило его.— Слушайте-ка, я бы мог сразу захватить вас с собой на Енгу́... хотите?

— Ну, знаете ли... до сих пор никто еще не пытался лечить меня подобными прижиганиями,— растерянно вставил Туляков, не находя в себе сил для раздражения.

— А вы не задавались вопросом, профессор, *почему же* прочие воздерживались от этого лекарства?

Кажется, Вихров намекал на свойственную людям этого круга интеллигентскую деликатность, не позволяющую огорчать последние минуты старости, в то время как по моде века принято было не щадить их. Значит, прочие примирились с бесславным концом Тулякова, и кухаркин сын был первым, применившим огонь для его воскрешения к жизни. Тут оба они слегка умилились; старик неожиданно похвалил в госте высокое понимание взаимной гражданской ответственности, выраженное Вихровым в образе веревки, какою связываются люди при восхождении на вершину недоступного иначе ледника, когда нельзя ни упасть, ни уклониться в сторону без того, чтоб не расстроить порядок движения... Их глаза встретились. Туляков понуро побрел к окну, где внезапно возникла дробная уличная перестрелка.

— Я мог бы объяснить, как это получилось у меня,— глухо сказал он, разглядывая что-то сквозь оплывший ледяной натек на стекле,— но боюсь, что, пока не устроится новый порядок, никто и слушать не станет длинных туляковских рацей по личному поводу, а потом... потом все равно станет поздно.

— Отойдите от окна, Николай Фомич,— сказал Вихров после второй пулеметной очереди.

— Вы правы, молодой человек, люди трагически мало знали... и вчерашние всегда будут знать трагически мало. Это горько для живущих... но было бы хуже для прогресса, если бы действительность приводила нас к обратному заключению,— продолжал он раздумывать вслух.— Вы правы, я настолько постарел и несправедлив к жизни, что уже не очень уверен в своем моральном праве на кусок хлеба из будущих урожаев, а это, естественно, озлобляет... Но вы правы самой беспощадной правдой на земле, правдой честной и непримиримой молодости. По утрам всегда представляются наивными сомнения сумерек. Во всяком случае, не пожелаю вам в моем возрасте выслушать такое от способнейшего из ваших учеников... про возраст, армяк и браваду. Кстати, она при вас... моя брошюрка?

— Нет, она осталась дома, в лесничестве.

И тогда Туляков придумал несколько неожиданную форму благодарности за полученное от Вихрова удовольствие. Он предложил выкупить вихровский экземпляр осужденной статьи и, как бы на соблазн продавца, принялся выгружать из стола перевязанные папки скопленной за десятилетья архивной всячины; поступавшее позже было просто засунуто под тесемку. В глазах Вихрова цены ей не было, той бумажной рухляди, тем более что в одной из связок оказалось несколько неразборчивых тетрадок туляковского учителя — беглой лесной хроники, позволявшей проследить свертыванье зеленого коврика в Европейской России. Видимо, копя этот материал, Туляков и сам когда-то собирался заняться вихровской темой, но все откладывал, подобно исповеди на смертный час, и теперь расставался со своим кладом без сожаленья, как лесовод уступает преемнику любимую, не достигшую спелости рощу,— даже со стареньким чемоданом впридачу для доставки на вокзал.

В разговорах о лесе они просидели до сумерек. Старик торжественно зажег огарок свечи, последней в стране, по его мнению; свечей уже не продавали, их приходилось *доставать*. Вихров ушел, когда стеарину там оставалось всего на десяток минут.

— Забирайте же эту вязанку опавшего хворосту,— на прощанье сказал Туляков про чемодан.— Никто еще не уходил из лесу с пустыми руками. Любите лес, молодой человек... Да смотрите, ручка у чемодана не оторвалась бы.

— Ничего, я случайно бечевку с собой прихватил,— отвечал Вихров.

По молодости он не понял ни призыва к благородству судей, ни самоубийственной тоски, заключенных в этом даре, не поинтересовался даже, почему Туляков сам не использовал этот материал, одной публикацией которого, с комментариями, конечно, мог бы поправить свою репутацию в глазах современников тридцатых годов.

То было редкостное собрание документальных улик против разорителей русского леса. Наравне с такими жемчужинами, как расплатные ведомости с рабочими, запродажные нотариальные договоры, банковские иски к разорившимся лесовладельцам, даже копии сенатских актов о нашумевших в девятнадцатом веке лесных тяжбах,—

попадались и не менее ценные бытовые материалы, относившиеся к частной жизни лесопромышленной буржуазии: их сплавные и лесорубочные билеты, их интимная переписка, скандальные газетные вырезки об их ночных шалостях в столичных кабаках, рваные меню обедов и на баснословные суммы ресторанные счета и между прочим перл коллекции — пачка полуграмотных записок залетной кафешантанной канарейки Жермены к известному Кнышеву, верно, за полштофа и через подставное лицо выкупленных у пропойцы. Именно эти опавшие листья эпохи, как правило, бесследно истлевающие к приходу историка, помогли впоследствии Вихрову в довольно выразительных картинках показать распыление национальных богатств по карманам тунеядцев, а документацию обвинительных глав довести до степени вещественных доказательств... Все вместе и предопределило успех *Судьбе русского леса;* гражданский гнев, вызываемый наглядностью преступления, придавал вихровской книге качества разящего булата против свергнутого класса, в чем так нуждался тогда молодой и еще не окрепший строй. При последующем разгроме книги Грацианский, естественно, воспользовался упомянутым в предисловии подмоченным именем Тулякова, предоставившего автору тот щедрый дар.

3

Рукопись была отправлена в издательство осенью следующего года. После полугодового молчания Вихров сам собрался в Москву за ответом, и тут, как-то вечерком, на исходе зимы, по последнему санному пути к дому лесничего подъехала кошевка. Сперва Вихров почуял только холод от распахнутых дверей, потом увидел в окне сестру с чужой дорожной корзинкой в руках. Полузнакомая женщина с провинившимся видом, как ему показалось из-за занавески, снимала тулуп у крыльца и отбивалась от вихровского сеттера, по кличке Пузырев, имевшего намерение лизнуть ее в лицо. Вихров узнал Леночку по буфам на рукавах совсем износившегося пальто да по темной прядке волос, выбившейся из-под платка; как ни тянуло его поскорей вглядеться в милое лицо, он вышел к приезжей не прежде, чем подобрал подходящий для встречи тон

развязной старческой воркотни. Оказалось, медкурсы в Лошкареве закрылись ввиду преобразования их в медицинский техникум, с переводом в область, причем Леночка не попала в новый набор учащихся; для краткости она умолчала, что сама не явилась в приемную комиссии райздрава из страха анкет и расспросов о своем социальном происхождении. Попозже, за вечерним самоваром, у лесничего собрались соседи послушать приезжую, как ей там жилось, что̀ слыхать насчет свержения мирового капитала и почем масло на базаре, а та жалась к раскаленной лежанке и пугливо на все расспросы отвечала, что-де все очень хорошо. Нагрянувший на огонек Егор Севастьяныч выразил шутливое опасение, что теперь Леночка отобьет всех пациентов у старого лекаря, однако присутствующие уже понимали, что у Леночки оставался единственный выход, замужество — даже Пузырев, так откровенно расположившийся у ее ног, словно чутьем нахлебника угадывал в ней будущую хозяйку.

Через неделю по приезде затихшая было леночкина болезнь возобновилась. К прежним страхам и обостренному чувству нахлебницы прибавилось сознание своей непрощаемой вины — несколько преувеличенной, но не совсем беспричинной. До Пашутина краем дошли известия о гибели сапегинских барчуков на деникинском фронте, разумеется не на советской стороне. Никто в поселке ни намеком не обмолвился при Леночке, но зерно подслушанной молвы мгновенно пустило корни в подготовленную почву. Леночке казалось, что на нее, единственную, уцелевшую от развеянной семьи, и должна пасть кара за все преступления свергнутого режима. Не только вечерней дороги пугалась она теперь,— любая мелочь, косой взгляд прохожего, посетитель в военной форме, письмо со столичным штемпелем, где могло содержаться указание о вреде ее существования на земном шаре вообще,— все приобретало для нее особую значимость, известную ей одной. Тайком она сбегала на речку бросить в прорубь золотую брошечку, старухин подарок в минуту просветления и последнюю улику леночкиной причастности к мировому капитализму,— из колодца могли бы случайно вычерпнуть бадьей! Теперь Леночка могла с чистой совестью пойти в службу к Егору Севастьянычу. Она с головой ринулась в работу, но болезнь оказалась так сильна, что иногда за

целые сутки Леночка не успевала довести себя до спасительной степени усталости. Не было в больничке тише ее, старательней, но тут-то и поджидал Леночку первый удар; нанесла его Семениха.

То была высокая и суховатая старуха Ветрова из соседнего Полушубова, мать пятерых, знаменитых на Енге́ сыновей. Двое старших пали ефрейторами в первую мировую, оба следующих служили во флоте, и один, по слухам, в первый же месяц революции выдвинулся в Петербурге во всероссийскую высоту, а другой уже успел к тому времени принять геройскую смерть под Нарвой, от Юденича. Пятый и меньшой, Марк, еще мальчишкой тоже убежал в матросы, однако плавал не на морских, а всего лишь речных судах Камской флотилии, бившейся в ту пору с наступающим Колчаком. Сыновняя слава и пережитое горе придавали Семенихе ту медлительную и суровую осанку, с какой изображают родину на плакатах, и, правда, не всякий вынес бы с непривычки ее пронзительный, чуть скорбный взор. Сам Егор Севастьяныч, имевший частое и незаконное прикосновенье к казенному спирту, несмотря на симпатии в окрестном населении, испытывал томленье духа в ее присутствии, Леночка же просто избегала попадаться Семенихе на глаза. Случай свел их в перевязочной, и так как внешне леночкино состояние выражалось в особой влажности искательного взгляда, в униженной предупредительности к людям, то, естественно, Семениха, осведомленная о злоключениях сапегинской воспитанницы, усомнилась в ее искренности. Она только и спросила у Леночки: «Чего больно ластишься-то, барышня? Ай что недоброе загладить хочешь?» — с такой спокойной и зловещей лаской спросила, что у Леночки и ноги отнялись.

Теперь не спасло бы и замужество, потому что и оно не избавляло ее от пристального общественного внимания. К тому же Вихров бездействовал, не умея разгадать молчаливый леночкин недуг, понимая ее зависимое положение, даже не смея представить на ее высокий суд всю тысячу во имя ее же исписанных страниц! Новые темы просились к нему на перо, но он почти не присаживался к столу, а главным образом шатался с ружьем по оттаявшим зыбинам или встречал рассвет в уединенном шалашике на Пустоша́х. Шла стремительная весна, лес стоял голубой, еще не проснувшийся, но ледок уже прозеленел

на пашутинских прудах, а грачи принимались за починку старых гнезд. Стесненно улыбаясь, Леночка таяла на глазах: тем быстрей уходила со снегом, чем больше окружали ее участием и теплом. Впрочем, домашние примечали, что нет-нет да и сверкнет в ней какая-то непреклонная, загнанная сила из-под опущенных ресниц, отчаянная, как воля к побегу. Егор Севастьяныч хоть и являлся знатоком человеческих организмов всего лишь в пределах от водянки до грыжи, тем не менее настоятельно присоветовал Таиске не оставлять девушку без присмотра, особливо в сумерки.

Тогда горбатенькая попыталась ускорить дело.

— Вот поговорить хочу с тобой, Иваша...— сказала она брату.— Ровно опаленная, ходит сиротинка-то наша.

— Верно остудилась. Малины ей завари да вели баньку истопить.

— Эх, чем зверей-то губить неповинных да сапоги по цапыге рвать, вил бы ты гнездышко пока! В самом разгаре твое лето, Иваша.

— Племянников нянчить захотелось? — отшучивался брат.— Что ж, я не прочь, подбери мне какую-нибудь бобылку в пару, на деревянной ноге.

Она настаивала, снимала невидимые соринки с рукава его форменной тужурки:

— Полно изъянами-то выхваляться!.. Зато ты теперь уж от любого горя страхованный. Осподи, да по военному-то времени цены нет такому жениху! Вся округа свадьбы вашей ждет. И чего, чего вам обоим мучиться? Глянул бы, извелась вся...

— Смотри-ка, сестра, в омут ее загонишь. Пусти мою руку и не смеши людей, таким образом! — И снова закатывался на дальние кордоны своих владений, где все заманистей на утренних зорьках гремели тетеревиные поединки, а на вечерних — дразнило овечье блеянье бекасов.

Это сопротивление заставило Таиску подхлестнуть ход событий с противоположной стороны. Она надоумила Леночку расспросить брата о целях его профессии, в частности — за что именно он в такой степени любит лес, а это было равносильно вопросу о смысле его существования. Вихрову и суток не хватило бы на обстоятельный ответ, а за это время, по хитрым таискиным расчетам, и должно было между делом состояться объясненье. Да Леночка и

сама не раз задавалась вопросом, почему содержанием своей книги Иван Матвеич избрал не что-нибудь красивое, вроде яблони там или крыжовника, а обыкновенные деревья, которые и без людской заботы растут. Для Вихрова дать ответ на столь кардинальные вопросы бытия удобнее всего было в лесу, с наглядными пособиями под рукой. Лесничий назначил экскурсию на следующее утро, пораньше — с тем, чтобы завершить посвящение Леночки в лесное знание до наступления темноты. Они вышли из Пашутина, провожаемые одобрительным напутствием всего поселка из-за приспущенных занавесок, и, как всеми было замечено, даже без Пузырева. С востока к лесничеству примыкала довольно обширная пашня с проселком посреди; никто не отошел от окошка, пока лектор и его аудитория не исчезли в перелеске.

Стояла та бессолнечная, знобящая майская рань, проникнутая настороженной тишиной, как перед началом концерта, когда все уже в сборе и ждут лишь запоздавшего дирижера, а невидимые пичуги на детских кларнетиках пробуют отрывки завтрашних мелодий, и потом стучит дятел в черно-желтом фраке, приглашая ко вниманью, и вдруг приходят в движение самые могущественные законы жизни, и — под напором разбуженных соков рушится зимний сон, а лес одевается дружным шелестом лета... Но все это настанет завтра, а пока нечем потешить взгляд, кроме робкой прозелени лужаек на пригреве, как бы тронутых ученической кистью, да деловитых грачей, колупающих оттаявшую почву в прошлогодней борозде.

При вступленьи в лес Вихров отделил почку от черемухи, погрызенной зайчишком, и на ладони преподнес своей спутнице с таким торжественным видом, словно подарок невесте вручал на пороге новоселья.

— Зачем? — удивилась Леночка.

— Это мои приятели, семья моя бьет вам челом за неимением даров побогаче...— с чувством сказал лесничий.— Не гнушайтесь, берите. Таким образом!

Растертая в пальцах почка пахла горьким миндалем, придавая праздничность всему остальному, что томилось в сероватой дымке вокруг.

— Пахнет хорошо как!..— подивилась Леночка.

— О, я покажу вам нынче десятки спрятанных от посторонних глаз маленьких откровений! — строго и торже-

ственно сказал лесничий.— Но для этого нам придется свернуть с дороги. Не озябли пока?

— Ничего... Тетя Таиса велела мне потеплей одеться.— И вдруг догадалась, что сегодня произойдет главное и желанное в ее жизни, отчего на душе у ней стало печально, жутко и весело.

Для задуманной цели больше всего подходили верховья Склани, где самый возраст, благородная зрелость растительных великанов невольно внушали почтение к ремеслу лесника... но Вихров почему-то повел свою избранницу в направлении на Шиханов Ям, сперва вдоль незаконченных с осени дренажных канав, затянутых у берега ледяной кромкой, а потом — прямо по целине — в наиболее болотистые и даже летней порой неказистые дебри сохранившегося Облога. Видимо, лесничий предполагал начать с худшего, чтобы к наступлению ночи поразить Леночку зрелищем созвездий, запутавшихся в неводах сосновых крон. Из-под кочек, едва ступишь, уже выбивались глиняного цвета струйки, так что та понемногу начинала понимать всю серьезность выпавшего на ее долю испытания... И, точно предвидя, как много в его судьбе может зависеть от этой девушки, лес униженно бил Леночке челом: то кланялся издалека цветком медуницы, то, на пригревах, стлал под ноги золотой коврик чистяка, а где похолодней да помокрей — тешил Леночкин взор светлозеленой россыпью chrysosplenium'а и, наконец, изредка улыбался голубыми глазами только что расцветшей перелески с почти приметным трепетаньем ресничек.

— Как, интересно вам здесь? — с ревнивой любезностью хозяина спрашивал Вихров.

— Очень...— кивала Леночка.— Я никогда не бывала в лесу в эту пору!

Местность становилась все ниже, а лес безрадостней и бедней; вешняя вода сипела под многолетней дерниной бурого мха. То было смешанное мелколесье третьего бонитета с запасом древесины кубометров в тридцать на га, забитое всеми лесными напастями, кое-где затопленное водой, и того же неопределенного возраста, что и люди в беде; все же почти рукопашная схватка пород происходила здесь. Снизу, от ручья, темная и в космах сохлого хмеля, ольха наступала на кривые, чахоточные березки, как бы привставшие на корнях над зыбкой, простудной

трясиной, но почти всюду, вострая и вся в штурмовом порыве, одолевала ель, успевшая пробиться сквозь лиственный полог. Впрочем, нелегко и ей доставалась победа: иные стояли без хвои, у других груды осклизлых опенок сидели в приножьи. Руководясь этой приметой, лесничий без усилия надорвал кору на ближнем дереве и со значительным видом, без объяснения пока, показал Леночке расточенную короедом изнанку. Так началось это самое смешное из всех случавшихся ранее любовных объяснений.

— Итак, мы входим в лес,— отрывисто и с волнением заговорил Вихров,— или, как его называют некоторые кабинетные мудрецы, *био-гео-фито-ценоз,* что в переводе на язык нашего брата, неучей, означает сложное сообщество живых, преимущественно растительных организмов, взаимно создающих друг друга и находящихся в постоянной *коакции,* то есть, по-русски, во взаимодействии с почвой, климатом и ландшафтом. Как видите, ничего в этом определении леса не пропущено... разве только *зооценоз* в виде пролетной птахи, оставляющей некоторые азотистые накопления в своей летней резиденции...— и посмеялся жестким звуком, словно дерево терлось о дерево.— Ничто не пропущено,— говорю я,— если не считать человеческой деятельности в нем и тех насущных условий, необходимых лесу для выполнения его основных задач на главнейшем фланге жизни. Конечно, за изгородью заповедников да в недоступной колесу тайге сибирской еще отыщутся у нас вековые боры и рощи, но смотрите же, как выглядит сегодня в натуре обыкновенный лес, о бедах которого мы вспоминаем лишь с топором в руке. Вам... вам не трудно следить за ходом изложенья?

— О, что вы, нисколечко!..— покорно отозвалась Леночка, потому что для того, главного, стоило претерпеть и не такое.

Все ждала, что, начав с леса, он произнесет затем красивые, обязательные в *таких* случаях слова о своих чувствах, что-нибудь хорошее, на всю жизнь подкупающее — о ней самой, но вместо того Вихров распространился о гидрографической карте местности с геологическими рубцами от древнего ледника, о каком-то, в этом месте, подземном *ортштейне,* губительной каменной преграде для корней, словно глядел на двадцать метров в глубь земли,— даже об истоках крестьянского, подтвержденного Витру-

вием поверья, будто для прочности дерево надо рубить при убывающей луне, и правда ли, что семена березы не терпят прикосновенья человеческой руки. Он говорил также о назревших надобностях и древних обидах леса, а так как немало их скопилось в русской истории, то Вихров едва добрался до Григория Котошихина, когда в лесничестве зазвонили к обеду. Учитывая некрепкое сложение девушки, стоявшей по щиколотку в ледяной воде, он для краткости скинул полдюжины царей и сам ужаснулся размеру оставшегося... но только на своем лесном языке он и мог рассказать Леночке о предстоящих им совместных заботах и огорчениях, таких подчас несоразмерных с маленькими радостями лесника.

Никогда впоследствии не говорил он так убедительно и зло о любимом предмете; многие классические страницы его последующих книг отлились именно тогда, в разбеге его запальчивого вдохновенья. Но тем слышней в этом нагромождении выводов, формул и ботанической латыни Леночка различала скрытый любовный зов, почти мольбу, расцвеченную какими-то набухшими словами,— все те проникновенные интонации, что доходят до женщины издалека, сквозь любые преграды запрета, сна и девственного неведенья. И опять, будь его любовное объясненье капельку попроще, как у большинства людей, она охотно пошла бы к Вихрову в жены, чтобы честно штопать его одежду, растить его детей, делить пополам горе от Грацианского, но он слишком много валил к ее ногам, вминая одно в другое,— мысли и планы своих еще не осуществленных книг, самую жизнь свою, и опять Леночке нечем было в равной мере оплатить пугающую вихровскую щедрость... Лес толпился кругом, иззябший, захлебнувшийся в воде и как бы с опущенными руками, с настороженностью глухонемых вслушиваясь в бормотанья своего заступника.

— Признавайтесь же... не скучно вам пока? — время от времени не очень уверенно осведомлялся Вихров.

— О нет, напротив!..— улыбалась Леночка, стараясь забыть про влажный холодок, струившийся к ступне сквозь проношенные ботики.— Я и не думала, что про *это* можно рассказывать так интересно и... много. Говорите, говорите еще...— Она терпеливо ждала, что теперь-то он и догадается сказать ей, как немыслимо ему существо-

ванье без нее, а она сразу согласится, прежде чем Вихров успеет договорить до конца, и тогда они даже поспеют к послеобеденному чаю, и можно будет надеть уютные, стоптанные таискины валенки, и впервые она проведет ночь без сновидений, составленных из погонь, шорохов за спиной и допросов.

— Теперь уже близок конец...— участливо обнадежил Вихров.— На чем же мы остановились? Итак, значит, коснемся мельком печальной повести о наших северных лесах...

Пожалуй, для полного введения в лесную науку оставалось лишь рассказать о типах древостоев, особенностях рубок, системах лесного хозяйства... впрочем, до заключительной части следовало, пусть мельком, помянуть имена тех, кто в прошлом хоть добрым словом отозвался о лесе. Это была родословная его идеи, так что было немыслимо миновать суждения Маркса и Энгельса, а тем более Ленина о первобытных способах эксплуатации лесов, а вслед за тем как-то сами, в разбивку, навернулись на язык и державная брань Петра в адрес расхитителей отечественного дуба, и причитанья князя Васильчикова об исчезающих русских дубравах, и лесные инструкции наполеоновского Кодекса, и, наконец, для заключительного аккорда, похвальное слово лесу некоего Бернарда де Клерво.

— Какой, какой Бернард? — единственно из добросовестности, чтоб ничего не пропустить, ввернула Леночка.

Остановленный в разгоне проповеднического вдохновенья, Вихров с досадой взглянул в ее сторону и вследствие пасмурного освещения, что ли, не заметил ни ее посиневших губ, ни умоляющего вида, с каким девушка переминалась с ноги на ногу.

— Ну, был один такой француз двенадцатого века... а что?

— Он тоже что-нибудь... по лесному хозяйству?

— К сожалению, всего лишь аббат и проповедник, но... зачем вам потребовалось это?

Та и сама не знала; просто резнуло иностранное имя в разговоре о русских соснах и березах. Привлечение того злосчастного Бернарда в радетели за русский лес впоследствии доставило Вихрову уйму житейских огорчений и даже в такой степени, что лишь редакционная, в центральной

печати, статья защитила вихровского первенца от полного разгрома.

Однако Вихров не внял предупреждению, и в следующую минуту, припав к березке поблизости, Леночка разрыдалась с таким отчаянием, что вершинка содрогалась в высоте. Конечно, не лекция была причиной, а просто прикинула начерно, сколько ей еще придется вытерпеть впереди до окончательного забвенья ее неизвестной вины.

— Не обращайте внимания... это у меня с непривычки, скоро пройдет,— всхлипывала Леночка, вытирая слезы и оставляя на щеках белые полосы от бересты.— Всю прогулку вам испортила!

— Нет, это вы меня простите, касатушка вы моя... Представляю, судя по такому началу, какой из меня в будущем лектор получится! Да успокойтесь же, я так прошу вас...— и еще что придется бормотал Вихров, не смея глаз на Леночку поднять.

— Ничего, вот уж проходит. Теперь после дождичка все спорей распускаться станет...— Она пыталась шутить, но плечи еще содрогались.— Мне просто представилось, что так и простою всю жизнь, бессмысленная... как в яме. И потом капельку в ботики натекло... Ничего, вот и прошло!

...Тем временем разветрилось. Горячие дымчатые лучи пронизали сумрак ельника; где-то в глубине за ним сверкал залитый солнцем, почти отвесный скат овражка, выводившего наверх из низины. Повернув голову, Леночка вслушивалась в доносившееся оттуда гортанное лопотанье.

— Кто это там?

— Это вода,— подавленно сказал Вихров.— Пойдемте-ка на солнышко... сушиться.

Сюда, в узкую промоину, теплынь пришла неделей раньше; обильно цвела мать-мачеха на просыхающей глине, и качались лиловатые тени еще голых ветвей. Ручеек гибко скользил меж камней; было удобно взбираться по ним, как по ступенькам, держась за красные прутики тала с намывами прошлогодней листвы. Тотчас за поворотом объявился бочажок с настоящим водопадом высотой ладони в полторы. Молодые люди без сговора опустились на естественную скамейку оползня; лесничий помог Леночке снять намокшие ботики,— они скоро задымились на пригреве.

— Здесь тоже совсем неплохо, таким образом,— сказал Вихров, оглядевшись.— И не сердитесь на меня... я не рассчитал размера... доклада своего, но я так долго ждал случая поговорить с вами... о самом важном!

— Не надо больше,— просительно остановила Леночка.— Давайте слушать воду... Ну, о чем она лепечет?

— О чем? ...верно, балаболит своим друзьям, обреченным стоять на месте, про все, чего навидалась в своих странствиях.

С минуту оба разглядывали отмытую гальку на дне бочажка, где свивались тугие прозрачные струйки теченья.

— А похоже... на странницу — согласилась Леночка.— Хоть бы передохнула. Нет ничего болтливей воды...

— Кроме меня,— виновато досказал Вихров.

— Неправда... вы очень хорошо про лес говорили. Конечно, я необразованная, мало поняла, но... пожалела его!

— Значит, плохо говорил...— засмеялся Вихров.— Лесу не жалость, а только справедливость нужна... как и всему живому на свете.

Разговор становился проще, и кажется, дело подвигалось на лад.

— Я никогда не знала, что такое мать,— вдруг сказала Леночка, может быть, пытаясь насильственно приучить себя к этому человеку.— Наверно, у вас добрая была... вы ее любили? Расскажите что-нибудь о ней...

Пока Вихров собирался с ответом, вдруг запел дрозд; он спел немного, всего лишь на пробу — перед холодной вечерней зорькой, но так проникновенно никто пока не пел с зимы.

— Не знаю,— вслух раздумывал Вихров, стараясь попасть камешком в листок, крутившийся в водовороте.— Это особый и большой разговор. Крестьянские дети в России всегда вырастали в презреньи к чувствительности... тысячелетняя воинская закалка нации. К тому же я рано расстался с матерью... не помню, успел ли я сказать ей хоть ласковое слово? Крестьянская мать — это ближайшая часть родной природы, и, может быть, оттого я доныне чувствую на себе ее прищуренную, чуть печальную приглядку, какой провожают сына, навечно уходящего за порог. И никуда от нее не уйдешь, никуда, как из-под неба. Отсюда так сильна у русских потребность постоянного общенья со своей родиной... оттого-то так и неуютно

русскому на чужбине, и, конечно, Валерий прав, что у нас в простом народе общенациональные связи прочнее личных и даже родственных... Словом, когда открылись мои глаза на мир, надо мной склонялся лес... здесь и лежат корни моей привязанности к нему, таким образом...

Он озабоченно прислушался, издалека и вперемежку с голосами донесся приближающийся, такой гулкий в пустом лесу, собачий лай.

— Кто он, этот Валерий? — тихо спросила Леночка.

— ...и гораздо ближе родни были мне мои товарищи по институту,— не расслышав, продолжал Вихров.— Нашу тройку ставили в образец дружбы, пока всех не разметала война... ну, и некоторые другие события! Когда-нибудь единственной формой родства между людьми станет такая бескорыстная круговая порука единомышленников. Она, как крылья запасные... и если ослабнешь в большом полете, они несут тебя и не дают разбиться. Так вот, в нашей тройке Валерий был коренником.

Он говорил все это, опершись локтями в колени и уставясь глазами в дальний край бочажка, где небыстрое теченье расчесывало зеленую прядь тинки, уцепившейся за сучок. Струйчатые блески воды перебегали по вихровской щеке, и что-то становилось Леночке очень близким в этом человеке; возможно, она и сама произнесла бы в тот раз некоторые решающие слова, если бы не нарастающий треск валежника над головой, и вслед за тем почти свалившийся сверху Пузырев с разбегу лизнул ее в лицо. В ответ на его призывный торжествующий лай мужской голос дважды и совсем близко окликнул лесничего по имени.

— Нас ищут. Сидите здесь... я узнаю, в чем дело,— с досадой, поднимаясь, сказал Вихров.

Он ушел, шаги затихли надолго. Желтая бабочка прилетела взглянуть, кто тут сидит. Похолодало в воздухе, солнце спряталось, Вихров все не возвращался. Стало накрапывать, зарябилась вода в бочажке. Леночка натянула на ноги еще волглые ботики и перебралась под шатер ели, повыше. Меж деревьями показались двое незнакомых людей в сопровождении лесничего: он взволнованно объяснял им что-то по дороге. Один из них был в длинной кавалерийской шинели с планшетной сумкой на ремне. Пузырев начинал проявлять признаки беспокойства. Все стало

понятно Леночке; она поднялась, набрала воздуху в грудь и, обдернув пальто, бесчувственными пальцами снимала приставшие к нему былинки.

— А я только что рассказывал ей про вас,— в явном смущении объяснял своим спутникам Вихров.— Знакомьтесь, Леночка... это и есть мои милые петербургские друзья. Как видите, легки на помине!

4

Тот, что повыше, с землистыми впадинами глазниц и в долгополой шинели — без хлястика и заметно пахнувшей госпиталем, иронически буркнул: «Понятно, понятно»,— и назвался Чередиловым. Другой, в телячьей куртке и с бородкой, как у Вихрова, приподнял старенькую шляпу, обнажая высокий лоб и длинные волосы мечтателя.

— Мы нагрянули не во-время и, кажется, перепугали вас, но мы верные боевые друзья Ивана,— объявил он, проницательно засматривая в еще бледное леночкино лицо, и выразил шутливую надежду, что привезенные ими добрые вести несколько окупят произведенный их прибытием переполох.

— Напротив, я сразу признала вас по описанию,— несколько оправившись, отвечала девушка.— Иван Матвеич часто, даже сегодня, вспоминал вашу неразрывную петербургскую тройку, и как вы в ссылку уходили... ну, и все прочее. Ведь вы тот самый главный, третий по счету, Крайнов Валерий?

— Нет, нет, я как раз четвертый, сверхштатный в этой тройке. А фамилия моя — Грацианский...— уточнил приезжий и, когда в ответ на это имя ничего, кроме растерянности, не отразилось в леночкиных глазах, высказал колкую догадку, что Иван Матвеич сократил его в своих рассказах, чтоб не засорять пустяками столь прелестную головку.— De nihilo — nihil... неплохой каламбур, не правда ли? — почти безоблачно обратился он к Вихрову.

Радость встречи омрачили и еще кое-какие мелочи, даже недостойные упоминанья, пожалуй, если бы благодаря им не наметились первые трещинки в том прославленном братстве. Началось уже по дороге к дому, как только Леночка ушла с Пузыревым вперед помочь Таиске

по хозяйству... К измороси прибавился пронизывающий ветер, но друзья не торопились за стол, стремясь восстановить утраченную близость и хорошенько продрогнуть перед чаркой. Вихров жадно расспрашивал о столичных новостях, о только что закончившемся Двенадцатом съезде партии, о делах на Дальнем Востоке, откуда помаленьку пороховым дымком выкуривали последних интервентов,— о друзьях и знакомых, наконец. Оказалось, Туляков вернулся на кафедру в институт, Слезнев исчез бесследно, а Валерий всю гражданскую войну провел в должности члена военного совета разных фронтов,— тут-то и повидался с ним Чередилов! — после чего, по слухам, ездил на профсоюзную конференцию за границу.

— Гремит твой Валерий, в значительные чины восходит,— с оттенком недоброго восхищения заключил Чередилов.

— Это хорошо, что наши в гору идут,— волнуясь, признался Вихров.— Все тянуло меня написать ему, да как-то решимости не хватало напоминать о своей особе в такие горячие деньки...

— И правильно сделал,— строго и вскользь заметил Грацианский.— Небожители не терпят напоминаний о прошлом, когда они занимали трешницы и пешком передвигались по земле.

— Потому-то и хотелось бы мне, Сашко,— подмигнул Грацианскому Чередилов,— два-три годка для опыта посидеть, скажем, в бразильских королях. И, скажем, прибываете вы оба в гости ко мне по старой памяти... Интересно, принял бы я вас тоже через флигель-адъютанта, во всех регалиях... или попроще обошелся бы? Видать, состав воздуха другой в горных-то высотах...— Чередилов явно намекал на какие-то известные Грацианскому и обидные для старой дружбы обстоятельства своего последнего свидания с Валерием Крайновым.

Вихрова резнул тогда не столько даже их ворчливый отзыв об отсутствующем товарище, сколько самое сравнение его революционных постов с королевской должностью. В ответ на осторожный вихровский вопрос, как происходило дело, Чередилов озлобленно посмеялся; по его словам, библейский отрок во рву львином чувствовал себя раза в два с половиной уютнее, нежели он сам в служебном вагоне товарища Крайнова, где тот распекал его за

некоторые преувеличенные и якобы чужие оплошности по службе. «Течем, растем, государством становимся...» — с нескрываемой враждебностью поскрипел Чередилов и прибавил, что только госпиталь спас его от крайновского гнева и связанного с этим неминуемого административного увечья. И тогда у Вихрова, чью совесть всю дорогу растравлял карболовый запах от бывалой чередиловской шинели, вслух прорвалась наивная и благородная зависть ко всем, кто в те священные годы, как он выразился сгоряча, с винтовкой и *Варшавянкой* на устах проламывал ворота в новый мир.

Приезжие лишь переглянулись в ответ на его тыловые восторги, а Чередилов даже покашлял со значеньем для Грацианского; нет, не пламя великих походов, как ждал Вихров, а равнодушие крайней усталости читалось в его пепельно-землистом лице. Трудно было отыскать черты прежнего забияки, озорника, удачливого баловня судьбы в этом долговязом, исхудалом солдате, каких вдоволь попадалось на вокзальных эвакопунктах и голодных базарах гражданской войны.

— ...Значит, шибко тебя подстрелили, Гриша,— если в госпиталь пришлось уложить! — почтительно заметил Вихров.

— Иначе не помчался бы на поправку в твое утешное гнездилище,— засмеялся Чередилов.— Сперва к отцу было собрался, да вот решил, что лесничим нынче посытней живется, чем дьячкам.

— Значит, жив еще твой старик? — неосторожно удивился Вихров, вспомнивший причину чередиловского исчезновения из Петербурга десять лет назад.

— А чего ему, старому хрену, поделается!..— отмахнулся Чередилов и вдруг, вспыхнув, с непонятным раздражением, сверху вниз, глянул на Вихрова́.— Ну, а ты... чего тут проламывал, хе-хе, в наши священные годы?

Вопрос прозвучал так грубо, что Грацианский лишь покосился на спутника.

— Да дело мое шибко плачевное, брат,— чистосердечно и по прошествии некоторого времени сознался Вихров, не смея помянуть из робости ни про свою лесовосстановительную деятельность, ни про участие в местных комитетах бедноты.— Правда, кричать *ура* гожусь по-прежнему, а вот бежать в цепи со штыком наперевес...

видишь ли, после раненья нога у меня плохо гнется в колене, таким образом.

— Однако сие плачевное обстоятельство не мешает тебе посильно срывать цветы удовольствия. Признавайся, мы тебя того, ненароком... не спугнули? — и на редкость гадко подмигнул, легонько толкнув Вихрова в бок.— Ты уж не серчай, старик: это сестра твоя нас до леса, к месту преступления, довела...

Вихров только крякнул в ответ на это и не счел возможным обидеться на фронтовика, несколько поотвыкшего от хороших манер в условиях окопного существования. Чтобы смягчить неловкость и помочь товарищу выпутаться из оплошности, он поспешно перевел разговор на историю енежских лесов за последние сорок семь лет, как вдруг Чередилов снова осведомился, женат ли Вихров.

— Чудак же ты, Большая Кострома! Ну, какая же дуреха за меня, этакого, пойдет!

— А кто же эта, была с тобой... спелая такая отроковица?

— Ну... живет при лесничестве одна,— извернулся Вихров и, во избежанье кривотолков, вкратце посвятил друзей в обстоятельства ее появления в Пашутине.— А... что тебе в ней?

— Да просто так, мордашка приятненькая, и ресницы, чорт, как у ячменя. Ты здесь, Иван, ровно болярин в древней вотчине устроился!.. Небось, и коровка имеется?

Вихров нахмурился:

— Не улавливаю связи, поясни. Мы тут, в провинции, несколько поотстали от светского обращения.

— Я к тому, что... трепещи, старче! Сперва разорю тебя на молоке, а там, глядишь...

На этот раз охватившие Вихрова чувства пересилили даже почтение к чередиловской карболке.

— Видишь ли, человече,— не повышая голоса и в тон ему выцедил он,— по долгу хозяина я обязан стерпеть и пошлость от дорогого гостя... само собою, при условии, что она не повторится в дальнейшем. Давай лучше помолчим пока... до приема пищи по крайней мере. Таким образом.

Видимо, подобное поведение Вихрова было в новинку приезжим. В питерский период он слыл за одного из тех кротких и удобных простаков, способных выдержать креп-

кую шутку; у таких, при очевидной их нищете, кто понаглее берут взаймы на выпивку, без отдачи... Молчавший всю дорогу Грацианский с ледяным вниманьем смерил Вихрова глазами, а Чередилов вообще так и не понял, почему *это* жжется. К счастью, оставалось не больше ста шагов до дома; уже Таиска с крыльца звала их к столу, где среди всяких обливных мисок и горлачей красовалось и топленое молоко с пеночкой. Не раздеваясь, Чередилов проткнул ее перстом и опустошил крынку в полтора дыхания, а случившийся при том Егор Севастьяныч отметил вслух, что у приезжего товарища железный организм на эту штуку, а Грацианский заявил за приятеля, что тот не страшится вражеских наветов, после чего все, дружественно рассмеявшись, пустили в круговую кружку первача, и царапинки на самолюбиях затянулись духовитым, столь целительным после прогулки паром жирных щей.

Ближе к ночи и после лютой баньки, за чайком из березовой *губы,* гости несколько сдержанно, чтоб не зазнался, поздравили Вихрова с небывалым для рядового лесника московским успехом. Правда, обоим им в Москве не досталось и полистать сигнальный экземпляр вихровской книги, «не записамшись заблаговременно в очередь на читку», но Грацианский, сидевший на библиографии в *Лесном Вестнике,* из достоверных источников слышал о лестном отзыве одного сверхзначительного лица, якобы назвавшего Вихрова нашим *советским* Туляковым. Кстати, Вихров довольно рассеянно принял приятную новость: он все думал, куда и под каким предлогом во избежание дальнейших пересудов удалить из Пашутина Леночку на время пребывания гостей.

Три вечера затем, пока непогода не позволяла лесничему похвастаться перед товарищами своим хозяйством, он лично знакомил их с отрывками своей книги, и все три вечера Грацианский высидел с печально оскорбленным видом, не проронив ни слова. Чередилов же до конца так и не смог оправиться от начального потрясения, словно даже в мыслях не мог допустить, что книга эта, зычный хозяйский окрик и гневная ирония в адрес расточителей зеленого достояния могли исходить из такого щуплого человеческого инструмента. На беду свою, Вихров, плохой политик, даже не сделал попытку, хотя бы из вежливости, узнать мнение своих слушателей, и Грацианский сам скрипуче

поинтересовался, желательно ли ему, в свою очередь, послушать суждение не совсем посторонних к этому делу лиц. Впрочем, вначале он дал высказаться Чередилову, и тот не сумел скрыть, что у Ивана получилась книга большой пробойной силы.

— В общем, ты довольно выпукло пишешь, хотя... чтоб не получилось разногласий с кем-нибудь, можно бы и не так выпукло,— осторожно намекнул он.

— Мерси,— иронически кивнул Вихров.— Но с топором надо говорить на его же беспощадном языке.

Очередь была за Грацианским.

— Ну, что же утешительного сказать тебе, Иван...— заговорил тот, протирая пенсне, чтоб сосредоточиться на мыслях.— До некоторой степени Григорий прав, пожалуй... и ты уж извини меня за эту непрошенную искренность, которою всегда измеряется степень уважения к собеседнику. Не скрою, мне нравится твой провинциальный задор, хотя и с оттенком неприятного ригоризма, и даже представляется значительным самый труд, э... и не только по количеству потраченной бумаги, далеко нет! Но горе твое в том, Ваня, что, беря под защиту *зеленого друга,* как не слишком удачно ты назвал своего подопечного, ты пускаешься в опасное, сказал бы я, плаванье. Дело, пожалуй, не в умилении твоем перед объектом, которое неминуемо приводит к умалению его... больше того: промах твой я вижу не в уподоблении леса живому существу, хотя, повторяю, вряд ли в нашу эпоху этот идиллический антропоморфизм доставит тебе тихие творческие радости... нет, Иван, горе твое в забвении основной роли леса, служившего на протяжении веков не только одним из источников народного существования, но и безответной рессорой государственной экономики в России. Оплакивая судьбу лесов вчерашних, ты тем самым навязываешь систему поведения и дню завтрашнему, когда нам в особенности потребуется древесина, э... и как раз из запаса территорий европейских! Но так было и так будет, милый Иван, пока через сотню лет мы, то есть освобожденное человечество, не подкопим достаточно сил для исправления варварских ошибок прошлого во всепланетном масштабе. Утешься, старина: прогресс не остановится... по истощении местных лесов он просто переберется в другие, нетронутые районы. На худой конец можно перенести и столицу подальше на восток, за Урал! Однако...—

он погрозил мизинцем, и пенсне сверкнуло в его руке длинным рапирным блеском,— стоит ли тебе, наивный хитрец, встревать на пути лесоруба, вооруженного топором и воспламененного великой идеей? Подумай, дружок...

Вихрова слегка лихорадило, пока тот брюзгливо, слово за словом, вытягивал из себя все это. Он сознавал, что его непримиримые лесные выступления могут вызывать столь же страстные возраженья, но его обижал этот угрожающий тон и развязное обвинение в смертном грехе хитрости, потому что в жизни всегда страдал как раз от ее отсутствия.

— Брось, Сашко... человек еще на ноги не поднялся, а уж ты ему поджилки режешь мелким ножичком,— вступился было Чередилов, одновременно, ради ободрения, потискивая руку автора.— Да успокойся ты, Иванище... не видишь разве, что он дразнит тебя?

— Так ты скажи ему, чтоб не стращал! — кипятился Вихров.— С лесорубом-то я договорюсь: мы граждане одной страны...

— Ну, не рассчитывай, однако, что тебе удастся исключить и меня из этого разговора, э... с той же легкостью, с какой ты выкинул меня из нашей петербургской тройки,— усмехнулся Грацианский, примирительно опуская пенсне в замшевый чехол.— Во всяком случае, книга твоя такова, что ее нельзя не напечатать... любая ненапечатанная книга умножает силу заключенного в ней исторического обвинения... но я делаю первую заявку на право обстоятельного ответа. Ладно, я твой друг, и давай выпьем... нет, не за книгу, а за то, чтобы она по возможности безболезненно сошла тебе с рук!

Таиска искренно покручинилась на эту петушиную вспышку молодых, прозорливо предвидя практический размах будущих разногласий; она трезвее брата понимала житейские пружины этой начальной ссоры. И впоследствии, бывало, она грустно качала головой на гневные домыслы Вихрова, что Грацианский просто недолюбливает лес, а, пожалуй, и свою страну заодно. Вовсе не в том было дело, по ее мнению... да, кстати говоря, в ту пору Грацианский, возможно, и любил Россию, только без радостного озаренья, без молчаливой готовности проститься с жизнью ради нее, как это свойственно тем, кто создает повседневные ценности и славу своего отечества. Грацианский любил

ее как необыкновенной прелести экзотическую тему, зародившуюся в распадные годы его совершеннолетия — с вихревыми тройками, прославленными впоследствии на папиросных коробках для интуристов, с уютными скитами на приречных взгорьях,— хотя знавал русского монаха лишь по беллетристике,— с разбойными посвистами на мглистых безветреных рассветах, как это представлялось из барской квартирки на Сергиевской,— с кандальниками на песенной Владимирке, которых смертно побаивался,— со всеми теми затейными рисунками на занавеске, за которой проживали и мучились обыкновенные граждане империи, с обыкновенными царскими расстрелами безоружных толп, с обыкновенной мурцовкой на рабочем столе, с обыкновенными недородами, холерой и нищетой... В текущих рецензийках, какие пописывал пока от случая к случаю в *Лесном Вестнике,* к примеру, Грацианский обожал называть советскую эпоху *днями творения,* причем в том именно и заключалась для него их романтическая привлекательность, что еще неизвестно было, какие замысловатые диковинки вызреют в самом конце. Бессознательно он даже хотел бы продления той трагической обстановки разрухи и брожения, потому что благодаря этому отодвигались сроки его неминуемого, самоубийственного разочарованья. И не то чтобы уже тогда был он связан с беглыми личностями в чуйках, просаленных сюртуках, жандармских мундирах,— он презирал их! — но его начинали раздражать прикосновения крепнущей народной правды, потому что рядом с нею резче проступала его социальная и нравственная неполноценность. В сущности, вихровская книга была откровением для него; хоть и наивный, но только законный наследник национального достояния мог с такой дерзостью ставить перед обществом — пусть несвоевременные! — вопросы советского лесоустройства, в то время как сам Грацианский с тоской оглядывался на покидаемые берега; это и показывало, насколько он поотстал от товарища. Впрочем, тогда ему еще и в голову не приходило, что легче всего двигаться в будущее на плечах идущего впереди.

Другое не меньшей силы откровенье последовало вскоре, когда в теплый, солнечный денек Вихров повел гостей по своим владеньям; целую неделю мучила его потребность как-то оправдаться перед Чередиловым за свое тыловое сиденье, за благословенную енежскую тишину, за

таискины оладьи. Постепенно легкомысленно-ироническое настроение приезжих сменялось таким же почтительным молчаньем. По тому времени Пашутинское лесничество представлялось образцовым хозяйством, без пеньков и гарей, причем бросалось в глаза полное отсутствие дровяной березки на обширных и бессистемных вырубках военного времени, зато со множеством всяких заветных питомничков. Лесная молодь на делянках чередовалась уступами, как ребята в классах,— сытая человеческим уходом сверх того, что смогли дать растению северный климат и скудный енежский подзол. Она уже пристраивалась к зеленым шеренгам старших вдоль опрятных и светлых просек. Правда, не обходилось кое-где без гиблого осинничка, а в мочливых местах явно недоставало осушительных канав, но... длится десятилетия первый день творенья у лесника!

— Ишь ты, как в кулацком дому, добра у тебя везде понапихано! — присмирело похваливал Грацианский; даже ему, уже тогда отбившемуся от своей науки, все это представлялось подвигом в условиях военных лет.— Позволь, не разберу, что за гусь такой... не крымская ли сосна?

— Нет, здесь иглы длиннее и кучней. Это просто так, баловство мое...— смущался Вихров.— Пробую кедр на Енгé. Новое сырье для промыслов, и клоп в изделиях не заводится, и орешков внуки погрызут.

— Чего-то не узнаю я твоего кедра...— басил Чередилов для поддержания достоинства; когда же добрались до школки молодых дубков, первой в том краю попытки воспитания холодоустойчивого, быстрорастущего дуба, честное восхищенье пересилило в нем недобрую ревность к опередившему товарищу.— Победил, победил ты нас, до слез тронул, Иванище! И помяни мое слово, быть тебе главным лешим на Руси. Дай я лобызну тебя разок, отче, за твою веселую зеленую детвору!..

По-старинному раскинув руки, он принял на свою грудь умиленного Вихрова, а сбоку присоединился и Грацианский, и таким образом весь пашутинский лес стал свидетелем их неумеренных восторгов, которые следует особо запомнить для сравнения с их же последующей оценкой вихровской деятельности. И тут у Чередилова вырвался невольный возглас, откуда у него, хромого чорта, берется подобная энергия... В ответ на это после недолгих колебаний хозяин повел их через весь лес в тот потаенный уго-

лок, где на заре жизни повстречался с Калиной. Он решился на это со стыдом и тревогой: в конце концов все они были взрослые бородатые особи, и затея Вихрова могла даже рассмешить без предварительной подготовки. Доверие к товарищам пересилило в нем вполне уместные сомненья... Итти было далеко, Грацианский успел выломать палку из орешины и с помощью перламутрового ножичка, тоже в замшевом чехле, всю ее покрыть мелким узорцем; кора отслаивалась удивительно легко, без задирки.

Надо оговориться: за протекшие годы светлый образ Калины несколько порасплылся и затуманился в памяти Вихрова, но вместе с тем приобрел какие-то новые черты ужасающего величия и бессмертия, помимо тех, какими давно наделила его ребячья мечта. Словом, святее этого заветного уголка в юго-восточном краю Пустошей, не было у Ивана Вихрова места на земле. После гибели Облога к родничку совсем приблизился полушубовский выгон — теперь только ветхая изгородь да защитные вихровские насажденья охраняли овражек от вторжения крестьянского стада. Склоны настолько заросли лещиной, что пришлось продираться сквозь сплошную щетку ветвей, и все это вместе с загадочным молчанием Вихрова пуще разжигало любопытство его спутников. Все трое спустились вниз, после чего, опустясь на колени, провожатый бережно отвел ветку таволги над родничком.

Не крикнула желна,— теперь сам Вихров был хранителем святыни. Парчовая скатерть из лишая, порванная кое-где, клочьями свисала с каменного стола Калины. В остальном ничто не изменилось за четверть века; все так же, сурово колыша песчинки, билась во впадинке вечная мускулистая струйка. И хотя солнечный луч, пробившись сквозь молодую листву, наполнял овражек рассеянным сияньем, приходилось нагнуться, чтобы рассмотреть таинственное рождение реки.

— Вот... таким образом,— отступив в сторону, сказал Вихров и оглянулся с видом человека, который показывает чужому ладанку матери или карточку невесты.

— Н-да, сие крайне занимательно: вода, так сказать, первичная стихия...— неопределенно пробурчал Чередилов и локтем подтолкнул Грацианского в бок.— Тебе по крайней мере понятно, Сашкó, поскольку ты у нас светоч мышления... к чему вся эта притча?

Ему пришлось повторить вопрос, Грацианский снова не расслышал. Какая-то смертельная борьба чувств происходила в его побледневшем лице, как если бы перед ним билось обнаженное от покровов человеческое сердце. Словно зачарованный, опершись на свой посошок, и сквозь пенсне на шнурочке, он щурко глядел туда, в узкую горловину родника, где в своенравном ритме распахивалось и смыкалось песчаное беззащитное лонце.

— Сердитый...— непонятно обнажая зубы, протянул Грацианский и вдруг, сделав фехтовальный выпад вперед, вонзил палку в родничок и дважды самозабвенно провернул ее там, в темном пятнышке его гортани.

Все последующее слилось в один звук: стон чередиловской досады, крик Вихрова — *я убью тебя!* — и хруст самой палки, скорее разорванной надвое, чем даже сломленной в его руках,— причем Грацианский каким-то зачарованным, странным взглядом проследил полет ее обломков. Потом, как после удара грома, все трое стояли, очумело дыша, обессиленные происшедшим, пока сквозь ржавую муть в родничке не пробилась прозрачная жилка воды.

— Ну, хватит с нас, пожалуй, этой лирики,— через силу, все еще бледный сказал Грацианский.— Ничего ей не сделается, твоей воде... заживет. Веди теперь обедать... до одури затаскал ты нас сегодня!

Молча они тронулись домой, и по дороге Чередилов сделал не очень удачную попытку загладить вину товарища: он в полушутку спросил, не обижает ли Вихрова, что они этак, без особого почтения, шляются по его лесу.

— Тебе-то полагалось бы знать,— сухо откликнулся тот,— что уплотнение почвы под подошвой не идет на пользу деревьям... но я постараюсь возместить лесу ущерб, нанесенный моими старыми друзьями.

Так и не выяснилось никогда, что́ именно толкнуло Грацианского на его отвратительный проступок, и Чередилов, любивший при случае рассказать про истоки знаменитой лесной распри, сперва объяснял его приступом гипнотического страха, с оттенком мгновенного безумия, а впоследствии, накрепко сойдясь с Грацианским, даже оправдывал его как проявление научно-исследовательской пытливости к явлениям природы, приравнивая своего дружка чуть не к Гумбольдту. К чести Чередилова, эта неразливная дружба с Грацианским началась лишь после его напрас-

ной и довольно бестолковой попытки сближения с Вихровым. Случилось это через некоторый промежуток времени, в течение которого все трое усиленно притворялись, будто забыли происшествие у родничка. Ввиду намерения Грацианского написать статейку об енежской старине, где, между прочим, собирался разоблачить некоторые реакционнно-мистические явления в крестьянском фольклоре, в частности Калину Глухова, за что — он и сам не решил пока — Вихров целиком уступил ему свою комнату. Чередилова же приютил у себя в служебном кабинетике, куда дополнительно к старому кожаному дивану втащили железную кровать с чердака.

5

В том году теплынь на Енгé наступила с мая.

Ложились спать, стояла расслабляющая духота, и слышно было во тьме, через открытое окно, как по железной крыше краплет нерешительный дождь. Изредка вспышки зарниц освещали бревенчатую стену с вихровским ружьем под портретом туляковского еще учителя, Турского, неубранную со стола посуду и две расклонившиеся, с узловатыми мослаками чередиловские ступни, просунутые наружу сквозь железные прутья кровати. Лежавший на соседнем диване Вихров уже стал дремать, когда чорт толкнул Чередилова на его вполне дурацкую исповедь, причем стремление открыться начистоту было в нем настолько сильно и искренно, что он даже оставил напускную привычку к церковным оборотам речи, помогавшим ему маскировать банальность мыслей.

Началось с того, что гость долго мешал заснуть хозяину: все переворачивал подушку свежей, прохладной стороной.

— Ты уж извини меня, Иван... за все разом извини,— приступил он с таким проникновенным вздохом, что пружины содрогнулись и заскрежетали под ним.

— Ничего, ладно, спи,— коснеющим языком отвечал тот и повернулся лицом к стене.

— Извини, говорю, что неосторожно маханул тогда насчет той молодицы. Сестра твоя не предупредила нас, что она твоя невеста.

— Она еще не невеста мне. Ничего, давай спать. Таким образом.

— Скрытный ты стал, Иван. Но я же видел, как тебя трясет в ее присутствии. И потом, зачем ты ее к фельдшеру на жительство услал... словно нам не доверяешь, нехорошо. Бухгалтерша, что ли?

— Нет. Я уже говорил. Она не совсем кончила медицинские курсы.

— Ага, значит, сиделка. Что ж, это неплохо всегда иметь медицину под рукой, но...— Он хотел сказать что-то другое, но не получилось — то ли от изнуряющего предгрозового удушья, то ли поленился напрягать умственные силы по пустякам.— Я, конечно, не отговариваю тебя...

— Да я с тобой и не советуюсь, Григорий. Ты вот что... ты иди-ка на сено, под навес, скорей заснешь. Там брезент есть.

Все не удавалась гроза; прокатил гром над Енго́й, косой дождик хлестнул разок по окнам, и опять все стихло. Чередилов спустил ноги с кровати, заскрежетавшей всеми пружинами, и стал закуривать.

— И вообще мне до крайности совестно перед тобой, Иван. Я же понял, зачем ты затеял ту дурацкую прогулку с демонстрацией своих хозяйственных мероприятий. Блеснуть хотел перед солдатом... дескать, и мы не спим! Сам того не зная, наповал ты меня сразил, Иван... Да, вот еще кстати, затащил меня давеча к себе этот... ну, который у тебя над пильщиками-то главный!

— А, Ефим Степаныч,— подсказал Вихров и, мысленно чертыхнувшись, тоже потянулся за табаком.

— Он самый. Усадил, богатейшие харчи на стол выставил... как фронтовику за святую рабоче-крестьянскую правду... чтоб рассказал я ему, как и что и вообще про грядущее устройство земного шара. А я моргаю, жую его воскресные пирожки... и по мне ровно не с морошкой, а с битым стеклом они.

— Это у тебя глубокое, ценное наблюдение: дотошный и беспокойный старик. Замучает вопросами, особенно терзает новичков. Таким образом.

— Не в том дело, не перебивай... И так нехорошо, сухо, брат, сухо на душе мне стало, ровно обворовал я вас обоих. Знаешь, насчет госпиталя-то, ведь и не ранен я вовсе, а просто в бытность мою в штабе армии поехал я вечерком

на розвальнях к одной там учительше, в соседнее село, да и задремал вместе с возницей на железнодорожном переезде. После чего очнулся в одиночку, аки Лазарь в пеленах, на госпитальной койке. Чудом из-под поезда меня ударом выкинуло... Мне цыганка предсказала сверх прожитого двести сорок годов безмятежного бытия: вишь сбывается!..— Похоже было, что шуткой он надеялся ослабить неприятное впечатление от своего покаянного припадка.

Ему не лежалось; судя по скрипу половиц и перемещенью тлеющего уголька в темноте, он ходил из угла в угол. Духота не проходила, лишь изредка слабый ветерок надувал занавеску. Становилось ясно, что теперь Чередилов не уймется, пока не завершится гроза.

— Что же мне сказать тебе на это?..— начал Вихров и при свете спички разглядел длинного, в больничном и не по росту коротком белье незнакомого мужчину, стиснувшего ладонями виски.— Похвально, что есть в тебе это самое: сознание, как говорится... ну, эпохи, что ли! Ничего, дело поправимое, успеешь заплатить если не Ефиму, то ребятишкам его, раз еще двести сорок годов у тебя впереди. Ты бы лучше спал, братец. Таким образом.

— Вот я и хотел обсудить с тобой, чем платить-то? — подхватил Чередилов и в потемках, места себе толком не нащупав, присел на край вихровского дивана.— Может, ты меня и не поймешь... ты, как восьмилетнее дитя, без противоречий и сомнений, без вредного любопытства к изнанке некоторых священных вещей. Опять же пьешь умеренно... Ты вообще святой, мне вот даже как-то неловко находиться в твоем присутствии. А святая душа в сочетании с трезвостью и упорством буйвола становится чудовищной, неодолимой силой. Такие и под дождичком не ржавеют и щепы по себе оставляют достаточно, а покидая мир, корректно притворяют за собою дверь, благодарные, так сказать, за полученное удовольствие.

— Ну, это не твои слова, Григорий. Не шибко глубокие... но все равно не твои: извини, но тебе самому до них не додуматься. И вообще поменьше слушай Грацианского. Он человек и острый, да опасный... заведет простака в болотину и кинет. А лучше всего воспользуйся братским советом: помочи себе темя водой из графина и ложись спать.

Кажется, начинался спасительный дождик; минуты

полторы поскреблось по крыше, и затем звонкая, неуверенная струйка пролилась из жолоба в бочку под окном.

— Тебе хорошо шутить! — горько усмехнулся Чередилов.— Ты одержимый человек, у тебя есть цель, за которую ты и башку без раздумья сложишь, да и талант к тому же, то есть способность видеть и находить золотые россыпи под ногами. А если я не Галилей, если нет у меня этого дара, тогда как?

— Талант — это прежде всего целеустремленная воля к действию,— кротко отвечал Вихров.— Нет, ты просто скептик, Григорий, а сейчас неважные для скептиков времена. В наше время приходится ходить прямо на медведя, и плохо бывает тому, кто не верит в свою честную правду. Словом, выбери себе плуг сообразно силе и вкусу, впрягайся и тяни.

— Вот я и советуюсь с тобой, какой мне выбрать плуг. Конечно, мысли мои скудноваты... так что можешь возложить на меня древие суковатое или же, по старому речению, говяжьими жилами бичевание мне учинить, но...— Многословный приступ и переход в церковнославянский регистр показывали, насколько он стыдится разоблачаться перед Вихровым.— Казни меня, но... пойми, Иван, не лежит у меня сердце к лесу. Ну, посадишь ты сто мильонов сеянцев, а потом придет твой Елизар Степаныч с оравой...

— Ефим,— уныло поправил Вихров.

— Ну, все равно, Ефим!.. придет да и вырубит начисто... вот, ничего от тебя и не осталось! Потомкам ведь не предпишешь, чтоб берегли кровное дело души твоей. Значит, думаю я, надо выбирать что-нибудь этакое... пограннитнее. Ты только не смейся, Иван, я тебе, как брату, открываюсь...— Чередилов помолчал, но как ни вглядывался Вихров, ничего не разглядел в потемках, кроме белесого продолговатого пятна.— И тут осенило меня во благовременьи, как во священном писании сказано, возложить на свои рамена подвиг генерального описанья всей отечественной флоры... и даже всемирной, чорт возьми! Начать ежели с пионеров почв, мхов да лишаев, а лет через пяток перебраться к кохиям да солянкам... песня длинная, а жалованьишко-то и каплет помаленьку. Но оглянулся, брат, и оторопь меня взяла: все существенное уже описано, взвешено, в гербариях лежит. Нет, прежним ученым легче было... где ни копнешь, там и клад.

— Но это же неверно, голова...— стал сердиться Вихров.— Теофрасту было известно всего пятьсот растений, а Плинию — уже вся тысяча, Линней почти удесятерил это число, а нынче и все полтораста тысяч наберутся. Правда, после Линнея открытия шли главным образом за счет споровых растений... но самые неожиданные клады именно те, которые видны лишь под лупой... под лупой ума и воли.

— Согласен,— отозвался тот,— согласен с тобой, старина, что, ежели пошарить с пристрастием, может, и на мою долю наскребется какая-нибудь мелочишка в этом кошеле природы. Возможно, к концу-то двухсот сорока я и прибавлю к общему числу пяток кладоний и пару захудалых грибов на радость знатокам. Конечно, бронзового памятника за это не поставят, но звание могут дать... и стану я, как Грацианский говорит, sitzfleisch, или вроде как ливрейный швейцар при дверях большой науки. Но в заключение-то ведь все равно помрешь, так? Тогда к чему же, к чему весь этот пот, слезы и просиженные штаны?!

— Да за каким чортом памятник тебе нужен, Большая ты Кострома? — сдержанно поскрипел зубами Вихров.— Тебе и не надо памятника, Григорий. Ты в бронзе будешь не слишком хорош...— Все же, несмотря на испорченное настроенье и по долгу дружбы, он попытался изъяснить товарищу подвиг тех незаметных ученых, чьим коллективным трудом, в сущности, и создаются атолловые острова знания, пока гений осмыслит их форму и место на карте большой науки. Тот снова усомнился, и Вихров вторично поскрипел зубами.— Судя по мучениям твоим, ты прямо Прометей у меня, Гриша... по крайней мере постарайся связно изложить, что за птица терзает тебе печенку.

— Хорошо, я отвечу тебе, мудрец! — озлобленно кинул Чередилов.— Вот: зачем жизнь?

С минуту длилось понятное молчание.

— Ну, знаешь ли, Григорий,— взыграл не на шутку Вихров,— когда человеку дарят солнце, неприлично спрашивать, к чему оно.— Вслед за тем, чтоб не расстраиваться больше, он выпростал из-под товарища затекшую ногу и с одеялом подмышкой сам отправился на сеновал.

Разумеется, Чередилов и не рассчитывал, что Вихров одним махом исцелит его многолетнее бесплодие и напрасное томление духа, но все же надеялся втайне, что тот не

только пожалеет его за муки, но и сам попризнается в каких-нибудь своих секретцах, чтоб облегчить Чередилову сознание его одинокой никчемности. Уход Вихрова он принял как жестокое оскорбление и впоследствии посильно и в рассрочку мстил ему за свою, оставшуюся без отклика, исповедь.

...К рассвету разразилась достойная Енги́ гроза, а утром в Пашутино прибыл уполномоченный из губернии для инвентаризации помещичьих лесов. Последующий месяц Вихров провел в разъездах с ним и по возвращении домой уже не застал московских гостей; они простились с ним запиской с благодарностью за хлеб-соль, приветливое слово и — со зловещим приглашением к себе, на столичные развлечения... Видимо, они уже предвидели скорые перемены в судьбе пашутинского лесничего, потому что месяц спустя пришло официальное уведомление о переводе Вихрова в Москву, на кафедру Лесохозяйственного института, в помощники к Тулякову.

6

Все жители поселка высыпали проводить сроднившегося с ними душевного человека, Ивана Матвеича. Уже даны были указания остающемуся преемнику по лесничеству, как и что́ на первое время, уже хватили *законный посошок* — по стопке в дорогу — и обнялись с Егором Севастьянычем, шепнувшим отъезжающему лесничему на ухо, что, ничего, он возьмет Леночку себе в дочки; уже лошади встали у крыльца, а Таиска, мрачней тучи, укладывала последние связки книг в задок телеги, отвертываясь от скулившего в ногах Пузырева; уже мужики сняли картузы, на ком были, а женщины приготовились всплакнуть на прощанье, когда внезапно, соскочив с подводы, Вихров отправился на задворки покидаемой усадьбы.

Там, за смородиной, припав к гряде, Леночка полола вышедшие уже по пятому листу огурцы и делала это так тщательно, словно стремилась заслужить одобрение будущих хозяев лесничества.

— Слушайте... между делами я так и не успел сказать вам самого главного, Елена Ивановна,— начал Вихров, впервые называя ее полным именем, потому что ему хотелось, чтобы поторжественней произошел этот важнейший

акт его жизни.— Долго объяснять, но... и книгой своей, и всеми здешними успехами я на три четверти обязан вам. За каждой строкой, за каждым деревцем, которое сажал, я видел вас. Вы слушали меня, следили за моей лопатой или пером и хвалили меня под руку. Мне думается, я сделал бы вдесятеро больше для людей, когда бы вы стали моей женой. Но если бы вы когда-нибудь ушли из моей жизни, это причинило бы мне горе, последствия которого я даже не умею предсказать. Вот, теперь скажите мне что-нибудь... таким образом.

— Куда же я вам такая? — откликнулась та, не подымая головы.— Теперь, в Москве-то, вы помоложе, покрасивей себе подберете.

— Ничего,— сказал Вихров.— Только ехать сразу надо, а то поезд.

Она поднялась, все еще колеблясь и снимая с пальцев налипший суглинок, потом взглянула на Вихрова набухшими благодарными глазами.

— Вы никогда в этом не раскаетесь, Иван Матвеич,— сказала она, качая головой от нахлынувшего признательного чувства.— И, верьте, я хорошей женой вам буду... что ни случись, слова дурного вы от меня не услышите!

— Спасибо, это очень хорошо,— сказал Вихров.— Тогда идите вещи собирать.

— Какие же вещи у меня! Разве только умыться, вот, в дорогу...

— Ладно, я подожду,— и почтительно поцеловал сперва впалую щеку, потом руку в уже подсохших комочках земли.

Еще не докурилась его папироска, когда Леночка с газетным свертком, накинув платок на плечи, вышла к нему через заднее крыльцо. Лесничий подал ей руку колечком и, похрамывая, на глазах у всех повел свою невесту к телеге; он не торопился, хоть и поезд. Все прощально улыбались кругом, а догадливая ефимова жена, успевшая добежать до укладки, подарила отъезжающей кусок домотканной холстинки на обзаведенье, аршин двенадцать. Леночка благодарно расплакалась, что еще больше расположило провожающих в ее пользу. Пашутинский народ долго не расходился, обсуждая благополучное завершение затянувшейся любовной истории; начало большой судьбы они простодушно принимали за ее конец.

...Все три часа Поля просидела в том же уголке на кухне, не смея перебить Таиску ни вопросом, ни восклицаньем, даже когда в особенности начинало сердце щемить. Света с подстанции так и не включили до самого полина ухода. Таиска как бы листала книгу в темноте, по памяти, шелестящим бумажным голосом передавая содержание наиболее запомнившихся страниц. Многого она не знала и сама: брат не делился с ней своими личными делами; только неумелые домыслы, связанные с более поздними розысками, помогли Поле восстановить этот период отцовской биографии... Видимо, за время свиданья состоялась воздушная тревога; они услышали уже сигнал отбоя.

В самом конце таискиной повести кто-то бесшумно открыл наружную дверь и в темноте, шаря рукой по стенке, прошел в ванную. Слышно было, как стукнулось в раковину мыло, выскользнувшее из руки, и после выжидательной паузы тихонько потекла вода.

— Ничего, шуми... мы не спим, отца дома нет,— вслух сказала Таиска.— Похлебай там тепленького, на столе оставлено.

— Спасибо, я закусывал в поездке,— отвечал из-за перегородки молодой голос, показавшийся Поле знакомым.

— Все всухомятку небось...— пожурила тетка.— Это Сережа с работы воротился... не хочешь ли, позову? Уж такой ладный задался у нас паренек... как-никак, а вроде братца он тебе!

Точно так же, как и на теткино приглашенье остаться на ночевку, Поля отказалась наотрез. Она заранее решила, что с историей появления этого мальчика на свет и связан распад семьи, а выслушивать новую тайну у нее не хватило бы сил. Кроме того...

— Ты не помнишь, какой у нас день завтра? — спросила Поля шопотом.

— Сама считай. Нонче у нас августа тридцать первое число...

— Нет, никак не смогу, тетя Таиса: рано вставать завтра... Мне непременно нужно дома быть.

За поздним часом Таиска пошла проводить племянницу до метро. Их сразу охватили суховейный ветерок осени и знобящая неизвестность затемненной окраины. Всю дорогу говорили о житейских мелочах, и вдруг сквозь

рой потайных полиных мыслей пробился тихий, самый главный теперь вопрос:

— Скажи, тетя Таиса... красивая она была?.. лучше мамы?

— Про кого ты, Поленька? — насторожилась тетка.

— Ну, ее заместительница, мать этого Сережи... Она еще жива?

— Да бог с тобой, глупая!.. куда маханула! Как укатила от нас Леночка, хоть бы взглянул он на какую, Иван-то наш. Ладно, не виню я тебя: конечно, чего в потемках не придумаешь.

Лишь бы рассеять ревнивые полины подозренья, горбатенькая готова была тут же, на улице, немедля продолжить свой рассказ, но времени на хождение без ночного пропуска оставалось в обрез. Стали попадаться комендантские патрули на перекрестках, женщины с детьми толпились у метро, дожидаясь впуска на ночлег.

— В следующий раз давай... теперь уж ты приходи ко мне. Только не завтра, а то у меня важнейшее дело с утра,— повторила Поля, кстати сообщив свой адресок на прощанье.

Они обнялись, словно и не разлучались за минувшие тринадцать лет.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Утром следующего дня в Москве стояла малооблачная погода со слабым юго-западным ветерком; Полю знобило от волнения, несмотря на ее синий свитерок, связанный матерью перед отъездом. На отцовскую лекцию она пришла за целый час и долго гуляла по аллейкам институтского дендрария, пока ее не втянуло в общий поток молодежи, такой же незрелой и взволнованной, как она сама; никто не спросил ни пропуска, ни студенческого удостоверенья. По затоптанной лестнице, с бочками воды на площадках, Поля поднялась на третий этаж и через казарменный коридор, несколько неопрятный из-за множества расклеенных уведомлений на стенах, вместе со всеми вошла

в аудиторию... Это было полутемное и неуютное помещение с черными, амфитеатром раскинутыми скамьями, но веселая, низким солнцем просвеченная зелень за окнами отражалась в выношенном паркете и тяжком, нависающем потолке, чем несколько рассеивалось первое впечатление академического холода и неприязни. Несмотря на военный год, все было забито доотказа; вступительная речь предназначалась для новичков со всех факультетов сразу. Подтвердилось также из подслушанных разговоров, что сюда в этот день приходили студенты старших курсов и даже преподаватели смежных дисциплин.— Поля отнесла их интерес за счет скандальной известности лектора...

Ей досталось местечко наверху, под потолком, исчерканным карандашными записями, и сразу ее загорелая, прямо с летней практики соседка поделилась с ней восторженным воспоминанием о такой же лекции прошлого года, когда, по ее словам, стены здания как бы раздвинулись и дремучий брусничный бор настолько живо представился слушателям, что, минута-другая, и птицы запели бы, если бы это не нарушало распорядка занятий. Утешительное тепло этих слов несколько подсогрело Полю; она тотчас с благодарностью отметила, что, конечно, после Вари это самая чуткая и образованная девушка на свете.

Попривыкнув, Поля огляделась. Впереди, далеко внизу, стоял бедный, залитый чернилами стол с графином зеленоватой от окна воды и стаканом толстого стекла; дальше на стене теснились портреты бородатых патриархов отечественной лесной науки, а у самого выхода к физической карте страны прислонилось модельное дерево с учебными, на равных расстояниях, срезами ствола. Больше ничего там не было, если не считать деревянного закрома с песком,— и вдоль него с внушительным видом прохаживался юноша в асбестовой каске. Впрочем, он сдернул ее почтительно, когда гул голосов схлынул и за столом появился подвижной, небольшого роста старик с проседью на висках и замятой на сторону бородкой, в стареньком люстриновом пиджаке — тоже с зеленоватым глянцем на складках с обращенной к окнам стороны... Поле трудно было привыкнуть к мысли, что это и есть ее отец. Начал он несколько старомодно, с непривычной для официального места образностью, но и без фальшивого вдохновенья, чего так боялась Поля, и вначале избегая

цифр, способных затруднить неподготовленное внимание новичков; надо полагать, военное время заставило профессора воздержаться в этот раз и от пейзажных отступлений. Изредка, на непримиримой фразе он умолкал, опираясь кулаками в стол и как бы выискивая возможных оппонентов в затихших рядах, но какая-то сближающая искренность возрастала по мере углубления в тему, и никто не заметил, когда и как лекция превратилась в обыкновенный разговор старого лесника с будущими товарищами по ремеслу.

Оттого ли, что перед Вихровым сидели завтрашние солдаты, начальные его слова прозвучали полусмущенно; вдобавок голос у лектора оказался негромок и глуховат, так что Поля не разобрала вступления.

— Что, что он сказал? — переспросила она у пожилой и чопорной соседки справа, неприятно выделявшейся среди взволнованного юного поколенья.

— Не мешайте работать, товарищ! — раздраженно бросила стенографистка, стряхнув полину руку с рукава и накидывая в тетрадке непонятные, разгонистые знаки.

На них зашикали кругом, и Поля испуганно затихла, вся в пятнах, как будто кто-то мог прочесть ее тайные страхи.

2

«...Но всего четыре дня назад,— говорил Вихров,— наша родная армия оставила еще один советский город, Днепропетровск, под натиском упорного и — в свете большой истории — нерасчетливого врага. Наши думы далеки от предмета, ради которого мы собрались здесь, под грозовым небом столицы. Однако весь тернистый путь развития материи — от амебы до гордого, мыслящего человека — внушает нам веру в еще одну победу света над тьмой, разума над зверством и в близость той поры, когда накопленные вами знания в особенности потребуются пославшему вас сюда народу. Пусть работой вашей руководит любовь к отечеству и благодарность к тем сыновьям и братьям нашим, что несут сейчас на фронтах основное бремя исторического испытания.

«Я сознаю ответственность своей задачи — занять ваше время беседой о таких, хотя бы и немаловажных частно-

стях, как русский лес, под грохот величайшей войны. Самые любимые и неотложные дела отступают перед опасностью, грозящей советскому народу и всем источникам его существования, лесу в том числе... но вы пришли сюда слушать не полевую хирургию или тактику ближнего боя, а всего лишь краткий очерк о роли дерева в русской жизни, о сознательной деятельности патриота в этой, наиболее запущенной отрасли нашего хозяйства, потому что она никогда не пользовалась должным общественным вниманьем,— и о некоторых все еще спорных вопросах лесоведения, нерешенность которых лично мне представляется в особенности грозной для завтрашних поколений... В этом доме вы научитесь выращивать новые леса и приручать дикие, неукрощенные древостои, чтобы успешно впрягать их в колесницу социалистической экономики; вы исследуете на практике как отношения леса с климатом, почвами, окружающей средой, так и могучие изменения, происходящие от этой бурной, в масштабе веков, взаимосвязи; здесь вы поймете все значение организации и строгого учета в этом, казалось бы, неистощимом кошеле, откуда люди всегда черпали ровно столько, сколько умещалось в пятерню... Лес является единственным, открытым для всех источником благодеяний, куда по доброте или коварству природа не повесила своего пудового замка. Она как бы вверяет это сокровище благоразумию человека, чтобы он осуществил здесь тот справедливо-плановый порядок, которого сама она осуществить не может. Словом, за пять ближайших лет вы получите навыки и знания, оправдывающие ужасную, разящую силу топора. Но, чтобы принести наибольшую пользу отечеству, мало благих намерений или беглого ознакомления с правилами лесоводственной науки. Без изучения прошлого нельзя наметить столбовой дороги и в наше завтра: человеческий опыт питается памятью о содеянных ошибках.

«Всем вам знакомо громадное время детства, когда день длится вечность, и как ни тратишь его на чудесные путешествия и открытия, все еще остается вдесятеро! Как бы необъятная ширь простирается тогда перед ребенком, и, кажется, никаких крыльев не хватит долететь до ее края... Так было и на заре русских, когда после пятивековой стоянки на Карпатах единое дотоле славянское племя растеклось оттуда на четыре стороны света; наши избрали

восток. Однажды смолкло все: скрип повозок, плач младенцев, мычанье волов,— и предки наши в последний раз с орлиной высоты глядели в необозримое, тонувшее в утренней дымке пространство впереди. Прекрасная девственная котловина лежала между трех горных хребтов, и по ней, в оторочке зеленых мехов, струились царственно-неторопливые реки. Только песня баянов да прозорливость стариков провидели там, в синеве горизонтов и тысячелетий, череду величавых событий, начавшихся созданием России... Наверно, это случилось утром и в начале лета, когда особо приманчива наша страна. И справа, вперемежку с дубравами, открывалась степь, лоснившаяся по ветру сытой и буйной травой, а налево толпился бескрайний бор, почти тайга, в несколько рукавов сбегавший с Алаунской возвышенности; самый широкий из них, днепровский, достигал киммерийских, черноморских ныне, берегов. Среди лесов, заметно умножаясь к северу, сверкали на солнце тысячи веселых озерок — земля еще носила следы великой, сравнительно недавней, в размахе геологического времени, ледниковой весны... Потом прапращур Святослава подал знак — и племя, как пламя, хлынуло вниз, затопляя пустынные предгорья. Так, тысячами тяжких, железом обитых колес была начертана первая строка нашей истории. Возможно, то утро длилось век, но все правдоподобно о неизвестном.

«Присмотритесь, как экономические условия существования вместе с природой станут ваять облик этих людей. Никто не баловал их с детства. Всего на три месяца в году приласкает их суровая природа,— никогда не узнают они той беспечной радости бытия, что с колыбели дарована западноевропейским народам близостью моря, теплых течений и горных хребтов, этой надежной защиты от дикарских вторжений и климатического непостоянства... Наших — будет палить азиатское солнце и леденить полярная стужа, что скажется в крайностях их национального характера. Крутые колебания континентальной температуры привьют им могучую способность творить циклопические дела в кратчайший срок, тысячелетняя борьба за свою национальную самостоятельность воспитает в них молчаливую, героическую стойкость, которой нипочем любая мука, а экономика страны толкнет их на поиск водного простора, соразмерного их силе и духовной одарен-

ности. Точно так же почти не изменяющаяся природа на протяженьи всех двадцати параллелей и отсутствие естественных преград определят их стремление к единству, вернейшему залогу общеславянской независимости. Отдаленность чужой и разрушающейся цивилизации заставит их создать свою — блистательную и непохожую на другие. Промысла и подсечное хозяйство разведут их дорогами рек во все концы материка. В жарких схватках со степняками, защищая молодую государственность, они закалят свою доблесть и не менее прославленную выдержку. Так начались мы.

«Было бы неблагодарностью не назвать и лес в числе воспитателей и немногочисленных покровителей нашего народа. Точно так же, как степь воспитала в наших дедах тягу к вольности и богатырским утехам в поединках, лес научил их осторожности, наблюдательности, трудолюбию и той тяжкой, упорной поступи, какою русские всегда шли к поставленной цели. Мы выросли в лесу, и, пожалуй, ни одна из стихий родной природы не сказалась в такой степени на бытовом укладе наших предков. Дерево является сырьем, годным к немедленному употреблению, и любой кусок заточенного железа, насаженный на рукоять, превращал его в ценности первобытного существованья. Еще круглее будет сказать, что лес встречал русского человека при появлении на свет и безотлучно провожал его через все возрастные этапы: зыбка младенца и первая обувка, орех и земляника, кубарь, банный веник и балалайка, лучина на девичьих посиделках и расписная свадебная дуга, даровые пасеки и бобровые гоны, рыбацкая шняка или воинский струг, гриб и ладан, посох странника, долбленая колода мертвеца и, наконец, крест на устланной ельником могиле. Вот перечень изначальных же русских товаров, изнанка тогдашней цивилизации: луб и тес, брус и жолоб, ободье и мочало, уголь и лыко, смола и поташ. Но из того же леса текли и побарышнее дары: пахучие валдайские рогожи, цветастые рязанские санки и холмогорские сундуки на тюленевой подкладке, мед и воск, соболь и черная лисица для византийских щеголей.

«По мере роста человеческих потребностей лес все щедрей раскрывал свои кладовые, и немудрено, что сегодня в нашей лесной промышленности занято больше рабочих рук, чем в других почтенных отраслях советского

хозяйства. Не оттого ли, что слишком долго жили мы на полном лесном пансионе, так долго оставалась деревянной наша Русь?

«В ту отдаленную пору и сложилось наше противоречивое отношение к лесу — смесь преувеличенной, под хмельком дружеской пирушки, нежности и унаследованного от предков-древлян равнодушия, если не пренебрежения, а порой и открытой вражды к нему. Когда с надлежащей страстью однажды примемся мы за великое дело лесовозобновленья, нам придется сперва научить свою левую руку уважать труд правой и привить детям нашим хозяйскую бережность к лесу, этому благодетельному явлению природы, лишенному возможности упорхнуть от обидчика в поднебесье, или, подобно разгневанной золотой рыбке, сокрыться в пучине морской, или, на худой конец, писать отчаянные рапорта по начальству. Надо надеяться, посаженный собственною рукою, он будет нам дороже перешедшего по наследству... Повидимому, чрезмерное изобилие лесов превращалось в препятствие к развитию и расселению плодовитого и деятельного народа; в свою очередь, его переход на север снижал значение заморской торговли и повышал роль земледелия, процветанию которого опять же мешал лес. Топор был бессилен справиться с наползавшей отовсюду дебрью, и первым лесорубом на Руси стал огонь. Сжигая раскатанные на подсеке, просохшие за лето деревья и удобрив новину под пашню золой, мужик сеял ячмень, на Волге — репу, а у меня на родине *катил льнище,* снимал два-три хлеба и запускал место вырубки на отдохновение, *вперелог,* предоставляя дождю и солнышку зализывать нанесенную рану.

«Итак, лес кормил, одевал, грел нас, русских... Со временем, когда из материнского вулкана Азии, пополам с суховеями и саранчой, хлынет на Русь раскаленная человеческая лава, лес встанет первой преградой на ее пути. Не было у нас иного заслона от бесчинных кровопроливцев, по слову летописца, кроме воли народа к обороне да непроходной чащи лесной, служившей западнею для врага. Там, на рубежах лесостепи, подымутся начальные сооружения древнерусской фортификации — набитые землей и обшитые лафетной тесницей террасы, из-за которых так удобно целиться в осатанелую, гарцующую на коне мишень,— затекшие смолой надолбы за рвами, ладные

острожки и детинцы, что с начала четырнадцатого века станут зваться кремлями, и, наконец, доныне сохранившиеся *засеки* — раскинутая на сотни километров цепь великолепных дубрав с положенными навзничь деревьями впереди, грозными волноломами для наступающей конницы.

«Движение орд и сжигающих ветров, зародившихся на плоскогорьях Монголии и Тибета, происходило по часовой стрелке с центром где-то в Заволжьи и в том же направлении, с постепенной раскачкой, как таран, русские продвигались на восток, навечно закрепляясь на крутоярах сибирских рек отцовскими погостами и естественной привязанностью человека к месту, где впервые увидел свет или пролил кровь в рукопашной сече... Два века спустя отборный воронежский дуб, лиственница и северная рудовая сосна, преобразясь в разные там шпангоуты и ахтерштевни российского флота, понесут по всем морям наши вымпелы, так что если Уралу-батюшке сегодня воздается всенародная благодарность за его мирные и боевые социалистические машины, позволительно и лесу русскому приписать хоть малую частицу в громовой славе Гангута и Корфу, Синопа и Чесмы.

«Любое племя на земле владело в детстве поэтическим зеркальцем, где причудливо, у каждого по-своему, отражался мир; так первые впечатленья бытия слагались в эпос, бесценное пособие к познанию национальной биографии наравне с останками материальной культуры. Настороженный к опасности пращур наш, как и ребенок в темноте, повсюду видел недвижные лики, обращенные в его сторону, то угрюмые и жаждущие его гибели, то милостивые и матерински кроткие. Так рождались языческие божества, создания страха или признательности, неумелые попытки истолковать действительность в пределах своего несовершенного философского словаря. Со временем эти наивные изображения богов сойдут с грубого материала, на котором они начертаны осколком кремня или наконечником стрелы; они потребуют многочисленной челяди, мраморных жилищ, почестей, даже кровавых приношений, пока однажды не разобьется волшебное зеркальце и человек, оставшись наедине с природой, примет на себя полную ответственность за порядок в мире, доступном его деятельности.

«Среди стихий, которым предки поклонялись за силу, добро или красу, были и растительные великаны, подобные тем дубам, что еще недавно высились на Хортице, или — соснам на Селигере, воспетым Иваном Шишкиным, отличным бойцом за русский лес. Их глубоко чтили, у их подножья творились суд и правда, а баяны слагали сказы о делах и походах племени. Поэтическое суеверье ревностно оберегало в ту пору наши южные *божелесья,* посвященные громовнику Перуну, пока это резное развенчанное бревно с золотыми усами не уплыло вниз по Днепру, гонимое новой верой и царевной... С тех пор мельчает немногочисленный русский Олимп и дольше всех держится лишь сомнительное наше страшилище, лесовик, леший, в крестьянском просторечии, *лес.*

«Это далеко не тот ольховый царь из популярной немецкой баллады, коварный владыка лесов наш попроще и подушевней. Наш всего лишь — бывшее, крайне непритязательное божество в мочальном вретище, несет в лесу комендантские обязанности и квартирует под старым пнищем. Как установлено народной молвой, лешие — тоже патриоты своих лесов, к коим приписаны, и при гражданских междоусобицах тоже хлещутся промеж собой столетними деревами. Не лишены они и людских слабостей: так, усиленное лесоистребление тысяча восемьсот сорок третьего года в уездах Ветлужском и Варнавинском, вызвавшее массовое переселение ходовой белки на север, нашло себе отражение в крестьянском сказе о том, как местный лесовик проиграл своего зверя в карты вологодскому соседу. В общем же, русский леший — вполне безвредная личность, хоть и не прочь покуражиться над запоздалым путником, не столько для *своей* забавы, пожалуй, сколько — самой жертвы, чтоб было ей о чем рассказать внучатам в новогоднюю вьюжную ночь... Когда аскетическое стремление уйти от мирских искушений погонит русского отшельника в уединенье, в тесные затворы, *дуплины,* на языке староцерковного обихода, вслед за богомольцем в лесные непочатые землицы ворвутся зверогон и пчеловод, дружинник и купец; тогда впервые дрогнет и поредеет лесная трущоба на всем протяженьи от Заволжья до Белого Озера, а христианское преданье наделит рожками русского лесовика и зачислит в разряд расхожих бесов, причиняющих самые непривлекательные

пакости зазевавшейся православной душе. Отныне его совсем легко укротить, облапошить, застращать крестом, печатным словом и просто головешкой. С этого времени единственной защитой леса становятся наши благоразумие и совесть.

«Таким образом, складывается образ леса, как живого существа, чрезвычайно благожелательного и деятельного на пользу нашего народа. Он никогда не помнил обиды от русских, даже когда его заставляли потесниться с помощью не слишком деликатных средств. Давно пора бы воздать ему хвалу, какой заслуживает этот милый дед, старинный приятель нашего детства, насмерть стоящий воин и безотказный поставщик сырья, кормилец рек и хранитель урожаев. Но нет у нас такой песни о лесе, как, скажем, про степь или Волгу, которые, нет, не дарили нас соболями на вывоз, не кормили медовым пряником, не служили нам бессменными фуражирами от колыбели до нынешних пятилеток... Правда, доныне склонны мы на вечеринках подтянуть сконфуженными басками *про ивушку и калинушку, березоньку и рябинку,* но песни эти, всегда о второстепенных породах и преимущественно с участием топора, более окрашены каким-то леденящим восхищеньем перед их злосчастной участью, нежели признанием вековой верности и мощи величайшего в мире русского леса, чья деловая слава еще в прошлом веке докатилась до мыса Доброй Надежды.

«Возможное объяснение следует искать в народной памяти о поломанных сошниках да об изнурительном труде, потраченном на раскорчевку лесной нивы,— в извечном стремленьи стряхнуть с себя пленительную одурь, навеваемую однообразным плеском ветвей,— в постоянной тревоге, внушаемой близостью медвежьих берлог, разбойничьих вертепов и бесовских наваждений,— в потребности избавиться от вековой опеки леса, потому что воля и солнышко всегда были нам дороже сытного и неслышного существованья. Причины исторические заставляли нас *всемерно* раздвигать тесные хвойные стены... Однако и впоследствии ничто не изменилось в нашем отношении к лесу, когда его настолько поубавилось, что чистым полем добредешь с Черноморья до самой Вологды. Надо почаще говорить об очевидных ошибках прошлого, повторение которых может жестоко отозваться на благосостоянии

потомков... Согласимся наперед: не щадили леса и в остальной Европе, с тем, однако, роковым отличием в последствиях, что реки западные родятся из нескудеющего ледникового фонда, а наши — из хрупких лесных родничков, и неосторожным обращеньем с лесом у нас гораздо легче повредить тонкий механизм природы.

«Вряд ли какой другой народ вступал в историю со столь богатой хвойной шубой на плечах; именитым иностранным соглядатаям, ездившим сквозь нас транзитом повидать волшебные тайны Востока, Русь представлялась сплошной чащобой с редкими прогалинами людских поселений. Отсюда и повелась наша опасная слава лесной державы, дешевящая в глазах заграничного потребителя наш зеленый товар и создающая вредную, миллионерскую психологию у коренного населенья. Наступит день, когда Петр будет рвать ноздри и гнать на каторгу за губительство заповедных рощ, а пока леса в России так много, что в награду за расчистку дается освобождение от податей и пошлин на пятнадцать лет, а чуть посеверней — и на все сорок. Лес стоит такой непролазной крепью и такого сказочного сортимента, что былины только богатырям вверяют прокладку лесных дорог. В десятом и двенадцатом веках вся киевская земля покрыта лесом и некоторые, нагие ныне, реки вплоть до моря одеты в шумные изумрудные шелка; еще и теперь несчитанно черного дуба лежит без дела в днепровском русле у Херсона... А раз так, чего и петь о нем! Бреди хоть тысячу дней в любую сторону — и лес неотступно будет следовать за тобой, как верная лохматая собачонка. Здесь и надлежит искать корни нашего небреженья к лесу. Мы просто не замечали его, потому что он был *свой,* домашний и вечный, всегда под рукой, как воздух и вода, как заспинная сума, где и сонной рукой нашаришь все, потребное душе и телу. Мы пользовались его услугами и дарами, никогда не принимая в расчет его нужд и печалей. Русский аскет, спасавшийся в дремучем бору, так и звался *пустынником,* то есть жителем места, где нет *ничего.* Густейшие леса в краю моего детства так и звались — *Пустоша́ми.* Вот почему лес и не отразился у нас во весь свой рост ни в народном сказании, ни в песне.

«*Русская Правда,* новгородские акты XIV века, как и *Уложение* Алексея Михайловича впоследствии, упоми-

нают лес лишь в связи с необходимостью охранить от расхищенья частное пчеловодство. Иван Третий запретит сводить лес вокруг Троицкой лавры, что также не является опытом регулирования рубок или установления собственности на лес, то есть попыткой найти ему место в гражданском законодательстве, а всего лишь стремлением оградить княжих молитвословцев от досадливых мирских помех. Еще *водно, рыбно* и *лесно* на Руси; при том же Иване лось и зубр бродят под Угличем, медведь и серна. Но все шибче машет топором вкруг себя Москва, и вот Алексей воспрещает валку в тридцативерстном радиусе вкруг стольного города — опять же всего лишь в целях охранения своей, царевой охоты. Попрежнему шумят-качаются нерубаные леса окрест — коломенские и муромские, суздальские и брынские, неприступные леса курмыцкие и владимирские,— бездонные кошели зеленого добра, которого, мнится, не вычерпать в тысячелетье...

«Не о жалости наша речь — если не рубит человек, рубит время,— и тогда нет лесоистребителя безжалостней. А то был поистине *темный* бор, где жизнь одних громоздилась на другие, еще не закончившие предназначенного круга, и мертвецы тлели в приножьи своей смены. Все молчит в такой глуши... только на опушках по веснам с пьяными глазами токуют глухари. Периодические несчастья — ураган, нашествие древоточца, повышенье грунтовых вод—приостанавливали эту безмолвную, почти неукротимую гонку к солнцу, вечную гонку живых соков земли! Иногда это был огонь, начисто смывавший владычество хвойной династии и другую, лиственную, ставивший на царство... но жизнь была сильней любого вмешательства. Черные или желтые острова смерти затягивались лиственной молодью, чтобы и ей известись когда-нибудь под тяжелым еловым пологом. Человеческое вмешательство ничем как будто не грозит пока русскому лесу, но скоро совместная ярость топоров начинает пересиливать медлительное накопление растительных клеток...

«Уж все берут, и на всех пока хватает; в начале семнадцатого века северодвинская мачта и товары грубой химической перегонки впервые плывут на лондонскую биржу. Еще немало леса на Руси, но все ускоряется черпанье и возрастает размер ковша. С исчезновением опасности от кочевых вторжений с юга поступают в рубку,

на казенные нужды, даже и священные засечные леса. Тем временем степь уже начала свое победное продвиженье на север... и вдруг на всю страну раздается тревожный голос Посошкова, первого радетеля покамест только за оренбургские и вообще заволжские леса. То была народная совесть века, коснувшаяся всех сторон гражданского бытия, и, сказать правду, посошковские советы о посеве лесков, между делом, вкруг голых русских деревень не устарели и поныне. Но и без вмешательства этого патриота первостепенные задачи обороны все одно вынудили бы страну на крутые меры по лесоохраненью.

«Когда строительство флота в Азове начнет поглощать вековые дубравы по реке Воронежу и ближайшим приречным местностям, дуб встанет под личную защиту Петра, как неприкосновенный фонд адмиралтейства. Вместе с дубом заповедными породами объявлены ясень и клен, вяз и лиственница, а впоследствии и корабельная сосна. Бесчинная потрата дуба на ось и полоз, колесо и обруч одинаково карается каторгой, будь то вельможа либо его приказчик, а за порубку взимается штраф по червонцу, причем с каждой трешницы два рубля идут в доход лесника: попытка парализовать всемогущую взятку... Раньше разделка дерева велась топором да клиньями, так что знаменитая щепа русской поговорки летела на всем расстоянии от Архангельска до Астрахани; отныне лесопотребители в целях экономии обязаны хоть десятую часть заготовок производить пилой... да, видно, не научились зубья разводить: и полвека спустя еще силен мужицкий топоришко. В петровскую пору впервые у нас рубки произвола сменяются видимостью режимных; еще далеко до научного пониманья водоохранной и климатической роли леса, а уж крепко карается валка ближе тридцати двух верст к реке, равно как и раскладка костров ближе двух сажен от дерева. В горнозаводских районах велено беречь свилеватую березу для ружейных лож и запрещено потребление на топливо древесины, годной для жилищного строительства; изысканные погребения по старинке, в долбленых из дуба колодах, оплачиваются вчетверо, за повреждение зеленых посадок в городах положены каторга и кнут... Однако все чаще доносят адмиралы о самовольных порубках, отчего, дескать, в *умаление приходят леса,* и вот трехсаженные охранительные валы поднимаются вдоль

государственных рощ по Неве и Финскому взморью с виселицей на каждой пятой версте.

«На первый взгляд лесная политика остается неизменной и позже, когда выпала дубинка из мертвой петровой руки; к примеру, дочка его повторяет вальдмейстерские инструкции своего отца о посеве и разведении корабельных лесов с непременным удалением жителей от заложенных дубрав (1754). Обе Екатерины сетуют на невозвратные убытки от сжиганья пристоличных лесов на удобренье, запрещают свободную и бесплатную рубку, даруют материнские советы — сберегать леса от скота и ночного вора, гнать смолу из пня да корня, на дрова же потреблять ветровал да бурелом... то-то, надо думать, потешались сквозь слезы подневольные мужики!.. Вторая из них, в заботах о благополучии России,— потому что сам Дидро с Вольтером следят из Европы за повелительницей пятнадцати миллионов крепостных варваров! — даже предписывает Потемкину *покидать* в землю близ Одессы поболе желудей, чтобы не пришлось внукам с севера дуб возить на ремонт российского флота. Но как ни бьют кнутом за раскладку костров, как ни вешают за лесное браконьерство, дуб и мачтовая сосна уже извелись начисто на описательных ландскартах от верховьев Волги до Нижнего. Ограничивая крестьянскую потребность в дереве и даруя дворянские вольности во укрепление своего сомнительного права иностранки на русский престол, императрица полагает за благо отдать русские леса в опеку лицам, на чьих землях они стоят, с освобождением от каких-либо обязательств по охране и уходу (1782). Отныне само всесильное адмиралтейство не смеет брать древесину без согласия и оплаты владельца.

«Слабо женское сердце; дамы на престоле государства российского хоть и жаловали лес за его отменные приятности, но к первому сословию и отдельным его представителям, помоложе, проявляли нежность гораздо бóльшую. Лес становится шкатулкой с сувенирами для награждения временщиков, и, конечно, жалованные поместья приходятся на самые населенные области государства, ибо без придачи крепостных мужиков терялся самый смысл и царственного подарка. Анна подносит Бирону среди прочих курляндских латифундий и прибалтийские леса за его не помеченные в указе *особые квалитеты и достохвальные*

поступки, а Елизавета предоставляет *своему* Шувалову исключительное право лесного экспорта с севера России. Так постепенно дробятся лесные площади, множатся лесовладельцы, охваченные тщеславной манией показать свое боярство дома и, в первую очередь, за границей. Честная русская сосна плывет туда в обмен на тряпье петиметров, ботанические *куриозитеты,* на портер, на табак и другие перечисленные Челищевым легкомысленные ценности. Еще стоят леса на Руси... но заметно не в прежнем количестве; так, при поездке Елизаветы в Киев пришлось отказаться от постройки дворцов на станциях за нехваткой леса на Украине, а ограничиться устройством питейных погребов (1743).

«Потянем за нитку помянутой дамской шалости... Сиятельный Шувалов переуступил свою монополию британскому кораблестроителю Гому, а уж тот тряханул их, наши девственные онежские дебри, как нынче говорится, взявши за грудки́. Оный Петр Челищев, честный екатерининский секундмайор и друг Радищева, подозревавшийся в соавторстве с ним по *Путешествию,* с болью и скрежетом повествует о пятнадцатилетней деятельности этого Гома, словами челищевского текста — зловредного бродяги; современник и очевидец, Челищев еще застал ее следы. По причинам якобы внезапного гомова разоренья брошены были на гибель необозримые штабеля первоклассного леса, заготовленного русским топором на занятые в русской же казне деньги, протяженностью на версту, по берегу Онеги, и в полтораста сажен шириной, без проходов, высотою в три человеческих роста. Двадцать лет потребовалось, чтобы все это сгнило дотла. Примечательно, что уже тогда наш патриот угадывал в действиях Гома сознательное намерение *аглицкого* правительства нанести лесоистреблением ущерб нашей стране. Там же Челищев поминает и другого — купца по званью, шведа по крови, разорителя по промыслу... Помянем же соответственным словцом так называемых просвещенных иностранных мореходцев, дававших нам жестокие предметные уроки западного капитализма!.. С помощью обмана и подкупа они присваивали привилегию на вырубку нашей наилучшей сосны толщиной в шесть вершков в верхнем отрубе; лишь впоследствии, когда сортность русского дерева резко пала за истощением доступных лесов, норма снизилась до пяти.

Только комлевое бревно, дважды клейменное британской короной — у шейки пня и на три топорища выше — подлежало вывозу: остальное сгнивало на месте, заражая здоровый лес, расстроенный бессистемной валкой великанов. К слову, такие рубки на отбор велись до самого 1930 года, пока концессия, под давлением обстоятельств, не убралась во-свояси, не оставив по себе ни дорог, ни рабочих поселков, ни доброй памяти... Всякую пропажу надо считать вчетверо, если из нее не извлекается своевременного назидания.

«В те давние годы зажигаются первые домны в России... Эй, посторонись, лес: Демидов берется за топор! Молодая русская металлургия косит дремучие дебри среднего Урала; железо каргопольское и устюженское, а вслед за ними тульский чугун сжирают леса вокруг себя из расчета по две тонны древесного угля, то есть восемнадцать кубометров дров, на каждую тонну плавки. В то же время вывозное зерно не в силах пополнить скудеющую императорскую казну: на помощь приходят поташ, смола и древесина — по четвертаку за столетнее, полномерное бревно. Вот и повывелись корабельные рощи вкруг Архангельского-города, исчезла лиственница с Двины, и суда по ватерлинии дозволено обшивать сосной. Сильней всего нехватка наиболее ценных пород: уже при Елизавете оплешивели главные наши, казанские да тамбовские, дубравы. А волжские старожилы тех времен еще рассказывали со слезой восхищенья про деревья, на срезах которых мог в растяжку спать человек. Докучаев тоже еще застал в степях дубовые пеньки по семи с половиной метров в окружности, но мы таких уже не знавали... Собственно тогда же надлежало взять под особые надзор и охрану этих последних лесных ветеранов, живых свидетелей нашего прошлого, на которых местные власти привыкли смотреть, как на большие резервные поленья.

«Павел попытается вернуться к петровским строгостям, и тогда снова перед государством встанет неотложная задача лесоустройства. А пока — морские офицеры рыщут по губерниям для выявления годных лесов, но неутешительны их поиски, чем и следует объяснить такую чрезвычайную в России меру, как последовавший затем отказ от лесного экспорта. Но уже Александр снова снимет этот запрет для поправки обескровленного казначейства. Лес

поступает в распоряжение тогдашнего министра финансов, а это все равно, что отдать коровушку в опеку тигру, чтоб доил ее с любовью и бережением. Отныне лес становится сказочным неразменным рублем; точно так же, как в начале века им затыкаются бреши государственного бюджета, в конце,— когда из помещичьей экономики выпадет крепостной, с растяжными жилами раб, лесом начнут латать дворянские мундиры. Всемогущая взятка быстро улаживает противоречия, возникающие между наличием леса и совестью, между хищником и законом. Прибавим, что во главе ведомства стояли важные, плохо говорившие по-русски немцы, а по лесным сторожкам ютилась полуголодная босота, для дешевизны нанятая из инвалидов; естественно, в должности своей они видели способ увеличения приварка и обеспечения старости. Вот две цифры для сопоставленья: в год пушкинской гибели общий лесной доход в России составил шестьсот тысяч рублей, а лесные хищения по одной лишь Казанской губернии достигли пятнадцати миллионов. Докладная придворная записка 1838 года рисует бедственное состояние наших зеленых запасов в тринадцати губерниях, и титулованный автор ее настаивает на усилении лесной стражи из хорошо вооруженных стрелков... впрочем, без артиллерии пока! Так созревает николаевское решение о создании особого корпуса лесничих с военным устройством и армейскими чинами, чтобы подобием железного обруча стянуть распадающееся лесное хозяйство. Но частновладельческие леса попрежнему остаются вне государственного контроля, что приведет со временем к самым мрачным следствиям.

«Мы приближаемся к наиболее печальной странице нашего беглого очерка о разорении русского леса. Она начинается с паденьем крепостного права, и потом десятилетия подряд вся тогдашняя Россия охвачена как бы холодным лесным пожаром. К восьмидесятым годам это превращается в еще небывалый у нас штурм лесов; только российское бездорожье да емкость труда, потребного на валку векового дерева стародедовским способом, умеряют это вдохновенное убийство зеленого друга. Надо считать счастьем России, что молодой и до бешенства резвый отечественный капитализм не обладал нынешней электропилою, которая подобно урагану распахнула бы, к чорту смела нашу северную боровину до Печоры и Мурманска,

расчищая дорогу наступлению тундры... Две могущественные причины обусловили разгром лесов в девятнадцатом веке: крушение русского феодализма с последующим обнищаньем дворянства, не умевшего справиться с вольнонаемным хозяйством, и стремительное развитие нашей промышленности. Если и раньше дерево жарко пылало в топках сахарных, винокуренных и пивных заводов, теперь основным его потребителем становится металлургия. Вот на Урале она уже задыхается без топлива и заметно отстает от юга, где своевременно открылись неисчислимые запасы дешевого подземного угля. Строительство железных дорог ускоряет разрушенье лесов... впрочем, везде на планете введение локомотива вызывало перерубы, то есть расход древесины сверх годового прироста. Это был принудительный заем из пайка еще не родившихся поколений, причем обычное в таких случаях молчание кредитора принимается за его безоговорочное согласие. А уж близится рождение целлюлозной промышленности, которая, как и угольные шахты, примется за вологодскую, мелкослойную, хоть на музыкальные инструменты годную ель. Спрос усиливается, темпы рубок возрастают, цены удваиваются. Лесопилки стучат даже в степи... и вот к концу прошлого века потребление леса достигает двухсот семидесяти миллионов кубометров. Представители всех зажиточных слоев общества принимают посильное участие в этом разбое насмерть, называемом капиталистическим прогрессом. Шумно становится на Руси от оглушительного треска падающих древесных великанов, в котором потонула пальба только что законченной крымской кампании.

«Прогресс в обнимку с барышом вторгаются в хвойные дебри, позади остаются хаос беспримерной сечи, тяжкое похмелье и несоразмерно малое количество мелких промышленных предприятий. Такая круговерть обогащенья случалась раньше только при открытии золотых россыпей. Впереди этого колдовского вихря, освещенного новинкой техники, волшебными электролампионами, и щедро спрыснутого шампанским, чтоб крутилось веселей, шагают благообразные, ухмыляющиеся соловьи-разбойники со звездами и медалями на грудях и следом — другие, в котелках набекрень и с нахально-пронзительным блеском в глазах. Обилие хотя бы и древесных покойников, самая теплота гниенья, приманивает ночную птицу и мошкару из

притонов Европы, всяких фей в кружевных облачках и солидных банковских спекуляторов с саквояжами. И опять бородатый русский лес, с дозволения правительства, кланяется в землю всякому иностранному отребью. Уж рубят все, выбирая куски полакомей: новорожденное кулацкое сословие, готовое рубить хоть на погосте, в изголовьи у родимой матушки,— благословясь и поручив лесовозобновленье всевышнему, рубит монастырская братия в обительских угодьях, завещанных на помин души,— не менее ревностно рубят отцы городов, вроде херсонских, поваливших свою прославленную белую акацию при проводке телефона,— рубят невиданные дотоле в русском лесу разъездные пестроногие жуки из западных губерний, по сходной цене скупающие у дворян владенные грамоты и крестьянские наделы через посредство волостных старшин, которые, насмотревшись на барина, тоже рубят — не из нужды, порой, не прозапас на возможного покупателя, а от неудержимого зуда в руках. Так тончает помаленьку надежный сук, на котором сидели мы с гостомысловых времен... Все чаще, как тяжелые сны, наплывают на патриотов думы о пропадающем русском лесе. Вот уж Аксаков плачет над лесной статьей Васильчикова, и все разумеют грядущую расплату, но тогдашнее передовое общество действует по испытанному ханжескому правилу: согрешу еще разок, вдарю и покаюся! Ясное представление о размахе лесного погрома дают цифры железнодорожных и водных перевозок, приведенные в ленинском *Развитии капитализма в России.*

«Газеты того времени рассматривали все это как неминуемую ступень в развитии национальной экономики: зарезанный в меблирашках купец более привлекает их внимание, чем баснословное лесное побоище. Лишь по отдельным заметкам в лесных журналах можно проследить последовательность, с какою сдирался зеленый коврик с русской равнины. Первее прочих уходил дуб, настолько поредевший, что принимаются и за рубку одиночных, по недосмотру уцелевших особей; но тот, что до самого недавнего времени еще стоял в мерзляковской песне *Среди долины ровныя,* весь в наплывах и суковатый, годился лишь как ветролом на опушках и уже не имел промышленных качеств. Черноморское адмиралтейство добирает последнее из киевских, полтавских, херсонских и казан-

ских дубрав, где еще попадаются островки по десятку тысяч исполинов... Вот на глазах у всех изошла на шпалы краса Кубани, подмайкопская дубрава, и покручинились казацкие сердца. Пали под топорами колонистов указанные в документе 1763 года присаратовские леса, которыми Пугачев незамеченно пробирался к тому городу. Близ 1877 года лесная летопись оплакивает расстроенные древостои на Вытегре, как уж оплакан песенный пелагеевский бор в Изюмском уезде... кто помнит его теперь? А кому известно, что в бывшем Новомосковском,— где теперь кучегуры бесплодных песков, сравнительно недавно травили лисиц, а куропаток ловили сетями? Пускай давно, лет двести назад, все волго-донское междуречье было сплошь под лесом, но кто поверит, что еще в шестидесятых годах Днепр от Екатеринослава до Александрова утопал в дубовых зарослях?.. Современники горевали, что отныне большая товарная липа сохранится лишь по реке Белой, но и сюда с зеленым вином да кирпичным чаем врывается пьяная лесная смерть. С топором и гармошкой она бродит по дремучим башкирским урманам, валит подчистую спелое дерево, корит подрост, отравляя Уфимку и Танап смрадом мокнущего луба, да еще, глядишь, красного петушка пустит на прощанье, в пику генерал-губернатору за казенную запоздалую опеку!

«Не менее грустна и поучительна судьба былинных лесов между Елатьмой и Муромом; пожалованные выксунскому заводовладельцу сорок тысяч десятин впоследствии перешли к англичанам, успешно применившим там свои колониальные навыки. Силен концессионер в нашем отечестве тех лет! Жизнерадостный иностранец господин Летелье не покладая рук режет неохватные ореховые кряжи в Намангане и Андижане, не щадя поросли и семенников, а другой, бесфамильный Эмерик Гаврилович, сводит на средней Волге вековые джунгли осокоря. Немало добра уплывет с окраин и в годы интервенции, когда белогвардейцы на севере пустят беломорскую сосну, а меньшевики — самшит на юге в промен за оружие для своего гиблого дела. Вообще не менее плачевна участь многих лесов грузинских, отразившаяся на характере кавказских рек. Падают леса Чомбарские под Телавом, а к концу века они рушатся на юг от Гори, в феодальных имениях Сатархно, Сацициано и Саджавахо, отданные на срок

в рубку. Мертвецы в зеленых обвядших гривах лежат на склонах, буйволов не хватает стащить их вниз,— уцелело лишь то, что под охраной орлиных гнезд. Сквозь размытые ливнями почвы проступает скала. Редеет в доступных ущельях старый грузинский вяз, и дзельква переселяется из Рионской долины в сказания народных певцов, где уже давно шумят их родные братья, дубы с Хортицы. Чаще жалуются старожилы, что ветер сжигает маис в Имеретии, Гурии, Мингрелии, а простоволосые Кура и Арагва безумеют по весне; так мчатся стрелки на часах, откуда вынут распределитель силы, маятник.

«На рубеже столетия падают васильсурские корабельные рощи с дубами, помнившими Грозного, и навечно смолкают там пересохшие роднички. Лысеют малые Жигули, и Хмелевская отмель, как удавка, перехватывает волжский фарватер. Вот уж показались пески на Десне у Новгород-Северского, а чуть позже из Белоруссии сообщается о появлении этой летучей разведки пустыни. Когда в восьмидесятых годах учитель моего учителя Турский обследовал верховья Оки, он нашел в изобилии лесные названия деревень, а самого леса уж не сыскал, кроме малых рощиц кое-где, сберегаемых стариками как тятенькино благословение... Не веселей и в Сибири, как близ Канска, например: ковыльные степи голубеют там, где живые люди помнят тайгу. В то же время из далекого Забайкалья и с Амура доносятся вопли краеведов о лесной погибели, так и не дошедшие до властей предержащих. На самом Сахалине вырублены зеленые заслоны, защищавшие Дуйскую падь, а ближе к нашему времени поистощатся леса верхнеленского и южно-енисейского бассейнов. Кто знает, жива ли еще непроходная падь Варначья у Иркутска с источниками ключевой воды, где отдыхал бродяга знаменитой русской песни?.. Да он и доныне не ослабевает, страшный белый огонь; уже в наши дни облысел Валдайский водораздел, откуда растекаются шесть первостепенных русских рек, не считая Днепра, который начинается там поблизости. Исчезают помаленьку под Казанью столетний сосновый Чортов угол, сад на озере Кабан, как и отличный сад Державинский, и уже благоуспешно приступлено к рубке Дубков, где так недавно казанские пролетарии сходились на маевки... Правда, по рассказам приезжих, еще рдеют сосновые колонны на Енисее, подпорки

закатного неба... потому и рдеют пока, что буксиришком никак не вытащить их оттуда, из-за речной быстрины!

«Естественно, с ростом городов и населения, с развитием торговли и промышленности лес и должен был все шире втягиваться в оборот российской экономики. Однако обязанностью царского правительства было почаще вглядываться в расползающиеся желтые пятна на зеленой карте страны и соразмерять дело так, чтобы изобилие сегодня не повлекло недостатка завтра. Стоило также поразмыслить, отчего в 1861 году доход со ста с лишком миллионов зарегистрированных десятин русского леса выразился в сумме полутора миллионов рублей, тогда как миллион десятин французских дал десять миллионов в той же валюте?.. Спасение заключалось в своевременном переносе основных лесозаготовок в спелую избыточную тайболу ближнего севера и в постепенном освоении перестойной сибирской тайги. Но капиталисту непосильно вкладывать большие деньги в поселки, дороги и новые пристани. Правда, незадолго до революции Мурманская дорога поворотила олонецкие запасы к югу, но сама она явилась на свет не по лесной нужде, а для возки из-за границы военного снаряженья, отсутствие которого грозило разгромом империи. Больше того, русский лесовладелец искусственно снижал цены на свою, южного происхождения, древесину и добивался для себя льготных перевозочных тарифов, лишь бы подавить возможного северного конкурента. Находились подлецы из дровоторговцев, хлопотавшие о запрещении каменного угля. Дерзость хищника разыгралась до наглых требований *не возбранять временно-усиленную рубку,* ибо лесоистребление есть *дитя нужды*. Неизвестно, что разумелось под этим жалостным словцом, но в 1869 году одних трюфелей было ввезено из Франции семь тысяч пятьсот пудов, на два миллиона тогдашних рублей по оптовым ценам; надо думать, не русский же мужик лакомился изысканным деликатесом!

«Если не считать лесников, редко владевших доходчивым пером, мало кто писал на Руси, как отразится этот разгул торжествующего собственника на климате, земледелии и ландшафте любезного отечества. Закон поощрял преступление: как непригодная для пахоты земля, вырубленные территории подлежали меньшему налоговому

обложению и к тому же не требовали расходов на охрану. При закладке имений в кредитных учреждениях, расплодившихся на выручку нищавшего дворянства, пеньки считались дороже, чем лес с его сравнительно низкой рентой. Да тут еще родятся услужливые теории, будто леса иссушают почву; в 1876 году вслед за Энгельгардтом некий господин Залманов выступил со статьей о вреде леса в России; вообще дураки нанесли лесу ущерба не меньше хищников. Кстати, из наблюдений за ветрами выяснилось, что леса Рязани, например, увлажняют поля Турции, что вроде бы и ни к чему из-за ее настойчивого и утомительного недружелюбия к России. Наконец, в связи с проектом о выкупе частных лесов пошли слухи о бесплатном отобрании их в казну — и вот в Рославле распродают лесные дачи по шестидесяти за десятину, при стоимости шапки лесничего с кокардой в двенадцать целковых. Словом, руби, не жалей, вдвое хлеще вырастет!.. Опять же деньги хранить безопасней, чем лес, из-за участившихся самовольных порубок, которыми русское крестьянство регулировало бесчестное распределение богатств. Правительство ответило учреждением скорых на руку мировых судов, где порубщик немедленно получал телесное воздаяние; все чаще случаются кровавые стычки помещичьей охраны с населением. Количество порубочных дел с одиннадцати тысяч в 1866 к концу столетия достигает ста семнадцати тысяч в год.

«В большинстве губерний крестьяне вовсе не получили лесных наделов, а получившие обычно распродавали их барышникам на покрытие недоимок и прокорм семьи в неурожайный год. За метлой и охапкой хвороста приходилось плестись на поклон к озлобленному барину; таким образом, нельзя винить мужика, что темной ночкой при посещении барской рощи не слишком соблюдал правила рациональной рубки. Никогда не были прочны законы, мешающие нищему согреть и накормить своего ребенка... Кстати, уже в ту пору неплохо оплачиваемые государственные мыслители могли бы додуматься до несложных машин, превращающих наши изобильные и повсеместные торфяники *в дрова,*— пусть не будет у вас, молодые лесники, слова подлей и бессмысленней этого! За годы учебы вы узнаете, что, кладя полено в печь, вы сжигаете волшебные материалы, перечень которых вряд ли когда-нибудь химия исчерпает до конца... не говорю уж о невесомых

сокровищах, вроде зеленой тени, или соловьиной песни, которая умирает при этом без дымка и пепла. Древесина есть благо, значение которого мы будем постигать по мере исчезновения ее с лица земли. До сегодня мы брали из нее лишь клетчатку, спуская бесценные лигнин и камедь в реки, на гибель собственной, нашей рыбы. Ладно еще, научились спирт извлекать, крепители, дубильные экстракты, на что раньше тратилась кора пятнадцатилетнего, едва только в силу входил, *зеркального дубка.* Целый век промышленность и транспорт нещадно жгли древесину в своих кочегарках; лишь в 1892 нефть и уголь облегчили наполовину эту тягчайшую повинность леса. Все же в следующем году на *дровопроизводство* ушло полтораста миллионов кубометров... Неизмеримо бóльшие количества леса сгорают в лесных пожарах; в 1915 году выгорели миллионы квадратных километров, и кое-где повисший в небе дым задержал на две недели созревание хлебов. Словом, в условиях несовершенного общественного устройства надо удивляться не размерам утраченного, а наличию уцелевшего.

«Среди лесорасходных статей надо помянуть крестьянские ремесла, которыми держалась низовая Россия; вот цифры прежнего расточительства. Дерево издавна и во всех видах было товаром русского экспорта: выжигали поташ, тонна которого обходилась в тысячу кубометров ивы, вяза, липы. Гнали смолу и деготь, выпуская ценнейшие отходы в воздух, причем бересту покупали по пятиалтынному с пуда. В 1855-м на Нижегородской ярмарке продано восемьсот пятьдесят тысяч пудов мочального товара, кроме лаптей — исконной обувки дореволюционного крестьянства. На каждую пару их уходило по три деревца, или двенадцать трехаршинных лык, а срок службы их редко превышал две недели. В 1877-м одна Вятская губерния произвела тринадцать с половиной миллионов пар лаптей, и вот повывелась липка в этой области почти начисто... Лет пять назад я побывал у себя на Енгé и с грустью вспоминал, стоя на лошкаревском обрыве, как в годы детства сбегали по ней караваны и десятки громадных счаленных плотов,— дощаники, беляны и баржи, состоявшие из трехсот дерев каждая. Так вот в прошлом веке ежегодно десять тысяч таких судов, груженных лесным товаром, безвозвратно уходили в малолесные районы

страны. Введение железных судов, казалось бы, сократило потребление корабельной древесины, зато явился новый ее потребитель в виде железных дорог... Вдобавок лесные промыслы велись в первобытной дикости: кулацким заправилам, державшим в кабале темную ремесленную голытьбу, не было дела и до лесных печалей. Ради бересты или хвойных — по пятаку за четверик! — семян взрослое дерево валилось целиком, как, впрочем, судя по нашим газетам, и сейчас валятся в Сибири исполинские, головы не закинешь, кедры при сборе орешка, как, впрочем, и поныне рубится за рубежом перуанская *каскарилья* при добыче хинной коры.

«Понятно, при излишке добра оно неизбежно сыплется сквозь пальцы, но в ту пору оно уже текло сквозь них быстрей песка. И вдруг мельники в голос отметили однажды снижение меженных вод, а старожилы записали в своих тетрадках, что где бродил медведь, там скачет суслик. Вот уж Кострому напрямки видать из Нижня-города, а Саратов — из Воронежа, а песчаные бури, подобно толпе желтых призраков из прошлого, стучатся в рязанские ворота, а из-за Каспия на освоение пространств выползают солянки, полыни и всякая колючая растительная чертынь,— сверх той, что прибыла туда раньше на копытах да в гривах монгольской конницы. Свыше трех с половиной миллионов гектаров сыпучих песков образовалось за последний век в Астраханской области. Степняками становятся Дон и Днепр, а кроткие дотоле речушки рвут плотины по веснам, зато в разгаре лета впадают в спячку и пугливо зарываются в песок, подобно азиатской ящерице перед лицом человека. Отмели расползаются по руслам водных путей; долины их ширятся, а сила убывает, и вот уже просвечивает дно. Все чаще пассажиров приглашают сделать моцион по бережку, пока посудина на брюхе переползает перекат. Дочери Волги не в силах напоить мать; лишь старшая, из нерубленого края, Кама, поддерживает ее былую славу. Если человек и дальше не вступится за водоохранные зоны, реки сами вмешаются в его одностороннюю разрушительную деятельность: они не пустят пароходов вверх по теченью, истомят наши пашни жаждой, сорвут сплавной сезон,— а три четверти нашей лесодобычи вывозится водою. Случалось уже и в наше время: уровень рек при вырубке прибрежья падал так стреми-

тельно, что плоты того же года застревали на мелкой воде в верховьях Камы, Вычегды, Северной Двины и Белой; кстати, шестиметровым слоем затонувшего бревна, топляка, устлано дно Камы.

«Так помрачение и расстройство наступают в природе. Гаснут роднички, торфянеют озерки, заводи затягиваются стрелолистом и кугой. Худо земле без травяного войлока; когда-нибудь люди узнают на деле, чего стоит натянуть на нее неосторожно сорванную дернинку и укоренить жолудь на солончаке. Леса с земли уходят прочно. Вот уже ничто не препятствует смыву почв поверхностным стоком воды. Множатся балки и овраги, работающие, как гигантские водоотводные канавы, землесосы чернозема. Как раз на юге нашем, где расположены восемьдесят тысяч колхозов, наибольшая часть тающих снегов скатывается торопливо и бесполезно, не успевая напитать промерзшую почву и унося хрупкую пленку плодородия. В летние месяцы, в пору созревания хлебов, реки сами отсасывают и без того бедную грунтовую влагу. Так входит в наш советский дом чудовище, на избавление от которого потребуется усилий неизмеримо больше, чем потрачено нами на изгнание леса.

«По народной примете — *лес притягает воду,* чтобы затем отпустить ее облачком в дальнейшее странствие. Значит, он каждую каплю падающей воды впрягает в двойную и тройную работу. Чем больше леса, тем чаще прикоснутся дождичком к земле те постоянные двести миллиметров осадков, что в среднем мы получаем из океана в год. Но мы не учитываем также, сколько дополнительной влаги выкачивают корнями с глубины сами деревья, внушительные автоматические насосы с отличным коэффициентом полезного действия. Лес приближает море, и сам как море, и корабли туч ночуют у его зеленых причалов... но стучит топоришко, и воздушные транспорты влаги плывут транзитом через нашу страну, не задерживаясь на разрушенных полустанках. С другой стороны, представьте себе грозное будущее избыточно влажной и не имеющей достаточного стока северной равнины, когда с нее уйдут леса и усилится затопление и, значит,—натиск вечной мерзлоты, так как под моховой тундровой шубой солнце не успевает прогреть землю. Должен, кстати, уведомить вас о существовании теории, по которой северные леса являются заслоном нового ледникового периода.

«Уже давно нарушение водного баланса сказывается на благосостоянии русских. Недороды потрясают страну каждое десятилетие — 1891—1901—1911 годы, да и в промежутках не слаще крестьянское житье. Чума валит скот, и на прокорм его уж не хватает горькой, замшелой соломы с крыш, всегда служившей запасцем на черный день нашего земледельца. Унылые крестные ходы движутся по спаленным полям с молитвой и под мерный хрип пилы поблизости. Переселенцы не устают плестись в поисках нетронутых отечественным капитализмом мест: некошеных лугов, невзмученных вод, нерубленых чащ — благо бесконечна наша родина. Матери месят деткам мякинку пополам с крапивой и снытью, строго глядя в голодно-голубое, остекленевшее небо. Эко чудо: топоры стучат по Суре да Иргизу, а эхо ребячьим плачем отзывается в Заволжьи! И вот Докучаев сравнивает русское земледелие с азартной игрой, а в 1893 году агроном Измаильский предсказывает скорое превращение степей в пустыню, а следом в печати тех лет публикуется и пострашней пророчество: «Пройдут годы, и арыки будут у Рязани. Счастливый путник найдет у Харькова колодец с горько-соленой водой». Вот от какой беды социализм призван спасти наше крестьянство.

«В старинной борьбе леса со степью человек принимает деятельное участие на стороне последней. Было бы самонадеянностью приписывать климатическое повреждение только человеческому авторству, но еще опаснее недооценивать его в условиях современной техники. Пусть не ослабят ваших тревог малоутешительные соображения, что надоедливый спор о лесах повелся еще со времен Реомюра и Бюффона; еще Демокрит объяснял наличие соли высыханием морей, и Кант сокрушался по поводу ухода воды с планеты, и наш историк Соловьев грозился наступлением пустыни... а человечество, дескать, существует попрежнему и даже с усердным применением огнестрельного оружия! Тем хуже: людям всегда приходилось жестоко расплачиваться за пренебрежение к так называемым *банальным* истинам. Оно и действительно, имеются указания науки на усыхание юго-востока России в связи с поднятием материка и отступлением ледника на север, а бывшего Сарматского моря — в Каспийскую впадину. Выходит, всему виной космическая старость земли: она

и сушит громадное водное дно — место нашего нынешнего жительства; так уже расставлены вехи на климатическом циферблате, и лесами, дескать, тут не помочь!.. Но, с другой стороны, та же многоликая наука убеждает, что мы живем как раз в период увлажнения планеты, так как уровень некоторых озер настолько повысился за последние пять тысяч лет, что береговые стойбища неолитического предка оказались теперь под водой... так что леса в этом смысле вроде как бы и не нужны пока... Третьи держатся мнения, что климат вообще подвержен колебаниям с периодом в тридцать пять лет, и засухи чередуются с холодной и сырой погодой, причем мы и вступили якобы в такую неблагоприятную полосу: нужно терпеливо выжидать у моря погоды. Имеются и такие мнения, что наступление степи началось чуть ли не с палеогена и процесс этот настолько медленный, что у русских еще уйма беспечного времени впереди. Можно легко представить, чего наделает топор, пока почтенные мужи науки выясняют истину.

«По Ключевскому продвижение степи достигает уже ста десяти метров в год по всему засушливому фронту от Челябинска до Измаила, в то время как в Африке Сахара наступает по целому километру за тот же срок. Не надо утешаться, что за тысячелетие пустыня продвинется едва от Москвы до Можайска; цифра эта значительно умножится за счет подготовительной работы топора в нашем тылу. Не верьте утешителям! На примере Средней Азии нас уверяют, что водный баланс планеты неизменен с древнейших времен: течение Зеравшана и абрис Аральского моря все те же. И верно, трудновато ухудшить вид пустыни, которая является заключительной фазой разорения и обнищания земли... но откуда же берутся в застылых песчаных волнах останки городов, ожерелья женщин, сосуды для вина? Оговариваются, что это война убила азиатские цивилизации, но мы же и твердим об *односторонней* направленности в нашей деятельности. В пределах одной человеческой жизни трудно заметить происходящие в природе изменения; шаг времени у нас другой, чем у нее, и трехсотлетний возраст сосны соответствует нашим восьмидесяти. Мы покидаем мир приблизительно таким же, каким застали его при появлении на свет. Жителям пустыни естественным и вечным кажется унылый окружающий ландшафт, пока раскопки не расскажут им о бессовестных

джихангирах, завоевателях древности, начинавших покорение соседей с умерщвления арыков и зеленых кущ над ними.

«О возможных последствиях такого расточительства давно твердила наша лесная наука, имеющая столетний опыт. Русский народ выдвинул ряд мужественных ученых, защищавших зеленое достояние, хотя всегда у нас легко было прослыть бездельником и обывателем, вступаясь за лес. В этих стенах вы услышите имена Рудзкого и Докучаева, Турского и Морозова, как и других,— пусть их посильные подвиги, усиленные через ваше социалистическое сознание, внушат вам смелость на еще большие свершения! Учась у живых... даже таких, как мой невозмутимый оппонент и главный утешитель, профессор Грацианский, умейте терпеливо слушать мертвых. Они так *знали* лес, что даже оставили наивно звучащие ныне правила, *откуда* начинать рубку, чтоб приучить остающуюся молодь к ветру. Люди эти неустанно внушали нашему обществу, что изобилие северных лесов не избавляет нас от бережного обращения с ними, потому что именно они делают дождь Украины; они говорили, что если дерево на севере становится ценностью лишь в виде бревна, то на юге оно неизмеримо ценнее, оставаясь живым; они убедительно доказывали, что пора в России завести *какой-нибудь* порядок в лесопользовании. И не без горечи надо признать, что призывы их не оставались без отклика: так, русские священники однажды подняли голос о запрещении березок на троицу и елок к рождеству, а хваты из помещичьего сословия увещевали мужика отказаться от разорительного освещения с помощью лучины, так как каждый крестьянский двор, по их расчетам, за зиму сжигал ее шесть возов, составляющих восемнадцать деревьев. Время от времени также проливалась густая коллективная слеза о лесной судьбине, как поступил, к примеру, съезд 1870 года, на три четверти состоявший из лесовладельцев. Там, где требовались законы и кнут государственного вмешательства, применялся административно-ласковый массаж помещичьего патриотизма. Наконец, в 1888 году появляется желанный лесозащитный закон, который по классовому лицемерию мог поспорить с так называемой *освободительной* реформой. Сущность этой махинации предстанет перед вами на последнем курсе, при изучении лесного

законодательства в России, а пока запомним, что в состав лесоохранительных комитетов входили такие профессиональные блюстители народного блага, как губернатор, местные лесохозяева и губернские чиновники, нравственная стойкость которых была, как правило, обратно пропорциональна размеру предлагаемого куша. Правда, при выдаче лесорубочных билетов взималось двадцать пять рублей на посадку лесов, но учтите, что посаженный в те, почти легендарные для нас, времена дуб, если б даже и уцелел до наших дней, и доныне не достиг бы промышленного качества.

«Неправильно думать, однако, что лишь в России девятнадцатый век отмечен яростным избиеньем лесов. Свидетели своей эпохи, Маркс и Энгельс наблюдали тот же процесс во всем мире и с надеждой говорили о времени, когда человечество научится предвидеть отдаленные последствия своей деятельности; можно прибавить, иные из них потомкам придется искупать высокой ценой сложных гидротехнических сооружений. Лес остается лесом как в Сибири, так и во Франции; лесовладелец сохраняет свое лицо и на Камчатке и в Рейнской области. Повсюду капитализм совершал свой первый прыжок за счет леса, главным образом — древесных пород умеренного климата, более легких в обработке. Животному чуждо мышление о завтрашнем дне, разум капиталиста в его когтях и зубах. Он идет, сгрызая все на пути, чтоб сдохнуть когда-нибудь в кроманьонской норе от голода и стужи вместе с теми, кто имел несчастье ему довериться; фашизм и есть ярость зверя, от которого все чаще ускользает его поумневшая пища. Американский капитализм принялся за свою жатву задолго до нашего, когда еще в младенческом возрасте вломился в леса Великих Озер и южных штатов, а в текущем столетии — на тихоокеанское побережье. Он сводил начисто веймутову сосну, редчайший хемлок выжигал на поташ, ставил изгороди из черного ореха, а ель вырубал, как сорняк, пока не открылась ее пригодность для целлюлозы. Начав сверху, они с топором прошли до юга. За три последние десятилетия их лесная площадь сократилась почти вполовину; обезлесены Мичиган и Миннесота, а в штате Нью-Йорк усиленными рубками спасались от безработицы... Капитал живет немедленным барышом, что в особенности отражается на судьбе пород с высоким

оборотом рубки. Уже уничтожена половина всей гигантской секвойи, а полной спелости этот вид достигает в четыре тысячи лет; потомки увидят ее лишь за оградой ботанических садов. *Большое* лесовозобновление составит немалый труд даже для социалистического общества, способного сосредоточить величайшую мощь на самом узком участке своей экономики; тем более наивно звучит разговор об этом в Соединенных Штатах, где девяносто процентов леса в зоне фактической эксплуатации принадлежит частным владельцам. Защитный лесной пояс в районе Великих Озер выполнен едва на одну седьмую, да и тот гибнет. Вырубка тысяч гектаров векового леса не возмещается посадкой хлыстиков на таком же пространстве; чтобы сделать эти величины равноценными, необходимо еще *время* размером в сотню лет, в течение которого надо вести *правильное* лесное хозяйство... да и то неизвестно, что из этого получится! Земледелие же целиком зависит от состояния лесов, и еще тот же Маркс говорил о капиталистическом искусстве ограбления почвы и разрушении источников ее плодородия. Так погублена в Америке почти треть миллиарда акров земли, а урожайность снижена кое-где вдесятеро. Все приведенные цифры текучи, с уклоном к возрастанию,— пусть они послужат координатами дня, когда мы встретились с вами. В заокеанской литературе найдутся живописные картины, как ведет себя земля, отданная сперва на произвол собственника, а потом — ничем не взнузданных стихий. Черные бури несутся над растоптанными в пепел полями, а солнце глядит как трахомный глаз с пропитанного пылью горизонта. Вместе с другими причинами капиталистического упадка эрозия почв вызывает эрозию духа, эгоизм и страх, философию перенаселенности, бесплодие мысли и, наконец, утрату веры в самое человеческое призвание.

«Отсутствие точных статистических сведений затрудняет наше раздумье о лесах на планете. Но если в самой Англии не осталось промышленного дерева, если за минувший век леса Франции уменьшились до четверти, легко представить себе, что же творилось в колониях, где просвещенный европеец всегда вел себя по образцу Кортеса и Пизарро. Дело номадов, копытами своих стад остановивших распространение лесов, успешно продолжила капиталистическая цивилизация. Так исчезли прославлен-

ные леса ливанские, и пограничные адриановы столбы высятся надгробиями среди пустынных гор. Начисто оголен азиатский юго-восток, так что на долю Индии и Китая с их населением в полчеловечества приходится едва тридцатая часть мирового лесного фонда. В верховьях Ганга большая зелень сохранилась лишь в узкой пригималайской полосе, и вот священная река беснуется по веснам, как Миссисипи, мстя людям за их слишком длительное непротивленье злу. Редкое тиковое дерево, и раньше попадавшееся в количествах не свыше полудюжины на га, целиком вырублено к югу от Годивари; заросли атласного и эбенового — на Коромандельском побережье превращены в колючий кустарник. Японский хищник, вроде концерна Мицубиси, уже обезлесил Маньчжурию, и нетрудно представить, как рушатся под ним сейчас вековые камфарные древостои на Тайване, а промышленная перегонка этого вида на сырье допустима лишь в двухсотлетнем возрасте. Размеры бедствия заставляют нас оглянуться на цифры, определяющие место дерева в жизни человечества и характер его потребления на земле.

«Пашня и лес — самые могучие машины, преобразующие энергию солнца и плодородие почвы в насущные продукты нашего существованья. Среди мирового сырья древесина занимает второе место после каменного угля и пищи. Две трети сваленного на планете леса сразу сжигаются как топливо и значительно больше половины остатка поступает в отброс из-за преступно низкого уровня обработки. Говоря о коэффициенте использования при утолении жизненных потребностей у разных живых существ, нельзя не признать порой, что тигр кушает экономичней человека. Вся тяжесть удара ложится на леса умеренного климата. Перу, чья территория наполовину покрыта джунглями, и Венесуэла с ее значительными запасами на Ориноко доныне ввозят лес из Канады. Так мировая экономика все теснее сближает человечество в одну семью, где все отвечают друг за друга. Лесное разорение скандинавских стран вовлекло бы в оборот девственные леса Малайи, лесные пожары на Гудзоне вызвали бы к бытию лесопромышленность Латинской Америки. Мысли о будущем и поставленных под угрозу источниках жизни требуют великого разговора народов без корыстных посредников, привыкших извлекать выгоду из людских

несчастий. До сих пор попытки международного сотрудничества представляли собой коллективное качание умными головами вдогонку уходящим лесам. Адвокаты буржуазии смотрят на лесоистребление как на неминуемый этап тернистого пути к совершенству; точно так же их экономистам кажется естественной для современной цивилизации нищета подавленного большинства. И все же лесов еще хватит для потомков, если без промедления применить к ним разумную справедливость. Однако задача эта вряд ли станет посильной для нас раньше той поры, когда осознавшее себя человеческое общество, это взрывчатое облако раскаленного газа, обрушится на лопатки единой турбины коммунистического прогресса.

«Из всех работающих на нас машин лес — одна из самых долговечных, но и труднее всех поддающаяся починке. Поэтому лесная наука должна руководиться мыслью о необходимости какого-то расчета и порядка в пользованьи ею. Совместной работой выдающихся русских лесоводов было создано учение о непрерывном, неистощительном лесопользовании во времени и пространстве; согласно этому учению, вырубка не должна превышать нарастающего за год количества древесины. При этом площадь лесов, входящих в состав хозяйства, делится на число участков, равное цифре рубочного оборота, так что пила приходит на последний из них, лишь когда первый снова выспел для рубки; сроки эти могут быть сокращены за счет надлежащего ухода за лесом. Приблизительно так же ведется дело в животноводстве, где ежегодный забой скота соразмеряется с приплодом и живым весом, наращенным в стаде. Вряд ли было бы благоразумно вчистую вырезáть все поголовье в одной области и затем с детской улыбкой приниматься за соседнюю... Возможно, кое-что в этих учениях о процветаньи леса устарело для нашего времени, но в них выражена забота о потомках и бескорыстная преданность отчизне. Безупречность их хозяйственной логики настолько очевидна, что при поездке на Урал в 1899 году, и не будучи лесником, Менделеев самостоятельно пришел к тем же выводам из наблюдений действительности. Здесь лежит корень одного давнего и затянувшегося спора. Вам, будущим деятелям леса, вручаются ключи от зеленой кладовой нашего отечества, вам предстоит разобраться в путанице лесных теорий и по справед-

ливости оценить некоторые из них, смазанные медом сладостного усыпления.

«Имеются у нас настойчивые утешители из той категории, что, по ироническому определению Маркса, «из нужды делают добродетель». Вынужденные перерубы великой стройки возводя в ранг постоянно действующего закона, они вкрадчивыми голосами приглашают брать лес *всюду,* соразмеряя рубки лишь с пропускной способностью транспорта и не ограничивая их величиной прироста. Они предлагают дополнительно поосветлить водоохранные зоны, хотя на весьма многих русских реках собственно осветлять уже нечего. Правда, с негодованием отвергая слово *лесовозобновление,* они в последнее время, под давлением необходимости, соглашаются на *лесовоспроизводство*, что выглядит солидней — на две буквы длиннее. Понятно, в любом жарком деле неминуемы и горячие головы, но менее понятно и заслуживает особого исследования их упорное стремление заглушить тех своих противников, кто пытается довести до народа правду о наших лесах. Не вижу здесь главного своего противника, Грацианского, но наличие в заднем ряду его стенографистки Ираиды Антоновны, напрасно старающейся спрятаться за спиной молодого человека, забывшего снять с себя теплый, не по сезону, головной убор, внушает мне надежду, что все сказанное дойдет до моих оппонентов, потративших столько сил на мое разоблачение. И еще запишите, Ираида Антоновна, что Иван Вихров в беседе с будущими лесниками сравнивал утешительные серенады вашего шефа с памятным и, по счастью, отвергнутым в тридцатых годах предложеньем перевернуть могучими плугами украинский чернозем на семьдесят семь сантиметров, что прочно похоронило бы социалистическое плодородие.

«Совершенно ясна разница между вчерашними лесными тратами, служившими обогащению немногих, и нынешними — на благо поколений. Все жертвы святы в борьбе за советское дело, и не содрогнутся сердца лесоводов, когда гряда за грядой падает сейчас белорусское Полесье, образуя завалы на путях фашистских танков. Не впервой русскому лесу стоять с нами плечом к плечу в труде и ратной сече: в годы разрухи и интервенции он тоже в полную силу поработал для рабоче-крестьянской республики. Отрезаны фронтами уголь и нефть,— *он* тянет

по стране красноармейские и хлебные эшелоны, везя в столицы героическую *восьмушку, он* крутит промерзшие станки предприятий, *он* поддерживает тепло рабочих жилищ. Его убыль такова, что Ленин на Девятом съезде Советов поднимает голос за исключение древесины из топливного баланса, за возвращение лесоводов из армии и отовсюду на их основную работу. Закон того года ясно говорит о необходимости рубок по приросту и сметам, то есть о лесоводстве на твердых научных основаниях... Но после краткой передышки следует первая пятилетка — Магнитогорск и Караганда, Турксиб и Днепрогэс; тракторные заводы четырех городов, черная металлургия и тяжелое машиностроение требуют немедленных поставок свайного кряжа и бетоноопалубки, крупномерного столба и теса для строительских жилищ. Все первенцы нашей индустрии лежали в деревянных пеленках, и горе было бы нам теперь, под напором фашизма, если бы народ наш в свое время не пошел напрямки через горные перевалы века. Всечеловеческое дело мы начинали под зубовный скрежет умных врагов и злорадную издевку глупых; стрекозе свойственно веселиться, пока трудится муравей! Мы были бедны, но чужеземный опыт и машины покупали за корректный наличный расчет... и они брали, христианнейшие джентльмены Запада, масло и хлеб наших детей, сокровища музеев, водоохранный лес, поправляя на советском подвиге свои пошатнувшиеся дела. В той спешке мы рубили все, без различия возраста, пород и бонитета, втягивая в поток леса севера и востока, но основную тяжесть возлагая на прежние лесоистощенные края. А главный лес, знаменитая треть земных лесов, как и раньше, оставалась в стороне, бесполезно падая и сгнивая. Там и посейчас природа сильнее человека, а жизнь ютится на опушках: птица не поет в лесах хвойных. Источенные жуком, подпаленные молнией мертвецы стоят там в моховых погребальных шубах, опершись на плечи живых, и путнику приходится врукопашную прорываться там сквозь валеж и комариные облака, как в стародавние годы... Сравните-ка это с оголенным ландшафтом срединной России!..

«Не может быть равнодушия в лесных делах: народу нашему жить вечно на этой священной земле. Его потребность в древесине, бумаге и продуктах усложненной лесохимии будет возрастать, пока совершенная техника ком-

мунизма не научит нас делать из всего все. Каждый дом в городе требует два кубометра дерева на квадратный метр жилищной площади. Каждый километр железной дороги берет по четыреста кубомётров дерева на подсобные постройки, телеграфную связь и шпалы... так что не верней ли было назвать их деревянными дорогами с железным покрытием? Каждые сутки десятки длиннейших эшелонов крепежного леса уходят под землю одного Донбасса... Когда же с дипломами лесоводов вы покинете эту школу, количество потребления возрастет, может быть, вдвое. Как бы ни обеднела лесная нива, страна потребует у вас все возрастающих поставок, а топор станет еще острей, а путь к дереву еще короче, и превращение его в продукт потребления много легче, чем теперь. На смену топору, ваге да крестьянским саням в лес вступают походные электростанции и новая пила, действующая, как обыкновенная косилка, мотовозы и бульдозеры, многорамные лесопилки, сплоточные машины и другая нерассуждающая сталь. Все это, как и скальпель в руке хирурга, бесконечно повышает человеческую ответственность перед живым, зеленым и беззащитным существом, не спрятанным в земляной блиндаж с километровой кровлей, как мертвые нефть и уголь, не имеющим даже шипа для самообороны. Так возникает необходимость всенародного раздумья о лесе, о его гражданстве в отечественной экономике, о пересмотре норм нашего обращения с ним... И кто знает, не займет ли он тогда почетное место среди цветных металлов?

«Общеизвестно, что при рубке леса летит *щепа;* в масштабах возросшего государственного плана она давно заслуживает внимания самой высокой бухгалтерии. Посчитаем же этот узаконенный поговоркой убыток древесины на всем пути с лесосеки до потребителя... Вот лесоруб подходит к дереву с пилой; здесь топор применяется лишь для первичного надруба, направляющего падение ствола,— щепа пока маленькая. Теперь дерево подлежит очистке от сучья и вершинника, сжигаемых на месте как бесполезный и огнеопасный мусор. Вместе с древесиной корней и пня, оставшихся в земле, и после окорки первая утечка составит почти половину всей массы органического вещества. Если принять неминуемую убыль при перевозках и на сплаве только в десять процентов, подсчитайте, сколько получат промышленные предприятия от каждого

сваленного дерева?.. но до потребителя еще далеко. Бревно поступает на лесопилку, и щепа летит еще обильней: ввиде горбыля и концов, реечника и опилок, составляющих при выделке опалубной доски, как и при лущении фанеры, половину сырья; при изготовлении мебели еще одна треть поступает в отход. Снег не тает так в пути, как дерево, от которого к концу путешествия в окончательной отделке остается иногда одна десятая часть. При этом мы опускаем привычную убыль, происходящую на самых лесосеках от повреждения нагроможденных хлыстов, при сжигании ветвей, от неряшливой раскряжовки заниженным сортиментом, от весьма неполного вывоза поваленных древостоев. Побывайте на отдаленных предприятиях, где доныне в отход пускается все, по толщине своей не влезающее в пилораму. Нетрудно представить себе печальную участь директора зернового совхоза, посмевшего допустить подобную растрату урожая, созревавшего на ниве сотню лет!

«Разумеется, пересмотр на практике нашего отношения к лесу потребует своего труда, но железная необходимость и раньше заставляла человека изобретать рычаг и колесо, новые виды энергии и машин, социалистическую революцию и другие благодетельные способы улучшения жизни, без которых одичал бы и выродился род людской. Правда и то, что в лесном расточительстве грешны все прочие хозяйства на земле, но наше — социалистическое!

«Пожалуй, никакие лесные пожары не нанесли столько ущерба нашим лесам, как этот обольстительный гипноз былой лесистости России. Истинное количество русских лесов всегда измерялось с приблизительной точностью. Официальные данные двух смежных советских учреждений о лесах страны в 1930 году разнятся в размере всех лесов Швеции, являющейся одним из трех лесных экспортеров в Европе. Через четыре года наша лесопокрытая площадь таинственно убавляется на 117 миллионов га, чтобы в следующем году, наоборот, возрасти на 62 миллиона. Еще загадочнее поведение лесов водоохранных; несмотря на усиленные рубки, площадь их с 1936 по 1938 год возрастает на три миллиона га, а в 1940 — сразу на двадцать миллионов... К тому же выясняется: в площадь лесов этой знаменитой *трети* зачисляется все, что по размежевании земель оказалось непригодным для земледелия: вырубки и бросовые земли, гари и болота, кустар-

ники и даже карьеры от разработок камня и песка. Советская копейка в особенности любит счет, а лес, как и рыба с пушным зверем, является неохраняемой частью госбанка. Именно поэтому льстивый шопот утешителей о нашем мнимом лесном благополучии проверяйте единственно верным способом: как наши дела и речи отразятся на благосостоянии потомков.

«Вдобавок утешители будут уверять вас, что рубка ведется *ниже* годового прироста. Не верьте им: прирост они исчисляют с общего количества лесов, включая необжитые таежные пространства Сибири, где лес доныне гниет на корню. От века хвастались мы лесами на Енисее да Оби, а рубили под Тулой и Рязанью. Приспело время оглянуться, много ли осталось от неразменного рубля, и рассмотреть оставшееся в лупу лесоустроительной науки, которая, кстати, не преподавалась у нас пятнадцать лет. Конечно, трудно и сегодня представить нашу родину без синей кромки на горизонте, и я даже предвижу возражения со стороны дачников и посторонних нашему делу лиц, что *излишней* тревогой окрашиваю судьбу русского леса. «Еще вчера Марья Гавриловна,— непременно скажут мне,— лукошко рыжичков да опят набрала в осинничке!..» Равным образом бывали и в прошлом злостные попытки выдать наш призыв к осмотрительному и бережному обращению с лесом — за приглашение воспретить любые рубки. Однако я готов согласиться: в жизни каждого человека бывает наилучшая пора, когда он с повышенной жадностью копит впечатления бытия и неминуемо, каким бы молодым ни оставался до конца дней, потом лишь разбавляет запас накопленного опыта наблюдениями новизны. Мой личный опыт складывался в годы усиленного изгнания лесов... Но вовсе не для того я должен был коснуться некоторых грустных очевидностей, чтобы внушить вам уныние перед объемом предстоящего труда, а из желания поделиться с вами нетерпеливым творческим беспокойством, без которого мы, лесники, становимся лишь кабинетными сидельцами да регистраторами лесных несчастий.

«Уже сегодня полноправные хозяева страны, через несколько лет вы встанете у штурвалов ее управления. Из вас выделятся ученые и планировщики, капитаны промышленности, законодатели и депутаты. Стремительно продвигаясь вперед, прикиньте же с высот большой стратегии,

следует ли нам брать древесину только *под рукой* и, к примеру, заготовлять дрова в пригородах, рубить ленточные боры на Алтае или верхнеобские массивы, прикрывающие Кулундинскую степь, житницу Сибири, от монгольских суховеев, а также вокруг социалистических заводов и новостроек. Подумайте, не будет ли правильнее взамен торопливых, полукочевых лесоразработок создавать оседлые, высокой культуры лесопромышленные предприятия с постоянными кадрами рабочих, то есть приблизить обработку к сырью, чтоб не падали пудовые крошки с нашего расточительного стола. Не выгоднее ли сделать лесосеку первичным цехом многоотраслевого лесокомбината, который должен сам себя обеспечивать устойчивым и постоянным урожаем, на месте извлекая возможное золото из древесины и не загружая железнодорожный грузопоток перевозкой восьмидесяти процентов опилок, щепы и влаги? Это сделало бы наше лесохозяйство культурной отраслью земледелия, увеличило бы товарную стоимость срубленного дерева, повысило бы благосостояние русского севера, не знающего ныне и яблочка, дало бы дополнительные средства к немедленному лесовосстановлению в пределах каждого лесного предприятия. Проверьте-ка, нужно ли трелевать лес, без предварительной обрубки сучьев, сдирая вместе с подростом почвенный покров, или попрежнему производить подсечку для добычи живицы в лесоистощенных областях Украины и Белоруссии вместо лесов олонецких, как повелено советским законом, или оставлять на лесосеке дровяную древесину, обрекая ее на ветровал, а самую порубь — на захламление. Не пора ли приняться за сбережение обреченных рощ путем *обязательной* пропитки и осмолки всей без исключения древесины, предназначенной для наружных сооружений, уменьшения *щепы* и *дров,* вторичного потребления бумажного утиля. Самые большие деньги и грозные явления обычно слагаются из оброненных копеек и упущенных мелочей.

«Из среды вашей выйдут лесные педагоги, деятели неоценимого значения, ибо создавать творцов и покровителей леса еще важнее, чем выращивать самый лес. Любой букварь неполноценен без вводной странички о значении и красе родной природы, леса в том числе; и плох учитель, если не сумел обучить свою паству этой самой действенной и благородной из наук. Терпеливо рас-

толкуйте детям, что лес входит в понятие отечества, что сила патриотизма всегда пропорциональна количеству вложенного в нее личного труда: бродягам и тунеядцам всегда бывало чуждо чувство родины! Сумейте использовать безграничное время и энергию своих юных питомцев, одинаково пригодную для разрушения и созидания,— меньше будет загубленных деревьев, поломанных садов, разоренных гнезд и муравейников, в чем дети нередко видят особое удальство. Есть вещи, непосильные никакому бюджету и ведомству, кроме как всенародному и целеустремленному порыву. Думается, что именно комсомольцу и школьнику, будущим хозяевам преобразуемой земли, полагалось бы возглавить поход за зеленого друга.

«Пришло время оплатить должок этому молчаливому товарищу. На празднике воскрешения леса пусть индустрия поклонится ему машинами не меньшей мощности, чем те, какими черпала из него свою силу от зарождения до нынешнего дня. Лишь взглянув на правдивую лесокарту страны, вы поймете размер должка и неотложность его оплаты. Но хотя, по слову Тимирязева, цели лесовода и сельского хозяина одинаковы, потому что оба стремятся получить от растения возможно больше продуктов, земледелец собирает свой урожай ежегодно, а лесовод почти не знает того творческого удовлетворения, каким должно увенчиваться длительное рабочее усилие. Ваш урожай будет зреть долго, юные товарищи мои, редкий из вас застанет жатву... Но однажды взволнованно, с непокрытой головой, вы пройдете по шумящим, почти дворцовым залам в Каменной степи, где малахитовые стены — деревья, а крыша — слепительные, рожденные ими облака. Сам же он, вдохновенный мастер леса, Василий Докучаев, и его упорные подмастерья видели их лишь в своем воображеньи. Мечта для строителя людского счастья такой же действенный инструмент, как знание или идея, а лесовод без мечты совсем пустое дело. Конечно, нет в нашей стране второстепенных профессий, но, думается мне, в нашем труде лесовода нагляднее, чем в прочих, выражена социалистическая преемственность поколений. И, кто знает, когда седыми вы придете под сомкнутые кроны своих питомцев, не испытаете ли вы гордость вдесятеро бо́льшую, чем создатели иных торопливых книг, полузаконченных зданий или столь быстро стареющих машин.

«Любой ваш труд на пользу леса будет всемерно облегчен сочувствием и поддержкой народа... Когда после голодухи 1891 года лесным департаментом была отправлена авторитетная комиссия на обследование причин периодических засух, она объезжала лесостепь налегке, в бричке, и состояла из одного человека: это был Докучаев. Правда, в следующем году число членов в комиссии удвоилось ввиду значительной сложности поставленных задач. Так вот, не бойтесь одиночества: с вами весь народ, на практике осознавший могущество своих объединенных рук!.. Таким образом, вы вполне своевременно приходите на помощь лесу; с веками все меньше становится даровых благ на земле, и, чтобы не знать горя впереди, надо разумно тратить, а иногда и возмещать всякую копейку, без расписки взятую у природы. Словом, здесь я пытался посильно раскрыть слова Маркса, что все общество, нации и даже все одновременно существующие общества, вместе взятые, не являются собственниками земли; они лишь пользующиеся ею и, как добрые отцы семейства, должны улучшенною оставить ее следующим поколениям.

«Только в нашей стране человеку предоставлена возможность быть не бессовестным эксплуататором природы и не бессильной былинкой в ее потоке, а великой направляющей силой мироздания. Для этого он должен подсмотреть таинственную взаимосвязь, объединяющую ее явления в живой, целостный организм, чтобы облегчить и ускорить работу природы в ее стремлении к совершенству, которого она расточительно, мириадами опытов и с жестокой выбраковкой добивается вслепую. В этом цель и смысл человеческого разума; социализм — наиболее честная и экономная форма его деятельности. Мы движемся по нашей дороге беспримерными шагами, но могущественное и обреченное зло еще не раз будет ставить преграды на нашем пути. Сегодня оно шлет на нас очередного пса, полагающего в животном неведении, что действует по своей собственной воле. Однако из всего предварительного опыта истории мы-то знаем, что светлый, тысячью имен владеющий герой народных сказаний всегда справлялся с чудовищем, караулившим источник людского счастья.

«Слава народу и армии нашей! Добро пожаловать, молодые лесники!»

Лектор сделал заключительный жест, как бы приглашая слушателей проследовать под зеленую воображаемую арку позади себя, затем потянулся за графином... и вдруг все потонуло в шуме рукоплесканий.

3

Поля облегченно откинулась назад. Слегка кружилась голова, как если бы после болезни впервые вышла на воздух. Все вокруг подалось вперед, словно при внезапной остановке. Лишь теперь в аудитории стало возможно отличить и представителей враждебного Вихрову течения, правда, в несоразмерно меньшем числе; одни посмеивались и шептались, сколько раз лектор произнес слово *который,* двое других откровенно зевали с видом огорченных ценителей изящного, отбывших тяжелую, принудительную повинность... Ревнивое беспокойство за отца подсказало Поле, что главное еще впереди, и, действительно, едва по установленному правилу профессор предложил задавать вопросы, из первого ряда поднялся неуязвимо корректной внешности молодой человек с предпоследнего курса, любимец и ближайший ученик Грацианского, как сразу же поделилась с Полей ее осведомленная соседка. Впрочем, был он уже с масленистой лысинкой, а молодили его пробритые над губой усики, впечатление же корректности складывалось поровну из спортивной замшевой куртки первоклассного качества и манеры держаться с тем почтительным и слегка утомленным достоинством, в чем головорезы и опытные подкалыватели прячут, как в ножнах, лезвие мести.

— С вашего позволения... у меня имеются сразу два вопроса, профессор,— поклонился он, поднимая и снова раздвигая механическую застежку на груди.— Насколько мне известно, колхозы тоже рубят свои леса. Было бы крайне желательно, чтобы вы поподробней остановились на масштабах и характере *фактических* вырубок в позднейшее, советское время.

Легкое движение и неодобрительный шепоток пробежали по скамьям; новички понимали лишь, что застают в институте ожесточенную борьбу, остальным же была ясна провокационная направленность вопроса.

— Я располагаю лишь теми сведениями, что и вы,— отвечал Вихров, неторопливыми глотками отпивая воду.— Вам известен государственный план и объем колхозного потребления... помножьте это на коэффициент вывоза с лесосеки. Пеняйте на себя, что за годы пребывания на экономическом факультете у профессора Грацианского вы не научились самостоятельно разбираться в статистическом материале... Ваш следующий вопрос?

Привычный ко всяким превратностям таких самовозгорающихся дискуссий, вихровский оппонент улыбался.

— Благодарю вас,— сказал он,— изучая лепной, пропылившийся от времени потолочный карниз над головой профессора.— Второй вопрос совсем пустячный... Нам всем очень понравилось ваше сравнение, э... племя, как пламя. Это очень ново и свежо, мерси вам. А за минуту перед тем вы с подкупающей теплотой отозвались о своих братьях и детях, как вы сказали — взявших на себя, позвольте...— он справился с записью в замшевой книжечке,— основное бремя исторического испытания. Не скажет ли уважаемый профессор, кого именно из своей родни он имел в виду при этом?

Надо было хорошо знать состав вихровской семьи, чтобы с такой точностью нанести удар. Вся в пятнах стыда, в первую очередь за себя, Поля жалко оглядывалась, ища поддержки и вмешательства, но аудитория выжидательно молчала, вместе с нею и лектор, ужасно долго ставивший пустой стакан на место.

— Ваш вопрос не имеет никакого отношения к затронутой теме, но я отвечу...— негромко начал Вихров, и все стали привставать, чтобы лучше расслышать его реплику, а Поля зажмурилась от ужаса неминуемого, как ей казалось, провала.— Я применил этот оборот для обозначения более чем родственной, общегражданской связи, возникающей в народе перед лицом великих потрясений. Таким образом, если вам в свое время не удастся избегнуть призыва в армию, мне придется и вас зачислить в эту категорию... Но, к сожалению, из близкой родни, в вашем понимании слова, у меня никого на фронте нет... сам же я стар и, как вы заметили наверно, хром. Таким образом.

Раздалось несколько недружных хлопков, погашенных шиканьем большинства, но вопросов больше не последовало. Вслед за тем гул растревоженного улья сразу напол-

нил аудиторию, и когда Поля оторвала руки от пылающего смущеньем лица, потому что именно о ней и шла речь, профессора уже не было, а место за столиком внизу занимал тот самый паренек, что от волнения забыл на лекции снять с себя головной убор. Потрясая шапкой с красным казацким донышком, он пытался восстановить порядок, и его насупленное лицо не предвещало добра. Когда постихло, он мальчишеским баском высказал сожаление, что с запозданием раскусил гадкие вопросцы лакированного молодца и тем самым позволил обидеть старика, столь гостеприимно встретившего всех их на опушке русского леса. В ответ на замечание с места, что его-то самого, кажется, не задевали, паренек возразил с брезгливой усмешкой, что и фашизм он возненавидел тоже не вчера, когда тот задел его до крови, а гораздо раньше, и поэтому приложит все усилия, чтобы обратить его, как он сдержанно выразился, в некоторое шибко второстепенное вещество.

— Предлагаю осудить поведение таких оголтелых деятелей, что под шумок военного времени бродят промеж нас да суют огонька в чужие кровли. Ненавижу... фашизм в любом его виде, двойную игру, удар из-за угла ненавижу,— размашисто заключил паренек и, нахлобучив шапку до бровей, чтобы высвободить на всякий случай руки, медленным взором обвел аудиторию.

На этот раз длительные рукоплескания превратились в овацию — за мужество его, за его молодую непримиримость к подлости. Вместе со всеми Поля сбежала вниз пожать руку безвестного кубанского паренька, и ей уже почти удалось пробиться сквозь тесное кольцо и дождаться своей очереди, когда внезапное подозрение омрачило ее порыв: представилось вдруг, что это и есть тот таинственный Сережа, знакомству с которым воспротивилась накануне. Было вполне естественно предположить, что, воспитанный в семье лесника, он также пошел в жизнь по лесной дороге и теперь вступился за своего опекуна. Сомнение требовало немедленной проверки. Поля заторопилась вниз по лестнице выяснить правду.

Паренек уходил не один, и Поля не отставала, пока окончательно не растаяла горстка сопровождавших его, таких же воинственно настроенных ребят. Оставшись один, он сурово оглянулся на просительный полин оклик в

длинном и пыльном переулке с палисадниками. На нем было дешевое, враспашку, полубумажное пальтишко, суконная рубаха с массой мелких пуговок вроде ладов на гармошке и ботинки с расфутболенными носками; скромность одежды возмещалась необыкновенной даже для мировой столицы шапкой-кубанкой с куском пламени вместо донышка, венцом творения какого-то захолустного гения-одиночки по головным уборам. Нет, этот парень слишком разнился от таискина любимца, чей не очень привлекательный образ сложился у Поли из-за ревнивого, недоброжелательного чувства: этот скорей походил на Родиона, потому что и у того под грубоватой оболочкой билось такое же благородное сердце.

— Вы так хорошо заступились давеча за Вихрова, даже дух захватило...— благодарно призналась она, позабыв незамысловатые хитрости, придуманные, чтоб незаметно выпытать нужные сведения.— Спасибо вам за то, что вы такой хороший...

— Э, чего там... пустяки,— отмахнулся он.— И откуда они, чорт, берутся? Как от них ни мойся, все одно наползут... Что, тоже в лесничихи собралась?

— Пока не знаю...— уклонилась Поля и назвала свое имя на случай, если им еще когда-нибудь доведется встретиться в жизни.

— А меня Касьяном зовут, из обездоленных,— засмеялся тот, имея в виду свое редкое имя и носком ботинка катая взад-вперед камешек на выбитом тротуаре.— Ежели не на лекциях... то вряд ли скоро встретимся. Пожалуй, сбегу я отсюда скоро, на фронт поеду... вся душа болит, как расчесанное место! До зуда распалил меня этот лысый хлюст в заграничной коже. Не-ет, видно, в самой ее норке надо заразу-то выжигать...— Прищурясь, он посмотрел куда-то в сторону, поверх крыш, словно услышал зов оттуда.— Ну, пора мне, девушка... прощай.

Непривычная слабость выздоровления захватила Полю. Опустившись на врытую возле ворот скамью, она бессознательно вглядывалась в прозрачный камешек на мостовой, стараясь, как и он, пропитаться, запастись на зиму светом осеннего рассеянного солнца.

Поля не запомнила ни часа дня, ни улицы, где это происходило. Вдруг непостижимое влечение заставило ее поднять камешек с мостовой.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Ей проще было бы троллейбусом по внешнему кольцу, мимо вокзалов, но отправилась она пешком и через центр, чтобы продлить бездумную, пьянящую легкость, доходившую до физической невесомости, как в первый день по приезде с Енги́. Не прежняя, полная даровых чудес, лежала перед нею Москва; бросались в глаза всевозможные перемены военного времени — от поврежденных зданий с сорванной штукатуркой и фанерными щитами в окнах до глубокого шрама на мостовой после крутого танкового разворота. И уже не ждала от родного города причитающейся ей дольки счастья, напротив, самой хотелось защитным облачком расплыться над ним, лишь бы хватило ее телесного вещества.

Москва выглядела пустовато — не оттого, что убавилось жизни в ней, а потому, что война вымела из нее все постороннее, мешавшее сосредоточиться на главном. В остальном же попрежнему катился мимо уличный поток, ширкали цепями автомашины с глиной фронтовых проселков на кузовах, да и пешеходов было не меньше обычного на исходе дня... и все это в конечном итоге двигалось туда, на запад, кроме Поли, кроме ее одной, тащившейся по своим личным делишкам. Не покидало ее ощущение былинки, что крутится в заколдованной заводи, не в силах выбиться на манящий простор реки... К себе, на восьмой, она поднималась с чувством вины, состоявшей в неуместной праздничности настроенья. Постепенно начинал действовать яд вопроса о вихровских родственниках на фронте.

Варя гладила матерчатую, исходившую паром гимнастерку, когда Поля вошла и, бросившись на кровать, блаженно вытянулась с закрытыми глазами.

— Долгонько вас продержали для первого раза... Но куда же ты без чая ускакала в такую рань? — спросила Варя, ловко обводя утюг вокруг латунных пуговок на обшлаге.— Погрей себе суп на кухне, строитель великих сооружений... Как прошла лекция?

— Никогда не думала, Варька, что можно валиться с ног от счастья... Дай мне попить, все ссохлось во рту,— и беспорядочно, то и дело сбиваясь на незначащие подробности, принялась рассказывать про труднейший экзамен из всех, какие доводилось держать Вихрову.

Варя спросила подругу, понравилась ли ей отцовская лекция, но Поля и сама не могла разобраться в своих впечатлениях: не было пока ни смятенного, за свои жестокие подозрения, чувства перед отцом, ни законной неприязни к его загадочному противнику. И Варя поняла ее состояние — усталость победы и торжество чистоты, может быть, самой главной из человеческих свобод. Ничто не мешало теперь Поле податься в любую сторону жизни без риска нарваться на оскорбительный оклик товарища.

— Постой, что же больше всего поразило тебя в его лекции? — допытывалась Варя.

— Не знаю и ничего не помню, Варя... но с нынешнего дня, наверно, я бережней буду даже ходить по лесу. Два часа подряд, как в огне пылала, с мыслей сбилась, все думала: да где же я встречала этого человека? Потом он сам случайно проговорился, что бывал у нас в Лошкареве лет пять тому назад... и тут словно туман посдуло. Действительно, это он сидел у нас за столом однажды, и твой отец, Павел Арефьич, как-то неестественно расспрашивал меня о моих привязанностях и намерениях в жизни, а *мой* молчал и крутил пуговку на рукаве. Я потому и запомнила его, что, уходя, он за половичок запнулся: видишь ли, ведь он хромой *у меня.* Значит, то и был Вихров!

— Что же тут удивительного,— сказала Варя, складывая разглаженную гимнастерку на постель.— Он просто приезжал взглянуть на дочку.

— Тогда почему же он сам, сразу, не открылся мне?

Видимо, Варя была слишком занята своими мыслями, чтобы с должным вниманием отнестись к чужим.

— Ах, Поленька, у этих стариков свои, уже непонятные нам тонкости и причуды. Почитай в *их* книжках, как они сами порой затрудняли наиболее естественные, казалось бы, людские отношения. Другой социальный механизм, другие навыки...— чуть свысока усмехнулась она, начиная укладывать вещи в раскрытый на столе чемоданчик.— И вообще, когда листаешь школьный конспект исто-

рии, все там получается так гладко, логично, величаво, а посмотришь в эту засохлую кровь между строк,— только сердце сожмется, у кого оно послабей. Ты оглянись-ка, непробужденная душа, на эту, так называемую столбовую дорогу человечества — чего там только не было: походы маньяков, костры из книг и костры под старухами, корабли со смертельными пробоинами, города в пламени... кажется порой, какое-то безудержное вдохновение пополам с корчами, караван слепых... однако все вперед и вперед, во что бы то ни стало к ледниковым вершинам. Вот за это и надо любить людей, Поленька!

— Знаешь, как раз перед отъездом в Казань Родион, неплохой стишок *мне* написал... а несколько строк, именно про это, так и врезались в память,— загораясь, поддержала Поля.— Про живое вещество стишок, как однажды, зародившись где-то в лагуне с циановыми водорослями, оно становится людьми... и, потом, как медленно поднимаются они к заоблачным вершинам и как «больно и страшно дышать им разреженным воздухом гор». И дальше так у него кончалось:

...Но с этой стремнины холодной
никто еще не сходил
назад, в колыбель, в первородный,
привычный и теплый ил.

Приподнявшись на локте, она ждала строгой вариной оценки.

— Неплохо для мальчика его лет,— с некоторой натяжкой сказала Варя.— И правильно подмечена, так сказать, непрерывность биологического развития без отступлений...

— Он вообще довольно способный парнишка,— зардевшись, возможно небрежнее шепнула Поля и лишь теперь заметила на стуле и чемоданчик с оторванным замком, и раскиданные кругом вещи, и тот непременный сор, что образуется при спешных сборах к отъезду.— Ты куда же собралась, Варя?

Та продолжала укладывать вещи, стоя спиной к подруге.

— Видишь ли, меня посылают на одно задание... нет, нетрудное, но довольно хлопотливое,— с заминкой объяснила она.— Это еще не скоро, но велели быть готовой

каждую минуту. Не расспрашивай, прошу тебя, я ничего не смогу тебе ответить.

— А я? — дрогнувшим голосом спросила Поля.

— Ты останешься в Москве, будешь заниматься в институте и сберегать от несчастий этот большой, хороший, немножко недостроенный дом. Словом, хозяйствуй, будь умница. Я очень рада, что рассеялись, наконец, твои ребячьи, но вполне ужасные подозрения насчет отца.

Поля обошла стол и, приподняв ее голову за подбородок, заглянула ей в глаза:

— Варька, ты изменила мне, хоть и клялась все, все на свете делить пополам. *Это* в тебе наверняка созревало давно, но ты молчала... Ты утаила, значит обманула меня. Я знаю, куда ты едешь.

— Наоборот, Поля. Меня посылают в глубокий тыл.

— О, ты всегда говоришь только правду!.. но ты не досказала, в чей именно тыл ты собралась. Итак, мы едем вместе.

Варя кусала губы именно с таким видом, как обычно люди сердятся на себя за выданный секрет.

— Подумай сама, Поля, как все это глупо... и давай немедленно прекратим этот разговор. Есть вещи, которые полагается понимать с полуслова.

— Ну, Варенька, каждый имеет право чем-нибудь отличаться от другого. Примирись, что у меня это отличие выражается в недостатках мышления.— Обеими руками она взяла ее за плечи.— Но неужели же ты могла хоть на мгновенье допустить, что у меня не хватило бы сил на то же самое... ты понимаешь, на что!

Затем последовал бурный взрыв отчаяния, причем все скопившиеся за день тучки обильным дождиком пролились через полины глаза; только дети плачут такими крупными слезами. Варя терпеливо ждала окончания припадка, время от времени поглядывая на часы и не делая попытки остановить его; под конец Поля сама испуганно взглянула на нее сквозь мокрые сплетенные пальцы.

— Я терпеливо жду, когда ты кончишь, Поля,— с отрезвляющим спокойствием заговорила Варя.— Теперь рассуди, куда же ты годишься такая. *Там* нужно железо, да и то не всякое, а ты уже раскисла от обиды, что тебе не дают со смертью поиграть. Или ты полагаешь, что настоящая жизнь — состязание в безрассудстве, игра в опасный

подвиг, бег наперегонки к братской могиле... и первый добежавший до нее — герой, так? От тебя требуется совсем другое, прежде всего: сознание важности отведенного тебе места, ясное понимание возложенного историей... пусть хоть маленького поручения. У тебя портрет Сталина в изголовьи... думай о нем почаще — это научит тебя совершать большие дела.— Она накинула на плечи красивую клетчатую косынку, лучшую из своих вещей, надеваемую лишь в самые торжественные, хорошего настроения дни.— Так вот, слушай меня, Поля. Я уезжаю сегодня вечером... и теперь мне надо еще уйти на часок. Чтобы не реветь тут в одиночку, пока не привыкнешь, не лучше ли тебе пересидеть у Натальи Сергеевны это время?.. пойдем, я тебя сведу к ней. Или справишься одна, как ты думаешь?

Соседка лежала в кровати третий день, и Поля это знала; обидное намеренье Вари оставить ее под присмотром старших Поля приняла как заслуженное наказанье.

— Больше этого не будет, Варя. Ты уезжай спокойно, не бойся. Да, я справлюсь...— с опущенной головой сказала она.

— Вот так лучше. Теперь улыбнись... нет, и глазами тоже. Мой руки и садись обедать. В награду за послушание я дарю тебе свою любимую книгу, *Бигль*... я уже сделала надпись в ней: прочтешь потом. Это и мой тоже... только несостоявшийся маршрут.— Она вручила Поле иллюстрированное издание дарвиновского *Путешествия натуралиста,* пестревшее собственными вариными пометками.— Кроме того, можешь взять письмо у себя из-под подушки.

— От мамы? — встрепенулась Поля.

— Нет, опять фронтовое.

...Ради воспитания воли и выдержки Поля взялась за родионово письмо не раньше, чем навестила больную соседку. Она принесла Наталье Сергеевне воды из нижнего этажа, помогла умыться и стала прибирать комнату, неузнаваемо запущенную после отъезда внучки. Как ни тянуло, в тот вечер она воздержалась от наводящих вопросов о Грацианском, чтоб не получилось, будто ждет вознагражденья за услугу. Невеселый оранжевый закат крался по стенке к детской кровати, и радиоточка дребезжала в коридоре.

— Вы зря затеяли весь этот переполох,— говорила соседка Поле, собиравшей с пола мотки и катушки из опрокинутой рабочей коробки.— Я отлично помню, что́ и где лежит в этом *большом ящике*. И вообще, несмотря на мои неминуемые возрастные недомогания, мне живется совсем неплохо!

— Ну, тогда пусть будет чуточку еще лучше... ладно? — шутила Поля, невольно подражая вариным интонациям старшинства.— Я представляю, как это скучно весь день лежать одной. Что у вас болит?

— О, ничего не болит! Просто маленький отдых от продолжительного ничегонеделанья,— очень естественно сказала соседка.— Нет, спасибо, я не хочу обедать. Товарищ Чернецова приносила мне чай утром... очень мило с ее стороны. Надолго она уезжает?

— Пустяки, недели в две-три управится.— И вдруг сорвалось: — Хотите, я схожу за вашим знакомым из нижнего этажа? Видимо, он не знает, что вы больны...

Наталья Сергеевна сдержанно усмехнулась:

— Вы настойчивы, Поленька... но, право же, я ничего не смогу дополнительно рассказать о Грацианском. Мы встречались давно, и с тех пор совсем чужие люди... Право же, я могла бы прибраться и сама, тем более что завтра я собираюсь подняться на ноги. Как-никак, я боец санитарной обороны, а это для меня огромная честь!.. и мало ли что может случиться из-за моего отсутствия.— Она с нескрываемым удовлетворением назвала достигнутую ею должность на земле и потом с полминуты слушала доносившуюся из коридора радиоповесть о каком-то директоре прифронтового маслозавода, местными силами отразившего танковую атаку.— Что это вы намотали на голову себе в такую теплынь?

На деле же ничего на Поле не было: вопрос показывал лишь, как ухудшилось у Натальи Сергеевны зрение в последний месяц.

— Я варин шарфик накинула на волосы, чтобы не пылились,— наспех придумала Поля.

— Как странно... почему он такой зеленый?..

— Варя вообще любит зеленое.

— Почему же вы сказали мне неправду, Поля? — замедленно спросила Наталья Сергеевна.— Ведь он желтый...

— Нет, он скорее в зеленцу ударяет!..

Поля ждала со страхом, что Наталья Сергеевна захочет взглянуть поближе, но та все поняла сама, потому что вдобавок ореол вкруг полиной головы казался ей чуть радужным. Словно ничего не случилось, она ровным голосом стала рассказывать о внучке.

Выяснилось, что девочка вместе с другими ребятами отлично устроилась на Каме во дворце бывшего камского пароходчика; сам председатель районного исполнительного комитета привозил гостинцы маленьким беженкам и с татарским акцентом подтягивал им про московский *каравай*. Та же уехавшая к своему ребенку москвичка сообщала в письме, что Зоенька отлично свыклась с коллективом и совсем не помнит печальных обстоятельств расставания со своей бабушкой. И тут у старухи вырвалось со вздохом, что вот христиане целые библиотеки в роскошных переплетах написали в защиту детей, а только большевики взялись *любой* ценой оградить их будущее от последствий всечеловеческого неустройства.

— Нет-нет, я не только эвакуацию имею в виду, это всего легче...— заметила она вскользь на встречное полино замечание, что опасно оставлять маленьких в полуосажденном городе.— Довольно горько открывать такие истины на склоне лет... когда, в сущности, уже нечего отдавать людям.

— Ну, не может быть такого положения, чтобы живому нечем было поделиться с живыми же!

— Вы правы, Поля... и потому мне в особенности следует торопиться. Спасибо, идите, отдыхайте... слишком ясный вечер предвещает беспокойную ночь. Я тоже постараюсь заснуть...

Смеркалось, когда Поля развернула родионов треугольничек. Судя по почерку, письмо было закончено в три приема. На этот раз там содержались лишь обрывки солдатских мыслей и фронтовые факты, их породившие; сравнительно спокойный тон письма указывал на душевное здоровье автора, неотделимое от телесного в условиях жесточайшей войны. «Все едем навстречу солнышку по русской земле... боюсь, что скоро и безрадостно с тобой увидимся,— иносказательно писал Родион.— Огрызнемся время от времени и снова катим радищевским маршрутом, только не в коляске, не с бубенцами валдайскими, а на

борту трясучей железной коробки, так что все кругом доступно мне для обозрения».

«...спрашиваешь, что самое поразительное на войне? Не знаю, родная моя, только не мертвые: они страшней, но и понятней всего. Видел охваченные пламенем детские кровати в деревенских яслях, видел лягушку, скачущую по минному полю, и птичку с оторванной головой в траве: много разной всячины попадается, когда ползешь на животе,— и все это толкает на мысли. Видел в одном совхозе, как пожилой дядька сосредоточенно толок сапогами яйца в тесовой таре, заготовленные было к отправке: чтоб не досталось врагу. Населения поблизости не было, все трещало в дымной мгле. «Кажись, все!» — сказал он потом, огляделся по-хозяйски и выплеснул в огонь керосиновые остатки: на груди его я заметил золотую звездочку... Видел также и пленных, говорил с ними. Странно: и век иной и небо-то вроде другое над нами, а они все по старинке, по закону клыка, как ящеры. Но больше запомнилась мне лошадь в оставленном населенном пункте, старая: ее забыли. Она никуда не пошла и отвязанная, несмотря и на хворостину, но так поглядела на меня, что я пустился догонять свою железную карету. Нет, Поленька, пожалуй, самое тяжелое на войне не металл, не пушки, а солдатское раздумье.

«Так помаленьку вырабатывается в сердце тот особый гормон, что надо добавлять к пороху для достижения победы. Ты не узнала бы меня теперь, Поля: я стал старше, злей, лучше, и не хочу счастья с тобой ни на какой другой земле, кроме *моей,* безоблачной и освобожденной... и как мне хочется охранить тебя от несчастий, которые я вижу здесь каждый день! Это вначале я отступал с таким видом, словно в глубь страны завлекал врага на парфянский образец, но вот поборол в себе как чрезмерное опасенье врага, так и свое ребячливое нетерпенье... и понял, что воину положено не только наносить, но и самому с улыбкой принимать удары. Нет, Поленька, война еще не начиналась, русская война впереди. Вот пока я еще имею время даже поболтать с тобой... мы и сейчас сидим с тобой рядом, и я держу в своей руке — твою, теплую, с обгрызанными ноготками. Чувствуешь ты, какая она у меня огрубелая теперь?..»

— Какой же ты хороший у меня, хороший...— прыгаю-

щими губами произнесла Поля и поцеловала краешек письма.

Наступающая ночь смывала недочитанные родионовы строки, и это было хорошо, что немножко останется на завтра. Вернувшаяся Варя застала подругу у раскрытой балконной двери; сплетя руки у затылка, та глядела, как звездный свет серебрится в высоте на аэростатах заграждения.

— О, ты уже связала мои пожитки.... молодец. Значит, целая минутища в нашем распоряжении. Меня ждут товарищи внизу...— быстро переодевшись, она обняла Полю за плечи и лишь тут заметила мерцавший в ее руке клочок бумаги.— Что пишет Родион?

— Он здоров... грозится победить.

— Вот видишь, как все хорошо складывается. Уверена, на-днях получишь добрые вести и о маме. Ну, о чем ты задумалась, признавайся на прощанье, сестренка? — спросила Варя тоном, от которого саднило сердце.

— Все думаю, как хорошо можно было бы жить на свете. Тогда зачем же людям эта... так легко устранимая мука... такая, что звезды хочется погасить и туда, назад, в ил, спрятаться?

— Но что же делать: старое не сдается без драки, а поиск более совершенных форм бытия всегда недешево обходился людям,— медленно, словно одновременно писала мелом по доске, проговорила Варя.— Поступательное развитие мыслящей материи связано с отказом от привычного, устаревшего... а это вовсе не безболезненно.

— Но ведь и мы с тобой старимся, а развитие никогда не прекратится. Значит, эта боль навечно?

Варя засмеялась:

— Общеизвестно, что все академии мира не смогли бы удовлетворить любознательность одного ребенка. Впрочем, могу тебя утешить... при коммунизме преодоление этого разрыва между старым и новым будет происходить без нынешних страданий... я так полагаю. Довольна ты ответом?

У Поли не оставалось времени для дальнейших недоумений. Прожекторный луч, качавшийся на зубчатом от строений горизонте, напомнил им о действительности.

— Да...— и сама сняла с плеча варину руку.— Скоро полетят, а тебе еще добираться до вокзала. Пойдем, я спущусь с тобою.

— Ничего, мы на машине, быстро... У нас ночной пропуск, а улицы совсем пустые.— Варя озабоченно помолчала, как всегда при разлуках, забывая сказать что-то самое главное.— Во что бы то ни стало сохрани тот рисунок, что ты мне подарила... помнишь? На твоем месте я непременно подружилась бы с отцом... ты очень грешна перед ним. Ну, будь же хорошим ребенком, люби жизнь, приглядывай за Москвой. Ночи становятся прохладнее.... пожалуйста, одевайся потеплее, отправляясь на крышу. Не провожай меня, не люблю...

Несколько мгновений, свесившись за перила лестницы, Поля ждала, что та поднимется — еще раз обнять ее, и в ту же минуту сбегающие шаги ненадолго затихли, потом снова родились, чтобы раствориться в посторонних шорохах лестничной клетки.

Успевшая добежать до балкона, Поля услышала урчанье заведенного мотора и тихо произнесла варино имя; в ответ, показалось, дважды платком махнули снизу. Во исполнение данных обещаний она подавила в себе щемящее чувство одиночества... потом стоя, руками, наощупь, поела чего-то из тарелки и стала собираться на дежурство. Но всю ночь она не разлучалась с Варей: мысленно проводила ее через полутемный вокзал и, обнявшись, долго сидела рядом с нею у раскрытой двери теплушки, следя за звездным блеском на убегающих рельсах. Перед рассветом, по возвращении с крыши, Поля вздремнула, не раздеваясь, и за этот короткий срок Варя окончательно ушла от нее по дороге на запад.

2

Не было сил противиться внезапно возникшему влечению: утром пораньше Поля выбежала на улицу с намерением не возвращаться домой. После долгих колебаний между военкоматом и райкомом комсомола она выбрала последний, потому что успела лично познакомиться с секретарем, когда вставала на учет. В ответ на стук юношеский голос из-за двери разрешил ей войти. Поле повезло: несмотря на ранний час, начальство находилось у себя в кабинетике и завтракало из бумажки. Это был очень молодой человек в защитной гимнастерке, но не тот прежний, высокий и кареглазый, с оттенком государствен-

ной озабоченности в лице, а другой, временный, помельче ростом и попроще, с такими же синяками бессонной ночи под глазами, как у нее самой, причем и фамилия у него оказалась совсем домашняя: Сапожков.

— Простите, тут сидел один товарищ...— разочарованно начала Поля, готовая ретироваться.

Тот мельком, но зорко взглянул на посетительницу и снова уткнулся в сводку на папиросной бумаге.

— Это показывает, девушка, что редковато навещаешь свою организацию. Я уже вторую неделю тут. Сейчас дочитаю материал, посиди...— и, не глядя, протянул ей через стол второй бутерброд с чем-то знакомым и копченым, судя по завлекательному запаху.— Бери. ешь пока, я успел подзаправиться. Только осторожней: рыба недостаточно продуманной конструкции, с крючками...— так говорил он между делом.— Все понятно: девушке надоело сидеть в тылу, девушка тоскует по настоящему, большому делу... угадал?

— Ага,— подтвердила Поля, потрясенная его прозорливостью и радуясь, что для начала все идет совсем неплохо.

Надкусив бутерброд, Поля нашла, что он маловат; уж лучше бы был менее вкусный!

— Прелестно, прелестно...— говорил секретарь, не отрываясь от сводки.— Ну, как у вас там... хлопотливая выпала ночка? Огня-то сколько скинули: прямо гибель Помпеи!

— О, на этот раз к нам почти и не попало,— сказала Поля, искоса поглядывая и на стакан остывшего чаю на столе.

— Бери, бери, не стесняйся...— чудесно догадался Сапожков, свободной рукой придвигая Поле и чай.

Все так же, не поднимая головы и ставя цветным карандашом энергичные пометки на полях сводки, он принялся расспрашивать гостью о годе и месте рождения, о родителях и — в первую очередь, с помощью каких именно, находящихся в ее распоряжении средств надеется она в кратчайший срок сразить фашистскую Германию. Однако не ирония или высокомерие, а, напротив, скучноватая обыденность слышалась в его голосе, потому что десятки девчат ежедневно стучались к нему за тем же самым. Зато он одобрил ее знание немецкого языка и мор-

зянки — со скоростью до сорока знаков в минуту. В связи с этим он даже спросил Полю мельком, не альпинистка ли она, но, к сожалению, из-за отсутствия значительных гор на Енгѐ тут оказался досадный пробел в полином образовании.

— Напрасно оправдываешься... отсутствие гор — не твоя вина,— сочувственно кивал секретарь, запирая сводку в ящик стола.— Что ж, Вихрова, намерения твои вполне похвальные. Значит, и смерти не боишься нисколечко?

— Я только *бесславной* смерти боюсь,— с ударением на слове произнесла Поля, больше всего опасаясь вторично оскандалиться, как в прошлый раз с Варей.

— Мысль, несомненно, интересная,— несколько нахмурясь, согласился секретарь,— но, вероятно, ты хотела возразить мне, что гораздо больше следует жизни бесславной опасаться. О смерти-то нам с тобой рановато думать. Согласна со мной?

— Пожалуй, да, согласна. Но и смерти тоже...— сказала Поля.

— Ну, я очень рад, что правильно тебя понял!

Здесь секретарь Сапожков вышел из-за стола как бы из потребности поразмяться, но Поля-то отлично понимала, что для окончательного решения ему просто потребовалось взглянуть на нее со стороны. Как ни прятала ноги под сиденьем, вниманье его в особенности привлекли полины туфельки, к тому времени достигшие самого плачевного состояния. И вдруг ей стало ясно, что мечта ее прахом пошла, что было непростительной оплошностью принимать от Сапожкова угощение, которым тот старался заранее смягчить свой решительный отказ.

— Чего, чего вы так уставились на меня? — вспыхнула Поля, с отчаянием взглянув на бесповоротно опустошенный стакан.— Видно, газет не читаете... ну, гоните меня отсюда! Они всё лезут, уж в Кремль собираются входить, а мы только отмахиваемся. Думаете, цыпленок я, крылышком отечество защищать притащилась, а я, как мина... как мина я теперь, если хотите знать... понятно? — и еще наговорила уйму жарких, совсем уж бесполезных слов.

У него хватило терпения выслушать ее до конца.

— В таком случае, воображаю, Вихрова, какого рода мненьице у тебя обо мне составилось: пристроился, де-

скать, в тылу, шуршит для виду казенной бумагой да еще копченую снедь жует при этом. Однако, как видишь, делаю это без зазренья совести. Что касается Кремля, то... вряд ли: для этого *им* пришлось бы всю Россию перешагнуть, а эта штука им не по носу: высока! — Он присел в кресло напротив, колено в колено.— Ну-ка, рассказывай про себя... ты на кого же учиться-то приехала?

— На архитектора,— с тоской, дрожащими губами призналась Поля.

— Ну вот, тем более. А ты представляешь, сколько нам всего придется строить, когда эта войнища покончится? Да у нас аппетит тогда вдесятеро разыграется... И красиво строить, чорт возьми, народу опротивели эти черные коробки с недоделанными дворами и ржавыми потеками на фасадах. Так строить надо, чтоб изделие твое века стояло, а не то чтоб в полтора кирпича. Так что, брат, держись, посматривай.

— Я посматриваю...— кивнула Поля, решив на худой конец хоть чего-нибудь добиться от Сапожкова.— Может, на завод военный меня устроите?

— А зачем? Нагрузки-то мы тебе придумаем, это в наших силах... но ведь ты же учиться приехала. Не беспокойся, наша повестка тебя найдет, когда потребуешься. На котором курсе?

— На первом пока,— сказала Поля не очень уверенно.

— Лихо... значит, все впереди у тебя. А приятно это — сознавать, что есть еще на земле незастроенные пустыри, неукрощенные реки, незасаженные степи... и вообще неоткрытые, там, тайны разные и сокровища... Я твою профессию шибко уважаю, хотя сам гидротехникой собираюсь заняться: воду люблю. Нравится мне взнуздывать ее, ленивую, толстую... до белого бешенства ее доводить! Не век же мне тут за столом сидеть... да и какой я секретарь, если каждая девчонка как на изверга кричит на меня за то, что, видите ли, на фронт я ее не пускаю. Эх, девчата, девчата, горюха мне с вами! — сокрушенно и так забавно для своих лет покрутил головой, что Поля не заметила, как он по-свойски, по-мальчишески взял ее за руку, совсем как Родион.— И думается мне, знаешь, нет ничего на свете упоительней пустыни... чтоб голая совсем, чтоб ничего в ней не было, понятно? И я прихожу в нее с армией таких же удальцов, как ты, и наполняю ее собою

доотказа, да так, чтоб тесно в ней стало от городов, деревьев, от послушных и бесшумных машин, выполняющих повеленья жизни... мои повеленья, а? Голова от счастья кружится, какую силищу надо всадить в эту природу — косматую, непричесанную... и пусть она послушно выносит тебе на блюде все свои заветные ключики. «Все, все подавай сюда, какой еще там за спину спрятала?» Как, кружится у тебя голова... а?

— Немножко кружится...— зачарованным шопотом отозвалась Поля, и вдруг ей так легко, просто стало с этим покорителем невзнузданных стихий, что решила, кстати, выведать от него все, чего не успела расспросить у Вари.— Ну, а дальше что?

— В каком это смысле... дальше? — пощурился секретарь.

— Я хотела спросить, что дальше, через сто лет... когда все необходимое будет построено, враги побиты и старый мир останется позади?

В приоткрывшуюся дверь несмело заглянула еще одна девушка, и секретарь со вздохом поднялся из кресла.

— Ну, извини, Вихрова, временно не могу приоткрыть тебе этот секрет истории: это пока великая тайна! Заходи лет через сто... тогда посидим с тобой и на досуге обсудим планы на будущее, а то по глазам вижу, времени у тебя в обрез. Опоздаешь на лекцию, так-то! — Впрочем, он остановил ее на пороге вопросом, нет ли у нее других просьб и пожеланий в пределах его скромных возможностей, причем снова взгляд его соскользнул на ее стоптанные туфли: — Да ты не стесняйся, свои люди...

У Поли сердце остановилось от внезапной надежды:

— Раз уж придется мне в Москве оставаться... очень бы хотелось на Красной площади в Октябрьский праздник побывать!

Секретарь Сапожков быстро взглянул на нее, и такая затаенная провинциальная мечта светилась в ее глазах, что он не порешился ответить вторичным отказом.

— Это сложно... насчет билета на Октябрьский парад ничего посулить тебе не смогу, Вихрова,— сказал он, в раздумьи царапая чернильное пятнышко на столе.— Не настолько я могучий волшебник, но... обещаю замолвить о тебе словечко при встрече с товарищами, от которых коечто зависит. Теперь прощай пока...

...Следуя его наставленьям, Поля предалась усиленной учебе, но занятья протекали вяло: студенты занимались противовоздушной маскировкой площадей, преподаватели уходили в ополчение... и вообще все чаще поговаривали об эвакуации архитектурного института. В нижнем этаже, кроме того, разместился штаб противопожарной обороны, и эти постоянные напоминания о войне мешали сосредоточиться на предметах, о которых не слишком уверенно читали профессора. Сводки туманно говорили о приближении фронта, и в этом свете отсутствие писем от матери легче всего объяснялось вторженьем немцев на Енгу́. Нужно было дать выход скопившейся тревоге, и пока Сапожков в райкоме комсомола придумывал полины нагрузки, Наталья Сергеевна, будучи в курсе всех событий по дому 8-а, то поручала Поле отправить солдатскую посылку, то постоять в хлебной очереди за прихворнувшую дворничиху. Усталость избавляла Полю на время от самой себя, но не доставляла той душевной сытости и покоя, чего так естественно было ждать при избавлении от многолетних, за отца, угрызений совести.

Когда работы не было, Поля принималась за учебник, но книга выпадала из рук, а глаза смежались после ночного дежурства, и вдруг наступало то промежуточное состояние между дремой и явью, когда мозг еще работает, но уже не сообразуясь ни с действительностью, ни с логикой... Так ей привиделось однажды, будто уже зима, и снежок кружится в воздухе, и она сама, Поля, забравшись на соседнюю колокольню, смотрит на свой дом в Благовещенском тупике, куда не смеет теперь вернуться под угрозой смерти. Поле страшно туда вернуться из-за солдат, притаившихся по стенке у подъезда, будто их нет там, и как Поля ни напрягается, не может разгадать их намерений. Да и никто на свете не прочел бы их намерений, потому что лица у всех спрятаны под глухими железными касками, кроме офицера в крылатой фашистской фуражке, которому необходимо убить тут одного человека. Надо думать, фашисту необходимо убить именно того человека в окнах лестничной клетки, который, вот он, беспечно спускается вниз, и уже нельзя предупредить его об опасности, так как у Поли нет ни голоса крикнуть, ни сил оторвать пристывшие к камню ноги, ни времени выбежать на улицу. Да она все равно и не успела бы выбежать на

улицу, потому что человек уже выходит из подъезда, и Поля узнает в нем Грацианского, и ей очень хотелось бы спасти его как видного советского профессора, несмотря на причиненное им горе, но солдаты окружают его, заряжают ружья, и вот должна состояться казнь, но тому, Грацианскому, все нипочем. До такой степени все нипочем Грацианскому, что он вроде подмигивает Поле, дескать, полюбуйся-ка, дурочка, как я их сейчас. Он подмигивает, показав солдатам что-то, спрятанное в ладони, и внезапно стража расступается, а офицер козыряет Грацианскому, который уходит по своим текущим делам. Но Поле интересно, по каким текущим делам он уходит, и она крадется следом за ним, из улицы в улицу, и вдруг ее окликают сзади, а Поля догадывается, что все это было проделано лишь затем, чтоб выманить ее, Полю, с колокольни, и вот уж все стоят кругом нее, и Грацианский вместе с ними, и, значит, это ее конец.

Поля проснулась с головной болью, в изнурительной испарине. Кровать стояла на самом припеке, и невысокое осеннее солнце изливало на нее остатки дневного жара сквозь балконный проем, а в дверь, запыхавшись от трудной лестницы, заглядывала Таиска с дарами. Оставив свою кошелку с домашней снедью у порога, она присела рядом с Полей, но та продолжала глядеть сквозь тетку, в загадочно устремленные на нее глаза Грацианского, стараясь прочесть в них приговор себе.

— Едва добралась, высоконько поселилась: только без лифта и поймешь, сколько грехов на себе носишь! — говорила между тем Таиска, переводя дыхание.— Иван-то вместе со мной собрался, было, к тебе, да машину за ним из самого что ни есть высшего лесного управления прислали,— и ласкала племянницу, оглаживала ее всю.— Горяченькая, не остудилась ли?.. с чего это ты от меня глазки-то вниз? Ай не во-время старая притащилась?

— Нет, что ты, тетя Таиса, я так рада...— отвечала Поля, вся ослабев от своего недосказанного сновидения.

— Незаметно, что рада...— ревниво попрекала Таиска.— Хоть бы обняла тетку-то!

— Напротив, ты во-время пришла, тетя Таиса... ровно от колодца меня оттащила, непонятно пояснила Поля и приласкалась к ней, именно за то и благодарная, что не допустила ее сделать какое-то страшное открытие про

Грацианского.— Да ты отдохни, отдышись... постель я сама приберу потом.

Пошатываясь, она пошла к столу выпить теплой, тоже с припека, воды.

— И так мне обидно стало за Ивашу, в прошлый раз: ведь эка что из-за Сереженьки ты на него возвела! — говорила между тем Таиска.— А Сережа-то приемыш у нас... не проболтайся ему при случае, все дело погубишь. Уж он ни дома, ни фамилии своей не помнит: все Вихров Сергей да Вихров Сергей. Оно, может, и неправильно по-нонешнему-то, а по-нашему, по старинке, и щенка слепого вроде грешно из дому гнать: живое творение. Прежние люди так сказывали: неизвестно, кто к тебе младенцевой ручкой постучался. Уйдет, пожалуй, да и унесет твою долю в нищенской своей суме... то-то, Полюшка!

Так приговаривала Таиска, рассовывая свои дары из кошелки прямо по местам, где они могли дольше сохраниться от порчи. Все в ней сейчас доставляло Поле желанное успокоение: и певучая, с перепадами русская речь, и ровный, как в бессолнечный полдень, свет в ее глазах, даже домовитый, с полынкой запах от неношеной одежды, сохранявшейся до случая под замком. Однако за ее осторожностью, за уклончивыми интонациями, с какими она подходила к рассказу о сережином происхождении, Поля чувствовала еще одну железную дверь и новую тайну за нею. И тогда, вся трепеща от боязни прикоснуться к чему-то запретному, Поля спустилась за теткой в сырой и полутемный погреб, каким неомраченной детской душе представляется биография любого старика, хотя бы то был ее отец.

Сережина история напугала Полю, потому что путем прямой логики вынуждала перенести на мать мнимую отцовскую вину за распад семьи.

3

У горбатенькой так мало имелось личных воспоминаний, что все пустые места в своей памяти она забивала событиями чужой жизни. Рассказ Таиски начинался с переезда молодых Вихровых из лесничества в столицу, ознаменованного пропажей багажа в дороге, так что буквально

всем, кроме книг, пришлось обзаводиться заново. Неожиданно, с успехом вихровского сочинения пришли и деньги, баснословные по тому времени, если мерять количеством нулей. Оттого, что все заботы по устройству на новом месте пали на Таиску, она в точности помнила, долго ли маялись, пока не справили бельишка, и как самолично красили купленные по дешевке кровати больничного образца, и сколько заплатили столяровой вдове за недоделанный буфет с резными причудами, кстати обладавший свойством среди ночи распахивать дверцы с таким заунывным и протяжным вздохом, что Леночка просыпалась и с сердцебиеньем ждала продолжения. Все пять лет совместной жизни Вихровы собирались позвать мастера для починки, потому что жалко было портить хорошую вещь самодельной вертушкой на гвозде, а после бегства Леночки нужда в этом отпала: остальные члены семьи отличались на редкость крепким сном. Пожалуй, то была единственная подробность прошлого, которою мать поделилась с дочкой в смешливую минуту.

Первое время Таиска нарадоваться не могла на усердие невестки, с каким та вила свое *гнездышко*. Весь опыт сапегинского домохозяйства она вложила в убранство двух комнат в старом институтском флигельке; третью получили после рождения ребенка. Леночка ожила на новом месте, в отдаленьи от ненавистной Енги́: ей просто не хватало времени на раздумья, потому что, сколько ни хлопочи, всегда найдется такой уголок в гнезде, куда можно сунуть еще перышко. Ей хотелось запастись дровами, пищей, чтоб запереться и никуда не выходить из дому, чтоб денег хватило надолго; Иван Матвеич даже одобрял ее домоседство и доходившую до скупости расчетливость, не догадываясь о их происхождении, а то были приготовления к долговременной осаде. Всякий раз, возвращаясь с работы, он заставал уютную новинку, крепившую благополучие семьи, в виде набойчатой занавески или охапки кленовых листьев в глиняной крынке, с осенним бересклетом пополам, и — непременную песенку Леночки, вполголоса, неуловимой мелодии и без слов, совсем как у лесной птицы. То была его лучшая творческая пора: черновые наброски новой книги лежали на кухонном, приспособленном для писания столе. И если вечерком не шли в кинематограф или на пирог к сослуживцу,

Иван Матвеич мастерил нечто по мебельной части или, еще охотнее, читал вслух выверенные временем, поскучнее какие, *покалорийнее,* как он выражался, произведения классики — с передышками для выражения восторга или пояснительных примечаний. Так строилась надежная и, пожалуй, весьма преждевременно осмеянная, гранита крепче, семейная база, откуда многие прежние деятели, вроде Вихрова, вырастали в высоты своих наук без опасения завязнуть ногами в трясине житейских мелочей... Словом, все события скучноватой профессорской жизни легко просматривались лет на сорок вперед. Вот бальзамины цветут на окнах, младшая дочка щебечет в солнышке на полу, а Иван Матвеич ради прочности семейного уклада величает супругу то голубушкой, то матушкой. И так до поры, пока многочисленное и умеренно рыдающее потомство не схоронит тружеников рядком на одном из московских кладбищ.

Леночка и в Москве оставалась той же пугливой дикаркой; и, по примеру многих современников, Иван Матвеич имел полную возможность до конца дней держать ее в этом удобном для хозяйства первобытном состоянии, со знаниями на уровне уездных медкурсов военного времени. Однако весь досуг первых лет Иван Матвеич посвятил расширению ее кругозора и в особенности пробуждению в ней человеческого достоинства. И даже если бы предвидел, какому риску подвергает свое непрочное счастье, все равно в нем победило бы врожденное педагогическое чувство должника перед всяким, кто знал об окружающем мире меньше его самого. Даже столичные развлечения, не слишком частые из-за отдаленности театров и музеев от их местожительства, он сделал подсобными учреждениями своего домашнего университета... Конечно, Леночка так никогда и не побывала на сверкающих вершинах большой культуры, но и с достигнутой ею высотки, заметно упрощаясь, становился понятным чертеж мира, такой запутанный вблизи. Как бы сквозь туман, в глубокой лощине внизу проступала натоптанная, вся в петлях ошибок и заблуждений тысячелетняя дорога человечества; подобно огненному столбу в библейской пустыне, влекла его вперед мечта о совершенных — справедливости и блаженстве, без чего оно давно превратилось бы в кулигу жалких, беспощадных насекомых... Попутно Иван Матвеич старался

внушить своей ученице мысли о святости жизни и способах сократить людские блужданья в поисках пищи и радостей, подчеркивая при этом, что горе отдельной особи ничтожно перед счастьем многих, и благо ее кощунственно вне блага подавляющего большинства... правду сказать, лесные лекции удавались Ивану Матвеичу в неизмеримо большей степени. Надо считать удачей, что Грацианский ни разу не побывал на его чтениях,— уж он порезвился бы насчет его исторических воззрений, в частности, по поводу его провинциального благоговения перед страданием, пошедшим на оплату человеческого прогресса!

Едва дамы начинали позевывать, Иван Матвеич для поддержания интереса преподносил им разные исторические картинки, вроде гибели прекрасной Ипатии, растерзанной александрийскими монахами, или полутораста тысяч ослепленных болгар, бредущих домой из византийской неволи, или монгольского батыря Джамугу, корректирующего собственную казнь в присутствии Чингиса, причем сопровождал это столь живописными подробностями своего изобретения, что недовязанный чулок валился из рук Таиски и зрачки темнели у Леночки: чем мирнее человек, тем более склонен он к чтению дневника происшествий. Наутро многое улетучивалось из неподготовленной памяти вихровской жены, но никогда не пропадает раз произведенная работа ума и сердца. Благодаря этим вечерам Леночка настолько пристрастилась к чтению, что если бы не горбатенькая, то и хозяйство захирело бы. Ее охватила жажда ненасытного узнаванья, понятная после долгой слепоты. Если вначале книги помогали ей всего лишь коротать праздное время, к концу второго года она научилась ценить их за необходимость умственной работы над ними, чтоб добыть содержащийся в них мед. Кстати, в вихровской библиотеке была богато представлена классика, такая не похожая на переводные романы из сапегинской усадьбы, сочинения *из жизни мух,* как она выразилась однажды, и муж порадовался степени ее роста и прозрения. Теперь при чтении книг Леночка испытывала завистливое любопытство нищенки, подсматривающей из непогодных потемок за незнакомыми ей людьми в ярко освещенном окне. Мысли героев всегда лежали вне пределов ее понимания, но самые звуки их речей таинственно совпадали с голосами, звучавшими в ней самой. Вдруг ей откры-

лось, что во всех хороших книгах говорится о том же самом, о спутниках на великой дороге жизни, о ней самой в том числе. Более того, не было ни одной — где не нашлось бы чего-нибудь по поводу ее личных раздумий и все возраставших сомнений. Наверное, с таким же чувством школьник находит точку своего безвестного селения на развернутой карте вселенной.

Получалось, что задолго до рождения Леночки людям была известна клиника ее душевного недуга, состоявшего в неукротимой потребности любить, радоваться, действовать. Больше того, авторы прочитанных книг наперечет знали даже подробности ее интимной жизни с человеком, который стал ее спасителем, наставником и, наконец, мужем в возмещение за понесенный им труд. Они насквозь видели все ее жалкие и неумелые хитрости, грозившие превратиться в вечную ложь, от которой и смерть не избавит, если под одну плиту закопают ее с Вихровым; и, конечно, все они догадывались, что с самого начала она не любила его. Постоянная, столь мучившая Ивана Матвеича недоверчивая замкнутость в характере жены обострилась необъяснимой, повышенной ранимостью от любого, казалось бы — самого благожелательного явления действительности: всякое прикосновенье оставляло на ней долго пламенеющий след. Наступала новая фаза болезни... именно в тот период, когда, по мнению Таиски, для полного благополучия оставалось лишь связать кружевные дорожки на этажерки да в давно закупленные стандартные рамочки вставить композитора поволосатее или заросшие пруды в осенних парках.

— Сперва-то и полегчало вроде, а потом снова ее настигло. Извелась, и рвение к хозяйству пропало... так и бродила по помещению зачитанная вся, тоненькая как стеблиночка. И на улицу не посмотрит, разве только через занавеску. Спросит ее Иван, чего тебе желательно, скажи, из-за моря выпрошу,— она ему щеку погладит да покачает головой с повинною улыбкой. В самые что ни есть кавказские горы возил, чтоб развеялась: не помогло. Докторов пропасть перепробовал... одному шубу подает, другой в дверь стучится. Ну и злые промеж них попадалися! Один — «раньше состоятельные люди в Египет, на горячие пески таких-то возили,— подарил словцом.— Но поелику теперь, говорит, у нас происходит всеобщее счастье, то,

может, и без Египета супруга ваша отлежится». У Ивана губы трясутся, а тормошится, кланяется, так-то! И тут, примечаю я, зябнуть хуже прежнего стала наша Леночка...— Так делилась воспоминаниями Таиска, умалчивая, что все это совпало с последними месяцами невесткиной беременности.

Последующий год Леночка провела в молчаливом, на месте, бегстве от своей тоски, и все время светился в ее сознаньи тесный, без крови не проденешься сквозь него, но единственный выход. Она приникала глазом к этой спасительной щелке и видела убегающую вдаль дорогу с красивыми веселыми людьми, и будто она тоже идет с ними, но уже легкая, прямая, свободная от унизительных тревог, от непрестанного ожидания морального разоблачения, от самой себя. Проснувшись среди ночи, боясь шевельнуть плечом, чтоб не разбудить спавшего рядом мужа, она вслушивалась в тревожные, с близкой окружной дороги, паровозные гудки, вкрадчиво звавшие ее куда-то. Теперь ее мучил уже не страх сокрытой причастности к свергнутому строю, а гнетущая уверенность, что все кругом разгадали, какой ужасной ценой она покупает свои — хлеб, тишину, более чем скромные наряды, безопасность от мнимых призраков; природная чувствительность кожи и впечатлительность усиливали в ней это ощущение постоянной, знобляющей наготы. Любой, попристальнее, взгляд приводил ее в замешательство, даже если то дочка была на ее коленях; перед дочкой-то и было стыдней всего! Да тут еще Таиска обронила мимоходом крестьянское поверье, что несчастны бывают без любви зарожденные дети. Близился недобрый конец.

В последние перед катастрофой годы у Вихровых почти не бывало гостей, кроме ограниченного числа студентов, влюбленных в своего учителя за его всестороннюю осведомленность и неостывающий жар души, заставлявший забывать о возрастной разнице. Русский лес, на верность которому, как частице родины, поклялись они все, служил неиссякаемой темой споров и, судя по благодарным признаниям в письмах учеников, отовсюду — и в продолжение последующей четверти века поступавших в адрес учителя, многие из книг, впоследствии получивших всенародное признание, были задуманы на этих маленьких лесных ассамблеях. Почти так же, как мед Калины для самого

Ивана Матвеича, для этой молодежи на всю жизнь остался сладостным воспоминанием скудный, зачастую без сахара, вихровский чаишко. Его приносила в необъятных количествах Таиска... никто из студенческого кружка не имел случая познакомиться с профессорской женой. Судя по фотографии на хозяйском столе, она отличалась смешливым нравом и приятной миловидностью, если не красотой,— супруг же ее был хром и не слишком привлекательной внешности; это сопоставление и давало повод к игривым, хоть и безобидным истолкованиям.

4

Лишь один Осьминов Павел Андронович, со старшего курса и любимый ученик Вихрова, был осведомлен о его семейном неблагополучии. Родом с суровой Ваги, тамошнего обличья, худощавый, общительный, со своеобразным северным говором и черными охотницкими глазами, он был из разряда тех одаренных людей, что берутся за науку не столько ради приобретения знаний, а скорее для уточнения всего того, что, кажется, было им известно еще до рождения. С налету проникая в конструкцию вещей, он с одинаковой остротой судил не только о модной тогда квантовой механике или о лесных ересях Тулякова, но и проявлял осведомленность в тайностях женского сердца. Ивана Матвеича очень подкупала в нем преданность лесу и еще то привлекательное качество, что, поднимаясь на высоты общественного положения, никогда не забывал своих молчаливых родичей из шенкурского полесья. Это был честный и, видимо, смелый человек, потому что один из всех решился посвятить свой тоненький начальный труд Вихрову как раз в пору жесточайших гонений со стороны Грацианского. К Ивану Матвеичу он заходил чаще других, нередко в отсутствие хозяина, и, примечательно, только ему Леночка решалась вверять свои наиболее сокровенные сомненья. Правда, она делала это в шутливой форме, на предположительных примерах какой-то несуществующей подруги, причем в этих разговорах настолько раскрывалось все ее смятенное существо, что, пожалуй, он относился к жене Вихрова несколько жарче и дружественней, чем это допустимо для ближайшего и любимого ученика.

Возможно, катастрофа произошла не без его содействия, но самый факт, что вначале сестра и брат Вихровы ему одному приписывали причину своих бед, показывает с наглядностью, как плохо они разбирались в существе леночкина заболевания.

Как-то, вернувшись раньше времени, Иван Матвеич открыл квартиру своим ключом и, увидев на вешалке пальто Осьминова, почему-то не раздеваясь, задержался в прихожей. Из его кабинетика доносилась оживленная беседа, уже не первая такая по счету, судя по ее характеру. Не в вихровских привычках было подслушивать у дверей... но как-то до щекотки любопытно стало вдруг, о какой такой, явно вымышленной, подруге идет у них там речь. Сестры не было дома, разговор велся вполголоса, но, если приложить к уху ладонь, привстать на цыпочки, а шею вытянуть слегка, становились разборчивы самые мелкие интонации.

— Так я же неоднократно и пыталась переубедить ее,— возражала Леночка на тактическое замечание Осьминова, что прямым ее долгом было притти подруге на помощь,— но чем, чем можно спасти человека в ее положении? Вдобавок там имеются особые, в виде ребенка, отягчающие ее вину и уже необратимые обстоятельства...

«Неужели это она на Полю намекает, а?.. чужому-то человеку?» — удивился Вихров и, еще подавшись вперед, машинально, хромой ногой, поправил сбившийся, с загнувшимся углом коврик на полу.

— Нет, я решительно не могу одобрить самоубийственных мыслей у вашей подруги! Только вполне опустошенный человек может решиться на такой поступок,— забасил в ответ Осьминов и стал выколачивать трубку, судя по звуку, о край письменного стола.— Никак не могу допустить, что у молодой интересной женщины ничего не осталось в душе, кроме пепла...

— Боже, да моя подруга и сама не скрывает, что пустышка,— перебила Леночка как бы затем, чтоб и её тотчас же горячо опровергли.— Видите ли, Павел Андронович, флейта поет для каждого, кто к ней приложит губы. И вообще какой вы еще доверчивый и неопытный ребенок при вашей страшной лесной бороде. Нет, тут требуется что-то другое, сильное... я сама пока не знаю, что.

«Эка, как они лихо промеж собой... со мною-то насчет смерти не разговаривает. Это значит, она ему намекает, чтобы он ее смелей спасал, не робел, за что ему и последует от ней посильная благодарность! Далеконько дело зашло...» — с пылающими ушами, не пропуская ни словечка, думал Иван Матвеич, но его порадовало хоть то соображение, что, несмотря на несомненную духовную близость, они пока называли друг друга полным именем и на *вы*.

— Мне крайне трудно прописать заочное лекарство вашей приятельнице,— издалека, под видом возражения, стал объясняться Осьминов,— но я составил иное мнение о ней. Из ваших же слов я вправе заключить, что она добра, отзывчива, достаточно умна, если за делами книжных героев, способна угадывать даже побудительные намерения автора. По-моему, у ней неплохие задатки, при отсутствии которых она не испытала бы потребности стать честней и чище. Она сильна, если, как вы говорите, не боится нужды и работы. И, наконец, она молода и, следовательно, располагает временем для всестороннего исправления своих ошибок,— вырвалось у него с чрезмерным, пожалуй, ударением, что и было немедленно воспринято Вихровым как повадка бывалого молодца.— Но посоветуйте ей при встрече учиться и утолять жажду из первичных источников жизни, а не из книг: на мой взгляд, самые лучшие из них выражают лишь частные точки зрения и рассматривают обособленные участки бытия. А еще не бывало такого зеркала, чтобы мир полностью отразился в нем...— Он снова принялся разжигать трубку, которая упорно гасла, судя по количеству затраченных спичек.— Скажите, муж вашей подруги знает, что она несчастна с ним?

— Вряд ли,— с сомненьем сказала Леночка и, наверно, покачала головой.— Это очень сильный, одержимый своею работой человек... и все в мире — только пища его уму, только материал, подтверждающий его идею. И он просто не допускает мысли, что такая,— и в голосе ее зазвучала еле приметная ирония,— такая круглосуточная забота о человеке, о своей жене может причинять ей неудобство.

— Вы хотите сказать, что...— не совсем уместно поддержал Осьминов,— что кошка не спрашивает у проглоченного мышонка, счастлив ли он теперь, когда ему столь

тепло, мягко и вполне безопасно там, внутри... Правильно я понял вас?

«Так, так, вышибай его, выклинивай его рычагом, хромого чорта!» — усмехнулся Иван Матвеич, делая непроизвольный жест, словно помогал ему в этом.

— Это очень смешно, но... неверно,— заступилась за мужа Леночка, но опять чужим, незнакомым мужу голосом.— Напротив, подруга говорила мне, что ей не попадался более справедливый и великодушный человек... но он взвалил на себя такого веса камень, что все чужие ноши, полегче, представляются ему просто недостойными вниманья.

— Тогда уж разрешите мне высказаться поподробней, потому что, как мне кажется, я, с ваших же слов, тоже успел создать себе живой образ этого человека...— пустился на открытую Осьминов.— Я считаю его выдающимся деятелем той благородной человеческой породы, чьи достоинства узнаются постепенно, в возрастающей прогрессии, и если вы с самого начала согласились...

Все это Иван Матвеич слушал, перебирая на подзеркальнике предметы, вдруг утратившие для него форму, вес и назначение. Его не оскорбила, но испугала почтительная неприязнь, прозвучавшая в голосе Леночки да еще в обсуждении его качеств с посторонним и, главное — привлекательнее его, человеком; он хотел бы думать, что она выражает скорее отвращенье к их злосчастному браку, чем ненависть к нему самому. Ведь он был так внимателен ко всем желаньям, какие только умел прочесть в глазах жены. Конечно, при той деспотической торопливости, с какой он старался передать ей свои невесомые богатства, скопленные усилиями упорной рабочей жизни, ее личность до некоторой степени растворялась в нем, не без того,— и, значит, это было законным бунтом с ее стороны? Что ж, он всегда чувствовал в Леночке, под оболочкой вялости и замкнутости, готовую раздаться пружину, а это неминуемо причиняет боль тому, в чьих руках она находится.

Вполне своевременно Иван Матвеич взглянул на себя в мутное, с пятнами отставшей амальгамы зеркало и сообразил, что неприлично в таком виде появляться перед молодыми. С одной стороны, у него не было оснований врываться туда, скажем, с кухонным ножом, а с другой —

он вовсе не был обязан выслушивать суждения о себе человека, неосторожно пригретого им у семейного очага. Поэтому, не производя лишнего шума, Иван Матвеич отправился назад на улицу, попроветриться и привести в порядок лицо и чувства. Стояла подходящая погода: густели мартовские сумерки, и злая, у заборов, вилась и закручивалась последняя в том году поземка.

...Теперь речь шла лишь о сроках неминуемой беды, но, видимо, у Леночки не было пока ни планов, ни достаточной воли на поворотный в ее судьбе поступок. Два, одно за другим, события помогли созреть окончательному решению. В начале апреля, когда уж припахивало весной, Иван Матвеич повез жену на органный вечер в консерваторию — выдающийся праздник даже в блестящих музыкальных буднях Москвы. Приезжая из Германии знаменитость оказалась коренастым, в львиной гриве, сутулым стариком, как бы нарочно созданным повелевать этой машиной звуков. Леночка наконец-то услыхала в действии загадочное, во всю стену, нагромождение певчего дерева и серебряных труб. В первом отделении исполняли фугу до-минор, соль-мажорную фантазию и четыре хоральные прелюдии Баха.

Она не знала и не желала знать, кто и зачем сочинил эти тягучие и властные раздумья о вещах, столь далеких от устремлений нынешнего века; в том и заключается долговечная сила музыки, что всякий, соразмерно собственному опыту, вписывает свое содержание в нотную линейку... Внимание Леночки привлекла вдруг запевшая тростинка над водой, и сквозь низкое ступенчатое гуденье можно было разглядеть, как бесконечно много их там... и потом вкрадчивый, звенящий ветер пронесся над головой так, что они наклонились, и вместе с ними запели дети, и к этому гимну, насквозь проникнутые порывом, присоединились окружающие стены, знаменитые овальные портреты вверху, и она сама, Леночка, вся до последней кровинки. Будто кто-то большой и скорбный прошел мимо нее в поисках главного, но не отыскал, и величаво развел руки от огорченья, и взглянул в набухшую синь над собой, но и там нигде не было. И тогда всё, дети и ветер, побежало по лугу наперегонки, и вздыбленное от любопытства облако в высоте потянулось за ними, к спокойному округлому озерку с отражениями кого-то, чье присутствие

внушает блаженство и ужас, и тут круги от первых капель возникли и раздробили зеркальную гладь. И вскоре небо пролилось вниз, а дети и ветер стояли затихшие, в отвесных струях ливня, еще не понимая, зачем все это... А уже распускались цветы кругом, и стороной прошел первый, клыкастый, не вполне законченный зверь, но он никого не тронул, потому что тоже не знал пока, зачем он. Потом косой и дымчатый луч света пропорол сгущенный, безмерно душный воздух и упал на лицо Леночки, оставляя в ней дольку целительной прохлады.

Она порозовела и, прикрыв глаза, откинулась на спинку кресла: только что прослушанное ею было тоже о ней.

— Хочешь пососать конфетку? — спросил сбоку Иван Матвеич.— У меня мятные, прохлаждающие.

— Нет, спасибо. Мне и так хорошо...

— Ты обратила внимание на этот чудесный переход в нижний регистр? Между прочим, известно тебе, что некоторые органисты даже разуваются, по слухам, потому что босиком лучше, нервнее чувствуется педаль?..

Он смолк, и это давало Леночке надежду, что теперь ее оставят в покое. Однако, пользуясь временным расположеньем жены, Иван Матвеич принялся сообщать ей на ухо некоторые сведения об авторе и общественной подоплеке исполняемого произведения и — как отзывались о музыке классики марксизма, без чего, по его искреннему убеждению, культурному человеку недоступно наслаждение искусством. Как всегда, он заблаговременно подготовился, подчитал где следует и, бегло перечислив происхождение родителей и основные пункты баховой биографии, остановился поподробнее на его дрезденском состязании с органистом Маршаном, сбежавшим из страха перед своим прославленным противником.

— И еще обрати внимание, какими могучими средствами обольщения еще совсем недавно располагала церковь. Представь себе стрельчатые мрачноватые своды первоначальной готики, и ты почувствуешь, как этот средневековый хорал западает в тебя, пускает корешки и навсегда остается частицей твоего духа. Вот почему я и утверждаю, что пережитки прошлого нынешними маршировальными песенками не вытеснишь, а только произведениями выдающегося искусства, понимаешь? Отсюда...

— Прошу тебя, перестань, Иван,— отозвалась Леночка.

— Но это необходимо знать любому мыслящему человеку, голубушка.

— Ради бога... сейчас я закричу от тебя! — свистящим шопотом сказала жена, и муж съежился, подавленный тоном этого застарелого раздраженья.

Однако и во втором отделении что-то мешало ей отдаться музыке: то ли отсутствие опоры у затылка, то ли едкий запах духов от крашеной блондинки впереди. Необъяснимое беспокойство не покидало Леночку и во время исполнения итальянского фа-мажорного концерта; лишь обрывки достигали ее сознания сквозь усилившееся чувство почти физического неудобства. С досадой она выпрямилась и огляделась — из ложи почетных гостей, справа, свесив руки за борт, на нее пристально глядел незнакомый ей мужчина... Она бессознательно оправила волосы и отложной воротничок платья, но он все глядел; видимо, он что-то знал о ней. При возрасте не свыше сорока пяти он был почти седой; остальные приметы не задержались в ее памяти, кроме насмешливого блеска слегка прищуренных глаз да шрама над виском, явственно различимого с двадцати разделявших их шагов. Внешне он тоже походил на ученого, как и муж, только — из другой, какой-то всезавершающей человеческой науки, а глядел так пристально, словно известно ему было, как еще утром, едва проснувшись, она притворной кротостью обманула мужа, чтоб отвлечь от возможных подозрений. Ей стало вовсе не по себе, когда этот человек легонько улыбнулся и несколько фамильярным движением головы показал ей на Ивана Матвеича.

— Проводи меня в буфетную, Иван...— сказала она, вся обессилев.— Я хочу воды, мне нездоровится.

— Может быть, досидим до конца отделения?

Сопровождаемая шиканьем, она уже бежала по проходу и, к ужасу своему, заметила краем глаза, что и тот, в ложе, поднялся одновременно с ними. В буфете он появился полминутой позже и уселся за дальним столиком. Пока пудрилась, тыча пуховкой как придется, Леночка разглядела в зеркальце, как тот глотками отхлебывал за ее спиной свой нарзан, опустив голову с видом терпеливого, иронического выжидания. Тогда, сославшись на

головокруженье, Леночка заторопилась домой, но и преследователь спустился вслед за ними в вестибюль, и вдруг, подойдя вплотную, с укоризной спросил у Ивана Матвеича, не совестно ли ему, наконец, до такой степени зазнаваться перед друзьями.

— Весь антракт по пятам за тобой шатался, жене твоей воздушные приветы ручкой посылал, а ты, окаянный, хоть бы взглядом, пусть из ревности, дружка подарил!.. Ну, знакомь со своей супругой!

— Валерий!..— мальчишеским фальцетом закричал Иван Матвеич, бросаясь в его объятия, и Леночка, сама в изнеможеньи от внезапной и полной разрядки, увидела слезы на глазах мужа.

То была чисто русская, после долгой разлуки встреча, и гардеробщики, лениво чесавшие языки за прилавком, вдоволь развлеклись зрелищем двух ответственных товарищей, как они хлопали по плечу друг друга, расходились взглянуть на себя со стороны и снова принимались взаимно мять друг у друга новые, ценные пиджаки.

— Да что ж ты, голова, сигнала мне не подал, раз в Москве? — все укорял Иван Матвеич, познакомив его с Леночкой.

— А я полагал, что ты еще в лесничестве сидишь да сочинения пишешь, занозистые... и говорят, не слишком удачные, а? Читал я, читал, как Саша Грацианский в разум тебя приводил...— и пытливо взглянул в глаза товарища.

— Но ты хоть сам-то полистал ее, книгу-то?

Валерий почему-то не торопился с признанием.

— Толста, брат, не успел до конца прочитать.

Иван Матвеич пожевал усы: чего ему было ожидать от других, если даже Валерий столь сдержанно отзывался о его работе?

— Да, видно, оплошал я,— уклончиво согласился он, не решаясь тут же вводить приятеля в курс давно начавшейся лесной борьбы.— Размахался по младости ума, да, значит, лишку запросил... Ну, где ты теперь, откуда и надолго ли к нам?

— Нет, сперва уж ты о себе докладывай, я постарше,— полушутливо настаивал Валерий.

И оттого, что нельзя было в двух словах изложить происшествия стольких лет, а ехать на окраину к Ви-

хровым было далеко, они, по настоянию Валерия, отправились к нему в гостиницу; кстати, он ждал важного телефонного разговора в ту ночь. Машина его стояла во дворе консерватории. И хотя Леночка едва держалась на ногах, она согласилась на приглашение, чтоб продлить бездумную радость хотя бы временного избавления от тоски.

— Извини меня, Иван, но... ты зря оставил без ответа злой сашкин выпад,— говорил в машине Валерий.— В его левизне много соблазнительной демагогии!.. в частности, насчет того, чтобы по возможности оттянуть процесс кристаллизации в раскаленном потоке революции, дело которого — течь и жечь... помнишь? Мне даже запомнилась одна сомнительная фраза в его выступлении: «Когда лава остывает, в трещинках ее заводятся не только красивые цветы, плодовые деревья, полезные насекомые, но и микробы древних страстей, не раз сокрушавших наиболее знаменитые цивилизации». Однако на пылающей-то лаве хаты не построишь, урожая не соберешь. Я недоверчиво отношусь к деятелям, которые по праву прочных голосовых связок присваивают себе монополию говорить от имени народа. А народ наш, как и всякий народ, больше всего хочет мира и тишины. Словом, сашкина критика показалась мне скользкой и не беспристрастной... но ты промолчал, а у рядового читателя создалось впечатление, что ты уклоняешься от большой драки.

— Ну, это дело милиции... ограждать рабочее место граждан от прохожих с беспокойным характером! — резко бросил Иван Матвеич.— Мне же некогда, у меня руки делом заняты.

— Мне выписали твою книгу уже после его статейки. Ты дельно и своевременно поднял свою тему... а необычное, в начале третьей главы, отступленье о зимнем лесе так и просится в хрестоматию. Я сидел тогда под тентом в одной, довольно жаркой стране, и вдруг словно горстку русского снега прислали с родины. Я долго берег ее в сердце, Иван.

— Пока не растаяла? — усмехнулся Иван Матвеич.— Не сердись, что я этак... под током. Дело в том, что у меня от регулярного массажа Саши Грацианского довольно болезненный гнойник образовался на холке... Значит, кое-что в книге тебе понравилось?

— Книга нужная, я прочел ее не отрываясь,— совсем серьезно на этот раз сказал Валерий,— и я не согласен с Грацианским, хотя, признаться, идеи твои с большим запросом.

Иван Матвеич начинал горячиться:

— Я только лесник... в данном случае только стрелка манометра на паровозном котле, но мне не положено лгать, потому что на меня смотрит машинист, когда ведет на подъем или набирает скорость. Впрочем, этот тоскливый инструмент легко выбросить в канаву и заменить никелированным, веселым и со стрелкой, постоянно приклепанной на градусе оптимизма... вроде Грацианского.

— Ладно, не колись,— смеялся Валерий.— Часто видишься с ним?

— Изредка он навещает меня, но к себе не зовет. У него не слишком приятная мать. Помнишь ее, по Петербургу, черную старушку с лорнетом?

— Как же!.. он женат?

— По-моему, никто в Москве не осведомлен в таких подробностях.

Всю дорогу Леночка молчала; от мужа она много слышала о Валерии, но ей никогда не доводилось видеть вблизи людей его масштаба. Сухо пощелкивая на этажах, лифт поднял их на высоту строгого, нежилой внешности дома с военным вахтером в подъезде. И вообще официальная обстановка помещения, от шелковых гардин и гравированных зеркал в простенках до тележки с холодной и неуютной пищей, как-то не вязалась ни с подкупающей простотой Валерия, ни с промелькнувшим у него ироническим замечанием о благах дипломатической жизни. Окружающие вещи, иные даже с позолотой, были для него неизбежным инвентарем его профессии, как для другого скальпель или штукатурный мастерок, и Леночка подумала, что таким же инструментом для больших дел может быть и крестьянская, с бедной утварью изба, навязчивые думы о которой не покидали ее в последние дни.

— Что же семьи-то вашей не видать? — заикнулась Леночка, заглядывая в анфиладу освещенных, со штофной мебелью и без соринки, комнат.

— Нет, она у меня в Ленинграде, на постоянной квартире. Ведь я проездом тут, из одной заграницы в другую. Затруднительно таскать за собой детей по всему свету...

вот если осяду где-нибудь попрочней, тогда...— намекнул он, разливая вино по бокалам, и мельком взглянул на телефон.— Впрочем, у меня только сын да старуха-тетка, почти как у тебя. Помнишь, Иван, мы как-то встретились с ней при выходе из института, семнадцать лет назад и она окликнула меня настоящим именем... неужто забыл?

— Уже большой сынок-то? — жалея его, вставила Леночка.

— Как раз сегодня девятый ему пошел.— Валерий помолчал, наливая из бутылки, и темная струйка вина прервалась на долю минутки, пока он мысленно прощался со своим мальчиком на ночь.— Если время позволит, заеду к ним на обратном пути. Словом, роскошная у меня жизнь, Иван: банкеты, апартаменты, реверансы... благообразнейшие акулы во фраках и пожилые сирены, голые до пояса.

— Ты мне-то воздержись, не пью почти...— придержал его руку Иван Матвеич и придвинул взамен бокал жены, слушавшей с затаенным вниманием.— Ты вот ей, чтоб согрелась. Ну-ка, расскажи поподробней о своих встречах... небось и короли попадались?.. как они там и что поделывают?

Они выпили за сыновей и потомков, чтоб краше им жилось на чистой земле.

— Короли пока не попадались... да и не в королях дело теперь,— в раздумьи повторил Валерий, ставя на место бокал, и вдруг круто сменил тему разговора:— А сам-то ты какого мнения о данном товарище?

— О каком это?

— О критике своем, о Саше Грацианском. Скажи, он честный человек?

— Скорее несчастный человек. Боюсь, что это хоть и восходящая, но... до отчаянья бесплодная звезда. Помнишь фараонов сон о семи тощих коровах?

Валерий пропустил мимо ушей его замечание.

— Сколько я помню из газет, он громил не одного тебя.

— Он поднялся на сокрушении Тулякова... это была проба его пера. И, если ты следил за нашими делами, он ни разу не выдвигал своих положительных и хоть в малой степени плодотворных для леса предложений... Во всяком случае, на плаху за свои убеждения этот гражданин не пойдет!

— Жидкость, принимающая форму любого сосуда, куда ее нальют... так?

— Пожалуй... но я прибавил бы, что жидкость эта — фтористая кислота так называемого скепсиса, разъедающая самое стекло, где она находится. Проточит и без следа прольется в землю... Видишь ли, собственное бесплодие всегда служило лупой неудачникам, через которую они рассматривали успехи современников. Да и во всякой области наш Саша делал бы то же самое, утолял бы жажду беспрестанного отрицанья. Думается, потому и не задалась у него книга о дореволюционной молодежи... а ведь целый год просидел в архивах!

— Вот не слыхал раньше... Видимо, пытался загладить ту свою смешную авантюру с *Молодой Россией*, помнишь? — оживился Валерий.— Прозевал я, брат, его книгу. Когда она вышла в свет?

— Она вовсе не появилась в печати... наш историк на лесную статистику перескочил,— сказал Иван Матвеич и вдруг померк.— Прости, Валерий, кажется, я начал сводить с ним счеты... Во всяком случае, это увлекательный оратор, с острым пером, к тому же... одаренный и скромный человек. На днях он отказался от довольно лестного поста...

— А может быть... побоялся связанного с этим слишком пристального общественного внимания? — и Валерий предоставил Ивану Матвеичу достаточно времени на размышленье, но тот молчал.— Я поясню тебе причины своего любопытства. Давеча ты о заграничных встречах помянул, и в памяти у меня всплыла очень странная одна...— Слово за слово Валерий рассказал Вихровым маленькое приключение, довольно обычное для советского зарубежного работника той поры.

Местом действия была набережная тихого итальянского городка, где Валерий проводил трехдневный перерыв в очередной международной конференции. Как раз с вихровской книжкой на коленях он досиживал в лонгшезе свое время до обеденного часа, следя за пестрыми фигурками вдалеке, на слепительном полуденном пляже. Сквозь усталость от долгих и вполне бесполезных дебатов пробивались крики детей, шум прибоя, шелест пальм над головой и все прочее, полагающееся на курорте. Где-то близко за спиной похрустела галька, и перед Валерием

оказался сухонький, весьма достойного вида старичок в светлом, помнится — с обтрепанными рукавами, но опрятном, прямо из чистки костюме. Он ничего не продавал, не просил ни денег, ни участия, как можно было ожидать, а долго глядел тем напоминающим взглядом, когда хотят, чтоб их опознали. Валерий сделал жест нетерпения и досады. Тогда, двумя перстами, по военной привычке, коснувшись полей канотье, тот приветливо осведомился, не господина ли Крайнова имеет он честь видеть перед собой; значит, в городке уже приметили видного русского большевика. Вопрос был задан по-французски, без акцента, так что никаких наводящих примет у Валерия пока не было, кроме, пожалуй, раздражающе знакомого, настойчивого взгляда, словно вкладывал глаза и волю в самый мозг своей парализованной жертвы. Старик выразил удовлетворение по поводу хорошей погоды и порадовался мельком, что треволнения молодости никак не отразились на здоровьи и цветущем виде господина Крайнова. «Я прошу вас также передать при случае мое постоянное душевное расположение и господину Грацианскому. Очень многогранный... хотя и несколько резвый молодой человек. Да, да, к сожалению, это я, тот самый...— сокрушенно подтвердил он уже по-русски своему онемевшему собеседнику.— Tout passe, tout casse, tout lasse» [1].— И, сделав нечто легкомысленное ручкой, пошел прочь расшатанной походкой, одинаково выдававшей и преклонный возраст и разочарования эмигрантских лет.

— И, знаешь, кто это был? Все равно не угадаешь... Чандвецкий!

Такая давящая сила заключалась в произнесенном имени, что Иван Матвеич хоть и продолжал глядеть на приятеля, но видел сквозь него совсем другое. В воспоминаньи перед ним возник уже в те годы немолодой жандармский подполковник, по слухам фаворит Столыпина и, говорили, умнейший после него в лагере тогдашней реакции. Вот: сплетя ревматические пальцы на большом, пустоватом столе, он безразличным, необязательным тоном цедил Вихрову что-то о биологическом неравенстве особей и, следовательно, о незыблемости установившихся законов человеческого общежития,— о бездне, куда

[1] Все проходит, все рушится, все приедается *(франц.)*.

увлекает Россию чрезмерно пылкая и потому строгой отеческой опеки заслуживающая молодежь, и — еще что-то, вызывавшее в душе бешенство противодействия. «Вы хотите стерилизовать жизнь, господин Вихров... но абсолютно чистые элементы существуют только в колбах химиков и нередко обходятся обществу по цене, делающей их недоступными для широкого потребления... не боитесь дороговизны?» — шептал он с видом скучающего искусителя, и снова, в разгаре допроса, Иван Матвеич ломал воображаемый карандаш из бронзового стаканчика перед собою.

— Подумай, память-то какая!..— гадливо подивился Иван Матвеич.— А ведь сколько нашего брата прошло через его руки!.. Позволь, однако, ведь это был коренастый, сильного сложения человек.

— Значит, подсох к старости... да не в том суть, дружище! Помнится, ты писал мне на Енисей, что, как и Андрюшу Теплова, как и...— он назвал известного дальневосточного работника, знакомого всей стране,— этот же офицер допрашивал и тебя. Значит, ему представлялся громадный выбор... Так почему же он вспомнил именно Сашу... Грацианского, который легче всех поплатился за преступную связь со мною?

— Нет, Валерий,— решительно вступился за своего врага Иван Матвеич.— Если бы имелись хоть малые основания для того, о чем ты так ужасно подумал сейчас, то какой смысл был Чандвецкому выдавать *своих?* А просто жандарм узнал тебя, и вспыхнула осевшая муть, и вот... поддался искушению, захотелось кинуть горсть песку в наши, ненавистные ему трущиеся поршни. Он мог бы проделать то же самое односторонним анонимным письмом, к тебе или ко мне, в расчете, что до адресата его прочтут те, кому надлежит... даже намеком, чорт возьми, или искоса брошенным взглядом... сделать это... остальную работу довершит простодушный следователь! Для правдоподобия он выбрал наиболее уязвимого из наших мушкетеров. На мой взгляд, это была низкая и бессильная злоба, которая, к счастью, выжигает лишь то место, где горит сама.

— Возможно, ты и прав...— не сразу согласился Валерий и вернулся к обязанностям гостеприимного хозяина.

Леночка слишком мало знала Грацианского, чтобы

принять участие в беседе, но, по привычке людей с мнительной совестью немедленно примерять на себя чужие суждения и оценки, она ужаснулась мысли, что и по прошествии стольких лет давняя провинность еще способна вызывать подозрения. Когда разговор перекинулся на встречи Валерия с представителями западной интеллигенции, она и там сумела найти нечто относившееся непосредственно к ней самой.

— У меня сложилось мнение,— делился своими наблюдениями Валерий,— что многие в Европе начинают понимать неизбежность социальных сдвигов... естественно, с годами это сознание будет расти под воздействием фактов. Сюда надо включить и кое-кого из тех, кто, никогда и не принадлежа непосредственно к буржуазии, хотя бы частично извлекает свою пищу из несчастий войны, из послушности людской нужды, из невежества ближних, из их трагической разъединенности, наконец. На лугу человеческом немало таких травок, которые тоже не обхватывают, не душат жертвы, как большие паразиты, а легонько прикладываются сосальцем к корешку соседа. Забывать стал... ну, как ее, есть у нас такая?!

— Марьянник, Melampyrum nemorosum,— подсказал Иван Матвеич, очень довольный за друга, что хоть и ушел из леса, но образы в мышлении попрежнему черпает из их общей науки.— Тем же самым занимается все семейство Rhinantus apterus, полевого погремка.

— Вот, вот, именно *погремок,*— обрадовался этой находке Валерий, имея в виду, как он пояснил, распространенную в западноевропейских странах склонность к отвлеченному пустозвонству насчет культуры.— К сожалению, наиболее мыслящие нередко добираются до истины пешком или на старинных велосипедах, хотя давно имеется скоростной транспорт в завтрашний день... Не скушно вам? — вдруг обратился он к Леночке.

— Наоборот, я стараюсь не пропустить ни слова...— и покраснела, застигнутая в своих мыслях.

— Так, к примеру, один видный физик посвятил меня в свое самодельное открытие, что, дескать социальные отношения в людском обществе должны неизбежно меняться по мере его численного роста, требующего более сложной экономики. И он даже соглашался, что только при коммунизме его наука приобретет возможность

безграничного исследования, но... пусть, дескать, это случится попозже, когда *меня* не станет. Их держит страх утратить свои мнимые свободы... Так бывает жалко расстаться со старым семейным диваном, пускай колючим и с неприятными жильцами в щелях, но на котором, как-никак, уже провалялся полвека. Да, Иван, капитализм становится общественной нечистоплотностью. В сущности, сказал я ему тогда, у вас единственный выход: итти навстречу своему страху.

— Как, как вы ему сказали? — вся пылая и подавшись вперед, переспросила Леночка.

— Итти страху навстречу, сказал я ему... то есть преодолеть в себе низменную, чисто телесную боязнь социальных перемен, зачастую воображаемых лишений, черного хлеба революции, простонародных радостей существования... пока не воздвигнутся приличные для тонких натур хоромы. Без этого не бывает победы, и горе цыпленку, который не осмелится сломать свою тесную скорлупу. На их месте я бросился бы в свое будущее очертя голову, без раздумий...— Валерий покачал головой со вздохом сожаления.— Ладно, хватит об этом. Лучше расскажи мне про свое, поводи меня по своим дремучим лесам... угости!

— Да ведь мало их, таких лесов, поблизости осталось,— взял себе слово Иван Матвеич и, оттого ли, что ежеминутно чувствовал на себе скользящий, как бы сравнивающий взгляд жены, весь остаток вечера был в особом ударе, делясь своими замыслами на ближайшее десятилетье.

5

Тотчас после телефонного, ровно в полночь состоявшегося разговора, сравнительно рано хозяин сам отвез своих гостей домой; утром Иван Матвеич уезжал в двухдневную командировку... Катастрофа произошла к концу вторых суток, на протяжении того часа, пока Таиска ходила за дрожжами к соседке, через улицу. Еще накануне ничто не предвещало беды; напротив, по показаниям Таиски, с полудня, после трехлетнего перерыва, к ней на кухню дважды донеслась, как бы на пробу, леночкина песенка, но не для Поли песенка, а для самой себя,— все

начиналась и обрывалась, а Таиска решила в простоте, что дело пошло на поправку. Когда же она вернулась от соседки, Леночки дома уже не было. Квартира была пуста и дверь полупритворена, чтоб не пришлось ломать замка. Все оставалось на месте, любимые леночкины мелочи в том числе, и можно было предположить, что молодая хозяйка ушла с Полей подышать ночным морозцем, если бы не зловещее отсутствие детских вещей.

Страшась своих догадок, Таиска ринулась в погоню за беглецами; с минуты на минуту должен был вернуться Вихров. В отчаяньи она избегала все окрестные улицы, заранее сознавая бесплодность поисков и не умея придумать себе оправданья перед братом. Когда, близ полуночи, она крадучись вошла в квартиру, Иван Матвеич уже находился дома. Он лежал на полу в кабинетике, раскинув руки, но не мертвый, как можно было предположить вначале, а всего лишь пьяный, и он такой был пьяный, что не узнал сестры. На столе стояла бутылка из-под водки, припасенной для задушевной беседы с Грацианским. Как бы судороги перемежались в его лице, но вполне возможно также, что это были всего лишь отражения огня из затопленной печки.

Иван Матвеич находился в полусознаньи; с непривычки к спиртному беспамятство далось ему не сразу. Невнятные, как при отравлении, слова пузырились у него на губах, и легко было догадаться, что он, будучи в курсе событий, разговаривал со своим счастливым соперником.

— Э, да разве спорю я?..— получалось у него, если терпеливо вслушаться.— Ей лучше будет с вами, но вы... вы обокрали меня, Осьминов! Я сдаюсь: вы сильней меня... Я хромой, всего-навсего лесник... скорбеющий, а вы жестокий, умный, молодой. Вон Грацианский говорит: когда нация слишком много излучает из себя, она становится скупей, эгоистичней... но я другой закваски, да-с, я бы не полез в пиджак учителя, повешенный на стуле... пока он, тово, выбежал за угощением для вас из кабинета... таким образом! — и еще столь же мало разборчивые несущественные признанья, произносимые дурным, как из сырой кадушки, голосом.

Чтобы не застали в таком виде чужие люди, сестра кое-как втащила брата на кровать, за ширму, собираясь лечить теплым молочком, оставшимся от Поли; утром

Ивану Матвеичу предстояла лекция, а он избегал пропускать занятия в институте. Однако, по размышлении, Таиска решила, что для его же блага ему лучше еще некоторое время побыть в том же состоянии. Тут-то якобы и заявился Грацианский полюбоваться на мертвое тело, и горбатенькой едва удалось отбиться, спровадив его кое-как за дверь. Остаток ночи она провела за разбором кривых, падающих строк на подобранной с полу бумажке. Без запятых, как вылилось, словно воспламененное местами, леночкино письмо занимало несколько страничек, но как ни шарила на столе, не нашла ни конца, ни начала.

«...а все вышло оттого, что не любила я вас, Иван Матвеич, никогда... даже в *тот* раз, помните? И вы должны были спервоначалу это понимать, ведь вы такой участливый, все вас ценят, а студенты не чают души. Осьминов говорит, что вы меня потому ни о чем и не спрашивали, чтоб не заставлять меня лгать вам. Ведь вон даже люди кругом понимают, но я на вас не сержусь, и вы его тоже не ругайте, он вас ужасно как почитает... И не потому не любила, что не за что, за вас всякая с уважением пойдет, а просто не до любви мне было. Да и какая вам радость со мной? Так и просидела бы всю жизнь на месте, как в узелок завязанная. Ровно пробралась на праздник по фальшивому билету, и боязно: а вдруг контролер спросит — «предъявите-ка, гражданочка...» — что тогда? Может, и не погонят, да ведь при одном его взгляде потом обольешься от стыда. А может, и притерпелась бы, да уж больно мне человеком стать захотелось, Иван. Внутри-то и я тоже неплохая, а только хитрила с самого детства, как подлый Золотухин навек меня застращал. Ну, не могу, не могу я больше, понимаете, Иван Матвеич? Поклонитесь дружку своему Валерию Андреичу... это он меня развязал, чтоб я пошла навстречу моему страху. А как порешилась, так-то легко мне на свете стало: вода слаще, небо синей. Не ищи меня нигде, не вернусь, даже если и на новом месте ничего из меня не обнаружится. Сама крепко знаю, чего причиняю вам, Иван Матвеич; но когда тонут — за любое хватаются: мне же твоя рука, жизнь твоя вместо соломинки подвернулась... да ведь и мне не легче, потому что дочке-то век в глаза глядеть. И коли придется тебе с ней свидеться, уж не сказывай всего-то, как я хуже собачонки к тебе навязывалась в Пашутине...»

...Здесь кончался Таискин рассказ.

— Неча бога гневить, все гладко обошлося. И живые мы осталися, и люди первое время ничего не приметили, а потом привыкли,— сказала Таиска в заключенье.— Он прочный у нас, Иван-то. Ногу ли, бывало, о железку распорет, на кулаки ли побьется с кем, сыздетства слезы не пролил. Так и в тот раз: только утром на лекцию приопоздал немножко.

— Сколько же мне было тогда, тетя Таиса?

— Да уж на шестой тебе перевалило. На своих ножках из дому-то ушла, крохотка ты моя.

Кстати, в ее передаче семейное несчастье брата совершалось еще проще: так выглядела бы, к примеру, история мира в переложении для младшего возраста. Уже без ревности или негодования, лишь со страхом за мать, Поля ждала продолженья теткиной повести: совсем непонятно становилось, откуда же в вихровской семье появился тот таинственный мальчик. Впрочем, и никто в мире из посторонних не помнил теперь сережина происхожденья, за исключением Грацианского, который терпеливо приберегал свое знание за пазухой, чтоб в подходящую минуту, в присутствии какого-нибудь влиятельного свидетеля, сразить своего противника наповал.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

После бегства Леночки в доме Ивана Матвеича все осталось попрежнему, только без того главного, чем до некоторой степени возмещалась и его давняя разлука с лесом, и участившиеся невзгоды профессии, и неудобства ветхой, холодноватой по зимам квартиры. Соседям и друзьям было сказано, будто доктора услали Елену Ивановну на наши, советские горячие пески, оказавшиеся вдвое целебней египетских. Вечерами, как и раньше, брат и сестра сходились обменяться новостями дня или же, словно ничего и не случилось, читалось вслух какое-нибудь сочинение при пустом третьем кресле. В нем лежала недовязанная полина безрукавка, и потому никто туда не

садился, как если бы хозяйка отлучилась на минутку в смежную комнату. Однако имена Леночки и Осьминова, как по сговору, не произносились в доме с тех пор. При всей душевной стойкости Ивана Матвеича двойная утрата, жены и дочки, могла бы повлечь жесточайшие для него последствия, если бы живое дело целиком не поглощало его горя и досуга. Правда, ввиду неопределенности взглядов на лесоустройство в переходную эпоху, он отложил писанье учебника, зато в тот год из-под его пера вышло десятка полтора отличных статей, и Грацианский едва успевал расправляться с ними.

— Замучил ты меня по мелочам, Иван! — двойственно и скользко пошутил он однажды в гостях у Вихрова.— Не скрою, крупные твои купюры мне больше нравятся. Первая твоя книга хоть и с недостатками, но — глубокая и отважная: это, брат, наша лесная классика! Но быстрой славы — от нее не жди. Такая книга и не могла быть оценена современниками, понимаешь ты меня — почему?.. кстати, это правда, что про твою жену рассказывают? — и глядел куда-то вкось, мимо уха.

— Вот собираюсь теперь в упор заняться кое-какими назревшими вопросами нашего северного лесохозяйства.

— И тянет же тебя, братец, на эти опасные темки! — скептически дивился Грацианский.— Смотри, здоровьишка хватило бы... Впрочем, вот и неприятности у тебя семейные, а ты все стоишь, невозмутимый, как африканский баобаб. Жена-то далеко укатила?

— А я и не гонюсь за славой. Я у советской власти свой... я и без славы, таким образом.

— Н-да, нелюдимый ты становишься, Иван...

Прослышав стороной об отъезде вихровской жены, студенты реже собирались у профессора... Первым, приблизительно месяц спустя, пришел сам Осьминов и, примечательно, не по поводу своей дипломной работы, а потому, как у него хватило совести сказать, что соскучился по своем учителе. В общем он был почтителен, суховат, похудевший чуть, ничем не выдавал ни смущенья своего, ни раскаянья, так что Таиска лишь головой покачивала на такую беспощадную закалку и выдержку нонешних молодых людей. Со своей стороны Иван Матвеич также нашел в себе мужество ни намеком не обмолвиться о случившемся. Он продолжал числить Осьминова в ближай-

ших наследниках своих лесных воззрений, причем пророчил ему гораздо большие успехи именно из-за его хозяйского, прочного самочувствия, каким порою, в ученой среде, отличается от стариков пооктябрьское поколенье. Общее дело было важней и выше личного для них обоих, так что в конце второго визита Иван Матвеич грубовато справился у молодого человека, не нуждается ли тот именно теперь в его материальной поддержке. Осьминов пристально посмотрел на учителя, порывисто, хотя, пожалуй, и не очень уместно, обнял его и взял небольшую сумму, до скорой получки за одну принятую к печати рецензию. С того раза он стал навещать почаще, и так обернулось, что чаек у них сменился крохотным графином водки с острыми огурцами таискина засола и двумя ломтями черного хлеба. Эти философские трапезы, где обсуждались отвлеченные вопросы бытия, больше походили на поединки ума и знаний, в которых Осьминов проявлял как несомненный рост, так и несокрушимое спокойствие совести. Какая-то стыдная сила продолжала тянуть Ивана Матвеича к своему мнимому сопернику, может быть, потребность видеть человека, который еще утром гляделся в милые, заспанные глаза его жены.

Почти полгода Иван Матвеич колебался, пересылать ли с письмом к Осьминову или предложить лично, в деликатной форме, чтобы забрал с собой леночкины платья и белье, ту его часть, разумеется, какая была еще не ношенная; это избавило бы молодых от обременительных в их положении трат. Наконец профессор решился сделать это полушутливо, по-мужски, для чего завел окольный разговор о состоянии легкой промышленности в стране, о недостатке носильных вещей и еще нечто в том же роде. И когда учитель собрался с духом, ученик неожиданно сам спросил у него, располагает ли тот сведениями, где и как Елена Ивановна устроилась на новом месте. Несколько мгновений Иван Матвеич безумно взирал на дымок осьминовской трубки, и глупая надежда сжала его сердце... но вслед за тем ужасное смятенье опалило его: уж лучше бы ей быть с Осьминовым! Кроме них, двух мнимых соперников, никого на свете не было у Леночки, и теперь прояснились кое-какие загадочные намеки в ее письме и ранее — в подслушанном разговоре. Возможно, пока он пописывал свои статейки, ел щи, играл в жмурки

с Осьминовым, река волокла подо льдом тело его жены... Воспоминание о дочке несколько поуспокоило Ивана Матвеича, но не избавило от пытки неизвестностью.

Письменные розыски по адресам знакомых не завершились ничем; ни ему, ни его сестре не пришло в голову поискать Леночку на Енге́, у старого очага всех ее несчастий. Дело разъяснилось лишь на исходе следующей весны... Незадолго перед сном Таиска расслышала неуверенный, с перерывами, наружный стук и через дверную щелочку в полупотемках лестницы разглядела рослого, деревенской внешности и в ее, таискиных годах, бородатого человека; прилипчивым, смутным голосом он просился к Ивану Матвеичу. По ночному времени и окраинному местоположенью ей ничего не оставалось, кроме как захлопнуть дверь, что она и сделала без промедленья. Домыв же посуду, она во избавление от страхов снова выглянула наружу и теперь не разглядела ничего: лишь слабое детское хныканье оглашало лестничную тишину. В доме как раз сидел Грацианский; желанного разговора не получилось, и гость уже прощался, привыкнув ложиться пораньше для сохраненья здоровья. Иван Матвеич сам распахнул дверь. Запоздалый посетитель сидел на ступеньке, свесив бороду в колени; он поднялся, едва на него упал свет. Собственно их было двое там — возле, держась за рукав старшего, еле стоял на ногах мальчик лет семи; ломал его сон. Он был в сапожках, как и отец, и в промокшем до нитки зипунишке. На улице хлестал ледяной весенний дождь. Нахмурясь, Иван Матвеич осведомился, откуда они и зачем.

— Вот, с Енги́... вроде повидаться зашел,— пояснил старший, не подымая глаз, а руку, подобно слепцу, держал на плече ребенка, и оттого, что трудно было опознать его сейчас, по прошествии ровно трех десятилетий, прибавил вкрадчиво и тихо, как пароль соучастника, не забыл ли хозяин ночь у родничка, в гостях у старого-то Калины Тимофеича.

Он не ломился в квартиру, ни на чем на настаивал и, верно, ушел бы сразу, если ему велеть построже. Но никому, даже той убежавшей женщине, не рассказывал Иван Матвеич таких подробностей детства, и лишь один человек на свете, кроме него самого, мог помнить отчество Калины.

— Входи, Демид... Васильич,— дрогнувшим голосом пригласил Иван Матвеич и посторонился, пропуская гостей в прихожую.

— Земляки, что ли? — вскользь заинтересовался Грацианский, как раз одевавшийся в прихожей.

Из-за дождя, а возможно, и — назло, он медлил с уходом, попадал не в свои калоши, не здороваясь с вошедшими и пошучивая при этом,— вот, дескать, какого рода землячки шляются к *депутату лесов,* на ночь глядя. Дальновидный, совместив кое-какие тогдашние обстоятельства, он сразу догадался о том, что сами Вихровы раскусили лишь полгода спустя. Наконец Грацианский ушел, пообещавшись досказать свои лесные неудовольствия при ближайшем свидании, кстати — состоявшемся лет двенадцать спустя.

Когда Иван Матвеич вернулся в кабинетик, Таиска раздевала мальчика, валившегося у ней из рук от усталости. Через минуту он оказался в запретном леночкином кресле с высокой спинкой и уже спал с пятнистым, отблески костра напоминавшим румянцем на подпухших от холода и утомленья щеках.

— Да развесь-ка перед огнем посушиться,— вполголоса приказал Иван Матвеич сестре про его одежку, оставившую мокрый след на полу; потом поднял глаза на гостя: — Чего ж ты, как нищий, встал, Демид Васильич? Отвык, видно, от меня... давненько же мы с тобой в глаза друг дружке не глядели... интересно, кто ты теперь!.. Но раздевайся, чайком погреешься, таким образом. Наследник, что ли, твой?

— Оно самое... сынище,— посмеялся Золотухин в бороду и стал поочередно исполнять все то, что приказывал хозяин.

Так, он присел к столу с неубранным после Грацианского угощеньем, нежадно поел с каждого блюда понемножку, а стакан горячего чаю долго держал в обеих ладонях, как величайшую благость жизни. Почти непочатая бутылка водки дразнила его на столе; сперва отказался, потом налил на донышко, но вдруг осмелел, дополнил под узорчатый поясок стакана и, снова раздумав, отодвинул на средину стола.

— Давненько держал в мыслях навестить тебя, Иван Матвеич, да вот только проездом... случай навернулся.

Я когда из плена-то воротился, всего неделю тебя в лесничестве не застал. И чудно: сколько разов в самые что ни есть смертные атаки ходил, в мировую-то, а сейчас перед дверью твоей заробел... скажи, стукануть разок силы не стало, ровно рука отнялась, купорос мое дело-то! Эх, авось, думаю, не прогонит. А то и помрем, глядишь, эдак-то, не повидамшись.

— Глупости какие... таким образом,— сопротивляясь чувству жалости, сказал Иван Матвеич.— Ты пей, не стесняйся, пей!..

В глазах его невольно вставало последнее видение детства: едкое молоко лесной гари, дымная шапка над южной частью Пустоше́й, грязная палуба *Евпатия,* кучка ребят возле пристани, на покидаемой земле... но как ни старался Иван Матвеич связать перечисленные обстоятельства с человеком, понуро стоявшим перед ним, настоящий Демидка так и остался позади, а этот был незнакомый, с тяжким грузом неизвестных Ивану Матвеичу печалей, даже весь подложный какой-то. Глубокая морщина неотвязной думы, рассекавшая его переносье, уклончивый взор и, наконец, беспокойные, словно вспугнутые руки — все усиливало впечатление исходившей от Демида тревоги. Потому ли, что говорить им, в сущности, было не о чем, Иван Матвеич спросил про бытье Калины после отъезда Вихровых из Красновершья. Однако за давностью лет Демид ничего не мог припомнить о таких пустяках. Кажется, с год, не более, простояла Калинова сторожка на затянувшихся березкой росчистях, пока вслед за хозяином не растворилась, точней, по слову Калины, не переплавилась в какие-то иные, неуловимые формы существованья.

— А где и как расстался он с жизнию, про то неизвестно. Никто не видал могилы лесного зверя... может, оно и впрямь, сами зарываются в землю при кончине. Вона, камень-то сам в море тонет! — Мыслями Демид Золотухин был уже далек от Енги́.— Надоела она мне, Иван Матвеич, хоть в петлю от ней, и надумал я перебираться на свежие места. Вот вырвался весь, с корешком, и ушел. Да с билетами на поезд чистый купорос получается: с ночи в очередь становятся!

— Жена-то на вокзале, что ли? — во утоление необъяснимого любопытства вставил Иван Матвеич.

— Нет... вдовый я, шестой год вдовею! Вот я и смекнул парнишку к тебе завезти, чтоб в череду ему без сна не маяться, а со станции, как с билетами управлюсь, заберу его — и в дорогу! Он у меня не баловной, Серегой крестили. А проснется, пошумит ежли, ты его и побей, ничего. Я так смотрю, лучше с малых лет поучить, нежели впоследствии всем законом по загривку уважут!..

— Ничего, как-нибудь и без ссоры доживем до утра,— успокоил его Иван Матвеич, придвигая еду на столе.— И в какие ж ты края наметился?

— Под влиянием текущих событий сообразил я на Амур податься. Деверь отписывал: местностя́ весьма обширные и зверя ужасть, а людишек наперечет.

— Значит, уединенья ищешь, Демид Васильич?.. с чего бы это?

— Так, от войны пережиток тяжелый остался. Вроде и годов немного, и сила еще не вся потрачена, за сорок мне, а на душе — ровно бы строчков наелся... помнишь, грибы такие, поганые, на Облоге росли? Авось, на Амуре посытей будет...

— Да где же ты сытей найдешь? — усомнился Иван Матвеич.— Дом у тебя полная чаша, наследство в амбарах, поди, не умещается... целы кони-то отцовские?

— Эка, хватил! Ведь погорело все у меня, Иван Матвеич, в одну ночку слизнуло.

Какая-то неточная правда почудилась Ивану Матвеичу в его признании.

— Крупный, видно, пожар-то был?

— Ничего себе... значительный,— скучным голосом подтвердил Золотухин и, не подымая глаз, залпом выпил водку, причем подержал стакан, пока не вылилась последняя капля.— Да мне и не жаль... нисколько мне его не жаль, добра-то... налегке-то лучше: идешь себе свободно, сам все налево-направо крытикуешь. Трактиришко-то наш в Шиханове еще при жене-покойнице сожгли, соседи пошалили: теперь много всякого шутника развелось. И коней мне тоже не жаль, одна забота с ними...

Водка оглушила его, разгладила складку меж бровей; он даже вроде хвастаться принялся, как хорошо, легко ему стало после того пожара, потому что ничто ему теперь не дорого на земле. Вдруг жестокий смешок сорвался с его губ.

— Чего вспомнил, Демид Васильич?

Вместо ответа тот долго глядел на жар в печке с синими язычками по угольному тлену; резкий кисловатый пар подымался от развешенной на стульях овчины.

— Вот тоже с папаней моим забавность какая приключилась... Дело прошлое, можно и рассказать,— начал Демид.— Это мужики наши мне потом смеялися, сам я тогда еще мальцом был! Чай, помнишь, Золотухины сызвеку обозы гоняли: сперва-то стреляную дичь на Москву важивали, а с развитием и за другие грузы принялись. Папаня с трудом в силу входил, бешеный: оно известно, как начальная-то копеечка достается. Помню, мамаша его перед смертью даже попрекала: «Ты меня росточком махоньку из того расчету и выбирал, чтоб мыла на меня меньше шло».— И в погоне за сочувствием собеседника Демид распространился о терзаниях семейства от стяжательской воли отца.— Вот на масленой эдак-то, в самый *прощеный* день, возвращался мой папаня из большой ездки порожняком... ну и возроптал малость на создателя небесного: всяку, мол, шушеру в люди выводишь, одного меня ни грошиком даровым не побаловал, а все — либо из огня горючего, либо из дерьма тягучего таскай! И только он ему, богу-то, такие слова предоставил, тотчас попадается ему под взгорьем, у горелой рощицы... помнишь, на Горынке?.. купец Ящиков из Лошкарева, Миколай Захарыч... ну, в самом что ни есть бедственном состоянии. Вишь, кралю он себе завел в Полушубове: сущая молодая волчица эта самая Стеша была, адской красоты, всегда за ей кавалеры вьются стайкой, пока знаменитый каторжный Донцов не подоспел. Он тогда в наших краях, на тракте, с беглыми пошаливал... А Миколай-то Захарыч Ящиков и ездил к ей по старой памяти, ужасные капиталы с ею просаживал, всей деревней гуляли. Вот Донцов-то и вернись домой не в срок: очень на купца расстроился, однако губить не стал и, заметь, мошны не тронул, чтоб Стеши не марать, а только выволок его на проселок, снабдил его по-божески по шее разка два и отпустил с наставлением не показываться... Раньше-то ведь оно все попроще было! А, чай, помнишь, местность глуховатая, дело — купорос: сзади Донцов со своей оравой, а впереди уж настоящие волки к ночи отходную завели: да они в ту пору, в течку-то, с пуговицами сожрут... Стоит наш богатей при студеной ве-

черней зорьке, хмельной да покарябанный, шуба враспашку об одном рукаве, жалостно так просится к папане моему в пошевни. «Нет, вертаться мне с тобой не рука... извини, Миколай Захарыч. Да еще карасин везу, провоняешь!» — мой-то ему. «Ничего, подсади ты меня, Христа ради, хоть до Кондыревой дачи,— слезно ему Ящиков плачется.— Я тебя озолочу и заказами впредь не оставлю». И деньги ему кажет сдуру-то, целый кошель, все сотенными. А надо сказать, папаня мой, как церковный староста, ладил ко всенощной попасть, однако смекнул: не иначе, как услышал господь мою христьянскую жалобу, вот посылает мне Ящикова на разживу. Бывают клады лежачие, а бывают они и ходячие... Ясно, дело не без рыску, да ведь вся коммерция на кровце стоит, а ежели и найдут на дороге телесные останки от волков — на Донцова подумают. Топоришко у хозяйственного ямщика всегда под облучком, на плохой оборот. Никто их там не видал: посадил купца, поехали...

Второй стакан пополней Демид Васильич осушил без приглашения и, сразу отемнев, долго глядел в пол, словно забыл продолженье рассказа.

— Ты хоть огурчиком закуси, приятель, а то и билетов на поезд не добудешь,— за поздним временем намекнул Иван Матвеич.

— ...пригрелся в сенце-то, духовитом, развезло Ящикова на радостях. Опять же дальний благовест над лесами стелется, звездочки теплятся в небесах, только анделов не хватает: очень так проникновенно вокруг. «А ведь это тебя, Василь Федотыч, всевышняя рука сюда привела... я уже с жизнею прощался,— Ящиков-то моему говорит.— Только я Миколу-угодника вспомнил, враз слышу твой бубенец на выручку».— «Что ж, видать, встретились наши молитвы у престола господня,— папаня думку свою думает,— посмотрим, чья сильней!» И как выехали на Калинову горловину, где и мы с тобой сидели... помнишь, заросшую подковку на березе?.. Тут папаня мой заохал, прикинулся, будто супонь на хомуте у него распустилась... велит Ящикову вылезти, ровно бы оглоблю поддержать, а тот, не дурак, успел сообразить, значит: кабы правда, клещи хомута разошлись бы и дуга враз обвисла бы! Однако вылез... и вот уже папаня наступает на него со своим злодейским струментом. Но едва рассечь замахнулся,

обушок-то и сорвись, ровно бы сняло его мановеньем небесной силы... одно изгрызенное топорище в руке у папани осталося, такая незадача. Извернулся наш Миколай Захарыч да как полоснет моего старичка с правой, потом с левой, потом обéма враз. Погрелся на нем эдак-то, прыгнул в его же пошевни да и укатил с карасином вместе, а разбойник наш к утру еле до дому дополз, пеший и без полбороды. С недельку эдак пролежал, пока здоровьишко наладилось: купорос! Сам же Ящиков и похвалялся потом в компании. Промежду прочим выдающийся силач был: кочережку в любые вензеля завязывал... Год спустя скончался от четырехдюймового гвоздя.

— Как так? — встрепенулся от неожиданности Иван Матвеич.

— Фокус с гвоздем в теплой компании показывал да вишь и заглотнул его спьяну-то. Пока там довезли, пока разрезали...

Иван Матвеич нахмурился:

— Что ж, ежели позабавить ты меня хотел своим рассказом, так невеселая твоя забава, Демид Васильич.

— Забавка-то веселая, Иван Матвеич, а в том дело, что ты мне белку, Марью Елизаровну, до сих пор не можешь простить,— сдержанно посмеялся тот.— Нет, у меня всякий рассказ с присадком, а присадок тут какой. Гляжу я на людей: ищут удобствия, взаимно сражаются, а судьба меж тем одного гвоздем в глотку уважит, другого — столбняком, как старика моего. Любит господь с нашим братом пошутить, страсть как любит! Вот я и спрашиваю: к чему же все это? — и как бы ответа поискал глазами в штабелях книг, загромождавших вихровский кабинет.

Все в нем тогда — и несмешная папашина история, с помощью которой, возможно, хотел возместить даровые харч и водку, и самый этот вопрос, прозвучавший как приглашение к отвлеченным, подальше от текущей жизни рассуждениям,— все наводило на мысль, что гость любой ценой стремится продлить свое ночное сиденье под сухой и безопасной кровлей.

— Что-то петляешь ты, Демид Васильич, не договариваешь. Чего сам-то в жизни ищешь?

Тот отвечал не сразу, а сперва прислушался к звуку дождя за окном.

— На былое богатство мое намекаешь? Нет, не так

все просто, Иван Матвеич. Конешно, какая мне нонче вера... как обломку бывшего капитализма, а только... не с бочкой солонины говоришь: еще душа в ней имеется! Ничего не ищу я, окроме тишины, покоя да еще легкости ищу вот сюда,— и помял оттопыренный на груди кармашек с захрустевшей там бумажкой.

И вдруг у Ивана Матвеича помимо воли и со дна души поднялась вся горечь его красновершенского детства: обгрызенные корки из таискиной сумы или настойчивые, вечерком десятилетнему мальчику, напоминания старого Золотухина, чтоб присылал мать помыть полы в его трактире.

— Так ведь это же ты счастья пожелал, Демид Васильич,— с холодком посмеялся Иван Матвеич,— а оно при дороге не валяется. За него платить надо чистоганом... и вперед надо платить. Вот говоришь, уж за сорок тебе, а перечисли, много ли у тебя взносов сделано? Таким-то образом, тишины своей искатель!..

На том и замерла их беседа; впрочем, ради мальца, мирно спавшего в кресле, оба постарались закруглить ее без причинения взаимной обиды. Вскоре гость заторопился на вокзал, и лишь приниженная благодарность за гостеприимство выдавала его смятенье, с каким навсегда уходил отсюда. Гораздо позже вспомнили Вихровы, с какой тоской напоследок коснулся он натопленной печи, словно горстку тепла унести хотел с собой в непогоду, или — как ни хлеба, ни рубля не попросил в дорогу, но украдкой, играючи, утаил зажатый в пальцах кусок вихровского сахару, или — как прощально, наконец, покосился на сына с таискиным пряником в кулачке. Все наводило на мысль о неслучайности золотухинского посещенья. На прощанье Иван Матвеич поинтересовался мельком, каким чудом тот отыскал его в столице. Оказалось, адресок Демиду Золотухину дала сама Елена Ивановна в пашутинской больнице, куда месяца полтора назад возил он дрова по разверстке. Естественное волнение от находки заслонило тогда вихровские соображения насчет истинных причин демидова переселенья на Амур. С одной стороны, радость заключалась в том, что Леночка была жива, здорова и, видимо, довольна своей судьбой, а с другой — это возвращало Вихрову его любимого ученика. Остаток ночи Вихровы провели в раздумьях о беглянке и прежде всего —

как же это в суматохе розысков забыли пошарить на Енгé!

Утром Иван Матвеич отослал жене первые деньги для дочки, а пашутинскому лекарю — письмо с извинениями за многолетнее молчанье, с уймой наводящих вопросов и с приложением второй своей книги, свежеобруганной Грацианским. Ответное письмо Егора Севастьяныча содержало кое-какие сведения, проливавшие свет на подробности леночкина бегства.

2

Весна 1929 года пришла на Енгý с запозданием, береза зазеленела едва к средине мая, но снега повяли много раньше, и уже с апреля полозья доставали земли. Попутные, со станции, возчики подкинули Елену Ивановну с дочкой до сворота на паром; санного пути через реку уже не было, а снег стал дырковатый, словно стрелянный из дробовика. До берега, тонувшего в сизой дымке за полыньями, пришлось добираться пешком. Лес еще не оживал, но уже умылся талой водой кое-где на скатах. По колее итти было трудно, а укатанная с зимы обочина плохо держала даже детскую ступню. С полдороги девочка стала никнуть от усталости, и мать пожалела, что, напропалую вырываясь на свободу, письмом не упредила Егора Севастьяныча о своем приезде. Затемно, обе с мокрыми ногами, дотащились до приземистого бревенчатого флигелька, в ближнем крыле которого обитал пашутинский фельдшер... Никто не отзывался на стук и голос: в Пашутине ложились с наступленьем темноты.

Мать шепнула дочке, что сейчас дедушка проснется и впустит их к себе, в тепло, но попрежнему стояло полное безмолвие, если не считать невнятного весеннего журчанья вокруг да ленивого, спросонья, тявканья шавки на другом конце поселка. В самых худших предположеньях Елена Ивановна глядела на одинокую синюю звезду, висевшую позади ледяной сосульки под крышей,— соскользающие капли несли в себе частицу ее кроткого сиянья.

После повторного стука, однако, зажженная спичка проплыла в окне, и минутой позже знакомая долговязая фигура, с папироской и накинутым поверх белья плащом, появилась на крыльце.

— Али дня вам нету, ночью таскаетесь! — заворчал лекарь и покашлял лаисто.— Чего у тебя за хворь такая, экстренная?

— Мы прямо с поезда к вам, Егор Севастьяныч...— Елене Ивановне казалось теперь, что она уже не имеет права назвать фамилию мужа.— Ведь и правда: спать вам не даем.

Только что вернувшись с вызова, фельдшер молча кутался в свой брезент, коробом стоявший на спине. Здесь очень уместно захныкала Поленька, точь-в-точь как демидов мальчик на вихровской лестнице год спустя, и сама Елена Ивановна всхлипнула невзначай.

— Чего ж убиваться-то ране сроку! — прикрикнул старик.— Неси дитё в дом, распаковывай... сейчас мы его обследуем. Погоди на крыльце минутку, дай мне облачиться сперва.

Старинный керосиновый пузырь с абажуром молочного стекла еле освещал полужилую холостяцкую каморку, оклеенную газетами и с лосиными рогами над книжной этажеркой. И, благословляя эти потемки, Елена Ивановна торопливо и начистоту выложила старику все о себе до последнего пятнышка: решалась ее судьба. Егор Севастьяныч шлепал из угла в угол в калошах на босу ногу, выкручивал из горелки набухший фитиль, поглядывал на девочку, пригревшуюся в его постели. Имея всего четыре класса военно-фельдшерской школы, он затруднялся ставить диагноз в делах сердечных, в данном случае — касательно поведенья молодой и миловидной женщины, вздумавшей сменить удобства столичной жизни на сомнительные радости захолустного жития. По ночному времени довольно фальшиво выглядела и ее потребность доказать кому-то, как у нее вырвалось в запале, право на воздух родины, словно кто-то мог отказать человеку в этом. Старик прикинул в уме возможные, модные в то время варьянты, но в Лошкаревском районе не имелось ни оборонных заводов, ни секретно-промышленных предприятий, кроме фабрички валяных изделий километрах в двадцати от места действия. Словом, за сорок лет медицинской практики это был самый редкостный и, кажется, неотложный случай... да и просила эта женщина такую малость, что невозможно стало отказать.

— Куда и определить тебя, бабочка, не знаю... забыла все, поди? Может, в Лошкареве должности тебе попросить? — маялся он перед профессорской женой.

— Мне теперь самое главное, чтоб именно *здесь* остаться, Егор Севастьяныч. Хоть бы с няни начать...

Тогда, покормив гостью закисшей холостяцкой снедью из расписной миски на столе, лекарь накинул на плечи мохнатую разъездную доху, известную всему району под кличкой *двенадцати собак,* по числу ушедших на нее шкур, и удалился ночевать к конюху в сторожку.

Несмотря на кажущуюся ясность намерений, Елена Ивановна ехала на Енгу́ с чувством, словно кидалась в омут: умереть и родиться вновь... Ее разбудили веселые звуки воскресного утра. Распластав лапы, фельдшеров щенок повизгивал в солнечном луче, а из сеней доносился плеск воды, сливаемой в ушат; кроме того, озорничали за двойной рамой воробьи, и Егор Севастьяныч отчитывал кого-то за дисциплинарную провинность. Все обошлось без придуманных заранее огорчений, даже дочка не простудилась в дороге; так началась вторая жизнь Елены Ивановны. Она успела засветло снять угол в избе у местной девы-вековухи, *Попадюхи* по прозванью, купила пшенца и тройку обиходных горшков на базаре и сделала все необходимое, чтоб к вечеру отправиться на дежурство. Первые дни было страшновато перед людьми — сдаться или осрамиться, но почему-то уже меньше зябла теперь в холодноватом деревянном строеньице, где проводила большую часть суток. То была ветхая, еще земской стройки участковая больничка, творение самого Егора Севастьяныча, на дюжину коек и без городских затей, зато всего там было понемножку: амбулатория с картинками всевозможных болезней на стенах, настоящая родовая палата, даже своя аптечка с дверью матового стекла и такого басовитого голоса, что недуги попроще начинали как бы бледнеть еще до принятия лекарства. Больные лежали под тонкими куцыми одеяльцами, очень за все благодарные и даже с детским удовольствием, как умеют болеть лишь крестьяне; уход и ласка были для них важнее наивных, универсального действия микстур... Пожалуй, наиболее затяжная и опасная болезнь там была у самой Елены Ивановны.

Она тратила себя, пока держалась на ногах, и не вела счета дням; и так силен был эгоизм ее отчаянья, что ради

дела забывала порой о дочке, покинутой на руках Попадюхи. Моложе всех из трех тамошних санитарок, она молча бралась за любое дело, и вскоре стало не то чтобы теплей в этом заведеньи, а вроде подомашней, как всегда при появлении новой и старательной хозяйки. Настороженность больничного персонала сменилась любопытством, надолго ли хватит ее усердия. Тем временем молва довольно быстро разнесла по округе весть о возвращении сапегинской *шпитонки,* как в просторечии звали там воспитанниц; немногие знали ее там под фамилией мужа. Ежеминутно Елена Ивановна чувствовала на себе тысячеглазую народную приглядку; в особенности, пока не попривыкла, пугали ее пашутинские ребята, которые, привстав на завалинку, заглядывали к ней в окошко, и, сказать правду, лишь вскрытие реки да невылазные грязи, отрезавшие отступление, помогли ей преодолеть колебания начальной, наиболее трудной недели. Захиревший к тому времени о. Тринитатов также не преминул заглянуть к Егору Севастьянычу на предмет научного совещания по поводу своего хронически-воспаленного седалищного нерва, причем долго и сокрушенно качал головой на столь привлекательную супругу столичного деятеля, со рвением скоблившую заслеженные полы в сенцах... Никто не слышал от нее отказа или жалобы, как и шутки, впрочем. Нередко Елене Ивановне доводилось сопровождать лекаря при выездах на дальние роды или несчастные случаи, и всюду ее встречали неопределенным, как если бы ее не было вовсе, молчаньем, хотя и успело установиться негласное мнение, что у нее легкая рука. К исходу полугодия от былого страха перед этими людьми осталась только затаенная, зато чреватая последствиями боязнь столкнуться лицом к лицу со знаменитой Семенихой — и не потому, что старуха вновь могла обидеть ее незаслуженным попреком, а оттого, что именно от ее суда, в конечном итоге, зависело душевное равновесие, которого такими усилиями добивалась. Встреча неминуемо должна была состояться,— старуха жила в соседнем Полушубове с неженатым сыном, и, к слову сказать, исключая Егора Севастьяныча, то был первый человек на Енгé, проявивший к Елене Ивановне заботливое участие.

Он был последний сын у Семенихи, из пятерых уцелевший к тому времени, Марк. Младший из Ветровых, он

соответственно был и ростом помельче, не чета своим старшим, легендарным на Енгé и грозным братьям, зато веселей и подвижнее их, с озорным блеском синих глаз, самый завидный из енежских женихов. Кроме основных обязанностей полушубовского избача, он добровольно одну за другой взваливал на себя всякие общественные обязанности: писал заметки в районную газетку, проводил хозяйственные мероприятия, разъяснял политику рабоче-крестьянской власти, покоряя аудиторию доходчивой логикой соображений,— словом, помогал утвердиться здесь советской новизне. В его читальню, куда он, не владея достаточным образованием, привлек интеллигенцию ближайших селений, тянулся народ послушать ответы на волнующие мировые вопросы касательно наличности бога, о загнивании капитализма, в особенности же — хотя бы взглянуть на чудо тогдашней техники, до срока прикрытое вышитым ручником. Однако, прежде чем показать своей аудитории бедный фанерный ящичек со впаянным в чашечку говорящим кристалликом, Марк всякий раз произносил вступительное слово о научных открытиях и расцвете человеческого разума при коммунизме, наступление которого планировал приблизительно года через полтора, причем делал это с таким задором и благоговением, что, имей он образование, быть бы ему выдающимся просветителем своего времени. «Уж ладно, не тяни ты нам душу за это самое... заводи свою штукатунку»,— волновались граждане, и в том заключалáсь сила ветровского *радивона,* как его окрестили мужики, что ежедневно будущее говорило с ними голосом Москвы.

В начале следующей зимы Марк зашел к Елене Ивановне якобы мимоходом, а по всему видно было, неспроста. Наступали тревожные времена коллективизации, и, кажется, несмотря на положительные со всех сторон отзывы о новенькой милосердной сестрице, желал он в чем-то удостовериться и лично. Был вечер, жужжала попадюхина прялка, при керосиновом *моргасике* на столе Елена Ивановна кормила Поленьку после суточного дежурства. Посетитель снял кожан и шапку, обдернул на себе тесноватую, в обтяжку, военную гимнастерку и, наконец, назвал себя.

— Вот, ознакомиться пришел... по примеру городничего в известном сочинении *Ревизор,*— объяснил он, ста-

раясь придать полушутливый оттенок предстоящей беседе.— В чем нужды не имеете ли, не обижает ли кто?

— Ничего, живем, как все, спасибо, присядьте, отдохните, раз пришли,— без выражения проговорила Елена Ивановна, и, между прочим, очень тогда Марку понравилось, что, занятая своим делом, она за весь вечер не взглянула на него ни разу.

Зорко присматриваясь к обстановке, он принялся расспрашивать Елену Ивановну о ее работе на Енгé, о Москве, куда по обкомовской разверстке собирался на курсы через месяц,— об ее общественных взглядах и запросах, наконец, но не потому, что мог удовлетворить любую из ее потребностей, а затем, что через ответы надеялся проникнуть в серьезность намерений и политико-моральное состояние приезжей дамочки. Оказалось, однако, что все, положенное для человеческого существования и достоинства, у Елены Ивановны имелось в наличности. Между прочим, он обратил внимание и на щелявые полы, откуда несло вонючим холодком и где из края в край перебегали мелкие колючие блестки.

— Чего это у вас в подпольи ровно бисерок катается?

— А то крысы, батюшка... не нужно ли парочку на развод? — острая на язык отвечала за свою постоялицу Попадюха.— Вот тоже приглядывают за нами, деньги фальшивые не куем ли по ночам.

— Тогда это очень плохо и неправильно,— сверкнув глазами в вековуху и чуть помедлив, сказал Марк Ветров.— Да и девочка застудиться может. Тут необходимо реечки по щелям загнать... да сам же я и заделаю их на днях. Ведь это я чисто временно с портфелью-то хожу, а обыкновенно плотник я. Оттого и Марк, по евангелисту... и, заметьте, все у нас в роду тоже плотники.

— Как же, знаю я вас,— благодарно усмехнулась Елена Ивановна.— За полгода-то немало наслышалась про *четыре ветра*. Вы, значит, пятый будете?

— Так это про братьев моих сказано, куды мне! Те, действительно, вековые деревá о колено ломали. Старший-то, Ефим, даже с Лениным на паровозе ездил, в охране. Во куды Ветровы-то маханули! А я так себе, последний в обойме, *ветерочек*, можно сказать...

Он осведомился также, почему Елена Ивановна никогда не зайдет в читальню повысить свой социально-куль-

турный, как он выразился, уровень посредством научной книжки либо послушать одним ухом красивую радиомузыку из Москвы с пением разных выдающихся артистов. Попадюха выразила резонное сомнение, чтобы обыкновенный голос с такого расстояния, да еще без проволоки, мог докричаться до Енги́, и тогда Марк, все время локотком нечаянно касаясь Елены Ивановны, стал объяснять на бумажке, как воздушные волны запутываются в сетях катушек и все прочее, причем жарко распространился на любимую тему: сколько полезных, завлекательных и неоткрытых вещиц валяется под ногами у закованного в цепи человечества.

— Так что непременно приходите. Да вы, может, людей стесняетесь? что глядеть на вас станут? — допрашивал Марк.— А чего ж вам их бояться, ваше дело чистое...

— У вас там и без меня, я так думаю, народу-то пушкой не прошибешь...— колебалась Елена Ивановна.— Пока очередь дойдет, ничего и не достанется.

— А вы вечерком, после закрытия приходите. Можно и с дочкой, чтоб не разлучаться. Ежели насчет волков опасение, так сам же и назад вас провожу.

Гораздо сильнее, чем миловидность, его привлекала в этой женщине ее строгая самостоятельность и упорство, с каким она добивалась своего признания в жизни. Вдруг он смутился неожиданного поворота мысли да вдобавок поймал на себе насмешливый взгляд Попадюхи и вскоре ушел, едва попрощавшись и оставив по себе ощущение простора и голубого, как бы миражного полдня. Елена Ивановна поискала в памяти, на кого так мучительно походил он. «Ах да, тот ястреб, ястребок...» — сказала она себе, найдя ему подобие в своих воспоминаниях о поездке с мужем на Кавказ. Точно такое же тугое, уверенное в своем бессмертии существо сидело тогда на камне, чистя откинутое крыло, и краем глаза следя за женщиной, стоявшей в окне вагона.

3

Утром, в отсутствие хозяек, Марк зашил все до одной щели в полу, а денька два спустя снова наведался к Елене Ивановне, уже в больницу, якобы мимоходом на Шиханов Ям, на почту: не получает ли писем от кого. Через

неделю-другую она привыкла к его посещеньям; в конце концов Марк был всего на четыре года моложе ее,— только на четыре года и даже без двух месяцев!.. но, как ни нравилась ей его искренняя, нерастраченная сила, она сама положила предел дальнейшим встречам. Пожалуй, даже не страх перед могущественной Семенихой остановил ее на полпути, а просто наказала себя за мелькнувшее в уме искушенье — сразу, минуя все ступеньки, достигнуть счастья и поставленной цели: в конце концов для этого стоило лишь две буковки в ее фамилии переменить... Кстати, в середине декабря Марка вызвали на месячные курсы активистов в Лошкарев, и все порвалось само собою. Однако в самую полночь под Новый год он разбудил ее стуком в окошко, как раз над кроватью, и с крыльца, через запертую на щеколду дверь, позвал на праздничный радиоконцерт, о котором заранее оповестили из Москвы. Он прибавил еле слышно, что лишь ради этого на денечек вырвался домой, что в такие морозные ночи в особенности отчетливо слышны дальние радиостанции и, таким образом, из-за отсутствия посторонних в избе-читальне никто не помешает им наслушаться досыта. Елена Ивановна и сама немножко соскучилась по музыке, но вначале голос разума был сильней ее разбуженного чувства.

— Вы откройте дверь-то, а то трудно говорить,— настаивал тот с крыльца.

— Нет, это совсем лишнее... Да ведь уже и поздно, Марк Николаич,— отвечала она, от самой себя придерживая рукой щеколду и зная наперед, что ее немедленно убедят в обратном.— Да и далеко по стуже-то...

— А мы овражком, напрямки... долго ли тут! — глухо отвечал Марк.— Да отвори же: не вор... свое, не краденое принес!..

Поколебавшись, она сбегала за теплой стеганкой и, наспех обмотав конец платка вокруг шеи, вышла к молодому человеку на крыльцо. И такая светлая мгла стояла над окрестными лесами, а Поленька спала так крепко, и так умоляюще-послушно сияли перед ней куда-то в глубину запавшие глаза Марка, что она соблазнилась сбегать на часок в Полушубово.

— Застегнись, мороз, простудишься! — сказал Марк, пряча руки за спину.— А то давай я застегну... где у тебя здесь пуговицы-то?

— Ничего, я сама...

Ликуя, все еще во сне, Елена Ивановна тихонько, чтоб не всполошить хозяйки, а еще верней — самой себя не разбудить, сбежала на звонкий, крупичатым серебром подернутый снег. Такой же неумелый в обращении с женщинами, как и тот, ее первый, Марк всю дорогу зачем-то рассказывал ей про Чапаева, летавшего по степи, как орел, и подобно Ермаку погибшего в речной стремнине. Елена Ивановна и сама читала эту книжку, откуда он брал подробности, но в передаче Марка знакомые эпизоды выглядели пламеннее и свежей, окрашенные дополнительным волнением, происхождение которого угадывала женским чутьем. И он был такой непохожий на себя, недавнего, грозного, когда на митинге у сельсовета громил «спаявшихся, как ужи по осени», кулаков за уклонение от хлебосдачи... Итти пришлось гуськом по узкой тропке, еле натоптанной среди сугробов, таинственных и почему-то розоватых теперь, как и должно быть в таком сновиденьи. Елена Ивановна торопилась, все убегала, а Марк догонял, а пьяный воздух новогодней ночи дурил голову: в последнюю минуту с тоской и единственно за прощением она оглянулась на дочку, оставленную позади, и вдруг закричала так пронзительно, что дважды, отраженный от леса, повторился ее крик. В полном безветрии, почти без дыма, зарево подымалось над Пашутиным, и не угадать было за бахромчатой кромкой леса, что там полыхает.

Когда, задыхаясь от бега, они вернулись в поселок, больничка пылала не хуже хвойного костра. Заглушая шум суматохи, жаркие праздничные языки огня хлестали из окон, куда сами больные, в перекидку с колодца, дружно выплескивали игрушечные бадейки воды. Собственно спасать было уже нечего, но ради порядка кто-то крушил дверь топором, а другие растаскивали баграми ветхую крышу, довершая работу огня. Багровая весна наступила в радиусе шагов полутораста; таял снег на деревьях кругом, и пламенно зацветали ближние ветки. Там же Егор Севастьяныч стоял, чуть в сторонке, со стерилизатором в руках; похожий, только крохотный, пожаришко суетился в тусклом никеле коробки, во-время выхваченной у пламени. Старик был без шапки, в пиджаке, и больничная прачка который раз старалась накинуть на плечи

ему *двенадцать собак,* а он гнал, отстранял ее, непреклонный, как в почетном карауле у дорогого покойника.

— Кто же это руку-то поднял на *тебя* Егор Севастьяныч, а-а? — голосом, полным вдохновенья и сдержанной злобы, спросил Марк.

— Они же, злодеи, крови людской потребители... вот кто! — срыву простонал лекарь, и увести его удалось не прежде, чем рухнуло перекрытие над аптечкой.

...Несчастие обошлось без жертв и, пожалуй, без последствий; временно, до постройки новой и лучшей, больницу перевели в уцелевший на дворе инфекционный барак. Только Егор Севастьяныч стал частенько прихварывать по спиртной части после гибели родного детища, куда вложил столько мечтаний, труда и собственных сбережений. Насколько можно было судить по головешкам, следствие не установило поджога, но пожар совпал с начавшимся тогда переустройством сельского хозяйства на социалистический лад, и молва упорно приписывала дело злому умыслу. Впрочем, тогда же оказалось при розысках, что умнейший в волости из бывших богатеев, Золотухин Демид, бесследно скрылся из Шиханова Яма еще за полтора месяца перед тем, вскоре после появления в *Правде* знаменитой сталинской статьи о дальнейшем курсе страны, исчезнул невесть куда с сынишкой и, ко всеобщему удивлению, даже не запустив красного петушка в покидаемую со всем добром усадьбу, для чего у него имелись все возможности. Трое других, побогаче его, довольно искусно доказали свою непричастность к народному несчастью.

— Ничего, доищемся... а потребуется, так и за́ морем найдем! — зловеще бросил Марк на очередном активе бедноты, и слова его тотчас облетели весь район.

Шел год *великого перелома,* и связанные с ним события задержали отъезд Марка в Лошкарев. Встречи их с Еленой Ивановной оборвались сами собою: встал между ними тот необъяснимый огонь. Читальня в Полушубове закрылась за отсутствием хозяина, с головой зарывшегося в работу поважней. Было поразительно, как его хватало на все: сегодня громил кулаков за сокрытие необмолоченного хлеба или распродажу лошадей, из-за чего срывался вывоз лесозаготовок, а наутро, в двадцати оттуда километрах, призывал население общественной запашкой под

лен ответить на козни папы римского, затевавшего тогда вместе с кардиналом Помпилием крестовый поход против Советской республики; всю весну колесил по волости с *фин-эстафетой* по мобилизации средств, как называлось в те годы изъятие незаконных излишков, попутно проверяя семенные фонды к посевной, составляя буксирные бригады из молодых ветеранов революции вроде себя, то-есть возглавлял наступление социализма на Енге́. Коллективизация в районе началась с зимы 1930-го, и вслед за тем прозвучали первые выстрелы кулацкого сопротивления.

В областной газете все чаще упоминалось имя знатного на Енге́ избача как неукротимого проводника сталинских идей; за полгода его неоднократно вызывали на конференции в Лошкарев, и в последний летний приезд Марка редакция премировала полушубовскую читальню ламповым приемником, предметом его давних вожделений. Марк возвращался ранним вечером после дождя; все тонуло в падымке тумана, и только что пригнали скотину. Ему бы лучше пойти селом, по народу, а он, голодный с дороги и торопясь испробовать свою машинку, спрямил путь через гумна. Здесь-то, близ самого дома, и стреляли по нему из засады двое с завязанными лицами, ускакавшие верхами на Дубовики. Обеспокоенная пальбой, Семениха бросилась навстречу сыну, но у того нашлось воли с ходу вбежать в избу и сложить на лавку драгоценную ношу.

— Не пугайтесь, мамаша, я живой!..— успел сказать он, как бы прислушиваясь к чему-то, и свалился, как подкошенный.

Когда час спустя в Полушубово примчались зампредисполкома Поташников с прокурором, выезжавшие в Кондыреву дачу на следствие по поводу *непринятия* мер против кулацкого саботажа, пашутинского лекаря на месте не оказалось. Его разыскали и привели позже, в состоянии очередной *хвори:* милиционер, усердно приглашавший толпу разойтись от окон, помог лекарю взобраться на покосившееся ветровское крыльцо. Все местные власти, четверо, стояли у стола с семилинейной на нем лампчонкой,недвижные и торжественные, как это бывает при объявлении войны. Их не умещавшиеся на стене тени, сломившись посредине, переходили на закопченный потолок. Марк в полузабытьи лежал в ногах у них, на полу, темная лужица

натекла у него под боком; с колен, припав к изголовью сына, мать разбирала волосы на его лбу, слипшиеся в смертном поту. И, кажется, во всей затихшей волости не было иных звуков, кроме частого, поверхностного дыханья Марка, похожего на задышку паровоза, когда после долгого бега он на минутку останавливается у полустанка...

— Не наступи,— вместо приветствия сказал Поташников, поведя глазами в сторону вошедшего.— Долгонько ждать заставляешь, ваше превосходительство!

Опустясь на колени, Егор Севастьяныч приоторвал с избача тяжелое намокшее полотенце, кинутое поверх рубахи,— председатель сельсовета светил ему с корточек, стремясь по лицу угадать оценку положения и намеренья старика. Пуля прошла, минуя кишечник, наискосок и навылет, рваное выходное отверстие было пострашнее крохотной дырочки в животе; вторая сквозная рана, в мякоти бедра, оказалась пустяковой. Пульс временами пропадал, и Егор Севастьяныч с печальным значением покачал головой. По его словам, везти раненого в районную представлялось опасным предприятием, но он прибавил также, что требуется срочное хирургическое вмешательство. Начальники переглянулись, они успели обратить внимание на походку лекаря, на его не только от старости дрожавшие руки. Правда, дороги пообсохли, но даже если бы немедленно вызвать врача по телефону, до Полушубова он добрался бы не раньше рассвета. Совещание протекало молча, взгляды были красноречивей слов, иного выхода не приходило на ум.

— Так...— в раздирающей тишине процедил прокурор.— Ну, значит, приступай, лечи его.

— Не могу,— сказал Егор Севастьяныч.— Тут нужна полостная операция, а я, как фельдшер, не могу... права не имею по закону.

— Так ведь закон-то — кто? это мы закон,— горько посмеялся Поташников.— Что постановим, то и закон... интересно, какой еще тебе нужен, чудило? — И с недоверчивым презреньем посмотрел на длинные, вдоль тела, руки лекаря.— Уж будто никогда прежде и не стреляли на Енгé?

— Раньше тут у нас все больше топоры да колья бывали в ходу,— опустив голову, сказал Егор Севастьяныч.—

Правда, был случай, годов близ сорока назад... беглого у Калины в сторожке подстрелили в то же место. Он быстро погибнул.

— Так,— отрубил Поташников, всем своим видом говоря: эх, лекарь, лекарь, глупая башка: сам пью, да дело свое знаю! после чего глазами передал Егора Севастьяныча прокурору. «Недоглядели, думали, дескать, светило всемирнейшей науки в Пашутине у нас сидит, а он, эва, сработался, разложился, ни на вершок не вырос за сорок-то лет. Э, менять к чортовой матери, менять надо все кругом!» — нетерпеливо думал он; с этого безоговорочного диагноза и началось паденье пашутинского лекаря.

— Скажите нам, гражданин, вы член партии? — поправляя очки на носу, вежливо осведомился прокурор.

— Нет, но я русский... И не надо принюхиваться: я же ведь и не отрицаю ничего!

— Но вы учитываете, по крайней мере, гражданин, какие дела решаются сейчас в мире и кто, *кто,* повторяю, в ногах у вас без сознания лежит?

— Еще бы, Ветров Маркушка лежит. Сам же я и на руки его принимал... хоть у Семенихи самой спросите.

Начальники были помоложе его, очень честные и горячие. Им тоже не однажды грозили расправой подметные письма, но, значит, Марк был лучшим из них, если на него первого пал вражеский выбор. И, понимая, куда клонится речь, Егор Севастьяныч принялся объяснять, что дело не в убеждениях, а в полученном образовании, что и в его отрасли бывают генералы и подпрапорщики, что в качестве кандидата на классную должность он располагает лишь правом дать камфору до приезда врача, наложить сухую повязку и не смеет брать на себя ответственность за большее.

— Длинно, длинно говоришь! — шопотом и сквозь зубы закричал Поташников.— Какой же ты русский, коли за жизнь свою перед нами трусишь? Да делай же, чорт, делай, что можешь... э, бессовестный какой!

Тотчас председатель сельсовета отправился вызванивать настоящего доктора, Власова, из районной больницы, остальные же помогли лекарю в его скромном деле и затем общими усилиями переложили на лавку застонавшего избача. Они выждали, пока принесли льду с кулацкого

погребка и добрые телефонные известия; Власов выезжал через три минуты. Поташников с прокурором заспешили назад, в Лошкарев... Стояла удушающая, с частыми зарницами облачная ночь. Народ еще не разошелся, когда все высыпали на крыльцо.

— Так вот, любезные товарищи,— обратился Поташников к подавленно молчавшим мужикам,— вот какою ценой ваше счастье добывается! Дорого, дьяволы, запрашивают... да и у нас хватит расплатиться чистоганом. Ой, берегите своих заступников, детки, ближе их нет у вас на земле... Так-то! — Он не досказал чего-то, только подвернувшимся под руку хлыстиком рассек сырой, тяжелый воздух и пошел к тарантасу, зиявшему поднятым верхом у плетня.

Тогда же Егор Севастьяныч спросил у Поташникова, следует ли ему немедленно отстраняться от исполненья его должности, но тот отвечал, что до приискания подходящего кандидата срочности в том нет, а нужно немедленно, под его личную ответственность, установить возле раненого санитарный пост неотлучного наблюдения... да чтоб для этой цели выбрал бабочку порасторопнее, *свою в доску:* поддерживать в бесценном человеке огонек угасающей жизни.

— И быстро чтоб: нога здесь, другая там, после чего можешь воротиться к своему прерванному занятию... причем закусывай! — брезгливо вполоборота бросил старику зампредисполкома Поташников и шевельнул вожжой.

В пашутинской больничке лишь одна сиделка отвечала высказанным требованиям высокого начальства.

4

Придя на дежурство в ветровскую избу, Елена Ивановна еще из сенец, через раскрытую дверь увидела со спины Семениху. Старуха сидела возле сына на табуретке теперь, покачиваясь взад-вперед, ровно по старой памяти баюкала его последний сон. Она не ответила, даже не обернулась на приветствие вошедшей, да у Елены Ивановны и не было особой уверенности,что она произнесла его: вдруг начисто пропал голос со страху. В спертой духоте под потолком носилась обезумевшая муха, ударялась о

печь с разлета и снова наполняла тишину раздражающим гуденьем. Елена Ивановна разложила на столе чемоданчик с деревенской медициной и, подсобравшись с силами, ровным голосом спросила, как себя чувствует больной.

— Ничего, чай, отойдет к утру в божьи руки,— еле слышно прошелестела старуха и костяной негнущейся рукой расправила, как на покойнике, складку чистой рубахи, накинутой поверх пузыря со льдом.— Братаны, видать, мертвые-то, по нем соскучились. Они при жизни шибко его жалели: то пряничка, бывало, то на курточку пришлют!

— Ну, рано еще духом падать, Анна Семеновна. На войне вон и не такое случается при сражениях, а выздоравливают. Доктор прибудет, сделает, что положено... а там, глядишь, и на поправку дело пойдет. Теперь пустите-ка меня...

Она всю себя вложила в эти тихие слова профессионального утешения, чему училась весь истекший год, и хотя впервые в своей практике применяла их, видимо достигла цели. Старуха подняла на нее обнадеженный, не узнающий взор и подвинулась в сторону, уступая место.

Ободренная этим добрым признаком, Елена Ивановна подсунула под голову раненого плоскую, без наволоки, крестьянскую подушку и хотела распахнуть окно, но трухлявая рама не поддалась; только один из клинышков с тонким стеклянным плачем выпал наружу. Еле справляясь с сердцебиеньем, Елена Ивановна присела в ногах и впервые взглянула в лицо Марка. Перед ней метался в беспамятстве совсем не тот человек, что стучался в душу к ней новогодней ночью, очень другой какой-то, непонятный ей, но такой осунувшийся и беспомощный, что жалость к нему пересилила даже безотчетный, до тошноты, всю дорогу мучивший ее страх перед Семенихой. В полузабытьи Марк поминутно сбрасывал руку вниз в поисках чего-то, способного доставить ему облегченье, иногда же неразборчиво просил воды, и мать опрометью кидалась за ковшом, а Елена Ивановна не дозволяла, потому что пить ему теперь было не положено, и так у них прошла вся первая ночь.

— Может, тогда уж хоть порошки бы ему какие,— время от времени, мечась в тоске, заговаривала мать,—

Ефим-то в лазарете когда помирал, так его из семи цветных пузырьков поили. Да он и без них выдюжил бы у меня, кабы засоренья в нем от разрывной-то пули не получилося...

— Нет, Анна Семеновна, лекарство ему тоже никакое не положено сейчас.

То была самая длинная и душная из всех июльских ночей; лишь перед самым светом бешено простучали и замерли под окнами долгожданные колеса. Власов ворвался с протрезвевшим Егором Севастьянычем, караулившим его у околицы. Старуху Ветрову выпроводили погулять до Пашутина и обратно. Еще в полном сумраке полилась вода и зазвенели инструменты, но уже сероватым утренним отблеском осветились землистые, обращенные к окну щеки Марка, когда операция подходила к концу. Закуривая, с наслаждением пуская сизый дымок, Власов отметил необычайную задушевность русского пастушьего рожка, доносившегося с улицы, и похвалил точные, деловитые руки Елены Ивановны: судя по некоторым последствиям, он повторил кое-где свой отзыв о ней. Давая заключительные наставления на прощанье, он мельком взглянул в погасшие глаза Егора Севастьяныча, теперь уже по другим причинам еле стоявшего на ногах, и сам предложил довезти до дому коллегу. Старуху тоже уговорили прилечь на часок, и потом Елена Ивановна осталась наедине с человеком, который, подобно лучику, блеснул ей в жизни и, не успев согреть, побежал дальше.

...Так после годичной школы в людях начался первый экзамен этой женщины, восьмидневная борьба за чужую жизнь, от спасенья которой в итоге зависело нечто большее, чем только успех ее собственной. В награду она узнала некоторые новости, оборвавшие ее скромную надежду на счастье и научившие тому разумному бесстрастию, каким у людей ее профессии окрашиваются настоящие знание и мужество. Три первые ночи были особенно трудны, две из них Елена Ивановна не сомкнула глаз. Почему-то, едва ее место заступала старшая сестра и, казалось бы, более опытная няня из Пашутина, у раненого усиливались задыханья и рвота, перемежавшиеся с неукротимой жаждой. Палящий зной исходил с его губ, пересохших и подернутых стеклянным блеском, пульс

исчезал, тяжесть льда становилась до стона нестерпимой. Боль возвращала Марку частичное сознанье, он отзывался на свое имя, даже приоткрывал глаза, но видел нечто недоступное Елене Ивановне и однажды позвал кого-то голосом той, новогодней ночи, но не ее.

Временами похоже было, что начинается перитонит, о котором во второй приезд со вздохом врачебного бессилия предупреждал Власов. Требовалось какое-то не указанное в справочниках, чрезвычайное средство, чтоб отбить у смерти этого нужного стране парня, и Елена Ивановна отдавала всю себя так, словно владела бессчетным запасом этого, самого действенного из лекарств. Только две мысли и теплились в ней тогда: что Марк и заслуживает лучшей, чем она, помоложе и посвободней, и вторая: лишь бы Поля не заболела дизентерией, бродившей тогда по району; Попадюха вместе с едой приносила ей вести о дочке... Немалых усилий стоило не свалиться от сна на месте. Елена Ивановна просыпалась с чувством вины, с ощущением пристального, изучающего взгляда на себе: всякий раз Семениха оказывалась поблизости. Толстой иглой старуха чинила свое тряпье или, пристроившись на печном загнетке, ела из бумажки все те же два, казалось, ломтя зеленоватой, проржавевшей селедки, или же, сидя, вполглаза дремала в углу...

У Елены Ивановны также было достаточно времени украдкой разглядеть Семениху. Наверно, она была хороша в молодые годы, строгая елочка-недотрога с воздетыми косичками ветвей,— нужда и грубые крестьянские печали превратили их в колкие, стелющиеся по земле космы. Утрата сыновей лишь прибавила ей прямизны и скорбной важности; высокая, без сединки, она сурово глядела из-под белого, всегда опрятного и тугого, словно накрахмаленного платка. За все восемь дней она ни словом не приласкала Елену Ивановну, не предложила сменить ее или разделить трапезу, словно понимала, как важно для человека в ее положении, чтоб ему не мешали показать себя.

Жар стал спадать у Марка на шестые сутки, а к исходу восьмых, в приезд начальства, больной сам попросился на лавку к окну, чтоб видеть движение жизни на деревне. Просьба его была уважена под личную ответственность предрайисполкома, считавшего исполнение желаний на

данной стадии болезни наилучшим из лекарств. Сквозь мутное стекло видны были лишь верхушки уличных ветел, а все же Марк жадно и всякий раз жмурясь, как от сладкой боли, глядел на стрижей, со свистом низавших гаснущее небо. Вскоре мать вышла проводить Поташникова с его свитой и встретить подъехавших докторов.

— Кажись, оживаю...— заговорил Марк, оставшись наедине с Еленой Ивановной.— Думалось раньше, страшней *этого* не бывает, а вот теперь, пожалуй, уже никакой напасти мне на свете не боязно...

— Когда все плохое позади, впереди остается только самое хорошее,— отвечала та рассудительно бесстрастно, нагибаясь к нему за термометром.— Теперь в теплые края поедете, на горячие пески куда-нибудь. В нашей стране очень хорошие пески, не хуже египетских, имеются!

Он не очень уверенно попытался поймать ее руку, она без усилья избежала его виноватой благодарности, такой обычной при выздоровлениях.

— А видать, долгонько я тут провалялся... досталось вам со мной, Елена Ивановна? Даже с лица вроде бы остарели немножко...

Нельзя было обижаться на эту неумелую жалость.

— Такая наша обязанность, о больных заботиться. Зато ведь и не стреляют в нас...— отшутилась она, кое-как при последнем свете дня отыскивая столбик ртути, после чего пошла к столу записать вечернюю температуру.

Пока доктора беседовали с Поташниковым на крыльце, Марк еще раз попытался продлить этот разговор ни о чем, и было ясно, что ждет прощения за что-то, но Елена Ивановна молчала, потому что прощение означало бы признание своей минутной и, по счастью, не наказанной слабости. Медицинский осмотр подтвердил переломную фазу в состоянии раненого. К ночи похолодало, нудный дождик заладил до утра, и впервые Марк заснул так легко, без задышки и бреда. Елена Ивановна тоже вышла за дверь и в потемках повалилась на охапку соломы в сенях, где было прохладней, не мучили мухи.

Ломило ноги от усталости, сон не давался. То ли скотиной, то ли сыростью несло с заднего двора. Елена Ивановна лежала на спине, с открытыми глазами; то была ее последняя ночь в ветровской избе. Было слышно за стенкой, как скрипели половицы под бессонной Семенихой,

места себе не находившей с тех пор, как обозначилась явственная надежда на выздоровление сына. Затем дверь приоткрылась, и сквозь притворно-сомкнутые веки, в желтом керосиновом луче, Елена Ивановна увидела выглянувшую старуху.

— ...спишь, касатка? Ой, не остудиться бы тебе!..— спросила она вполголоса, чтоб не сбудить, но Елена Ивановна не ответила: ей стало все равно.

Через минуту Семениха вернулась с тулупчиком и, неслышно прикрыв спящую, сбиралась уйти, но воротилась с полпути и, опустившись на колени, подоткнула овчину вкруг ее выпрямленных, бесчувственных ног. Больше ничего не случилось, но для Елены Ивановны это означало благую весть, что ее впустили, наконец, в большое доброе тепло, приняли в свой дом, может быть еще более недоступный чужаку, чем иные дворцовые хоромы. Признание ее нужности пришло в ту минуту, когда она меньше всего рассчитывала, что приметят ее усилия. Это было право на родину, более удачливым предоставляемое вместе с материнским молоком. Елена Ивановна долго слушала шелест дождя. Облачками тянулись виденья чего-то, оставшегося далеко позади, но — не детство, даже не пламень разгромленной усадьбы, навсегда ознобивший ее ужасами народной расправы, а какие-то второстепенные, едва узнаваемые подробности, начертанные на полях событий.

...Марк еще спал, когда, умывшись на задворках, Елена Ивановна вошла в избу. Деревянная миска кислого молока, размешанного с творогом, ждала ее на столе, с нарезанными возле ржаными ломтями.

— Иди-ка, похлебай, касатка, посиди со мной, а то и говорить-то я развыкла,— без принужденья в голосе, точно ничего между ними и не было, говорила Семениха, пока Елена Ивановна усаживалась за столом.— А уж так дорого в старости человеческое-то словечко! Да и ты стосковалась, поди, без дочки-то...

Елена Ивановна и сама удивлялась, как ей легко вдруг стало с этой женщиной.

— Ничего, теперь скоро и домой: еще вдоволь с нею намилуемся! — и, обмакнув корочку в белую кашицу, несла ко рту, по-крестьянски придерживая снизу ладонью, чтоб не обронить ни капли добра.

Раскрывшись на прощанье, старуха принялась перебирать в памяти свои девичьи годы и, между прочим, обмолвилась про покойного мужа, известного необыкновенной силой, такого приветного да искусного енежского кузнеца, что с кем ни сталкивался, все расставались с ним премного благодарные.

— А и повздорит с иным... мало ль кого с ветру в кузню-то занесет!.. то ничем мой Николаша его не обидит, дурного слова не вымолвит, а токмо на глазах у него разогнет подковку в ручищах, какую не жаль, кротко так посмеется и воротится к своему труду. Маркушка-то уж в меня пошел... Ой, и песельницей же я была!.. Да ты ешь, голубка, добирай с донца-то.

— И так уж досыта, от души вам признательна за хлеб и ласку,— поднявшись из-за стола, чинно кланялась Елена Ивановна, как это делали раньше пастухи, косари, пришлые из дальних краев плотники, с тем уверенным достоинством, что происходит от сознания своего уменья и полезности исполненного дела.

— Неча мне таиться, родимая: ведь в мыслях-то я и схоронила было Маркушку-то и плитой на сердце привалила. И так-то я горевала, милая, что не обженился перед тем... хоть внучек бы в избице пошумел. А есть у него одна в Лошкареве зазнобка на примете... свояченицей вишь она главному бухгалтеру доводится, который всеми деньжищами заведует.

— Это очень хорошо... молодым жить да жить,— улыбалась Елена Ивановна, задергивая занавеску на окне, чтоб солнце не разбудило спавшего Марка.— И, как же, давно промеж них знакомство завелось?

— Видать, в последнюю побывку ознакомились. И чем это она его приманула, хитрая, а только не могу, говорит, мамаша, вполне хладнокровно глядеть на нее,— хвасталась Семениха, насухо вытирая стол.— Приходи уж тогда, попируй с нами, ласковая...

Елена Ивановна обещалась непременно забежать на часок, если выкроит времечко: с началом нового строительства количество работы по больнице у ней удвоилось. Известие о Марке она приняла как расплату за жестокость, допущенную в отношении мужа и осознанную ею лишь теперь. Тут, очень кстати, и вызвал медицинскую сестру Вихрову к телефону первый, из губернии;

секретарь. Он осведомился о здоровьи знатного избача и заодно посоветовался с Еленой Ивановной насчет посылки товарища Ветрова на поправку, однако не на горячие пески, как та предполагала вначале, а к морю, в одну мраморную и посреди кипарисов здравницу, где раньше отдыхали исключительно цари и их близкие родственники. Ровным медицинским голосом Елена Ивановна отвечала на это, что после кишечнополостных операций морской воздух тоже очень хорошо.

Дня три спустя доктор Власов снова прикатил в Полушубово для перевозки избача на станцию железной дороги, а оттуда в губернскую,— под присмотр главнейших докторов. Когда Елена Ивановна, наклоняясь, подбивала сено под голову Марка, он скользнул по ней смущенным взором, но не прочел в ее глазах ничего, кроме служебной заботы, как бы его не растрясло в дороге. И хотя предвидела, что не встретятся больше, она вернулась в избу собрать свой чемоданчик еще прежде, чем скрылся за околицей рессорный сапегинский тарантас.

В общем испытание прошло на славу, хотя, по отзыву Попадюхи, ее постоялица малость подзавяла и потемнела с лица. Зато Елена Ивановна уже не старела более: именно в тот год окончательно сложился облик этой женщины — безоблачно невозмутимой, не очень склонной к шутке, но всегда суховато-бодрой, внимательной сверх должностных обязанностей и, на удивленье всем, ни разу не болевшей на протяжении десятилетий... Первое время, под предлогом похвалиться успехами Марка в большой жизни, старуха Семениха носила Поленьке то молочка, то творожку в тряпице; в ту пору своей коровы у Ветровых еще не было... На открытии новой больницы сам Поташников интересовался мнением Елены Ивановны о пашутинском фельдшере, и той удалось отстоять пошатнувшуюся репутацию старика. Вскорости затем медицинскую сестру Вихрову выбрали в правление потребительского кооператива, то была ее начальная ступенька. Дальнейшая повседневная практика помогла ей уяснить, что радость отдавать себя людям неизмеримо выше радости брать с них и что именно на эти две категории делятся все люди без изъятия. Еще года три спустя она вообще не представляла себе, как могла иначе сложиться ее жизнь.

5

Помянутые передвижки в судьбах старшего поколения совпали с порой, когда у младшего складывались первые впечатления бытия... Тенистые, заросшие таволгой и валерьяной берега Склани, с голубыми стрекозами над тишайшими омутами, стали местом детских полиных игр, как для Сережи сделался родным домом ветхий двухэтажный флигелек рядом с дендрарием Лесохозяйственного института. Почти однолетки, во многом схожие по судьбе, они заставали в стране победоносный, утвердившийся строй, всеми своими благодеяниями устремленный на поддержку молодости. По мере того как крепло советское общество, в детях росло и бессознательное отвращение к укладу прежней жизни, кончик которой успел ужалить их обоих. Прошлое рисовалось им чем-то вроде гигантского могильника, полного тлеющих костей и скопленных сокровищ. Надо сказать, забегая вперед, что с годами Сережа находил количество последних подозрительно несоразмерным тем плачевным условиям жизни, в каких, судя по учебникам, они создавались; он упускал из виду тысячелетний возраст копилки... Сходство характеров сказывалось до последних мелочей: как Поля весь тот памятный вечер пробродила по улицам, чтоб выветрить с души горьковатый осадок от таискина рассказа, так и Сережа сознательно избегал расспрашивать, кто и почему привел его однажды из непогоды в гостеприимное вихровское тепло; ему всегда хотелось заснуть при этом, заспать воспоминанье той ночи... Кстати, Демид Золотухин обманул бывшего приятеля: он не воротился за своим малышом ни через день, ни через год, когда все разъяснилось, и, надо думать, из опасенья бросить свою тень на благодетеля, даже письмом никогда не справился у Вихровых о сыне.

Усыновлением Сережи была частично заполнена гнетущая пустота, образовавшаяся при распаде вихровской семьи. Кроме того, присутствие веселого и юного существа, платившего горячей привязанностью за оказанное добро, служило Ивану Матвеичу некоторым утешением от его научных неудач. Все предназначенное для дочери было отдано этому худенькому, пытливому, не по годам раз-

вившемуся мальчику. Он рос без лишений, однако и без положенных шалостей; недостаточно назидательные сказки считались тогда вредным баловством, и только крохотный электропоезд, через все комнаты носившийся по рельсам, избегнул участи остальных игрушек. Общественные должности в школе внушили Сереже преждевременную потребность властвовать; он стал позволять себе вольности в мыслях, по его мнению, позволительные вожаку. Ему ежеминутно твердили, что это для него строятся всякие узлы и гидроузлы, но избавляли его от раздумий о молодых людях рабочего класса, почти его сверстниках, работавших на этих стройках. Вся мудрость мира досталась Сереже готовой, в законспектированном виде,— ему не приходилось самостоятельно трудиться над выяснением истины. Усиленными, сверх школьных, занятиями Иван Матвеич привил юноше опасную смелость в разрешении вопросов, над которыми сам столько мучился в студенческую пору, забывая, что именно трудность и длительность борьбы за мировоззрение, постоянное столкновение с чуждыми идеями помогали правде закрепиться в его собственном сознании. Старшее поколение, на опыте испытавшее все беды социального неустройства, всемерно старалось как избавить свою смену от унизительной нужды, так и навсегда застраховать ее от возможных заболеваний духа. Нередко с этой целью внушалось профилактическое пренебрежение к отжившим мнениям, снисходительная ирония к прошлому несовершенной человеческой мысли, к несчастьям всемирной истории, приспособленной к пониманию ребенка... Кстати, вечерние чтения всяких прославленных произведений у Вихровых продолжались и после отъезда Елены Ивановны, причем Иван Матвеич неизменно начинал их с разбора предисловий, написанных специально для ослабления заключенного в этих книгах вреда. Из опасений, впрочем, что чрезмерная стерильность пищи сделает его питомца беззащитным, даже восприимчивым к прилипчивой духовной заразе, Иван Матвеич наряду с *ведущими* книгами давал ему и другие, *увлекающие на дно,* по ироническому определению Сережи.

— Видишь ли, обожаемый фатер,— неожиданно высказался он однажды,— все эти отслужившие крылья, не сброшенные во-время, неминуемо становятся гирями на ногах человечества. Не сочти сие за лень ума... но вообще

на месте отцов и памятуя плачевную судьбу лотовой жены, я б не позволял молодым оглядываться на покидаемый старый мир или перегружаться обольстительной стариной. Чем легче ранец, тем больше дневной переход... все остальное назад, назад, в обоз! — И фатер с легким, но тягостным изумлением отмечал эти несомненные признаки сережина роста и его начальные шаги по освоению культурного наследства.

Словом, мальчик рос на глазах, радуя близких примерным поведением и школьными успехами, однако все чаще Иван Матвеич огорчался поспешными отзывами сына по поводу прочитанного. Он понимал, что молодые люди всех эпох бывали склонны подразнить и даже лишить носов чужие, онемевшие божества на руинах отжившей цивилизации, и вовсе не стремился защищать поверженную старину... но сам он близ того же возраста вел себя в пантеонах поскромней и несколько почтительней. Тогда у некоторых в моде была поверхностная, книжная социология, в кредит под будущее не щадившая авторитетов; яростные атаки тогдашних *лефов* Иван Матвеич невольно сравнивал с напором озорников в желтых кофтах, в годы его студенчества грозивших Пушкину пивной кружкой за столами петербургских кабачков. Правда, у Сережи это происходило всего лишь от мальчишеского искушения блеснуть на людях поверхностными знаниями; он искренно верил, что удалая левизна его суждений должна нравиться старшим, положившим столько сил на сверженье старого мира. Никто не успел ему внушить, что резвость мысли, хоть и подтвержденная мнением века, но не оправданная собственными достижениями, и есть высокомерие полузнайки. Сереже предстояло самостоятельно сделать это открытие, спасительное лишь при условии, чтобы оно произошло возможно раньше, пока разочарование во всем не качнуло его в совсем уж нежелательную сторону.

Так, по прочтении евангелия, например, Сережа с печальным видом высказывался в том смысле, что для рабовладельческой эпохи это довольно смело и даже не без социального огонька, но — «боже, кому придет в голову начинать стройку с крыши»? Он сожалел, что хоть и расположенный к галилейским рыбакам, но недостаточно изучавший окружающую действительность Христос не учел опыта Спартака, отделенного от него всего семьюдесятью

годами. Юноша еще признавал с натяжкой, что книги этой хватило людям на две тысячи лет, но ведь сам же Иван Матвеич воспитывал его в мысли, что почти весь этот срок она держалась на подавлении разума и, провозглашая первенство детской ясности и нищеты, помогала утвердиться деспотии тьмы и денег. За такую измену Сережа отказывал христианству даже в той полупочетной роли эпоса, какая обычно предоставляется отслужившим религиям под старость. Еще более не повезло у Сережи творцу *Исповеди,* которую он назвал биографией гениального бездельника, занявшегося вместо баррикадной борьбы с феодализмом торговлей своими сомнительными тайнами. И, опережая тоскливые возраженья Ивана Матвеича, напоминал ему оценку Юма, что деятель этот мало читал и видел, предпочитая в поисках истины пользоваться своим безграничным воображением.

Точно так же, сбиваясь на смешные петушиные нотки, Сережа осуждал и другие произведения философской и художественной классики, в глазах Ивана Матвеича служившие вехами целых общественных формаций.

— Все эти *романцы* скроены на одну колодку, везде происшествия жизни нанизываются на нитку любовных отношений. Я вообще заменил бы этот жанр чем-то вроде документальной летописи, с усилением полезно-познавательной нагрузки. Пора, пора и литературе вешать свой рабочий табель на общую доску наравне с прочими строителями будущего!

— Да кто же, братец, станет читать твои протоколы?

— Ничего, станут читать, если не будет ничего другого, обожаемый фатер.

Тут Иван Матвеич начинал хмуриться:

— Будь добр, не зови меня *фатером.* Не стыдись нашего родства... Я же действительно отец тебе, и слово это по праву считается одним из первых во всяком лексиконе... Таким образом.

— Ну, ладно, не обижайся...— смущался Сережа и просил прощенья прикосновением руки.— И, поверь, я вовсе не против любви, как биологической необходимости, но... несколько оскорбительно выставлять *это* за основную деятельность человечества. Причем *это* прогрессирует в неприятную сторону... Прежние авторы хоть давали своим героям стихи почитать, сирень понюхать, а бо-

лее поздние сразу торопятся стыдливо прикрыть за ними дверь страницы.

— Вот я об этом и говорю. Видишь ли, мой мальчик,— учительно, в профессорской манере, начинал старший Вихров,— всякое живое существо цветет и наиболее раскрывается в пору своей любви, все равно — будь то яблоня или птица. У покрытосемянных принадлежность к ботаническому семейству определяется и по цветку. Человек же тем более предстает тогда во всем блеске морально-нравственных сил... и таким образом любовная поэтика служит отличной лупой для рассмотрения духовных ценностей героя.

— Ага,— загораясь, нащуривался Вихров-младший,— значит, труд и борьба не годятся для твоих целей морального исследования? — И демонстративно притворял окно, чтоб никто с улицы не подслушал суждений дорогого ему человека, состоящего на государственной службе.

— Некоторые считают, что природа первоочередной своей задачей ставит продление вида,— оборонялся Иван Матвеич.— Таким образом, едва особь становится непригодной для исполнения ее предначертаний, природа запросто отбирает у ней свои дары, в том числе орудия ее воздействия на мир. Деревья, например, плодоносят вдвое сильней с приближением гибели. Абеляр же, если помнишь, вовсе утратил свои поэтические способности, после того как...

— Э, мало ли что было с деревьями до нас! — перебивал младший, не дослушав и радуясь случаю показать старику, что тот не зря тратил силы и время на его воспитанье.— Дело проще, отец: героем вчерашней литературы был аристократ, рантье, помещик, достаточно обеспеченный дармовым хлебом, чтоб целиком посвятить себя проблемам продления вида... с позволения сказать! Но ведь сам же ты твердишь при любой оказии, что именно человек призван внести разумность в действия природы. Так вот,— и голос его приобретал неприятную для Ивана Матвеича митинговую звонкость,— если бы граждане земного шара еще до нас занялись попристальнее этим дельцем, не пришлось бы нам расхлебывать их ошибки. И горя было бы поменьше... да и любовь твоя осталась бы в барыше, так что не пришлось бы раньше срока и Ромео с Джульеттой хоронить!

— Не было бы тогда и великолепной трагической поэмы...— пятился старший, стараясь не поскользнуться при отступлении.— Таким образом!

— Хочешь сказать, что с устроением производственных отношений погаснут противоречия, не о чем станет писать? Не пугайся, мужественный старик, наше время создаст новые трагедии, только более достойные человеческого звания...

— Что-то не вижу пока таких. Дал бы почитать, сынок! — и сам на себя сердился за недобросовестность приема.

Через несколько дней они продолжали свой спор в одном из московских музеев, куда каждое воскресенье забирались с утра.

— Приготовься, сейчас ты увидишь чудо.— Прямиком, мимо памятников Египта, Рима, итальянского Возрождения, Иван Матвеич повлек Сережу к милосской Афродите.— Вот, гляди, таким образом. Что ты скажешь об этом, неистовый юнец?

Знаменитая безрукая богиня стояла в просторном зале среди других бессмертных творений своей поры, как раз на фоне пергамского фриза со схваткой гигантов. И с левой стороны змеи карали Лаокоона с сыновьями за оскорбление божества, а справа — свирепые братья, в отместку за мать, привязывали жену тирана к рогам бешеного фарнезского быка. Облитая рассеянным верхним светом, Афродита одна была здесь такая, спокойная и кроткая, в девственной полунаготе, создание поэтического людского благоговения перед производительной силой земли, по объяснению Ивана Матвеича. Еле умещавшиеся в соседних залах владыки древних царств и преисподних, цари и демоны, быки и боги — все они казались ему не более как челядью великой богини. Конечно, ее бы на голубой, складками ниспадающий бархат за отсутствием полуденного эгейского неба... но и в этой тесноте, среди страданий и страха, даже по гипсовому слепку, смягченному теплой желтизной, можно было судить о совершенстве парижского подлинника.

Сережа опустился на скамью, не сводя со статуи сдержанно-насмешливого взгляда.

— Что ж, это довольно выразительно в смысле, хм... продления вида. И все же, поскольку это родилось в

других временах и широтах, я бы приодел ее потщательней до поры.

— Да ты же просто монах, Серега! — вскипел Иван Матвеич.— Даже не Савонаролла, а из пятого века александрийский монах. Опомнись, не кидай камнем... *это* может обидеться и надолго уйти из мира. Перед тобой же всечеловеческая красота...

— ...но не моя,— как бы от соблазна опуская глаза, усмехался юноша.— Под таким словом у нас принято понимать совершенную форму, полную не менее высокого содержания... так какие же ведущие идеи нашего времени прельстили тебя в этом камне? Опять же, никакое произведение искусства не существует вне своей среды... так скажи мне, может ли данное служить мне хотя бы пособием к изучению той отдаленной эпохи? Автор кипел в самом котле жесточайших событий и не заметил ни зверства античного рабства, ни ужасов пелопоннесской войны, ни кровопролитных походов Александра. И вообще это темноватое словцо, отец: *красота.* Слишком уж часто оно служило маской неправды и преступленья! Развалины всегда привлекательны в закате, но присмотрись, какие древние гады притаились в их щелях. Нет, в *мою* Элладу это не сгодится. Все еще не сдаешься, отец?

— Возможно, ты кое в чем и прав... но не скрою, мне грустно за твою правоту, Сергей. Обычно люди приходят к сомненьям в благах жизни, лишь насладившись ими до конца.

— Некогда, некогда, отец: надо перевыполнять план жизни,— торжествовал Сережа.

— Что ж, пожалуй, тебе это в некоторой степени удалось...

Они сидели посреди высокого, гулкого зала со стеклянным потолком, а смежную скамейку, за спиной у них, занимал не примеченный ими раньше довольно молодой еще, учительского облика человек в кителе полувоенного покроя. Сделав по залу неопределенный полукруг, он неожиданно попросил у Вихровых извиненья за вмешательство в чужой спор.

— Моя фамилия Морщихин... и разрешите мне притти к вам на помощь,— обратился он к Ивану Матвеичу, поправляя небольшие, старого образца очки; они-то и придавали подкупающую забавность всей его долговязой

фигуре.— Я тут сидел с самого начала ваших прений и по некоторой прикосновенности к вопросам культурного наследия желал бы вступиться за эту каменную даму...

— ...кстати, уже пострадавшую от какого-то запальчивого критика,— вставил Иван Матвеич, намекая на отрубленные руки Афродиты.

— Ну, вряд ли это след чьей-либо сознательной деятельности... фанатики всегда начинали расправу с головы. В особенности античные носы вызывали в них зуд неукротимой деятельности. Эту же даму, повидимому, тряхнуло разок: Милос — остров вулканический.— Морщихин поблагодарил кивком за уступленное рядом место.— Итак, юный прокурор вступает в права наследства и начинает *это* с искусства?

— Ничто не угрожает пока вашей подшефной богине,— с размаху отразил Сережа.— Я только хотел сказать, что мы создадим новую, *нашу* Афродиту, когда это потребуется.

Морщихин весь подался вперед при этом, и хохолок со лба потешно свесился до бровей.

— Похвальное намерение, но только... значит, совсем уж новую? И какой же опознавательной приметой современности предполагаете вы снабдить ее?.. собираетесь вы вложить в руку ей гаечный ключ или слегка подрумянить мазутом, чтобы не оставалось сомнения в ее классовой принадлежности?

— Я понимаю и сам,— тотчас сказал Сережа,— что Афродите не требуется удостоверение личности... но мы живем в переходный период, который стоит иного тысячелетия. Так что документ не повредит. Новая родится лишь после вторичного сверженья Урана Кроносом...

То была резвая попытка ошеломить противника своей осведомленностью в греческой мифологии, и Морщихин выслушал Сережу с пресерьезным лицом, но за овальными стеклами очков задорно смеялись глаза на его мальчишескую прыть.

— Так в чем же, однако, будет ее новизна?

— Я не знаю пока... но, во всяком случае, это будет уже не мраморная баранина доисторических времен... да и философски — из более пристойного материала! Собственно и в библейском сказании об адамовом ребре слабому полу не очень повезло... не правда ли?

Сережа намекал на происхождение общеизвестной пены морской, эту академическую ширму, за которой скрывались от детей запретные подробности мифа. Но как ни стремился Сережа сверкнуть обстоятельствами рождения богини, Морщихин уклонился от предложенного удовольствия выслушать их.

— Вы мне вторично намекаете, что читали Гезиода,— кивнул он со слегка потемневшим лицом.— Боюсь, что обсуждение родословной этой богини уведет нас в сторону от темы... тем более, что у Гомера, например, она рождается вполне обычным способом. Однако, раз уж мне посчастливилось встретиться с таким начитанным товарищем, то, наверно, вам известно и выступление Владимира Ильича на Третьем съезде комсомола?

— Я сам комсомолец...— зарделся Сережа и весь подтянулся, пугаясь предстоящей расплаты за дерзость.

— Это избавляет меня от необходимости приводить цитаты. Значит, вы помните слова Ленина, молодой человек, что мы можем строить коммунизм только при том запасе сил и средств, что остались нам от старого общества?

— Я не пренебрегаю культурным наследством. Разве наш разговор дает вам основания упрекнуть меня в нежелании читать и учиться? — сопротивлялся Сережа.

— Вовсе нет... хотя Ленин как раз и предостерегал от разрыва между книгой и практикой жизни, от начетчиков и хвастунов. Я хотел бы удержать вас от вредного удальства в отношении к таким неповторимым кладам прошлого, что̀ образовались из миллионов безвестных человеческих раздумий и трудодней... Это касается и наших собственных святынь, очагов национального самосознания. В этой статуе заключена вся ясность античной мысли, вера в красоту человеческого предназначения... тут-то и учтите жестокие условия времени, в которых создавалась эта материнская ладанка предков, повешенная на грудь потомков. Вдобавок, перед вами не аристократка... эта женщина, хоть и безрукая, проработала двадцать два века подряд. *Некий* Глеб Успенский на свиданья к ней ходил за лекарством от житейских гадостей и говорил, что убить ее — значило бы лишить мир солнца. Другой, к сожалению тоже неизвестный вам чудак, Гейне, плакал на луврском диванчике перед ней... видимо, оба были

послабже вас на слезу. Так не угодно ли вам заодно отшлепать и их, молодой человек, благо мертвые не сопротивляются? Но эти двое считали себя законными наследниками всего лучшего, скопленного исполинским трудом предков... и вообще судить о красоте и духовных ценностях полагается из такого места, откуда они всего виднее!.. Тогда как же вы решаетесь отдать все это, обжитой-то дом, пещерным людям нашего времени... да пещерные-то, пожалуй, были милосерднее нынешних монополистов. Они жрали слабейших в натуральном виде, не делая кулинарных деликатесов из человеческого страданья... путем сложной перегонки на аппаратах современной цивилизации. Так что, кидаясь в похвальном гневе, не прокидайтесь, мой молодой и деятельный друг!

Негромко, чтоб не нарушить музейной тишины, он заговорил о преемственности поколений, без чего всякую новую фазу пришлось бы начинать с изобретения огня и колеса. «Нет, я имею в виду не единый, непрерывный поток Фуке, Дрепера или нашего Данилевского, у которого все цивилизации происходят на одной и той же сценической площадке»,— и тут Сереже пришлось покраснеть за свое невежество. Разговор превращался в сжатую лекцию о прогрессе в его марксистском понимании — с усвоением положительных достижений прошлого и поднятием их на ступень высшего совершенства, о ленинской теории развития по спирали, где сходные кольца располагаются над прежними... Сережа слушал, весь в пятнах отчаянья и кусая губы, невольно вздрагивая при упоминании незнакомых ему имен и понятий; в особенности гегелевское aufheben прозвучало для него, как удар бича. Если в намерения Морщихина входило не только разъяснить истину, но и наказать за детское бахвальство нахватанными знаниями, он достиг этого в полной мере. Примечательно, урок вызвал у юноши не обиду, не самолюбивое упрямство, а почти благоговейное восхищение зрелой логикой морщихинского ума. Со своей стороны тот успел также приметить в собеседнике искреннее раскаяние и требовательную справедливость к себе.

Несмотря на занятость Морщихина, они стали встречаться с этого дня, всякий раз открывая друг в друге новые привлекательные качества. Горячая, несмотря на возрастную разницу почти в десяток лет, близость их завер-

шилась переходом Сережи из вихровской опеки в свободное ученичество у Морщихина, причем все прежнее его окружение из сверстников с громкими фамилиями и в парижских импортных шарфах было принесено в жертву этой дружбе.

6

В ту пору родители нередко возлагали чрезмерную надежду на некую отвлеченную, якобы наступавшую отныне дружбу поколений; в какой-то степени она оправдывала в их глазах недостаточный повседневный надзор за ростом своей смены. В особенности этим отличались некоторые семьи обеспеченного круга, где ложно понятые гражданские обязательства перед будущим целиком вкладывались в заботу о своем собственном ребенке,— хотя по личному опыту знали, что воспитанная на скупых почвах древесина бывает смолистей, мелкослойней и плотней. По характеру своих ошибок Иван Матвеич находился где-то посреди; из опасения лишиться сережина приятельства он терпел тон равенства или иронического снисхожденья, с каким питомец принимал его поученья, ворчливую блажь милого, но подчас утомительного старика. Лишь в самое последнее время перед войной Иван Матвеич начал испытывать законную тревогу — как бы скептическое сережино вольномыслие в отношении к отдаленным ценностям человеческого духа не перекинулось на более близкие и несомненные.

Морщихину нравилось бывать в этом доме. Под личной дружбой тогда разумелось победоносное единство страны, семьи у него тоже не было, свою неустроенную холостяцкую комнату он шутливо и не без основания называл гаражом. И он так прижился у Вихровых, что Таиска не раз высказывала материнскую готовность и усыновить очкастого, кабы малость посбавить ему чину да годков.

В одно из посещений Морщихина, приглашенного на очередную лесную ассамблею, Иван Матвеич советовался с ним о Сереже, которому только что исполнилось восемнадцать. Сам вышедший из низов, Морщихин соглашался, что только не подслащенная ничем трудовая самостоятельная жизнь могла бы подправить промахи сережина воспитания; по его мнению, большинству молодых людей

из интеллигентных прослоек вообще не повредило бы, если бы до поступления в высшую школу они годок поработали на производстве.

Дальше все образовалось само собой. Вернувшийся в тот вечер попозже Сережа повел гостя показать предмет своей гордости,нарядную библиотечку по искусству;он жил тогда в полиной детской, наполовину превращенной в механическую мастерскую с грудами технических деталей, старых электрических реле и всякого латунного хлама по углам. Опрятный токарный станочек, вместе с мотором смонтированный на верстаке, приоткрыл Сережу глазам Морщихина с неизвестной пока стороны.

— Забавляетесь по старой памяти? — кивнул Морщихин, поднимая с полу наполовину разобранный игрушечный электропоезд.

— Нет, совершенствую кое-что, Павел Андреич,— смутился Сережа.— Переход по спирали на высшую ступень...— И доверительно признался в давней страсти ко всяким механизмам, преодолевающим время и пространство и, как он выразился тогда, удлиняющим человеческую жизнь.

На вопрос, кем собирается стать в будущем, Сережа ответил размашисто, что он готов на любое — от радиста межпланетной ракеты до молекулы в сабельном клинке.

— Ну, а попроще? — поморщился гость на его повторную честолюбивую попытку выделиться и удивить.— Кстати, насчет преодоления пространства... А никогда не тянуло вас, скажем, поездить на настоящем паровозе? Я бы мог помочь вам в этом. Судя по задаткам, из вас вышел бы неплохой машинист.

Юноша покраснел от удовольствия, и таким образом игрушка и некоторые обстоятельства морщихинской биографии определили на несколько лет вперед сережину судьбу... По окончании университета Морщихин в порядке отбора был направлен пропагандистом в райком партии, на территории которого находился и Лесохозяйственный институт. Ко времени знакомства с Вихровыми он заочно кончал высшую партийную школу, причем ему оставалась лишь диссертация, и, между прочим, вел семинар по истории партии в крупнейшем рабочем центре района, в Деевском основном депо, на одной из северо-западных дорог; там в свое время работал отец Морщихина и про-

текло его собственное детство. Ему не составило труда устроить туда Сережу. Из двух предложенных должностей — слесарного ученика в подъемочном цехе и кочегара — юноша из романтических соображений выбрал последнюю; подробность такого рода на всю жизнь выглядела бы как титул в анкете молодого советского человека.

На новой работе в ближайшие полгода Сережа несколько изменил свое отношение к милосской статуе: чумазому пареньку с тендера она стала не то чтоб родней, а как-то бесспорней. В конце полугодового срока, перед экзаменом на четвертый разряд, необходимый для звания помощника машиниста, случилось первое испытание сережиной воли и мужества. В поездке, при чистке топки на одной из станций, в зольную коробку провалился колосник, и молодой кочегар вызвался немедленно вправить его на место, чтоб не задерживать поезда в пути. Для этого требовалось приспустить температуру котла и просунуться в шуровочное отверстие до пояса. «Смотри, Вихров, горячо там да и тесно... пропихнешься?» — спросил машинист. «Ничего, Лазо больнее было, должен и я пролезть»,— заносчиво бросил Сережа, сердясь, что кто-то попрежнему видит в нем профессорского сына. Наскоро оплеснув себя водой, обернувшись мокрой мешковиной, Сережа нырнул в нестерпимый сжигающий мрак и в два приема успешно завершил дело, по возвращении обсужденное на комсомольском собрании. Неделю спустя, в числе пяти таких же юнцов, он пришел сдавать свой экзамен.

В прокуренном техническом кабинетике с закопченными окнами, выходившими на поворотный круг, сидело паровозное начальство и почетные деповские старики, пришедшие посмотреть свою смену. Никто из них и пальцем не коснулся ни ключа, изготовленного Сережей по заданной гайке, ни его лекальных плиток, настолько пришлифованных, что слипались при соприкосновении. Зато после обычных расспросов по ремонту и уходу за паровозом один уж седенький машинист-инструктор, знаменитый в депо Маркелыч, все испытывал новичка насчет семафорного хозяйства; видно, в годы ученичества сам или кто-то у него на глазах резанул всем составом в хвост стоявшего впереди, и оттого всю полсотню лет потом полагал он сигнализацию кровлей паровозной науки.

Колючий вначале, он к концу экзамена смягченней глядел в сережино лицо, и тот уже ждал, что сейчас у него спросят про опаленные брови и забинтованную руку, обожженную сквозь рукавицу при починке колосника.

И верно, какой-то живой интерес вдруг затеплился в глазах старика.

— Вострый, ничего, выйдет толк,— похвалил Маркелыч, разжигая трубочку.— А теперь ответь-ка нам, сынок...— и Сережа приготовился описать свой подвиг коротко и сухо, как положено выдающимся героям,— скажи нам, не пьешь ли ты *ее,* проклятую? Нашему-то брату, старикам, оно и не грешно было: царский режим наталкивал нашего брата на это самое. А вам-то, при светлой жизни, вроде и не к чему. Разве уж виноградного полстакана, с устатку, при оказии...— и молодцевато вытер усы, а Сережа понял, что подвиг его — пустяк, вполне рядовое дело в той большой жизни, посвящение в которую он принимал.

Старик отпустил Вихрова, лишь удостоверившись, что новичку также известны паровозные сигналы пожара и воздушной тревоги: то был четвертый день войны.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Хотя шла война и все помыслы советских людей были обращены к фронту, Поля не могла окончательно пренебречь своими личными тревогами именно потому, что самое время требовало от каждого величайшей моральной чистоты. Как и для матери ее, не было цены на свете, какою Поля не оплатила бы право открыто глядеть в лицо своему народу. Сам того не зная, Вихров выдержал проверку дочери, тем более суровую, что дети судят на основании почти ускользающих от закона улик и не карают ничем, кроме вечного презренья. Предварительное следствие склонялось в пользу Вихрова, оставалось изучить историю его ученой распри с Грацианским. К слову, успокоительное впечатление от сентябрьской лекции несколько потускнело в свете дальнейших раздумий: даже ребенку

понятно было, что самый злой человек из одного чувства самосохранения не посмел бы говорить иначе перед молодежью, да еще в дни жестоких подмосковных боев.

На этой стадии розысков Таиска была бессильна помочь племяннице; кое-что впоследствии поведал Поле молодой помощник машиниста, многое разъяснила случайно подслушанная фраза в одну страшную декабрьскую ночь. Пока же, вся в мать, щепетильная до мнительности, Поля добывала истину сама, путем обходных хитростей и длительных усилий, чем и задержалось ее почти неукротимое влечение ринуться на фронт вслед за Варей: без полной душевной ясности задуманное Полею решенье выглядело бы самоубийственной истерикой. Под разными предлогами девушка побывала у сослуживцев отца, и те не отказывали ей в специальных консультациях, но решительно умолкали, едва речь заходила о генеральном вихровском критике; впоследствии более близкое ознакомление с состоянием лесов в Европейской России и с лесными разногласиями тридцатых годов очень повлияло на Полю при окончательном выборе профессии. Только Осьминов, с которым познакомилась в конце ноября, ввел ее в курс знаменитой лесной полемики и поделился скудными сведениями о противнике ее отца. Примечательно, что даже тогда, наедине и в глухой прифронтовой деревушке, личное мнение майора Осьминова еле просвечивало сквозь его уклончиво-доброжелательный тон.

У Поли складывался величавый, но несколько двойственный образ Александра Яковлевича Грацианского как аскетически замкнутого человека, искусно забронированного от постороннего любопытства; обнаружилось, к примеру, что ни одна душа на свете не смела забрести к нему без предварительного телефонного звонка. И прежде всего он оказался лишенным обычных человеческих слабостей... Правда, хотя среди мужчин в Советской стране и не принято было украшаться чем-либо, кроме личных добродетелей, Александр Яковлевич носил на указательном пальце перстень с античной геммой, но это было не просто кольцо, а, по загадочным намекам владельца, доставшееся ему якобы по боковому родству от одного ближайшего наперсника самого Герцена, так что Александр Яковлевич позволял себе эту вольность вовсе не в отличие от смертных и даже не в возмещение страданий, понесенных им от

самодержавия, а, так сказать, в знак духовной преемственности от виднейших борцов за всечеловеческое освобождение. На правах наследника их и по совместительству Александр Яковлевич числился по меньшей мере в десятке комитетов, редакций и разных научных учреждений; в Лесохозяйственном же институте ведал кафедрой несколько неопределенного профиля — «организация промышленного освоения лесов». Разумеется, проблемы этого порядка, вроде дорожного строительства, борьбы с пожарами, технического оснащения, лесоохраны и бытового устройства лесозаготовителей — порознь изучались на трех прочих, соответственных факультетах, но профессор Грацианский как бы обнимал их своим универсальным гением и незаурядным темпераментом, так что никто из администрации не брался уточнить его функции из боязни нажить могущественного врага и повышенное кровяное давление. Все же, по словам Осьминова, Александр Яковлевич обогатил лесную практику рядом любопытнейших предложений, к сожалению неосуществимых или бесполезных; во всяком случае, вреда от них и не было бы, если бы они диктовались интересами леса, а не стремлением подавить конкурентов в науке и утвердить непогрешимость своего мышления, пускай не столь глубокого, зато поразительного по широте охвата... Словом, в глазах простаков этот человек заслуживал глубочайшего уважения, ибо он один самоотверженно взваливал на свои плечи бремя общего надзора за лесными делами в стране, вследствие чего к нему прислушивались редакции, в нем заискивали коллеги, и по любому случаю кроткие лесные старички, как ни тяжко им было, не обходились без цитат из его творений.

Всего этого Александр Яковлевич достиг личным талантом, единственно с помощью своих критических статей, разящий сарказм которых как бы приподымал его над толпой бесталанных и нерадивых современников. Пошучивали на ушко, что немедля после изничтожения всех намеченных по списку коллег он употребит свои громы на разнос некоторых отсталых явлений природы, дабы обратить их к желательному совершенству. Кроме того, Александр Яковлевич изредка дарил миру небольшие, крайне осторожные, зато исключительной эрудиции предисловия к чужим книгам, впрочем, не ко всякой лесной брошюре,

а лишь к выдающимся сочинениям прошлого, причем прямо указывал, где там корень зла и как извлечь его оттуда. Сам он крупных печатных трудов не писал, однако не из нежелания загружать полиграфическую промышленность, даже не из похвальной опаски впасть в какое-либо наказуемое заблуждение, а только по болезненному состоянию, в частности по недостатку гемоглобина, доходившего у него едва до 63,5 процента. Лет пятнадцать подряд ходили упорные слухи, что Александр Яковлевич готовит к печати какую-то особенно толстую библию по лесному делу, в три с половиной тысячи страниц убористого шрифта, не считая примечаний, и после выхода ее всем лесникам останется только повянуть и захиреть у его подножья от зависти и ничтожества, и, конечно, он привел бы свою угрозу в исполнение, если б не помешали запреты докторов. Надо считать подвигом, что при общепризнанной хилости сложения Александру Яковлевичу удалось свалить такого голиафа, как Туляков, которого он покритиковал взад-вперед по сусалам за устарелые лесоводственные теории. И уж, конечно, лишь из мальчишеской жалости к отцу Сережа Вихров приписывал Грацианскому до такой степени прочное, просто жироскопическое здоровье, что не грех было бы и порасшатать его малость на благо родины и лесной науки; Иван Матвеич взял с мальчика комсомольское слово не причинять вреда противнику.

Начало блистательной карьеры А. Я. Грацианского относится к средине двадцатых годов, когда вслед за *Судьбой русского леса* вышло в свет первое издание вихровского *Введения в науку о лесе*. Возможно, в книге этой и не было новаторских открытий, но вся она была пронизана жгучим чувством тревоги за будущее, вряд ли лишним для советского ученого; до него лишь немногие с такой смелостью говорили о лесе. В своих предпосылках автор исходил из общеизвестного положения, что лесные товары принадлежат к предметам насущной необходимости, и оттого ежегодный спрос на них повторяется в близких, но все возрастающих размерах. Отсюда Вихров делал заключение, что целью лесного хозяина должно являться поддержание леса в состоянии, наиболее выгодном для получения отличной древесины в наибольшем количестве. Для этого рубки, согласованные с приростом

и возрастом леса, должны были возмещаться правильным возобновлением его и вестись с таким расчетом, чтобы ко времени вырубки последней лесосеки на первой успевал выспеть новый, промышленного качества лес. Возможный при этом разрыв между производством и потреблением, по мнению автора, следовало возместить вовлечением в хозяйственный оборот еще не освоенных лесных массивов европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока, сокращением расточительных отходов при обработке, более совестливым поведением человека на лесосеке, воскрешения лесов путем немедленного лесоразведения на вырубках и пустырях, повышением прироста за счет ухода и осушки заболоченных лесов, защитой от пожаров и, наконец, борьбой с гниением дерева в изделиях и в лесу, а также по возможности заменой его металлом. «Лучше пролить пот, чем слезы,— заключал одну из глав Вихров.— Без усвоения этих букварных истин лесоводство превращается в обычное лесопользование, что также вполне в нашей державной воле, если только пренебречь нуждами завтрашнего дня». Таким образом, Иван Матвеич продолжал линию прежних русских лесоводов с тем печальным различием, однако, что появилась его злосчастная работа в канун наиболее усиленного расходования леса за всю историю страны. Естественно, любая теория, связанная с перестройкой крупнейшей отрасли народного хозяйства, привлекала обостренное общественное внимание и не могла обойтись без возражений. Пускай даже подтвержденная расчетами всевозможных профилей, непримиримость Вихрова порой пугала и кое-кого из его многочисленных сторонников, хотя требования его сводились всего лишь к установлению твердого режима в обращении с лесом. В ту пору у Ивана Матвеича появилось немало серьезных критиков, и на крайнем фланге их сразу выделился по блеску ума и силе удара А. Я. Грацианский. Вдохновленный удачной расправой с Туляковым и только что отшумевшей дискуссией за снижение оборота рубки, он раскрыл на пробу прямодушную вихровскую книгу, отыскал корень зла, подвел под него базу, прикинул в перспективке, подрисовал недостающее, якобы сознательно затуманенное автором, изложил все это с надлежащей эмоциональной приправой — и получилась такая востренькая штучка, вроде путевки на виселицу.

В те годы многие считали похвалу за развратительный либерализм, а отрицание хорошего во имя желательного лучшего — за педагогическую мудрость. Неожиданный успех окрылил рецензента, дотоле прозябавшего в неизвестности, и когда вышла в свет очередная работа Вихрова *Лес как объект хозяйства,* он ударил уже похлестче и, правду сказать, ниже пояса, но, к удивлению наблюдателей, коллега снова выдержал удар. «Нет, милейший профессор, нас не запугаешь лесными законами, придуманными для себя буржуазией: законы устанавливаем мы,— писал тогда Грацианский неизвестно от чьего лица, потому что все лесные акты советской власти, начиная со знаменитого ленинского декрета 1918 года, как раз предписывали соразмерность рубки с годовым приростом.— Назло вам мы срубим все, когда придет пора, не пощадим ни Волги, ни столь любезной вам Мезени, выкосим к чортовой матери Печору и Каму, Днепр и Двину, Ангару и Енисей и... что еще вы там под полой у себя прячете?» Казалось, еще строка — и автор рухнет в припадке. Но как в этой, так и в целой обойме последующих печатных выступлений Грацианского никогда не был разобран по существу ни один из назревших лесных вопросов... Да Александр Яковлевич и не считал возможным распылять свою энергию на мелочи производственной практики; на том же основании, как бывают инженеры по турбостроению или специалисты по среднему уху, он считал себя специалистом по корню зла, покамест только лесного. Остальное он препоручал своим мальчикам с незначительным научным стажем, примкнувшим к нему ради убыстрения житейских радостей. Это и были так называемые *вертодоксы* ввиду их исключительно гибкой ортодоксальности на все четыре стороны света.

Так взошла над русским лесом странная, двойная звезда, где палящий жар одной уравновешивался смиряющим холодом другой: Вихров и Грацианский, одинаково признанные за выдающихся деятелей в этой области. Постепенно современники привыкали к мысли, что уделом первого является бесперебойно поставлять что-нибудь новенькое на размол в унылых жерновах второго. Зерна потверже, вроде авторских ссылок на завтрашний день потомков, сразу браковались на глазах доверчивого читателя как *вихровские штучки;* когда же Иван Матвеич

запаздывал с подачей материала, Александр Яковлевич подстегивал его заметками в прессе о подозрительно затянувшемся творческом простое. В течение ряда лет он взбирался на свою кручу по ступенькам вихровских книг, причем значительность каждой из них математически соответствовала высоте его подъема. При всем том Александру Яковлевичу выгодно было поддерживать репутацию Ивана Матвеича как одного из сомнительных, тем не менее крупнейших лесоводов современности, и таким образом вести в отношении его постоянное непрерывное хозяйство с ежегодной, так сказать, стрижкой ренты. Единовременное сокрушение противника означало бы и его собственную катастрофу.

В годы вынужденных вихровских простоев, чтоб не утратить навыка и почерка в ударе, Грацианский возвращался к пересмотру его прежних книг, якобы преждевременно зачисленных в золотой фонд лесной литературы. В этом смысле крайне примечательно одно его, через подставную фигуру, выступление в средине тридцатых годов: разбору подверглась подзабытая к тому времени *Судьба русского леса.* Для разнообразия статья была подписана несхожими инициалами, но в тексте ее отчетливо звучали обвинительные формулировки Грацианского... С первых же строк автор разжаловал книгу в разряд изящной словесности за обилие поэтических отступлений; это развязывало ему руки. Шаг за шагом он отыскал в ней созерцательный объективизм и обывательский экономизм, порочные следы надклассового эклектизма и механистического эмпиризма, неопровержимую склонность к идеалистическому нигилизму и псевдонаучному вульгаризму, куда, прежде всего, надлежало отнести антропоморфизм не вихровского, кстати, выражения *лес пашет землю,* чего он в действительности делать не может, так как он не человек. Попутно автор оспорил степень лесистости Украины в гостомысловы времена, что явно преувеличивал Вихров, и горько осмеял его тревоги за климатические повреждения от вырубки лесов, ибо, по Гераклиту, климат тоже меняется и, кто знает, не станут ли через годик-полтора эвкалипты произрастать под Вологдой. Наконец критик с особым озлоблением обрушивался на титульный лист с посвящением книги не какому-либо лицу надлежащему, а енежскому медопромышленнику Калине Глухову. Ста-

тейка в общем получилась блудливая, всем немножко стало от нее как-то не по себе, но в последних ее строках резко ставился вопрос об ограждении молодежи от тлетворного вихровского влияния, что уже не могло пройти бесследно.

2

К удивлению своему, Иван Матвеич выяснил, что выстрел прогремел из стен Лесонаучного комитета, в частности от нового, только что назначенного заместителя директора Чередилова; директором же там многие годы сидел, уже не подымаясь, доскональный и незлобивый старичок академик Тараканцев, однокашник покойного В. В. Докучаева. До Ивана Матвеича и раньше доходили слухи о чудесных переменах в чередиловской судьбе, причем утверждали, что возвышения своего он достиг через содружество с Грацианским и талантом редкостного подчинения начальству, так что ежели, к примеру, оное в лице Тараканцева возлагало на него руку, как на локотник кресла, то череп Григория Павловича якобы немедля принимал очертания и изгиб начальственной ладони. Возможно, здесь сказывалась низкая зависть обойденных, преуспевающие же, напротив, наделяли Григория Павловича Чередилова столькими не оцененными прежде достоинствами, что полностью они могли уместиться разве только в добродетельном ките... Во всяком случае, появление статейки проливало свет, почему, проживая в том же городе, Григорий Павлович ни разу по-приятельски не заглянул к Вихровым со времени их переезда в Москву. Тогда из чисто исследовательских побуждений Иван Матвеич сам порешился навестить его на новосельи.

— Возможно, я затащу его к себе пообедать, так что напеки картошки в кожуре... он любил сие в младые годы. Что касается более насущного, в бутылочке, то я прикуплю его сам на обратном пути,— наказывал он Таиске, отправляясь в поход.

Лесонаучный комитет помещался в шумном московском переулке, на четвертом этаже старинного дома, сплошь заселенного уймой подсобных учреждений и контор с таинственными названиями; все они соединялись

между собой посредством щербатых лестниц и внутренних переходов, так что Иван Матвеич долго блуждал там, как в заправском лесу. По невеселому коридору, где с подмостков кропили жидким мелом маляры, он прошел мимо *Дорхимвоска* и местного комитета работников Отделений записи актов гражданского состояния и тотчас за поворотом вступил в тесноватую, но на редкость милую комнатку с видом на золоченый, не поздней шестнадцатого века, московский куполок и с панелью, искусно раскрашенной под настоящий, ценный дуб. Правда, ничего больше относящегося к лесу там не имелось, зато все остальное, чего ни коснись, было выдержано в прохладно-зеленоватых тонах цвета утреннего перелеска, до такой степени успокоительных, что казалось, только бы и пользоваться санаторным покоем без отрыва от мозговой деятельности... так нет же, и здесь жизнь кипела ключом под руководством Г. П. Чередилова.

Приемная была пуста, и в раскрытую дверь из кабинетика доносился взбешенный, на слегка свистящем фальцете чередиловский голос:

— ...но вы посажены сюда, премилейшая гражданочка, чтоб оберегать мое время от неорганизованных вторжений, и я требую — понятно ли вам? — требую, чтоб вы подтянулись до понимания поставленных перед вами задач,— чеканил Григорий Павлович, разнося нечто подчиненное, издававшее ответный писк.— И если в дальнейшем будут по телефонам звонить или напирать подобные просители и стрекачи, то зарубите себе — где вам угодно зарубите! — у меня нет родни, нет никаких товарищей, а тем более каких-то там друзей. Я всегда, даже спя, нахожусь при деле, я ответственный государственный человек, столп с законом, вот кто я. Теперь отправляйтесь, Марья, как вас там, Петропавловна, и выполняйте самой историей доверенное вам дело... Понятно ли это вам?

Иван Матвеич подумал с невеселым юморком, что он притащился как раз во-время.

Суеверный посетитель отложил бы свой визит по меньшей мере на месяц, но Иван-то Матвеич знал отходчивость своего бывшего дружка. Из деликатности, чтоб не конфузить секретаршу, он отправился на полчасика полюбоваться неукротимой деятельностью маляров; вернувшись же, застал за секретарским столиком кудреватую

девицу выше среднего возраста, все еще с неровным румянцем в лице. Она пугливо переспросила фамилию у Вихрова, и хотя тот шутливо поклялся не огорчать товарища Чередилова, не стрелять из дробовика или выпрашивать в долг, согласилась доложить начальнику не раньше, чем он завершит составление плана очередных мероприятий на ближайшее полугодие для улучшения текущей работы. Час спустя она отправилась исполнять свое обещание, предусмотрительно прикрыв кирзовым чехлом пишущую машинку с недопечатанной бумажкой. Оказалось, Григорий Павлович все еще не разгрузился, и нужно было почитать журнальчик, пока тот не закончит беседы по *международному* проводу, как с огорченья оговорилась девица.

Иван Матвеич охотно дочитал журнальчик, прошелся взад-вперед по ковровой дорожке, выглянул в соседнее помещение, где тоже пахло дерматином, усердно рычали арифмометры и стлался слоями табачный дым. Судя по всему, Чередилов железной рукой и на должную высоту подтягивал вверенную ему научную единицу. Неутомимая, хоть и непонятная постороннему, деятельность происходила на этом участке лесного фронта, причем секретарша перестала стучать на машинке, чтобы посетитель, упаси бог, не подслушал содержания бумаги. Изредка в кабинетик без шума и доклада проходила то курьерша с завтраком под салфеткой, то кассир с заработной платой — дело происходило в первых числах месяца,— то, наконец, плоская дама в пенсне: записать стенографическими знаками мысли, чувства и распоряжения товарища Чередилова. И тогда через дверь Иван Матвеич видел часть святилища — с тумбой громаднейшего письменного стола, из-за которой выглядывала знакомая внушительного размера ступня в сандалете,— с хорошо отфугованной доской резонансной ели, поставленной туда ради научного колорита, и, наконец, с гигрометром на стене, чтоб заблаговременно предупреждал о зловредной для здоровья сухости воздуха.

И почему-то Ивану Матвеичу вспомнилось, как четверть века назад все они, мушкетеры, купались в пригородной речке под Петербургом. Слегка покалывала прохладная майская вода, и Вихров с Валерием уже переплыли на другой берег, а Чередилов все стоял по колено

в воде, фыркал, мочил грудь, прокашливался, подобно дьякону перед произнесением многолетья, не решаясь погрузить в этот студеный зной свое крупное, уже тогда плывучее и вяловатое тело; что касается Грацианского, тот просто нежился на песке, не снимая пальто и фуражки с бархатным околышем... Пока Иван Матвеич предавался своим юмористическим размышлениям, Чередилов через внутреннюю дверь проследовал в высший мир на срочное совещание, о чем стало известно только час спустя. До сумерек не дождавшись приема, Иван Матвеич отправился в парную баню, всегда благотворно влиявшую на его расположение духа.

Многочисленные сочувственные отзывы лесников по поводу обруганной книги убеждали Ивана Матвеича в его правоте; по врожденному простодушию он воспринял неудачу своего хождения как рядовое недоразумение. Подобно дяде своему Афанасию, до старости по-детски верил он, что стòит только в непринужденной обстановке изложить противникам свои лесные тревòги — и Грацианский, а следом и Гришка Чередилов, заливаясь слезами, ринутся к нему в объятья примиренья. В ближайшее воскресное утро Иван Матвеич отправился поездом к Гришке на дачу. Стоял прелестный июньский денек, да и самая прогулка по вековому, только в тех местностях и сохранившемуся бору доставляла глубокое эстетическое удовлетворение. Чередиловская усадьба скрывалась от людского глаза за высоким забором с гребенкой ржавых гвоздей поверху и представляла отменное место как для укрепления здоровья с помощью сосновых воспарений, так и для некоторых социально-этических наблюдений. Окружающие деревья содержались там в образцовом порядке, почва нежнейшим образом взрыхлена у корней, а сушняк всюду до крон обрезан домашней пилкой; обилие скворешен, похожих на однокомнатные квартирки для пернатых молодоженов, также указывало на заботливость хозяина, чтоб всем в радиусе его персональной собственности было хорошо. Равным образом нежились у Григория Павловича и растения, в поразительном разнообразии размещенные там и сям, от обычного крыжовничка до маньчжурского ореха, посаженного в такой тени скорее для полноты житейских ощущений, нежели в надежде на получение плодов. Словом, то был небольшой, на полгек-

тара, но тщательно оборудованный, через нотариуса оформленный раишко, откуда в особенности плодотворно мечтается о будущем.

Едва вошел — тотчас косматая, неизвестной породы тварь с трехколенным рыдающим лаем рванулась Ивану Матвеичу навстречу; только цепь да еще милосердный водитель, мывший автомашину, не допустили ее растерзать смельчака. Обойдя сторонкой, между шпалер цветущего горошка, посетитель направился к двухэтажному деревянному строению с башнями и бойницами в виде мирных террас, забаррикадированных кущами винограда. Еще от самой калитки Иван Матвеич заметил чей-то настороженный глазок, наблюдавший за ним сверху сквозь слегка раздвинутую зелень; сразу узнав Чередилова в пижаме, Иван Матвеич непринужденно помахал ему шляпой, и тому стало бессмысленно прятаться дольше.

— О-о, это ты! — произнес он сверху без особого радушия, зато и без гнева за потревоженный покой.— А я недоумеваю, кто бы это в гости собрался без предуведомления... оказывается, *он* и есть, собственной персоной. Так-так, не ждал... но очень хорошо. Ну, как ты там?.. слыхать, все пописываешь?

— Да, брат, было у меня намерение всю бумагу на свете исписать... однако фабрики шибче меня работают, не поспеваю,— пошутил Иван Матвеич, вытирая испарину с шеи и со лба.— Ты уж извини, что я тебя там, в храме науки-то, третьего дня не дождался...

— Ничего,— не уловив юмора, простил Чередилов.— Однако как же это я машины твоей, братец, не расслышал?.. или ты на велосипеде из города примахал?

Пожалуй, сразу же после этого Ивану Матвеичу надлежало в целях самосохранения повернуться и уйти, но, по призванию ученого, он никогда не позволял личным мотивам ослаблять свою научную любознательность к явлениям живой природы.

— А я, брат, поездом... оно как-то и полезно иногда в нашем возрасте пешком пройтись. Собрался было одного больного товарища поблизости навестить, а он, окаянный, в командировку укатил,— легкомысленно придумал Иван Матвеич.— Вот и соблазнился заскочить мимоходом, чтобы кое-что обсудить с тобой начистоту... Вроде припаривает нынче, к грозе... не находишь?

— То есть это в каком же смысле... обсудить? — насторожился Чередилов, вывешивая голову из винограда.

— Ну, о жизни вообще потолковать,— тоскливо засмеялся Иван Матвеич, поглаживая шею.— Не все же тебе на свете известно... глядишь, новенькое что-нибудь сообщу!

— Нет, ты все же наметь приблизительно, браток, что̀ именно ты намереваешься обсуждать! — настаивал тот на верхней террасе, потому что не мог позволить, чтобы его, номенклатурного работника, этак бесцеремонно и на людях вовлекали в какую-нибудь нежелательную бездну.

— Все о том же потолковать, Григорий Павлович... о лесе, о книжках моих, о твоем отношении к ним,— вдруг весь как-то до пакостной тошноты ослабнув, уточнил Иван Матвеич и опять не ушел, чтоб ни у кого не осталось впечатления, будто обижается на товарищескую критику.

— Так-так...— неуверенно пробасил Чередилов с верхней террасы и задумался; между прочим, он исчез куда-то минутки на полторы, после чего снова появился как ни в чем не бывало.— Что ж, я не прочь, браток... если это может принести тебе пользу.

Собственно Иван Матвеич предполагал, что встреча эта произойдет несколько теплее. У него и в мыслях не было просить чего-либо у Чередилова вроде заступничества от неминуемых бед, ему только хотелось удержать этого беззаботного и когда-то неплохого в душе лежебоку от вредных для леса заблуждений, которыми тот успел заразиться от Грацианского. Нельзя сказать, чтобы и пришел Иван Матвеич некстати: у Чередилова были воскресные гости. Из открытых окон пахло подгоревшим праздничным пирогом и доносился звон расставляемой посуды пополам с лихими взвизгами патефона про какую-то сударушку. Вдобавок Ивана Матвеича мучила жажда, так что всю дорогу со станции чудился ему запотелый жбан домашнего кваску, но напрасно ждал он, что сейчас его пригласят наверх, в самый рай. Он просто не понимал, что после разносной статьи да еще накануне проработки подобный визит мог не только испортить скромное, в кругу друзей и семьи, чередиловское отдохновение, но в известном смысле и бросить тень на хозяина. Вместе с тем Чередилову лестно было, что этот наконец-то пошатнувшийся лесной скандалист сам притащился к нему на

поклон... и вот уже не мог избавиться от искушенья проучить его немножко за ту давнюю, непрощенную ночку в Пашутине, когда Вихров с зевотой, даже свысока, выслушивал его исповедь.

— Нет-нет, Иван, я совсем не прочь поделиться с тобой своими соображениями,— повторил сверху Чередилов тоном озабоченного участия.— Начать с того, что, между нами говоря, мне в какой-то степени и нравятся книги твои, не столько ихнее содержание, как самое это... ну, безустанное горение твое. Оно, разумеется, нельзя и не гореть в такую эпоху: все горим... но гори, братец ты мой, как-нибудь попрохладнее! Я не меньше твоего люблю природу, а побродить с лукошком по лесу, сам знаешь, вторая страсть моя... но ведь ты же бубнишь столько лет подряд, извини за откровенность, да еще каким-то заклинательным языком, про это самое постоянство лесопользования. Хоть уши затыкай! Пойми же... я и сам не знаю, почему, но только не прижилось у нас это слово... ну, замени его интенсивным лесохозяйством, воспроизводством леса замени, на худой конец. Надо, братец, так выражать свои суждения, чтобы вызывать у собеседника приятное движение мысли, а не заворот кишок... Другое дело Грацианский... так ведь это же талант! Ну, чего ты, и без того весь в крови, сам лезешь к нему на рожон... сделай милость, объясни... зачем тебе, например, было участвовать в похоронах Тулякова?

— Это был большой ученый и мой учитель,— тихо и строго сказал Иван Матвеич.— Кроме того, за его гробом шло и твое тогдашнее начальство. Таким образом.

— Мало ли что начальству дозволено... а ты вспомни мудрых сыновей ноевых, отвернись. Пойми, я тебя не благонравию или подхалимству учу, Иван, а общественному такту. Скажи, чего тебе было затевать этот великий плач над дровяным поленом? Ну, рубят, водоохранные рубят... и чорт с ними! Ну, сыплется добро сквозь пальцы... так ведь не с тебя же взыщут за растрату? Иное дело, если бы тебе штатным образом, с зарплатой, поручили это самое лесное казначейство.

— Никто не может поручить мне моих гражданских обязанностей,— суховато отвечал Иван Матвеич, переступая с ноги на ногу.— Именно мы с тобой обязаны думать об этом, потому что за нами движется армия в миллион

нерассуждающих и безупречной стали топоров. Смысл моих знаний, я полагаю, в том, чтоб содержать в порядке лес и сигнализировать народу о всех изменениях в его состоянии. Сам суди, Григорий, как поступили бы с разведчиком, который регулярно доставляет приятные начальству, но заведомо ложные сведения...

— Эка, куда загнул, в общественные манометры записался! — сокрушенно осудил Чередилов и тут присел на что-то своевременно подставленное супругой, чтоб не слишком утомляться в воскресный день.— Я тебя не отговариваю, но ведь не каменный же ты. Помахал флажком разок-другой и отступи в сторонку: задавит тебя паровозищем, чудило ты лесное. Дай людям жить, и сам проживешь сто семнадцать лет с гаком...

Тут уж никак невозможно стало не коснуться текущих лесных дел, причем Чередилов не придерживался какой-либо одной точки зрения из тех геометрических соображений, что только три единовременных могут обеспечить прочное сцепленье с заданной плоскостью. На изложение всех трех у него не хватило бы времени до обеда, поэтому он ограничился старинными советами Грацианского волноваться похладнокровнее, погулять некоторое время под черным паром, а если уж в руке зазудит, то написать что-нибудь безобидное, примерно, про роль камбия в растительном организме, да и то направляя главные силы на борьбу с пережитками идеализма в сознании современников. Все это Чередилов излагал деревянно-назидательным тоном, как из радиоприемника, и было очень странно Вихрову, что тот же человек когда-то певал свою коронную *Ноченьку* на студенческих пирушках, да так певал, что леденящим холодком прохватывало душу и дымкой застилались у слушателей глаза.

Настроение Ивана Матвеича резко падало, а тут еще небо затемнилось тучками, и вдобавок болезненно затекала шея от необходимости стоять длительное время с задранной головой. Но речь шла о самом важном в его жизни, и он опять пренебрег личными неудобствами.

— Я раскусил тебя, Григорий,— отвечал он с резкостью, пожалуй, несколько неуместной в его положении.— В обмен на блага жизни ты предлагаешь мне надеть лисью личину, но мне как-то жаль расставаться с человеческим обликом, к которому я привык. Вот я и пришел

тебе сказать, что ты не слишком добросовестно листал мое злосчастное сочинение. Перед всей страной ты приписал мне намерение поставить индустриализацию на паек, но ни словом не обмолвился о моих обстоятельных таблицах: где, как и сколько можно взять древесины без разорения лесных фондов. Ты обвинил меня в сознательном замалчивании бедственного состояния лесных рабочих при царизме, хотя у меня на трех страницах расписано, как некий Кнышев кормил гнильем енежских лесорубов... Сам подбери на досуге названье такому деятелю, который сознательно подкладывает воровскую улику в карман своему хоть и бывшему товарищу!.. И, наконец, ты решился в сговоре с Грацианским...

— Позволь,— чуть бледнея, перебил Чередилов,— что-то забывать я стал к старости... это какой же Кнышев? Не тот ли, что двадцать пять целкачей от щедрот своих тебе отвалил?

Внезапно музыка в доме оборвалась, и одновременно с порывом ветра дождик вскользь стеганул по железной кровле, несколько капель упало и на обращенное вверх лицо Ивана Матвеича. Слышно было, как проснувшийся на террасе мужчина спелым голосом попросил пивка либо коктейлика, абы холодненького, и на него зашикали в десяток голосов, потому что теперь уже все домочадцы и гости из безопасного укрытия наслаждались даровым развлеченьем.

— В нашей честной стране труд чтится выше всего, Григорий, и оттого... если бы даже книга моя оказалась худшей из всех... напечатанных однакоже с дозволения начальства... тебе надлежало бы отнестись с уважением к работе своего товарища,— морщась от дождя, заливавшего ему глазницы, строго и важно выговаривал нижний собеседник.— Некто Плиний утверждал даже, что не бывает на свете такой плохой книги, из которой разумный читатель не извлек бы пользы для себя.

— А что по этому поводу изрек твой Бернард де Клерво? — в ярости рванулся верхний сквозь виноград, и видно было, как протянувшиеся отовсюду руки оттаскивали его от балюстрады, чтобы не выпал наружу.

— Я не жалею леса, когда надо прорваться сквозь огненное кольцо всенародного несчастья,—уже под проливным дождем, вместе с воздухом глотая его, продолжал

Иван Матвеич,— но я считаю злыми людьми тех, кто и в мирное время призывает расправляться с ним по обычаю военного времени. Поэтому и наша беседа из схватки лесохозяйственных идей перерастает в...

— Ну-ну, уточни свои позиции! — зловеще, с риском повредить здоровье посредством простуды, высунулся наружу Чередилов.

— Я хочу сказать... перерастает в борьбу политическую.

Что-то звонко упало в доме и разбилось, потом напряженный женский голос позвал было из глубины: «Гриша, да иди же к столу, у тебя гости!..» Продолжение потонуло в шуме ливня, хлестнувшего как из ведра. Несколько мгновений Чередилов в бешенстве глядел на хромого, устрашающе спокойного человека там, внизу.

— А ты, я вижу, здорово пропитался хамством от своей родни!.. это не папаша ли твой, помнится, вышибалой-то в Питере служил? — сквозь бурю прокричал Чередилов.

Тогда Иван Матвеич повернулся и с сознанием исполненного долга, уже не боясь промокнуть, двинулся назад к калитке. Гроза усиливалась, веселая и озорная, травы и ветви плясали вместе с ней. Видно было на лесных прогалинках, как крохотными радугами взрывались розовые с золотцем брызги, потому что солнышко уже проглянуло в изнемогшей, надорванной высоте.. Громыхнуло еще разок, затем волшебная духовитая нега разлилась в омытой природе. Пиджак у Ивана Матвеича дымился от ходьбы, когда добрался до станции, и почему-то пассажиры уступили ему очередь у билетной кассы, и он не отказался от этой чести с видом человека, только что выдержавшего за них серьезную битву.

Он не огорчался происшедшим, так как профессия лесника всегда в большей или меньшей степени сопряжена с риском попасть в непогоду.

3

Расплата пришла через месяц, когда под воздействием чередиловской статьи на ученом совете Лесохозяйственного института был поставлен отчетный доклад Вихрова. Особая комиссия во главе с Грацианским десять дней изучала его преподавательскую деятельность, и переда-

вали шепотком, будто по прочтении обследовательского акта на шестидесяти трех страницах Тараканцев пропел старческим фальцетом на мотив из *Онегина:* «уби-ит». Все понимали, что вопрос о снятии Вихрова с кафедры предрешен, и на публичное заседание собирались с единственной, так и не оправдавшейся целью — послушать для ориентировки выступления наиболее выдающихся умов лесной науки... Собрание происходило в переполненном актовом зале института, где когда-то гремели мазурки екатерининского вельможи. В заднем левом углу, под хорами, обособленно сидели вертодоксы Грацианского, среди которых особо выделялась своим решительным видом ведущая триада его группы: товарищи Андрейчик, Ейчик и просто Чик, самый пожилой и опасный, с вислыми седыми усами и в очках телескопического устройства; к слову, лесная общественность благоразумно старалась не замечать анекдотического совпадения фамилий. Едва начался доклад, некурящий Чик с прокурорским видом уселся с блокнотом в переднем ряду, остальные два выбрались в коридор, откуда с папиросками заглядывали в дверь, перемигиваясь и дожидаясь своей очереди. Сам Грацианский отсутствовал по случаю, как почтительно шептались в кулуарах, резкого падения гемоглобина в надорванном организме.

Предвидя все наперед, Иван Матвеич уложил свои объяснения в половину отпущенного ему времени. Не касаясь вопросов кафедры, и вместо того, чтобы каяться в приписанных ему преступлениях, он прямо начал с изложения своих общеизвестных теорий, причем делал это с таким строптивым спокойствием и ясностью, словно малые дети сидели перед ним, словно дразнил свою судьбу, наконец; цифры он напамять чертил мелом на доске. Впрочем, уже не рассчитывая на свой пошатнувшийся авторитет, он часто ссылался на суждения выдающихся людей России о лесе, даже до того дошел, что привел цитату совсем уже не лесника, а всего лишь химика Менделеева о том, что будто бы мы должны оставить потомкам не меньше, чем получили сами. Еще более огорчило друзей его, сочтенное за преступный пессимизм, упоминание, через сколько лет любое искусственное насаждение сможет сравниться с корабельной рощей петровой посадки, с запасом в пятьсот кубов с гектара. И в

заключение вызвал бурю негодованья не только во враждебном лагере, но и среди части президиума своим дерзким согласием выслушать и обсудить встречные положительные предложения от противной стороны.

— In articulo mortis[1] следовало бы вести себя поприличней,— подал реплику с места Чик и оскорбленно пошумел блокнотом.

Чтобы не утомлять собрания цифрами, содоклад комиссии как раз и не касался вихровских статистических таблиц и расчетов; зато в нем подробно разбирались вихровские возражения против сплошных рубок, якобы нарушающих какое-то там установившееся равновесие в данном растительном сообществе. Получается, по Вихрову, говорилось в содокладе, что природа действует стихийно, человек же сознательно, потому что ослабляет в ней одно и усиливает другое. Следственно, по Вихрову, человек и природа являются антагонистами и труд человека есть нечто враждебное по отношению к природе. Отсюда комиссия делала вывод, что Вихров считает человека бессильным согласовать свою деятельность с природой, познать ее процессы, что прямиком ведет к опаснейшему агностицизму. Правда, Вихров-то как раз и призывал к изучению лесных закономерностей для овладения стихиями, но это была уже частность, которой в суматохе можно было и пренебречь... Отсюда вытекало, что Вихров проповедует студентам конфликт человека и природы, сознания и стихии, духа и материи, что̀ было уж совсем нехорошо, так как отзывало поповщиной. Все это вместе доказывало причастность Вихрова к кантианству, спенсеровщине, махизму, дохманизму и до некоторой степени вакулианству, причем подразумевался застарелый институтский сторож Вакула Треперещенко, непримиримо и вопреки доводам просвещения веривший в загробную жизнь... Дальнейшие прения пошли как бы в концертном исполнении.

После скомканного выступления Осьминова и других сконфуженных сторонников Вихрова, после речи Таранцева, где он констатировал, что перманентная денудация, хотя и стимулирует метаморфизацию биогеоценоза, ceterum не идентифицируется с его деградацией,— после

---

[1] Перед кончиной *(лат.)*.

всего этого выпущен был для затравки один из вертодоксов. Этот с полного разбегу указал, что вихровское требование возрастающей доходности леса заставляет вспомнить о прусском юнкерстве, которое как раз посредством постоянного лесохозяйства и стремилось сделать свои латифундии источником постоянной ренты. Именно через это понятие, давно освистанное в Советской стране, легко проглядывалась склонность Вихрова к чуждым и прямо враждебным социально-экономическим системам... да и вообще, говорил он, не мешало бы попристальнее рассмотреть некоторые личные, преждевременно подзабытые связи Вихрова со старым миром... в частности, через его супругу с одной помещицей из Померании, начисто оголившей Енгу́. Отсюда вытекало с наглядностью, что Вихров-то и является главным заправилой и апологетом лесоистребления, сознательно стремящимся ограничить возобновленье лесов, то есть поставить социалистических потомков в безвыходное положение. «Из уваженья к этим стенам мы умолчим о политической подоплеке вихровских побуждений, тем не менее они-то и вызывают необходимость срочных в отношении него мероприятий...» Вслед за тем, не давая передышки собранию, на трибуну поднялся Чик, и, пока он шел, неуклюжий, как осадное орудие, чуть вразвалку, поскрипывая и посмеиваясь в усы ничтожности повода, ради которого его оторвали от иных великих дел, в такт его шагам колебалась и кафедра под Вихровым.

Чик начал с шутливого признания, что никогда в русских лесах не бывал, хотя, будучи помоложе, в эмиграции, немало побродил по тирольским, так называемым *дауэрвальдам*... впрочем, скорее из склонности к туризму бродил, нежели из интереса к этому столь же дикому пережитку древности, как борода на мыслящем существе нашей передовой эпохи. И вообще, по его прогнозам, лес, как малооперативная культура, в ближайшем будущем уступит место растениям с меньшим периодом выращивания, как, например, конопля или, скажем, боккония. Тем не менее его, Чика, якобы крайне позабавила рыдальная тирада хромого профессора, произнесенная in memoriam лесов лиственных и хвойных вдовьим голосом Ярославны и в орнаментальном стиле Даниила Заточника.

— Я бы сказал, что содержание выслушанного доклада представляет собою море смеху,— с задышкой и

тоном балованного любимца публики говорил Чик,— и указывает на детскую, с позволения сказать, завидную необремененность мыслями сидящего перед нами представителя лесного гуманизма... хотя вряд ли в такое громокипящее время наше общество может мириться с сентиментальным отношением к лесу и даже с обожествлением обыкновенного бревна. Это напоминает мне другого нашего отечественного лесовода, Граффа, который покидая Велико-Анадольское лесничество, в совершенно трезвом виде обнимал на прощанье все древесные стволы по очереди... и даже, если хотите, еще более умилительного комика, а именно — умершего в 1874 году полковника корпуса лесничих, управляющего госимуществом Тульской губернии, просившего в завещании нарезать ему в гроб еловых веточек — в надежде, что древеса простят ему сие бесполезное увечье, хе-хе!.. Я и раньше имел печальное удовольствие ознакомиться с одним сочинением нашего простодушного коллеги, название которого, как на грех, вылетело у меня из головы... и меня в особенности поразили — как его хлопотливое усердие, так и непритязательная тяга на всяких посредственных мыслителей... безотносительно к их социальному лицу. О, конечно, Бернард де Клерво считал своими учителями дубы и буки, чем, надо полагать, и объясняется моральная высота его учения, а Фома Кемпийский обретал душевный покой лишь в лесах густолиственных... однако воспитателю нашей чуткой, прекрасной молодежи полагалось бы знать, что мы давно отказались от обывательского покоя во имя перманентных освободительных бурь. И уж если автор хочет распотешить доупаду советского читателя, я бы посоветовал ему завербовать в свою тесную компанию и старину Конфуция, благо и тот, помнится, изрекал нечто глубокомысленное насчет полезности кипарисов! Нет, животрепещущий коллега, избавьте нас от своих причитаний, уберите с нашей столбовой дороги ваших полупочтенных покойничков, начиная с помянутого Бернарда — одного из поджигателей первого крестового похода. Уж как-нибудь без тухлых, шестисотлетней давности варягов разберемся в наших суверенных, хоть и подзапущенных лесных делах!.. Нет, позвольте вам напомнить, мой лесолюбивый коллега, что мыслящий человек начался именно в тот день, когда он, спустясь с дерева, вышел из

девственной лесной трущобы в открытое поле. Таким образом, уничтожение лесов есть явление если и не совсем прогрессивное, то, во всяком случае, вполне закономерное в процессе развития культуры... и страны Запада давно успели освободиться от этих тормозящих ее развитие пут. В частности, Дод Доддлей уже в 1665-м и Кольбер четыре года спустя пророчили непоправимые несчастия своим государствам вследствие лесоистребления... однако и поныне отсутствие лесов не мешает им не только зажиточно существовать, но и строить козни могущественной стране, владеющей чуть ли не третью мирового запаса древесины, хо-хо!.. Вихровское же сравнение леса с мифическим Атлантом, якобы в продолжение столетий державшим на себе небо всемирной экономики, невольно вызывает в памяти образ атлантова брата, Прометея, имя которого, скорее индогерманское prâmathyus, чем греческое, означает *трущий дерево о дерево* в целях извлечения огня. Следовательно, будь Прометей сторонником обсуждаемого нами профессора, ipso facto, никогда бы пламени даже буржуазного прогресса не возгореться на земном шаре! Но если господин Вихров относится так к прогрессу буржуазному, легко себе представить, как он расправился бы с нашим, пролетарским,— дай ему власть! Кстати, кое-кто из буржуазных сивилл уже неоднократно грозил нам всевозможными последствиями за наше мужественное поведение в истории, и мы не позволим кому-либо шантажировать нас рассуждениями о лысой планете... тем более что и сам я, как видите, не обладаю богатым растительным покровом... даже напротив! — и он погладил свое совершенно лысое темя,— однако не испытываю от того чрезмерных неудобств... разве только в отношении представительниц прекрасного пола, которые никак не желают простить мне отсутствие поэтической шевелюры...

— Как вам не стыдно, старый вы, неопрятный человек! — с места сказал Вихров, качая головой, и все подивились его бесстрашию в такую минуту.

Как ни в чем не бывало Чик налил себе воды из графина.

— Но надо отдать должное энтузиазму, с каким этот воинствующий лесной раделец зовет нас назад, в джунгли,— сказал в заключенье Чик.— Я и сам не отрицаю известной прелести и дешевизны первобытного существо-

вания, но боюсь, что по дряхлости и весу лично мне уже трудно будет усидеть на самом комфортабельном суку. Надо думать, мало уважаемый коллега оценит наше искреннее стремление освободить его от стеснительных уз цивилизации и занимаемой должности. Доброго пути вам назад, в лес in saecula saeculorum [1], бородатое дитя природы.

Еще не бывало случая в его многолетней практике, чтобы после получасового фейерверка имен, цитат и анекдотов, значительно сокращенных в данном пересказе, он возвращался на место без аплодисментов. Все смущенно глядели куда-то в колени себе, кроме вертодоксов, жарко выражавших свое восхищение начавшейся расправой; однако и среди них заметно было некоторое замешательство, а двое с папиросками уже не рвались в бой из засады. Аудитория обращала сочувственные взоры к Вихрову, безучастно ждавшему своего жребия, но именно в эту минуту на поле битвы и появился сам Грацианский об руку со своим любимейшим учеником. Казалось, лишь исключительное мужество могло подвигнуть человека в подобном состоянии на выполнение общественного и нравственного долга. Небритый, шаркая и вроде как умирая на каждом шагу, он проходил мимо затихших рядов, утопив подбородок в шерстяном шарфе, намотанном вокруг шеи, и с видом того скорбного торжества, с каким приходят на похороны лица, слишком долго отказывавшего современникам в этом маленьком удовольствии. Однако, несмотря на недостающий гемоглобин, искорки дьявольского вдохновенья посверкивали из-под его мертвенно-приспущенных век по мере того, как сокращалось расстояние до жертвы. Ввиду столь явного нездоровья он поднялся прямо на трибуну, прежде чем смущенный председатель успел предоставить ему внеочередное слово.

Некоторое время с опущенными долу глазами и в мертвой тишине Александр Яковлевич предавался усиленному молчанию, то ли сбираясь с силами, то ли давая рассеяться нахлынувшим воспоминаниям.

— Здравствуй, Иван... где ты там, откликнись! — произнес он, наконец, сдавленным голосом, обращая незрячий взор на Вихрова, сидевшего чуть наискосок, в пяти шагах, с самым землистым лицом, какое может быть у жи-

[1] Во веки веков *(лат.)*.

вого человека.— Здравствуй, бывший брат, бывший друг... Как видишь, я очень болен, но виноватое сознание нашей долголетней общности подняло меня с моей одинокой койки, э... не только затем, чтобы публично покаяться в моих давних связях с тобою, а, прежде всего, чтоб проститься с тобой навсегда... Десятилетия подряд мы шли с тобой, если не рука в руку, то нога в ногу, и, верь мне, совесть моя чиста. В меру сил моих я сотни раз стремился удержать тебя от пропасти, какая... о, нет, я не только Кнышева имею в виду!.. так коварно манила тебя к себе. Признаюсь, порой я делал это слишком резко, но общественная репутация друга всегда была мне дороже его личного расположения... и, сам знаешь, не щадят ни прически, ни самих волос, когда тащат погибающего из пучины. А какие прекрасные вещи мог бы ты создать на радость здесь собравшихся, э... передовых лесников нашей любимой страны, если бы на другие цели обратил ты калории и киловатты своей опасной, незаурядной энергии!..— и тут голос Александра Яковлевича исполнился тягучей, даже несколько виолончельной тоски.

— Начинайте же говорить по существу дела, Грацианский...— отважно бросил было Осьминов и даже встал, но тотчас же и опустился на место, не выдержав его тусклого, леденящего взгляда.

— В эту крайнюю минуту расставания хочется мне, Иван, еще раз перечислить те грозные разногласия, что навечно разлучили нас,— продолжал Александр Яковлевич все тем же тоном надгробного рыдания.— Ты хлопотал о гражданских правах для леса, тайком пытаясь освободить его от гражданских обязанностей... именно в ту пору, когда каннибалы современности, Кнышевы, без усилий, э... сломившие тебе хребет, пытаются и всех нас повалить наземь. Да, мы любили тебя... но разве могли мы беречь твой лес и ждать мильярды лет, пока он свалится сам и станет антрацитом? Так распахни же свою грудь, Ваня, покажи нам по-братски, какой недуг гложет тебя изнутри, э... чтобы мы могли иссечь его оттуда. Поясни нам, простым людям, с каких политических позиций призывал ты нас раздумывать перед каждым ударом топора? А при своей светлой голове и почти несомненных знаниях не мог же ты не знать, Иванушка, что одна минута, помноженная на мильон советских лесорубов, составит два

года простоя... На краю бездны сознайся, наконец, ради каких адских целей стремился ты ограничить советские рубки годовым приростом, другими словами — осиротить котлованы наших пятилеток?

— Да позовите же милицию... пора прекратить этот балаган! — крикнул кто-то сзади измененным из предосторожности голосом.

Подобие шквала пронеслось по собранию.

— Лес — это вода,— не сдержался с места Осьминов.— Так кто же тогда... может быть, суховей будет крутить наши турбины?

— Не скандальте на гражданской панихиде...— полуобернувшись, огрызнулся Чик, и в этом месте что-то дрогнуло в голосе Александра Яковлевича, как это бывает у вдов при первом ударе молотка по гробовой крышке.

— Вот мы зовем тебя в тысячу голосов, Иван, но ты не откликаешься. С великой болью мы разойдемся отсюда, чтобы беззаветным трудом возместить так и не осознанный тобою ущерб от твоих писаний. Но я бросаю эту горсть земли в твою преждевременную могилу с чувством признательности за все те радости и, к сожалению, э... неоправдавшиеся надежды, какими ты дарил нас, Иван, в годы младости и нашей совместной революционной борьбы!..

Те, кто сидел поближе, видели даже слезу у Александра Яковлевича, довольно крупного размера и, видимо из-за освещенья, желтоватого цвета, когда он спускался с трибуны; сразу же закатав в доху, вертодоксы повезли его домой наверстывать потраченный гемоглобин... Однако проделанная ими работа была значительно ослаблена секретарем партийной организации института. Это был сравнительно молодой человек, дипломант по кафедре механизации и из того отличного пополнения партийной интеллигенции, что приходила к общественному руководству прямо из помянутых котлованов очередной пятилетки. По специальности далекий от происходивших в то время лесных разногласий, он не примыкал ни к одной из враждующих сторон, но самый характер дискуссии задел его горячую, деловую прямоту. Не становясь на защиту Вихрова, он едко заметил, что сомнительное полемическое новаторство его противников вряд ли к лицу строителям коммунизма, да еще при решеньи важнейших задач народнохозяйственной жизни. Относясь со всемер-

ным почтением к прошлому профессора Грацианского, секретарь все же назвал его речь припадком буржуазного красноречия, направленного к затемненью истины: цифры приличней всего опровергать цифрами же, сказал он. И, наконец, резко осудил недостойную развязность товарища Чика, посмевшего в своем выступленьи общественную критику сравнить с горячей сковородой... От заключительного слова Иван Матвеич отказался. К ночи стало известно, что стенограмму заседанья затребовали вверх.

Тем не менее на следующий вечер были назначены перевыборы на вихровской кафедре и заготовлены бюллетени для тайного голосованья. Уже молва отправляла опального Вихрова куда-то в алтайское лесничество, а на его место прочили почему-то Чередилова, хотя, по общему мнению, он едва годился бы в завхозы похоронного бюро... как вдруг первый получил на выборах большинство голосов с одновременным сообщением об изгнании второго из стен Лесонаучного комитета. Наутро в кипе телеграфных поздравлений Иван Матвеич нашел и послание от перепуганного Грацианского за подписью всех вертодоксов и с перечислением его достоинств, каких он и не подозревал в себе. Это памятное событие 1936 года почти не повлияло на здоровье и общественное положение Ивана Матвеича, если пренебречь двухлетним молчанием, когда не было написано ни строки. Лишь в самый канун большой войны неожиданно вышло в свет его двухтомное *Введение в науку о лесе,* воспринятое Грацианским как коварное нарушение перемирия. Исключительной разоблачительной силы критика на эту книгу и породила грозные, помянутые вначале и, по счастью, неоправдавшиеся слухи о выдвижении Александра Яковлевича в члены-корреспонденты Академии наук.

То был зенит его славы; считалось неприличным не упомянуть имя Грацианского в одной строке с выдающимися деятелями советского земледелия, садоводства и огородничества. Уже сам Иван Матвеич склонял перед ним голову с чувством вины, не за свои теории, впрочем, а от сознания ограниченности своего разума, неспособного понять величие этого деятеля. И хотя ничто пока не предвещало заката в судьбе Александра Яковлевича, какая-то непостижимая ущербность внезапно появилась во всем облике его и в поведеньи. Он стал заискивать у скромных,

обычно умолкавших в его присутствии сотрудников, часто заговаривал о своем намереньи вернуться к чистой математике или к исторической деятельности, почти молящим взором скользил за Иваном Матвеичем, когда тот хромающей походкой пробегал мимо него.

...Случилось, в конце сентября 1941 года на последнем заседании, где обсуждались вопросы эвакуации, они оказались за одним столом. Внезапно, без объявления тревоги, загрохотали зенитки кругом, и ученый совет перебрался в сводчатый подвал, где когда-то хранились спиртные запасы екатерининского вельможи.

— Заметь, Иван, столетия прошли, а еще пахнут стены-то: дыхание Диóниса! — шопотом поделился Александр Яковлевич, плечом касаясь вихровского плеча.— Как видно, Москву покидать не собираешься? Я, брат, тоже надумал остаться... надо же кому-нибудь присматривать за институтом... Говорят, ты еще одну книгу закончил? Страшный ты человек, Иванище, во всякую погоду бежит твоя стружечка, и никакая ржавчина к тебе не пристает.— Иван Матвеич все отмалчивался, и тот решился на прямой вопрос: — Опять что-нибудь эпохальное, в трех томах?

— Нет, на этот раз просто руководство по применению леса в долговременной обороне,— суховато отвечал Иван Матвеич, хотя на самом деле он занимался тогда авиадревесиной.— Одно время я интересовался технологией сырого дерева... таким образом.

— Ты поосторожней, не увлекайся. Я, брат, и сам правой рукой пишу, а левой в то же самое время вычеркиваю. Вот попалась мне на-днях стенограмма твоей вступительной лекции в этом году: читал я и за голову хватался. Ну, зачем тебе снова и снова дразнить гусей, Иван? Ты сообрази только: *они* объявляют *все это* опиумом для народа, а ты...

— Кто это *они?* — нахмурился Иван Матвеич.— Они — это *мы.*

— Вот и я говорю... мы. Война же, а ты перед незрелой молодежью заводишь волынку про лешего, про каких-то пустынников... да еще на своем древнерусском жаргоне.

— Этот жаргон — язык моих дедов...на каком же воровском воляпюке прикажешь мне изъясняться? — обо-

злился вконец Иван Матвеич.— Кроме того, я привык уважать здравый смысл моей аудитории. Теперь давай помолчим, мы мешаем заседанью... Таким образом.

Через минуту Александр Яковлевич возобновил свою непонятную пока атаку:

— Вот мы уже и старики, Иван, так и сойдем под плиту, не объяснившись... а надо бы, а?.. Нет, надо бы нам посидеть с тобой за каким-нибудь тысячеградусным винишком, и чтоб грохот кругом, и чтоб друг дружке в зрачок глядеть при этом. Авось, под бомбами-то кривить душой не станем?

— Потом когда-нибудь потолкуем... вот, когда победим,— уклонялся Иван Матвеич.

— Да-да, мы непременно победим... хоть, боюсь, не скоро. Надо нам раньше встретиться... не прогонишь, если я постучусь к тебе на-днях, вечерком? — и, не получив ответа, прибавил совсем тихо, чтобы можно было отречься от сказанного: — Ты большой человек, и владеешь своим неиссякаемым родничком живой воды, а я... я очень одинок и несчастен, Иван.

— Что-то липучий ты сегодня, но... хорошо, приходи.— И впервые после многих лет с любопытством взглянул в его потемневшее, изнутри обугленное лицо: ему было уже известно, что вертодоксы Грацианского стали потихоньку перебегать к одной новой, невыясненного пока направления, восходящей звезде.

Что-то сжигало Александра Яковлевича; возможно, внезапный страх азартного игрока перед своей неизменной фортуной, четверть века подряд ослеплявшей его современников. И значит, несмотря на все, так верил в свою правду Иван Матвеич, что решился на последнюю попытку убедить этого коварного, всесильного в их крохотном мирке человека.

Вскорости после того Александр Яковлевич испугался еще раз, уже не на шутку.

4

Наступала самая жаркая пора в обороне советской столицы... В последующем ходе войны случилось еще немало кровопролитных эпизодов, затмивших величайшие сраженья прошлого территориальной протяженностью,

количеством участников, сложностью стратегического маневра, но подмосковные события того периода превосходили всех их своим значением для мировой истории. На общем собрании Деевского оборотного депо, где обсуждалась постройка бронепоезда в подарок фронту, Морщихин так и назвал их: школой будущей победы.

Еще до наступления зимы сорок первого года стало ясно, что неприятельские расчеты на быстрое поражение советских армий не оправдались. Хвастливые шесть недель, положенные на овладенье древней столицей, превращались в шесть месяцев, и все еще до Москвы было дальше, чем при ином варианте до берегов Америки. Отборные кадровые части германского фашизма полегли на белорусских полях гораздо раньше, чем выпал ранний в том году мокроватый снежок. Наспех разбавленная пополнениями второй очереди, германская машина еще катилась на восток, но скорость продвиженья с начальных шестидесяти километров в сутки пала до двух, да и те доставались по неслыханной для Европы цене. Завоевателям помнилось со школьной скамьи, что перед ними равнина, а там оказались неприступные, не помеченные на картах горы: сопротивление великого народа. Тогда упрямство и отчаяние надоумили берлинский штаб на попытку еще раз солдатским телом проломить советскую оборону. Судорожный октябрьский рывок привел фашистскую Германию на дальние подступы к Москве, где месяца полтора спустя должна была состояться знаменитая битва, почти повторение Бородина, но с иными следствиями и на площади уже в сто двадцать тысяч квадратных километров.

Москва находилась от вражеских полчищ на расстоянии перехода — сказочный мираж прежних завоевателей и первейшая крепость нового мира. В предвкушении отдыха и тепла, солдатских утех и добычи пятьдесят вражеских дивизий разместились на исходных рубежах со своим боевым скарбом; снежок таял на разогретом в бою железе и стекал в смотровые щели. Закутанные в краденое тряпье, дыханьем грея коченеющие ладони, завоеватели силились разглядеть что-нибудь утешительное во мгле русского зазимка, но ничего там не было — ни куполов золотых, ни коленопреклоненных советских бояр с городскими ключами на блюде из ценного металла. Только в

кроткой красе сияли посеребренные леса да струилась по кочковатым полям поземка. Здесь фашистской Германии предстояло испытать наиболее кровавое разочарованье из всех, когда-либо выпадавших на долю чванливых и неосторожных армий.

Вторичная германская попытка с ходу добиться цели закончилась провалом, но близость неприятеля поставила советскую столицу на осадное положенье. В ярости среди бела дня он слал на нее эскадрильи бомбовозов, редкие десятки из них пробивались в небо советской столицы. Зато они разгружались главным образом в предвечерние часы-пик, когда по окончании рабочей смены улицы заполнялись людьми. Ничто не могло остановить ни дыхания Москвы, ни ее мышленья, ни вращенья ее станков. К утру невидимые руки успевали чинить повреждения ее зданий, памятников и тротуаров. После краткого замешательства в средине октября, когда пороховая мгла доползла до московских предместий, предельное спокойствие вернулось к москвичам. Война с ее налетами прочно вписалась в быт и распорядок дня; летописец не найдет торжественных красок в Москве тех месяцев. Она как бы сняла с себя украшенья, позолоту старины, даже осенний багрец со своих бульваров в обмен на ту высочайшую красоту, что родится из презренья к смерти. Отороченные снежком ржавые ежи и надолбы перегородили окраинные магистрали, а на заставах поднялись противотанковые загражденья с проходом для машин, мчавшихся в предзимний, на кровоизлияние похожий закат. Весь в оборонительных рубежах, город напоминал матроса в пулеметных лентах времен гражданской войны, и, как в *гражданку,* молча уходили на фронт рабочие батальоны... Наверно, многие помнят заплаканную московскую девчонку в сношенных туфельках и беретике, бежавшую вровень с их шагами прямо по мостовой.

Целый месяц тогда Поля простояла посреди людского потока на запад. Ей казалось, что в самом высшем смысле грешно в такую пору покинуть привычную московскую крышу и умчаться с институтом в безопасный Ташкент. Ниоткуда не поступало писем, новых подруг вместо Вари не заводилось, Таиска прихварывала... Это было одиночество былинки, закрутившейся в водовороте неподалеку от стрежня. Все кругом призывало к подвигу,— газетные

корреспонденции о горящих русских деревнях чередовались с фотографиями простреленных комсомольских билетов, с портретами учеников Гастелло, с клятвами до последней кровинки биться за Москву, командный пункт новой истории. Укоров совести уже не заглушала усталость от ночных дежурств на скользкой от инея крыше. Воздух и хлеб казались крадеными у героев, а все добровольные полины нагрузки — отговорками от исполнения долга. В амбулатории, где по совету комсомольского секретаря Поля устроилась приходящей няней, ее считали самым простеньким существом на свете, а никто не догадывался, какой ценой ей доставалось то, что прочим давалось запросто и без раздумий. Все старалась понять, как же так отбилась от жизни: ведь с самого начала, со всех перекрестков плакаты звали ее на курсы медсестер, к станкам, за руль грузовика, на третью очередь метро, где в борьбе с плывунами пригодились бы ее молодость и здоровье. Но вначале казалось, как и многим, что неделя-две, и советские войска махом опрокинут врага, а потом... Тем временем подступил Октябрьский праздник.

Еще накануне, в обеденный перерыв, Поля снова бегала проситься на фронт. В душном военкоматском коридоре с печатными наставлениями на стенах стояла очередь, и впереди Поли оказался московский школьник с четверкой почтовых голубей в дар советскому войску. Никто не улыбался на мальчика, потому что не в голубях тут заключалось дело: все старались не теснить его, потому что птица — маленькая, она не может без воздуха. За час Поля успела изучить устройство ручной гранаты и как накладывать повязку при переломе ноги. Майор из первого отдела окинул девчонку щурким глазком и пообещал вспомнить о ней при ближайшей разнарядке: детей попрежнему не допускали на войну. До райкома комсомола было минуток шесть ходьбы. На столе, в знакомом кабинете, словно поджидая Полю, стоял неиссякающий стакан чаю, но на месте Сапожкова теперь сидела сухопарая девица с серым лицом судьбы, если последняя бывает когда-нибудь в двадцатипятилетнем возрасте.

— Так, поняла...— сразу перебила она Полю.— Вот я как раз и заменяю товарища Сапожкова... Нет, не временно! Если насчет отправки на фронт, то рекомендую

обратиться на Мытищинский вагоностроительный завод, где в особенности требуются рабочие руки...— Она прищурилась.— Или у вас к Сапожкову личное дело?

— Не совсем, но... мне хотелось бы его самого,— робко настаивала Поля, потому что неудобно занимать судьбу частными разговорами.— Я и не задержу его надолго.

— К сожалению, это совершенно невозможно,— не подымая глаз от бумаги, сказала судьба.— Товарищ Сапожков третьего дня убит под Нарофоминском.

Пошатнувшись, точно и ее задело тем же осколком на излете, Поля вышла за дверь. Домой добралась к вечеру и почти не помнила, что делала в промежутке, только все это время товарищ Сапожков ходил с ней вместе, и у него было лицо Родиона... Ночь выпала беспокойная: двести пятьдесят самолетов ломились на Москву, десятки были сбиты заградительным огнем. Сон не давался после возвращения с крыши: все холодней становилось в отсыревшей, нетопленной квартире. Наталья Сергеевна задержалась в ту ночь на своем медпункте.

Густой снег, порой переходивший в пургу, валил в предрассветной мгле за окном; так начинался ноябрьский праздник. Обычно с утра в этот день вся чернецовская семья во главе с Павлом Арефьичем слушала у радиоприемника могучий гул московской демонстрации. Повинуясь привычке, Поля вышла в коридор к черному диску на гвозде. Вряд ли большой парад мог состояться в том году: запруженная войсками Красная площадь стала бы в особенности желанной мишенью для вражеской авиации... И все же Поля ждала чего-то, покачиваясь на чужом сундуке. Радиоточка молчала, но изредка сползал с нее странный шорох не то сметаемого снега, не то крадущегося железа. Все хотелось разглядеть в темноте лицо товарища Сапожкова, вдруг поднявшегося перед нею в титаническую высоту. Полю мучило свойственное людям при утрате близких сожаление, что не успела сказать ему при жизни чего-то главного, ласкового и заслуженного. Видимо, задремала при этом, не слышала, как перед ней оказался фельдъегерь в белом полушубке. При свете фонарика он прочел вслух полину фамилию на пестрой карточке и отдал не прежде, чем сверился с паспортом, и пристально вгляделся в лицо. Это был пригласительный билет на Красную площадь. В том году их не рассылали

по адресам, но до начала парада оставалось немногим больше часа, и, надо думать, это было единственное на всю столицу исключение.

Товарищ Сапожков посмертно выполнял свое комсомольское обещанье.

5

Поминутно проваливаясь в рыхлый снег, Поля бежала прямиком через пустой, затемненный город. Ночь еще тянулась, но пурга уже кончилась; изредка проносились автомашины без огней да из-за углов, тоже залепленные снегом, вырастали ночные патрули. По мере приближенья к центру стали попадаться войсковые подразделения на подходе и отдельные фигуры спешивших в том же направленьи, что и Поля. Сквозь оцепленье, мимо громоздких военных машин в побелевших чехлах она вошла на площадь. Времени оставалось в обрез, чтобы в потемках отыскать свое место, отдышаться и приготовиться к историческому событию, участницей которого становилась.

Все напоминало о его чрезвычайности: слишком раннее для парада, знобящей дрожью проникнутое время, тишина над сумеречными, едва на три четверти заполненными трибунами, обилие военнослужащих среди гостей... Моложе Поли не было на площади, ее без просьбы пропустили в передний ряд. Она так ждала начала, что переставала ощущать свое тело и вместе со всеми поминутно поглядывала то на проступавший в рассветных потемках спасский циферблат с обеими стрелками близ восьмерки, то на запорошенные снегом, безлюдные пока уступы Ленинского мавзолея, то на низкие, рукой дотянуться, как бы непроспавшиеся облака... И тогда снежная крупка отрезвляюще покалывала ей щеки.

Девушке предстояло запечатлеть в себе страничку мировой истории, по значению для страны равную выигрышу крупного сражения. Отдельные ее абзацы Поля видела или читала и раньше на картинах, в книгах, на экранах: войсковые каре в тусклозеленых касках, ушанках, бескозырках на фоне полуисчезающего впереди сероватого здания с портретами народных вождей, которые, наверно, уже направлялись сюда со Сталиным во главе,— витые, такие призрачные в светлеющем небе, васильевы

купола и кремлевскую стену с приставшими клочьями ночной метели и сугробами у подножья, глубокими, как на Енгé. Что-то мучительно знакомое было в облике людей кругом, в особенности одного там паренька в рабочей кепке, но не оттого, что порознь все они встречались на московских улицах, а потому, что сближающее чувство принадлежности к одной семье делало всех их похожими друг на друга... Пусть в гораздо меньшей степени, но Поле доводилось испытывать также и это возбуждение от лихорадочного, как бы в предвестьи чуда, безмолвия, подчеркнутого молчанием громадного оркестра посреди... Но все это, соединенное вместе в непогодный военный час, пронзало душу щемящей, только здесь открывшейся новизной. Бумаге и кинопленке впоследствии всегда не хватало силы и красок передать величие того затишья на Красной площади, готового по чьему-то творческому мановению стать бурей.

И, сознавая, что именно про это станут ее расспрашивать до конца дней, Поля распихивала по уголкам памяти впечатленья и обрывки подслушанных разговоров, окрашенных гражданской тревогой и гордостью за свой вечный город, за этот разумный строй жизни, за молодость свою, положенную в котлованах пятилеток. Вполголоса говорили о торжественном, накануне, заседании в подземке, об ожесточенных боях под Яхромой, где противники дрались за позиции для декабрьского поединка, о зауральских заводах, откуда, подобно вулканической лаве, круглосуточно извергались танки, о загадочных, якобы все прибывающих в Подмосковье сибирских эшелонах, наконец... Постепенно небо яснело в промывах, и на длинных алых транспарантах впереди без усилий читалась надпись о социалистической революции, свергнувшей империалистов и провозгласившей мир между народами... Напрасно Поля торопила часовые стрелки, впервые постигая бесстрастие истории, не позволяющей ничему случиться прежде, чем окончательно разместится предшествующее: еще не подошли опоздавшие и не прокинулась сторожевая цепочка вдоль трибун, еще кинооператоры не нацелили своих объективов во всех направлениях, чтобы и потомки увидели век спустя, как же происходило это.

Всякий раз, взглядывая на башенные часы, Поля краем глаза видела в профиль соседнего паренька со

снежком на плечах... и вот уж поручиться могла, что даже говорила с ним при каких-то давних, очень несхожих обстоятельствах. Судя по его косым взглядам, и он, в свою очередь, старался опознать Полю и не мог, потому что смешную, на голове у девушки, соломенную шляпку теперь заменил старый, с обгоревшим углом шерстяной платок. Только в силу этого взаимного тяготения Поля и решилась поделиться с незнакомцем ребячьими страхами: уместится ли столь бесчисленное множество подробностей и лиц на тесной кинопленке,— не забыли ли расставить микрофоны: во что бы то ни стало фронт, страна и мир должны были слышать сейчас дыхание Красной площади, все ее звуки — от вдруг народившегося цоканья копыт до тысячеголосого солдатского отклика на приветствие командующего, уже объезжавшего войска.

— А всего нужнее *это* нашим ленинградским ребятам, правду я говорю?— Поля имела в виду начавшуюся незадолго перед тем блокаду северной столицы.— Лично мне такая передача была бы хлеба сытней.

— Ничего, они отлично держатся,— с гордостью и тоном старшего успокоил ее паренек.— По роду своей работы я иногда бываю там... поблизости. Передавали, например, в театральном училище ставят *Дон-Карлоса,* а в академии читают лекции по архитектуре Ренессанса...

— Еще читают? — недоверчиво переспросила Поля.

Ей живо представился уровень ленинградского житья, если обычные занятия ставятся жителям в заслугу. Прокатившийся по трибунам гул рукоплесканий заглушил ее шопот. Как бы ветер пронесся по площади, а Поля привстала коленями на балюстраду, и в ту же минуту поверх множества таких же взволнованных людей увидела Сталина. Он легко поднимался по внутренней лестнице Мавзолея, чуть впереди своих соратников, из которых каждого Поля узнавала по мелькнувшему сквозь снег силуэту, с расстоянья. На нем была солдатская шинель без петлиц и отличий, фуражка с общеармейской звездой: часть подробностей Поле подсказали более опытные соседи и ее собственное ребячье удивление перед этим человеком, остальное досмотрела в кинохронике через неделю. Вслед за тем размеренно и хрипловато стали бить спасские куранты; с последним ударом из башенных ворот выехал всадник в черных, нестареющих усах, и тотчас

с другого края площади командующий парадом поскакал ему навстречу.

— Буденный...— сказал сосед на ухо Поле, принимая на себя обязанности старшинства.— Вот он принимает рапорт, едет здороваться с частями... Конек-то, обрати вниманье! — И, значит, он успел с головы до пят разглядеть свою соседку.— Эх, боюсь, девушка, что сляжешь ты после этого парада! Ну-ка, со мной бумага есть, сделай стельки себе, пока не поздно. Сразу ногам станет теплей...

Поля непонимающе взглянула на свои вконец разносившиеся рыжики, тонувшие в растоптанной снежной кашице; ему пришлось повторить свой совет.

— Ах, теперь уж все равно!.. как вы этого не понимаете! — отмахнулась она, и зной восторга залил ее щеки.

Раскатистое войсковое ура катилось теперь на площадь с противоположной стороны. Маршал поднялся на Мавзолей. Хмуро сверкнули клинки, и одновременно десятки командиров вразнобой прокричали команду... Наверно, в тот миг смолкло все и повсюду на советской земле, где только имелся проводок с мембранкой на конце. Поля услышала голос, ложившийся в душу с естественностью зерна в распаханную почву. В воображаемом письме к Родиону она назвала эту речь напутствием отца детям, уходившим защищать родину, завоевания Октября и их совместный исполинский труд. Сталин говорил, не возвышая голоса, и Поля подчеркнула в письме, что если бы даже вдвое тише, и тогда люди на земле не проронили бы ни крупицы. Радиоэхо ярусами и вперекличку разносило его слова по затихшему городу. Поле казалось, старый камень площади повторяет их строка за строкой, впитывая на века. В них слышалось спокойствие исторической правоты и требовательное доверие к советским людям, владевшим всем необходимым для выполнения своей освободительной задачи. Перечень великих русских, прославивших свой народ или выводивших его из огня былых лихолетий, завершался именем Ленина; для Поли это и была наивысшая точка парада. Потом в воздух, расколотый артиллерийским салютом, ворвалась мелодия пролетарского гимна, и, пожалуй, никогда так убедительно не звал он в бой с самого начала новой истории.

— Что, небось колотится сердчишко-то? Бери, запоминай... это бывает раз в жизни,— жарко шептал сзади

юный полин наставник.— А представляешь себе, сколько глаз, стволов и крыльев стерегут сейчас небо над тобой?

— Как ты думаешь,— не оборачиваясь, спросила Поля,— есть тут кто-нибудь *оттуда,* из их лагеря?

Он насторожился:

— Зачем тебе?

— Пускай глядят, сколько нас и какие мы. Ой, хоть бы глазком, хоть в щелочку взглянуть сейчас на этот... ну, на старый мир!

— Погоди, еще до слез насмотришься...— пророчески усмехнулся паренек.

Он больно стиснул полину руку, и она вытерпела,— без него многие подробности вовсе ускользнули бы от ее вниманья. С мальчишеской осведомленностью он перечислял Поле марки машин и войсковые специальности проходивших частей, но, неопытная ученица, она тотчас путала последовательность, в какой чередовались перед нею на площади участники парада. Сколько помнилось, торжественный марш открывала пехота в полной боевой выкладке, с подсумками на поясных ремнях и саперными лопатками на боку, как не ходят на рядовых парадах: отсюда их путь лежал прямо на передовую. Побатальонно, фронтом по двадцати в шеренге, шли моряки и ополченцы, войска внутренней охраны со штыками наперевес, курсанты военных училищ, академии всех видов оружия, политической мысли в том числе. И среди них вооруженные отряды московских рабочих тоже несли волглый бархат бывалых знамен, чтобы под сенью их еще раз грудь на грудь померяться с заклятым врагом.

Играючи, прошла кавалерия, неся сабельный удар наизготовку, и следом, словно вырвавшись из песен гражданской войны, пронеслись пулеметные тачанки. На малых скоростях, высматривая небо над Мавзолеем, проползли прожекторы и звукоуловители, которые полин сосед не замедлил определить как глаза и уши фронтовых ночей; зенитки пробежали размашистой резиновой походкой, и противотанковые самоходы коготками гусениц, сквозь снег, процарапали гранитный торец. Не затихнул их лязг на спуске к реке, а уж сигнальщики встали с флажками у Исторического музея: подобно ископаемым созданиям геологических эпох, на площади появились механизмы наиболее убедительной военной аргументации.

Сотрясая древность Москвы, громоздкое военное железо текло вдоль трибун туда же, на запад — дать варварству последний, смертный бой и, наивно верилось тогда Поле, навсегда сгинуть с планеты... И все же главное было не в этой грозной и послушной технике, застлавшей площадь ревом и гарью моторов, а в непреклонных людях, сидевших в командирских машинах и у прицелов осадных орудий, или же стоявших в люках бронированных крепостей, или с мотопехотных грузовиков взиравших на своего полководца, чтобы благословил на подвиг, равнявший их с богатырями прошлого.

Сплавленные его словом воедино, они уходили отсюда отдать за родину всю свою кровь, капля по капле, уходили вышибать дух из фашистского змея, опоясавшего их столицу; они уходили, и, казалось, ничего личного не оставалось у них позади, только Москва. В эту могучую воронку движения втягивало и Полю. Одежда на ней стала тесная, словно натуго затянули поясок, а тело само подлаживалось в такт марша. И оттого, что не было у Поли алого цветка кинуть взглянувшему на нее, как ей показалось, танкисту, вдруг потянуло проводить его хоть до заставы. Парад кончился, и напрасно, по неопытности, пыталась она пробиться сквозь оцепленье, вслед за танковой волной, к набережной вниз; кстати, и юный наставник ее тем временем потерялся в расходившейся толпе. Тут лишь прояснилось в памяти, как именно этот паренек нес ее вещи с вокзала полгода назад, и как тогда благоухали сбрызнутые пионы на перекрестках, и какое небо сияло над Москвой.

Возвращаться в одинокий холод Благовещенского тупичка, к Наталье Сергеевне, не хотелось; бежать к Таиске за жалостью было еще стыдней. Без цели Поля двинулась вверх по магистральной улице мимо новых домов с витринами, закрытыми тесом или мешками песка. К несчастию, без Вари и товарища Сапожкова некому стало пожаловаться, что вот не пускают на фронт, хотя уж она-то сумела бы теперь заступиться за эти рубиновые звезды, за долговязого кремлевского Ивана и Пушкина в горностаевом, после метели, плаще, и за веселого, в скоморошьих лоскутах и с бубенцами главок, *Ваську* против Спасских ворот, за эту стылую домашнюю реку и необъятные горизонты за ней с дымами московской индустрии.

Сами собой заслезились глаза, видно, после бессонной ночи; свернув в переулок, за зданием Моссовета налево, она приткнулась у стенда с намокшими газетами месячной давности. По малолюдности место это, наглухо выстланное снежком, как нельзя лучше подходило для ее переживаний,— из-за снега и не расслышала, как приблизился к ней пожилой человек в барашковой папахе.

Надо полагать, он долго выбирал подходящую минутку для вмешательства и, наконец, сделал это насмешливо-фамильярным тоном, каким старые доктора справляются о здоровьи у ребят:

— Ну-ка, показывайте, отроковица, чего у вас там? — и, потянув за рукав, заглянул в лицо.— О-о, целое наводнение... этак можно и глаза застудить. Обидели или... письмо плохое с фронта пришло? — Он ждал ответа, а Поля с таким отчаянием затрясла головой, что покинуть ее в подобном состоянии стало теперь вроде и бессовестно.— А раз не было плохого письма, так чего же вы тут, гражданка, порядок нарушаете?!

— Я его не нарушаю, просто газету остановилась почитать...— уже откровенней всхлипнула Поля.

Сквозь радужную пленку, то и дело застилавшую глаза, Поля видела лишь седые щетки бровей и усов на отечном, чуть усталом лице человека, вдоволь наглядевшегося на людское горе. Чуть позже, едва пообсохли ресницы, она разглядела в петлице его шинели, над ромбиком, странный для военного значок,— змейку поверх бокала того уширенного образца, в каких раньше, во времена безоблачного счастья, подавали мороженое.

— Как же так не нарушаете...— настаивал важный старик.— Война на дворе и, правду сказать, война сурьезная... значит, вашему брату, молодым, плакать не положено. А то нам такой капут учинят, полсотни лет и не пикнешь. Кто же тогда воевать станет или, скажем, снаряды вытачивать, солдат поврежденных зашивать? Признаться, уж думал, убили у вас кого-нибудь...

— И убили,— сказала Поля, поутихнув, со вздрагивающими плечами.— Сапожкова убили, а вот я, несчастная, живу.

— Конечно, это печально,— участливо согласился старик,— но... у меня вот тоже убили, однакоже я не реву.

— Еще не так заревешь,— стала оправдываться

Поля.— Вся страна в опасности, народ силы напрягает... чтобы выполнить свою освободительную миссию... одна я тут пригрелась у него за пазухой. Подумаешь, божья коровка завелась!

— Тем более реветь не положено,— резонно возразил тот.— В такое время слезы ваши вроде как бы растрата горючего, верно? Собственно, я с самой площади за вами слежу, уж и там над вами тучки ходили. Ну-ка, пойдем, обсудим за чайком некоторые наболевшие мировые проблемы. Да вы не бойтесь меня... Я как раз и есть этот подмокший дядя, бригадный военврач Струнников, про которого вы читали...— и показал на свой отсырелый портрет в газетке перед Полей.

В сущности, Поля еще не решила, морально ли это — заниматься чаепитием в столь ответственные минуты истории, сразу после речи вождя, как Струнников отечески уже взял ее за руку и повел в красивый пятиэтажный дом, через две соседних улицы. Между прочим, он предупредил Полю, чтобы вела себя повеселей за завтраком и по особым причинам не поминала про убитого Сапожкова. Его ворчливая ласка толкнула Полю на полную откровенность, а чего не успела по дороге, она досказала ему через час за ужасно, до укоров совести вкусной яичницей, уже в присутствии его жены, маленькой, моложавой и с красными, набухшими веками. Какая-то недавняя печаль вселилась к старикам в их просторную, неуютную квартиру. Поля не утаила от них ни одной своей тайны, начиная с недавних огорчений по поводу своего отца и вплоть до едва не осуществленного намерения отказаться от незаслуженного ею счастья с Родионом,— все им дочиста открыла, кроме промокших ног. Ее ребячья исповедь, послужившая основой для этой повести, была выслушана старшими без улыбки,— лишь переглядывались время от времени, либо опускали глаза снять с колена одинаковую у обоих надоедную пушинку.

— Вот таким-то образом я и отбилась окончательно от жизни,— заключила Поля свой рассказ.

Тогда же было спрошено у Поли, какими средствами рассчитывает она реализовать свою похвальную в общем неприязнь к старому миру, но теперь вопрос уже не застал ее врасплох. Учитывая прежние промахи в военкомате и у Сапожкова, она несколько порасширила круг

своих возможностей, чтобы было из чего выбирать: в Струнникове с первого взгляда угадывался влиятельный начальник. По ее признанию, она вполне сгодилась бы подкладывать мины под вражеские эшелоны или делать что-нибудь другое с опасностью для жизни, а если потребуется, даже работать в одном из истребительных батальонов, о назначении которых догадывалась понаслышке,— лишь бы, как она выразилась, отомстить за поругание человеческой мечты.

— И вы не смотрите, что я росточком не удалась или там обтрепалась немножко: у меня все есть... остальное сама добуду. А чего не знаю,— подучусь: вон в цирке и медведей по проволоке научают ходить!

Струнников сказал на это, что, как хирург, он далек от перечисленных специальностей, и сердце полино сперва упало... но как раз в тот месяц он формировал свой госпиталь и нуждался в дельных, со средним образованием девчатах. Поля слушала его, томясь от неуверенной пока надежды, что, может быть, теперь-то и вынесет былинку на стрежень набежавшая струя.

— Все ваши родные в Москве?..

— Кроме матери, которую фронт отрезал *там,* на Енгé. Мы с мамой врозь жили от отца.

— Что же, отец бросил вас?

— Нет, мы сами уехали с мамой... Не то чтобы у нее характер тяжелый был, а просто вся она в меня, мнительная... ну, насчет совести! — и выдержала пристальный взгляд старика.

Показания складывались в полину пользу; несомненно, помогая матери в летние месяцы, девочка пригляделась к больничному быту, а пропуск на Красную площадь в такое утро служил добротней иной рекомендации; кроме того, Струнников редко ошибался в диагнозах и знал лекарства от всех болезней на свете.

— Но сразу договоримся: меланхолии да грязи в заведении у себя не потерплю. Мне девчата веселые, быстрей ртути нужны...— предупредил он после такого же длинного разговора при второй встрече,— у меня в аптеке самый главный витамин — смех.

Поля слушала, нетерпеливо качая головой.

— Господи! — и всплеснула руками, замирая от внезапного, обернувшегося к ней лицом счастья.— Вы даже

не представляете, какая я веселая! В школе так и звали меня — погремушкой. А когда потребуется, я и сплясать могу, даже без музыки... может, показать?

Старики рассмеялись, и как следствие этого через неделю Поле выдали гимнастерку и кирзовые сапоги разных размеров, что легко уравнивалось с помощью обыкновеннейшего картона. Вместо желанной шинели ей полагался всего лишь стеганый ватник, зато душу грел он не в пример исправнее шубки с беличьим воротником. Формирование госпиталя подходило к концу, и можно стало предсказать, что в случае дальнейших таких же удач былинка вскорости догонит Родиона и Варю. От сознания своей нужности людям во всем облике у Поли и в ее манере держаться появились такие осанка и самостоятельность, что теперь уж не стыдно стало представиться и отцу.

Она отправилась туда в последний день перед отъездом, чтобы ничто, таискины слезы в том числе, не могло повлиять на бесповоротность ее решенья.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Близ того времени в Деевском оборотном депо, где числился Сережа Вихров, зародилась одна мысль, впоследствии подхваченная и прочими железнодорожниками столицы. После ноябрьской речи Сталина деевцы через партийную организацию обратились в правительство с просьбой об их дополнительной, сверх плана, загрузке. Учитывая возросший объем их работ вследствие увеличения воинских перевозок, им поручили производство штыков для ополченцев. Патриоты обиделись на ничтожность задания... тогда-то, по их почину, и возник встречный план о выпуске на фронт бронепоезда со своей рабочей командой, как это бывало в гражданскую войну.

На правах районного секретаря по пропаганде Морщихин помог продвинуть по инстанциям добровольное начинание деповских стариков. Накануне вражеское

полукольцо сомкнулось еще тесней на ряде участков, и Москва, по примеру предков, готовилась драться на улицах и, в крайнем случае, поднять на воздух свои заводы, предпочитая позору сдачи гигантский труд восстановленья после победы. Общее деповское собрание состоялось как раз вечерком после того, как саперы прошлись по цехам, заранее примеряясь, куда закладывать фугасы. Делегация рабочих отправилась в штаб округа немедленно, и, видимо, затея их показалась там сперва невыполнимой.

С начала войны в Деевском депо готовились походные кухни и лыжные подсанки для пулеметов, сваривались особо замысловатые, безотказного действия рожны против танков и чинилось паровозное старье древних систем.

— К ей и не приступишься никак,— говорил иной подросток ремесленного пополнения и по-стариковски забористо чесал в затылке перед паровозишком какой-нибудь серии «Ы», у которого, чтоб вынуть поршни, приходилось отнимать всю переднюю площадку.— Ух ты, мать моя, старинушка!

— А ты делай, делай... Война все сгрызет. Избаловались на обновках-то! — ворчали их наставники, помнившие героические, на чем бог пошлет, рейсы восемнадцатого года.— Ты по-хозяйски: в будни-то что поплоше, а хорошее к праздничку береги!

Лишь на четвертый день для выяснения производственных возможностей Деевского депо на место прибыло долгожданное начальство, двое: громадный, бесконечно мирного вида бригадный комиссар в защитной бекешке и с ним другой, весь стальной какой-то и с левым усом, торчавшим чуть наискось и вверх от непрестанного подщелкиванья.

Кратковременная слякоть установилась в середине ноября, мокрый снег ложился и таял на черной, бесплодной деповской земле. На путях близ водокачки стояло плечом к плечу человек тридцать почетных тамошних стариков, зачинатели бронепоезда и ветераны, пролетарская гвардия столицы, колючие и надежные, как безотказная русская винтовка образца девяносто первого года; сравнение принадлежало Морщихину, встречавшему гостей. Бригадный высказал сомнение в необходимости вы-

страиваться в такую погоду и раньше срока, но ему пояснили, что так утешительней для рабочей души. Вслед за тем начальник депо рапортовал приезжим о наличности рабочих, за вычетом находившихся в поездках или занятых постройкой дзотов на столичных подступах, невдалеке. Теперь уж нельзя стало отказываться от предложенной чести.

— Здорово, рабочий класс! — начал тот, что в бекешке, и всех очень воодушевило, что, несмотря на мирный вид, простудную погоду и другие невеселые обстоятельства, у него столь решительный, запоминающийся голос; тому тоже, видимо, понравилось, как нестройный гул рабочего ответа слился с раскатистым криком паровоза, уходившего как раз на передовую.

В сопровожденьи местных начальников гости двинулись вдоль строя, и тот, что постарше, в бекешке, задавал всякие вопросы, как и полагалось на подобном смотру предварительного ознакомления. Так, у пенсионера Григорьева, флангового и самого почтенного в шеренге, он полюбопытствовал ради порядка, откуда у них зародилась эта благородная затея. Тот молча показал свои слишком уж отмывшиеся руки — как бы намекая, что совесть патриота в его руках. На вопрос же, к чему в общем направлено нынче рабочее стремление и, между прочим, что думает народ о фронтовых неудачах, старик охотно разъяснил, что рабочий люд стремится к такой решительной, раз навсегда, победе, чтоб затем без помехи и на всех парах добираться до конечной станции нашей переживаемой эпохи; насчет же сдачи советских городов указал, что, по свидетельству исторических книг, заманывать неприятеля в глубину русских лесов всегда бывало в повадках прадедов.

На предложение задавать встречные вопросы другой бывалый машинист, Маркелыч, с достоинством поинтересовался, из каких краев и людей происходит он сам, многоуважаемый гость, и, значит, никто в стране не смел уклониться от его пристрастной любознательности.

— Родом я буду из тульских оружейников. В семье семеро коммунистов, из них один я пока еще в тылу,— улыбнулся главный.— Как, удовлетворен ответом, отец, или не очень?

— Ничего, звучит подходяще,— одобрил, в свою оче-

редь, старик.— Дозвольте уж, кстати, узнать воинскую должность вашу и где доводилось воевать за советскую власть?

— Член Военного совета... службу же начинал в двадцатом году стрелком в сорок шестой дивизии.

— Очень приятно,— сказал Григорьев, оглаживая усы, хоть и в строю.— Значит, беспременно встречалися мы с вами в Симферополе... вместе Махну в тот год разоружали, припоминаете? Я как раз в пятнадцатой Сивашской, раньше Инзенской, там стоял. В силу такого старинного знакомства очень желательно понадеяться на вашу подмогу в означенном деле!..

Бригадный предложил было пройтись по цехам, но тут взгляд его скользнул на зеленую молодежь из ремесленного училища, успевшую тем временем пристроиться в конце шеренги. Продрогшие, в форменных гимнастерках, они так тянулись показать свою готовность и выправку, что, хоть и торопился в Кремль, на первостепенное совещание, все же зашел приласкать свою смену, завтрашний день его страны... Гости уехали, оставив наказ ускорить постройку бронепоезда сообразно, как было сказано, с усложнившейся фронтовой обстановкой.

...Выбор пал на маневровую машину серии «ОВ», беженку из ржевского депо, строенную еще в начале века, зато прямо из капитального ремонта, судя по свежей покраске и толщине колесных бандажей. Сомневаясь, чтобы скромная, в рабочем просторечии *овечка* потянула бронированный состав в полтысячи тонн, Сережа выскочил на собрании с горячим призывом дать паровоз помощней, не скупиться на святое дело обороны социалистического отечества; выступление его, расцененное как самонадеянное невежество новичка, было встречено снисходительным смешком и оставлено даже без возражений. Это был второй, после морщихинского, урок скромности профессорскому отпрыску за попытку купить по дешевке общественное признание; к счастью, наутро Сережа отправлялся в очередную ездку, под Ленинград. По своим габаритам — никакой другой серии, одетый в броню, паровоз просто не пролез бы в деповские ворота. Нет, то была единственно пригодная для задуманной цели машина, способная вписаться в кривую любого поворота, непритязательная и выносливая, как крестьянская лошадка, и

тем еще удобная, что, на худой конец, легче было вытянуть такую из-под откоса на рельсы.

Еще вчера, хозяйственно покрикивая, она растаскивала вагоны по путям,— теперь ее ввели в стойло на промывку, и сразу, как грачи, облепили ее котельщики, арматурщики, дышловики. Под бомбежкой ездили на соседнюю станцию посмотреть стоявший там в ремонте подбитый, заводского выпуска бронепоезд: обмеряли, рисовали схемки, и там, где из-за спешки не хватало чертежа, приходила на помощь прозорливая рабочая сноровка. Из старых колесных бандажей точили поворотные скользуны для *сорокопятки* на тендере, как уже успели окрестить противотанковую пушку; крепили кронштейны для оказавшейся под рукою, по эвакуации с запада брони, которую кроили на глазок, как рабочую робу, чтобы, с одной стороны, не тяжелила на бегу, не мешала б размахнуться в драке, а с другой — чтоб не осрамилась в ряду образцовых машин большой советской индустрии. За грохотом клепки и гуденьем электросварки совсем не слышно стало ни ползучих слухов о фронтовых неудачах, ни воздушных тревог. Да если и прорывалось сквозь крышу жестяное бормотанье и вой пикирующего *юнкерса,* грозное обещание расплаты сквозило в голосе иного, закусившего губы паренька: «Эй, погодь там смеяться, обормот: мы еще не кончили!»

С начала ноября строители бронепоезда жили на казарменном положении в соседнем клубе. Все чаще требовались хозяйские надзор и слово,— партийный комитет стал боевым штабом с круглосуточным дежурством, так что душа будущего бронепоезда, Морщихин, нередко и ночевал там на дощатом диванчике с противогазом в изголовьи. Словом, когда Сережа вернулся из очередной поездки, дело значительно продвинулось вперед.

2

В Москву воротились засветло, и бригада еще с паровоза безотрывно вглядывалась в очертания столицы, ища перемен за истекшие полторы недели. Вечный город стоял нерушимо, в расплывчатой перспективе шпилей, фабричных труб и еще чего-то там, на горизонте. Попрежнему стлались по-над кровлями рваные никлые дымы, кое-где

неотличимые от мглы, наползавшей с востока; только что дали отбой воздушной тревоги... На обратном пути из-под Ленинграда пришлось захватить платформы эвакуированного заводского оборудования, и пока сдавали их на Сортировочной для передачи на Северную дорогу, наступил неприютный ноябрьский вечер... Тут, с контрольного поста, Сережа и различил зарево над рощицей вдалеке, где, по его предположениям, находился Лесохозяйственный институт.

Неисправностей на паровозе не было, дежурный по депо сразу послал его на заправку углем. Когда становились на смотровую канаву у водокачки, чтоб приготовить машину для сдачи сменной бригаде, наступили сумерки; зарево усилилось. Сережа ушел не прежде, чем сделал положенное ему по должности: вычистил огневую топку, вытер дышла для осмотра. Беспокойство о близких не покидало его: пресноватая гарь, скорее человеческого горя, чем паровозного происхождения, временами достигала ноздрей, и тогда в зимнем ветерке слышался надсадный, пропадающий плач. Без надежды застать отца и Таиску на старом месте, Сережа побежал было домой, но пожар оказался гораздо ближе, и сразу отлегло от сердца. На пустыре, близ студенческого общежития, кротко догорало нежилое деревянное строеньице, искры красиво танцовали в морозном воздухе. Тут Сережа пожалел, что по дороге домой не забежал к Морщихину и, кстати, в душевую — помыться после ездки; и пока колебался, глядя на холодную, притухающую полоску вечернего неба, к нему подошли из проулка трое шедших в направлении к депо.

Машиниста Титова, Тимофея Степановича, и его помощника Кольку Лавцова он знал раньше; третий же, неизвестный ему, неразговорчивый и в длинной по росту шинели, назвался артиллеристом Самохиным. Сережа пошел назад вместе с ними.

— Легок на помине! — засмеялся Лавцов.— Мы тут с Тимофей Степанычем в одну веселую компанию тебя засватали. Глянь, только имечко его произнесли, а он тут как тут, на подхвате. Значит, рвется к нам серегино сердечко!.. правильно, говорю, пушкарь?

— Надо думать, сголосуемся...— откуда-то сверху глухо прогудел Самохин.

Сережа благоразумно отмолчался. За минувший год он достаточно втянулся в особенности своей профессии, исправно и без единого замечания нес положенные обязанности, стараясь ничем не выделяться среди этих скорей немногословных, чем хмурых, беззаветно преданных своему делу людей. На практике успел он усвоить, к примеру, что водить сквозь бомбежку тяжеловесные составы на слабых подмосковных углях, да в снегопад, да на крутых спусках,— все одно, что на спине тащить весь груз; даже попривык к риску быть расплющенным при оплошности. Он успел также сойтись в полушутливой дружбе кое с кем из деповской молодежи, но, как ни старался проявить свое рвение и хоть выглядел чумазее других, все не удавалось ему в полной мере стать *своим,* раствориться в рабочем коллективе депо. Мешала неуловимая разница в оттенках мышления, обусловленная социальным происхождением и воспитанием. Всего острей Сережа чувствовал это в присутствии наиболее недоступного в обращении, суховатого и, по слухам, многодетного машиниста Титова; казалось, Титов никогда не выпускал из поля зрения,— а вместе с тем как бы и не замечал Сережи, считая его поступление в депо за временную блажь барчука, в то время как для него самого железная дорога являлась не только источником заработка, но и орудием его человеческой деятельности, если не смыслом существования.

С Морщихиным было гораздо проще, и совсем уж легко чувствовал себя Сережа с Колькой Лавцовым, хотя на первых порах как раз Лавцов-то чаще всего и доставлял ему огорчения. В частности, каждую получку звал он Сережу с собою в коктейль-холл под предлогом *отдохнуть* в культурненькой, как он называл, обстановке, но не потому звал, что нуждался в напарнике для своих утонченных алкогольных причуд,— Лавцов не пил и сам побывал там всего дважды, с перерывом в полтора года, а исключительно чтоб позабавиться смущением сережина отказа, его щепетильностью в выборе развлечений, его боязнью преступить смешные профессорские заповеди.

— Так как же, почтенный Сергей Иваныч, насчет компании-то? — добивался ответа от Сережи Колька Лавцов.

— Что ж, я от хорошего дела не отказчик,— согласился Сережа, лишь бы не осрамиться перед Титовым, не

проявлявшим раньше подобных склонностей.— Я тоже не прочь с устатку... Только время-то для таких развлечений, на мой взгляд, не шибко подходящее.

— А интересно, куды оно загибает, профессорское-то дите? — опять поддразнил Лавцов, зная болезненное сережино отношение к своему прозвищу.— Ведь это *оно* полагает, Тимофей Степаныч, что мы его не иначе как на сто пятьдесят с прицепом приглашаем!

Прицеп в данном случае означал обыкновенное пиво, прибавок к более существенному для быстрейшего воздействия на организм.

— Полно, полно... чего ты перед ним пятачок задираешь? Тоже паровозник без году неделя,— степенно оборвал его Титов, и Сережа благодарно взглянул в лицо машиниста, розоватое в отблесках вдруг поднявшегося огня, близ которого как раз проходили.

— Еще посмотрим, как сам-то себя в деле покажешь,— опять где-то высоко над головой сказал Самохин.

Некоторое время шли молча; ледяной ветер дул им в спину, шапки срывал.

— Видать, из поездки воротился, Вихров? — начал машинист Титов, явно стремясь смягчить неуместную выходку Лавцова.— Ну, нагляделся, поди, как люди-то живут.

— Голодно они, в общем, живут, Тимофей Степаныч. Правда, мы дальше Ладоги и не заходили...— стал докладывать Сережа, волнуясь, потому что впервые тот удостаивал его личным разговором.— Из-за неудобного строения берега приходится грузы до озера на лошадях подтаскивать... вот и мы пошли тоже посмотреть. Там незадолго до нашего прихода баржа с пшеницей затонула от бомбежки! Ну, раздеваются тут же, на снежку у прогалинки, ныряют в ледяную воду с бадейками. Черпанет зерна по силе возможности — и наверх... Зато уж который для Ленинграда груз, так хоть бы и мешок порванный был, горстки никто не возьмет.— Кстати, он едва не соблазнился сказать *порватый*.— Правда, нашлась и там одна воровская душа...— Он сбился, догадавшись, что занятый своими мыслями Титов почти не слушает его.

— Цены тому грузу нет,— сказал наверху артиллерист Самохин.— Не открывали еще дорогу-то?

— Сбираются... тонок пока ледок.— Речь шла об открывшейся лишь двадцать шестого ноября того же года знаменитой *Дороге жизни* на Ленинград через Ладожское озеро.

— А еще слух дошел по селектору, будто стуканули вас с воздуха на обратном-то пути? — спросил Титов.

Рассказа об этом происшествии хватило бы на добрых полчаса, но Сережа мужественно подавил в себе соблазн похвастаться, как на рассвете третьего дня *юнкерс* отцепил у них с хвоста две платформы, словно автогеном срезал, как одновременно с обрывом тормозной магистрали поезд почти замер на месте и как, повалившись от толчка, ждали второго удара, уж в голову, да на их удачу вражеский летчик порожняком возвращался домой: обошлось. Сережа сдержался.

— На то и война, Тимофей Степаныч,— и сквозь зубы, со сноровкой, сплюнул на снежок.

— Лихо! Привыкаешь к солдатской долюшке? — снова колюче пощекотал его Лавцов.— Значит, причитается с тебя, Сергей Иваныч, за боевое-то крещенье.

Опять никто его не поддержал, с полминутки шли молча.

— Конечно, у советской власти и без нас найдется, чем неприятеля отразить: все эти годы партия дремать нам не давала. А все же, Сергей Вихров, большое мы дело с бронепоездом задумали; наше рабочее дело,— не сбавляя шагу, подбирался к самому главному Титов.— Оно вроде бы и всемирное дело-то, потому как и другим державам не сахар будет, если мы в драке с фашизмом не устоим... но наше оно в особенности! Никто, брат, сюда,— и обвел рукой пространство вкруг себя,— никто столько силов в землицу эту не всадил, как мы, рабочий класс. Иной раз на ходу паровоза глянешь этак в окошко через правое-то плечо,— голова закружится... Ведь каждую песчинку через ладони пропустили, на каждой по кровинке нашей осталось. Вдвойне она нонче сто́ит, советская-то земля.— Он остановился, и все встали вкруг Сережи, который поставил на снег свой походный сундучок, *шарманку* на деповском языке.— Согласовано, одним словом: старшим машинистом на бронепоезде пойду я, Титов... При мне из вашего брата трое подручных на левом крыле. Двоих-то я уж подобрал, побоевитее каких,

вот Лавцов в том числе. Да и третьего только свистнуть, тыща ко мне набежит, однако...— Он положил тяжелую руку на сережино плечо.— Так вот, сынок, видя от тебя всегдашнее твое усердие, и надумали мы оказать тебе наше доверие, взять тебя помощником машиниста в свою бригаду на бронепоезд... Смекаешь теперь?

— Комсомол твою кандидатуру тоже поддерживает,— заключил Лавцов.— Ну, кричи ура, Серега, давай согласье в нашу тройку!

Дыхание стеснилось в сережиной груди. В сущности, это и было то самое, чего ему так недоставало: великое посвящение,— и как раз из рук строгого, неулыбчивого человека, который в его глазах отождествлялся со всем рабочим классом. Сережа странно молчал... но, нет, вовсе не от грозной внезапности приглашения. Сейчас от него требовалось нечто большее, чем при обычном призыве в армию или при таком естественном для советского молодого человека вступлении в комсомол: быть одним из тройки несравнимо трудней, чем одним из миллиона. Если и пугало его сейчас что-нибудь, то не случайности войны, а сознание ответственности за весь порядок в мире, в этом несчастном, потрясенном мире, которую он неминуемо возлагал на себя своим согласием... Тут Самохин стал закуривать, и Лавцов тоже потянулся к нему за папироской; Титов вовсе не курил. Так получалось, что все сережины раздумья и должны были уложиться в тот кратчайший отрезок времени, пока закурят. По счастью, одна за другой гасли спички на ветру.

— Конечно, вояки мы с тобой неопытные, да и то возьми в толк, что солдатами люди не родятся,— прибавил тем временем Титов.— Они, так сказать, из столкновенья взаимной жизни образуются... Вот Самохин тоже поможет нам своим наставлением.

— Нам только мигни, моментально в нашу веру произведем,— подтвердил артиллерист Самохин, пуская поверх его головы дымок из раскуренной папироски.— А уж как осерчаешь да размахаешься, так, помяни мое слово, и силком не оттащишь тебя тогда...

— Однако,— продолжал старый машинист, освобождая сережино плечо от тяжести своей руки,— ты с ответом не стесняйся, Сергей Вихров. В военном деле все возможно, в том числе и телесное повреждение, не без того:

глядишь, танцовать-то и нечем!.. Словом, ехать не завтра, расписки с тебя не берем. Подумай, рассуди, с родными посовещайся-посоветуйся.

Больше медлить было нельзя, Сережа глубоко вдохнул жгучий воздух, подтравленный сернистым паровозным дымком из депо. Да, он принимал на себя защиту жизни и, следовательно, ненависть бесчисленных ее врагов; да, он отрекался от чего-то привычного и дорогого и прежде всего от воли распоряжаться своим временем и телом по личному усмотрению — в обмен на дружбу и признание бесчисленного рабочего множества, на громадный простор будущего, на право без укоров совести глядеть на любое человеческое горе. Свой ответ он дал в ту последнюю дольку минуты, когда и крохотное промедление повлекло бы уже неизгладимые следствия.

— Чего ж мне советоваться... раз сказано: от хорошего дела я не отказчик,— скрывая свое ликованье, както наотмашь произнес Сережа, хотя и не думал, что *это* произойдет так обыкновенно, даже не у красного стола, а на ходу, под зимним, исчерканным прожекторами небом московской окраины.— Мне бы только помыться да выспаться с дороги, а то вроде как-то задеревенел весь...

— Времени у тебя хватит, еще успеем и в коктейльхолл до отъезда смотаться,— уже нисколько не обидно пошутил Колька Лавцов.— Вот и Тимофей Степаныча прихватим для прохожденья курса аристократичного поведения.

И опять ждал Сережа, что в такую торжественную минуту если и не обнимет его машинист Титов, то хоть рукопожатием закрепит их договор на жизнь и смерть, но, значит, все это почиталось лишним у людей, целью своей поставивших победу жизни над смертью.

— Ладно, уймись, петух, пока в суп не попал,— с ворчливой лаской оборвал Лавцова машинист.— А лучше ступай пока, покажи ему нашу лошадку, похвастайся.

...Их оглушил грохот пневматических молотков и визгливый дребезг дымогарных труб, очищаемых от накипи. Лишь по геометрическим очертаниям можно было признать теперь кроткую вчерашнюю *овечку;* почти вся одетая в броневые листы, включая будку и сухопарник, она стояла на канаве у задней стенки подъемочного цеха. Искры электросварки сыпались сбоку, повторенные в

маслянистой луже на земляном полу: доваривали что-то в лобовой части, со стороны дымовой коробки. Черные паровозы, притаившиеся в зеленоватом подрагивающем сумраке, казалось, завидовали собрату, обряжаемому на подвиг...

Вместе с Лавцовым Сережа облазил машину, ревниво и с законным правом щупая каждый болт и заклепку, заглянул и в будку: отныне она становилась его домом, родней того, где его с нетерпением ждали отец с Таиской.

— Ну, как? — с нескрываемой гордостью сквозь гул прокричал Лавцов.— Нравится тебе данный товарищ в железном пальто?

— Не тяжковата будет на бегу? — солидно отвечал Сережа.

— Что, что ты сказал? — в самое ухо, как в заправском бою, переспросил Лавцов.— Ну-ка, пойдем отсюда...

Они вышли в соседний, промывочный цех, где было потише и на четырехосную площадку плавно опускали лебедкой танковую башню.

— Я говорю, что при такой одеже рессоры-то у нас не бедноваты будут?

— Порядок! — усмехнулся Лавцов.— Мы их до семнадцати листов нарастили. Теперь уж с громом покатаемся! Только... отвечай начистоту: сердца на меня не имеешь, Сергей?

— За что бы это? — как и полагалось в его положении, удивился Сережа.

— Ну, за эти приставанья мои... Я ведь не со зла, а так, из интересу... посмотреть, какой ты в драке бываешь. Ну, клади сюда пять! — И наконец-то протянул ладонь для братского рукопожатья.

...Считанные недели, оставшиеся до выхода на фронт, протекли для Сережи, как в тумане. Из-за недоделок и нехватки рабочей силы теперь паровозная бригада бронепоезда вовсе не покидала депо. Каждое утро под командой артиллериста Самохина ходили кидать гранаты в песчаных карьерах за Лесохозяйственным институтом или ползли по снегу, целясь в воображаемого врага. Из штаба торопили, к концу ноября ударили морозы, железо прилипало к пальцам; как ни отбивался, всякий раз при ночевках дома Таиска мазала пайковым салом истрескавшиеся руки любимца и вздыхала от предчувствий. Сережа

в ту пору выглядел старше своих лет, складка задиристого солдатского упорства пролегла у переносья и вкруг рта. Он сторонился таискиных забот, чужел с каждым днем, заранее одеваясь в душевный панцырь, более необходимый на войне, чем любая внешняя броня. Как и Поля, все дальше уходил он от Таиски в ту огнедышащую сторону, за рубежом которой лежало уже непонятное и неподвластное ей время.

Так постепенно сближались две детские тропки, Поли и Сережи, для неминуемого скрещенья впереди. Обоих одинаково влекла в самый огонь эпохи подсознательная догадка, что когда-нибудь ожоги ее станут опознавательными признаками грядущего всечеловеческого гражданства... Случись полин визит к отцу получасом раньше, она в тот же вечер познакомилась бы с Сережей, приходившим показаться старикам в новом танковом обмундировании. Но эта преждевременная встреча не породнила бы молодых людей в той высокой степени, что достигается сплавлением в борьбе, длительным счастьем или горем и, наконец, ликованием по поводу сообща избегнутой гибели.

3

Оказалось, Иван Матвеич был занят важным делом с Морщихиным, когда пришла Поля; она не посмела вторгаться в их беседу. Вдобавок тетка спешила в очередь за хлебом, а после недавних, хоть и рассеявшихся подозрений Поля робела остаться с глазу на глаз с отцом. Вместе с тем никак нельзя было отложить до будущего свидания одну пустяковую на первый взгляд, но крайне существенную для нее просьбу к отцу, связанную со срочным отъездом на фронт. Она решилась дожидаться на кухне возвращения тетки, задержавшейся вследствие воздушной тревоги. Таким образом, случай сделал ее невольной свидетельницей нисколько не секретного разговора о злоключениях вихровского собеседника, вызвавших у Поли глубокое участие.

Речь шла о его затянувшейся диссертации, точнее, о недостающих к ней материалах, хранившихся в недоступных теперь ленинградских архивах. Морщихин рассказывал Ивану Матвеичу, что летом того же года ему

удалось было вырваться туда на недельку, порыться в архивах, но уже на пятый день война вернула его в Москву, а последующая блокада северной столицы окончательно приостановила работу; он даже не успел сделать копии и выписки из некоторых чрезвычайно занимательных петербургских документов с явным оттенком, как ему почудилось тогда, какой-то нераскрытой загадки. Подкупающая интонация неутоленного любопытства прозвучала в голосе Морщихина, и Поля в тем большей степени посочувствовала ему, что и сама покидала Москву, не прояснив до конца загадки с Грацианским. Вихровский собеседник прибавил также, что эти упущенные материалы очень могли бы пригодиться ему в предстоящей длительной поездке куда-то.

— Я рад, что на фронт Сережа отправляется вместе с вами,— и Поля узнала глуховатый голос отца.— Это хорошо... для моего мальчика.

— Да, я назначен комиссаром бронепоезда. Не жалейте вашего сына, Иван Матвеич. Ему это гораздо нужнее, чем даже мне с вами.

— Я все хотел сказать вам, что Сережа не является...— заикнулся Иван Матвеич, видимо, насчет своего мнимого родства с Сережей, но что-то большое среди треска зениток упало в соседней роще, дрогнула посуда в буфетике, стекла в рамах, и это изменило направление порвавшегося разговора.

С полминуты они слушали удаляющуюся, вперемежку с зенитками, поступь разрывов.

— Опасаюсь, не депо ли наше бомбят,— озабоченно сообразил Морщихин.— К слову, имеется у вас какой-нибудь подвал поблизости?

— Есть щель во дворе... но с осени залита водой. Обычно мы сидим дома. Хотите выйти?

— Ну, нашему брату, военным, такие переселения вроде бы и не к лицу. Я имел в виду только вашу безопасность.

— О, тогда продолжим разговор...— Иван Матвеич помолчал ровно столько, чтобы приноровиться к изменившейся обстановке.— Итак, вы полагаете, что на фронте у вас будет уйма досуга для писанья диссертации?

— Совсем не полагаю,— засмеялся Морщихин.— Но здесь я был занят круглые сутки и, как правило, ложился

с зарей, а там... По нашим расчетам война продлится еще не меньше полугода... и не все же время мы будем находиться в бою. В передышках я мог бы по крайней мере разгадывать на досуге один головоломный и почему-то совершенно нетронутый историками ребус, прикинуть в уме дюжины возможных вариантов, а при удаче кое-что и накидать вчерне. Вам не приходилось замечать, как логично и четко в минуты опасности работает разум?

Иван Матвеич подумал, что работа нужна Морщихину скорее как добавочный волевой обруч, как трудная шахматная задача, способная рассеять скуку военных будней. Помедлив, он согласился с утверждением гостя; после эвакуации института и с усилением воздушных налетов Иван Матвеич почти не покидал своего рабочего стола, причем всегда поражался ясности мысли, емкости страницы, легкости пера. Казалось, мечта торопилась закрепиться на бумаге, прежде чем шальная случайность прервет ее и похоронит под обломками.

— Я так и не уловил,— признался Иван Матвеич,— какой же, приблизительно, период охватывает ваша диссертация?

— Чтоб не слишком растекаться, я ограничил ее революционным движением учащихся и среди только петербургской молодежи. Словом, это — последние десять лет перед февральской революцией, то есть годы столыпинской реакции, упадка и нарастания революционной волны. В частности, мне хотелось бы подробней остановиться на так называемой зубатовщине...— И как бы для Поли, чтоб не скучно ей было дожидаться своей очереди, дал обстоятельную характеристику известного царского охранника, придумавшего полицейский социализм для отвлечения рабочих от революционной деятельности.

— Но ведь после девятьсот пятого вся эта махинация была начисто разоблачена,— с паузами, все еще прислушиваясь к затихающему воздуху, напомнил Иван Матвеич.— На мой взгляд, царизм собственноручно убил зубатовщину девятого января... Кстати, как мне удалось доискаться, впереди той знаменитой расстрелянной процессии покойный дядька мой нес икону какого-то святителя в серебряном окладе: их пробили насквозь одной и той же пулей. Можете убедиться, что это был за

богатырь...— Потом послышались шаги, и Поля догадалась, кого именно ее отец показал Морщихину на большой фотографии *Утро стрелецкой казни,* висевшей в простенке вихровского кабинета.

В ответ Морщихин очень толково разъяснил партийно-политические мотивы своей задачи. По его мнению, для современной молодежи было бы небесполезно оглянуться на этот период русской истории. После своего поражения в текущей войне, в чем Морщихин никогда не сомневался, старый мир наравне с подготовкой новой штаб-квартиры непременно вернется к испытанной тактике обольщения всякими либерально-завиральными идеями, мнимыми свободами буржуазной демократии,— к соблазнам легального классового сотрудничества, то есть к обману, подкупу, подачкам и отеческо-полицейской ласке. В первую очередь, предсказывал Морщихин, такая атака грозит странам, которые в результате военных потрясений качнутся от капитализма в нашу сторону. Именно там старый мир попытается вербовать предателей из простаков и неустойчивых, быстрых на воспламенение и остывание,— во всех областях профсоюзной, спортивной или религиозной деятельности. Таким образом, зубатовщина интересовала Морщихина как классический полицейский прием укрощения строптивых, и, можно было догадываться, морщихинской диссертации как раз недоставало ярких примеров его практического применения.

— Признаться, я сознательно затеял с вами данный разговор, Иван Матвеич, потому что вам, как петербургскому жителю той поры, могут быть известны кое-какие мелочишки такого рода. Сколько мне известно из сережиных рассказов, вы принимали участие в революционных сходках, маевках, в организации благотворительных вечеров. Поэтому у вас могли и сохраниться...

Он не досказал: тут ворвался длинный, как вечность, нарастающий, лаистый вой и вслед за ним короткий с крякотом животного удовлетворения удар, почти покачнувший ветхое здание, где все они находились.

— Я уж думал,— ушли, но вот какой-то вернулся схамить на прощанье, хотя бы разбить стакан... Таким образом! — сквозь зубы и после мелкого стеклянного дребезга произнес Иван Матвеич.— Какая это все же стыдная, пещерная пакость!.. Да, я слушаю вас, Павел Андреич.

— Вот я и хотел спросить, неужели у вас не сохранилось записей, пометок того времени или хотя бы писем от пострадавших друзей?

Иван Матвеич ответил не сразу: подбирал осколки чего-то, упавшего с подоконника.

— Видите ли, дневников я никогда не вел,— сказал он потом, и Поля пожалела, что ее отцу нечем, видимо, порадовать хорошего человека.— Биография моя сложилась слишком несуразно, чтобы таскать за спиной мешок с подобными сувенирами. Участие мое в революции также крайне сомнительно. Я слишком долго принадлежал к той, доныне распространенной на Западе категории ученых, которые долг совести видят в безукоризненном выполнении профессиональных обязанностей. Подобно божьим пчелкам, они не задумываются, кто и по какому праву забирает у них мед вдохновенья, обогащается их бессонными ночами, перепродавая их на биржах, нередко обращая во вред остальному человечеству... Да еще вдобавок время от времени бьет им посуду вот такими погремушками!.. К революции я шел своим *лесом* и, сказать правду, вследствие постоянных побоев довольно *дремучим* лесом. Да и высылка моя — явное и, пожалуй, незаслуженное мною недоразумение: просто поплатился за близость к одному большому партийному человеку. Наверно, слыхали фамилию Крайнова? Вот бы вам с кем: при своей гигантской памяти он один заменил бы вам целый архив... Кстати, если не военная тайна, когда предполагается ваш выход на фронт?

— Неизвестно, но скоро. Завтра состоится пробная обкатка бронепоезда.

— Тогда вряд ли успеете... В самый канун войны Крайнов написал мне из другого полушария, что надеется погостить в Москве близ рождества. Между прочим, занятное совпадение!.. Помнится, в самый вечер столыпинского убийства мы отправились с ним в Народный дом графини Паниной... имелось такое просветительно-филантропическое заведение в Петербурге. Пошли мы послушать лекцию одного приятеля, но выступление не состоялось по неявке лектора, и остаток вечера мы прогуляли по набережной. То была одна из последних наших встреч перед начавшимися затем крупными арестами. Так вот этот самый Крайнов рассматривал и меньшевизм как

начальный оттенок в разнообразном спектре зубатовщины...— Вдруг Иван Матвеич прищелкнул языком, и Поля с облегченьем поняла, что какая-то спасительная мысль пришла в голову ее отцу.— Кажется, Павел Андреич, я нашел вам если не выход, то лазейку из вашего положения. Скажите, вам никогда не попадалось такое слово — *миметизм?*

— Не помню. Какой-нибудь философский выверт той поры?

— Не совсем. В переводе с французского оно означает притворство, а в наших юношеских кругах так называлась политическая мимикрия с диверсионными целями. По почину одного, разоблаченного ныне, провокатора Слезнева в Петербурге тех лет даже возникло такое объединение среди учащихся, членам которого рекомендовалось вступать в царские учрежденья вплоть до охранки, чтоб взрывать изнутри ненавистный режим... путем доведения его мероприятий до абсурда. Я охотно мог бы дать вам адресок одного из бывших моих однокашников по Лесному институту. Он сам едва не стал жертвой этой мерзкой западни.

— ...Тоже лесник?

— Он лишь до некоторой степени лесник... И вообще мы с ним не в ладах: этот человек придерживается крайне разрушительных взглядов на русский лес... а в последнее время у меня составилось убеждение, что — из карьеристских побуждений. Ему кое-что удается сделать, потому что многие у нас все еще считают левизну признаком известного благомыслия... Как же, подходит вам это?

— Просто клад для меня,— с проблеском надежды в голосе сказал Морщихин.— Этот ваш знакомый... он не укатил в эвакуацию?

— Как раз остался в Москве из самых благородных побуждений. Больше того,— продолжал, возгораясь, Иван Матвеич,— в молодые годы он сам собирался писать нечто на вашу тему и целый год прокопался в архивах Департамента полиции и в так называемой *личной канцелярии его величества,* но разочаровался и бросил работу на полпути. Я уверен, что собранные матерьялы так и валяются у него без дела. Если вы явитесь к нему до отъезда, он с удовольствием доверит их вам на несколько

деньков для переписки... Впрочем, из-за наших ожесточенных разногласий вам не следует ссылаться на меня. Лучше просто польстите ему: в данном случае дичь стоит своего пороха! Дело в том, что при всей внешней приятности это болезненно честолюбивый и оттого несколько непостоянный... пожалуй, даже небрежный в обращении с людьми человек. К слову, это он и должен был читать ту несостоявшуюся лекцию первого сентября 1911 года, то есть в вечер столыпинского выстрела. Как и Крайнову, мне тогда было ужасно неловко за товарища, обманувшего рабочую, к слову, довольно многочисленную в тот раз аудиторию, тем более, что рядовой рабочий в те годы видел друга в каждом носившем студенческую куртку.

— Но, возможно, лектор не явился по болезни?

— Возможно...— замялся Иван Матвеич.— На другое утро в институте он и сам жаловался на головную боль. Собственно я потому и запомнил все это, что Крайнов отчитывал его при мне, и, надо сказать, редко видал я этого сдержанного человека в столь распаленном состоянии. Итак, поторопитесь, Павел Андреич, это редкая удача! — В заключение Иван Матвеич так долго шарил по записным книжкам, что, хотя имя Грацианского и не было произнесено пока, Поля едва удержалась от желания подсказать отцу затерянный адрес через раскрытую дверь.

Морщихин досидел до самого отбоя воздушной тревоги, и так случилось: проводив его, Иван Матвеич мимоходом заглянул на кухню. Поля вскочила с табуретки, наспех обдергивая гимнастерку. Она с тоской ждала восклицаний, тягостных объятий, даже упреков в забвении родственных приличий, но все произошло несколько иначе.

4

Кроме той ничтожной и секретной просьбы, в намерения Поли входило высказать отцу покаянное удовлетворение, что вопреки враждебным наветам он оказался на высоте положения,— похвалить сентябрьскую лекцию, одобрить его вступленье в партию, то есть поддержать несчастного старика в его одиноких обстоятельствах на закате дней. Но при ближайшем рассмотрении перед нею

оказался моложавый, с колючей приглядкой, улыбающийся человек, уж никак не походивший на забитое, жалости достойное существо. Мысли ее спутались, а заготовленные речи мигом вылетели из головы; утратив свою независимую выправку, она потерянно тискала пряжку поясного ремешка.

Иван Матвеич успел рассмотреть комсомольский значок на еще необмятой гимнастерке, обгрызанные ноготки, вспугнутые серые глаза, и, как ни хотелось ему глядеть в них, узнавать те, другие, уже чуть расплывшиеся в памяти, он все же отвел взгляд, чтоб не умножать понятного полина замешательства.

— А я-то все гадал, что там на кухне шевелится. Рад случаю посмотреть, полюбоваться на тебя. Ну, здравствуй, дочка...— и, не дожидаясь ответа, запросто повел к себе за ее немую, как и у матери ее *тогда,* захолодавшую руку.

— Пустите, я лучше сама...— постаралась освободиться Поля.

Он взял было пепельницу — поставить на стол, но раздумал, нечто другое поискал глазами вокруг и не нашел, сердито подергал галстук, потом легко для своего возраста вымахнул тяжелое кресло на середину, а Поля смятенно догадалась, что и отец не меньше ее взволнован встречей.

— Вот, сюда садись. Таким образом.

— Ничего, я и здесь, в уголке...— сказала Поля.

— Нет, нет, садись... не чужая. Ведь это же твой дом, которого, для меня, ты не покидала ни на минуту... но только как тихо ты вела себя все эти годы! Теперь уж не отпустим, пока не допросим обо всем. Я и сам сто раз к тебе собирался, да сестра запретила... с твоих же слов. Таиска мне не лжет. Ну, давай знакомиться: давно, давно ждал тебя! Ты же комсомолка... открывайся же начистоту, в чем я провинился перед тобою?

— Ни в чем, но... так получилось. Я еще с самого приезда повидаться хотела, да сперва дела разные отвлекали, а потом...— и оглянулась на кухню в поисках отступления или помощи, но Таиска еще не возвращалась из очереди.

— Постой, так сколько же лет я не слышал твоего голоса?.. неужели с тридцать шестого? В том году, бу-

дучи в ваших краях, я нарочно заезжал в Лошкарев взглянуть на тебя... не помнишь? К сожалению, я не мог, не посмел назваться тогда. Вследствие служебных неприятностей...— и он беглым, испытующим взглядом окинул Полю,— у меня случился небольшой вынужденный отпуск, и, знаешь, как всегда в случаях больших разочарований, вдруг потянуло к целительным родничкам детства... Вот я и поехал на Енгу́.

Наихудшие предположения его подтверждались:

— Я знаю, папа, я читала про все это,— кивнула Поля.

— И ты... поверила? тому, что писали про меня, поверила?

— Я не имела права не верить этому, папа.

— Да-да, так и нужно... так всегда в жизни и поступай: верь! — заторопился он, принося себя в жертву главному и незыблемому.— О, мы слишком часто упускаем из виду, что дети запоминают некоторые ошибочные и болезненные манипуляции с их отцами, производимые у маленьких на глазах. Но в данном случае ты вполне можешь верить и мне, дочка. Я не крал, не продавал отечества, не обманывал, хотя... и должен признать себя весьма недалеким человеком, если за целую жизнь не сумел доказать самых банальных очевидностей моему народу.— Он опустил глаза.— И мама тоже читала?

— Я долго прятала от нее, она сама нашла эти вырезки у меня под подушкой. Мы и поняли тогда, почему один денежный перевод пришел на два месяца позднее. Только вы напрасно извинялись в письмах насчет тех денег, мы совсем неплохо жили... и живем... В прошлую зиму даже радио себе купили!..

Иван Матвеич пристально посмотрел на свои расставленные пальцы.

— Я не только потому их посылал, чтобы вы лучше жили, а чтобы иметь право однажды под старость вот так посидеть с тобой, взять за руку тебя, потолковать насчет жизни... таким образом. Когда-нибудь ты сама поймешь это с необыкновенной ясностью, хотя пусть лучше никогда не будет... чтобы ты испытала эту потребность с такой же силой, как я.— И, радуясь чему-то, круто переменил разговор: — Однакоже все обернулось в наилучшем виде: выросла, комсомолка... и уже в армии?

— На войну еду... вот, проститься зашла,— сказала Поля, подняла лицо и, не смахивая набежавшей от волнения слезинки, улыбнулась отцу в самые глаза.

Опять он смотрел себе на пальцы, вернее, сквозь них, на большие кирзовые сапоги, и, поймав направленье его взгляда, дочь скрестила ноги под столом, чтобы их стало немножко меньше.

— Понятно, все приходят прощаться, конвейером... ты третья сегодня. И в соседних домах тоже прощаются, в соседних городах и странах: во всем мире настает полоса больших разлук и перемен. Свиданий будет гораздо меньше, таким образом.— Он пропустил смежную мысль, несколько отвлеченную для понимания подростка, каким Поля представлялась ему.— Но это неминуемо... Да ты не стесняйся своих сапог, дочка. Сейчас нет одежды наряднее и честнее твоей. И как же, призвали тебя в армию. что ли... или сама?

— Да, я по своему желанию пошла.

— Ага, таким образом. Молодость защищается сама. Вот любопытно, кстати: некоторые поэты находят известное упоение в бою, я имел случай лично проверить это в 1915 году, но на моем опыте воззрение это не подтвердилось. Так что же именно повлекло тебя *туда?* Это самое упоение, желание испытать себя в опасности, гражданская совесть, гнев, оскорбленная гордость твоя... может быть, стремленье к славе, наконец? — подсказывал он, чтоб облегчить ей выбор и точность обозначенья.— Все не то?

— Совсем другое,— покачав головой, сказала Поля.— Только объяснить мне трудно.

— А ты намекни, я пойму. Уж очень мне любопытно все в тебе.

Поля настороженно покосилась на отца, но нет, он пока не отговаривал, не жалел, чего так боялась, и до такой степени держался вровень с нею, что некоторые из своих выводов ставил в прямую зависимость от ее ответов. Теплота доверия охватила ее, и ненадолго ей стало совсем легко с отцом, почти как с Варей.

— Я так объясняю...— начала она,— ну, к чему стремятся люди? Говорят, к счастью, а по-моему, неверно: к чистоте стремиться надо. Счастье и есть главная награда и довесок к чистоте. А что такое чистота на земле? Это

чтоб не было войны и чтоб жить без взаимной обиды, чтоб маленьких не убивали, чтоб на ослабевшего не наступил никто... ведь каждый может ослабеть в большой дороге, правда? И чтоб дверей на ночь не запирать, и чтоб друг всегда за спиной стоял, а не враг, и чтоб люди даже из жизни уходили не с проклятьем, а с улыбкой...

— Желательно, но вряд ли осуществимо,— вставил Иван Матвеич.— Ты продолжай, продолжай...

— И еще чтоб трудились все, потому что человек без труда хуже любого зверя становится, ему тогда весь мир взорвать нипочем. Никто так не презирает людей, как сами достойные презрения... Вот, а иначе-то ведь и нельзя, зазорно как-то иначе... верно? А рассказывают, что и *там* ничего, живут, даже музыку слушают и цветы сажают.

— Где это *там?*

— Ну, в этом, как его... в старом мире. Не раз сама рефераты о нем читала... и одного никак в толк не возьму: уж сколько веков гниет, а все еще держится. Хоть бы в щелку на него взглянуть, что это за штука живучая такая... и почему, почему она не взорвалась, не распалась давно от одной боли людской?

— Да нет, она и взрывается помаленьку, кусочками, Поля,— засмеялся Иван Матвеич.

— Побыстрей бы уж, а то жизнь-то ведь проходит,— с детской ясностью пожаловалась Поля.— Глупенькая я и смешная... верно?

— Нет, ты не очень глупенькая... и далеко не смешная,— волнуясь, заговорил Иван Матвеич.— Вот тебе захотелось взглянуть на него, а скажи... в школе у вас не проходили миф такой, о Горгоне? Так и знал... а жаль!.. Без познания таких корней человечества не поймешь и листьев в его кроне. Видишь ли, имелось в мифологии у греков такое адское страшилище... с железными руками, золотыми крыльями и змеями вместо волос. Неизвестно чем — ужасом, сладостью или печалью, но только оно окаменяло взглядом каждого, кто решался глядеть ему в очи. Древний поэт помещал ее жилище далеко на западе, за океаном.

— Значит, это страна такая?

— Нет, гораздо грозней и шире, Поля: это вся сумма низменных страстей, в основном руководивших поступками вчерашнего человечества... И только один отважный

среди людей нашелся — Персей, кто порешился на поединок с нею.

Морщинка озабоченности, тревоги за героя, набежала на полин лоб.

— И как же: одолел он ее?

— Да.

— Какой молодец!.. и что же потом случилось?

Иван Матвеич помедлил с ответом.

— Ну, это довольно сложного рисунка миф. Из крови Горгоны родились поэзия и грозовая туча, что в жарких климатах совмещается с понятием о плодородии. Как видишь, неплохая награда за победу, таким образом... Но и Персей отвернулся, когда заносил свой серп над Горгоной, хотя благоразумно запасся такими новинками своего времени, как волшебное зеркало, шлем-невидимка и летучие башмаки. Он понимал, на что́ идет!

Поля настороженно взглянула на отца; кажется, надвигался тот, неприятный ей разговор.

— Я не поняла, простите. Вы хотите предостеречь меня от рискованного предприятия?

— Напротив... тем более, что и Горгона уже не та, повыпали ее зубы, но... я никогда не говорил с тобой, и мне захотелось посмотреть, Поля, что же имеется у тебя самой, на вооружении твоей души против зла с тысячелетним возрастом.

— Я скажу,— вырвалось у Поли, и в девственном упрямстве, с каким прижала подбородок к плечу, Иван Матвеич узнал любимейшее свое произведение, неаполитанскую Психею.— Мне думается, что молодость наша и чистота.

— Чистота... это в смысле незараженности излишней мудростью, что ли? — осторожно переспросил Иван Матвеич.

— Нет... а в смысле бескорыстия поставленных нами целей. Словом, целей наших чистота... но на худой конец что-нибудь и похлеще найдется. Так один мой товарищ школьный говорил, он тоже на войне теперь... но все равно: это и мои мысли! — Поля исподлобья взглянула на отца.— А что же еще требуется, по-вашему?

Ей не понравилось его затянувшееся молчание. Наверно, ее отец слишком много знал о жизни, чтобы подняться в ту, родионову, огневетренную высь над ней.

— Нет, Поля, я не запугать тебя хотел...— заговорил Иван Матвеич, легко, как с листа, читая ее мысли.— Да это и неважно. Родители видят свой долг в том, чтобы запихнуть побольше ветоши в походную сумку любимца, которую тот все равно без сожаления выкидывает на полдороге. Хе-хе, эти чудаки способны придумать ему крылья на вате, во избежание простуды, таким образом!

Было слышно, как на кухне стучала посудой воротившаяся из очереди Таиска. Вполне своевременно она внесла на подносике блюдце карамели, чайник и тарелку холодной, нарезанной дольками свеклы. Огорченная чем-то или же не смея вмешаться в ученую беседу, она молча присела в стороне. Только спросила глазами у брата, договорились ли, и тот сделал ей успокоительный жест в знак того, что, дескать, не совсем еще, но налаживается. Внезапно, с глухим вздохом, раскрылась дверца буфетика, и, вспомнив рассказы матери, Поля улыбнулась; все это чуть погладило неловкость намечавшейся размолвки.

— Вот, опробуй, Поля, от теткиных трудов,— как бы извиняясь за скромность угощенья, пригласил Иван Матвеич,— сама в палисаднике выращивает. От деликатесов в пожилом возрасте следует воздерживаться, а вот углеводы и нашему брату в любом количестве не повредят. Обрати внимание: исключительной вкусовой гаммы свекла... не находишь?

— Спасибо, я ведь прямо из столовой к вам прикатила! — И, смягчившись его боязнью снова потерять ее надолго, погладила руку отца.— Я все понимаю, папа... но, пожалуйста, не бойтесь за меня: еду я всего лишь санитаркой... к тому же, говорят, на самый тихий участок фронта. Какая там Горгона!

Единственно, чтоб не обидеть старуху, она взяла ломтик, согласилась, что свекла — редкой сахаристости, и посмотрела под рукав на часики, те самые, что Иван Матвеич подарил жене вскоре после переезда из лесничества в Москву. Военная одежда надежно охраняла Полю от упрашиваний погостить денек-другой.

Иван Матвеич мельком взглянул на фотографию в золоченой рамке.

— Когда ты видела маму в последний раз?.. и вообще, как она там?

— Мы виделись накануне отъезда... Но я приехала

сюда еще в июне. С тех пор было только два письма от нее, потом все оборвалось.

— Да, мне рассказала сестра. Пожалуйста, опиши мне ее последний день перед твоим отъездом.— И прикрыл глаза, чтоб лучше видеть то, что ему хотелось.

— Да нечего и описывать-то... Ну, сделала обход больных, как положено фельдшерице. После смерти Егора Севастьяныча молодого врача к нам прислали, неопытного: вся больница на маму легла. Вечером принимала своих избирателей: у нее как раз по субботам депутатский прием. Только домой вернулась, усталая, тут ей хозяйственные отчеты какие-то принесли. Да, на счастье, свет погас: у нас там электричество пока неважное, часто портится. С полчасика посидели мы с ней в потемках, обнявшись... потом поехали на станцию.

— Это хорошо. При мне электричества вовсе не было,— сказал в задумчивости Иван Матвеич.— Не замечала, не зябнет она теперь?

Поля не поняла вопроса: видимо, эта главнейшая подробность таискина рассказа о Елене Ивановне не удержалась в полиной памяти.

— Да не с чего зябнуть-то: дрова свои, на Енгé живем.

Иван Матвеич постарался в пределах возможного уточнить вопрос:

— Я в том смысле спросил, что... не скучно ли ей там, *одной*. Ты ведь главным образом в Лошкареве жила. Так вот, не тоскует ли... без близких-то?

И опять Поля не поняла его ревнивого вопроса.

— Она на людях весь день, так что тосковать вроде и некогда. Разве теперь только... Очень это плохо, что весь месяц ни слуху ни духу от нее. И что она сейчас, в данную минуту, делает, уже не знаю, не вижу...

— Разве разглядишь сквозь пороховой-то дым,— в качестве утешения вставила Таиска.

— Ну, такая мама, как у меня, уж нашла бы способ весточку о себе подать!

Темнело рано, по зимнему. Поля стала прощаться. После неизбежных напутствий, советов беречь здоровье и приглашений заходить до отъезда старики вышли проводить ее в прихожую. Поля позволила отцу застегнуть деревянные пуговицы на ее ватнике: он делал это неумело, просто стремился оттянуть разлуку.

— Не забывай нас, Поленька... Напиши нам при случае, защитница ты наша! — сказала Таиска и как-то особенно истово поклонилась уходящей в пояс.

Она была такая сдержанная, рассеянная в тот вечер, что брат не узнал ее: даже не предложила присесть перед отъездом, по русскому обычаю, как это всегда велось в их доме,— даже не заметила, что, придя со свертком, гостья уходила с пустыми руками. Но вот уж и дверь была распахнута, а Поля почему-то медлила с уходом.

— Если тебе что-нибудь нужно, Поля, ты прямо скажи,— предложил Иван Матвеич.— Конечно, у солдата харчи и мундир готовые... но имей в виду: здесь до последнего гвоздя все твое... пополам с Сережей.

— По глазам видать, и хочется ей чего-то, а сказать боится,— подтвердила Таиска.— Может, деньги или из теплого что возьмешь? в самую стужу отправляешься! Ты не стесняйся, Поленька, нам для тебя ничего не жалко.

И действительно, такая готовность на любую жертву читалась в их лицах, что Поля решилась.

— Видишь ли, папа,— подкупающим голоском и сама не приметив перемены в обращеньи начала она,— у меня довольно много имеется маминых карточек... даже из местной газеты вырезала одну, после выборов в районный Совет. Но везде она такая озабоченная, словно и на фотографии спешит куда-то. И никогда я ее не видела такой веселой, как у тебя в золотой рамочке. Ты не рассердишься, если... словом, подари мне ту, *твою,* со стола. Можно?

Она была уверена в успехе, потому что это была ее первая личная просьба к отцу.

— Ах, таким образом? — замялся Иван Матвеич.— О, я очень охотно сделаю это, но... правду сказать, просьба твоя застает меня несколько врасплох. Давай... вернемся на минутку и сообща придумаем что-нибудь.

— И я не стала бы просить ее,— говорила Поля, возвращаясь следом в кабинетик и не примечая смущенного таискина лица,— но все равно ведь стоит у тебя без дела... а мне она так пригодилась бы в дороге. Правда, я никогда не видала маму и расстроенной, но зато мне никогда не удавалось и рассмешить ее.

— Ты не оправдывайся, я отлично понимаю тебя, Поля,— многословно соглашался Иван Матвеич, топчась

на месте.— И, пожалуй, я уже нашел выход из положения. У нас в институте имеется фотограф, глубокий старик, но великолепный мастер своего дела... снимает типы леса, заболевания древесины, таким образом. Сейчас он немножко болеет, но у него имеется свояченица... собственно, она-то и вела всю работу. К несчастию, у них нет телефона, но утром пораньше я свезу эту карточку на пересъемку и... и подарю тебе даже две копии, в запас! Ты еще побудешь, конечно, денька три в Москве?

При этом Иван Матвеич проявлял необычайную подвижность: то относил фотографию к окну, чтоб рассмотреть что-то в тусклых предзимних сумерках, то тер рукавом бронзовые гирлянды на пропылившемся ободке, ища повода еще ненадолго задержать ее в руках.

— Наш поезд уходит сегодня в десять,— сказала Поля.

Иван Матвеич мужественно улыбнулся:

— Тогда мы, вот что... я даже не буду вынимать ее, бери так! Под стеклом она будет сохраннее.

— Да ты не бойся, ничего с ней и так не случится,— заторопилась Поля, начиная понимать поведение отца, и ей стало тепло от своей догадки.— Я положу ее в комсомольский билет, а уж это самое надежное место. Между прочим, очень красивая рамка, наверно, старинная, из бронзы, да?

— Пустяки, такие вещи часто попадаются. Забирай вместе с рамкой, без возражений забирай, но только помни, в обмен на твое письмо отдаю. Ты напишешь его нам сразу по приезде на место, не меньше четырех страниц самого убористого почерка... согласна? Впрочем...— Он прикинул на ладони вес подарка применительно к солдатскому подсумку и уже без понуждений достал фотографию из прорези на обратной стороне.— Бери... как и все остальное здесь, это тоже твое, Поля.

Карточка в обрез уместилась в комсомольском билете, лишь полоску с края пришлось подогнуть. Поля покидала отцовский дом с двойной радостью: выполненной, наконец, тяжелой обязанности и давно желанного приобретенья. В полупустом вагоне метро она привела в порядок свои бесчисленные впечатленья и прежде всего открыла с легким сердцем, что не уносит с собой на фронт ни стыда за отца, ни, что еще лучше, унижающей жалости к нему.

Да и жил он в конце концов не хуже мамы... правда, лишь по необъяснимому упорству ютившейся попрежнему в холодноватой горенке у Попадюхи. Несколько смущала Полю несоразмерная такому свиданию скудость отцовского угощенья... и правильно, пожалуй, поступила: пока ждала своей очереди на кухне, по внезапному осенению запихнула в глубину шкафчика две банки только что полученных ею пайковых консервов. Этот маленький подарок внушал Поле чувство взрослости при подведении итогов генерального испытанья, выдержанного Иваном Матвеичем на пятерку с минусом.

5

Она поднималась к себе по неосвещенной лестнице, когда снова захлопали батареи противовоздушной обороны; из-за близости фронта вражеские налеты в тот месяц нередко повторялись на протяженьи суток. Дверь в квартиру стояла открытая настежь, соседки опять не было дома. В свете зенитной вспышки за окном Поля мимоходом разглядела детскую кроватку со взбитыми подушками неестественной, как бы при электрическом разряде, зеленоватой чистоты. На этот раз военная служба и скорый отъезд избавляли Полю от необходимости торопиться на крышу. Не раздеваясь, она проскользнула к себе и наощупь отыскала заблаговременно собранные вещи. Но прежде, чем навсегда уйти отсюда, Поля отдернула на себя забухшую балконную дверь и выглянула в холод и тьму наружу. Налет был в разгаре и походил на грозу — злую, низкую, зимнюю; припав к самому городу, снежно мерцавшему внизу, она с урчаньем копошилась в его внутренностях. Раскаты взрывов вплетались в безостановочное уханье зенитных орудий; при перебегающих блестках прожекторов там и сям поднимались гигантские стремительные дымы, напоминавшие веера силовых линий в магнитном поле, но самого пламени не было видно: оно работало где-то внутри жилищ, ближе к людям. В ту минуту Поля не чувствовала ни страха, ни гнева — только холодное, жестокое любопытство к невидимому насекомому, что кружило над головой, резвилось, падало с выключенными моторами, жалило и безнаказанно удалялось в неуязвимую высоту... Как непохожа была Поля на себя,

прежнюю, впервые заслышавшую стонущий вой нападенья!..

Потом все внизу — сугробы у домишек и фасад церквушки, сквозившей из голых деревьев,— озарилось трепетным розовым сияньем: загорелась овощная палатка при выходе из Благовещенского тупичка. При дрожащем свете, отраженном от потолка, Поля прощальным взглядом окинула варину комнату, стараясь запечатлеть в памяти бесценные подробности — от расположения предметов до рисунка обоев на стене,— и почему-то не смогла покинуть свое жилье без последней приборки, хотя догадывалась, что больше не вернется в этот очень хороший, только немножко недостроенный дом. Не торопясь, испытывая силу воли на малом, она поставила под кровать свои честные, ссохшиеся рыжики, поправила сбившегося набочок Дарвина в простенке, приоткрыла варин сундучок и, увидев свой рисунок сверху, вспомнила Бобрынина и, внезапным осененьем разгадав тайну подружки, сочувственно улыбнулась ей, милой, в далекую огнедышащую мглу.

— Теперь прощай все! — шепнула Поля, подымаясь с колен, и, так как никто не видел ее, поклонилась из окна Москве, приютившей ее перед выходом из безветреной заводи на большую реку.

Когда сбежала вниз, пожар на углу уже гаснул. Погромыхивая и мерцая зарницами, гроза отодвигалась на запад. В подъезде дома толпились жильцы с той терпеливой скукой в лицах, с какой пережидают ливень в подворотнях; попривыкнув, почти никто теперь не спускался в подвал при тревогах. Все они молча следили за удалью двух подростков, невдалеке тушивших большую, уже последнюю термитку на мостовой; загнав в земляную щель, как адского зверка, мальчишки приканчивали ее песком пополам со снегом, а та фыркала, огрызалась, к явному их удовольствию, обдавая клубами алого, праздничного пара... На полин вопрос знакомая старушка из десятой квартиры отвечала, что Наталья Сергеевна всего минуту назад побежала перевязать кого-то в деревянном *флигерьке,* наискосок через улицу. Поля заспешила туда проститься с дамой треф, в странном предчувствии, что на прощанье та непременно приоткроет ей клочок утаенной от людей правды... здесь-то и произошло заключительное событие дня.

Двойной, чуть позади, настигающий свист заставил Полю обернуться. Нестерпимый блеск в окне только что покинутой комнаты швырнул ее назад и навзничь, и потом, оглушенная, лежа на спине, она увидела, как угол ее дома сперва накренился, повиснув в воздухе, после чего стал раздаваться на неравномерные куски, подобно льдине в половодье... и так медленно, что алебастровая колхозница с фронтона как бы леностно наклонялась за своим снопом, оторванным от нее вместе с руками. Она так и падала, увеличиваясь в размерах и каменно улыбаясь, а Поля зажмурилась от ужаса, и через некоторое время ее разбудил жидкий холодок подтаявшего снега под затылком. Она присела, слизывая грязь с засолоневших губ, и старалась сообразить, куда же подевались мальчики с термиткой?.. и, главное, дом-то стоял такой же, если не считать двух обгрызанных с угла этажей, и сама она, Поля, тоже была целая вся, и ничто в ней не болело, только в глазах желтые листья уплывали влево и назад, за спину. А уж там тащили что-то на носилках к подъезду, и незнакомый сдавленный голос прокричал, что убили Наталью Сергеевну, а это означало, что мальчиков отнесут потом, а пока уносили ту самую женщину, которой необходимо было передать ключик от вариной комнаты, чтоб не потерялся. Тогда Поля безо всякой боли поднялась и, шатко обойдя груду щебня, догнала носилки, и на них покачивалась в такт шагам запрокинутая женская голова в короне полуседых, ничуть не сбившихся волос, а самое тело ниже пояса и поверх собственной одежды было наспех прикрыто мужским пальто, так что меховой воротник волочился сбоку по снегу. И, разглядев это при свете все еще пылавшей термитки, Поля вскрикнула, а Наталья Сергеевна вскинула на нее огромные, не свои, ужасно черные глаза и не узнала.

— Пожалуйста, соблюдайте порядок... прежде всего спокойствие. Очень хорошо. Спасибо, я вам так благодарна. Я встану сейчас. Нет, нет, мне совсем не больно, благодарю вас...— Так без передышки распоряжалась она, отвечая на вопросы, которых ей не задавали, и вдруг нечеловеческое прорвалось сквозь стиснутые зубы: — Да почему, почему же не остановит их никто?.. ах, боже мой, негодяи-то какие!

Видимо, возбуждение глушило ее боль, она не просто-

нала ни разу, пока несли, только металась, не хотела, потому что несли ее куда-то безвозвратно в глубину и вниз, по ступенькам, и Поля следом шла, не отрывая глаз, едва касаясь земли, как во сне. И потом, поставив носилки посреди подвала, как в пустыне, все разбежались — к телефону, или, может быть, откапывать мальчиков, или просто чтоб не видеть. И больше никого не осталось возле Натальи Сергеевны, кроме господина с лицом из мятой бумаги и в необыкновенном полосатом пиджаке, и что-то до отчаяния знакомое было в его ниспадающей шевелюре и колючих золотых очках. Но нет, это был не тот доктор из детского воспоминанья, а кто-то другой, чью фамилию Поля как на грех забыла. И откуда-то взявшаяся зловещего вида старуха, должно быть, и в душе такая же чернавка, настойчивым шопотом уговаривала господина взять назад пальто с носилок — затем ли, чтоб не простудился, или чтоб не испортилось, не пропиталось чем-то самое пальто; а сын отбивался, не разжимая губ, молил ее таким же шипящим тоном многолетней ненависти, чтоб ради всевышнего, безжалостно-правосудного, хоть раз в жизни оставила его одного... и вдруг старуха необъяснимо исчезла, как оно и должно происходить во снах, но все равно зрелище это, непоправимо страшное, расплывавшееся при свете подслеповатой, вполнакала, лампы в потолке, с такою силой приковывало взгляд, что Поля только сжалась в своем углу, а уйти не могла.

— ...боже, изверги какие! Да где же умы-то человечества? Нет, этого ж так нельзя оставить... их просто всех убивать надо без разбору, топором. Какие там капиталисты, да просто они подлецы, их же убивать надо!..— снова и снова, воспламененно и тоном внезапного открытия начинала раненая.— Но посмотрите ж кто-нибудь, что у меня там с ногами. Я хочу встать, помогите. Мне нужно итти на пост, я запаздываю...— И снова с отчаянием предельной муки: — и ведь никто, никто не спросит у *него* построже, по-мужски, зачем же *ему* нужны такие подлецы на свете?

— Перестаньте... лежите тихо, Наташенька. Сейчас скорая помощь... и потом наступит длинный-длинный отдых,— опустясь на колено, бормотал над нею человек в пижаме.— Держитесь из всех сил, ради внучки нашей держитесь. Вы же волевая! Помните, как вы динамит ко

мне в наволочке принесли?.. и я руку вам поцеловал за смелость... и как *они* потом обманули нас обоих, надсмеялись над нами, помните?

— Я вас не вижу, кто вы? — отстраняясь, спрашивала Наталья Сергеевна.— Закройте же там... как дует! Ах, вот что: кажется, я совсем стала односторонняя... дама треф! Нет, не болит, но... это ужасно, я даже за молоком не смогу сходить, когда Зоенька вернется...

— Не думайте... я позабочусь о ней, разыщу, возьму к себе,— со стариковской одышкой торопился тот в напрасном стремленьи успеть проникнуть к ней в сознанье через ее бездонный зрачок, добежать, припасть, вымолить себе прощенье.— Это я, Саша... Помните тот вечер на Сергиевской, и потом как я на коньках вас учил... помните?

Ему удалось, наконец, она затихла, стала понимать.

— А-а, это все вы опять...— разочарованно, в мучительном изнеможеньи протянула Наталья Сергеевна.— Как же я любила-то вас, Грацианский... И даже когда вы со шлюхой этой под ручку из *Дарьяла* выходили, все равно и тогда любила! И как я всю жизнь от вас бежала, а судьба сводила меня с вами на каждом шагу... даже сейчас, сейчас! Вы так всегда цеплялись за жизнь... на дочку в гробу не пришел взглянуть, а это нельзя, нельзя... это надо уметь, Грацианский...

— Но я же болен был тогда, дорогая!..— простонал тот, с бумажным лицом, а Поля поняла, что он солгал и теперь.

— ...даже внучку проводить не пришел, хотя ведь это не связано с расходами, Грацианский... разве только шоколадку?.. Так сколько же я любила и прощала вам?.. но запрещаю брать Зоеньку оттуда, не велю. Не хватайтесь за эту соломинку, не причиняйте больше людям зла. Вот оно, идет... о, какое! Ах, уйдите теперь, я сейчас умру.

...Когда встревоженная наступившей тишиной Поля снова выглянула из-за бетонного свода, Наталья Сергеевна еще жила; пальцы ее двигались поверх пальто, и, припав сбоку, мужчина в пижаме шептал что-то ради оправдания себе и ей в дорогу; седоватые жидкие космы свешивались до самого ее лица. Совесть и время не позволили Поле оставаться здесь дольше. Крадучись, она

покинула подвал и сперва начисто вытерла снегом песчанистую грязь с лица, потом в нише под лестницей отыскала свои пожитки.

...На улице валил густой снег. Трамваи недавно начали движение после отбоя. На полину удачу санитарный поезд отходил с запозданием в четыре минуты. Новые подруги за руки втащили ее в теплушку. Шипел прицепленный паровоз невдалеке. Весь облепленный снегом, начальник госпиталя с комендантом заканчивали перед отбытием обход эшелона.

— Как, натерпелись страху, девушки? — испытующе спросил Струнников, остановясь возле и высвечивая фонариком глубину вагона: подразумевались неистовства только что отгремевшего налета.— Ничего, закаляйтесь, красавицы!

— Да мы уж подзакалились немножко...— отвечало ему с полдюжины незвонких девичьих голосов из-за полиной спины.

— А раз так, чего ж замолкли? На войне без песни никуда: всегда держите ее в санитарной сумке, под рукой... как костерку в стужу, не давайте затухать, то-то. Ладно, отдыхайте пока...

Поля стояла как раз у дверного проема, но, оглушенная происшествиями дня, не расслышала ни слова, не заметила и отправительного гудка. Ни мыслей не было, ни горечи, ни боли в ушибленном при падении теле, а только ей казалось, что она уже старая. Прислонясь виском к косяку, она глядела на косые, липкие хлопья летящего снега. Он был такой щедрый в ту ночь, как всякий запоздалый и потому ненужный дар.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Оговоримся заранее: по не зависящим от него обстоятельствам Морщихин диссертации своей так и не дописал. Зато благодаря ей он в продолжение двух часов находился в непосредственной близости к одному первостепен-

ному открытию, причем опубликование его не в меньшей степени вознаградило бы автора за понесенный труд... Когда Иван Матвеич надоумил Морщихина попытать счастья у профессора Грацианского, фамилия последнего была уже известна диссертанту и не по лесным статьям, а именно с той самой интересующей его стороны. Он умолчал в тот раз о своем заочном знакомстве с Грацианским не из желания выведать нечто сверх уже известного ему, а, надо думать, лишь из опасенья своим несвоевременным признаньем снизить в глазах Ивана Матвеича ценность его услуги. На самом же деле предвоенная поездка Морщихина в ленинградские архивы оказалась не вполне бесплодной: он сразу наткнулся на загадочную, хоть и недолговечную юношескую организацию, еще в те годы ставшую достоянием печати под именем *Молодой России.* В специальных досье Департамента полиции, то есть царской охранки, фамилия Грацианского фигурировала всего трижды и, по несколько смутному контексту, в качестве одной из жертв замысловатой жандармской махинации. У Морщихина не оставалось никакой надежды когда-нибудь отомкнуть ее секретный замочек, а за истечением подсудных сроков он вообще полагал Грацианского уже в мертвых. Тем поразительней было узнать, что главный герой тайны существует и не только здравствует, но и преуспевает по лесной части, квартируя в соседнем районе — сорок копеек на автобусе. При желании, в ту пору еще нетрудно было отыскать живых свидетелей прошлого, ветеранов ссылки или, скажем, участников баррикадных боев на Пресне, но подобный деятель, без всяких повреждений миновавший несчастия царизма и случайности революции, поистине мог считаться чудесной находкой.

Из-за скорого отъезда у Морщихина не оставалось времени на письменную просьбу о личном свидании; на следующее утро он рискнул отправиться по указанному адресу без предупрежденья, в качестве научного работника, возымевшего внезапную нужду в помощи благородного коллеги. И едва свернул в Благовещенский тупичок, сразу стала понятна причина его безуспешных попыток связаться с Грацианским по телефону. Все здесь вперебой повествовало о ночном погроме: занесенные снежком головешки ларька, откуда женщины выбирали обугленную картошку; груда неразобранных обломков со сталактитами

намерзшего льда; как бы варварской дубиной сбитый на сторону церковный купол со вмятиной в золотце; порванные провода и самый дом с отколотым углом на фасаде, так что виднелась уцелевшая мебель в неестественно пышных белых чехлах. С минуту Морщихин в нерешительности наблюдал, как смельчаки аварийной команды извлекали из водопроводного люка неразорвавшуюся фугаску... но другого такого насквозь свободного дня могло и не представиться в дальнейшем; ему посчастливилось прорваться сквозь оцепленье и войти в подъезд. В ответ на стук престарелый женский голос тоном яги из дупла опросил его через цепку вдоль и поперек, кто он, откуда и зачем. И сперва как будто повезло: хозяин оказался дома, но затем обитая клеенкой, на войлоке, дверь снова захлопнулась, и лишь после долгого унизительного перерыва пролязгало с полдюжины засовов и замков.

Хозяйка исчезла с редкостной в таком возрасте быстротой, лишь хвост ее капота подобно ритуальной метле мелькнул в конце коридора, а на смену матери, прикрывая горло рукой, с притворно-болезненным выражением в лице, показался сам Грацианский. Вместо ожидаемой развалины перед Морщихиным стоял величественный, вполне на своих ногах мужчина, видимо осознавший свою выдающуюся роль в человеческом прогрессе и примирившийся с тяготами неминуемой при этом славы; если даже не знать, что это и есть гроза лесных еретиков, и тогда следовало предположить в нем деятеля на ниве, пускай несколько неопределенного профиля, однако ни в малой степени не подлежащего обсуждению смертных. Он издал краткий, полувопросительный звук, и Морщихин объяснил в ответ, что лишь крайняя необходимость, ввиду экстренного отбытия из столицы, вынудила его отважиться на вторжение в такую рань и при столь плачевных обстоятельствах; стрелки на стоячих часах за полуприкрытой дверью показывали половину двенадцатого. Грацианский выслушал посетителя с оттенком кисловатого недоверия, и вначале ему будто и польстило признание его революционных заслуг и житейского опыта, а вслед за тем как бы и встревожило. Сомнительность повода для посещения и внезапность его, словно гость стремился застать за неподходящим занятием, да и слишком новехонький, прямо с цейхгауза белый командирский полушубок... все это вы-

зывало у хозяина явное подозрение, которого ослабить не смогла и вынужденная ссылка на Вихрова, тем более что письма-то от него рекомендательного на руках у посетителя не оказалось.

Вместе с тем было бы неразумно и отказать в таком разговоре, а потом неделю мучиться неизвестностью относительно истинной причины визита.

— Что ж, несмотря на наши старинные разногласия, я всегда с известной нежностью вспоминаю этого человека, с которым, э... в годы политических гонений делил гороховую похлебку в одной греческой кухмистерской на Караванной,— насильственно и несколько чопорно улыбнулся Грацианский.— Давненько мы не видались... как он там, все похрамывает? Нет, нет, не в смысле идеологическом, а вообще... Сто лет сбираюсь позвонить ему, да некогда. Кстати, потерял... не помните ли номерок его телефона?

— Иван Матвеич еще вчера жаловался мне, что, несмотря на неоднократные заявления, у него до сих пор не установили аппарата,— догадливо и четко, чтобы не оставалось никаких сомнений в отношении его, сказал Морщихин.

— А, узнаю Ивана по его неуменью устраивать личные дела,— посмеялся Грацианский, как будто об отсутствии телефона у Вихрова слышал впервые.— Рад оказать ему посильную услугу, но сожалею, что вы затянули свое дело до отъезда. Попрошу прощенья за нескромность: ехать собираетесь в служебную командировку или же, э... просто так, на родину? — с запинкой на слове осведомился он, пояснив при этом, что по условиям осадного положения в столице некоторые выезжают из Москвы кто куда, в том числе и на родину.

Чтоб не осложнять дела, Морщихин должностей своих не назвал, но сразу понял, что, в сущности, вопрос хозяина касался того, каким образом он, молодой человек, избегнул мобилизации своего возраста.

— Нет, нет, Александр Яковлевич, я именно на войну и еду,— не моргнув глазом, успокоил его Морщихин.

Такого рода замечание должно было предостеречь Грацианского; уже тогда он в каждом посетителе видел подосланного с особо сыскными целями, но душевное его расстройство еще не достигало своего рокового предела,

и он, самонадеянно решив, что непременно обыграет своего партнера, если тот не предъявит каких-нибудь чрезвычайных козырей, широким жестом пригласил гостя в кабинет.

Они последовали во вторую, по коридору, комнату направо, застланную ковром, с глухими книжными шкафами и тяжелыми полураздвинутыми гардинами; свежий снег за окном пасмурно отражался в стеклах шкафов и антикварных безделушках, скромностью своей способных обмануть неискушенного посетителя. Усадив Морщихина в кресло и создав ему необходимый уют в виде пепельницы и припасенных на такой случай дешевых папирос в стаканчике тусклого серебра, хозяин отошел к окну и долго наблюдал, как саперы бережно, даже благоговейно грузили в кузов машины каплеобразную болванку с отломившимся стабилизатором.

— Не могу скрыть от вас, уважаемый товарищ, что действительно вы выбрали не совсем удачный денек для нашего разговора на столь интересующую вас тему,— мягко зашелестел Грацианский, как только саперы увезли ее наконец.— Война посетила и наш тихий, благословенный тупичок. В ушах моих все еще звучит огненный шквал, скрежет камня, грохот, э... да, именно так: обваливающегося неба. Дело в том, что в минувшую ночь я потерял если не самое близкое, то, во всяком случае, бесконечно дорогое мне существо, с которым связаны лучшие воспоминания моей юности. Горько признаваться на закате, что, несмотря на все мои многолетние старания завоевать признательность современников, это было единственное существо, которое меня любило... С раздробленными ногами оно угасло буквально у меня на руках, и, примечательно, последний его вздох выражал проклятие, э... капитализму. Именно это внушает мне глубокую веру в это самое, ну, в окончательное торжество дела, которому мы с вами посвятили наши жизни. Однако подобные потрясения не проходят бесследно, и потому до конца дней я буду носить в сердце воспоминанье об этой бомбежке, как старые солдаты носят в себе... ну, как оно называется?.. да, осколок вражеского железа. Нет, нет, оставайтесь, не покидайте меня,— опередил он, заметив слабое движенье в морщихинском кресле, объяснявшееся всего лишь попыткой гостя воспротивиться этому нажиму, под которым на-

чинала плавиться его воля.— То был вовсе не намек, а только естественный поиск сочувствия. Человек, подобно вам отправляющийся в бой за передовые идеи века, имеет право на внимание к своим неотложным, хотя, признаться, хе-хе... и несколько причудливым, нуждам. Единственное наше утешение состоит в том, что любое горе лишь временно омрачает нашу так называемую душу, но потом ее снова пронизывают во всех направлениях лучи жизни со своими могучими и полнокровными противоречиями, э... не так ли?

Он плел вокруг гостя свою паутину, и Морщихина все сильней охватывала нарастающая сонливость, как если бы усыпляли перед операцией. Самое кресло до такой степени послушно согласовалось с любым положеньем тела, что сперва начали пропадать мысли, отниматься ноги, и под конец пришлось пощупать украдкой, не одеревенел ли нос. Остатками сознания он сообразил все же, что только вполне беспощадный к людям человек способен столь щедро делиться своими переживаниями по поводу утраты незабвенного существа,— что вся его лирическая болтовня — лишь завеса, за которой он неторопливо обдумывает варианты контратаки,— что, в сущности, при внешней многословности этот гражданин не разговорчивей плиты могильной. Раздражающая двойственность впечатлений заставила Морщихина еще раз приглядеться к собеседнику в сопоставлении с окружающей обстановкой.

Аскетическую отрешенность от всего житейского, телесного, обывательского в облике Александра Яковлевича Грацианского, в особенности эти впалые глазницы, высокий лоб, землистые щеки, стоило бы даже закрепить на холсте в образе какого-нибудь заграничного отца церкви, вроде Августина той поры, когда он, презрев земное, начал прозревать небесное... если бы не легкомысленной раскраски галстук, шлепанцы на ногах с меховыми шариками и препышная, не на гагачьем ли пуху, венгерка, несколько жарковатая по такой натопленной квартире; к слову, как ни искал глазами Морщихин, так и не нашел поблизости источника столь умиротворяющего, вяжущего тепла. Домашней работницы Грацианские не держали, обстановка же носила оттенок показной умеренности, рассчитанная на чью-то постороннюю любознательность... но рождалось невольное подозрение, что ужасно много всякого добра

скрывалось в стенных чуланчиках, тайничках с замочками, да и в самом кабинете нашлась скрытая ниша со шторкой, из-под которой предательски свешивалась связка сухих белых грибов. В иное время Морщихин лишь порадовался бы, что выдающиеся мыслители нашего времени столь приятно поживают при советской власти, но сейчас было нечто неприличное, даже отталкивающее в том, до какой степени не чувствовались здесь бедствия народной войны. Словом, в полуосажденной Москве Морщихину еще не попадалось такого благополучного жилища под семью перекрытиями, жилища с полностью сохранившимися стеклами, проклеенными полосками кальки от взрывной волны, с отменной тишиной, нарушаемой лишь стуком часов да подозрительными шорохами третьего лица за полуприкрытой дверью, и, в заключение, с таким разлитым в воздухе кофейным благоуханием, что гость, притащившийся натощак, стал испытывать сосущее желудочное беспокойство.

— Крайне печально, что вы запоздали к завтраку, и я не смогу предложить вам стакан, э... чего-нибудь такого,— деликатно извинился Грацианский, приметив легчайшее шевеленье морщихинских ноздрей.— Впрочем, если вы располагаете временем...

— О, не беспокойтесь, я чудесно закусил в дорогу... и, может быть, с вашего позволения, мы перейдем прямо к делу? — стряхнув оцепенение, зашевелился Морщихин.— К сожалению, время слишком ограничено у всех, как вы глубоко подметили, отъезжающих в бой за передовые идеи века.

Он явно начинал сердиться, прежде всего на себя за свое необъяснимое подчинение чужой холодной и враждебной воле.

— Тогда чудесно...— согласился хозяин и слегка поморщился на повторившийся шорох за дверью.— Я надеюсь, что часа вполне хватит вам, э... для интересующего вас разговора? Но если бы вы обрисовали пополней профиль вашей работы, мы смогли бы истратить этот час возможно продуктивнее.

Поглаживая затекшие колени, Морщихин терпеливо изложил тему диссертации, указал на недоступность ленинградских архивов, для краткости умолчав как о своей предвоенной поездке, так и о зубатовщине, и в заключе-

ние подсластил все это ссылкой на лестные отзывы о памяти и любезности своего собеседника. Тот весьма резонно возразил, что по указанному периоду русской истории в мемуарной литературе имеются классические творения, до такой степени исчерпавшие весь известный материал морщихинской темы, что было бы безумием тратить силы в поисках кладов на стороне. Морщихин сходился с ним в оценке некоторых из такого рода книг; однако, по его мнению, записанные не по свежему следу и без дневников, воспоминания всегда носят на себе печать вымысла и авторского округления действительности, а самые блистательные историко-политические исследования, как выразился он коснеющим от неизъяснимой тоски языком, в большинстве представляют собой философский или статистический концентрат отсутствующих, к сожалению, хотя само собою и подразумевающихся фактов. «Конечно, книги эти бесценны для людей просвещенных, вроде нас с вами,— через силу схитрил Морщихин в духе вихровских советов,— так как приводят в стройность уже накопленные знания, но рядовой читатель желает знакомиться с прошлым во всех житейских подробностях, и претензии эти до некоторой степени основательны, потому что апелляция к сердцу всегда доходчивей, чем к уму, и, к слову сказать, в этом вечный смысл искусства, и оттого выводы, самостоятельно возникающие в душе читателя или зрителя после прочтения книги или просмотра театрального представления, закрепляются неизмеримо прочнее тех, что в готовом виде провозглашаются со страницы или у рампы».

— Понимаете вы меня теперь? — с безнадежным чувством закончил Морщихин.

— О, разумеется!.. купившему театральный билет за свои трудовые деньги гораздо интересней чувствовать себя в зрительном зале свидетелем или судьей излагаемого события, нежели тупицей, затверживающей общественно-полезные прописи,— с несколько поспешной готовностью поддержал его Грацианский, усаживаясь в кресло напротив, и даже привел в пример ряд известных романов и пьес той поры, дельно излагающих проблемы прокладывания осушительных рвов или устранения опозданий на железных дорогах.— Только не поймите меня превратно,— спохватившись, тотчас же оговорился он: — Хотя я и сам

за то, что театральное представление, например, должно выдерживаться зрителем без предварительной анестезии, что художественная ткань не выдерживает перегрузки дидактикой... но ведь литература есть вид общественного мышления, которое мы никак не можем предоставить на откуп частным, даже гениальным личностям... Пускай это несколько и снижает формальную ценность произведения. Ничего, пусть будет чуточку похуже, но поэпохальнее, подоступнее для всех!

— Простите, да кто же вам сказал, что наша эпоха стремится к снижению уровня, к девальвации, так сказать, искусства? — загорячился Морщихин.— Напротив, мы полагаем, что искусство освобожденной планеты превзойдет все известные образцы прошлого.

— Вот тогда мы и продолжим наш разговор, хе-хе... после окончательного освобождения планеты,— с блеском неподкупности отразил Грацианский, прекращая дискуссию.— Итак, сколько я понимаю, вы собираетесь подарить миру нечто высокохудожественное?

— Нет... но мне хочется воссоздать ряд развернутых эпизодов юношеского движения, построенных с протокольной точностью и на возможно большем количестве координат. Я предполагаю привлечь туда дневники, биографии, судебные хроники... даже с указанием, на полях разумеется, тогдашних цен на товары или газетных происшествий, формировавших в те годы общественные настроения.

Грацианский поощрительно кивнул головой:

— Понятно... И план уже одобрен руководителем вашей работы?

— Да он и с самого начала был задуман как хрестоматийное пособие к изучению четвертой главы из истории партии. Там есть место вначале, приблизительно тридцать первый абзац... помните?

— Как же, как же...— размеренно шелестел Грацианский, косясь на дверь, за которой слишком уж откровенно скрипнула половица: кто-то слушал их за порогом.— Ну, что же вам сказать?.. богатейший замысел! Правда, это не очень ново, э... и раньше пытались по обломкам производить реконструкцию, скажем, памятников архаической архитектуры, но еще никто не пробовал вызывать публично, на площади, призраков из аэндорской куриль-

ницы, чтоб заново сыграли свой жестокий спектакль, э... в поучение потомкам! И все же в вашем замысле я вижу высокий прообраз будущей литературы, когда окончательно будет изгнан индивидуальный почерк автора, когда литературой станут заниматься все без исключения, взаимно поправляя и дополняя друг дружку, когда уравняются разновидности труда и наборщик за линотипом будет вносить творческие поправки в сочинения своих блистательных современников. О, не поймите мысль мою как выпад против направления нашей прекрасной передовой, жизнерадостной, бестеневой, так сказать, стерильной литературы. Лишь по врожденному революционному скептицизму мое поколение отвергало раньше безалкогольные жития святых... Но ведь именно такого рода опресноками и кормятся вначале все религии мира, пока их последователей не потянет со скуки на ветчину с горошком. В годы юношеского вольномыслия я тоже полагал, что великое искусство победившей эпохи должно открываться не гопаком в планетарном масштабе, а, с вашего позволения, допуская гипотетический образ, показом трагического героя, распятого, э... на кресте свойственных ему социальных и философских противоречий. Подвиг Прометея прямо пропорционален размеру его коршуна, не так ли? Не похвалюсь, чтобы взгляды мои на искусство разительно переменились с тех пор, но я стал понимать, что добыча большого золота всегда начинается с возведения бедных деревянных построек; драги прибывают потом! Впрочем, на наш-то с вами век хватит Данте, Достоевского и Бальзака, а там... Всякий избирает себе пищу по зубам, не так ли?

— Простите, никак не могу уловить направления ваших мыслей,— все более сердясь, вставил Морщихин,— но, признаться, что-то в них мне не нравится... Откуда у вас эта... словесная пена крайнего раздражения?

— Охотно объясню...— чем-то очень довольный, улыбнулся Грацианский.— С одной стороны, я не могу не одобрить вашего начинанья, но, с другой, э... мне никогда не были по сердцу эти историко-филологические эксгумации, эта кладбищенская любознательность к останкам; сперва к черновикам и биографиям,— а там и к альковным секретцам национальных героев. Сегодня проливают научный свет на семейные неурядицы Пушкина, смакуют письма

Белинского, дневнички Добролюбова, выворачивают наизнанку интимную жизнь Толстого... завтра достают из склепа черепа Суворова и Мономаха, чтоб облепить их пластелином и полюбоваться на них в усах, волдырях и прочих паспортных приметах. Наполеон не зря журил своего живописца: «Я хочу видеть величие моего солдата, а ты мне показываешь бородавку на его носу». Земля стара, и, где ни копни, везде лежат мертвецы. Так вот, не делайте себе зла, не тревожьте мертвых... дайте им спать, мой молодой товарищ! Как человек образованный, вы помните, несомненно, плачевную повесть члена Конвента, депутата от Сены, Пошотта, когда, э... полный ненависти к свергнутому режиму и порокам прошлого, он разбил гробницу Агнессы Сорель и за волосы выкинул череп одной из наиболее чудесных женщин Франции, оказавшей его родине такие услуги? Он горько поплатился за это... Да и зачем вам тащить *туда,* в страну немеркнущих зорь, наши бедные и гадкие, накопанные вами полуистлевшие кости?

— Словом, вы за всепрощение? — нащурился Морщихин.

— Наоборот, но я за *большую* историю...

— ...и немножко против судебной медицины?

Удар был глубок и точен,— Грацианский холодно посмотрел в колени своего гостя:

— О, я не предполагал, товарищ... Морщихин, кажется?.. столь глубоких причин для вашего посещенья...— И тотчас поотступил, чтоб не заканчивать свидания размолвкой: именно теперь он не мог бы отпустить гостя, не выяснив до конца его таинственных намерений.— Нет, я не против истории и тоже за правду. Но есть еще наша, пролетарская правда! — назидательно прибавил он.

Почему-то теперь любая мысль Грацианского вызывала в Морщихине яростную потребность возраженья.

— Смею думать, Александр Яковлевич, что всякий эпитет ограничивает распространенность явленья и допускает существованье другого, а правда едина. Зародившись в самой гуще трудового народа, создателя и хранителя всех ценностей на земле, наша правда давно стала всечеловеческой правдой большинства. Уже теперь бессчетные, незримые пока армии стоят перед воротами земных городов, готовые взять их штурмом. Спросите их:

«кто вы?» Они ответят: «человечество!» Поэтому пускай уж *они,* люди зла, отмежевываются эпитетами от всех тружеников на земле...

Морщихин осекся, подметив, что и сам заразился невоздержным красноречием хозяина, который слушал его с тем бо́льшим удовольствием, что отпущенное на этот разговор время, в сущности, уходило на *трёп* впустую, а к главному, скользкому, пока и не приступали. Грацианскому становилось ясно, однако, что напоследок придется выдать простаку какой-нибудь незатейливый эпизодец из подвалов своих богатейших воспоминаний.

Он развел руками, как бы сдаваясь:

— Я умолкаю, вы почти убедили меня...— и подарил гостя одной из своих проверенных улыбок, где признание поражения сочеталось с завистью к молодому и простодушному победителю.— И готов к уплате любой контрибуции.

Тогда с оттенком почтительной ненависти Морщихин в третий раз изложил свою просьбу. Несомненно, у Александра Яковлевича сохранились копии или выписки из ленинградских документов, собранных для его несостоявшейся книги; упоминание о ней вызвало досадливый, даже недобрый перекос в лице у хозяина. Морщихин мог бы вернуть оригиналы дня через два, тотчас после переписки, и взамен брал на себя обязательство — на титульном листе своей диссертации выразить благодарность за предоставленный материал... Потекла длиннейшая по своему напряжению минута, после чего Грацианский сообщил в ответ, что действительно в молодости сто́ял одно время перед альтернативой: сообществом людей или деревьев заняться ему... но социологами и тогда было хоть пруд прудить, а разобраться в теоретическом лесном хозяйстве, засоренном буржуазными влияниями, было некому — так и не вышла его незаконченная книга в свет. Что же касается просимых материалов, то он, Грацианский, охотно подарил бы Морщихину весь свой архив вместе с черновыми набросками — «и не надо, не надо благодарить меня за это, коллега!» — если бы еще двадцать лет назад при переезде из Ленинграда в Москву не оставил весь тот, действительно весьма внушительный, короб бумаги на сохранение у родственницы. Исполнительная до маньякальности, окончившая знаменитые Бестужевские курсы и сама

подвергавшаяся неоднократным и всесторонним ущемлениям от молодых царских сатрапов, дама эта, конечно, сбережет их в целости... впрочем, без особого ручательства. «Вы сами понимаете, что не только шедевры мебели, но и ценнейшие библиотеки, а тем более ничтожные рукописи, как моя, невольно становятся топливным резервом, в наиболее острые, штурмовые эпохи общественного развития!..»

— Очень жаль в таком случае...— не разжимая зубов, поулыбался Морщихин, хотя почему-то уже предвидел именно такое заключение.

— Однако не огорчайтесь сверх меры, молодой коллега,— покровительственно утешил его хозяин, покосившись на часы при этом,— мне и самому не хотелось бы отпускать вас с пустыми руками... хотя время наше уже полностью истекло. Во всяком случае, архивы памяти моей целиком в вашем распоряжении. В частности, в связи с вашим внезапным приходом, вспомнился мне один презабавнейший случай,— мое первое, мальчишеское столкновение с охранкой. Происшествие это не окрашено высокой героикой, желательной для вашей диссертации, но оно раскроет перед вами некоторые пружинки тогдашнего быта и поможет уловить повседневный дух и, так сказать, молекулярное натяженье той эпохи, когда слагалось наше, старшего поколенья, боевое сознанье... Как, рискнете?

— В моем безвыходном положении...— мысленно чертыхнувшись, пожал плечами Морщихин, и лишь неодолимое любопытство к столь загадочному человеческому явлению заставило его усидеть в кресле,— я буду крайне благодарен вам, профессор!

На глазах потрясенного Морщихина хозяин пошел к приоткрытой неподвижной двери и запросто, как из магического шкафчика, взял из щели уже налитый, с сахаром и домашним пирожком стакан ароматного и питательного напитка. Поставив его перед гостем, он уселся на прежнее место, прижал к носу сомкнутые ладони, словно собирался нырять в таинственную зыбь призраков и воспоминаний, с ребячливым озорством вскинул бровь и вдруг заговорил то с понятным озлоблением к режиму, омрачившему его юность, то с безобидным юморком, с каким старики оглядываются на известные шалости невозвратных лет.

— Ну-с, батенька, это случилось на том историческом, интересующем вас перепаде, когда после столыпинской ночи лишь забрезжил медлительный и желанный рассвет большой революции,— размеренно начал Грацианский.— Наше поколение рано созрело под ударами царизма: мы, столичная молодежь, тоже посильно выступали против самодержавия, то есть, э... сходились на тайные сборища, выставляя дозорных у подъезда, читали рефераты, критиковали господина министра народного просвещения, даже поигрывали со шрифтом и более опасными предметцами, которые я ради закалки воли хранил под своей подушкой: дети!.. Лично я, хе-хе, помнится, даже изобрел разборную баррикаду, которую на извозчике можно было перевозить с места на место. Да с нас и нельзя было требовать большего: мы, отпрыски обеспеченных родителей, недалеко ушли от подростков-гимназистов, видевших в революции свободу курить на улицах, носить длинные волосы, появляться на недозволенных спектаклях и безнаказанно доставлять неприятности нелюбимым педагогам. Рабочие к нам не шли, да мы и сами побаивались их... хотя уже в 1909-м мне довелось вести догматический бой с анархистами в Лесном, в парке Рожнова. Со мною был тогда и некий Валерий Крайнов, не слыхали?.. тоже довольно неплохой боец. Вот в эту пору *они* и пытались захлопнуть меня в западню. Все началось с того, что как-то утром ко мне заявился непонятный человечек в новенькой, прямо из цейхгауза, шинельке, очень торопившийся ввиду предполагавшегося экстренного отъезда ...нет, тот отправлялся, помнится, на родину. Вот видите, как все интересно получается... но только фамилия того была Гиганов!..

2

Если в увлекательнейшей повести Александра Яковлевича подправить ряд досадных неточностей, вполне извиняемых тридцатилетней давностью воспоминанья, длительным недостатком гемоглобина и душевным расслаблением от утраты близкого существа, то приведенный им эпизод выглядел так.

В 1911 году семейство Грацианских рано вернулось с дачи на городскую квартиру вследствие участившихся

сердечных припадков у отца. Домашний врач намекнул, что по состоянию дыхательных путей и юноше до наступления учебного года было бы небесполезно прокатиться с родителями на бискайское побережье. Близился конец лета, парижская поездка сулила новые впечатления... и вообще, если не изменяет память, в то утро стояла прелестная погода с таинственной влажной дымкой после ночного дождика. Во время завтрака Саша Грацианский находился в почти отличном настроеньи, если бы не скука предстоящего безделья в пустоватом летнем городе. Он кушал свой омлет с ветчиной, искоса просматривая свежие газеты и самое интересное в них — дневник вчерашних происшествий. Там с непритязательной живостью было рассказано о самоубийстве приезжего коммерсанта, о престарелой графине, разрезанной дворником-любовником на составные части в целях присвоения ее фамильных бриллиантов, и еще, как небезызвестный великан Фосс проглотил в привокзальном буфете четыре дюжины растегаев с мясной начинкой и скрылся в неизвестном направлении. Словом, несмотря на глухой сезон, столичная жизнь, как всегда, била ключом. Тут-то горничная и доложила молодому барину, что с черного хода к нему просится поговорить незнакомый, запуганный, но довольно симпатичный солдатик.

По привычке не отказывать в мелочах этой миловидной девушке за ее постоянную отзывчивость и ковыряя в зубах, Саша прошел на кухню. При его появлении с табуретки вскочил длинный, костистого сложения и в солдатской шинели малый лет тридцати пяти, назвавшийся Михайлой Гигановым, рядовым 146-го Каспийского, стоявшего под Петербургом, пехотного полка. Ссылаясь на скорый отъезд в деревню, он убедительно просил у господина студента срочного, с глазу на глаз разговора на одну интересующую его тему. На сашин вопрос, что за срочное дело такое, Гиганов отвечал со вздохом, что дело все то же самое, горе народное... Было что-то нечистое в неопрятной коже его лица, в косоватых, с порочными обводами, воровских глазах, в его словно наклеенных на плоское темя, не положенных по званию и напомаженных до блеска волосах с начёсом на низкий лоб: все в нем предостерегало Сашу. Но старинный сашин дружок, Павлик Слезнев, обещался притти лишь к обеду, чтоб совместно

составить план вечерних развлечений. Единственно со скуки и, не подавая руки, Саша велел Гиганову проследовать за собой.

Впрочем, нет... значит, ночной дождик продолжался, потому что Саша распахнул оконную раму настежь, чтоб избавиться от противного запаха намокшей казенной амуниции, а Гиганов еще пытался воспротивиться этому из боязни лишних ушей, но Саша настоял на своем: окно выходило на улицу через недоступный постороннему палисадник с высокой чугунной оградой. Но, видимо, тот затянувшийся дождик был уже на исходе, потому что когда Саша распахивал окно, ему как раз запомнился кленок за окном, с изредка, от последних капель, подрагивавшей листвой и чем-то бесконечно похожий на молодое торжествующее животное, которое, отряхиваясь, выходит из своей первой по сотворении купели. С молодых лет Саша отличался образным мышлением.

Лениво вникая в печальную повесть Гиганова, он глядел наружу, вдыхал водяную пыль уже по-осеннему горьковатого утра и думал, что деревья больше людей достойны дружбы, потому что не лгут в довольстве, не жалуются в несчастьи... только богатейшей душой надо обладать, чтоб наполнять собою постоянное молчание такого приятельства. Вслед за тем Саша услышал сбоку как бы всхлипыванье, с удивленьем взглянул на посетителя, увидел слезливый укор в наставленном на него гигановском глазу и весь залился краской. Он почувствовал свои обязательства перед этим забитым, подневольным существом, потому и некрасивым, что униженье и нужда никому еще не придавали особой привлекательности. Как и другие члены его юной, тогда уже оформившейся ученической организации, Саша знал о народной жизни понаслышке, лично на заводах и в казармах не бывал, а меньшую братию предпочитал уважать заочно, чтобы грубым прикосновеньем действительности не повредить в себе кроткий, поэтичный образ России. Впервые Саша видел наяву то самое горе народное, сидевшее на стуле в трех шагах от него с расплющенной папироской и терзавшее его совесть всякими такими словами.

Гиганов начал с общих жалоб на каторжные тяготы солдатской службы, причем в особенности горячился на какого-то офицера с прибалтийской фамилией, своего

ротного командира, при котором состоял в денщиках. Он собрался даже приспустить штаны, чтобы показать Саше поясницу со следами многочисленных обид и притеснений, а юноша не допустил его до этого — не из опасения оскорбить недоверием горе народное, а из боязни, что придется чем-то платить за погляденье, и еще из чувства физической гадливости. Однако совершенно естественно было поинтересоваться у Гиганова, что заставило его нести свои слезы через весь город в сравнительно богатый, внешне ничем не отмеченный дом на Сергиевскую. Ребром ладони приглаживая колечко волос на лбу, посетитель отвечал, будто не раз слышал про студентову отзывчивость от ихнего дворника, земляка ему по костромской деревне, и тогда Саше стало немножко жарко и щекотно, потому что ему и в самом деле дважды довелось говорить с тем дородным бородачом о причинах крестьянской нищеты и о некоторых радикальных якобы способах избавления от нее; для установления конспиративной связи и чтоб помалкивал, он украдкой сунул дворнику полтинничек из карманных денег, и, значит, семя сашиной правды крепко запало в его дремучую душу. Однако на сей раз Саше было страшновато отзываться на подобную разновидность горя — с военным оттенком, так как оно могло завлечь, затянуть в омут и отравить удовольствие бискайской поездки.

Саша так прямо и отрезал тогда горю народному, что вследствие ограниченности круга его знакомств лишь студенческою да профессорско-духовною средою он помочь Гиганову затрудняется, а горячо рекомендует ему обратиться с рапортом к военному министру, в случае же неудачи, прямо в Государственную думу для придания рассказанным фактам всероссийской гласности, после чего правда уж наверняка восторжествует.

«Это куды, куды обратиться?» — вытянув шею, быстро переспросил Гиганов.

«Я говорю: прямо по начальству...» — поостерегся Саша.

«Э, долга песня: какая в начальстве правда! — разочарованно махнул тот рукой.— В начальстве правды нет, в ём один ливер... Ну, что ж тогда, ничего мне тогда не остается, кроме как веревочку на шею альбо в ледяную пролубь головой».

Конечно, как интеллигентный человек, Саша никак не мог допустить, чтоб человеческая жизнь ни за грош пропала в проруби.

«Напрасно вы отказываетесь от борьбы, надо сильнее любить жизнь, Гиганов,— строго сказал юноша и терпеливо пояснил ему в доступной форме неповторимую прелесть бытия.— И совсем уже неразумно пускаться на такой шаг перед самым избавлением... Вы же сказали, что в деревню едете?»

«А к чему нам жизнь, раз удобствия в ней нету и никто на наше народное горе не откликается?» — с каким-то остервенением уперся на своем Гиганов.

С одной стороны, Саше и льстило, что чужая полновесная судьба как бы лежит в его ладони, а с другой — чуточку неправдоподобно получалось, что взрослые, штыками и ружьями владеющие солдаты прибегают к защите безусого первокурсника из Лесного института. Он сам же и возразил себе на это, что простой народ, обладая детскою душою, всегда нуждался в людях большого ума и сердца для воплощения своих затаенных мечтаний... и, потом, не с колыбели же начинали бунтовать все известные вожаки, вроде Гарибальди, Пугачева там или Уота Тайлера... были же и они детьми, пока какой-то ничтожный, даже смешной повод не вытолкнул легонько на подвиг, а там уж сама волна народная понесла их на гребне в сверкающие, так сказать, анналы истории. Смутный голос давно уже позывал Сашу на что-нибудь такое, не слишком опасное, а временами он был бы не прочь даже и возглавить нечто в этом роде, если бы только до поры до времени фамилии своей не называть. Надо оговориться, что и в ту пору Александр Яковлевич вовсе не страдал излишней наивностью... но вдруг он представил себя в медном виде, на пьедестале ближайшего тысячелетия, в чем-нибудь нищем и простреленном, развевающемся по ветру истории, размягчился, доверился и покричал Аксюше принести чайку, чтоб собраться с мыслями, пока горе народное займется угощеньем.

«Не вижу, однако, чем я могу помочь вам, Гиганов...— блудливо, сдаваясь и стыдясь, простонал Саша.— Объясните же мне ваши намерения».

Тут-то Гиганов и раскрылся начистоту. Воровским голосом и глядя куда-то поверх сашина плеча, он сказал,

что для острастки всех прочих врагов народных хотел бы он удружить ротному извергу перед отъездом, то есть совершить на него небольшое, но солидное покушение, причем исполнение казни брал на себя, так что господину студенту и мараться о грязное дело не придется, пускай только выдаст малость динамитцу из своих запасов... в крайнем случае, под его, Михайлы Гиганова, личную расписку, что ничего такого он от студента Грацианского никогда не принимал.

Холодные мурашки открытия пробежали по сашиной спине. Он молчал; за окном проехала извозчичья пролетка с гулким, по мокроте, щелканьем подков... он все молчал. Гость терпеливо дожидался согласия своей жертвы с собачьей преданностью во взоре, и лишь теперь бросилось Саше в глаза, что не только ухо у него было особливого, шпионского устройства, но даже и глаз какой-то трубчатый, вроде как с присосками, прислушивающийся. Саша опустил глаза, стараясь подавить сердцебиенье; значит, настолько физически и нравственно подрос он, что и за ним охотились... И вдруг ощутил в кончиках пальцев острый ответный зуд, сродни тому, что при отрастаньи коготков заставляет до крови царапаться еще несмышленого зверка!

«Но как же вы успеете привести свой приговор в исполнение, если в деревню уезжаете на-днях? — вполголоса, с самым детским видом, дождавшись аксюшина ухода, спросил Саша.— Надо же какой-то план составить, варьянты, возможные улики заранее отвести. Это же не в баню сходить, это же террористический акт, Гиганов».

«Про то уж вы не сумлевайтеся, в лучшем виде управимся,— тоже неявственно как-то и рассекая воздух ладонью, отозвался Гиганов.— У них там певичка одна имеется... вот как они вечерочком, послé переклички, в блудуарчик к ней направятся, тут бы мы из подворотенки и шарахнули их, подлецов. Было бы чем!».

Саша сокрушенно качал головой.

«Вдобавок...— искусно, опасаясь всполошить негодяя, сопротивлялся Саша,— в настоящее время у меня просто нет под рукой... ну, того, что вы просите. В домашнем буфете, как вы понимаете, такого товара не держат, в аптеках им тоже не торгуют. И вообще подобные вещи я не берусь решать без своих товарищей...»

Можно было понять из намека, что он не вправе единолично распоряжаться имуществом организации.

«Главное, мне ведь горстки-другой хватило бы... чтоб мозгами пораскинул, сукин сын, насчет нашего горюшка народного»,— взад-вперед раскачиваясь, маялся Гиганов.

«Я понимаю вас, Гиганов, но никак не могу разделить ваше нетерпение...— тешился Саша и вдруг как бы сжалился, артистически ведя свою линию на большую игру: — Впрочем, если вы не трус, если ваше решение окончательное и не является следствием минутного раздраженья, то, э... советую на недельку-две отложить свой отъезд. И приходите-ка к нам в эту среду, близ восьми. Как раз соберутся кое-кто из *наших*... тогда и обсудим замышленное вами мероприятие во всех подробностях».

Ради конспирации Саша выпустил Гиганова через черный ход и не раньше, чем удостоверился в отсутствии слежки, причем на прощанье взял с горя народного клятву о состоявшемся сговоре в роте не болтать. Замыслом своим он также ни с кем не поделился, даже со Слезневым, чтоб не сорвать себе удовольствия острой и вполне, ему тогда казалось, безопасной забавы. В среду собирались праздновать шестидесятилетие отца с участием близких друзей и сослуживцев; собственно, юбилейная дата приходилась на ближайшее, через неделю воскресенье, но решили перенести поближе из-за назначенного отбытия за границу. Естественно, Саша не преминул угостить задуманным спектаклем и кое-кого из приятелей, в особенности же, ради высшего удальства — покойную Наташу Золотинскую: к той поре и относился самый разгар его романа с нею. Собственно вначале-то Саша собирался всего лишь разыграть Гиганова, отпустив его с головкой сыра, завернутого в газетный лист *Биржёвки,* ...или же, еще лучше, напоив домертва, кротко позвонить в охранное отделение с просьбой забрать бездыханного служаку, рухнувшего при исполнении служебных обязанностей. Однако в разбеге дела сашино фанфаронство приняло еще более легкомысленный оттенок.

По профессии своей не являясь мыслителем и предвидя богатый улов, Гиганов на званый вечер приперся пораньше, и ради все той же конспирации был предварительно посажен в стенной шкаф с зимней одежой, на манер заправского мадридского быка, который после некото-

рых сашиных манипуляций и в переносном смысле, разумеется, должен был испустить дух на глазах собравшейся публики. Время от времени обреченная тварь, задыхавшаяся под хорьковой шубой старшего Грацианского, прикладывалась ухом к замочной скважине с предусмотрительно вставленным ключом, но могла расслышать лишь оживленные, молодые и несколько погуще голоса пополам с упоительным звоном бокалов да разгадывать барский харч по гастрономическим благовониям, проникавшим сюда, в гнусную нафталиновую тьму. По прошествии двух с небольшим часов Гиганов окончательно вспотел и не то чтобы соскучился, а просто в душу ему стало закрадываться сомнение, не забыли ли его здесь или, что еще хуже, не разошлись ли под шумок студентовы гости для совершения чего-нибудь недозволенного над священной особой государя-императора... как вдруг все там затихло, предупрежденное о выдающемся аттракционе, приблизились шаги, клин света рассек потемки, и Саша Грацианский сухим пощелкиванием пальцев пригласил Гиганова на арену.

Облизывая губы, с прижатыми к телу длинными руками и пожмуриваясь, тот вышел в коридор, подозрительно оглянулся на подтолкнувшего его Сашу, но в ту же минуту оказался уже на людях, в столовой Грацианских, и со звуком досады замер при виде западни. Представшее ему сборище слишком уж не походило на преступное сообщество. Обещанной молодежи почти не было, если не считать двух девчонок да полулысого студента в пенсне,— привстав и через головы старших, они воззрились на Гиганова, как на некое полосатое диво... За нарядным, во всю длину просторного зала, столом сидело человек двадцать пять пожилых гостей, духовная и прочая знать Санкт-Петербурга, в сюртуках, ведомственных мундирах и шелковых рясах, все больше с окладистыми, но, впрочем, и других покроев бородами или же, напротив, с бритыми вислыми римско-католическими подбородками. Справа от хозяина, резвыми перстами обдирая кожу с привозного, продолговатого фрукта, добродушным фальцетом заливался довольно изможденного вида архиерей, и в тон ему, сотрясая цветы в хрустале перед собою, вторил заплывший жиром толстяк в чесучовом пиджаке, тот самый мистико-теолог Аквилонов, и обоим им что-то стремилась доказать крупная дама в богатейшем, несмотря на еще

теплую погоду, меховом убранстве. В следующее мгновенье все эти сытые, праздные люди с брезгливым удивлением уставились на стоявшую перед ними в полном замешательстве личность в долгополой шинели, в том числе и Аквилонов, который с риском лопнуть по швам от напряжения тоже полуобернулся, вытирая усищи крахмальной салфеткой. И хотя все они — как и государственный строй их, году не просуществовали бы без Гиганова, никто не заступался за него, потому что он и действительно был холуй, полицейское ухо, доносная ночная тварь, подонок нации... да он и сам знал это,— столь беспокойно и приниженно вертел он в пальцах свою подложную бескозырку с синим околышем. В довершение бед путь к бегству заступал сам долговолосый барчук с таким побледневшим, даже слегка осунувшимся от охотничьего волнения лицом, с таким высокомерием нравственной чистоты во взгляде, как будто он-то, гладкий и холеный, прежде всех имел право судить Гиганова за его мерзости.

«Дозвольте, ваше благородие... я уж лучше уйду от греха,— смирным голосом и в полной тишине попросился Гиганов.— Отпустите на волю, барин!»

«Нет, уж тут позвольте, господин Гиганов, еще одну минуточку...— почти в каталептическом спазме отчеканил Саша, качая палец перед самым его лицом.— Вот вы только что хвастались, господин Аквилонов, нашим политическим благополучием, и мне захотелось показать вам один из способов, каким оно от века обеспечивалось в нашей богоспасаемой империи. Позвольте представить вам некоего Гиганова, пришедшего попросить у меня динамитцу на своего ротного командира. Всем небезинтересно будет узнать, что, по наведенным мною через одного приятеля справкам, солдата с такой фамилией в указанной роте не значится, и следовательно... Так вот, любезный, расскажи-ка нам по возможности в связной форме, кто и зачем подослал тебя сюда, а мы за то угостим тебя чарочкой».

«Ах-ах, срам какой...— по-женски бормотал архиерей, возвращая на тарелку надкушенный фрукт.— Уж пощадили бы вы, юноша, наше тихое неопечаленное беседословие...»

Но Саша не слышал ни приказания отца немедленно прекратить скандал, ни резкого, как бич, возгласа Наташи,

ни глухих, на ухо, увещаний подоспевшего Слезнева. Что-то с пеной срывалось с сашиных губ, нечто более яростное, чем только месть или озлобление к пытавшемуся укусить его животному,— это было мстительное превосходство трусливой силы и, с одной стороны, конвульсивная разрядка обиженного барчука, а с другой — уже и потребность насладиться униженьем низшего создания. Неизвестно, каким припадком закончилась бы эта сцена, если бы, приблизясь, маленькая черная женщина, мать, не положила сыну на лоб властную, в перстнях, руку, и Саша сразу задохнулся, обвял, подчинился и затих.

«Вам на редкость повезло, Гиганов: ступайте отсюда...— утомленно проговорил он и вдруг снова вспыхнул, правда, едва в треть прежнего запала.— Идите и передайте вашему ротмистру, полковнику... или как его там?.. чтобы впредь не засылал дураков, а отправлялся бы сам, сам отправлялся бы, если приспичит ему потолковать, э... на интересующую его тему. Нечего, нечего ему сидеть белоручкой в золоченом кабинете. Работать надо, тунеядцы... то-то!» — И вдруг, совершенно неожиданно для себя взмахнув салфеткой, самым кончиком ее хлестнул Гиганова по щеке...

Тот дико взглянул на обидчика и сам отвел было длинную, как цеп, руку за спину, но сдержался и лишь крякнул при этом.

«Э-эх, и не стыдно тебе, барин?.. рази ж я за себя одного старался! — в одышке, с оползшим ртом вымолвил Гиганов.— А ты подумал... подумал ты, пошто я извиваюсь перед тобою, ровно перееханный... извиняюсь за выражение, червяк?»

И он ушел, втянув голову в плечи, действительно похожий на гадкое сутулое насекомое, выползшее из щели по хозяйскому недосмотру.

Вслед за тем все постарались запить, зашутить, засмеять этот досадный случай: конечно, не в меру впечатлительный мальчик чуточку перешалил, но в конце концов то было их внутреннее классовое недоразуменье. Только Слезнев при прощаньи попенял Саше на чрезмерную игривость поведенья и назвал ницшеанцем, да утром, при очередном свидании, Наташа с болью намекнула, что вчерашний его поступок отзывает скорей низостью, чем храбростью; по ее непримиримому убежденью, любое

прикосновенье к гаду сквернит, кроме как через выстрел. Впрочем, Саша и сам немножко каялся, но не оттого, что состоявшийся спектакль не удался в полной мере, а потому, что розыгрыш Гиганова мог повлечь за собою ответную шутку со стороны охранного отделения... с тем большими основаниями для страхов, что *Молодая Россия* уже существовала, и даже был принят написанный Слезневым устав с точнейшей разработкой целей и тактики организации. Вся надежда была на то, что Гиганов постесняется сообщить начальству о своем провале. И, верно, до самого отъезда Грацианских на курорт никаких отголосков на рассказанное происшествие не последовало, а это было добрым знаком, что оно благополучно сойдет Саше с рук.

Он провел чудесные полмесяца на бискайском взморьи; новые впечатленья вытеснили пакостное петербургское воспоминанье, а купанья на мелкой волне в сочетании с руанскими утками подкрепили его здоровье, благодаря чему к началу занятий он вернулся в Петербург с таким накоплением гемоглобина, что не грех было малость и порастратить его. Родители задержались под Висбаденом в ожидании приема у тамошнего медицинского светила, и, таким образом, огромная квартира на Сергиевской всецело поступала под холостые удовольствия Саши и Слезнева. К слову, после скандального обнаружения *Молодой России* Саша Грацианский дружбу свою с последним тщательно скрывал от Вихрова и Валерия, но не мог целиком отказаться от своих пестрых знакомств, доставлявших ему наиболее острые из житейских ощущений.

3

Свое столкновение с охранкой, как следствие гигановского розыгрыша, Александр Яковлевич датировал первым сентября, ошибочно сближая его с одним историческим актом уже всероссийской значимости. На деле ж оно произошло двумя неделями раньше, почти тотчас после возвращения из-за границы, потому что в сентябре уже последовала вторая половина приключения, недосказанная Морщихину не только по недостатку времени... Именно в этот промежуток вследствие непростительной небрежности

совсем уж распустившейся Аксюши, из профессорской квартиры украли бабушкину скунсовую ротонду, барометр-анероид, подарок профессору от слушателей духовной академии, и малоподержанное цинковое корыто. На пятые, после кражи, сутки студента Грацианского вызвали в полицейский участок для опознания разысканных ценностей. Однако вместо ожидаемых формальностей обрюзглый пристав принялся ласкательно допрашивать молодого человека о здоровьи родителей, известных ему лично, и в заключение сообщил, игриво и как бы невзначай, что в соседнем помещении Сашу дожидается офицер, имеющий потолковать с ним на одну интересующую тему; при этом, по своей долголетней приязни к семейству Грацианских, пристав дважды назвал студента просто Шуриком. Кроме того, паспортисты вокруг раздражающе скрипели перьями и болела голова после вчерашней, со Слезневым, холостяцкой пирушки, так что на ту, главную, встречу Саша вошел в состояньи тишайшего бешенства, что и окрасило его поведенье в излишне-пылкие тона.

За дверью обнаружилось тесноватое и душное из-за августовской жары, с глухими, ободранными стенами подсобное помещение, приспособленное для вразумления пьяных и допроса громил. Несмотря на портрет царя в орленой раме и открытое во внутренний дворик окно, нестерпимо пахло здесь натруженными ногами и тем еще впитавшимся махорочно-арестантским настоем, по какому издали узнавались казенные места прежней империи. За непокрытым столом с резными вензелями и другими следами ночных канцелярских вдохновений сидел плотный, зловеще известный в ту пору среди петербургской молодежи подполковник в офицерском кителе с серебряными погонами; бросался в глаза преискусный зачес от правого уха к левому и другие приметы потухших страстей, поглаженные ухищреньями мужской косметики. Саша невольно сравнил его с римским цезарем, побывавшим в перетряске; и, верно, первое впечатление вполне совпадало с тем, что Саша еще раньше слышал про этого некогда блестящего гвардейского офицера, вынужденного заканчивать свою карьеру в жандармском корпусе; фамилия его была Чандвецкий. Помнится, его выгнали из привилегированного полка за неплатеж карточного долга, так как вступление в игру без наличных было истолковано как намерение обо-

гатиться за счет партнеров. В результате того памятного скандала в высших петербургских кругах за неудачливым игроком утвердилось ироническое прозвище *Герман,* в то время как на деле его звали Эдуардом Васильевичем.

По словам того же всеведущего Аквилонова, офицер этот после скандала собирался якобы завершить круг своего жития старцем в Оптиной пу́стыни, так как с юности, кроме картежной игры, интересовался проблемами духовно-этического содержания, но ради горячо любимой жены остался в миру, лишь сменил ведомство и страстишку: по слухам, увлекся левкоями. В охранке он ведал, между прочим, и юношеским движеньем, но вследствие возраставшей изворотливости революционной молодежи допускал промахи, тормозившие его продвижение по службе. Оттого ли, что рос баловнем, постоянно чувствуя за спиной влиятельные связи отца, Саша в тот раз испытывал скорее любопытство, чем страх, перед этим незадачливым чиновником.

В начавшейся затем беседе Чандвецкий применил старинные приемы полицейского обольщения, имея в виду приручить пылкого, пока необъезженного мальчика.

«Не могу скрыть виноватого смущенья, господин Грацианский, что обеспокоил вас без достаточных мотивов,— с японской улыбкой приступил он.— Меня тешит лишь крохотная надежда, что это не отвлекло вас хоть и от усиленных, но... покамест не учебных занятий?»

«К сожалению, должен разочаровать вас,— раскусив намек и с вызывающим бесстрашием отвечал Саша.— Ваше любезное, через дворника, приглашенье оторвало меня от хорошей книжки, и я сомневаюсь, чтобы разговор в подобном месте возместил мне утраченные пользу и удовольствие».

Непонятно, как добился этого Чандвецкий, но только Саша знал, кто перед ним сидит, задолго до того, как тот раскрыл карты.

«Прошу терпенья,— улыбнулся подполковник, поигрывая серебряными аксельбантами,— в обязанности хирурга и не входит доставлять удовольствие пациентам. Кроме того, вы же сами, хоть и в не очень любезной форме, приглашали меня зайти, чтоб потолковать на интересующую тему... и, прошу верить, я смог бы выбрать свободную минутку, как равно — и позвать вас к себе, в более при-

личную обстановку, если бы не опасался бросить тень на вас в глазах ваших друзей. К несчастью, нам никак не удается снискать симпатии у молодежи! — Он со вздохом окинул взором мерзкие, с потеками, захватанные пальцами обои, оперся было локтями о стол и потом тщательно стряхнул что-то невидимое, липучее с рукава, а Саша тем временем убедился, что ему известно все о гигановском скандале.— Мне также хотелось бы убедить вас, господин Грацианский, что не я изобрел покушение на офицера Каспийского полка: верьте слову, подобные предприятия мы обставляем потоньше. Дело в том, что Гиганов, над которым вы так славно позабавились, собирается держать экзамен на чин... и чорт его угораздил придумать себе, так сказать, дипломную работу без обязательного в таких случаях согласования с начальством. Что ж, я не краснею... Об этом в обществе не принято говорить, как и о городской подземной канализации, однако *это* имеется во всех благоустроенных государствах. По долгу службы, я давно слежу за Гигановым и вполне схожусь с вами в оценке его умственных способностей... но это усердный и многосемейный труженик, который защищает вас и вашу семью от крупнейших, смею вас уверить, неприятностей. Собак убивают, но не бьют, милостивый государь. Разумеется, он заслуживает дисциплинарного взыскания за самовольство... и мы непременно сделали бы это, если бы он довольно метко не нащупал неблагополучный очажок в квартире профессора с Сергиевской, самая должность которого всегда служила нам гарантией его политической благонадежности. Профессиональное чутье— это тоже талант, только в мелкой купюре... вы не находите?»

«Я все же предпочел бы дочитывать свою книжку,— вспылил Саша, слегка покраснев и начиная волноваться за *Молодую Россию.*— Ну... продолжайте».

«Ничего, сейчас вам будет немножко поинтереснее»,— пообещался Чандвецкий.

С тем же выражением крайней скуки в лице он нагнулся, взял стоявший у него в ногах узелок и бережно на глазах потрясенного студента достал из него двухфунтовую жестяную коробку из-под боткинского чая. Это был весь запас сашина динамита, добытый путем неимоверных усилий, преступная святыня его тайного сообщества,

скреплявшая полтора десятка незрелых и отчаянных юнцов. Постель свою Саша прибирал сам, так что неизвестно, кто и при каких обстоятельствах похитил из-под его подушки эту неопровержимую улику. Ноги его налились свинцом, и нечто похожее на пасхальный звон поплыло в ушах.

«Как видите, ему нельзя отказать в собачьем чутье, этому Гиганову... не правда ли? — с укором, уставясь в сашино переносье, спросил подполковник.— Надеюсь, узнаете?»

«Давайте, господин Чандвецкий, кончим наше бессмысленное фехтованье,— идя напропалую, бледными губами бросил Саша.— Это что, арест?»

«Пока только желание предупредить сына очень почтенного человека, чьи лекции я прочитываю на досуге с неизменным наслаждением. Не благодарите меня... я просто ваш неизвестный доброжелатель и друг. Меня зовут Эдуард Васильевич,— отечески продолжал Чандвецкий.— Вы молоды и, даже не подозревая, чтó *это* за вещество, ошибочно предположили, что тут его хватит смыть всю первородную, священную грязь с человечества».

Слегка забывшись, подполковник снова расположился с локтями на столе, но тут отборная пьяная брань донеслась к ним со дворика. Чандвецкий резко обернулся к окну и при этом неуклюжим движеньем смахнул на пол смертельный узелок. Саша вскрикнул, обеими руками схватясь за лицо, и, верно, опрокинулся бы со стулом навзничь, если бы не стена за спиной. Когда он очнулся, без посторонней помощи, вечереющее солнышко сияло попрежнему, сверкая в подполковничьих погонах, только теперь Чандвецкий уже курил папироску и ждал. Саша шумно перевел дыхание, ужас все еще тискал сердце в его груди.

«Боже, что с вами, господин Грацианский? — участливо и не двинувшись с места, пристыдил подполковник.— Такой дерзкий юноша, а ведет себя, как барышня... фуй».

«Пожалуйста, воды...» — пролепетал Саша с откинутой головой.

«Ничего, это пройдет... мне знакóмы такие возрастные головокруженья,— усмехнулся Чандвецкий, сдвигая ногой в заплеванный угол вместе с узелком и несбывшиеся сашины мечтанья.— Чего же вы, однако, перепугались?

В вашей коробке обыкновенное, слегка подкрашенное мыло... а мы не запрещаем хранения хозяйственных запасов и в самой бедной хате. Поэтому я и объяснил ваш обморок переутомлением... однако нельзя же так распускать себя, юноша. Дарю вам опыт собственной молодости: увлекаясь чем-либо, учитесь забывать и регулярно прочищайте желудок».— И, как бы давая Саше время оправиться, распространился о пользе укрепляющих, со льдинкой, обтираний и длительных горных прогулок, незаменимых при излишествах холостяцких лет.

Саша молчал, но постепенно упадок сил сменялся бешеным ликованием сохраненной жизни и, отсюда, даже известным восхищением перед ловкостью тех, кто продал ему мыло за динамит. У него оставалось ощущенье, словно его только что высекли, но высекли вполне корректно, без применения оскорбительного насилия, главное — боли и даже с последующим царственно-щедрым вознаграждением за пережитое. Саша смущенно поднял глаза на своего мучителя и благодарно подумал, что в дополнение к обычным представлениям о жандарме — хитром, скользком и обходительном — этот был вдобавок и светски-остроумный человек. Запомнилось в нем профессиональное устройство черепа, почти без затылка и с выдавшимся вперед, двухъярусным каким-то лбом, где, видно, и размещались его сыскные и аналитические лаборатории. Там-то, в одной из мозговых клеточек, подобно Ги́ганову в его чулане, сидел теперь и Саша Грацианский, голый и прозрачный на просвет со всеми своими ребячьими секретами.

И тотчас же в руках у подполковника появилась, черная и клеенчатая, заветная сашина тетрадь, где бисерным почерком был переписан устав *Молодой России* с пояснительными комментариями, распределением ролей после переворота и некоторыми общегосударственными предположениями. Правда, он был переписан особым шрифтом, путем прибавления к каждому слову текста сбивающих букв с соответствующей согласной, так что, к примеру, из России получалось Ронвоссинвия... но при гигантском опыте Чандвецкого ему ничего не стоило преодолеть даже такие затруднения. Словом, это было похуже динамита... но тут Саша сообразил, что с часу на час в Петербург возвращается его папа, а тот сухонький архиерей, однокаш-

ник отца, вхож к одной петербургской львице, в свою очередь, близкой к первому в империи сановнику, для которого ничего не стоило цыкнуть на зарвавшегося жандарма, натопать на него, даже затоптать, выгнать его в отставку, в провинцию, к чорту, в самую Сибирь, наконец. Мысль эта, подобно глотку лимонада в жару, помогла Саше вернуть частицу утраченного душевного равновесия.

«Не скрою, меня в сильнейшей степени тревожит этот документ,— оглаживая тетрадку, продолжал Чандвецкий,— потому что он обнаруживает в вас опасную склонность больше размышлять о благе ближних, чем о своем собственном. Лично я прочел это с захватывающим интересом и могу констатировать в вас задатки зрелого политического мышления, причем очень неплохо разработана пропаганда в войсках и военных училищах. Нет, нет, это совсем не так глупо, я не шучу: прокламации декабристов и социальные конструкции Фурье выглядели не менее наивно, но нам известно, как они отозвались на поколеньях. Люди — всегда дети, и чем несбыточнее уставы, тем они завлекательней и грозней. Кое-что, разумеется, и поразвлекло меня здесь... в частности — несколько младотурецкий тезис о немедленном захвате власти. Это верно, жизнь на месте не стоит, к великому прискорбью, надо торопиться!.. Да и самый почерк недурен, хотя неврастеничен и мелкостен, что с годами может сказаться на зрении: заблаговременно подумайте об этом... Но я уж никак не смогу одобрить вашего намеренья, как будущего главы России, назначать министров только из членов вашей организации. Прежде всего у вас просто не хватит людей на полный состав намеченного вами правительства... Кроме того, как же вы собираетесь поступить с другими партиями, которые, подобно вам, тоже давно рвутся причинить кое-какие существенные благодеяния человечеству? Ну, хорошо, одного дружка своего, Слезнева, вы ставите на пост министра общественной морали, а другого, столь же выдающегося философа, Чередилова, сажаете на искусство... потому что разрушительные эксперименты в искусстве дешевле обходятся, чем в других областях народной жизни... но куда вы денете этого, как его, э... забыл его настоящую фамилию, Валерия Крайнова? — Надеясь на подсказку, он с мучительно напрягшимся лицом выждал мгновение-другое, но в ту пору крайновской

тайны не знал пока и сам Саша.— Имейте в виду, за этим человеком стоят серьезные люди, которые не пугаются падающего мыла и вряд ли добровольно уступят крупную политическую добычу кучке декадентских лоботрясов, как они именуют вас в своей среде. Так найдется ли у вас решимость сломать шеи своим опасным соперникам? Я не собираюсь раньше времени предлагать вам помощь в этом, но вообще, по старинной симпатии к вашему семейству, предостерег бы вас от всех трех, перечисленных выше, крайне предосудительных знакомств. Да и зачем они вам, эти темные спутники, вам, хрупкий и такой привлекательный юноша? — Ленивое, намеренно неискусное притворство зазвучало в его голосе.— Чем, чем вы собираетесь повернуть историю этой страны... вы, хоть и привлекательный, однакоже крайне неуравновешенный мальчик, в библиотеке которого брошюры Ильина стоят рядом с Заратустрой? Как кредитные билеты обеспечиваются всем достоянием государства, так и нынешние, раздражающие вас качества этой страны обусловлены ее климатом, географией, самым размером ее территорий. Я не предвижу особых изменений и в будущем, иначе Россию попросту разорвут чудовищные центробежные силы.— Чандвецкий произнес это лестным и вместе с тем не допускающим возражения тоном равенства, как бы призывая в свидетели незаурядный ум, универсальные знания и громаднейший житейский опыт молодого человека.— Да и поймите же, наконец, милый Саша, революционный подвиг — это готовность раствориться в народных волнах без остатка, бесследно исчезнуть в них, повышая их мудрость и стойкость... ну, подобно тому, как редким металлом умножают твердость стали или звучность колокола добавкой серебра. И опять я спрашиваю, найдется ли в вас решимость, при вашем взрывчато-болезненном самолюбии, уничтожиться в мильоне незнакомцев, которые, возможно, и имени вашего не узнают никогда? Так взгляните же, юноша, что лежит прямо под ногами вашими...»

Жара спадала, и вместе с золотистой пыльцой заката и нагретым помоечным дыханьем из внутреннего дворика сюда проникала унылая мелодия шарманки, сопровождая песню уличной певицы об отравившейся Марусе. Голос был пропитой, с хрипотцой, но почему-то сердце сжималось при этом, как при раскачке на высоких качелях, от

приятной, потому что щекотной и пока еще безвредной, тоски. К этому времени Саша успел успокоиться и уже настолько овладеть собой, что усыпительная полицейская ласка начинала злить его не меньше этой барственной иронии, начисто отвергавшей его опасность для режима. Вдруг представилось ему, насколько достойней и жестче вел бы себя Валерий в подобном разговоре,— ему стало стыдно за свое двуличное молчанье. Все равно, худшее оставалось позади, новых улик не было, и чем могли ему грозить тут... побоями и пыткой? Но теперь любая спасительная — если только не очень долго! — боль лишь прикрыла бы позор его обморока, придала бы трогательное величие его детской, осмеянной тетрадке, не говоря уже о возможной интерпелляции в Государственной думе по поводу истязаний студента в царском застенке, после чего вся Россия в одночасье узнала бы о существованьи мученика Александра Грацианского. Нет, пора было поставить на место этого многоречивого змия!

«Простите, подполковник, я тут малость задремал... Так чтó же, чтó именно, вы сказали, лежит под ногами нашими?»

Чандвецкий еле заметно качнул головой от огорчения.

«Бездна, молодой человек».

«О, я вышел из возраста, когда нашего брата пугают букой, господин Чандвецкий. Со мной надо в другом регистре. Бездна не действует на меня».

«Напрасно... только мухи не боятся бездны. Правда, они и не разбиваются...»

Саша решительно поднялся.

«Ну, вот что, господин Чандвецкий... Мне крайне лестно, что столь осведомленное должностное лицо тратит на меня дорогое казенное время, но, к сожалению, у меня кое-какие делишки набрались к вечерку, а мама взяла с меня слово, что я каждый день буду обедать во-время, так что, э... ежели вы не собираетесь применить какой-нибудь более верный способ удержать меня здесь, я и пойду, пожалуй».

«Не советую,— хмуро улыбнулся Чандвецкий, постукивая пальцами в стол.— Мне пришлось бы принять понудительные мéры в поисках вашего внимания: это помешало бы нашей искренности. Выслушивать же урок стоя довольно утомительно: сядьте и перестаньте шалить,

Грацианский. Я ведь не требую, чтобы вы раскрыли мне подноготную вашего опасного демона, Слезнева, или доверили мысли величайшего долдона всех времен и народов, Чередилова. Не знаю — почему, но из всех резвых мальчиков, прошедших через мои руки, я ни к кому не питал такого расположения, как к вам. Прежде чем расстаться врагами, к чему вы так стремитесь из ложной доблести, мне хотелось бы высказать те из своих потаенных мыслей, что сродни и вам... Начнем с того, что современной молодежи справедливо не нравится этот строй... точнее, его зазнавшееся, себялюбивое, прожорливое и такое безнадежно бесплодное руководящее сословье. Мне тоже».

«Но, по слухам, для вашей ненависти к нему у вас имеются особые, отличные от моих, причины?..» — хватил через край Саша и, сам испугавшись, поспешно опустился на краешек табуретки.

Чандвецкий лишь коротко взглянул на него и сдержался, приученный к осечкам и издержкам своего ремесла.

«Оно и правда,— продолжал он, как ни в чем не бывало,— глупо поступает то общество, которое обожествляет, сажает себе на шею все нисходящие поколенья выдающейся личности, некогда оказавшей услугу своему отечеству. Природа не любит отпускать двойной паек гениальности в один и тот же род, и только существам низшего развития свойственно искать клад на прежнем месте, где уж раскопали один. Впрочем, у некоторых из моих невольных собеседников эта кровная ненависть к нашему режиму нередко объясняется и тем, что, по их искреннему и тщательно скрываемому убеждению, они недополучили от него кое-каких причитающихся им по их гениальности благ...»

«Ну, это уже полицейская клевета!» — почему-то сразу, представив себе Валерия, вспыхнул Саша.

«Не защищайтесь, о вас речь впереди... тем более, что для незаурядной личности, не получившей признания в одном месте, вполне естественно искать его в другом!.. Но скажите, Грацианский, предприняли ли вы все возможные шаги, чтобы добиться славы в своем отечестве без разрушения существующих и не вами созданных основ? Видите ли, вряд ли оба мы уцелели бы при этом. Горе ваше в том,

что, несмотря на вашу повышенную нервозность в отношении падающих предметов, обыкновенной банки с мылом в данном случае, вы самоуверенны до дерзости. Молодым людям свойственно полагать, что они — если не знают, то чувствуют больше всех... обычно мираж этот рассеивается, лишь когда главные ошибки бывают уже совершены. Допустим даже, что вы искренне ищете революционного подвига... в таком случае откуда у вас это ослепленье ненависти? Путем умозаключений еще можно составить любой отвлеченный чертеж социального блага, но он не повлечет вас на баррикаду,— для этого нужны особые побудительные причины: отчаянье, голодный гнев, длительное озлобленье. Но разве вам доводилось когда-нибудь гнить в каземате, слепнуть от слез или красть хлеб для своих детей? Вы порхаете по удовольствиям, как папильон, с вашего разрешения, папильон, для которого каждый встречный цветок — благоухающий дворцовый зал со вкусным и бесплатным рационом. Заметьте, я в худшем положении: у меня жена, семья и двадцать восемь тысяч неоплаченного долга. Вы же лезете на отвесную скалу не затем даже, чтоб с высоты увидеть мир, а чтобы мир увидел вас в высоте над собою. Вы честолюбивы... впрочем, как и многие из *них:* такому в хористы не захочется, а непременно в регенты, не меньше. Вы же обожания от *них* хотите, потому что у вас тонкая впечатлительность, белые руки, образованный папа, рояль для цветовых симфоний. Да вам никогда и не удалось бы создать те воображаемые, всеми нами столь ценимые, совершенные формы общества, где вы сможете отдохнуть на лаврах, благословляемый умиленным человечеством. Революция — это коренной переплав всего, гонка со скоростью века в десятилетие, убыстренное чередованье поколений, учащенная смена кожи... ибо только так общество и может скинуть с себя струпья прежних пороков. О, только очень чистый, то есть с безнадежно-стерильной середкой, человек сможет устоять на таком ветру. Ну, а теперь прикиньте: вдруг *они* раскусят вас... накануне-то самого блаженства, вдруг прочтут все те мысли, что бегут сейчас украдкой в вашей голове... не жутковато? — И здесь как-то незаметно рука Чандвецкого оказалась на сашиной, и по ней потекла ему в душу мертвая вода увещанья, и почему-то Саша своей не отнял, и уже как будто не Чандвецкий ему, а все это он сам себе говорил

вполголоса.— Так стоит ли вам, батенька, дезертировать из большого, надежно обжитого дома, где так пригодились бы ваши несомненные, судя по начальным росткам, дарованья? О, улыбаясь над этой поэтической тетрадкой, свидетельницей ваших ребячьих видений славы и ночных тревог, я вовсе не преуменьшал ваших возможностей. Петр тоже пускал когда-то кораблики на ладожской луже! И вот она, эта горькая, безусловная правда: наш с вами класс стареет, становится все беззубей и смешней... вот уж гимназисты дразнят его и вешают ему школьные бумажки на когда-то страшные рога. Обычно у одряхлевшего, обреченного, отжитого строя не нарождается великих... да, только брызжущая молодость духа, подобная вашей, может спасти нынешнюю Россию. И, в конце-то концов, если вам так нравится оттяпывать головы гильотиной, то ведь и нам нужны бисмарки и тьеры. Вы слабости своей бойтесь, а не мненья толпы... ударяйте сильней по морде ее, наотмашь по морде... и она руки вам станет лизать. Идите же, идите к нам смелей, Грацианский, наша слава быстрей и безопасней!»

День кончался. Саша глядел в желтый закат поверх низких, в этом месте Петербурга, крыш за окном. Ему было жутко и почти хорошо. Но вдруг по соседнему переулку с дребезгом, названивая во все трензеля, проскочила пожарная команда, и, напрасно стараясь стряхнуть с себя жандармское наважденье, Саша сперва шевельнул головой, проглотил скопившийся в горле комок, потом медленно вытащил и спрятал под стол свою плененную было, онемевшую руку. Нет, никто еще с такой вкрадчивой прозорливостью не читал его тайных опасений и намерений, и вот уже не было сил уйти, не дослушав их до конца... разве только если бы Саше со стороны помогли в этом, а для этого стоило пойти на спасительную ссору.

«Я и не ждал, что сослуживец Гиганова предложит мне что-нибудь иное, кроме низкого негодяйства»,— скользким, неверным голосом, но в то же самое время готовый и прощенья просить, вставил Саша.

Подогнув голову, Чандвецкий откинулся на спинку стула; жилы на его лбу напряглись рогаткой, левый висок порозовел, как от пощечины, челюсть слегка отвисла; он расстегнул крючок у ворота. И все же та большая победа, какой он добивался, была близка: студент не уходил, сидел

перед ним, как привинченный. Оставалось только добить его в нем самом.

«Вам предоставляется на выбор, молодой человек, стрелять в меня или же воспитывать в духе своих убеждений... если допускаете великодушно, что мой несовершенный полицейский мозг способен воспринять ваши идеи, но прошу вас... воздерживайтесь от неопрятной пены на губах. Брань всегда служила признаком дефектного мышления... и я рекомендовал бы вам время от времени пропускать по молодым чувствам косильную машинку: так создаются знаменитые, устойчивые английские лужайки. Сильные не бранятся, они улыбаются...— Скука превосходства отразилась в лице жандарма.— Вы сбили меня с мысли, но, помнится, я собирался спросить что же будет с вами, если они когда-нибудь в мильон-то глаз разгадают ваше трусливое, эгоистичное ничтожество, помноженное на манию величия? Уж они-то не помилуют балованого мальчика из хорошей семьи, как я простил вам курбет с Гигановым и эту вашу последнюю, неприличную выходку... потому простил, что даже при вашем дурном фанфаронстве вы мне ближе Слезнева и Крайнова. Вы еще не знаете, в какой степени житейский успех зависит от своевременного учета своих качеств. Давайте же взглянем вместе в зеркало, я помогу вам разобраться в ваших собственных чертах... Итак, вы хотите жадно и много, но мнимые таланты ваши исчезающе-мелки, людей вы знаете по романам, Россию же — из вороватых бесед с дворником и дачным водовозом... и, наконец, рубашки и горничных вам выбирает мать. Разве неправду я говорю? Кроме того, вы мнительны и физического страданья боитесь больше любого позора. Вид чужого горя скорее раздражает, чем огорчает вас... даже не потому, что это пробуждает мучительные гражданские чувства,— ведь вы же не терпите никаких обязательств! — а оттого, что это придает дурной привкус житейским радостям, мороженому в том числе... не так ли?.. любите мороженое, молодой человек? Нет, вы далеко не баррикадный деятель... Словом, отлично разбираясь в конструкциях, в логике всего на свете, вы ничему не научитесь и ничего не свершите в жизни... так что к закату кровь в вас прокиснет от бесплодия и зависти к ближнему, к здоровью, дарованьям, к исправному пищеваренью, даже к духовным мукам его, из чего выплавляются не только шедевры, но

еще такие, более священные, вовсе незримые и недоступные вашему пониманию сокровища — как разочарованье гения. Наверно, не сумев выбиться в Прометеи, вы приспособитесь на роль коршуна к одному из них... и вам понравится с годами это жгучее, близкое к творческому, наслажденье терзать ему печень, глушить его голос, чернить его ежеминутно, чтобы хоть цветом лица своего с ним сравняться. Итак, неважный с вас получается портрет! Однакоже полностью осознанное ничтожество является не меньшей силой: тот же талант, лишь с обратным знаком. Такие-то и нужны нам... не потому, что бежать им из России не с чем и некуда, а оттого, что подобные вам ненавидят объекты зависти своей еще сильнее нас. Я не сулю вам хорошо меблированного философского покоя, Грацианский, и не на должность Гиганова приглашаю вас, я вас в главные демоны зову... которые и оставляли самые глубокие, наиболее памятные, доныне так великолепно кровоточащие следы в истории нашей злосчастной планеты. Лишь крупного шага человек способен перешагнуть этот ров, отделяющий вас, может быть, от подлинного величия... не скрою, с обратным знаком, разумеется! Так испытайте же себя, рискните, покажите свою волю, сверхчеловек, как вы именуете себя в той тетрадке с должностями. Прыгайте смелее, мы не дадим вам упасть. Ну, любое для начала... о Крайнове, о Слезневе, даже о самом себе!..»

Чандвецкий кончил и суровыми глазами искусителя поталкивал свою жертву через последние сантиметры, остававшиеся ей до края.

«У вас редкая прозорливость, подполковник... и зря, право же, зря вы не пошли в оптинские старцы после *того* приключения...— весь в пятнах пробормотал Саша, тем более подавленный перечнем своих предстоящих несчастий, что выслушанная им характеристика поражала своей безупречной точностью.— Я не плачу о своей злосчастной судьбе лишь вследствие глубокой моей испорченности. Повидимому, вам остается лишь вручить мне сребреники и кличку. Что же, тряхните мошной, подполковник!..»

Чандвецкий холодно смерил его глазами.

«Я так и думал, что вы дитя своего закатного ве́ка, духовный отпрыск Заратустры. В свою очередь, его выдумала плюгавая канцелярская личность, готовая хлыстом выместить на женщине свое вынужденное целомудрие. Такие

боготворят и боятся женщин, а в подворотне скверного дома торопливо крестятся украдкой, чтоб ниспослано им было полчаса простонародного здоровья и не допущено заразиться ненароком. Впрочем, они благополучно вступают в брак и славятся прочностью семейного очага, хотя до гроба потом терзаются подозрительным сходством своих малюток с приятелями, в разное время забредавшими на огонек...»

Липкая, одуряющая слабость, как при отравленьи, мешала Саше прекратить расправу... но при последнем выпаде Чандвецкого он пружинно поднялся со сжатыми кулаками и опухшим лицом.

«Я готов согласиться с вами, Герман, что по бездарности ничего из меня в жизни не получится... но вот что касается пункта с малютками, то не посоветую вам оставлять свою прелестную супругу наедине со мною, подполковник».

Тогда Чандвецкий тоже встал, неторопливо, одной рукой, застегивая верхний крючок кителя.

«В подобном тоне не принято упоминать о порядочных женщинах, молодой человек, и я мог бы жестоко наказать вас, но...— он помедлил, и жестокая усмешка шевельнулась в его коротко подстриженных усах.— Впрочем, попытайтесь, испробуйте ваши чары, господин Грацианский. Вы свободны»,— заключил он чопорно и чуть выпятив грудь, как полагалось в их кругу при вызове на поединок.

4

Все это было рассказано в сокращенном и подправленном виде,— без обморока, без намеков на *Молодую Россию,* без наиболее ядовитых характеристик Чандвецкого. Морщихин так и понял, что преувеличенная в рассказе умственность жандарма нужна была Александру Яковлевичу для придания пущего достоинства его собственной особе. Тут бы рассказчику перевести дух и вкусить мед восхищения от потомка, да, видно, бес старческого хвастовства потянул его за язык и надоумил для большего правдоподобия связать дело с историческим календарем.

— Плюха моя Чандвецкому стоила мне впоследствии всего двухдневного ареста...— закончил Александр Яков-

левич, заметно разнеженный своим воспоминанием.— Да я бы и не так еще отхлестал этого полицейского цезаря в тот же вечер, если бы не торопился на свою лекцию в Народный дом графини Паниной.

— Простите, не уловил,— по внезапному побуждению, чтобы выгадать время на раздумье, вставил Морщихин,— это вы сами читали лекцию в тот день... или слушали когонибудь?

Вопрос был явно приятен Александру Яковлевичу.

— Конечно, сам, э... я ведь довольно рано начал свою просветительскую деятельность в рабочих низах! — с удовольствием отвечал он.

— И как же прошла ваша лекция... после такой встряски? — в предчувствии близкого клада каким-то несвойственным ему голосом спросил Морщихин.

— Отлично!.. Я читал о великом Пушкине и никогда еще не был в таком ударе. Кстати, все это случилось в памятный день, первого сентября, когда на оперном спектакле в Киеве было подстрелено наиболее кровожадное чудовище царизма — Столыпин, э... Петр Аркадьевич, а вы знаете, с какой быстротой распространяются известия такого рода. Должен признаться, при всем своем отвращении к актам единоличного террора, я праздновал в тот вечер двойную победу. Моя аудитория уже что-то знала про киевский выстрел... так что едва я помянул о знаменитом коте у лукоморья, закованном в золотые кандалы, всем уже ясно было, кто скрывается под псевдонимом так называемого кота, и что за тридцать витязей, хоть и без красного знамени пока, выходят на брег морской, куда и какого именно несет колдун богатыря. О, разумеется, свой небывалый успех я не приписываю одному себе... свое вдохновенье я всегда черпал в самой гуще масс, э... и верно, слово мое обжигало мне собственную мою гортань, а в зале перед собой я видел мужественные, взволнованные лица рабочих, будущих партизан, командармов и вдохновителей социалистических пятилеток. Да вам и самому, как народному трибуну, известно это благородное чувство родства со своим народом, ожидающим от тебя, э... ну, некоего пламенного зерна! — Он смахнул что-то из глаза, верно, соринку.— Вот и сам разволновался с вами... тянет, тянет порой погреть в золе воспоминаний эти, хе-хе, холодеющие руки!

Многое в его рассказе сразу показалось Морщихину подмалеванным или самовольно округленным; однакоже по незнанию целого он и не мог сличить рассказанный эпизод с действительностью, подобно тому, как черепок прикладывают к расколотому блюдцу. Но именно здесь-то невольно в памяти его вспрянуло беглое вихровское упоминанье о несостоявшейся лекции первого сентября; немудрено было бы и спутать дату столь отдаленного события, однако лишь вполне сознательно можно было накрутить столько лжи на связанное с таким историческим ориентиром, как убийство царского премьера. Морщихин испытал жгучее любопытство исследователя: перед ним сидел действительно вдохновенный, ничем еще не опороченный, но несомненный лжец.

Теперь надлежало искать дополняющие находки кругом, потому что великие открытия всегда сопровождаются плеядой меньших. По неосторожности Александр Яковлевич усадил гостя спиной к свету, сам же уселся лицом против него так, что Морщихину видно было все его лицо. Достойно удивления, что еще раньше гость не различил у хозяина предательской сероватой полоски в том месте лба, откуда дыбилась и гейзерно ниспадала его седеющая грива. В то утро, из-за устрашающих событий ночи, Александр Яковлевич не успел полностью совершить косметический туалет, и... несколько странным показалось простому партийному человеку, Морщихину, что столь признанный лесной иерарх, вроде как бы всесоюзная совесть лесников, подбривает себе лоб. Один обман логически вытекал из другого; вдруг все наипочтеннейшие качества Александра Яковлевича, стоило их коснуться пальчиком сомненья, стали отставать от его личности с легкостью обветшалой штукатурки. И вот Морщихин как бы ниточку держал от этого человека, и уж никак не мог устоять перед соблазном легонько потянуть ее; он так и сделал, с равнодушным видом, как бы счищая пятнышко с колена и пока не предвидя, что из того получится.

— Скажите, профессор, та организация, о которой поминал вам подполковник... это и была *Молодая Россия?*

Лицо Александра Яковлевича поднапряглось: он не подозревал такой осведомленности у гостя.

— Да... в сущности, то была наша детская и недолговременная забава, скорее проба сил, чем...— с необъясни-

мой тоской в голосе протянул он и, неожиданно вздумав закурить на старости лет, сунул папиросу из стаканчика табаком в рот.— Это, что же, Иван Вихров сообщил вам, э... название организации?

Морщихин поднял на хозяина детски-ясные глаза.

— Нет... но перед войной, как раз в Ленинграде, мне удалось самому, беглыми пальцами, пробежаться по этим бумагам... а что именно смутило вас, профессор? — В этом месте на Морщихина накатил даже несвойственный ему задор: он никогда и не гонялся за кладами такого рода, но этот слишком уж выпирал из земли, и грешно было бы теперь не стукнуть лопатой по кубышке. С мастерством заправского следователя, и не столько затем, чтоб отвлечь в сторону возможные подозрения Александра Яковлевича, сколько самому наметить канву дальнейшего исследованья, он спросил о чем-то незначащем, постороннем, кажется, про общественный облик графини Паниной и ее филантропического заведенья. С видимым облегчением Александр Яковлевич принялся описывать внешность и биографию этой либеральной петербургской дамы, вздумавшей искупать грехи предков посредством просветительной деятельности; причем честил он ее, как мог, но называл не иначе, как по-домашнему, Софьей Владимировной, тоже вполне сознательно отвлекая Морщихина на ложное подозренье.

— Я читаю в ваших глазах сомнение в моральной чистоте моих деловых связей,— сказал между прочим Александр Яковлевич.— Но пусть вас не смущает, коллега, графский титул этой филантропической дамы. В ту пору *мы* не пренебрегали никакими легальными путями для пропаганды, и сам Владимир Ильич выступал там же в 1906 году под видом рабочего Карпова. Поэтому я и счел для себя возможным...

— Очень интересно, очень. Вам бы непременно мемуары следовало накидать, такая у вас богатейшая жизнь!..— вторил ему Морщихин, сердясь, как на муху с особо раздражающим замысловатым полетом, и вдруг, изловчась, прихлопнул ее на вираже заключительным вопросом: — Кстати, как мне дважды сообщали сведущие люди, вы целый год проработали тогда в еще неразобранных полицейских архивах, пользуясь, как говорили раньше археологи, правом первой раскопки... Так вот не

случалось ли вам обратить внимание на одну там синюю прошнурованную папку с личной перепиской как раз того самого Чандвецкого... помеченную девятьсот четырнадцатым годом и за архивным номером не то 317-а, не то 371-б? Если вспомните, там еще верхний краешек обгорел слегка... видимо, при поджоге охранки в первые дни революции. Если не ошибаюсь, ведь вы тогда тоже в Петербурге находились?

— Так, наездами, но...— неопределенно промычал Александр Яковлевич и вдруг понял, что самой острой уликой обвинения могло бы быть именно то, что он не посмел выгнать сейчас Морщихина за его развязный и непонятный маневр.— И с какой же стороны, э... вас заинтересовал этот документ?

— Да как вам сказать... пожалуй, и с внешней, и с внутренней,— той же неопределенностью, в наказание, подразнил его Морщихин.— Причем, я имею в виду не стилистическую форму этой переписки, а скорее степень ее сохранности...

В этом месте чрезвычайное беспокойство овладело хозяином, и прежде всего до такой степени раскосился его взгляд, что становилось утомительно глядеть ему в лицо. Что-то заставило Александра Яковлевича остеречься от прямого вопроса о содержании помянутого документа, даже при беглом чтении способного вызвать столь повышенный интерес. Нет, он не помнил в ленинградских архивах никакой переписки Чандвецкого, да и не мог помнить по той простой причине, что такой папки вообще не существовало на свете. Считая себя вправе в разговоре с лжецом применять его же оружие, Морщихин придумал эту переписку на ходу, в качестве пробного щупа, без предварительной анестезии вставляемого в потемки чужой души... В свою очередь Александр Яковлевич отчетливо понимал, что случись в той переписке какие-либо криминальные в отношении него сведения, разговор этот, конечно, происходил бы в ином месте. Вообще все маломальски известные улики его юношеских прегрешений были им тщательно изучены, взвешены, обезврежены по возможности, в частности — одна там предательская тетрадка любовных стихов... но, с другой стороны, наличие блесны указывало на присутствие рыболова возле тишайшей московской заводи. На какую же добычу рассчитывал

этот, в военном полушубке, для кого крутился, кого приманивал юркий кусочек железа со смертельным якорьком на конце?

— Нет, мне неизвестна такая папка... Возможно, на архивное хранение она поступила позже двадцатых годов, когда я перестал заниматься своей книгой? И вообще в девятьсот тринадцатом мне было уже запрещено жительство в Петербурге, э... по пункту четвертому статьи шестнадцатой Положения об усиленной охране.

— Нет, нет,— мягко настаивал Морщихин, не поддаваясь на столь убедительные цифровые отводы и приманки,— судя по инвентарной пометке, папка эта находилась там с самой начальной регистрации. И дело не в хронологии, а скорее... в характере поврежденья. Вот мне и хотелось спросить... была ли уже в *ваше* время... страничка, помнится, двадцать шестая, прямо относящаяся к деятельности *Молодой России...* залита поверх текста надежной, несмываемой штемпельной краской?

И опять стрельнул он про это наугад, в приливе охотницкого озорства, так как вообще в той июньской спешке никаких безвозвратно подпорченных страничек он не обнаружил, хотя в свете перечисленных обстоятельств они легко могли бы — даже должны были оказаться в результате целого года усидчивой работы Александра Яковлевича. Единственно посчастливилось тогда Морщихину наткнуться на полицейскую копию письма некоей Квасковой ее ссыльному приятелю Вейнбауму в Енисейск с прямым указанием на существующее в Петербурге сообщество *для совращения учащихся младенцев* под названием *Молодая Россия;* все остальные сведения доставил ему своим рассказом и в еще большей степени поведением, сам гостеприимный хозяин.

— Ну, знаете ли... это столь давнее дело: имейте же снисхождение к дряхлеющей памяти старика! — прошептал Александр Яковлевич, сдаваясь и моля о пощаде.

Так, значит, было у него на совести нечто, не нащупанное пока, но очень близкое к выдуманной истории со штемпельной краской, потому что разительные превращения произошли вдруг во внешности Александра Яковлевича, обычные при обыске, когда шарящие пальцы проходят в полусантиметре от тайничка. И если в любом старике всегда просвечивают смутные, как бы илом за-

плывшие черты его молодости, сейчас по лицу Александра Яковлевича можно было судить, какие физические изменения постигнут его на смертном ложе. Впалые щеки еще более ввалились, рот приоткрылся и заострился нос, землистые сумерки залегли в глазницы, пальцы как бы осунулись. То был жесточайший, чреватый последствиями в его возрасте, приступ цепенящего страха, и неизвестно, чем обернулось бы все это, беспамятством только или похуже, если бы на помощь сыну не подоспела из-за двери маленькая, в старомодной наколке, со слегка косящим взглядом черная старушка. Она невозмутимо позвала своего сына к телефону, и, выйдя туда расслабленной походкой, Александр Яковлевич еще нашел в себе силы заняться долгой и бессвязной болтовней, тем более знаменательной для Морщихина, что телефонная линия была повреждена во всем районе.

У Морщихина осталось впечатление, будто старая хозяйка сквозь него рассматривает что-то за окном.

— Вы очень утомили Александра Яковлевича. Теперь сутки пролежит пластом: он очень устает последние дни. В наше время развелось много бестактных людей. Ходят и чего-нибудь просят, иногда только рекомендацию, но чаще всего денег. Так что отложим этот разговор до лучшей поры, пожалуйста...— без выражения и глядя в сторону теперь, произнесла она и поотошла от двери, уступая дорогу в прихожую.

У ней хватило воли не проронить ни слова, пока бормоча извинения и не попадая в рукава, гость натягивал свой полушубок; только звенели ключи, перебираемые ею, как четки. Впрочем, в ту минуту Морщихин не испытывал ни стыда за свое затянувшееся, да еще после такой ночи — вторжение, ни раскаянья в своей несколько странной благодарности за кофе с пирожком и уже за несомненно занимательную повесть о петербургском жандарме; он не испытывал их и позже. Не будучи мастером разбираться в тайностях высокоартистической души, он терялся в догадках относительно происшедшего переполоха, хотя легче всего было объяснить смущение Александра Яковлевича той нередкой среди людей повышенно-щепетильной честностью, от которой иные заливаются краской при одном упоминании о пропавшей трехрублевке... Покидая Благовещенский тупичок, Морщихин оглянулся на

гостеприимные окна, прикинул в уме последствия состоявшейся беседы, валерьянку и горчичники, сокрушенно покачал головой и пожалел о случившемся; точнее, он пожалел о том, что поддался соблазну дернуть таинственную ниточку раньше срока, не дождавшись времени посвободнее, скажем, после победы над фашистской Германией.

На своих вечерних ассамблеях Иван Матвеич успел ввести Морщихина в курс нашумевшей лесной распри, и, таким образом, последний не сомневался, что при терпеливых раскопках в этом месте можно добыть ценнейшие материалы не только для его диссертации, но и для обличения обличителя, обличавшего все кругом на протяжении целой четверти века.

5

Вызванное морщихинским визитом бедствие удобнее всего сравнить с прямым попаданием авиафугаски. Трое суток затем Александр Яковлевич провалялся под пледом, с грелками в ногах; лишь связанное с похоронными переживаниями резкое падение гемоглобина помешало ему лично проводить в последний путь Наташу Золотинскую. Впрочем, в мыслях своих он все равно до самых кладбищенских ворот не покидал ее бедные, воображаемые дроги с траурными султанами на клячах, что несравненно больше соответствовало его лирическим настроениям, чем современный коммунальный автобус для срочной доставки граждан на последнее местожительство: одно колесо здесь, другое там. При этом, без движения лежа на кушетке, Александр Яковлевич в возрастающей степени умилялся тому, что он, единственный и верный наташин провожатый, всю дорогу тащился сзади, держа руку на задке этой неизбежной телеги, как и полагается ему, старомодному рыцарю невозвратимых лет... тащился минимум двенадцать верст пешком, пренебрегая всеми транспортными соблазнами столицы, одинокий старик, главное — с непокрытой головой, рискуя застудить среднее ухо, а то и вовсе заболеть энцефалитом и стать калекой на всю жизнь, но зато отдавая долг бездыханному существу, раньше всех прочих оценившему его достоинства. Так, телом нежась под стеганым атласным

одеялом, душою же бредя по зимней непогоде, угасающим взором глядел Александр Яковлевич на падавший снег за окном... и вот уже ему представлялось, будто и сам распростертый лежит в бескрайней пустыне, покинутый даже ближайшими из вертодоксов, и орлы сомнений кружат над ним, что было бы еще вполне терпимое дело, если бы одновременно с ними не кружили другие *птицы,* похуже, причем с самыми недвусмысленными намерениями.

Дело в том, что еще задолго до Морщихина участились признаки повышенного постороннего любопытства к тихому гнездышку в Благовещенском тупике: то стучался странный водопроводчик без вызова, то спускалась за спичками новенькая домработница из верхнего якобы этажа, то вкрадчивый сверлящий звук в половице под ногой просачивался вечерком из подполья. В цепи этих подозрительных явлений особо выделялось совсем уж зловещее посещение некоего лица, передавшего Александру Яковлевичу привет прямиком из мира замогильного, причем заявилось оно не через стенку и в полночь, как поступают толковые привидения, а среди бела дня и в дверь. Чтобы не привлекать соседского внимания, пришлось принять посетителя, хоть и без кофе с пирожком, после чего болезненное состояние Александра Яковлевича настолько ухудшилось, что мать настояла на его визите к виднейшему столичному специалисту по гемоглобину. Так случилось, что по дороге к врачу он оказался в противоположном конце города — у Вихровых.

Для этого у Александра Яковлевича скопились крайне веские причины. С запозданием дошли слухи о награждении Ивана Матвеича высоким орденом, хоть и без опубликования в газетах по соображениям военного времени. Поэтому полагалось срочно выяснить, означает ли этот правительственный акт официальное признание вихровской линии в лесном вопросе с прямыми последствиями для Александра Яковлевича и его сподвижников, или же оно вызвано важным в условиях войны лесохозяйственным предложением Вихрова, чем он также имел право поинтересоваться на правах былой дружбы. Кстати, за отсутствием новых фундаментальных трудов у Ивана Матвеича в печати давно не появлялось и разгромных статей о нем... впрочем, он и всегда отличался короткой памятью на

личные обиды, а война вообще посдвинула на задний план всякие разногласия, научные в том числе. Нечего было дожидаться более благовидного предлога для примирения, тем более что оно не мешало Александру Яковлевичу расквитаться в свое время с Вихровым по совокупности... И прежде всего награждение представлялось отличным поводом в личной беседе выведать кое-что о Морщихине и его сомнительной диссертации.

С бутылкой из домашнего погребка, он ввалился к Вихровым в сумерки и застал бывшего приятеля у подоконника за разбором приветственных писем и телеграмм от учеников изо всех лесов страны и, что Ивана Матвеича в особенности радовало, даже с фронта. Лесная общественность с таким волнением следила за этапами знаменитой полемики, что всякая новость в кратчайший срок доходила до самых глухих углов страны. Депутат лесов сидел в таискиной шали поверх толстой фуфайки енежских времен; недостаток тепла в нетопленной квартире с избытком возмещался жаром бесценных, потому что в *такую* пору, посланий.

— Ну... победил, Иван! в этой длинной очереди поздравлений прими и мое, устное, напоследок,— еще в дверях, перстами касаясь порога, возгласил Александр Яковлевич, после чего стремительно, пока тот не пришел в себя, привлек к себе и поочередно приложился ухом к обеим его щекам, великодушно предоставляя себя для ответного лобзания.— Вот так, по-братски, по-братски... еще разок. Ведь это наша общая с тобой победа, ведь я полжизни своей отдал на то, чтобы ты стал еще лучше... так что и моя крохотная долька вложена в твой успех!

Атака была столь напориста, что Иван Матвеич из деликатности тоже полуобнял поздравителя, и Грацианскому пришлось даже слегка поотпихнуть его, чтобы тот, чего доброго, не обмочил его слезой на радостях стариковского всепрощенья.

— Вот, сижу в потемках... извини, у нас свет выключили во всем районе,— бормотал Иван Матвеич, тронутый поздравлением главного противника.— И не раздевайся, пожалуй, прохладно у меня.

— Ничего, сейчас мы вольем в наши старые цистерны эти терпкие бордоские калории и растопим этот, как его, э... ну, старинный наш лед! — И вот уже самодея-

тельно разыскивал штопоришко в вихровском буфетике.— А кто виноват, кроме тебя, что — лед? Ну, имей же мужество ответить, глядя мне прямо в глаза... молчишь? Бог тебе судья, Иван... но стыдно, стыдно, братец, забывать прошлое, а я ее, как первое причастие, помню, нашу скудную похлебку на Караванной, где от жиринки до жиринки шесть суток ходу... помнишь? Как здоровьишко-то, старина? Не бережешь ты себя... Эх, будь моя власть, отобрал бы я у тебя чернила, братец,— не дослушав вихровский доклад о состоянии своего здоровья, продолжал он и во утоление странной потребности, не имея возможности прочесть, пробежался хоть пальцами по рукописям на столе.— Сестрица тоже здравствует? видно, в очередь ушла? Так, так... ну, рад, рад за тебя.

— Лучше вот сюда садись, здесь от окна дует,— уводил его Иван Матвеич подальше от стола.— Это хорошо, что ты зашел... мне так давно хотелось убедить тебя в моей правоте не только фактом получения ордена, а самой логикой лесного дела.

Чтобы времени не терять, он без промедления приступил было к изложению заповедей разумного лесопользования; тот перебил его на полуслове.

— Нет, не ждал, не ждал от тебя, Иван, что ты еще и мстить начнешь мне под старость,— журил Александр Яковлевич, самолично раздобывшись всем необходимым и разливая принесенное вино.— Собственно я и раньше подозревал за тобой, что не любишь ты рубанка по живому мясу, сладенькое обожаешь, критику с сиропцем... но не мог же я замолчать твои роковые, хотя не скрою, и вполне классические ереси. Неисправленные во-время ошибки становятся частью души. И вот ты уже берешься за кинжал... жестоко, братец ты мой, не по правилам играешь!

— Однако в чем же ты видишь... мой кинжал? — озадаченно спрашивал Иван Матвеич.

— А как же... не ты ли ко мне этого диссертанта с пистолетной кобурой на боку подкатил? Да еще по поводу того, старого и уже расхлебанного дельца. Валерий поправил же эту давнюю мою, действительно неуклюжую, детскую шалость... Скажи по крайней мере *приличный* он человек, этот твой Морщихин?

Иван Матвеич обстоятельно рассказал о своей попытке помочь молодому одаренному человеку с огромной, по его мнению, будущностью.

— Видимо, произошло досадное недоразумение, Александр... Впрочем, он собирался зайти ко мне сегодня вечерком, и ты сможешь убедиться, какое это обаятельное, редкой душевности человеческое явление. Я просто жалею, что тебе не удастся узнать его ближе: со дня на день он ждет отправки на фронт. Он назначен комиссаром бронепоезда, таким образом.

Лицо Александра Яковлевича заметно прояснилось; почему-то известие о скором отбытии на войну подействовало на него утешительнее, чем перечисление морщихинских достоинств.

— Это очень хорошо, очень...— думая о своем, сказал он.— Это очень приятно, что Москва и наше святое прогрессивное, освободительное дело в таких надежных руках. Что ж, выпьем тогда за всех, уезжающих в бой за эти, э... за передовые идеи века!

Стоило посмотреть, с каким удовольствием опустошил свой стакан этот воздержный человек, не стеснявшийся за здоровье собственной матери поднимать бокал с лимонадом. Он вообще мало походил на себя в тот раз,— какой-то приниженный и общипанный; удручающее беспокойство, подобно запаху болезни, излучалось из него. Упоминанье о Москве тронуло Ивана Матвеича: по склонности горячих и честных людей наделять всех своими мыслями, он решил, что и Грацианского тяготят думы о предстоящем подмосковном поединке.

— Не узнаю тебя... да ты здоров ли, Александр? — и, отхлебнув из стакана, простил ему все, за двадцать с лишком лет причиненные огорченья.

— Видишь ли, брат,— признался Александр Яковлевич, быстро хмелея от непривычки к спиртным напиткам,— на-днях я опустил в могилу одно великодушное сердце... и вот от меня осталась только половина. Правда, мы с ней всю жизнь прожили порознь, не надоедая друг другу, но самое существование этой великой любви доставляло мне как бы отпущение грехов. Тебе, безгрешному, этого не понять... Шагом я проводил ее бедный прах, э... до последнего жилища и, только бросив горсть мерзлой глины туда, в могильную бездну, понял вдруг,

как я одинок теперь. Да, брат, все меньше нас становится на свете... плотней бы надо нам, оставшимся! Ты непременно приходи ко мне... каждый раз возьми и приходи.

— Если тебя участь Москвы тревожит,— ладил свое Иван Матвеич,— то не бойся: ее не сдадут. Существуют такие святыни, которые и в мыслях нельзя отдавать на подержанье в нечистые руки... И заодно уж вспомни историю: сколько времени всегда уходило у нас, русских, чтоб размахнуться, но били потом наповал и без промаха. Правда, где я ни брожу пешком по городу, я не видел улыбающихся лиц, но мне не попадалось и плачущих. Эх, да кабы ногу мне в исправности да сердчишко не пошаливало!..— Он отвел руку Александра Яковлевича, снова потянувшуюся к стакану.— Не пей, погоди, эта штука сильна... сестра обещала колбаски принести из очереди.

— Ничего, сойдет и без колбасы. Так, значит, на бронепоезде он едет? Это очень хорошо...— чуть размягченным голосом повторил Александр Яковлевич и отпил еще глоток, чтоб закрепить свои непрочные надежды.— Да, чуть главного-то и не забыл... Тут недельки полторы назад познакомился я с одним умнейшим человеком... между прочим, крайне лестно отзывался о твоей персоне. Представь, по твоим знаниям, опыту и глубине научных идей он считает тебя первейшим лесоводом мира. Грешен, каюсь: даже воззавидовал тебе... Но не задирай носа: при нынешнем упадке капиталистической культуры у них там, на Западе, крупных лесников по пальцам перечтешь.

— Он, что же... приезжий, оттуда, значит?

— Из Австралии. Любопытнейшие вещи рассказывает: оказывается, приемы-то лесопользования у них не лучше наших дореволюционных. Вообрази, просто кольцуют топором гигантские рощи так называемого малинового эвкалипта, чтоб вызвать рост травы для животноводства. Мог ты себе представить такой варварский способ перегонки леса в мясо и шерсть?

— Мог...— сказал Иван Матвеич,— но что-то врет твой австралиец. Малиновоцветный эвкалипт как раз сравнительно небольшого роста.

— Не придирайся... он, видимо, имел в виду не высоту дерева, а размер обреченных территорий,— поправился Александр Яковлевич.— Кроме того, э... он не совсем

лесовод. Долгое время работал в Международном совете по координации мирового хозяйства, а в Москву прибыл по вопросам хозяйственного снабжения наших фронтов. Вообще большой наш дружище: хлещет водку, обожает щи и балалайку, сочинения твои знает наперечет, э... почти все. Уверяет, что ученый твоего ранга приобрел бы у них *там* великую славу и благополучие, не говоря уж о надлежащем покое для работы...

— Ну, а ты ему что?

— Я ему усердно доказывал, что советский человек обожает повседневную критику с песочком и даже не может без нее...

— Так...— нахмурился Иван Матвеич.— А он что?

— Э, у них порода хлипкая: смеется... Периодическое, в несколько баллов, сотрясение моего рабочего стола, говорит, вызывало бы у меня вредную для плодотворного мышления рябь в глазах. Между прочим, выражал страстное желание встретиться с тобой в непринужденной обстановке. Я дал ему согласие за тебя.

— Напрасно. Мои мысли в моих книгах. Мне нечего прибавить к ним.

Александр Яковлевич поморщился на неожиданное препятствие: по его расчетам, длительная подготовка неудачами должна была расположить Ивана Матвеича к большей сговорчивости и широте взглядов.

— Не понимаю, лес перестал интересовать тебя или... собираешься, под орденок, отойти в сторонку от леса?

— Напротив, именно лес меня не отпускает, но...— и туманно, чтоб не обидеть гостя из дружественной державы, намекнул на опасный опыт троянских коней и данайских приношений.

— Извини, но это же грубо, Иван,— солидно возмутился Александр Яковлевич.— Если тебя смущает незнание языка, так и быть, беру на себя роль переводчика. В крайнем-то случае встречу можно было бы устроить и у меня... Когда еще вторично подвернется такой случай: получить обстоятельную информацию об австралийских лесах, а вдвоем-то мы его наизнанку вывернем!

Иван Матвеич даже не потрудился возразить и, торопясь объясниться до прихода Морщихина, забубнил свое — о путях получения наивысшего дохода с леса без разорения самого источника. Александр Яковлевич слу-

шал его с нервным тиком в лице и глядел на все падавший, уже третьи сутки падавший снег за окном; иные хлопья приникали к самому стеклу, словно силясь рассмотреть что-то в потемках комнаты. Хмель проходил, и одного страстно хотелось Грацианскому в ту минуту — совершенного покоя, за которым исчезнет все это — унизительное ощущенье стареющего, постоянно как бы отравленного тела... исчезнут идеи, производящие бесполезное круженье вещества, и в первую очередь уничтожится его рабское обязательство во что бы то ни стало выманивать этого лесного маньяка на свиданье с австралийцем. Наконец Александр Яковлевич рассердился не на шутку, когда хозяин с дурной патетикой вопросил его, в какой же иной тулуп, кроме зелени, потомки станут кутать свою продрогшую и опаленную планету.

— Слушай, Иван: все это, что ты так надоедливо твердишь, азбука простаков... и не в лесе тут дело, голова. Эх, и выложил бы я тебе свои думы начистоту, да...— и оглянулся на шум из кухни.

— Там сестра вернулась. Ничего, ты говори... она и услышит, не поймет. Таким образом.

— Вот всегда меня поражала в тебе глубокомысленная провинциальная пытливость ума, Иван... например, почему бы это зимой тепла не хватает, в то время как летом оно тратится с избытком. А ты оглянись-ка: библейские времена настают!.. уж солнца не видать, все летит. Горы сорвались с тысячелетних стоянок, моря вздымаются от лон своих. Теперь единственное средство уцелеть — либо намертво зарыться в землю, либо двигаться в ногу со всею лавиной, до самого конца. А ты лезешь ей навстречу, неприлично размахивая руками... Да чорт с ним, с лесом твоим, в такую пору...

— Позволь, это какой конец ты имеешь в виду? — с ледком в голосе переспросил Иван Матвеич.

— Ну, этот, дозволенный... не лови. Переход одного в другое по диалектике развития,— и глаза зло блеснули в сумерках.— Потомки-то ведь тоже захотят искать и мыслить... или ты собираешься завещать им свой тулуп без права перешивки?

Иван Матвеич не сразу уловил содержание сказанного, но торжествующая двусмысленность вопроса обожгла его. Он сказал тогда Грацианскому, что не страшится за бу-

дущее и наследников своих: человечество никогда не сможет отказаться от архимедова винта или менделеевской таблицы, а тем более от суровых социальных благодеяний, избавляющих его от нищеты и регулярного пролития крови, от плачевной участи большинства, которое капитализм убивает, если не удается растлить.

— Признаться, такие твои мысли в новинку мне, Александр Яковлевич... не узнаю тебя,— сказал в заключенье Иван Матвеич.— Но ведь ты же сам писал в один из моих погромов, что только в могилу можно дезертировать из истории.

— Э, история! — сквозь зубы огрызнулся тот.— Гаданье на красных чернилах девятнадцатого века, мечта о стерильном мире... Думаешь, блокадные ленинградские щи из гербария становятся сытней, если их гуманистическим мечтаньем подсластить! О, история — слишком медлительный, натуралистический рассказчик с дурного вкуса длиннотами и грубо подчеркнутыми эффектами. Я предпочел бы прочесть *все это* потом, в учебнике начальной школы, на трех страничках с приложением подобающей картинки, скажем, о взятии Зимнего дворца!..— Вдруг до бледности испугавшись наступившего молчанья, он с видимым отчаяньем стиснул руку Ивана Матвеича.— Если можешь, прости мне этот, не слишком чистоплотный прием, Иван, но я не мог иначе... у меня не было иного способа проверить, о чем может думать подобный тебе, выдающийся и претерпевший такие побои человек, когда враг у ворот столицы. И ты сам не можешь понять, какой силы ответ заключался в спокойном молчании твоем... и вот почему мы непременно, непременно победим в этой схватке миров, Иван. Несомненно, там у *них* ты был бы великий человек, но ты... ты отказался даже хвалу принять, э... из этих нечистых уст: слава тебе! Как же я рад за чистоту твою, за твою преданность нашему знамени, Иван! И не серчай: со времен Иова высшая верность мерилась ценой беспощадных испытаний. Зато отныне я твой друг вдвойне... Знаешь, ты ко мне непременно на Новый год приходи, и мы наедине, без помехи, подведем разные там итоги.

— Ты выпей-ка воды, Александр... таким образом! — предложил Иван Матвеич, налил ему из графина и стал спускать маскировочные шторки.

— Да, да, я просто пьян, прости... и потом круглый день болит в затылке. Что там за штука помещается, кроме гипофиза? Вот и я тоже не помню... Нет, нет, света не зажигай пока, так лучше... Кстати, ты не позволишь ли *ему* по крайней мере хоть журналы тебе занести мимоходом? Отлично изданы... и с крайне лестными отзывами о твоих работах. Собственно он и сам довольно сносно изъясняется по-русски. Правду сказать, не хотелось бы, чтобы он невыгодно для нашей страны истолковал твой отказ...

— Постой, ты про кого?

— Все про этого, про австралийца. Чудак, ведь ты же не слишком избалован похвалой, и *это* могло бы влить в тебя, э... ну, дополнительные силы.

От свиданья Иван Матвеич отказался наотрез и, включив свет, не очень удачно сострил про муравья, который если и доставляет удовольствие тле, то всегда в расчете на получение чего-то взамен.

— Ты так думаешь? — как бы прозрев, вскинулся Александр Яковлевич.— А мне, брат, это и в голову не приходило, но... в таком случае я наведу о нем справки кое-где. Однако что же ты о себе-то молчишь?.. сестра как?

— Сестра, как я уже сообщал давеча, ничего себе, прихварывает помаленьку. Вот и она, ты уж сам ее расспроси.

Таиска как раз внесла тарелку со спасительной свеклой, но перекинуться с нею словцом в забвение прежних взаимных неудовольствий Александру Яковлевичу не удалось. Движения ее были неточны, ответы невпопад,— вскорости она ушла, торопясь поштопать бельишко в дорогу своему любимцу. Легкий на помине, Сережа появился через десяток минут, и с ним другой такой же, весь в снегу и разрумянившийся от быстрой ходьбы юноша, не Морщихин. Сережа представил его отцу как своего будущего напарника на бронепоезде, Колю Лавцова.

Вряд ли Сережа мог запомнить Грацианского с той ночи, когда в пятилетнем возрасте его на руках внесли в этот дом, но по смущению отца, по бутылке с полусотлевшим заграничным ярлыком, означавшей, сверх всего прочего, чрезвычайность свидания, по холодному любопытству этого человека к своей особе, по десятку других безошибочных признаков он сразу угадал в нем своего

застарелого врага и довольно ловко обошелся без рукопожатия, а ограничился дальним полупоклоном.

Выяснилось, что Морщихин не придет: в отмену прежних планов выход бронепоезда назначался завтра на рассвете. Сережа с напутственного митинга отпросился проститься с родней.

6

— Павел Андреич шлет горячие приветы... он как раз собрание ведет. И ты не хлопочи, тетя Таиса: столько нам всего выдали в дорогу, что только на тендере и увезти. Словом, мы буквально на минутку заскочили...— говорил Сережа, причем поталкивал приятеля в бок.— Ну, Николай, ты все на живого, настоящего профессора хотел посмотреть... вот он перед тобой в натуральную величину и в самой гуще, так сказать, своей роскошной обстановки!

Лавцов сконфуженно переминался с ноги на ногу, то с упреком поглядывая на Сережу, то на профессора в фуфайке, и неловкое молчание длилось, пока Иван Матвеич не усадил ребят рядком у стола. Оба тотчас, как по команде, закурили тощие папироски, предварительно продув и постучав мундштуками о пепельницу, враз и в ту же сторону пыхнули дымком, как близнецы похожие друг на друга. Роднила их не столько танкистская форма, а скорей та застенчивая, неискусная самостоятельность, что выдает старанье неоперившихся юнцов не осрамиться перед старшими при первом же взлете... Александр Яковлевич и сам чувствовал, что теперь ему надлежало бы удалиться, не стеснять стариков в отношении неминуемых объятий и смешных советов, как посредством обыкновенной осмотрительности избегнуть несчастий войны. Но он так часто в кулуарах, кому следует, на ушко рассказывал о происхождении этого мальчика в доказательство вихровских связей с враждебной средой, что какая-то темная любознательность заставляла его сидеть, слушать и украдкой изучать Сережу с его товарищем, потому что в бой за передовые идеи века они уходили вместе с Морщихиным и, следовательно, разделяли его судьбу.

Как часто бывает при разлуке, говорить вдруг стало не о чем; затянувшуюся паузу прервала Таиска.

— Гляжу я на вас, детки... молоденькие совсем, а уж к табачку солдатскому прикоснулися,— вздыхала она, то разгоняя ладонью дым перед собою, то смахивая со скатерти несуществующие крошки.— Так вот помаленьку и засосет она вас, войнища-то.

— Не брани их, сестра... они солдаты теперь. Может, завтра им и в огонь...— очень волнуясь, вступился за них Иван Матвеич.— И это правильно, ребятки: пора и вам впрягаться в наш старый, священный плуг. Ведь мы не вчерашние, мы древние: мы еще костерок пещерный и рев мамонта помним и вьюгу ледниковую. Может быть, пятьсот веков подряд человек, его первая несовершенная модель, рвал руками сырое мясо, голой тварью скитался, пока, выбравшись на солнышко, не увидел своей наготы. И еще тысячелетия ушли на обзаведенье, причем, нечего скромничать, неплохой себе одежи нажил, даже с медными пуговицами... да однажды оглянулся на себя при новом солнышке и снова застал себя мало сказать в наготе, а вдобавок в кровище по локоть... да не в звериной кровище-то, а в собственной своей, братской, таким образом. Все ею пропиталось, даже песня и книги, кирпич его храмов, сокровища его галерей... Да тут еще всякие эпидемии, эрозия почв, истощение лесов, нехватка пищи, рост и усложнение потребностей, приход в цивилизацию новых пробуждающихся рас... И все это при упорном сопротивлении природы, возрастающем по мере нашего углубления в микромиры, где она и хранит свои главные шифры и тайны. Тут и здоровому-то мозгу впору едва управиться, а его еще точит спирохета социальной алчности, превращая мыслительную ткань в разводочный студень для микробов самых подлых страстей. Значит, либо в братскую могилу валиться пора человечеству, либо искать новую тропу... а то иной раз немножко и совестно становится перед скотами, которых мы едим. Вот поэтому-то, как оно ни смешно, и стоит почаще призадумываться, почему все же тепла-то не хватает зимой, ежели летом впустую тратится. Детские сомнения всегда представлялись кое-кому наивными, а в них-то и созревали семена величайших бурь, когда-либо потрясавших человечество. На его счастье, есть такая тропа: единственная. Вот отчего иной заводишко наш кажется мне пирамид бессмертней: то были гробницы людских порывов, а эти — самой радости

священная колыбель... таким образом. Поэтому и любо мне глядеть в ваши лица, машинисты счастья и защитники жизни, труженики.— Вдруг Иван Матвеич виновато оглядел свою скучающую аудиторию и смолк.— Хватит, зарапортовался. Ну-ка, наливай нам разгонную, сестра!..

Он встал и потянулся с рюмкой к ребятам, которые переглядывались, робея и не смея принять на себя честь только что выслушанного тоста.

— Крепка, проклятая...— сказал Коля Лавцов, выпив и погладив место, отведенное природой под усы

— Не по заслугам пока балуешь ты нас, отец,— откликнулся побасовитей и Сережа.

Наверно, вслед за тем все и разошлись бы по своим делам, если бы неожиданно из своего угла не подал голоса Александр Яковлевич.

— От души присоединяюсь к тебе, Иван. Стареем... вот уж и слеза умиленья прошибает. Что же, в их годы и мы с тобой были игральными картами большой истории, но... бронепоезд, брат, это не кухмистерская на Караванной, где мы за скудной похлебкой, под угрозой царских казематов обменивались запретными мечтами о светлом будущем России. Это даже не военный самолет, при всем риске владеющий свободным маневром в трех измереньях: бронепоезд действует на прямой, с него не удерешь с чужим паспортом, не спрыгнешь с парашютом...— Видимо, мысль о Морщихине не покидала его весь тот вечер; вдруг поняв, что слишком откровенно смакует свою нечистую надежду, он сбивчиво пробормотал что-то о героях, из чьих жизней слагается бессмертие эпохи.

— Какие там герои... сидим на чистой квартире вот, винцом прогреваемся,— усмехнулся Коля Лавцов, возвращая рюмку на стол.— Но раз московский комсомол обещался родине постоять за столицу и прочее такое,— значит, надо слово выполнять.

— Кроме того, Александр, я решительно возразил бы против сравнения нашего народа с колодой карт...— начал было Иван Матвеич.

— Позволь уж мне, отец...— еле сдерживаясь, перебил Сережа.— Эта не случайная, по-моему, оговорка относится прежде всего к нам обоим... и я попытаюсь справиться один. Нет, гражданин Грацианский, в борьбе двух миров мы не игральные карты, далеко нет. Собою я рас-

полагаю сам... но вот по ряду суровых непредвиденных обстоятельств нам пришлось попятиться до Москвы: плохое дело. Дальше отступать некуда, там будущее... Вместе с тем враги не смогли взять столицу с ходу, а мы не сумели пока отпихнуть их назад. Следовательно, образовалось временное равновесие, которое можно нарушить и песчинкой... так, правильно я говорю, Николай? Вот эту песчинку, жизнь свою, я, помощник машиниста, комсомолец Сергей Вихров, вполне сознательно и кидаю на весы.

— Эх, жалко Павел Андреич не слышит!..— восхищенно поддержал Коля Лавцов.— Давай, давай дальше, Серега, обеспечивай!

— И во-вторых,— продолжал тот с мальчишеским захлестом, происходившим от давнего стремления сразиться когда-нибудь с Грацианским,— во-вторых, говорю я, война для нас не игра, и народ не может рассматривать свою кровь как азартную ставку на возможную удачу... потому что во всякой игре допускается двойственный исход. Война для нас — самый тяжкий, вредный для здоровья, а порою и жизнеопасный труд, искупаемый благородной целью защиты человечества. Значит, это труд наверняка. Я понятно говорю, гражданин Грацианский?

— Ты здесь моложе всех и потому... умерь свой учительный тон, Сережа,— вставил Иван Матвеич.

Сережа пристально посмотрел на отца:

— Прости... я достаточно разумен, чтоб не поучать пожилого и, видимо, заслуженного человека, раз он сидит у тебя... но, как было тут тонко подмечено, бронепоезда ходят только по прямой, и, возможно, я не дождусь случая высказаться на равных с ним основаниях!

В этом месте сам Александр Яковлевич заступился за Сережу:

— Не мешай ему, Иван... юноша дельные вещи говорит. Но, боже, как стрелки-то на часах истории бегут!.. Давно ли Таисия Матвеевна снимала с маленького путешественника мокрый полушубок в этом самом кресле, и вот уже...— Он заметил, наконец, просительные знаки, которые подавал ему Иван Матвеич из-за сережиной спины.— Но, прошу вас, развивайте вашу, э... интереснейшую мысль о войне, молодой человек.

Сережа замялся, встревоженный странным, из-под приспущенных век блеском в глазах противника.

— Я хотел сказать, что если у прежних общественных движений не хватало духу довести дело справедливости до конца, то у нас его, пожалуй, хватит... Словом, война для нас не игра, не авантюра, как для врагов наших, а великое народное задание, успех которого прежде всего зависит от бескорыстия современников.

Он имел в виду душевную чистоту, и противник немедля ухватился за его оговорку.

— Бескорыстие?..— рассудительно повторил Александр Яковлевич.— На мой взгляд, понятие это более применимо к животному или механизму, чем к разумному существу. Бескорыстны гроза, корова, велосипед... впрочем, объяснитесь, как вы сами понимаете это слово?

Несколько мгновений Сережа, потупясь, глядел в пол перед собою.

— Ну... готовность совершить нечто для ближнего без всякой личной выгоды.

Александр Яковлевич улыбнулся:

— Тогда, пожалуй, наиболее бескорыстное, что мы совершаем для ближнего,— это храп по ночам... Нет, я вовсе не хочу принизить ваше благородное намеренье, юноша,— поторопился он, заметив нетерпеливое сережино движенье.— Но любое осмысленное действие предполагает цель, достижение которой сулит нам хотя бы моральное удовлетворение, э... пропорциональное количеству затраченных усилий, то есть выгоду. Вряд ли вы имели в виду лишь денежное вознаграждение... Но разве признательность народа — ничто для вас? Да, наконец, этика *наша* и не исключает личных побуждений при подвиге... Ну-ка, покопайтесь у себя внутри, юноша, вполне ли бескорыстно, к примеру, вы бросаете на весы единственное свое сокровище, э... свою песчинку?

Он глядел так пристально, словно вдавливал свою мысль в молодого человека.

— То есть вы хотите сказать, что я иду на фронт ради личной славы, орденов или военного пайка? — чуть дрогнув, усмехнулся Сережа, с ненавистью глядя в совсем спокойное, если бы не подергивание века над глазом, лицо противника.

— Нет, я полагаю, вы делаете это ради того же, что имею в виду и я и о чем вы думаете в настоящую минуту! — с намеком ударил Александр Яковлевич.

Разумеется, вопрос имел дополнительной целью возбудить любознательность Коли Лавцова к тайне сережина происхожденья... а дальше, дескать, само пойдет! Но Коля Лавцов не сразу разгадал смысл скользкого намека и потому во-время не пришел дружку на помощь, лишь понукал его взглядом, чтоб бил хлестче, раз уже началось... Сережа молчал, в самом молчании его можно было прочесть утвердительный ответ.

— Я очень польщен,— кивнул он, наконец, побледнев,— что после обстоятельного разбора отцовской биографии вы принимаетесь и за мою собственную... хотя, в сущности, она начнется лишь завтра. Хорошо, я отвечу вам на это! — И вдруг схватил листок бумаги со стола.

— Пора нам назад, Серега, а то Павел Андреич серчать станет...— освобождая дорогу на случай отступленья, помог с тыла Лавцов.— Пошли, что ли?

— Нет, постой... рано еще спасать меня,— бормотал Сережа, накидывая на бумаге контуры непонятного пока чертежа.— Я ему сейчас... сейчас по существу отвечу.

Карандаш сломался, и Сережа не заметил, кто подал ему другой, зато каждой клеткой тела чувствовал он присутствие Грацианского, тоже приподнявшегося с места и следившего за ним из-за плеча. На листке возник схематический, в продольном разрезе, профиль явно пассажирского паровоза, в частности — то потаенное и тесное пространство в нем, что образуется между днищем дымовой коробки и лафетом бегунковой тележки, изображение получалось настолько точным, что можно было опознать и марку машины.

— Это собачий ящик у нас называется,— пояснил Лавцов, обращаясь ко всем.— Заело парня, вторую неделю про тот случай забыть не может...— И пока Сережа заканчивал рисунок, рассказал про недавний случай с одним паровозом, воротившимся в депо из ночного пробега.

По его словам, ничего в том особо завлекательного не было. А просто, дело житейское, уже на смотровой канаве, с факелом ревизуя снизу паровоз, машинист заметил там торчавшие из мрака новые сапоги. Вслед за тем, на потеху деповских ребят, из-под паровоза вылез чумазый, всем чертям родня, безбилетный заспавшийся мужчина лет сорока пяти в брезентовом плаще, несмотря на

двадцатиградусный мороз. Чудак оказался спекулянтом, регулярно провозившим картошку на московский базар. Мешок у него отобрали и после проверки документов отпустили без последствий, если не считать двух назидательных ударов по шее для острастки на будущее.

— Прошу внимания...— заговорил Сережа и стал объяснять весь путь спекулянта от рельс до тайника.— Он прополз со своим неуклюжим грузом вот здесь, между колесными скатами, в метель и во время полуминутной остановки поезда на полустанке, рискуя навсегда распроститься с новыми сапогами. Двести с лишком километров затем он пролежал в трясовице, на ледяном сквозняке, не смея шевельнуться, чтобы не обжечься о трубы прессмасленки над его головой. Прибавьте к этому зной от перегретых цилиндров, грохот больших колес на рельсовых стыках, дребезг маленьких передних бегунков... и вы легко сможете представить, во что ему обошелся его товар. Тот же самый труд, совершенный во имя более почтенной цели, был бы вправе называться подвигом... он же принял на себя все эти усилия и опасности ради наживы.

— Видно, добротного здоровья гражданин! — подивился Иван Матвеич.

— Да он бы и доставил до базара свой товар, кабы спьяну не заснул там, чудило экое...— со смешком заключил Лавцов.

Тем временем Александр Яковлевич воротился на свое место.

— Что же, нам остается поблагодарить уважаемого Сергея Ивановича за дельный совет не возить картошку под паровозом,— плоско, от непонятного раздражения, пошутил он.

Тут уж не вытерпел и сам Иван Матвеич.

— Сколько я понял, мой Сергей Иваныч другое собирался тебе сказать, а именно...— жестко и так, чтоб ни слова не пропало, вмешался он,— что, если бы люди вместо достижения личной выгоды или бессмысленного причинения зла ближнему обратили бы свои усилья на более достойные цели, они давно достигли бы поголовного благоденствия на земле. Так ли я понял тебя, Сережа?

— Почти так...— кивнул Сережа, разрывая в клочки свой чертежик.— Вот я и хотел спросить, в свою очередь, какую личную корысть преследовал господин Гра-

цианский, перед самым боем напоминая мне, что я сын раскулаченного в двадцать девятом году... и что мне надо еще заработать, кровью омыть мое новое имя.

Только теперь скрытая игра окончательно прояснилась для Коли Лавцова, и как только прояснилась, он с недобрым выраженьем в лице двинулся на встревоженного Александра Яковлевича, который стал отъезжать со стулом назад, делая при этом как бы плавательные движения руками. Ничем нельзя стало предотвратить назревшее происшествие, тем более что по характеру обстоятельств именно этот посторонний молодой человек имел право быть судьей в разгоревшемся споре.

— Эге, вон ты куда махнул...— усмехнулся Лавцов, с брезгливым любопытством оглядывая Александра Яковлевича с головы до пят.— Тоже орел... мяса тухлого ищешь? Но нет, мы тебе этого парня на питание не отдадим.

— Воздержись, Николай!..— умоляюще крикнул Сережа.

— Погоди, я профессорским тонкостям в поведении не обучен... теперь уж я за тебя поговорю,— продолжал Лавцов, разминая плечо и держа Александра Яковлевича в состоянии, близком к обмороку.— А мне-то невдомек, чего это он старается, вроде как молоточком постукивает? А это он клинышек в наш бронепоезд заколачивает... в самую нашу троицу, в самую что ни есть ходовую его часть!..— И юноша уже колебался перед искушением рассчитаться с господином за его коварную подножку, но оттого ли, что находился в военной форме или по соображениям возрастной разницы ничего такого себе не позволил, а только покачал головой и отвернулся со вздохом.— Пора нам итти, Серега, а то я что-нибудь такое некультурное совершу. Опять же вроде отсюда слышу, как Павел Адреич гневается на нас с тобой!

Кое-как Таиске удалось задержать отъезжающих молодых людей на четверть часа, но все были под впечатлением чуть было не разразившегося скандала; общий разговор не налаживался. Стали прощаться, и Лавцов со значением поблагодарил хозяев за интересно и с пользой проведенное время. Все, кроме Александра Яковлевича, вышли в прихожую, чтобы без стеснения обняться напоследок и произнести надлежащие при проводах слова.

Вскоре за тем успевший оправиться, он тоже стал собираться в дорогу, и тут Иван Матвеич снова проявил чрезмерную, столько раз вредившую ему деликатность. В конце концов Грацианский был уж тем одним сильнее, что всегда готов был применить низкое оружие доноса и клеветы, от которого гадливо отвернулся бы Иван Матвеич; он не за себя теперь, а за Сережу опасался.

— Разволновались ребятки,— сказал он, стараясь сгладить впечатление от происшедшего.— Надо понять и их... вся подмосковная страда ложится на их молодые плечи, таким образом!

— Все волнуемся... однако никому не следует делать поспешные личные выводы из отвлеченного спора.

— Но согласись же, не следовало и тебе, Александр, подобные вещи солдату под руку говорить... да и еще в момент, когда именно отдельные песчинки решают исход схватки.

— Не слишком ли много чести? — ворчливо поежился тот.— Оба мы с ним достаточно незначительные особи, чтоб повлиять на ход большой истории. Кому-кому, а тебе, советскому-то профессору, полагалось бы это понимать...

В свою очередь Иван Матвеич с резкостью привел ему разительный пример 1835 года, когда такая незначительная особь, как гусеница дубового заболонника, убила тридцать тысяч дубов в Венсенском лесу. Можно было возразить, что не в единственном же числе действовал упомянутый заболонник, с другой же стороны, Александр Яковлевич и сам сознавал свою множественность... Неожиданно он смягчился, поворчал, простил.

— Ничего, я не сержусь... Дети всегда бросались грудью на шипы истории, не осведомленные о подобных попытках в прошлом. Они думают, что Наполеон — это пирожное, а Галифе — кавалерийские штаны... но тебе-то, Иван, следовало бы вступиться за своего старого, проверенного друга. Ладно, ничего... кстати, насчет австралийца подумай и во всяком случае навести под Новый год!

Ему пришло в голову, что напрасно понадеялся на вихровскую сговорчивость: выгодней было под любым предлогом затащить Вихрова к себе, в случае его прихода уведомив австралийца по телефону и придав этой встрече оттенок случайности. Порванную бомбежкой связь в Бла-

говещенском тупике восстановили уже к концу следующих суток.

...В тот вечер брат и сестра, как всегда, высидели положенное время перед сном в беседе о вещах, понятных обоим с полуслова.

— Вот мы и опять одинокие с тобой, сестра, как в Пашутине. Будто и не было ничего. И расходу меньше, таким образом.

— Война любит молоденьких... Чего *он* прибегал-то к тебе?

— Так... Нет, не гожусь я для великих битв, Таисия.

— Есть кому и без тебя нынче за лес-то драться, Иваша.

— Верно, подросли... К весне, как сгонят немца с Енги́, поедем-ка мы на бывалошние наши места, сперва на побывку, а там... Слышу, зовет меня *старик:* соскучился!

— Там хорошо, дожить бы только, Иваша! — и вдруг заплакала так по-детски безнадежно, что у брата перевернулось на душе.— Казни ты меня, Иваша... побоялась я даве при Сереженьке-то виниться... Ведь я все карточки наши пайковые невесть где посеяла...

Известие грозило значительными последствиями.

— Может, украли у тебя? — спросил, чтоб облегчить вину сестры.

— Чего ж людей зря марать: сама. В тряпицу было завернуто... и талончик на дрова там же находился. Всю улицу на коленках изрыла, не видать на снегу-то!..

Горю ее не было конца: на короткое время ответственность за жизнь брата заслонила перед ней даже разлуку с Сережей. Тогда Иван Матвеич усадил сестру и принялся разъяснять ей некоторые спорные проблемы питания, со ссылками на излишнюю калорийность принимаемой горожанами пищи, на гигиеническое значение воздержания, в особенности — древнерусских постов, позволявших иным подвижникам с помощью заплесневелого сухаря и горстки ключевой воды в сутки достигать титанического подъема духа и даже чрезмерного порой долголетия.

Он говорил, пока Таиска не заснула. Оба не предполагали в ту ночь, что косвенным образом утрата продовольственных карточек повлечет в конце месяца кое-какие новые любопытнейшие открытия.

7

Ребята вернулись в клуб к самому концу митинга. Тесноватый спортивный зал был набит доотказа; все депо побывало здесь, на проводах своего коллективного детища, и когда одним подступал срок возвращаться в смену, их места тотчас же занимали толпившиеся у дверей. За столом президиума под кумачовым напутственным лозунгом с ноябрьского парада сидели важные, несколько разомлевшие от жары путейские, артиллерийские и танковые начальники, также гости из местного коммунистического батальона, уходившего в Подмосковье днем позже, а с краю, во втором ряду, издали узнавался по усам старший машинист Титов. Пока проталкивались сторонкой на трибуну, он погрозил ребятам отеческим перстом, но Коля Лавцов тотчас разъяснил ему жестами, что при всем желании они не могли быстрее выполнить свое предприятие. За недостатком места пришлось пристроиться на сдвинутых в угол спортивных аппаратах, сплошь облепленных подростками.

— А ну, грачи, окажите уважение старикам,— солидно бросил Коля Лавцов, и тё с почтительной завистью потеснились для героев дня, чьи портреты красовались рядом, в стенной газете.

Вслед за выступлением представителя из Московского комитета партии Морщихин стал отвечать на поданные записки; все они были на ту же тему — о международной политике. Уверенность в победе позволяла оратору говорить о текущих событиях как о прошлом, словно читал страничку истории, написанную век спустя. Смысл его речи состоял в том, что вот старому миру понадобилось еще раз испытать идейную и материальную зрелость своего противника. Для этой цели нужно было подыскать надежный и воинственный организм, который не жаль было бы подставить под опасные кулаки советского исполина. В Европе нашлась такая страна, Германия, потрясенная прежними военными неудачами и убежденная своей буржуазией, что внутренние экономические затруднения легче всего разрешать за счет соседей, через утоление националистической алчности. Старому миру не составило труда рядом поблажек и коварных отступлений раздуть неумную дерзость подвернувшегося горлана до

маньякальной мечты о мировой империи. Таким образом, по мнению Морщихина, начатая в том году война представляла собой, может быть, последнюю разведку боем, последнюю перед той решительной схваткой, о которой поминается в старом революционном гимне. «И все же,— говорил он,— простые люди всегда верили, что удастся отдалить это бесполезное кровопролитие, что когда-нибудь наглядные преимущества социалистического строя обеспечат бескровный переход народов на сторону вечного мира!»

Люстра под потолком горела в полнакала, но бросалось в глаза что-то существенно новое в этих будничных сумерках, в спокойном затишьи зала, в готовности этих граждан отныне и до победы сделать войну единственным делом жизни. Враг уже утратил для них ту мнимую цепенящую грозность, какую всегда внушали небывалое злодейство или еще не описанное чудовище; за полгода советские люди повидали его и мертвым, и с поднятыми руками, и плачущим навзрыд. Морщихин обладал редким даром убеждения, но не потому так жарко откликались простые люди на его призыв к *бескорыстному* подвигу, а потому, что от коллективного их успеха зависела и личная гражданская награда каждого из них. «Так вот как решается вопрос!» — вспомнил Сережа свой незаконченный спор о социалистическом бескорыстии.

В связи с этим впечатленьем он и передал Морщихину, по дороге в депо, подробности своей стычки с Грацианским. Тот никак не откликнулся на рассказ, только черпанул мимоходом горстку снега с заборчика и стиснул в голой, без варежки, ладони. Метель кончилась, последние искорки порхали в воздухе и приятно после духоты митинга покалывали лицо.

Четверо шли по середине улицы, прямо по целине.

— Эх, не стал я давеча позорить тебя, Серега! — посмеялся Коля Лавцов.— Нет, не хлебнул ты еще паровозной копоти, все тебе в диковину. Подумаешь, страсть какая: пассажир в собачьем ящике! Да я, когда беспризорничал, почитай пол-России этим манером искатал. Купе как купе, только шестого класса, весь мокрый лежишь от теплыни... одна беда: окошка не положено на местность полюбоваться! Мне и похлестче доводилось повидать. На третьей, что ли, ездке, как выдержал я

экзамен на помощника, не упомню, паровоздушный насос у меня забарахлил. Вылез я на площадку паровоза с левого крыла стукнуть ручником, глянул вниз, и дух во мне остановился: сидит у меня цыган на метельнике... ну, знаешь, такая предохранительная решетка впереди! Не старый еще, так годов сорока, в шляпе и, промежду прочим, серьга в ухе...

— Куда же он пятками-то упирался? — при всей своей бывалости во всяких приключениях усомнился машинист Титов.

— В том-то и дело: видать, корысть его поддёрживала... и, главное, еще с жеребеночком, чорт! Ноги ему спутлял, пристроил на коленях, да и катит себе без билета...

— Как же ты серьгу-то под шляпой разглядел? — подозревая розыгрыш, покосился и Сережа.

— А я с него головной-то убор палочкой сверху сковырнул... посмотреть, что за удалец такой. Конечно, сражаться ему со мной в таком положении затруднительно, но, помнится, очень он меня всякими такими словами обкладывал, честное комсомольское!

Было поздно, все спало вокруг, но вот луна перебежала в промыве облаков, синяя светлынь ненадолго разлилась над приземистыми постройками окраины, и все разом, каждый по-своему, подумали о хрупкости человеческих жилищ, несоразмерной безумию современной войны.

— А это верно, иной раз бесшабашные попадаются,— подтвердил машинист Титов, и Сережа понял, что при всей его внушительности душа в Титове, может быть, втрое моложе и наивней, чем в нем самом.— Со мной случилось... вскоре после того, как началась эта самая тысяча и одна ночь, война, одним словом. Шел я как-то с полным весом из-под Риги... местность кругом разоренная, да зато хоть ночка глухая: женских-то слез да головешек, по крайности, не видать. Впотьмах шли... Тут мой малый, вот вроде Лавцова, и видит в своем окошке, будто ноги чужие сверху, с нашей будки свесились. Он ко мне: «Обратите внимание,— говорит,— Тимофей Степаныч: посторонние ноги в сапогах». И голос дрожит, потому как с непривычки еще, не обкатался. Удостоверился я, правда: в сапогах ноги. «Спроси,— отвечаю,— что за экстренная лич-

ность такая, куда и за каким делом направляется». Ну, высунулся мой паренек, велит слезать, поскольку тому, как недолжностному лицу, ездить на будке не положено, а тот заместо ответа посылает его полностью на все эти самые буквы. «Тимофей Степаныч,— докладает он мне тогда,— личность ведет себя крайне вызывающе. Как теперь поступать будем?» Обсудили мы это дело да, хорошо под рукой нашлась, ноги ему проволокой к стойке и примотали, а уж на станции милиция оказала нам содействие... при мне же начерно и допрашивали его, что за гусь. Больным сказался, а какой там больной; при нем деньги крупные, тысячи четыре, и воинских удостоверений разных тридцать восемь штук. Он убитых наших офицеров на поле боя обирал... и полушубочек на нем тоже краденый, с дырочкой на животе... Потом, по расследовании, очень такой интересный господин оказался.

— Не понимаю,— после паузы спросил Сережа,— чего же он после первого оклика не сбежал?

— А кто его знает,— сказал машинист Титов,— может, надоело ему от судьбицы-то бегать... вот и огрызнулся: застращать ее хотел.

Титовская догадка показалась неубедительной, и все посмотрели на Морщихина в ожидании его решающего слова. С полминуты он молчал, что можно было приписать и усталости после митинга.

— Видишь ли, Сережа,— заговорил он вдруг,— слыхал я, будто в некоторых опасных профессиях неизбежно наступает период сбоя, что ли... словом, когда резьба снашивается и гайки не держит. Допускаю, что из постоянного страха перед будущим может зародиться и потребность вызвать его на схватку, искушение подразнить, ускорить его наступленье, преждевременно преодолеть еще несуществующую опасность, чтобы обеспечить хоть крохотную передышку впереди... Говорят, чем-то подобным заболевают равнинные люди в горных высотах: тянет их в пропасти! — Он помолчал и вдруг, что в особенности поразило Сережу, без всякой внешней связи с предыдущим спросил, чем же закончилась его дискуссия с Грацианским.

...Они достигли территории депо. Наступившее после снегопада девственное затишье скрадывало все звуки ночи. Потом воздух шевельнулся, и послышался прерывистый

раскат, как если бы передвигали нечто громоздкое и далекое, однако гораздо ближе, чем все они представляли себе час назад. То был пробившийся в Москву фронтовой отголосок артиллерийской канонады, напоминанье о войне... и тотчас же что-то новое появилось в отношениях между этими людьми. Комиссар отправился на телефон в партком, машинист же повел помощников к бронепоезду, белевшему в снежной маскировке на путях.

Им пришлось пройти по сугробистой тропке вдоль всего состава. Заканчивались последние приготовления к отправке, никто не спал в ту ночь, и одни колдовали у зенитных пулеметов, другие проверяли поворотные механизмы башен. Знобящим холодом веяло от необжитых вагонов и бронированных платформ, но по мере заселения людьми все больше человеческим теплом прогревалась озябшая на морозе сталь. Конец бронепоезда загибался за мастерские, и ребята улучили минутку заскочить в прицепленный с хвоста вагон-клуб — деповский подарок отъезжающим. Он помещался в обыкновенном, со снятыми перегородками пассажирском вагоне; несколько человек в полупотемках, при свече, осваивали несложный инвентарь солдатских развлечений.

— А, машинисты!.. дверь закрывайте, а то электричество наше погасите,— приветствовал Сережу артиллерист Самохин, прикрывая ладонью свечу на столе.— Чего не везетё, чего у вас там не ладится?

Сережа пошутил в тон ему, что сейчас, дескать, колеса наточим поострей и поедем, и все засмеялись, кроме двух, стучавших по столу плашками домино... Спускаясь с подножки, поотставший от своего товарища Сережа едва не опрокинул командира, проходившего вместе с Морщихиным.

— Почему ты не на месте, товарищ Вихров? — сухо спросил Морщихин.— Был или не был приказ вашей бригаде не отлучаться с паровоза? Плохо начинаешь свою службу.

— Виноват, товарищ комиссар,— вытягиваясь, с мальчишеской благодарностью за проявленную к нему строгость отвечал Сережа и пустился догонять ускользнувшего по темноте дружка.

...На рассвете подняли пар. Синяя мгла еще держалась в тени строений и в складках наметенного снега. Рабочие,

в чем были, вышли из цехов проводить товарищей. Донеслось рокотанье самолета, и все озабоченно посмотрели на размытые утренние дымы Москвы: по счастью, это был свой. Представитель от штаба округа поздравил команду с зачислением в бронедивизион, ответное ура слилось с криком паровоза; голос его был совсем не страшен и не очень хорош, но не песни же ему предстояло на фронте распевать!

Бронепоезд стал медленно отходить, и Сережа на всю жизнь запомнил мелькнувшее в толпе лицо отца, кинооператора на железной бочке и, наконец, сутулую фигуру экзаминатора своего, старого Маркелыча. Старик бежал по целине вдоль пути, поминутно оступаясь, взмахивая левой рукой, а правую вытянув в направлении уходящего состава, точно за буфер ухватиться хотел, словно молодость свою боевую догонял.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

Подобно большинству своих сверстников, Сережа был воспитан в презрении ко всякой моральной нечистоте, извлекающей барыш из несчастий ближнего; комсомольскую доблесть он полагал в готовности безраздельно отдать себя социалистической родине. Кроме того, он в совершенстве освоил врученное ему оружие и правильно понимал долг бойца как искусство наносить — и самому безжалобно принимать неотвратимые удары... словом, казалось бы, владел всем необходимым для скорой победы. Но оттого ли, что старый мир пока не замечал его, не отнимал лично у Сережи ни жизни, ни здоровья, ни детей, ни радостей, ни труда его, оттого ли, что о низостях фашизма знал главным образом из газет да понаслышке, а комсомол и добрая женщина Таиска тщательно оберегали его от всего скверного, способного отемнить ему светлую веру в жизнь, он и не обладал пока тем самозабвенным, сверх устава, воинским вдохновеньем, чем в конечном итоге начиняются снаряды и заправляются бензобаки в большой современной войне.

Верилось почему-то, что до фронта доберутся не раньше недели и он еще успеет если не закалиться, то подкопить в себе это *главное*. Однако, двигаясь рокадными дорогами на юг и несмотря на частые задержки в пути, они прибыли на место в середине следующего дня. Уже слегка порозовевшие рельсы привели бронепоезд в невзрачный, но волшебно-промороженный лесок, всего в полукилометре от разбитой станции с горелыми постройками по сторонам. Люди высыпали наружу и кучками топтались на снегу, греясь и знакомясь с еще непривычной фронтовой обстановкой. Отбитая всего неделю назад, местность носила отпечаток жестокой схватки, но, видно, для того, чтоб не пугались желанные гости до срока, все кругом — и обугленные стропила, и накренившиеся столбы с мочалками порванных проводов, и самые деревья, исхлестанные артиллерийской бурей,— все это было принаряжено сейчас с возможным великолепием солнечного заката и хорошо установившейся зимы. Вместо ожидаемого грохота боя Сережа заставал тут хрупкую хвойную тишину, нарушаемую лишь частой отдышкой паровоза.

Сразу забегали пехотные связисты, и вскоре из телефонных переговоров выяснилось, что попозже, к вечерку, сам командующий армией навестит бронепоезд. Надо думать, если не по прямому совету, то, во всяком случае, с ведома высокого начальства, ограниченному количеству желающих было разрешено посетить соседний населенный пункт, целых полтора месяца пробывший в руках неприятеля. Пятеро желающих отправились по нарядной, такой пушистой от инея просеке, очень довольные случаем поразмяться, побеседовать с жителями и утолить естественное любопытство к тем загадочным следам, что остаются на берегу от чужого, только что отхлынувшего моря; по просьбе машиниста Титова Сережа захватил с собой бутылку в расчете прикупить для него молока на деревне.

Итти было недалеко и после долгой качки на паровозе удивительно приятно. Тешили переливы предзакатных красок на рассыпчатом снегу, бодрил обжигающий розовый воздух с непонятным фиалковым запахом... да тут еще на редкость уютный овражек попался по дороге, и едва в него спустились, Коля Лавцов в приливе неуместного озорства спихнул с тропки своего приятеля, с головой зарывшегося в снег. Сережа не успел ответить тем

же: пока выбрался, отряхнулся, догнал, остальные уже успели подняться на бугор. Перед ними открылась бескрайняя среднерусская равнина, вся сверкавшая той же пасхально-праздничной глазурью. И опять, кроме черных артиллерийских промоин в снегу да расколотого пополам элеватора вдалеке, не было там никаких напоминаний о войне. Лишь время от времени беззвучные кружевца вспыхивали на черте горизонта и плыли, обозначая местоположение таинственной *передовой.*

— Вот она, матушка... ой, сильна! — сказал со вздохом артиллерист Самохин, имея в виду свою Россию, и потом уже молча все пятеро из протоптанной по пояс траншейки любовались на эту немеркнущую, как бы чуть простреленную красоту.

Оттуда было рукой подать до соседнего, когда-то богатейшего села, живописно раскинутого на взгорьи. Собственно теперь оно лишь подразумевалось, но еще можно было сверху угадать по развалинам, где находилась каменная колхозная конеферма и где там плясали девушки на первомайских гулянках. В дальнем конце села, у колодца с уцелевшим журавлем, суетились какие-то солдаты, не больше взвода. Видимо, они разбирали сруб на топливо, что представлялось странным при наличии обильных запасов лесного бурелома поблизости, и аккуратно складывали в рядок продолговатые чурки; уже тогда резнуло глаз Сереже, что сруба при этом не убавлялось... Было бы бессовестно теперь не подойти, не потолковать для взаимного поднятия духа, не угостить земляков московским табачком. Без сговора пятеро отправились напрямки сквозь кустарничек и, спустясь, двинулись по главной улочке села, которую родина тоже заблаговременно припорошила легким снежком, чтобы не омрачать встречи друзей.

Никто не ответил на приветствие приезжих, но объяснялось это не зазнайством хмурых бывалых людей перед веселыми, с иголочки одетыми новичками, а скорее спешкой и характером их работы.

Иные были в одних гимнастерках, да и те слегка дымились паром на морозе, потому что колодец был глубок, а приказ гласил закончить дело до темна. Саперы доставали из-под земли расстрелянных местных жителей, поскиданных в сруб неприятелем при отходе; судя по

известной сноровке, они трудились там не первый час и в том напряженном, нечеловеческом молчаньи, с каким, верно, разряжают мины замедленного действия. На протяжении скольких-то, но многих, не сосчитанных Сережей шагов, голова к голове и все немножко на бочок, лежала их страшная находка, старые и малые, все теперь на одно лицо, родня по могиле. Только со стиснутыми зубами и с обнаженной головой можно было смотреть на это помрачительное зрелище... потрясали в нем даже не причудливые, прихваченные морозом позы мертвецов, порой сцепившихся в закоченелом объятьи, так что приходилось разнимать, не эти раскрытые в предсмертном удивленьи глаза матерей или нагота малюток, покрытых лиловатым пушком инея и с какой-то старческой мудростью в прямых прорезях губ, а именно суровое, деловитое спокойствие этих рядовых советских солдат, в котором они до поры сберегали свою ярость, как в ножнах.

— А ну, посторонись для папаши, сынок...— сказал оцепеневшему Сереже один рябой сапер, принимая из колодца на свои руки стылого старичка с зажатой в кулаке немецкой пилоткой.

Его уложили рядом, надо полагать с его же хозяйкой, и за неимением ничего другого под рукой набросили пригоршню снежка на их слишком уж запоминающиеся лица.

Единственный из всех артиллерист Самохин нашел в себе мужество заглянуть в глубь колодца.

— Тяжелая вам, братцы мои, досталась работа... Этак и рассудок немудрено повредить. Преступление какое, а?.. сухими-то глазами и смотреть больно!..— сочувственно произнес он, снимая шапку, и следом все остальные обнажили головы.— Сколько же *их* там?

— Ничего, к ночи-то, бог даст, управимся, с утра хоронить зачнем,— невпопад, столь же негромко откликнулся старший, видимо сапер.— Главное, товарищу-то нашему *там,* внизу, негде развернуться в теснотище... а ведь смерзлися они все.

Тут Самохин достал пачку дорогих московских папиросок и сам, по одной, рассовал в солдатские рты. Стояло полное безветрие, спички хватило на всех.

— С чего ж это *им* в разум-то такое пришло, жителей-то убивать... ради забавы, что ли? — непослушным языком осведомился Коля Лавцов.

— Да ведь трудно сказать... не иначе, как для нашего устрашения. Мы, дескать, такое можем, на что у вас, советских, и духу не хватит. Да оно и впрямь жутковато вроде,— в степенном раздумьи отвечал рябой солдат, косясь глазом на лежавших.— А может, так, из любознательности, что́ получится. После́ чего напишут научное сочинение в шести томах. Они ведь дотошные...

Сосед его лишь головой покачал, жадно втягивая пьяный дымок.

— Заметьте, нижних-то живьем они туда совали. Только верхних из автомата покропили... заместо пробки, значит.

— Чего ж они так, на патроны поскупились, что ли... для всех-то? — спросил Сережа Вихров, весь дрожа.

— Надо так понимать, ради экономии боеприпасов. Интереснейшие деятели... Ничего, придет свое время, поближе их пообследуем!

Четвертый в ряду, некурящий и постарше, отер рукавом заросшее лицо.

— Осподи, до чего ж это докатился шар земной! — И щурко посмотрел вверх на лазоревые, вроде с подпалинками теперь, небеса.

В голосе его звучало бесстрастие мыслителя, созерцающего несовершенство человеческого общежития, и Сережа подумал, что вот именно эти, не искушенные книжной мудростью разнорабочие нового гуманизма имеют право судить земную цивилизацию с ее лигами наций — или как они там называются? — с ее академиями, королевскими и прочими обществами почтеннейших наук, с ее лживыми библиями братства, с ее благообразными и лукавыми деятелями западного добротолюбия, судить и вершить свой справедливый суд, и будь бог на свете, он благословил бы их на этот священный подвиг. Сережа подумал также, что эту сорванную с убийцы пилотку следовало бы швырнуть на алтарь современной культуры, и прикинул в уме, на какие еще подлецкие дела, с возрастаньем технической мощи, может пуститься размахавшееся злодейство, если своевременно, любой кровью не унять его. Мутился разум, и тошнота подступала к горлу, но он заставлял себя еще и еще глядеть и запоминать, как возвращались из-под земли эти, чтоб завтра снова уйти в землю же, мирные безоружные земледельцы...

И вот *оно* росло, чувство гнева в сережиной душе, множилось, созревало в нем, то самое, чего нельзя достигнуть только киданием учебных гранат или затверживанием уроков об экономике капитализма!

Вся прогулка заняла не больше двух часов, так что не слишком утомились, однако возвращались молча, нога глубже вдавливалась в снег, как бы от дополнительного груза. Успели без запоздания встать в шеренгу; вскоре подъехал командующий армией, оказавшийся в том же районе. После командирского рапорта он вместе с помощником из артиллерийского штаба облазил бронепоезд и обошел строй прибывшего пополнения, по отдельности вглядываясь в каждую пару глаз. В кратчайшей беседе затем он поздравил людей со вступлением в состав действующей армии, выразил удовлетворение их боевым видом и, надо думать, не только из педагогических целей похвалил за отменное состояние материальной части... Сережа ждал, что он поговорит и о страшном колодце в бывшем населенном пункте, но, значит, генералу не хотелось своими рассказами ослаблять и без того неизгладимые впечатления команды. Тут же сам он и вызвался познакомить пополнение с фронтовой обстановкой; приказав своей автомашине дожидаться его в дивизии, он перешел в будку машиниста, и они поехали туда, где пунктиром дымков обозначалась передовая. По его указанию был произведен успешный налет на мостишко, только что восстановленный немецкими саперами, при возвращении же сами попали под шестиствольный миномет: так состоялось боевое крещенье. На стоянку вернулись в сумерках: краски гасли, примораживало. Что-то с тяжким свистом пронеслось над головой; гул прокатился, и лесок дрогнул, роняя свое убранство...

Ночь прошла без приключений, но и без сна. Утром над стоянкой покружил было вражеский разведчик, но бронепоезд уже выходил на выполненье первого боевого заданья. Начиналась его фронтовая жизнь. Он охранял станции при разгрузке воинских эшелонов, патрулировал перегоны особого стратегического значения, и даже при сравнительно ограниченных возможностях бронепоезда в современной войне одно появление его в нужную минутку,— самый лязг приближающейся тяжести с ее огневой щетиной удваивал боевой дух пехоты.

В первую же неделю довелось дважды ходить в огневые налеты на *передок* — передний край обороны, бить по живой мишени и самим слышать осколочный стук по броне, щекотный, как по собственной коже. Труднее привыкали к воздушным атакам, к содроганьям от пятисоток, грозивших свалить все их железо под откос, но и это со временем вошло в привычку... и вот уже боевые вмятины украсили поворотные башни, а пулеметным огнем посмыло боевые плакаты с бортов паровоза, как ни подклеивал из упорства Коля Лавцов драгоценные остававшиеся клочки. Уже не вернулась однажды из разведки автодрезина *Смерть фашизму,* и когда Морщихин под знаменем, в торжественном строю принимал посмертные ордена погибшим, Сережа впервые испытал озноб солдатской гордости за своих товарищей... На исходе второй недели шальным снарядом вышибло с тендера самохинскую сорокопятку, которую он по склонности к крепостной артиллерии снисходительно именовал *комариной смертью,* а через час после того прямое попадание стальной болванки порвало бортовую броню паровоза и лоскут ее вдавило в пробоину. Бронепоезд отвели на ремонт, и тут както на досуге Сережа продолжил с Морщихиным прерванный в ночь отправки разговор.

...Произошло это поздно вечером, при возвращении из столовой. То был тихий, затерянный в снегах тыловой городок, почти не изведавший бомбежек из-за отсутствия в нем приманок для вражеской авиации, если не считать железнодорожных ремонтных мастерских, где и стоял в починке бронепоезд. Торопясь на ночную работу, Сережа собрался обогнать человека впереди и шагнул со стежки в целину; его окликнули по имени.

— Это я, не беги, поспеешь,— простуженным голосом сказал Морщихин.— Давно мы с тобой не беседовали... Ну, как настроенье, машинист?

Город был знаменит вековыми раскидистыми осокорями, и такая мгла в тот вечер стояла под ними, что Сережа признал начальника скорее по голосу, чем по лицу или росту. Насколько это было возможно из-за сугробов, наметенных за две предыдущих вьюжных ночи, они пошли рядом.

— Настроенье мое в самый раз, подходящее к переживаемому моменту, товарищ комиссар.

— Что нового надумал насчет красоты?.. отрицаешь попрежнему или великодушно примиряешься с нею понемножку?.. А может, оно и хорошо, что полыхают музеи и рушится всемирная старина вместе с поселившимися в ней клопами... так, что ли?

Иронический оттенок в тоне начальника давал Сереже право неофициального обращения; он сознательно не воспользовался им.

— Я имел время подумать, товарищ комиссар,— суховато, для того же мальчишеского блеска, отвечал Сережа,— и вполне согласен, что выкурить насекомых из щелей обойдется человечеству дешевле, чем строить все заново, на голом месте... однако же все равно полагаю, с вашего разрешения, что с изменением общественных целей неминуемо будет меняться и понятие о красоте. Когда-нибудь доберемся и до высших кривых, а пока я вижу ее в достижении нашей победы с наименьшей затратой усилий...

— Так... следовательно, опять геометрия?.. значит, напрямки? — дружески поддразнил Морщихин.

— Никак нет,— и знакомая Морщихину пружинка зазвенела в мальчишеском голосе.— Красоту я понимаю как наиболее совершенную, то есть экономную, форму организации материи, а грацию — как способность произвести разумное движение с наименьшей затратой усилий.

Но опять, как в тот раз, в музее перед Афродитой, Сереже не удалось потрясти своего наставника.

— Видать, перекормил тебя Спенсером родитель твой. Очень уважаю этого одержимого, хоть несколько и покладистого в отношении личных неудобств старика... Кстати, как он там?.. я слышал, ты получил письмо от него?

— Даже два, товарищ комиссар... второе через комсомольского секретаря,— с прежней игрой сообщил Сережа.— Все в порядке: Москва стоит на прежнем месте, в депо приступают к постройке второго бронепоезда... Кроме того, отец пишет, что работается ему, как никогда. Торопится, да и помех стало меньше...

— Меньше налетов стало на Москву? — незначащим тоном спросил Морщихин.

Тот сделал вид, что не расслышал.

— Мне теперь влево, товарищ комиссар. Разрешите повернуть: я спешу в депо...

Тогда Морщихин взял его под руку и повел по боковой улице, в другую сторону. Слово за слово он рассказал Сереже о своем посещении Грацианского, о скользкой беседе с ним и в заключение о совсем уж, казалось бы, неоправданном испуге своего собеседника.

— Видишь ли, Сергей... не вдаваясь в существо вполне законной полемики в таком запутанном деле, как лес... мне не очень нравится и вообще непонятен самый характер ее,— начал он с частыми паузами, как бы приглашая и спутника к свободному обсуждению, но тот упрямо молчал.— Например: почему, сознавая свою несомненную правоту, все двадцать пять лет отмалчивался Иван Матвеич?.. или кто давал право Грацианскому на острейшие политические обвинения, какие могут быть предъявлены лишь соответствующими статьями советских законов... да и то после обстоятельного исследования?.. или почему Грацианский зачислил Вихрова в личные враги и какой ему смысл был валить своего, более сведущего в лесных делах товарища? Мне попалась одна его статья... она, как снайперский выстрел из-за угла, с тем преимуществом, однако, что не оставляет дырки в жертве. И вот сегодня я подобрал сброшенную с вражеского самолета подлую прокламацию, где враг призывает предателей кидать сахар в бензобаки. Заметь, не яд, не кислоту, не взрывчатку, а самый безобидный, даже *сладкий* продукт... потому что таким способом можно вывести из строя махину в тысячу лошадиных сил. Люблю шахматные задачи и непременно займусь разгадкой этого дельца когда-нибудь на досуге... Но что сам ты думаешь о Грацианском?

— Отпустите меня, товарищ комиссар,— весь дрожа, попросился Сережа.— Я опаздываю на работу, и Тимофей Степаныч, мой начальник, разворчится теперь до утра.

— Ничего, можешь сослаться на меня: это важнее... Так почему же, однако, ты молчишь?

— Я довожусь родней Вихрову, а домыслы родственного лица не могут считаться достоверными показаньями. Итак, я ничего не знаю об этом человеке.

— Я спрашиваю тебя, комсомолец, почему ты молчишь? — построже спросил Морщихин, остановясь и положив ему руку на плечо.

— Я не могу, Павел Андреич...— задыхаясь и косясь на часы, мерцавшие подобно звезде под морщихинским рукавом, сказал Сережа.— Вы сами знаете, от меня же самого, по счастью, кто я... так что мне еще самому надо кровью заработать право даже на этот разговор.

— Все не можешь забыть своего столкновенья с Грацианским накануне отъезда? Глубоко он тебя в тот раз поранил!

— Этих вещей не забывают до могилы — чьей-нибудь из двух, товарищ комиссар.

Морщихин помолчал; лишь теперь начинал он понимать, какой силы яд, хоть и не уловимый никакими регистрирующими аппаратами, был узаконенным способом влит в этого мальчика, казалось бы, уже не имевшего никаких связей со вчерашним днем.

— Успокойся, Сережа. Да, я знаю, кто ты... и, кроме того, ты мой младший брат. Пойдем в укромный уголок, и ты доверишь мне свои мысли.

— Но правда же, я и сам о нем еще не додумал до конца...— из последних сил сопротивлялся Сережа.

— Вот мне как раз и интересны начала твоих мыслей. Когда явление нельзя положить на весы или прокалить в колбе, его изучают по его месту среди подобных или по воздействию на окружающую среду. Так были открыты галлий и Нептун. Мне кажется, что я тоже накануне большого открытия, и ты мог бы помочь мне в этом. Давай руку, и пошли...

Невдалеке зачернели станционные постройки с расцепленным составом на запасном пути. Товарищи поднялись было в клуб, но там происходила музыкальная репетиция. В соседнем вагоне, присев вкруг ящика, ребята лихо дулись в *буру;* и Морщихин в тот вечер не обратил на них внимания, хотя азартные карточные игры были настрого запрещены его же приказом по бронепоезду. Наконец удалось устроиться на нарах в крайней теплушке, и тут, в полной темноте, не сводя глаз со светящегося циферблата морщихинских часов, Сережа поделился с комиссаром теми, как правило ускользающими от общественного внимания, житейскими в отношении Грацианского мелочами, о которых наслышался за много лет в семье. Он говорил, а сам непроизвольно следил за певцом в соседней теплушке, выводившим вполголоса под

гармонь старинную, незнакомую ему, пророчески запомнившуюся песню:

Знаю, ворон, твой обычай,
Что сейчас от мертвых тел
И с кровавою добычей
К нам в деревню прилетел.
Ты куда спешишь под вечер,
Над моим кружишь крыльцом?
И кому принес из сечи
Руку белую с кольцом?

Было странно, что Морщихина вовсе не трогает заключенная в этой песне гложущая тоска какой-то настигающей неизбежности. Изредка он прерывал своего собеседника вопросами, причем ясно становилось, что за истекшее время Морщихин, со своей стороны, также успел ознакомиться с некоторыми обстоятельствами, вовсе неизвестными Сереже. Если бы к этим показаниям приложить все то, что было известно о Грацианском Поле, могло получиться любопытнейшее обвинительное заключение, к несчастью — без единой вещественной улики.

2

Та же река донесла Полю вместе с ее госпитальным табором до покинутой прифронтовой деревушки. Ночные леса шумели кругом, и Поля не узнала своих Пустоше́й, по ту сторону которых протекло ее детство, струилась Енга́, раскинулся разбойным лагерем старый мир, и в одинокой неизвестности томилась мама. В начисто разоренном краю едва нашелся один, покинутый населением, пункт с двумя десятками неповрежденных строений; полины подруги, помнившие осеннее отступление, утверждали, что эти промерзлые избенки несравнимо лучше шалашей, замаскированных еловыми ветками поверх плащ-палаток и разбитых на мокрой земле. Во исполнение приказа успели за двое суток выскрести полы, сколотить одноярусные нары, обтянуть закопченные стены простынями, даже навесить на окнах нарядные, крашенные риванолем занавески. По наблюдениям старшей медсестры Марьи Васильевны, в иных условиях становится лекарством и скромная походная красота.

В полночь на следующие сутки прибыла первая партия раненых. Эшелон разгружался впотьмах, без единого окрика или стона, возможно, чтоб не привлекать внимания войны, дремавшей поблизости; до рассвета все были в поту и на ногах, а Полю сверх того мучили тошнота, сознание неопытности своей и жалость. Ее потрясла в ту ночь нередко ускользающая от летописцев изнанка подвига: запах запущенных ран, разнообразие человеческих страданий и героическое спокойствие хирургов, а прежде всего кроткая солдатская благодарность за самую мимоходную ласку. Тут открылось, что руки у Поли точней и бережней, чем у многих, и — лучше других умела она придать такое положение простреленному телу, чтоб можно было ненадолго забыть о нем; и всегда у ней находился в запасе забавный случай, свежая радионовость, слово участия, которым как бы принимала на себя частицу чужой боли. Ей быстро далось чувство старшинства перед этими заросшими бородищей чернорабочими войны... однако так и не овладела до конца спасительным бесстрастием, к чему, казалось бы, невольно приучает белый халат. Именно это открывшееся у Поли качество ускорило ее перевод в палату *тяжелого профиля,* на языке врачей, где лежали наиболее безнадежные и беспамятные.

Сам Струнников привел ее туда, вместе с ней постоял в приножьи у каждого и объяснил полину обязанность всемерно тащить *их* из черной ямы, пока не будут в состоянии стучать костяшками домино; стариковское волнение, наверно воспоминание о погибшем сыне, заставило его прибавить, что этим людям еще предстоит после победы достраивать материальную базу коммунизма. Поля с жаром взялась за работу, и первое время Марья Васильевна не могла нахвалиться ею. Суровая до сухости и с властным характером хозяйки, эта женщина привязалась к Поле за ее опрятность и выносливость и еще за цвет волос, схожий овал лица, безоблачность полина взгляда. Из свидетельских показаний при расследовании одного несчастного случая выяснилось впоследствии, что эта женщина часто тосковала по единственной дочке как раз полина возраста, погибшей в годы незадолго перед войной,— что заочно Марья Васильевна винила какую-то акушерку якобы за медицинский недосмотр,— что в армию пошла добровольно и вынесла из огня добрый деся-

ток солдат, пока не попала на более спокойную работу в струнниковский госпиталь; к слову, и сама еще прихрамывала после раненья.

Благодаря дремучей толще Пустошей, стоявших там непроходным заслоном, не было, пожалуй, более безопасного места во всей войне. Лишь изредка из глубоких тылов через голову начинала бить корпусная немецкая артиллерия с незамедлительным откликом нашей стороны, да однажды за все время случился воздушный поединок. Четыре самолета, сцепленные невидимой ниткой, кружили в рябеньком таком небе, сверкали плоскостями... и весь госпиталь с крылец или из окон следил за ходом боя, пока один, с черным крестом, не обратился в бегство, а другой, наш, прочертил дымом падающую кривую, обычную при летальном исходе... Пока стояло затишье, Марья Васильевна делилась с Полей первичными навыками профессии, в расчете сделать из нее образцовую медицинскую сестру того уровня, когда и это второстепенное, казалось бы, ремесло становится высоким искусством. Теперь Поля с чистой совестью ела честный советский хлеб, положенный ей по четвертому расписанию; болезнь сомнения прошла почти бесследно, но крохотная щербинка, как от кори, навсегда осталась на душе. Так узнала она, наконец, блаженную, без сновидений, усталость, самую необходимую приправу к счастью, и благородную радость мастера при виде неуверенной улыбки, с какой, по ее приметам, начинается солдатское выздоровление... но это длилось недолго.

Марья Васильевна сразу заметила перемену в полином поведеньи: не то, чтоб поостыла, а вдруг пропала в девушке веселость, за которую словно солнечный луч встречали ее в палатах. Чем больше гнева за людские муки копилось в Поле, тем сильней тянуло отдать себя всю на их преодоление; чем больше читала про девушек-снайперов, пилотов, сандружинниц, ходивших с пехотой в атаку, тем глубже убеждалась, что тысячью материнских уловок великая река снова укрыла ее в тихой заводи... В то же время странное чутье, происходившее от близости территории их совместного детства, подсказывало Поле, что совсем недалеко находился и Родион — стоило лишь позвать на зорьке, чтоб он услышал ее голос! То была бескорыстная тяга разделить с ним опасность,

потому что, казалось, никто другой на свете и не мог так нуждаться в ее помощи. Один и тот же образ неотступно преследовал ее: с раскинутыми руками, как и Бобрынин в июльском варином виденьи, лежит он на снегу с гаснущими мыслями и лицом в меркнущую высь. Поля никогда не простила бы себе промедленья.

Тайком от всех и в нарушение правил Поля послала куда следует рапорт с просьбой о переводе ее в любом качестве поближе к передовой; она ссылалась на свою, еще не оцененную способность сделать для отчизны нечто большее, чем только бегать в аптеку, мыть раненых, скоблить полы в операционной. «Мной и теперь довольны, спросите хоть у самой Марьи Васильевны,— жаловалась она, пытаясь достучаться в чье-то сердце,— но ведь комсомолке положено расти с каждым днем, а я сколько ни просижу здесь, все равно даже кожных швов не сумею наложить». И дальше: «...не того боюсь, что в расцвете жизни перестанет биться мой пульс, а в жилах застынет молодая кровь,— боюсь, не попрекнули бы меня со временем, если не народ — так совесть моя, что сделала слишком мало в сравнении с тем, что могла». Через несколько дней сам Струнников при обходе госпиталя строго побранил ее за обращение через голову прямого начальства, и Поля поняла, что ее послание дошло по назначению. Разговор произошел возле койки одного, самого благополучного в ее палате артиллерийского офицера Дементьева, которому Поля помогала в ту минуту коротать медленное больничное время.

Дементьева сняли с поезда в обмороке и с опасным кровотечением, когда он досрочно возвращался в часть из глубокого тыла, не закончив леченья. Ближе всех к подслеповатому окошку, он сосредоточенно слушал, как скребется вьюга в стекло,— самый тихий в полиной палате и злой на задержку в его воинской деятельности, происшедшую не по его вине. Поля уже знала, что чем легче раненье, тем капризней больной. У этого не было ни жалоб, ни прихотей, кроме одной: ночью и без свидетелей Поля доставала из его изголовья мятый конверт и вполголоса, почти наизусть, при свете трофейной стеариновой горелки читала полуистершиеся карандашные строки. Письмо было от его покойной ныне жены, с курорта, написанное накануне объявления войны, за час до падения

тяжелой германской бомбы на санаторий. Женщина красиво описывала, как чудесно, почему-то, искрилось небо в тот день, и как после скарлатины поправился на воздухе их малыш, и какие планы у нее самой по окончании консерватории, и еще сотни подробностей и милых интонаций, из которых слагается музыка женской болтовни; между страничек вложены были цветочные лепестки, уже обесцвеченные солдатским потом. Офицер выслушивал письмо с закрытыми глазами и лишь однажды мечтательно проговорился Поле, чтó же он наделает теперь с фашистским райхом, если ему дадут хоть завалящую пушчонку или только ржавый дробовик, пускай даже обломок сапожного ножа!.. А Поля подумала тогда, каких страшных врагов создает себе своими преступленьями этот старый мир.

Тут-то, неслышный как всегда, и нагрянул со своей свитой Струнников. Он спросил Дементьева, почему не спит, и тот объяснил, что ночью у него это как-то не получается.

— Чувствуете себя как? — и потянулся было за письмом, чтобы узнать причину такого непозволительного блеска и ожесточения в глазах у больного.

— В общем, после того как влили в меня семьсот пятьдесят граммов девичьей крови, выкручиваюсь помаленьку, товарищ врач,— сдержанно пошутил Дементьев и письма не отдал.— Но голова пока неважная, да и ноги... а мне еще много придется ходить. Извините, товарищ военврач первого ранга, но в артиллерии мы достигли несравненно лучших успехов, чем вы в медицине.

Струнников добродушно погладил усы:

— Вот нам и приходится совместно расплачиваться за ваше пренебрежение к медицинской науке... все торопитесь, товарищ капитан. Да и вы тоже, Вихрова. Слышал, собираетесь оставить нас без своей авторитетной помощи и консультации?

— Скорей в дело хочется...— виновато прошептала Поля.

— Вы и так в деле! Впрочем, все мы бездельники в сравнении с тем, что от нас требуется. Ничего, скоро-скоро нам работки поприбавится...— Старик отечески потрепал Полю по плечу, дал команду почаще проветривать помещение и ушел в сопровождении шелестящей свиты.

У него были причины для таких предсказаний: всю ту ночь тихонько дребезжали стекла от не слишком отдаленной канонады. Вследствие крупной войсковой передвижки на северном участке фронта к обеду следующего дня стали прибывать очередные партии раненых. Теперь тяжелыми по профилю числилось уже большинство палат, но к Поле новеньких поступило лишь двое, зато в таком состоянии, что нельзя стало отлучиться ни на минуту.

В сущности, первый из них был уже убитый: осколок вошел ему в брюшную полость вместе с лоскутом шинели. Из полкового медсанбата его доставили в состоянии глубокого шока и со значительным запозданием сверх шестичасового срока, в течение которого еще возможна надежда на спасение, и когда бурный септический процесс уже начался. Приданная в помощь Поле санитарка Лия рассказала в слезах, будто в операционной лишь заглянули в него и тотчас зашили, как она выразилась, чтоб не расстраиваться. За все три дня так и не узнали ни части его, ни фамилии, ни национальности... но каждый вечер серая зимняя бледность в его лице сменялась неукротимым закатным заревом, инерция боя вскидывала его на локтях, а с запухших губ попеременно срывалось то непонятное восклицание *асса,* каким иные кавказцы подстегивают себя в лезгинке, то страстное и сиплое *«пирод, пирод!»*, словно подымал товарищей в атаку. Тогда Лия суеверно оглядывалась в темный угол, откуда на умирающего все катились раскаленные вражеские танки и, маленькая, слабого сложения, не могла ни успокоить, ни даже согнуть его каталептически откинутую назад руку с воображаемой связкой гранат.

— Ну чего, чего вы так глядите на него, Дементьев? Нехорошо, я комиссару на вас пожалуюсь,— в отчаяньи шептала Поля.— Ну, плохо товарищу. И здесь отдохнуть никак не может от войны... да отвернитесь же, закройтесь одеялом, спите... ведь ночь.

Тот отвечал не сразу, с пугающей ласковостью и сухим блеском в зрачках:

— Никак того нельзя, обожаемый товарищ... и никто от зрелища этого отворачиваться не смеет. Коснись меня, я бы на пленку это самое дело снял да всех на земле под страхом лютой порки глядеть заставил.— Видимо, он

рассчитывал на то естественное, единственно-спасительное для мира возмущение порядком вещей, что возникает при виде людской муки во всем живом, за исключением заведомой скотины.— Так что иди по своим делам, не мешай мне заряжаться, Поленька!..

Место наискосок, у печки в те же дни занял еще один постоялец, моложе всех в струнниковском госпитале. При приемке, наклонясь над его носилками, Поля подумала сперва, что сам Родион, не дождавшись ее, пожаловал сюда с передовой: тот же крутой разбег бровей, тот же упрямый и безусый рот... даже не посмела сама стереть с его лица грязь пополам с испариной страданья. При каждом вздохе явственный клокочущий всхлип раздавался у раненого где-то под правой лопаткой, и госпитальным девушкам казалось, никакими оркестрами, никакими пушками нельзя было заглушить этот рваный, сиплый звук. Пока подшивали легкое и плевру, чтоб закрыть доступ воздуха снизу, через пробоину, Поля несколько раз прибегала в сени — послушать, припав ухом к двери операционного помещения. Впервые ей не хватило выдержки: кроме пробитой грудной клетки, у паренька обнаружили глубокое осколочное повреждение бедра, оказавшееся не менее опасным. Полтора часа спустя раненого внесли в полину палату, чистого и в забытьи. К рассвету он открыл глаза, и Поля окончательно удостоверилась, что это не Родион: у Родиона были карие, а у этого совсем синие, но не такие синие, как, скажем, цветущий лен в полдень на Енгé, а под цвет снега в морозных сумерках. Нет, это был не Родион, а другой, незнакомый, Володя Анкудинов, связной партизанского отряда. Залп шестиствольного миномета настиг его при переходе линии фронта с секретными бумагами, которых по доставке в госпиталь при нем уже не оказалось.

Утром, с дозволенья Струнникова, Володю полчаса и с глазу на глаз расспрашивал прибывший из партизанского штаба офицер. Днем его состояние настолько улучшилось, что стало возможно положить гипс на разбитое бедро; радость, что он у своих, а не в плену, помогала пареньку сносить боль. У него даже нашлось мужество пошутить, что, пожалуй, теперь он не сможет иногда сплясать *барыню* у себя в клубе; с убежденностью заправского врача Поля объяснила ему значение врачебной

гимнастики: конечно, первое время ему придется ограничиться легкими западными танцами, во всяком случае без излишеств вприсядку... Но она и в самом деле верила, что когда-нибудь впоследствии, в Лошкареве на гуляньи, встретит Володю с его любимой девушкой и, разумеется, он не узнает своей сиделки, а Поля шепнет Родиону, что и этот лейтенант тоже лежал у нее и она его выходила... Нет, это был не Родион, но вроде младшего родионова братца!

Двое суток она высидела возле, не смыкая глаз, а когда, по прошествии пяти часов крепчайшего сна в духоте крестьянских полатей и не раздеваясь, Поля снова явилась на дежурство, она застала в палате потемки, довольно обычные при частых авариях на электростанции. Нахохлившись от холода, что ли, в своем углу, Лия неподвижно глядела в беспокойное пламя коптилки. Вполне возможно, что именно от этой безостановочной, маетной раскачки огня над рыжим нагоревшим фитилем и происходило ощущение тревоги и особой, как бы шероховатой, рашпильной тишины, сопровождающей крупные несчастья. Володя находился в забытьи после морфия, а место кавказца, как Поля заметила позже, уже занимал кто-то другой, такой же беспамятный. Поля шопотом осведомилась у Лии, не стряслось ли чего в ее отсутствие, но та не ответила, только махнула рукой и выбежала, зажав рот концом косынки. Больше расспрашивать было некого, Дементьев лежал на боку, прижав колени к подбородку и с головой под одеялом, хоть и не спал... Да и некогда стало спрашивать: Володя проснулся через три минуты после вступления Поли на дежурство и приблизительно за полчаса до наступления ночи, пожалуй, самой адской в полиных воспоминаниях, включая все случившееся с нею на протяженьи того месяца.

Володя глядел прямо на Полю, но не видел ее, потому что смотрел на что-то другое, более важное внутри себя. Вдруг он произнес коснеющим языком, что *журавли летят,* и Поля подумала, что это — продолженье сна. Однако спустя несчитанное количество минут он вполне разумно пожаловался, что ему горячо в бедре, под гипсом. Полная наихудших догадок об оставшемся в ране осколке, она чиркнула спичку: и правда, черная стылая лужица поблескивала на полу под володиным лежаком, увеличи-

ваясь за счет размеренной, как маятник, капели. Поля ринулась наружу за помощью, и ей повезло: там, у третьей по порядку избы, толпились женщины в белых халатах, помнится, четверо... но, возможно также, что их было и шесть.

— Девочки, Володя умирает!..— с ходу закричала Поля и прибавила, чтоб скорей искали Сергея Арсеньича, потому что в пятой палате умирает Володя Анкудинов и надо немедля резать гипс, чтобы остановить кровотечение, и еще что-то кричала об осколке, который сдвинулся в бедре.

В те четыре дня все население госпиталя привязалось к Володе за суровое, недетское достоинство, с каким он уходил из жизни. Но никто не отозвался на полин зов — оттого ли, что не сразу до них дошло, о ком идет речь, или случилось что-то не менее грозное. Почему-то все они стояли там не на тропке, а в глубоком снегу и совсем налегке, несмотря на усилившийся к ночи мороз, и говорили вперебой, умоляя кого-то притти в себя и ничего не совершать пока над собою. И в центре, у наклонившейся ветлы, Поля увидела Марью Васильевну, с откинутой назад головой и с выраженьем скорее безумия в лице, чем даже самого последнего отчаяния. А едва поняли, о чем кричала Поля, двое торопливо, под руки повели Марью Васильевну в дом, другие же побежали за Сергеем Арсеньичем, но его, как на грех, не оказалось нигде, и на это ушла уйма времени, а когда вернулись, задыхаясь от бега, у володиной койки находились все те, кого искали, кроме самого Струнникова, выехавшего накануне в штаб армии.

— Да не шумите же вы, несчастные...— еще в сенях шепнула Лия входившим.

Было и без того тихо. Володя Анкудинов попрежнему полусидел в подушках, глубокие складки зрелости пролегли у переносья и в углах рта. Никто ничего не делал, все возможное и напрасное было уже применено. Галька, сестра из перевязочной, еще держала шприц, и другие тоже что-то держали, сверкающее и розоватое, а Сергей Арсеньич с засученными рукавами протирал очки полою забрызганного халата. И Поля вместе со всеми испытала то же чувство, что у провожающих на ночной пристани при отходе большого корабля..

Старший хирург надел очки, едва умирающий приоткрыл глаза. Вслушиваясь во что-то и не торопясь, словно знал свое время, Володя пристальным взглядом обвел стоявших перед ним людей. Сейчас он был старше и, значит, сильней их всех, в том числе и Дементьева, отвернувшегося к стенке с одеялом на голове,— такое ясное сознание происходящего читалось в володином лице. Потом движение пробежало по его губам: похоже, искал в памяти прощальное, выскользнувшее слово, полагающееся старшему в такую минуту. Поля клялась впоследствии новым своим подружкам, будто отчетливо разобрала его последнюю фразу: «спасибо вам всем... от имени родины...», право на которую дает лишь высота совершенного подвига.

Это случилось на исходе девятого часа, и сразу потом начался небывалый на том участке фронта артиллерийский шквал, чудом перехлестнувший через Пневку, где расположился струнниковский госпиталь. Две встречные бури рванулись с обеих сторон, раздирая воздух; в самой Пневке случайным снарядом разнесло едва налаженный в те сутки и уже сломавшийся к вечеру осветительный движок. Ночь прошла без минутки сна. Утром Поля с усталой, недоверчивой улыбкой выслушала сообщение о захлебнувшейся немецкой атаке; она на всю жизнь сохранила убеждение, что никакая там атака, а просто вся война салютовала отважному партизанскому воину, не успевшему совершить самых значительных своих мирных подвигов, ради которых ненадолго приходил на этот свет.

3

Преступленье Марьи Васильевны состояло в том, что она второпях, без предварительной пробы на совместимость, влила кровь не той группы раненому кавказцу, находившемуся в тяжелом шоковом состоянии. По рапорту Струнникова, вернувшегося рано утром, следствие началось немедленно, и потом все покатилось так быстро, что Поля даже не успела повидаться с Марьей Васильевной перед отъездом. Уже к вечеру в Пневку прибыл на вездеходе молодой, весьма речистый и отчетливый капитан, назвавшийся дивизионным юристом. После краткой беседы с администрацией госпиталя, причем комиссара

крайне удивило, что расспросы его в первую очередь касались не поведения виновной, а морального облика санитарки Вихровой, приезжий юрист выразил пожелание лично повидаться с Полей. Сохранить этот вызов в секрете от подруг не удалось; она отправилась на допрос, полная самых недобрых домыслов, часть из них относилась непосредственно к ее отцу.

Несмотря на отличные, высказанные вслух отзывы комиссара и уверенья капитана, что самой ей ничто не грозит, Поля подавленно молчала. Вдобавок ее знобило от пережитых волнений, если не от сильнейшей, лишь теперь сказавшейся простуды. Разговор происходил в присутствии нескольких свидетелей при свете желтого, с солью, бензинового огня над сплющенной артиллерийской гильзой, осветительной новинкой того периода войны. Вкратце записывая полины показанья, капитан все интересовался, когда именно произошло несчастье, до или после выхода электростанции из строя; видимо, он допускал, что в потемках и суматохе легче было спутать ярлыки банок и цифры в истории болезни. Уточнение указанных обстоятельств также заняло некоторое время.

— Ничего не бойся, Поля: видишь, как хорошо все говорят о тебе...— еще раз успокоил ее капитан.— Однако, как я понял, у тебя нет надлежащего медицинского образования?

— Но все равно, это случилось до моего возвращения в палату, когда я еще спала как убитая. Что касается Марьи Васильевны, это *была* очень знающая... и вообще хорошая женщина,— твердила Поля и вдруг содрогнулась, что упомянула о ней уже в прошедшем времени.— Я поручилась бы за нее, как за собственную мать!

— Так, понятно... но не торопись,— кивнул капитан.— Кстати, твоя мать находится тоже где-то здесь... поблизости?

— Нет, она осталась по ту сторону, в Пашутинском лесничестве,— меняясь в лице, призналась Поля.

— У немцев, значит? Так-так, очень хорошо.

— Чего ж тут хорошего, раз такое получилось?! — вспыхнула Поля, готовая и заступиться, даже разделить вину этих двух, почти одинаково близких ей, отсутствующих женщин.— Ну, ладно, мне можно итти... или повезете куда-нибудь?

— Я настоятельно прошу тебя успокоиться, Поля,— сказал капитан, слегка касаясь ее руки.— Против тебя нет решительно никаких обвинений...

Дальнейшие беглые вопросы относились к самой Марье Васильевне, в частности — не замечалось ли скрытности в ее характере, и тут оказалось, что действительно, подследственная очень искусно скрывала свой застарелый порок сердца из боязни быть отчисленной в тыл. Затем капитан сообщил пожелание старшего следователя познакомиться с Полей лично, но не тут, на месте, а у себя, в помещении военной прокуратуры, находившейся километрах в двадцати от Пневки. Чуть изменившись в лице, Поля послушно спросила, надо ли ей брать с собою и вещи, но тот разъяснил, что нужды в этом нет, так как, если только не расхворается, через сутки она уже вернется на место службы. Одеваясь, Поля просила остающихся приглядеть за Дементьевым, чтоб вторично раньше срока не сбежал на передовую: она-то хорошо знала, что он не дотерпит до окончательного выздоровления. Все переглянулись, а Струнников смущенно подошел и поцеловал Полю в лоб, и она едва не разревелась в ответ на неожиданную при таком обороте ласку.

...Зная приблизительно расположение деревень, Поля немножко удивилась, что после выезда из Пневки машина свернула совсем в другую сторону, но теперь ей не полагалось расспрашивать. Впрочем, провожатый проявлял такую предупредительность, даже набросил меховое одеяло ей на ноги, что под конец пути Поля прониклась к нему доверием и сама принялась рассказывать про госпитальные встречи, больше всего про Володю Анкудинова, которому так хотелось — но не удалось посмотреть хваленое московское метро и поесть мороженое в серебряной бумажке.

— А всего обидней,— заключила Поля, снова возвращаясь к Марье Васильевне,— все это случилось на другой день после объявленной нам благодарности командования. Комиссар так расстроился, что стрелять начал...

— В кого же он стрелять начал? — без прежнего интереса спросил капитан.

— А ни в кого, просто разочка три в пол выпустил, когда ему про Марью Васильевну доложили. Видно, чтоб разрядиться...

Промороженная звездная светлынь стояла в ту ночь, но Поля не узнала знакомого села. Огромный вий в тулупе и с винтовкой топтался у крыльца обширной, на богатую руку ставленной избы. Покинув спутницу в проходной каморке, где полевой телефон стоял на лавке, капитан, не раздеваясь, прошел дальше, в горницу, откуда через полуоткрытую дверь Поля услышала озабоченное, сказанное между делом — «пусть войдет», после чего провожатый ушел, ободрительно коснувшись полина плеча на прощанье.

Не было ничего запоминающегося там, в жарко натопленной, без окон комнате, кроме загадочной и во всю стену сатиновой занавески, из-под которой виднелся краешек карты. На совершенно пустом столе лежала тоненькая папочка, видимо личное полино дело, заставлявшее предполагать, что эти двое военных весь вечер только и дожидались Поли: значит, случаю в Пневке уделялось особое внимание... У обоих имелось по две шпалы на петлицах, но она сразу догадалась, что старший из них будет не тот, приветливый и с подстриженными усиками, за столом, а другой, что курил в сторонке, с высоким лбом и пристальным, из-под срезанных век немигающим взглядом: такой вряд ли проявит снисхождение к прежним заслугам Марьи Васильевны. Поля назвалась, как положено по уставу, и устремила пристальный взгляд на горстку заточенных цветных карандашей в укороченной гильзе на столе.

Для начала младший осведомился, успела ли поужинать перед отъездом, не озябла ли, не хочет ли чайку с дороги. Поля отвечала, что не такое тут место да и настроение не такое, чтоб забавляться пустяками.

— Тебе видней, садись тогда, Аполлинария Ивановна... Ну, как живется, воюется как?.. ты ведь, помнится, доброволица?

Поля сочла, что на зряшный, ради ознакомления вопрос о ее добровольности можно и не отвечать.

— Чего ж, живем, как на даче,— и пожала плечами.— Вчера вот только попугали немножко, а вообще неплохо живем.

— Это верно, тут у нас безмятежное житье пока,— взглянув на товарища, согласился тот, младший.— Мы сперва думали, ты тихоня, а ты вон какая... востренькая.

Снимай беретик-то, садись, не на допросе... вот так. Теперь передохни немножко и докладывай.

— Я уж передохнула... про что докладывать-то? — облизнув губы, для уточнения спросила Поля.

— А нам все интересно, затем и сидим тут.

Поля глубоко вздохнула, словно в ледяную воду шла, и вдруг оробела: еще никогда чужая судьба не зависела от нее в такой степени.

— Хорошо, я начну с того, что...— горячо заговорила она,— несмотря, что ей уж сорок лет с лишком, Марья Васильевна является верной дочерью нашей любимой родины. Во всем она проявляла себя на работе, как вполне передовой человек, охотно делилась опытом с нами, младшим персоналом... и не только мы, девчата, но и раненые, хоть кого спросите, всегда о ней отзывались с самой сердечной благодарностью.

Майор за столом нетерпеливо постучал карандашом:

— Погоди, а чего ты волнуешься?.. Все пальцы ломаешь! И про Марью Васильевну ты в другом месте доложишь, ты нам лучше про себя расскажи. Да не строчи, как из пулемета, а попроще, живым языком... вот как с подругами разговариваешь.

— Что ж, можно тогда и про себя...— упавшим голосом согласилась Поля.

Она принялась было рассказывать теми же словами, как при своем вступленьи в комсомол, но осеклась, испугавшись общеизвестных теперь, отягчающих подробностей в своей жалкой биографии. И хотя никогда их не скрывала, вдруг вообразила, что из-за них-то, а не только по великодушию своему ей придется разделить преступление Марьи Васильевны и принять на себя часть чужой вины.

— Все подряд рассказывать или только самое главное? — растерянно шепнула она.

— Со временем не стесняйся... хоть на час! — дружественно улыбнувшись, подсказал старший.

— Хорошо,— и для смелости пощупала комсомольский билет в нагрудном кармашке.— Я родилась в столице нашей родины Москве, но только уже ничего про то не помню, так как всю сознательную жизнь провела сперва в Пашутинском лесничестве, с мамой, а потом в городе Лошкареве, в семье одного тамошнего заслужен-

ного ветеринара, Павла Арефьича... не слыхали? Улица Калинина, двадцать два, за углом во дворике... Он собственным трудом пробился из беднейших крестьян в крупные специалисты по рогатому скоту. Мама моя действительно происходила из помещичьей усадьбы, но только ее подкинули туда в детском возрасте, когда она еще не понимала, как в настоящее время... ну, наших передовых идей и вообще классового расслоенья.— Поля вопросительно перевела глаза с одного майора на другого, но те слушали ее, не прерывая и не подымая глаз.— Что же касается моего отца, то он является профессором по лесному делу. Он вообще довольно известный, потому что его всю жизнь крепко ругали... в разных газетах.

— За дело ругали-то? — мельком вставил тот, что постарше.

— Нет,— убежденно ответила Поля.— Он очень такой добросовестный и, главное, мыслей не умеет скрывать. И он хорошие мысли-то пишет... по своей отрасли, конечно, что лес надо беречь, поскольку он не только является зеленым другом для человечества...

Она не досказала: младшего стуком вызвали на телефон, и тот вышел ненадолго, наглухо притворив дверь.

— Как же так его беречь?.. не рубить его, что ли, забором каменным от народа отгородить? — почему-то добивался точного ответа все тот же, старший.

— Зачем же? — усмехнулась Поля на его непонятливость.— А просто с умом его тратить. Вот у нас, когда на Пустошàх лес валили, я сама видела: бревно вывезут, а два на месте гниют. Это капитализм о будущем не думает, а уж нам-то этого никак нельзя. Отцу моему, как и мне, Вихров фамилия... тоже не слыхали? Сколько лет его костерят, а он и виду не показывает. Он вообще работяга у меня.

— Небось и тебе обидно за отца-то?.. в том смысле, я хочу сказать, что ему от своих же терпеть приходится.

Именно на этот вопрос он добивался ответа с особой настойчивостью, но Поля промолчала. Тогда он спросил неожиданно, что слышно об Елене Ивановне из Пашутина, и Поля удивилась вопросу, так как, во-первых, Енгà была занята и, кроме того, нигде в анкетах имени матери Поля не указывала. Осведомленность майора она отнесла

за счет учрежденья, куда ее привезли; здесь вернулся младший.

— Красивые ваши места на Енгè,— сказал он, войдя.— Соскучилась по ним, поди?

— Еще бы! — польщенно улыбнулась Поля.— Я их все наперечет знаю, с завязанными глазами не потеряюсь... можно сказать, мне там каждая травка с голоса откликается.

— Что и говорить, местища заповедные,— подтвердил старший.— Странно, однако, сколько я перед войной ни бродил с ружьишком по вашим местам, а ведь не помню Пашутинского-то лесхоза. Как же я мог его прозевать? — Колеблясь, он взглянул на завешенную карту, но потом расстелил на столе другую, масштабом помельче.— Ну-ка, покажи мне, девочка, где он тут.

С зардевшимися от удовольствия щеками Поля подошла к карте с его стороны.

— Вот, если от Пневки срезать этот угол, сквозь самую цапыгу, тут сперва Судовики будут,— заговорила Поля, смело ведя карандаш сквозь путаницу непонятных ей гребенчатых линий,— а потом вот в этом месте полушубовскую гарь миновать...

— Как же, знаю Полушубово, не раз молоко там пивал!

Поля задумалась.

— Но можно и короче, лесным проселком на старый тракт выбраться, к самому Шиханову Яму. Тоже красивое село, только слава плохая. Тут, совсем рядом где-то, должен находиться куриный совхоз, где директором Алексей Петрович. Нету, видно, карта старая... перед самой войной его открыли. А с Шиханова Яма налево сворачивайте, у часовенки, где при царизме купца зарезали, и тогда всего двенадцать километров до Пашутина останется, вот! — И острым карандашом с точностью до метра показала то место, где находилась теперь ее мама.

Переглядываясь и придерживая загибавшийся угол карты, оба майора следили за маршрутом из-под полина плеча. Один спросил, между прочим, откуда Поля так хорошо знает местность, и та пояснила, что последние три года работала вожатой пионерских отрядов в этом районе.

— Я ведь, кроме того, немножко массовик...— со смущенной гордостью сказала Поля.— Водила ребят в даль-

ние экскурсии, собирала с ними лекарственные травы... эфиромасличные в том числе, показывала им разрезы почв...

— ...созвездия тоже,— подсказал старший.

— Созвездия — это ночью, а ночью дети спят,— резонно отвечала та.

Все помолчали, карта сама свернулась в ролик.

— Что ж, товарищ Осьминов, пора ей открыть наши секреты...— сказал младший майор и еще раз с пронзительным вниманием окинул Полю с головы до пят.— Так вот, прочли мы твое заявленье, Аполлинария Ивановна, где ты просишь служебного задания посложней... и очень оно нам понравилось, твое письмо. Правда, в слове *известия* мягкий знак у тебя ни к чему, но... все равно понравилось. Опять же доводы твои крайне убедительны, и приятно узнать, что мы в тебе не ошиблись. Тут мы с майором Осьминовым и придумали тебе возможность навестить родные места...

— Но ведь там же немцы теперь! — поразилась было Поля, и вдруг в почтительном молчаньи этих бывалых людей прочла все наперед, и дыханье в ней задержалось, а сердце стало твердое и маленькое, как, наверно, у молодого стрижа, когда с разлету учится кидаться в облачные развалы неба.

— Ты извини нас, Поля, за наши предварительные неуклюжие хитрости,— продолжал старший, через стол взяв ее за руку.— Очень скоро поймешь, что они для твоей пользы. Так вот, как же ты посмотришь на то, чтобы прогуляться по намеченному тобой маршруту?.. только у часовенки, где зарезанного купца нашли, влево не сворачивать, а прямиком бы на Лошкарев... а?

Не говоря уже о несомненной важности порученья, ей представлялся случай проверить себя и наконец-то раскрыть содержание скупых строк о чужих подвигах в сводках Информбюро, где время от времени метеорно сверкали имена ее отважных современников. Кое-что из таких газетных вырезок она хранила в комсомольском билете вместе с фотографией матери и письмами Родиона.

— Я отправлюсь туда с кем-нибудь... вдвоем? — спросила Поля не из малодушия, а чтоб накопить силы на окончательное согласие.

— Нет, ты пойдешь одна и ночью. Ближе к месту мы подкинем тебя на самолете. Волков ты вряд ли встретишь,

разбежались, но уж немцев... и самых опасных при этом, никак не миновать. Дело срочное: правду сказать, слишком многое зависит от успеха твоего похода,— он помолчал, как бы подчеркивая значение сказанного.— В случае отказа тебе просто придется забыть наш разговор...

Самые глаза полины выразили ответ: о, если бы ей только и было суждено в жизни телом остановить пулю, летящую в сторону родины, то и для этого стоило рождаться на свет!

— Ой, что вы...— вспыхнула Поля.— Конечно, я выгляжу моложе своих лет, но вы не думайте, я совсем не трусиха... даже покойников бояться перестала. И знаете,— вся загораясь, придумала она,— мне уж приходилось в одном спектакле дочку миллионера играть... у меня и сережки золотые имеются: отец маме на свадьбу подарил. Такие кудри себе взобью, любой фашист закачается. А если еще маникюр сделать да губы накрасить...

Ее слушали не перебивая, и старший стал закуривать, причем поверх спички глядел на Полю, и чем веселей она расходилась, тем грустней и строже становилось его лицо.

— Сережки, пожалуй, можешь и взять с собой, это хорошо, а вот насчет кудрей — дело лишнее,— раздельно и жестко сказал тот, которого звали Осьминов, потому что пришло время предупредить Полю о возможных случайностях ее прогулки по родным местам.— Видишь ли, Поленька, у них там, в старом мире, много имеется всяких господ, которые обожают опрятных и маленьких русских девочек. Знай, что все мы, сколько *нас* есть на этой земле... все будем следить за каждым твоим шагом, но заступиться за тебя там станет некому, так что и губ красить не надо .. да, не надо.

Он взглянул на Полю в упор, глазами досказывая то, чего по ее чистоте не смел произнести вслух, и Поля выдержала его взгляд. Потом они вскользь обсудили некоторые технические подробности замышленного предприятия, но истинную причину своей посылки в длинный и опасный путь она узнала лишь накануне похода.

— Но что же подумают обо мне в госпитале, раз я не вернусь в срок? — всполошилась Поля в конце разговора.

— Чем хуже подумают, тем лучше. И вообще когданибудь разъяснится все хорошее и до поры — секретное

на свете,— сказал Осьминов, приглашая ее к первой жертве, за которой вскоре последовали другие.

Никто не видел, как ее провели спать в полузанесенную на окраине избушку, откуда она вышла несколько дней спустя, так и не вспомнив названья села.

4

Незначительный по числу жителей и объему промышленности город Лошкарев в последние годы перед войной стал железнодорожным узлом и перекрестком улучшенных шоссейных дорог. Овладение им вывело бы наши части во фланг основной северо-западной группировки противника, так что с потерей Лошкарева у немцев рушился весь смысл сопротивленья на этом клочке русской земли. Готóвясь к декабрьскому удару под Москвой, советское командование производило окончательную расстановку сил и уточняло сведения о противнике — его обороне и характере войсковых перевозок, о размещении штабов и складов, принадлежности армейских соединений к роду оружия, без чего самая победоносная армия попадает в положение ослепленного богатыря.

В эти напряженные дни перестала откликаться на вызовы оперативная группа из надежных местных патриотов, оставленная в Лошкареве при осеннем отступленьи. Причины их молчанья были неизвестны, вряд ли провал из-за предательства, скорее гибель радиста вместе с рацией, запеленгованной в работе. Но последнее сообщение оттуда гласило о прибытии в городок двух крупных штабов неустановленной нумерации, а сутками позже летная разведка донесла об усиленном сосредоточении вражеских танков за Шихановым Ямом, на северной окраине Пустошѐй. Положение требовало усиленного надзора за Лошкаревским районом и, в первую очередь, срочной посылки вернейшего человека в немецкий тыл для восстановления прерванной связи.

Выбор пал на Полю как раз потому, что она вовсе не нуждалась в так называемой легенде, то есть придуманной версии для объяснения своего присутствия на оккупированной территории. Если пренебречь наличием у ней комсомольского билета, представлялось вполне естественным

бегство глупой девчонки, дочки разоренной русской дворянки и затравленного долговременными нападками профессора. В этом смысле смешные, дутого золотца и с эмалькой серьги, самый металл их, наличием которого капитализм мерит достоинство и благонадежность человека, тоже работали в полину пользу. Выигрышной стороной было и то, что направлялась она в ту самую местность, где была известна история ее матери, так что любой из енежских старожилов мог подтвердить вышеуказанные обстоятельства. И даже добровольное поступление Поли в прифронтовой госпиталь выглядело в этом свете как уловка, облегчавшая ее переход на сторону старинного покровителя врагов советской власти.

Поле предоставили несколько деньков вжиться в этот скверный, но спасительный вариант своей биографии. И как только убедила себя, что действительно бежит под мамино крылышко из голодной, разбитой, осажденной Москвы и как только разжалобила себя своими несчастьями,— задание сразу показалось ей гораздо легче и проще. В этом случае достаточно правдоподобно выглядела бы и такая, именно по-ребячьему безрассудная затея, как забежать на денек и в Лошкарев — навестить свою улицу, заглянуть в окна школы, мимоходом погладить три деревца, самолично посаженные ею в парке Молодости. А тогда уж ей волей-неволей придется запомнить, что говорят жители на регистрациях или в керосиновых очередях, и где чаще останавливаются штабные машины, и откуда, как правило, выходят чванные немецкие господа в нарядной генеральской форме. В награду за это не исключалась возможность, что обратная дорога случится как раз через Пашутино... и тогда она непременно увидит маму на попадюхином крыльце, но, конечно, и виду не подаст, даже отвернется, благодарная за то одно, что мама ее, пусть одинокая и похудевшая, но живая, живая!

Сперва все это несколько перепуталось у Поли в голове, однако под конец скрепилось нитями самой естественной логики, срослось, словно так оно и было на деле. Будто уже пришла и, дрожащая с перепугу, упала в мамины колени, и та сперва накричала на дочку шопотом за такую отчаянную шалость, а затем, приспустив занавески на окнах, напоила ее, застылую, чаем; и никогда Поля не дремала так сладко, пригревшись с мороза и

усталости, пока мама не сказала над ней голосом Осьминова:

— Ну, пора нам, Аполлинария Ивановна... вставай!

В избе стояли сумерки. Зябко потягиваясь, Поля присела на лавке. Оказалось, она спала одетая, за столом, положив голову на затекшие, калачиком сложенные руки. Есть не хотелось, только пить... хотя тоже не очень. Все было готово. Осьминов, уже в шинели, положил перед нею условленный узелок с бельишком и хлебом, закутанным внутри. От личного имущества у Поли теперь оставались лишь нарядные пестрые рукавички маминой вязки да еще один, в кулаке, единственно за его пустяшность утаенный от Осьминова, и действительно совсем безобидный предметик, не серьги. При последнем совещании пришлось отказаться от этого вещественного аргумента, способного вызвать подозрение своей необычностью.

— Немного же у тебя осталось, девушка, после ограбления большевиками твоих наследственных феодальных *латифундий,*— засмеялся Осьминов в ожидании, пока Поля переобувалась из валенок в стоптанные, зато с новыми калошками полуботинки; между прочим, ему пришлось объяснить неизвестное слово Поле, отныне проявлявшей повышенное внимание к чужой речи.— Смотри, чтоб ног не терли, есть еще время переменить... Как настроенье?

— Настроенье-то мое, может, и неплохое, а вот...— она закусила губу, сердясь на себя, что так долго не может оправиться от неприятного озноба в лопатках.— Письмо мое перешлете Родиону только в том случае, если не вернусь. Там у меня слова разные такие... а то смешно получится.

— Понятно, понятно,— с уважением откликнулся Осьминов.— Главное, не думай ни о чем, твоя линия ясная. Ты со страху к матери бежишь... и, потом, как минуешь Судовики, с большака уж не сворачивай. Оно, конечно, лес-то — и друг человечества, да незрячий: не вывел бы тебя сослепу на десятый кордон. Словом, в оба гляди, чтоб на тот проклятый немецкий бункер не напороться... Пошли, пора!

За всю дорогу не обмолвились ни словом. Мужчины сидели позади, двое. Машина двинулась в направлении на Пневку, но за полкилометра поворотила на проселок, и госпиталь с Дементьевым остался слева, за леском. Быстро

темнело. Последнее, что Поля разглядела в зарябившей внезапно мгле, было незнакомое озерко со вмерзшей лодкой во льду, потом снежинки залепили смотровое стекло. В забытьи Поля не заметила, как подъехали к непонятной речке... неужели же это и была ее милая Склань? Черная и злая, как с похмелья, она одна там шумела в снежных подмытых берегах. Дальше машина почему-то не пошла, хотя Осьминов сразу нашарил брод. Разведчик в маскировочном халате без спросу взял Полю на руки, чтоб не залилось в калоши.

— Смотрите, я ведь тяжелая,— предупредила Поля, хотя что-то другое хотела сказать.

— Ничего, отдыхайте пока,— отвечал солдат, неся ее бережно и покойно, как в люльке.

— Тишина-то какая! — шепнула Поля из благодарности и чтобы еще раз услышать родной голос напоследок.

— Это верно, немцы у нас смирные. Под Москвой крепко стучат, а тут у нас, про между прочим, наоборот. Последнее время даже некоторая тиховатость за ними наблюдается...

Сквозь кустарник, на лесном выпасе, зачернел самолет. Все было готово и здесь. Простились деловым рукопожатьем, как равные. Осьминов сам застегнул на Поле парашютные лямки и подсадил в кабинку. Трескучий ветер хлестнул по лицу. Это был вообще первый полин полет, но не было ни мыслей, ни страхов, кроме одного: как бы не заблудился летчик по такой темноте! И еще: «ну, что бы ты сказал, знаменитый вояка Родион, если б мог полюбоваться на меня сейчас?» Все шло гладко пока, хотя давно уже неприятельская территория находилась внизу... Сперва было немножко чудно и непривычно Поле, что для нее одной летит этот военный самолет, но попозже прошло и это. Поля слегка удивилась, что ни разочка не пальнули по ним, потому что ночь выпала без единого выстрела или ракеты, будто и не война совсем, а просто зимняя ночь. Летчик убавил обороты мотора, машина накренилась в вираже... после чего не самый ли воздух вырвал Полю наружу, и она пошла напропалую вниз, в колючую свистящую безразличную неизвестность.

Очень пугала начальная минута после приземленья... но все оказалось проще, чем рисовалось в страхе. Некоторое время вылежала в снегу, как пришлось, пока не затих-

нул шум над головой. Нигде ничто не болело. Она огляделась, по памяти сверяя местность с заученным чертежом. То было наиболее глухое место, почти в центре Пустошей: самолет сократил ей дорогу вдвое. Впереди угадывалась длинная, тонувшая в непроглядной синеве и с уклоном влево лесная поляна. Судя по чахлым березкам, вокруг простиралось болотце, отправная точка маршрута. Вторым ориентиром должны были служить две остожины сена невдалеке; на месте оказалась лишь одна. Но если только на пригорке вправо обнаружится старая гарь,— значит, летчик скинул пассажирку с точностью, с какой попадают в яблоко мишени. Выполнив все предписанное заранее, Поля поползла вверх по снежной целине и облегченно перевела дух: маслянисто-черная наощупь, горелая лесина преградила ей дорогу. Следовательно, где-то позади оставался стык двух немецких частей, о чем предупреждал Осьминов. Отсюда начиналась полина прогулка по родным местам.

И, словно предвидя состояние девчонки, посланной на святое и опасное дело, вся тамошняя природа заторопилась ей навстречу. Она понавесила снежную муть по всей Енге́, выслала тугой, с морозцем ветерок и волчью поземку; она подкинула под ноги Поле полуприметную колею крестьянских саней, украдкой от завоевателей приезжавших сюда за сеном, и настрого наказала лесу не сбивать ее с дороги. И старый бор обнял Полю за плечи и повел кратчайшим путем на подвиг... Местность круто поднималась, с каждым шагом дородней становилась полуторавековая сосна, и Поля соответственно уменьшалась до размеров былинки, вовсе не приметной на могучей волне.

Час спустя добрая русская вьюга понеслась над Пустоша́ми, слепя немецкие дозоры, забивая смотровые щели блиндажей. Но было тихо внизу, только прозябшие деревья терлись друг о дружку да скулили щенячьими голосами. Хоть и в гору, итти было легко, потому что снега оказалось меньше с подветренной стороны, да Поле и пройти-то оставалось всего шесть километров до Судовиков, откуда лесная наезженная дорога прямиком выводила на тракт. Постепенно не то чтобы безразличие обреченности, а именно властная уверенность в благополучном исходе дела охватила Полю: в конце концов не на

смерть же посылал ее Осьминов. И когда юркий цепенящий снопик электрического света пронизал снегопад, задержался на ближайшем пеньке, взбежал на дерево до развилки сучьев и шарящим зигзагом снова стал приближаться к Поле, когда пулеметная очередь вслед за тем прокатилась по лесу и, показалось, не одна, а несколько осветительных ракет повисли в высоте,— она испугалась не подстерегавшей ее гибели, а что в самом начале пути спутала карту и забыла осьминовские наставленья. Чуть раскосившимся взглядом она следила за красивыми, радиально разбегавшимися вкруг нее тенями и мучительно искала, где именно произошла ошибка. ...А ей-то казалось, что сделала значительно больше пяти километров и, следовательно, обошла немецкий дозорный пункт, по данным разведки находившийся лишь на третьем. Если бы накренившаяся сосна не прикрыла полину тень на сугробе, а другая не приняла бы на себя часть пулеметного огня, повесть о лошкаревском походе сократилась бы наполовину.

При точечных вспышках, как в плохом кино, за деревьями проступал зубчатый, уходивший в глубь просеки частокол с деревянной вышкой на углу и другими ухищреньями, воздвигнутыми инженерией страха. Немецкая пальба разгоралась: вслед за пулеметом в другом конце просеки залаяли железные собаки погрозней, охранявшие злосчастный форпост *великой* Германии на востоке. Можно было легко представить себе человека у огневой амбразуры, который, не целясь, расстреливал свое ночное виденье и никак не мог попасть, и — как ему было жутко здесь, в гигантском, непричесанном русском лесу, и какие унывные вдовьи голоса, словно при погребеньи, слышались ему в переплеске ветвей и свисте верхового ветра, и каким настороженным, на границе безумья чутьем угадал он присутствие постороннего существа, которое невдалеке и внешне почти безучастно пережидало его истерику, как пережидают под деревом мимолетную грозу.

Наверное, некто чином постарше ударом кулака в бледное распустившееся лицо прекратил эту бессмысленную растрату военного добра: все погасло внезапно, как и началось. Пришлось выстоять самую длинную в полиной жизни минуту, пока не успокоится нервный солдат, пока не пройдет охватившая тело липкая слабость; по-

могла горстка снега, спущенная за ворот рубашки. Когда глаза снова попривыкли к наступившей темноте, Поля попыталась пересечь просеку на достаточном расстояньи от блокпоста, но всюду ее встречала до отчаянья плотная стена подорванных и наискось уложенных деревьев. Память растерянно предлагала подслушанные в госпитале обрывки военных знаний: как лопаткой отрывать укрытие под огнем и лежа на боку, или — не кидать гранату в танк ближе десяти метров, чтоб не поразить себя осколками... но все это не годилось в данном случае, как, бывает, не подберешь подходящего лоскутка на заплату. А тем временем вся армия лошкаревского фронта с бессонными командирами, с затихшими пушками ждала вестей от Поли Вихровой. Так она впервые ощутила ответственность, выпадающую на долю разведчицы дальних тылов.

Уже весь лес кругом в десятки голосов подсказывал ей что-то, и один из них показался Поле разумнее других. В самом деле, никакой лесной завал не мог же тянуться от полюса до полюса, и, конечно, где-нибудь должен был отыскаться проход на другую сторону земного шара. И если только это был тот десятый кордон, о котором предупреждал Осьминов, то она уже бывала здесь год назад, на зимних каникулах и вместе с мамой, когда при валке леса захлестнуло обходчикова сына, и вызванная на помощь Елена Ивановна правила лошадью сама, и никогда Поля не видела мать такой красивой и строгой... причем они тоже заплутали немножко по вечерней зорьке, пока петушиное пенье не вывело их прямо на Судовики. Следовательно, где-то вблизи притаилась сторожка обходчика Павла Омельяныча и сарай позади, с таким душистым на морозе сеном... так что нечего трусить раньше срока: в случае нужды здешние люди найдут способ укрыть фельдшерицыну дочку!.. И опять, будто в плечико толкнули, Поля пошла вправо, совсем уж наугад, и действительно шагов через двести объявилась бывшая вырубка, очень знакомая на первый взгляд и тоже как будто признавшая Полю: снег был теплый, домашний, не жегся нисколько, пока переползала ее наискосок. Однако никакого жилья там не было, даже плетня, которые, по ее наблюденьям, не горят на войне, и это означало вторую полину ошибку, значительно похуже. Временами все померкало кругом, озаряясь взамен таинственным светом

изнутри, и тогда чудилась тоже как бы полянка, но только летняя и поросшая осинничком, хотя Поля-то знала, что быть ему здесь неоткуда. На деле же она находилась возле северовосточного, наиболее глухого края Пустоше́й. Громадные стволы подпирали шумное белесое небо... и такими странными показались Поле отцовские рассужденья о редеющих русских лесах. Она так устала, что не оставалось сил и расплакаться, вдобавок потеряла калошку, пока ползла, и распорола коленку о спрятанный под снегом сучок. В малодушьи крайнего отчаянья она кое-как перебралась через канаву и сразу оказалась на добротной, наезженной дороге. Поземка неслась вдоль нее, и по рубчатому, наощупь явственному следу можно было понять, что накануне здесь прошли танки.

То был первый урок разведчика — не сдаваться при любой обстановке: не всякое сопротивление беде награждается избавлением от гибели, но всякая гибель начинается с утраты воли к сопротивлению. В полином дневничке как раз и была записана выдающаяся мысль Родиона, что все доступно человеку в этой жизни, если только страстно желать, так страстно, чтобы и жизни самой не жалко стало при этом. У Поли не было никаких указаний, в какой стороне открывшейся дороги лежит спасительная, несомненно существующая лазейка, так что самое мелкое обстоятельство могло повлиять на ее решенье. Вдруг почудилось, кто-то машет ей черным рукавом с обочины дороги, и хотя знала, что это всего лишь нижняя ветка ели, раскачавшаяся под ветром, она послушно двинулась на зов... Четверть часа спустя Поля вышла прямо на задворки лесной деревушки, и это было первой маленькой наградою за ее упорство в достиженьи цели. Самое место не очень походило на Судовики; черней и горемычней Судовиков не имелось селенья в районе — не то что торговый и нахальный Шиханов Ям, соперничавший с самим Лошкаревом. В царские годы из здешних окрестностей поступала вся смола на енежское судостроительство — не зажиреешь от смоляных-то барышей! А тут и колоколенка маячила сквозь снегопад, и стройка выглядела побогаче, и уличный рядок вроде постройней, но зябкой тоской покинутых жилищ веяло оттуда. То ли ушли жители на восток, то ли побили их вчистую завоеватели по своим сверхстратегическим соображениям, но

только и протоптанных стежек не виднелось у колодцев. Луна услужливо подсветила на минутку, и девственные снега просияли, как на сусальной рождественской картинке. И тогда Поля с ребячливой благодарностью подумала о лесе, который, минуя опаснейшие кружочки осьминовского маршрута, прямиком вывел ее на Максимково. Это означало, что пройдена добрая треть пути и если бы дальше так же, то к полудню она смогла бы добраться до желанного сворота у часовенки в память о зарезанном купце.

— Вот мы почти и дома...— вполголоса подбодрила себя Поля, окончательно узнавая место.

Та ночная дорога проходила сквозь Максимково, но ничто на свете не заставило бы сейчас Полю проложить первый следок под перекрестным взором мертвых избяных окошек. Из-за этого преодоленье сугробов за околицей отняло у ней еще не меньше получаса... и все же на прямую магистраль она выбралась почти без запоздания против осьминовской наметки. Сейчас она могла бы безошибочно показать на карте свое местоположенье: ей удалось пересечь северо-восточный угол Пустоше́й, как раз под носом у блокпоста на десятом кордоне. Осьминов тем более ужаснулся бы ее удаче, если б узнал о размещеньи свежей полицейской части в избегнутых Полею Судовиках. Дальше перед нею открывалась раздольная просека старого тракта.

«Ну вот, ты поняла значенье риска в своем деле... но здесь был я,— ветвяным голосом на прощанье сказал ей лес.— Не серчай, кончилась моя услуга».

«Спасибо, ты добрый. Ладно, ступай назад»,— мысленно отвечала Поля.

Однако, пригнувшись, кусточками и по-пластунски лес проводил вихровскую дочку до самой насыпи. Когда сверху, стряхивая намерзшую наледь с чулок, Поля оглянулась назад, ничего не было позади, только помстилось сквозь дымку, кто-то мохнатый и большой с опушки кивал ей вдогонку из-под снежной колеблющейся лапы.

Теперь ветер бил в спину, итти стало легче и не так жутко. Даже разогрелась от ходьбы и еще больше от своих утешительных мыслей. Было хорошо сознавать, что вот шахтеры рубят сейчас свой уголек, а машинисты гонят длинные поезда сквозь пургу, и солдаты тоже делают не-

что положенное им по уставу, и она, Поля, вровень со всеми шагает вперед с порученьем такой государственной важности, что нет у ней ни времени упасть ничком от усталости, ни права замерзнуть на полдороге. Однако чем ближе продвигалась к цели, тем сильней понимала, как еще далеко оставалось до нее.

Несмотря на временное фронтовое затишье, то был главный проспект войны на Енгé. Поле неминуемо предстояло наткнуться на немецкий патруль, связную машину, на предателя, наконец, что оборотнем бродит от села к селу в поисках еще одной жертвы, которая, возможно, в случае недосмотра завтра же и казнит его самого. И тогда Полю отведут в неглубокое подземелье и, с пристрастием добиваясь истины, примутся калечить ее тело, портить ей лицо и глаза, не говоря уже о прочих обидах... И, в сущности, Поля была бы не прочь потерпеть немножко для родины — с условием, однако... чтобы все это произошло после свиданья с Родионом, когда он расскажет ей, как ему хотелось ее видеть, и сама насмотрится на него досыта! Так шла она всю ночь, похрамывая, об одной калошке, вслед за поземкой, катившейся по обнаженному местами булыжнику большака. Ей везло: за исключением автоцистерны с залепленным передним стеклом да трех мотоциклистов, со свистом проскользнувших мимо, никто не попался ей, не остановил ее за всю ночь. Сама себе Поля объясняла это тем, что вопреки усилиям полководцев война есть прежде всего громадный, взаимно организуемый — потому что с расчетом на максимальное разоренье — беспорядок, где самое невероятное становится возможным из-за нарушения логики налаженной, осмысленной жизни.

5

К утру снегопад постихнул, пушистая снежная пыль повисла в воздухе, и оживилось шоссе. Закутанные в тряпье, обычной походкой обездоленных шли бабы куда-то, волоча за собой непроспавшихся ребятишек, старики посохами изгнанников мерили русскую землю в дозволенном им радиусе. Вперемежку с пешими тащились крестьянские подводы, сплошь порожняком, и никто не задавался вопросом, почему иные на колесах выехали по зиме. Все

это двигалось ужасающе неторопливо, подобно струям в стынущей воде, но заранее расступалось и никло, вместе с лошаденками почти валилось на обочину, когда из туманца без гудков и огней выносились немецкие *оппели* или *бюсинги*. Тогда Поля, тоже по пояс в снегу, с интересом присматривалась к *завоевателям Европы*. Они мчались геометрически прямые, как бы не примечая прискорбных созданий природы, лишь по недосмотру *великой* Германии появившихся на свет, с той высокомерной печалью в лицах, что у недалеких людей происходит от сознания своего права убить любое встречное существо. Тут-то Поле и довелось вплотную познакомиться с обстановкой.

Так уж вышло, с утра привязалась к ней черненькая бездомная дворняжка, соблазненная хлебом, который Поля жевала на ходу. Гнать ее не хотелось, потому что вроде повеселей было вдвоем, да та и не выпрашивала ничего, а просто бежала рядком, колченогая, выказывая усердие и в расчете на человеческое благородство. Поля не услышала, как подобралась сзади открытая штабная машина, а сразу выпрямясь, оглушенная выстрелом, увидела близ себя дымящийся пистолет. Неизвестно в точности, была ли то военная проба пера перед началом утренних занятий или вообще собакам запрещалось пребывание на оккупированной территории, но только шавочка в растяжку уже лежала на снегу возле полиных ног и ни души не оставалось на шоссе шагов на сто в окружности. Как ни напрягала память на известные ей со школы иностранные слова, Поля так и не разобрала, что́ говорил ей стрелок, видимо офицер, потому что в высоком армейском картузе,— значит, очень смешное и похабное говорил, потому что все остальные в машине дружно вторили ему сытым мужским смешком.

— Зер гут...— на всякий случай сказала Поля, именно в отношении его меткости сказала и хотела бы прибавить еще кое-что, но воздержалась временно, а только улыбнулась с чуть дрогнувшей бровкой, и будь тот стрелок подальновидней, он побледнел бы от этой кроткой русской улыбки.

...Надо оговориться, все это время лес с обеих сторон пристально следил за продвижением Поли на запад; в наиболее опасные минуты опушка как бы невзначай подступала к самому тракту — стоило лишь метнуться туда с

разбегу. Никогда не был так чудесен лес, как в то прихваченное морозцем утро, полный причудливых аркад, колонн и статуй, что наточила вьюга в минувшую ночь. Розовато светились задние кулисы на просеках; солнце хоть и сияло по-зимнему, вполнакала, зато само оно было вдвое больше против обычного. Поле не составило труда догнать своих, опередивших ее спутников и раствориться среди них без остатка. Это было потому в особенности необходимо, что приближался мост через Енгу́. Он был деревянный и довольно узкий, немецкая времянка взамен железного, взорванного при отступленьи и теперь черневшего внизу, в слепительной целине речной долины. Прямо впереди Поли, под дощатым навесом на знойком юру, топтался иззябший часовой; он провожал прохожих ленивым поворотом головы, и Поле издали подумалось, что пройти по шаткой жердинке над пропастью было бы не в пример легче!

Из своего маленького житейского опыта Поля знала: нужно думать о постороннем, чтоб не выдать мыслей. Ей подвернулось приятное воспоминанье о крепдешиновом платьи в витрине одного московского ателье, почти по соседству с Архитектурным институтом. О, Родион никогда не разлюбил бы ее, повидай он ее хоть раз в такой обновке!.. К счастью, часовой закуривал, и, судя по стараниям, с какими он сберегал пламя в составленных гнездышком ладонях, спичка у него была последняя. Поля решила, что это обстоятельство спасло ее. Она уже спускалась на крутую тропку, в обход моста, когда услышала цыканье за спиной: часовой подзывал ее движеньем согнутого пальца. У Поли оставалось время оленьим прыжком метнуться в сугроб впереди, и тогда добрый енежский снег принял бы ее, простреленную на лету, в свои объятья: солдат был с автоматом, и с такого расстоянья нельзя было промахнуться. Сердце остановилось в ней... но вдруг ей вспомнилось прощальное наставление матери всегда, всегда итти навстречу страху, и она повернула назад.

— Гутен морген, пан,— одеревеневшими губами, с возможной в ее состояньи кокетливостью сказала она.— Какая неприятная, пронизывающая погода... Зато потом в наших краях бывает довольно теплая весна!.. Эс ист зер кальт, не правда ли?

Солдат не ответил. Выглядел он до крайности убогим в своей засаленной пилотке, примотанной к голове краденым полотенцем с красной крестьянской вышивкой. Зажав оружие подмышкой, даже не взглянув Поле в глаза, он развернул ее сверток. Нет, не партизанская взрывчатка, не зажигательные большевистские листовки интересовали его: он искал трофеев, что-нибудь вроде низанного жемчугом кокошника либо другой боярский предмет поценнее на память о московском походе. Похоже было, что, вертя в руках штопаное девичье бельишко, он размышлял о несправедливостях судьбы, мешавшей ему сейчас вместе с передовыми частями шарить в русских пепелищах. Разочарованье в его лице сменилось некоторым оживленьем при виде цветастых полиных варежек.

Приставив к ноге автомат, он одну за другой сдернул их с протянутых полиных рук.

— Гут...— одобрил он, поочередно напяливая их на посиневшие от стужи пальцы и осматривая со всех сторон, как это делают солидные люди при покупке.

— О, даже зер, зер гут!..— ослабевшая от радости, засмеялась Поля, и этот искалеченный — но вдвое милей! — мир впереди показался ей похожим на рождающийся цветок с алыми, чуть отогнутыми лепестками.— Битте, битте, эс ист зер кальт, абер данн фрюлинг коммт!..— прибавила она, ликуя, но только немножко пала духом при мысли, что уж нечем станет откупиться в следующий раз.

Ее окрылила эта удача: теперь у нее имелся двойной опыт общения с противником. Скользнула даже дерзкая мыслишка, что война — это совсем не страшно, и если начинать смолоду, то привыкнуть к ее голосу не труднее, чем к пенью петуха, будившего ее у мамы по утрам. Ей сразу стало все нипочем: бронетранспортеры и вереницы немецких грузовиков, торопившихся на передовую со всей их начинкой — с железными баками, снарядными ящиками, забавными манекенами в касках, словно наштампованными в прессах военной индустрии. В конце концов это было законное полино право итти в любую сторону по родной земле, итти и улыбаться просторам своей зимы, птицам вверху и этим сирым, в низинках, придорожным ветлам, что едва приметным покачиваньем ветвей встречали посланницу Москвы... даже коленка

ради такого случая перестала болеть. Правда, было что-то запретное в этой ненаглядной снежной красе,— за одно лишь любованье ею Полю могли повесить на веревке, ровно на такой длительности срок, сколько это возможно без нарушенья санитарных распорядков в оккупированной местности. Зато теперь, если доживет, будет у ней о чем порассказать внучатам... и для воодушевления живо представила себе, как те уже сидят где-то там, вкруг еще не выросшей рождественской елки и в нетерпеливом ожиданьи, пока бабушка добирается к ним своим неповторимым маршрутом.

Но вот остались позади и головешки Алтуховского Погоста, и часовенка по безвременно убиенном купце, откуда начинался сворот на Пашутино; вот объявились стоялые в безветреном воздухе, лиловатые на просвет дымы Шиханова Яма, а это означало полдороги; вот вошла в улицы прославленного села с разваленными по сторонам постройками, словно прогулялся по нему ростом до́ неба озорник с дубцом, кроша все направо и налево; вот миновала его почти насквозь, и ничего с ней не случилось, даже подумала, что одного эпизода с варежками маловато будет для той дальней рождественской ночи. Без подробностей был бы неполон полин рассказ, и она старательно запоминала и прорванные зенитными осколками кровли бывших богатейских хором, и как бы отдыхающую лошадь на снегу со страдальчески откинутой гривой, и помянутые дымки над отрытыми наспех крестьянскими землянками, и разграфленное по всем правилам немецкой похоронной эстетики воинское кладбище на горе, и неожиданное изобилие танковых следов, веером расходившихся из березовой рощи налево, даже — того единственного гражданина в демисезонном пальто, что с бездельным видом, будто и не война, прогуливался в ту минуту на выселках Шиханова Яма.

Он прошел мимо, скользнув по Поле таким скоромным взглядом, что несколько шагов спустя она вопреки благоразумию оглянулась и увидела, что и он тоже глядит ей вслед. Это было не очень хорошо, и в подтверждение дурных предчувствий он развязно поманил Полю пальцем, однако не стал дожидаться, как тот мерзлый барахольщик на мосту, а для верности сам пошел ей навстречу. Ему было лет около сорока пяти, с подпухшим

носом, верно, любитель посидеть в теплой компании, он жевал что-то, ничего угрожающего в его обличьи не сквозило, да и все равно бежать Поле было некуда теперь.

— Чего вам, дяденька?

С минуту он стоял бочком, косясь и дразня молчаньем.

— Далеко ли собралась-то, красавушка? — ласкательно осведомился он, не переставая жевать.

— Да вот к маме погостить собралась,— в тон ему отвечала Поля и наморщила носик улыбкой, как она это умела, но теперь ее заветный ключик не подействовал.— С голодухи плетусь... Как у вас тут с хлебом-то?

Тот и не подумал отвечать.

— Ишь ты! — и участливо покачал головой, а Поле впервые за всю дорогу стало так безнадежно холодно.— Неужто из самой Москвы прибегла? То-то и оно, все вы так... надурите, накомсомолите, а чуть припечет маненько, враз к мамашеньке под подол. Беда с вами, цыплятами неразумными... Где она у тебя проживает, мамаша-то?

— Она у меня в лесничестве Пашутинском живет...— жалобно протянула Поля, и все упало в ней, едва поняла ужас своей оговорки: часовня давно оставалась за спиной, впереди же поворотов на лесничество уже не было.

Однако тот и виду не подал: чутьем сыскной собаки он и без того заранее все знал о ней. Время от времени, подкидывая что-то из горстки в рот себе, под сивые усы, он слушал сбивчивые полины описания пашутинских мест в доказательство, что здешняя.

— Ну, тут тебе рукой подать, к ужину доберешься. Плохо, поди, в Москве-то?

— Да как вам сказать... неважно, дяденька. Истомились все жители!

— Мало сказать истомились. Издаля́ сердце кровью обливается на ихнее страдание. И сама-то, поди, закоченела вся от стужи. Ну-ка, пойдем ко мне в избушку, красавушка, я тебя подсогрею...— прибавил он со звенящей лаской палача.

Это был единственный вариант провала, не рассмотренный в обстоятельных осьминовских инструкциях. Поля изо всех сил попыталась заплакать, но, как ни старалась, слезы вовсе не пошли из глаз.

— Да ведь я тогда, дяденька, к маме не поспею... Боюсь, ночью лесом-то ходить.

— Вот мы оттудова прямо к ей на пироги и двинем, красавушка. Небось заждалася, все глазыньки изглядела в окошко...

Он взял полину руку в липучее костяное кольцо и повел назад, послушную, помертвевшую. И хотя теперь в особенности следовало Поле запоминать подробности приключения, ничего у ней не сохранилось в памяти для внуков: как она шла те проклятые триста шагов в обратную сторону, и о чем по дороге так мирно беседовал с нею предатель, и как выглядела снаружи местная тюрьма, куда и сдана была Поля под охрану пожилого немецкого часового, уныло сидевшего на приступке крыльца в больших соломенных калошах.

— Ой, мелко пашешь, плохо, девонька, работаешь... Такое дельце поглаже надо выполнять,— ни на мгновенье не переставая жевать, сказал предатель напоследок.

— Ну пусти, пусти же меня, упырь! — сквозь закушенные губы шептала Поля, ноготками и до заноз царапая дверь, запертую на засов.— Да ты русский, скотина ты сивая, или нет?

В ответ послышался затихающий скрип снежка: тот, в демисезонном пальто, отправился докладывать по начальству о поимке подозрительной девчонки, чтоб покарало ее по заслугам, его же самого вознаградило бы чином какого-нибудь внештатного обер-пса во всемирной будущей Германии.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

Покойный отец Демида Васильевича воздвигал свой амбар не столько для хранения расхожего простонародного товара, сколько для отдохновения души: от воров можно было оберечься вдвое дешевле. То был настоящий опорный бастион капитализма на Енгé, с низковатой дверцей, перекрещенной полосовым железом, без единого окна, зато с уймой закромов и потайных закуток. Перед

смертью старик частенько забредал сюда при закате ради последней жалкой утехи — погрузить руку по локоть в прохладную пшеницу, колкий овес, жирноватую гречку и щупать, щупать плененные ростки жизней во утоленье той смутной тоски по власти, тишине и бессмертию, какую иные лечат прикосновеньем к злату, святыне или жаркому подневольному телу. Там в былое время поверх ларя, на возвышеньи, хранился также черный, заблаговременный гроб, венчавший золотухинские раздумья о тщете человеческих надежд... Осенняя вода, проточившая крышу в ненастья семнадцатого года, частая смена нерадивых наследников и, наконец, ночные посещения хозяйственных соседей, не оставивших и гвоздя в стенке, превратили золотухинскую крепость в щелястый, кое-где без полов сарай. Снежный полдень светился в дырах, низовой сквознячок шевелил сухое былье на земле.

Минуту Поля стояла, как ослепленная, потом наощупь прошла в дальний угол. Под пальцы попался обиндевелый столб и хомут на крюке уже со срезанными вором ремешками. Чуть правей нога нашарила ворох мякинной трухи, здесь всего удобней было прикорнуть в ожиданьи дальнейшей судьбы; лишь теперь дошло до сознанья, как же она закоченела с усталости. Место оказалось занято: наступила на чужую руку. Кто-то спал там, раскинувшись в полную волю. Поля отоптала синий снег, надутый сквозь щель в гнилом венце, свету прибавилось: человек был молодой, призывного возраста, он не проснулся. И не то поразило Полю, что спал при такой стуже в одной гимнастерке да еще с порванным воротом, а то, что у него было голубое лицо: это был иней.

Мальчишеский простуженный голос сзади подтвердил ее догадку:

— Не трожь его, пускай лежит... Он помер.

Голос раздался сверху, с уцелевшего ларя, но хоть немножко и освоилась с потемками, ничего различить там не могла.

— Кто ты там?.. что там делаешь-то?

— Вот дожидаюсь, как чай пить позовут.— И теперь возможно стало понять, что пареньку от силы лет тринадцать, не больше.— Иди, залезай ко мне сюда, застынешь на земле-то. У меня брезент, я надышал, хорошо.

— Ладно,— подумав, сказала Поля и стала цепляться во мраке, за что придется.— Где ты тут? Ну и парень тоже, хоть бы руку протянул... изорвешься вся.

— Ты разговаривай поменьше, а то петь будет нечем.

Кое-как она взобралась к нему на ларь, наконец, и он впустил ее к себе, только поежился, как от ледышки. Поля узнала наощупь, что он был и без шапки. С головой укрывшись брезентом, они сперва долго и старательно дышали, чтоб наверстать упущенное тепло. Что бы ни случилось дальше, Поле пока везло. Разумеется, бесконечно горько было, что зря понадеялись на нее — и Красная Армия, и вся страна, и лично товарищ Сталин, но раз уж оступилась, надлежало, во-первых, духу не терять, как учил ее Осьминов, а во-вторых, незамедлительно знакомиться с окружающей обстановкой, чтобы искать выход из создавшегося положения.

С холоду никак не давалась ей речь, паренек сам пришел к ней на помощь:

— Тоже небось взрывать что-нибудь ходила?

— Нет, я просто к маме наведаться шла.— Несмотря на то, что было совестно платить такой неблагодарностью за доброе, по-братски разделенное тепло, Поля по возможности живописно повторила свой рассказ о разрушениях советской столицы.

Тот понял, не обиделся, больше не расспрашивал, лишь вздохнул, проявив преждевременную, обычную в годы бедствий мудрость детей.

— Ничего, Москва-то отстроится, как наши после войны поднажмут,— поспешила утешить она, сжалясь над его подавленным молчаньем.— Хлебца не хочешь? У меня есть с собой...— и оторвала за пазухой от краюшки.— Кто там лежит, внизу-то?

— Не здешний. Видать, тоже к маме ходил, да заблудился...— усмехнулся мальчик, но принял полин хлеб.— Он уж не разговаривал, когда впихнули: видать, с нутром отбитым... А хорошо, теплый хлеб-то!

Поля помолчала с зардевшимися щеками: представилось вдруг, что и с нею поступят так же.

— Сам-то давно тут?

— Да уж вторые сутки.

— За что попался-то?.. поджег что-нибудь?

— Не, я Гитлера страмил.

— О, это хорошо! Письменно или устно?..— почтительно спросила Поля,— как же ты его страмил?.. неужто вслух?

— Зачем, я его на бумажке... на танки ихние наклеивал. Поплюешь, она по морозу и пристанет. Они потому и догадались, что линованная, в клеточку.

Поле очень хотелось по праву старшинства хотя бы дельным советом помочь ему в несчастьи:

— Тогда не признавайся: не один же ты школьник в Шихановом-то Яму.

— Ну, обманешь их... кроме меня некому, я тут главным заводилой на весь Шиханов Ям считаюсь. То, бывало, замок водой приморозишь, а то сажей окошко покрасишь... я уж больно смешливый был.— Он оживился: — А то еще интересно бывает перышко на нитке в трубу спустить.

Хотя он вел себя достойно в отношении врагов, тем не менее был моложе Поли и, следовательно, нуждался в ее наставлении.

— Вот это неправильно ты поступаешь: комсомолец должен всегда образец показывать...— сказала она голосом Вари, и тут же не удержалась от любопытства: — А что тогда получается, если перышко-то спустить?

— Что! Ну, суеверие тогда вспыхивает... одним словом, религиозный пережиток. Ведь оно сверчит там... Ты попробуй только, обсмеешься.— Он заметно поежился от холода.— Да ведь я и не состою в комсомоле-то...

— Вот сам видишь теперь, сколько у тебя из-за этого ошибок,— убежденно зашептала Поля.— А в нашей организации ты сможешь больше принести пользы родине... понимаешь? Советская молодежь должна итти в авангарде освобождения трудящихся, а не пустяками заниматься, как ты. Чего молчишь, стыдно?.. разве неверно я говорю?

— Нет, верно, в одиночку много не наработаешь,— не сразу согласился паренек.— А только у нас в роду все беспартийные. Отец чахоточный, и мать тоже, ее еще до немцев схоронили, а сестренке пятый годок всего. Шихановские бабы ужасть как меня не любили... Я одной чурбачок в трубу спустил, так, веришь ли, два часа за мной гонялась...— И вдруг заключил со зловещей и важной уверенностью: — Ничего, теперь-то уж полюбят!

Все это время Поля чувствовала горячее дыхание мальчика на своей щеке, вместе с дыханьем передались и мысли. И такие черные были его мысли, что Поле вдвое холодней стало от их черноты. Значит, напрасно мечтала бронзовые ворота строить при коммунизме или, скажем, леса на земле сажать, насчет чего еще не приняла окончательного решенья... и, значит, этот мальчик был старше, потому что знал о ее будущем больше ее самой.

Сердце в ней сжалось, она пустилась на ребячью хитрость для проверки:

— И как же, колотили они тебя?

— Чего ж им меня колотить... глупая, рази за это колотят? А ты уж думала, небось, посекут побольней, да и выпустят? Не-ет, брат, за это не секут,— сказал он с озлобленной гордостью: кажется, ему льстило, что, в сущности, его одного вторые сутки караулит настоящий, хоть и пожилой, сортом пониже, но в общем вполне исправный фашист.— Дрожишь-то... струсила?

— Сказал! ...совсем и не дрожу. Просто согреться не могу: до последней косточки прозябла...— Она выпростала голову из-под брезента и поворочала затекшей шеей.— А ты считаешь, что они *застрелят* нас?

С его стороны было великодушнее вовсе не отвечать на такие наводящие вопросы, а Поля поняла, что он не только старше, но и сильней ее. Она не видела его лица, но чудилось, что-то было в нем, в самом строе речи его, сродни и Родиону, и тому комсомольцу на отцовской лекции, и Сапожкову, и Володе Анкудинову... только этот был самым младшим по возрасту в их обширной семье. Верно, и у него такие же прищуренные глаза и усталый, чуть брезгливый рот,— у него тоже были основания презирать тысячелетний распорядок в мире, где ничто не обходилось без пролития детской крови. Через десяток неуловимых промежуточных мыслей это в свою очередь приводило Полю к столь же туманному заключению, что прежде, чем наступит рассвет на земле, на ней должны смениться поколенья строителей и воинов, гигантов с железными сердцами, беспощадных к самим себе и упорных, как бур или плуг с наваренной на лемеха мечтою.

— Этот, что привел-то меня сюда... он полицай, что ли?

— Не, он тут в райпотребсоюзе заведующим служил... перед самой войной от суда сбежал. У него мыши пятьдесят пудов изюму съели. Теперь все ходит, ищет чего-то: знать, веревку, на которой повесят его, суку... всю избу у нас перешерстил. Витаминов у меня было собрано кила два с половиной... ну, знаешь, ягоды с шиповника! Так сапогами растоптал. Ты, говорит, ихний пособник, для Красной Армии припас... а до витаминов ли ей сейчас, дурак!.. Боюсь, на огороде не раскопал бы: сестренка тогда без присмотру останется.

— Уж теперь не раскопает: мороз. А что у тебя там, на огороде?

— Склад у меня,— понимаешь, военного имущества. Я на дорогах подбирал... обоймы разные, ручки заводные от машин, одних лимонок штук не меньше сорока. Эх, была бы парочка под рукой, я бы угостил подлеца одного тут! Офицер *ихний*...

Как бы спазм примирения, как у всех ребят после слез, прошел по полину телу,— ей стало тихо, почти тепло, даже забыла про больную коленку и, кажется, примирилась с мыслью, что умрет не от пули.

— А что, тоже зверь? — спросила она сквозь дремоту.

— И не скажешь на первый-то взгляд: даже на губной гармошке играет, а какой-то изнутра поломатый. Страсть любит кошек жизни лишать... И, заметь, птицу ведь не тронет, и старушка какая встренется, тоже пропустит, а вот кошек не может спокойно видеть. Как замурчит, заластится к нему, тут он и хряснет ее чем пришлось... припадет потом и глядит, палкой не отгонишь. Я думал, может, шкурки копит... им теперь, фрицам-то, весь шар земной заместо утильсырья! А нет, просто из интересу, оказывается. К такому попадешь — разрыдаешься. Тут у нас девчонку одну вешали, московскую, так он...

По счастью, Поля не слышала конца его повести: никогда не спала так крепко, и ничего ей не снилось в этот раз.

...Ее разбудил толчок, как от прикосновения к электрическому проводу. В открытой двери синел снежный вечер и стоял нерусский солдат. Вдруг все вспомнила и поняла, что это за нею: значит, ей в конечном итоге принадлежало старшинство. Вылезла из брезента и бабьим движеньем оправила сбившийся шерстяной платок на

голове. Нужно было что-то сделать на прощанье, как в подобных случаях поступают взрослые. Наугад сунулась губами во мрак, они пришлись прямо в бровь паренька.

— Возьми хлеб-то, пригодится. И насчет комсомола подумай...— сказала она, стиснув зубы, чтоб не стучали.— Ну, смотри тут без меня...

Он свесился к ней, пока, не чувствуя заноз и царапин, Поля кое-как спускалась с ларя:

— Ничего, во мне героизьму хватит, сама-то держись. И глаз завязывать не давайся: тебе-то уж все равно, а им страшней... не давайся! Во́, мол, у нас какие: все на подбор...

...Солнце давно село, поднимался серпик луны. Конвоир повел Полю меж высоких голубых сугробов. Она не знала, куда и зачем, понимала только, что вот близится та решающая, неотвратимая минута, когда вся предшествующая жизнь кажется лишь подготовительным разбегом... и затем наступает стремительный самоотреченный полет, высотой и длительностью которого мерится ценность человека. Теперь, когда не нужно стало, все подряд мелким почерком писалось в памяти. Так из-под горы доносилось гуденье застрявшего в снегах грузовика: надорвется, отдохнет и снова тужится, вроде мухи на липком листе. Два завоевателя, тугие и красные с мороза, настоящие подосиновики, вели худющую крестьянскую корову на разделку; третий, щуплый и горемычный человеко-ersatz, подстегивал ее сзади прутиком в знак того, что имелась там и его доля. И хоть бы кто-нибудь *свой* попался по дороге!.. Свернули в безлюдную сосновую рощицу, и тут конвоир воровато огляделся, придержав Полю за плечо. Она как раз чесалась, мучил ее перемежающийся по всему телу нервный зуд; только это и спасло ее от конвоира, питавшего, несмотря на военную службу, паническое отвращение к насекомым. Да тут из траншейки налево, к еще большему неудовольствию конвоира, выскочил раздетый денщик с большим термосом.

— Mach, dass du fortkommst [1] — с досадой проворчал конвоир.

О, как же ей везло пока!..

---

[1] Убирайся!

Глубокий ход сообщенья приводил к землянке, самой надежной и нарядной из попавшихся по дороге. Входя, черпнула снежку в горстку — чтоб не одной! Просторные сенцы были разделены перегородкой из тонкой, неошкуренной березки; за дверью, налево, оказалось двое. Один, помоложе, в расстегнутом кителе и с руками под затылок, лежал на койке у стены, задумчиво уставясь в низкий бревенчатый накат. Другой, с зачесом через лысину, отзывался на слово *лянгер* и, правда, выглядел несколько длинновато, но неизвестно, была то кличка или фамилия; он через плечо цыкнул на солдата, и тот исчез, произведя хрустящий разворот на месте. Без единого слова и не щадя рук, лянгер обыскал помертвевшую Полю, пощупал и зубы — не отвинчиваются ли, отверткой добросовестно искромсал каблуки; потом, приняв глянцевитый вид, словно его враз целлофаном обернули, понес за дверь остатки полина имущества. И лишь когда он ушел, ею овладел такой гнев пополам с горьким стыдом и ненавистью, что хоть бы сразу на виселицу. Она еще не знала, какими словами, но только в ту минуту уж у ней хватило бы силенок отчитать их досыта, чтоб запомнили курносую московскую девчонку!

Однако, по мере того как текло время, цепенящая тоска все сильней овладевала Полей. В брошенных на столе наушниках мирно играла мечтательная немецкая музыка. Снежок тоже давно растаял в ладони. И тут внезапно открыла, что *это* происходит не так просто, что между жизнью и смертью может случиться неопределенной длительности боль и, если только не дадут передышки, эта долгая боль задушит в ней все, что так бережно растила в себе сама Поля и ее ближайшие наставники. Таким путем она пришла к заключенью, что легче всего умирать на бегу, и, наверно, Поле удалась бы ее затея: теперь ее, босую, догнала бы лишь пуля. И так сильна была ее решимость, что лежавший вдруг приподнялся на локтях с койки и вопросительно поглядел на пленницу. Вскоре затем воротился лянгер и многообещающим наклонением головы пригласил девушку проследовать сперва назад, в сенцы, и дальше, в смежную дверь.

Если не обманывало предчувствие, за той дверью Полю поджидал верховный вдохновитель всех людских не-

счастий, старый мир... не сам, конечно, а его полномочный представитель, и, по совести сказать, Поле давно хотелось взглянуть на него глазком, но только она рассчитывала сделать это в более безопасной для жизни обстановке.

2

За полгода Поля успела до мелочей обдумать предстоящую встречу, но все оказалось иначе, чем в ее предположеньях. *Там* ее допрос происходил летом и днем, а *здесь* — в преддверьи зимней ночи. Вместо веселой русской избы с пестрыми от солнечных бликов половичками и спасительным выходом в окошко ее ввели в глухой блиндаж, залитый светом злого белого аккумуляторного шарика, почти в могилу... впрочем, сразу затеплилась утешительная надежда, что вряд ли станут портить кровью такой дорогой пушистый ковер на полу. *Там,* в воображении, людей было множество и с жабьими лицами, как всегда рисовали на советских плакатах врагов человечества, здесь же, наяву, сидел всего один, пахнувший хорошими духами сквозь табак. Опять же нигде по углам не виднелось никелированного пыточного оборудованья или чего-либо пугающего, а только прикрытая пледом постель за ширмой и над нею не что-нибудь развратное, а, напротив, овальный портрет благообразно-печальной пожилой дамы в трауре. На просторном без ящиков столе, вроде чертежного, на расстеленной карте находился стакан остывшего кофе рядом с пистолетом вороненой стали и две отобранные у Поли при обыске вещицы, мамина карточка в том числе. Но больше всего насторожило Полю, как дурное предзнаменованье, что ее не втолкнули смаху к сапогам истязателя, как это описывается во многих повестях, а только велели сесть на один из чурбаков близ стола, прикрытый зеленоватой тканью военного назначения. Объяснялось это не общепринятым правилом вести допрос с постепенным вводом более сильных средств дознания, не снисхождением допрашивающего к полу или цветущему возрасту жертвы — у него уже имелись коекакие навыки разговора с русскими девчатами, а исключительно его же личными интересами, достойными некоторого внимания.

В своей воинской части этот офицер занимал довольно крупную политическую должность, по сложности обозначения столь же недоступную пониманию смертных, как чины ангельские в небесной иерархии,— что-то вроде *обер-штурмбанхоф-динст-фюрер* и, может быть, даже чуть повыше. На лошкаревский участок фронта его танковая дивизия прибыла прямо из Франции, добивать Москву с северо-запада, и таким образом завершался круг его давних стремлений: несмотря на приятности французской жизни, он немножко скучал в Париже. Впрочем, это не было презрением солдата к легкой войне, где поэзия смертельного поединка снижается подкупом высокопоставленных лиц или заблаговременным сговором заинтересованных буржуазий. Нет, не солнце современного Бородина с протуберанцами советских *катюш,* не блистательная возможность послушать вплотную великолепное *ура* русских атак привлекли его сюда; его манили не сувениры с чернобурыми лисицами, не опасный исторический соблазн постоять с задумчивым видом на зубцах кремлевской стены, не обещанное ему фюрером поместье в Алазанской долине, на Кавказе, вряд ли также — возможность безнаказанно поразвлечься в оккупированной стране способами, предосудительными даже в притонах Западной Европы. В отличие от своих менее образованных, порою низменных сослуживцев он ставил себе задачей научное осмысление русских дел.

Со школьной скамьи его волновали географические открытия, колониальная романтика, в особенности же загадочное восточное пространство с его незаметным переходом от безумных снегов в палящий зной срединной Азии. Возможно, он и стал бы путешественником, выдающимся собирателем тяньшанских мошек или сарматских антиквитатов, если бы к годам его зрелости в указанном пространстве не возникла заразительная идея всечеловеческого возрождения, грозившая перехлестнуть и на соседнюю Германию. Пожалуй, ничто так не повлияло на выбор ремесла этого изысканного и начитанного юноши, как ненависть к социализму, в свою очередь происходившая из боязни утратить родительскую фабричку — всего лишь пуговиц, но не просто этих круглых пустячков для закрепления одежды на надлежащем месте, а идеальных немецких вещиц в *себе,* крохотных и общедоступных

шедевров капиталистической цивилизации. Компатриоты и руководящие политические мыслители, происходившие из фабрикантов или торговцев, полностью разделяли настроение пуговичника. О, разумнее было бы просто стерилизовать указанное пространство к востоку от Вислы с одновременной *сутанизацией,* как они называли насильственное лишение жизни, всего живого, что хотя бы дыханием соприкасалось с большевизмом... но было сомнительно, чтобы жертва добровольно подчинилась такому мероприятию. Здесь и возникла мысль о московском походе, названном генеральной битвой за свободу и культуру, так как неловко было призывать нацию к пролитию крови за частное пуговичное производство.

В глазах этого офицера все прежние неудачи военного освоения России проистекали из невежества завоевателей, изучавших калибры ее пушек и численность гарнизонов вместо проникновения в наиболее сокровенные духовные тылы. Путем самостоятельного мышления офицер пришел к выводу, что в крепостях важна моральная начинка их защитников, а не толщина кирпичной кладки, за которой они укрываются. Задолго до войны он проштудировал историческое прошлое намеченной страны, уклад народной жизни, даже строй ее песен и характер обрядов, причем в языке русском навострился не хуже иных наших филологов, что обучают школьников, к примеру, писать *при заключенье,* не разумея заключенного здесь насилия над русской речью. Он даже отыскал корни знаменитого, начиная с 1917 года, московитского смутьянства в национальной склонности поразмяться кулачным боем от избытка здоровья и суровостей континентального климата, а зачатки идеи о всемирном объединении трудящихся усмотрел в объединительной политике средневекового Московского государства. Однако все ускользало от пытливого офицера какое-то главное знание, не помеченное ни в антикварных изданиях, ни в сплетнях перебежчиков, ни в донесениях разведки. А оно было разлито в самом воздухе двадцатого столетия и заключалось не в стремлении досадить пуговичным фабрикантам, а в извечной склонности простых людей жить мирно, сажать деревья и так растить сынков, чтоб по возможности тешили их старость, а не проклинали бога и матерей, повисая грудью на колючей проволоке.

Но и после стольких проявленных усилий Россия попрежнему казалась дремучим лесом этому вдумчивому и деятельному офицеру. Он без сожаления поднял бы на воздух эту страну, так как для разочарованного собственника весь шар земной — сравнительно недорогая плата за пуговичную фабрику, и, надо сказать, несмотря на краткость пребывания под Москвой, уже достиг кое-чего в этом отношении. Однако, стремясь сочетать свой жестокий классовый долг с извлечением научной пользы, он своей обязанностью полагал, кроме руин в России, оставить хотя бы беглое ее описание, этакий Querschnitt в подарок отдаленным немецким докторантам, чтоб избавить их от труда раскопок и домыслов. С этой целью он и вел регулярные дневниковые записи о своих непосредственных впечатлениях от людей и зданий с приложением фотографий, как они выглядели до и после встречи с ним. Разумеется, Поля не представлялась ему сколько-нибудь ценным собеседником, но наиболее умные соглядатаи предпочитают как раз у детей расспрашивать дорогу к заветным родничкам... потому-то офицеру и не хотелось пока ни пугать девчонку, ни причинять что-либо могущее затруднить ей самое словопроизношение.

Ему было за сорок; тень непоправимого, не только интеллектуального утомления лежала в его глубоких, настолько глубоких глазницах, что до самого конца Поля так и не сумела различить его зрачков. Зато у него были волосы отличного цвета пивной пены, спортивная выправка штабиста и благородный арийский череп даже несколько улучшенного образца, чем это требовалось для прохождения политической карьеры. Крылатая эмблемка вермахта виднелась на его впалой груди... и вообще было в нем что-то от своенравных голенастых птиц, что имеют скверную привычку клевать в лицо без предупреждения. Словом, Поля поняла, что она умрет сегодня же, если не сумеет обмануть, отвлечь, задобрить его с помощью скудных чар, имевшихся в ее распоряжении.

Попеременно воспламеняя и туша зажигалку в пальцах, офицер долго глядел на Полю, пока та не побледнела в желательной степени. Разговор начался со взаимного ознакомления.

— Ничего не бойся. Все будет очень, очень хорошо. Возьми место. Как зовут?

— Аполлинария,— отвечала Поля, облизав пересохшие губы.— Вообще-то говоря, это довольно редкое имя, но бывают и еще более редкие... Аполлинария Вихрова.

— Аполлинария... так-так.— И, как бы пробуя на вкус, почмокал губами.— Сколько лет?

— Восемнадцать. Я уж в институт поступила... только пока не окончательно выбрала себе специальность. Имеются разные внутренние соображения...

Она отчетливо понимала, что умрет сразу после того, как наскучит офицеру или перестанет говорить, и, кроме того, рассчитывала, что он заинтересуется, в какой поступила институт и какие у нее насчет этого имеются соображения, но желательного варианта не получилось.

— Это очень хорошо. Благодарю вас, Аполлинария. Кто отец, мать?

— Мама моя является фельдшерицей, то есть лечит больных. Что же касается отца, то он работает по лесному делу, профессором... только не совсем удачно: всё ругают! Ну, ведь ясно, кто в лес пошел, на того и шишки валятся.

Кроме соответственной улыбки, она попыталась подкупить германского офицера перечислением отцовских злоключений, случившихся при советской власти; он выслушал ее с заметным напряжением, потом нетерпеливо постучал зажигалкой в стол.

— Это потом, потом. Очень хорошо. Ты идешь из Москвы, так. Кто ты?

Поля сочувственно закивала ему:

— Я и сама больше всего боялась этого недоразумения, но я все объясню, если у вас хоть капелька терпеньица найдется! Я совсем кратенько, минутки в три или в четыре, постараюсь уложиться... можно?

Офицер глядел и молчал, как бы предоставляя пленнице любое время, и тогда самый пол качнулся под ее ногами, причем такое отчаяние отразилось в полином лице, что офицер счел необходимым успокоить ее для достижения наилучших результатов.

— Ничего, ничего,— усмехнулся он.— Очень хорошо. Я всегда имел желание, чтобы самолично глядеть Москву, также остальная Россия. О, эти замерзлые реки, этот удушливый жар песчатых степей, где так недавно много харчевников разводило огонь своих костров. Здесь

лето дает нам драматичны, томительны ландшафт загорающих лесов. Пожалуста, не бойся.— Видимо, он понимал стесненное состояние сидевшего перед ним существа и, идя на помощь, ткнул пальцем в крылатую эмблемку на груди.— Я есть Вальтер Киттель. Я тоже имею две сестры: Урсула и Лотта. Они такие миловидные, как ты. Я часто вижу в сне, как они ходят в саду, певая, украшенные цветами. Тихо, устало.

Конечно, семейные сведения такого рода надлежало принять с особой благодарностью, как признак доверия и расположения.

— Значит, у вас даже zwei Schwester? O, das ist sehr gut![1] — охотно поддержала Поля, потому что дело как будто оборачивалось на лад.— Это очень красивые имена. А ваши сестры тоже чем-нибудь... занимаются?

— О, благодарю вас! — заговорил Киттель, со скрипом растягивая некоторые полюбившиеся ему русские слова.— Урсула занимается созданием искусства. Главная особенность ее картин является объединение человеческого тела и мысля, сохраняя строгое равновесие, так благоприятное для художника. Вначалу она стремилась уравновесить различны стремления в области стилей, после пришла к исканию гармонии красок, наблюдаемые у природы. Ее живопис обнаруживается с вибрирующей интенсивностью, он дышит всегда полнотой хроматических аккордов... понятно? И потом созерцательное углубление... также передача атмосферических явлений. О, преданность природе всегда согревает и влияет на мир немецких образов!

У немецкого офицера оказался вообще свободный вечер, кроме того, он был крайне привязан к своей сестре Урсуле, хотя и Лотту любил не в меньшей степени, и, наконец, ему просто доставляло удовольствие так лихо, без зазрения совести шпарить по-русски. Разнежась воспоминанием, он полувопросительно протянул своей пленнице пачку наилучших немецких сигарет.

— Ну, что вы!..— сконфузилась Поля.— Я еще не научилась... да у меня и мама не курит, хоть и медработник. Никотин... он очень вредно отражается на сосудах головного мозга!

Вальтер Киттель покровительственно улыбнулся:

[1] ...две сестры? О, это очень хорошо!

— В таком случае, может быть, немножко вермут, рум?.. Сегодня так зимно. Nein? Na, dann nicht...[1] — Не подымаясь, он дотянулся до низкого столика у постели, раскрыл зеленую, с золоченым рантом коробку и деликатно, кончиком мизинца, указал на одну, самую верхнюю, причудливой формы конфетку.— Возьми это. Здесь питательны немецки шоколад.

— Да право же, мне ни капельки не хочется,— сопротивлялась Поля, как могла.

— Пожалуста. Ну так возьми. Аполлинария.

Повисшая в воздухе коробка начинала дрожать, и вдруг Поле почудилось, что Осьминов с суровым лицом утвердительно, сквозь леса и стены, кивнул ей откуда-то из глубины страны. Она взяла этот черный квадратик с еще незнакомым ей трепетным чувством измены и даже надкусила с краешка, так и не заметив ни формы, ни вкуса начинки.

— Вот, danke schön[2]. Очень вкусно... я никогда не ела хороший немецкий шоколад,— по возможности непринужденно сказала Поля.— Скажите, а другая у вас сестра — тоже художница?

— О, Лотта есть совсем небольшой ребенок. Нежны цветок на вулканичном грунте, где мы живем. Но Урсула велики художник от нового времени.— Он чиркнул зажигалкой и долго глядел на бездымный язычок огня.— Ты больше любишь штриховое или, нет, бликовое искусство?

— Да, пожалуй, лично я как-то больше бликовое люблю...— наугад призналась Поля и с ужасом проглотила, наконец, откушенный и полурастаявший во рту кусочек фашистской шоколадки.

Кажется, ее симпатии в изобразительном искусстве не совпадали со взглядами офицера; по счастью, это пока не влекло дурных для Поли последствий.

— Да-да, бликовое всегда имеет более обширное публикум. Так-так. Все будет хорошо. Ничего не бойся,— и потушил огонек.— Теперь, пожалуста, скажи. Аполлинария. Зачем оказалась в расположении немецкой танковой части? — И оттого, что Поля подавленно замолкла,

---

[1] Нет? Ну что же.

[2] ...благодарю.

с торжествующим видом надвинулся к ней через стол.— Ну, Москва, скажи так... ну?

Это был его первый неожиданный клевок, причем на этот раз фраза далась ему без всяких усилий; возможно, впрочем, что временами Поля и сама переставала замечать несообразности его русской речи.

— Да нет же, я там просто мимоходом оказалась. И это верно, что я из Москвы, но только теперь из-за налетов все из Москвы бегут, совсем от работы отбились... Просто schrecklich, совсем schrecklich! Я и сама, как нашу жилплощадь разбомбили, целую почти неделю по подвалам скиталась... чуть не заболела. Да еще и хлеба не выдают! Меня тоже взрывной волной так хватило, часа два замертво провалялась на снегу.— И, побольше воздуху заглотнув, завела обстоятельный рассказ о горящей, осажденной, разметанной в клочья советской столице.

Так ей пригодились личные впечатления от прямого попадания авиабомбы в Благовещенский тупичок. Сознание, что это полезно для дела, заставляло ее придумать весьма замысловатые картинки московского разгрома, посильно украшая их подробностями, способными удовлетворить самое нетерпеливое воображение в Германии; в особенности удалось ей описание, как пробиралась среди дымящихся обломков и сквозь обезумевшую толпу беженцев. Она не пощадила даже своей любимой кремлевской колокольни, долговязого Ивана в золотом шишаке, свалив его прямо в реку... хотя и не было уверенности, достанет ли он до воды при паденьи. Господи, да самый камень уразумел бы, будь он с сердцем, что ничего больше не оставалось Поле, как ринуться напролом, сквозь сугробы и заставы, сюда на Енгу́, в тепло материнских коленей. Вполне уместно она и всхлипнула под конец, без слез пока, лишь бы Киттель не отсылал ее назад, под страшное московское небо... и вдруг ощутила на себе его пристальный, изучающий взгляд — с тем же ужасом, наверно, с каким малявочка на предметном стекле различила бы, если б смогла, мерцающий глаз над собой в тоннельной тубе микроскопа.

— Это неправда. Аполлинария,— жутко и печально сказал Вальтер Киттель.— Скажи теперь. В каком месте находится твоя мать?

— Ну... она совсем недалеко тут, в Пашутинском лесничестве живет. Господи, это мама-то моя — неправда?

Можете хоть проверить, тут ее все знают. Вон и карточка ее у вас на столе... разрешите, я назад ее возьму? — И, осмелев, протянула руку — не затем, чтоб взять, а чтобы по отказу или дозволению офицера понять его намерения в отношении себя.

Не отвечая, он посдвинул кольт на столе и среди необъятных Пустошей нашарил карандашом крохотную пашутинскую точку. Потом вывел графитное острие вверх по шоссе и поднял глаза на Полю. Тогда она смятенно удостоверилась, чем именно погубила себя. Офицер тоже знал, что на Пашутино нужно было сворачивать за добрую четверть часа от места, где произошел ее арест. На дальнейшем отрезке переставала действовать ее легенда, и теперь только чудом можно было избегнуть казни.

— Ну, значит, вы меня не поняли тогда, господин офицер, ich wollte zu meine Mutter kommen... es ist so schrecklich dort in Moskau von deutschen Bomben. Und ich war schon in Walde, aber ein alter russischer Mann mit lange weisse Bart hat mir gesagt, dass sie hier, in Schichanow Jam, zu eine kranke Frau gefahren ist!.. [1] — она запуталась в спряжениях, как на уроке, выдохлась и замолкла.

Он выслушал ее, морщась как от зубной боли:

— Nein, Аполлинария. Лучше надо по-русски.

Тем не менее, стремясь довести исследованье до конца, он позвонил. И тотчас же появился тот лянгер, что обыскивал Полю. Она сжалась и втянула голову в плечи, готовясь к худшему, но опять ничего такого не произошло, а лишь последовало отрывистое приказанье, в котором нельзя было разобрать ни слова, кроме последнего и властного *schnell*! [2] уже вдогонку.

— Das ist nicht wahr. Это неправда. Не надо немецки, лучше русски. Аполлинария,— со скукой повторил Вальтер Киттель.— Это называется наложить тень на заборе.

С минуту затем Вальтер Киттель разглядывал карточку полиной матери.

— Скажи. Аполлинария. Это твоя мать?

— Да, ее Еленой Ивановной зовут.

---

[1] ...я хотела итти к моей матери... Там, в Москве, так страшно от немецких бомб. И я была уже в лесу, но какой-то русский старик с длинной белой бородой сказал мне, что она поехала сюда, в Шиханов Ям, к одной больной женщине... *(на школьном немецком языке)*.

[2] быстро!

— Так. Почему мать смеется?

Поля несмело пожала плечами:

— Я же не знаю... это еще до меня было.

— Красивая женщина.— И вторично клюнул с размаху: — Ну, где прошла фронт, покажи.

Привстав, Поля пальцем коснулась карты, и действительно, в условиях войны и вьюжной ночи, все было возможно в той, самой непроходимой части Пустошёй.

— Я главным образом лесом шла. Очень солдат боялась...

— Как пустили зольдаты? Скажи.

— Ну, значит, они понимали простым сердцем, куда и зачем идет человек. Одному я даже варежки подарила... ну, что зимой на руки надевается,— прибавила она, приметив напряжение в его лице.

— Ты совсем молодая... девошка, Аполлинария. Беллона не любит детей под ногами. Дети должны спать, когда Беллона идет к своим делам. Сейчас скажи правду,— и направил в нее палец, как пистолет.— Куда шла?

— Господи, да что же это такое!..— взмолилась Поля, чуть не плача.— Я же вам отвечаю, что к маме шла... ведь я же и не скрываю, что из Москвы! Не хочу я с *ними* напрасно погибать... ну, не хочу! Они там наворотят мировых делов разных, а я отвечай! Да уж если на то пошло...

Раздражение, с каким он постучал зажигалкой о стол, остановило Полю во всем разбеге. Видимо, он был обижен в своих лучших побуждениях. Офицера поражало мужское воинское упорство русских девчат, с каким они на его глазах старались протиснуться в узкие лазейки фронта. Минуя самую цель их несомненной засылки, он просто уточнить хотел, какой приз гонит их на верную и безвестную гибель, чем же оплачивается их отвага в этой стране, где презирают золото и не верят в личное бессмертье. Поля еще не знала тогда, что в той же землянке, на том же месте до нее уже сидели порознь две другие русские девушки, которым тоже не удалось прорваться в Лошкарев. Те были постарше и, конечно, в понятиях Киттеля, сильнее закоснели в смертных грехах большевизма, чем и объяснялся неуспех допроса... Он точно так же помещал их в колбу психологического исследования, поочередно воздействуя сиропами надежды и благодарности, кисло-

тами ужаса и боли, прежде чем выплеснуть в небытие. Но с прежними он не делился ни соображениями о талантах сестры Урсулы, ни конфетами — подарком самого белокурого арийского ангела на свете, Лотты Киттель. Нужно было поистине обладать черствым сердцем, чтоб не оплатить такое доверие взаимной откровенностью. А у него было острое предчувствие, что именно этот тихий зимний вечер принесет ему ценнейшие философические откровения о нынешней России.

— Nein! Сейчас слушай меня. Аполлинария. Ты есть русски зольдат...— и предупредительно защитился ладонью от возможных возражений.— Dir ist aufgetragen hier durchzukommen, mir — dich nicht durchzulassen. Судьба объяснит... das Schicksal wird entscheiden, wer von uns wichtiger ist für's Leben [1]. Да, так. Ты желаешь зажигать факел свободы на весь мир, когда богаты не может обижать бедны... И подвергать себя охотно всем затруднениям. Твоя цель является распространение трудового соединения на человечество. Моя есть наслажение в стрельбе... да, так. Я есть официр великой Германии. Нации притихаются, когда она идет в Европе. Я тоже полон своей выдержки, но мне не ограничивает никакое преж...— он запнулся, но проявил волю и договорил это варварское слово —...предубеждение. Мое действие также основано на развитие духовной жизни, aber, ich glaube, сближение между людьмей создается nur путем спиритуальных связей. Мне мало оптически переживаний в этой стране. Я хочу читать русски люди... как книга. Сейчас гляди так. Ночь, звезды, большой русски лес. Никто лишний рядом. Здесь, э... ну, hier kreuzen sich unsere Wege [2]. Завтра забудем навсегда ты и я unser Zusammensein [3]. Die Wahrheit wird geboren, wo grosse Gegner offen miteinander streiten [4]. Сейчас будем говорить лицо на лицо... друг другу высыпать свое сердце. Аполлинария. Man muss den Gegner achten, der ja auch sein Leben auf's Spiel setzt. Verstehst du [5]. Аполлинария?

[1] На твою долю выпало пройти здесь, на мою — не пропустить тебя... Судьба решит, кто из нас окажется более нужным для жизни...

[2] ...здесь скрещиваются наши пути.

[3] ...нашу встречу.

[4] Истина рождается от столкновения великих противников..

[5] Надо уважать противника, который также ставит на карту свою жизнь. Ты понимаешь?

— O, ja, ich verstehe[1],— самым задушевным тоном, ровно ничего не поняв в словах его, ни в намерениях, поспешила она.

А то было обыкновенное желание фашистского сверхчеловека смирить, логически подавить ее своим превосходством, поставить на колени послушную, трепещущую от умиления перед величием его семейных и гражданских добродетелей и затем расколоть ей темя, когда меньше всего будет этого ждать. Но именно то обстоятельство, что сразу не сделал этого, а медлил и, следовательно, нуждался в чем-то от нее, давало Поле если не полную уверенность в благополучном исходе, то какой-то ободряющий просвет. Только нужно было, не теряя времени, переходить в наступленье, пока не ослабла окончательно от его последовательного нажима, пока не клюнул наповал в спазме птичьей ярости.

— Ну, быстро сейчас скажи. Аполлинария. Не надо плавать на собачий способ.

Тогда неожиданная сила вскинула ее с места, и теперь уже не смущал иронический взгляд по ту сторону черного тоннеля.

— Так я же весь вечер и стараюсь вам растолковать, а вы мне словечка вставить не даете. А с чего, с чего мне перед вами на собачий способ плавать? — расхлестнулась она, и тут на нее накатило то исступленное вдохновенье лжи, что родится из предельного отчаянья, целая буря с коротким ливнем неподдельных слез.— Сам-то посидел бы в бомбежке да в нетопленном подвале недельку подряд, другое запел бы. У меня мать помещица русская была, боярыня была... слыхал? Ее в детстве-то в золотой колясочке возили, во как! А он мне конфетку сует да еще комсомолкой обзывает... Кабы не большевики-то, я бы, может, сейчас в Берлине кофе с вафлями пила... я бы, может, вся в мехах да в антильских кружевах ходила... а *что* я теперь?! Сам гляди, какая я! — и, отступя, задрав юбчонку в азарте, показала подпухшую, багровеющую коленку в просвете между рваным бельишком и чулком.— Они отца у меня заклевали, головы не смеет поднять... все глаза свои я по нем изревела. А в школе, бывало, еще сторонятся, уж не трахома ли у тебя, Полька, спра-

[1] Да, я понимаю...

шивают. Ну, стреляйте теперь, пожалуйста... таким образом!

В общем получалось довольно убедительно,— а местами, пожалуй,— даже с излишком правдоподобия. Поля могла бы без конца бередить и развивать грязные, как заноза застрявшие в душе, намеки Грацианского и замолкла во всем разбеге не потому, что иссякла, а от внезапного испуга, что вдруг старый мир поверит ей, пожалеет, пощадит за ее беспримерное отступничество. Живо представилось, что уже не только Осьминов, а вся Великая Отечественная война слушает ее, и Сталин тоже с притухшей трубкой в руке. И у всех у них грустные, отеческие лица... но неизвестно, понимают ли они там, что Поля делает *это* не для спасения своей ничтожной жизни, которая уже как бы отделилась от нее, ушла из ребер и теперь лежала у Киттеля на столе, рядом с заветным камешком, таким же полиным сокровищем, как и мамина фотография.

3

Чье-то тяжелое дыханье за спиной заставило Полю обернуться. Кроме лысого лянгера, в двери стоял теперь незнакомый Поле плечистый седой старик в кожане, накинутом поверх беспоясой рубахи; видно, его подняли с постели и рысью прогнали до землянки. Никаких начищенных должностных блях или медалей за подлые дела не красовалось на его груди, но по нащуренным глазам, по спокойной, невспугнутой осанке можно было признать в нем старосту, приглашенного для проверки полиных показаний. Правда, шапку он снял, однако не поздоровался, не погнулся перед начальством, только с угрюмым достоинством уставился в пространство под ногами.

— Чего надо? — проворчал он тоном человека, уверенного в своей надобности.— Ай дня завтра не будет, на ночь глядя чего затеяли!.. Больно небо-то выяснело,— прибавил он, выдержав недобрый взгляд Киттеля.— Смотри, советские не налетели бы!

Тотчас же, как бы в подтверждение, и пока — по земле, докатился слабый гул далекого удара, и одновременно легкие концентрические круги пробежали по жидкости

в стакане. Несколько мгновений все четверо по-разному прислушивались к наступившей тишине, но, к сожалению или счастью, продолжения не последовало: просто шевельнулась спросонок война. Киттель схлебнул из стакана верхний, пенистый глоток и дал знак лянгеру не уходить. Допрос продолжался.

Следует оговориться, этот офицер вообще не разделял тактики своего фюрера в отношении России, как не одобрял и Наполеона, недооценившего стихийного значения крестьянского моря. Тем более считал он оплошностью своего гауптфюрера заранее объявлять многомиллионное славянство компостной кучей для германской расы. Нет, по его мнению, предприятие *Барбаросса* следовало начинать с усыпительных политических деклараций, а попозже, как поокрепнут немецкие гарнизоны на местах, тогда уж и прихватить за гортань железной пятерней, разумно распределяя одних на скотский труд, других на удобрительные туки.

Имея этот дальний прицел в виду, Вальтер Киттель и не дразнил русских мужиков, как прочие оккупанты, а, напротив, проявлял известную деликатность в обращении, шутил с ними, не упуская случая блеснуть русской пословицей, вроде той, что рубашка ближе к телу, чем юбка. Разумеется, за время двухнедельного пребывания в России он не успел пустить корешков в сердце непокладистого народа, но уже хвастался в письмах к сестре Урсуле близостью с одним енежским старожилом, побывавшим в немецком плену четверть века назад и претерпевшим гонения от советской власти, нынешним старостой Шиханова Яма. В свою очередь, и тот не чуждался бесед с высокопоставленным оккупантом, хотя насчет политики чаще помалкивал — то ли вследствие неуверенности в исходе войны, то ли из понятной робости в присутствии высокого покровителя. Во всяком случае, на должность старосты он согласился не сразу, но Вальтер Киттель потому и гордился своей победой, что чем труднее завербовать предателя, тем дороже ему цена.

— О бауэр! [1] — дружественно окликнул его Киттель, приветствуя движением пальца.— Как идут твои дела, скажи?

---

[1] О крестьянин!

— Бога не гневим, поманеньку управляемся,— отвечал староста, пряча глаза и касаясь окладистой, с заметной проседью бороды.— Вот у вас, слыхать, заминка объявляется. В Москву, сдается мне, к рожеству-то не поспеете.

— Ничего. Все хорошо. Благодарю вас,— с поджатыми губами сказал Киттель.— Кто тише едет, тот людей насмешит. Возьми свое место.

Он показал глазами на второй чурбак у стола и щелчком подкатил через стол сигарету старику; тот отказался.

— Мы уж своего, у нас от сладкого зубы преют. А народу... чего ж нонче народу говорить! Ему нонче говорить нечего, он только думает. Нонче его думка глубоко в тело загната... так-то!

Достав лоскутный кисет, староста с вызывающим спокойствием принялся налаживать махорочную цыгарку посолидней, и хотя Киттель мог безнаказанно свалить любое дерево в этом лесу, почему-то стерпел его явное вонючее своевольство, а Поле невольно вспомнилась огневая истерика немецкого блокпоста у десятого кордона в прошлую ночь.

— Вот русска девошка. Аполлинария. Она очень любит глядеть немецки танки. Ты стары житель. Возьми это. Кто здесь?

Староста принял карточку и стал искать очки.

— Да уж слыхал я, слыхал, как она тут с тобой воевала... ведь они нонче вострые пошли. Хромцов Пашка тоже хвалился даве, что еще одноё словил. Ну, купорос твое дело, девка!.. и чего это вас в самый огонь тянет? Сидели бы себе в запечьи, пока не схлынет. Эх, тяжкие наши грехи! — Ему удалось, наконец, вставить в оправу очков выпадавшее стеклышко, а Поля, хоть и опасалась взглянуть на него, увидела краешком глаза, как дрогнула фотография в старостиной руке.— Ишь ты, встренуться-то где довелось!

— Ну, скажи, бауэр. Ты знаешь такую женщину?

— Как ее не знать, фершелица наша Елена Ивановна... когда молоденькая была. При мне и на карточку сымали, у меня такая же дома была. Тут и я рядышком стоял, да, видать, подсократили меня, вишь, урезали, как осколок старого режима. За лесом, помнится, в Пашутино к нему я заезжал... венцы в баньке сменить, а у него как раз приятели гостили... Вот один и снял нас всех на карточку.

Она, она и есть, Елена Ивановна.— И вдруг, догадавшись о чем-то, нацелился в Полю прищуренным глазом.— Ай ты, девка, дочкой ей доводишься?

Из предосторожности Поля обиженно отвернулась. Обстоятельства и без того складывались в ее пользу. При правдивости или ложности одной половины показания Киттель, по обыкновению всех следователей на свете, должен был соответственно с доверием или сомнением отнестись и к другой.

— Так-так. Она была богатая? Скажи.

— Ить как сказать... считалося, по лесному-то владению, зажитошней их на Енгѐ и не было. Леса̀ значительные, только душу в них спасать... а дарма барынька спустила, на пропитание. Облог-то и рубили при мне... мы с ейным отцом махонькие были,— кивнул он на Полю, не отрывая глаз от фотографии.— Да, много жизни с той поры утекло, почитай вся! Сама-то хозяйка из немок была, в русском-то обиходе мало смыслила... вроде как с сероватиной, по-нашему сказать. Ну, тут приезжий купец, из Питера, и обернул ее вкруг пальца, на весьма значительную сумму ее урезонил. Папаша мой от зависти весь свой остатний век локти грыз...

Не пропустивший ни слова Киттель раздумчиво глядел на огонек зажигалки. Повидимому, новые и менявшие все дело обстоятельства давали ему основания ставить дальнейшие вопросы на своем, немецком, языке:

— Warum hast du mir verheimlicht, dass du deutsche Angehörige hast? [1]

Голос его теперь звучал смягченно, и Поля сразу обессилела от сладких и неясных пока предчувствий. Дело ее налаживалось, и несколько преждевременно пришло в голову, что не беда, если даже на полсуток и запоздает в Лошкарев. Зато уж с этой минуты никак нельзя было ей ослаблять своего наступательного натиска.

— О, да вы бы еще больше мне тогда не поверили. Уж ваше дело такое, любого человека во всяких гадостях подозревать. Господи, кабы все-то из жизни моей рассказать, что я там пережила, да вы бы оба тут с дяденькой разревелись бы над моей судьбою... вот как!

---

[1] Почему ты от меня скрыла, что у тебя имеется немецкая родня?

— Так-так, очень хорошо,— смягченно тянул Киттель, катая в пальцах полин камешек.— Und was willst du tun, wenn du erst mal bei deiner Mutter bist? [1]

— Да уж найду, что. Языка русского уроки стану давать, кому потребуется... хоть бы и вам! Уж не бойтесь, на хлеб себе заработаю, в кусочки побираться не пойду...

— Это так, да. Благодарю вас Аполлинария. Und wenn wir in Europa mit den Bolschewisten, aufräumen, wirst du dann auch zu ihnen zurück schlüpfen? [2]

— Простите... was, was sagen Sie? [3] — с озабоченным видом подалась Поля вперед.

— Я сказал, когда мы сделаем приборка с большевиком, ты будешь bei Nacht und Nebel [4] перескользить к ним, wie ein Schmuggler? [5]

В намерении показать свою самостоятельность Поля оскорбленно пожала плечами:

— Зачем же, я могу и у вас остаться... если, конечно, обижать не станут. А то вот один варежки мои себе подарил, другой всю обувку долотом испортил... Ну, в чем я теперь маме-то покажусь? Да тут поневоле и не такой еще цурюк в голову придет! Я птаха вольная... раз от большевиков сбежала, так от вас-то и подавно упорхну!..

— Очень интересно, хорошо. Аполлинария. Тебе нравится наша Германия? Скажи.

В том-то и состоял замысел полина притворства — не сдаваться сразу и тем набить цену себе в глазах Киттеля.

— Откуда ж мне ее знать?.. как же она может или не может мне понравиться, раз я ее не видала никогда? Вот с вами с первым разговариваю...

— О, ты увидишь, Аполлинария. Нет, не Берлин, он есть молодой город. Но Рейн... то не река, то родина немецкого духа. Вси немцы имеют глубокую любовь к Рейну, где сливаются границы поэзии и действительность.— В горле у него забулькали имена рейнских местностей, последнее из них сопровождалось какой-то безумной вспышкой на донышке его глазниц.— О, Боппард,

---

[1] И что же ты собираешься делать, когда доберешься до матери?

[2] И когда мы покончим в Европе с большевиками, ты опять перебежишь к ним?

[3] Что, что вы говорите?

[4] ...темной ненастной ночью...

[5] ...как контрабандист?

Санкт-Гоар, Лорелей... и Кёльн. Древни корень — Colonia Agrippina weisst du? Und dann schliesslich — München, unsere Jsar-Athen. Фюрер мне лично сказал... hat mir mal persönlich gesagt; die Erschaffung der Welt hat mit München begonnen, als Gott noch nicht müde war [1]. Эта речка, Изар, он идет из гор. Он имеет молочный вид. О, ты закружишь себе голову, Аполлинария! В Германии много всякого забавления, будучи сопряжено веселым флиртом. В Германии тоже есть молоды люди, находящи себе удовольствие друг в друге. Ты можешь жениться коммерсант или Erbhofbauer, und sogar немецки pension berechtigten Beamten [2].— И сам, как от щекотки, похохотал при упоминании столь обольстительной карьеры, перед которой не устоит любая разумная девушка на свете.— Ну, подходит тебе так?.. sagt dir das zu? Аполлина-ария!

— Нет, это мне не подходит,— из последних сил улыбнулась Поля.— Я уж как-нибудь сама паренька себе подберу.

У нее имелись особые причины для столь дерзкого отказа от немецкого счастья. Как раз на столике загудел зуммер полевого телефона; стоявший рядом лянгер снял трубку, выслушал молча и, не дожидаясь разрешенья, быстро вышел распорядиться. В земляную тишину сквозь раскрытую на мгновенье дверь проникла ожесточенная пальба зениток, сопровождаемая множественным гулом встревоженного воздуха. То походило на голос леса в бурю и пока вовсе не означало спасения, но самая близость могущественного друга сообщила Поле преждевременную уверенность в благополучном исходе приключения. Прежде всего Поля ощутила тяжесть наваленных на себя позорных побуждений своего бегства, ставивших ее на одну доску со старостой,— тот сидел рядом, свесив громадные, бездельные, с незажженной цыгаркой руки меж колен. Вряд ли это было простое отвращенье к изменнику,— скорее суеверное, до тошноты гадливое чувство физического, телом к телу, соприкосновенья с мертвецом. Вслед за тем ее охватила неотразимая потребность любым способом

---

[1] Колония Агриппы, знаешь ли ты это? И наконец — Мюнхен, наши Изар-Афины. Фюрер мне лично сказал, что творение мира началось с Мюнхена, пока бог еще не устал.

[2] ...крестьянин, имеющий право наследования, и даже... чиновник, имеющий право на пенсию.

отгородиться от него и, пусть даже с риском для жизни, заявить о своем достоинстве. Случай для этого представился немедля.

Чувствуя ли презрение беззащитной русской девчонки, или предвидя дальнейшие этапы допроса, или от стыда перед Иваном Вихровым, хотя имя его не было произнесено пока, староста поднялся было уходить. Властным движеньем офицер удержал его на месте.

— Nein. Сиди так, бауэр.— И вдруг взяв двумя пальцами со стола, издали показал Поле заветный, отобранный у нее камешек.— Was soll das? [1]

— Ну, это просто так... чтоб легче было жить. Да вы не бойтесь, он не взрывается,— усмехнулась Поля, когда Киттель в целях исследования подержал камешек на огне зажигалки, чуть поодаль от себя.

— О, понимаю. Аполлинария. Талисман?

Любой ответ сошел бы теперь за правду, но в ту минуту раздирающий, первый по такой силе, донесся разрыв, все содрогнулось кругом, что-то упало за ширмой... и все это вместе толкнуло Полю на дерзость, которая и должна была окончательно погубить ее.

— Да вроде не совсем талисман...— замялась она.— Это еще летом я на память с московской мостовой подняла. Хоть и беглая, а я еще русская немножко...— И на беду свою показала зубы в улыбке, несколько больше показала их, чем дозволялось в ее положеньи.

Случилось как раз то, чего больше всего опасался Осьминов: не в стойкости полиной он сомневался, а в способности долго сносить ложь. Поля сама понимала, что можно было жизнью поплатиться за подобное признание, зато хоть чуточку посветлее стало на душе. При этом староста внимательно покосился на Полю и снова, опершись локтями в колени, свесил голову.

Здесь у офицера стало чрезвычайно вдумчивое лицо. То было первое за весь вечер откровение о советских людях, не помеченное в самых секретных циркулярах генштаба: о, полин камешек весил гораздо больше, чем его вещество! За время войны Киттель не наблюдал у своих солдат подобных сувениров и, даже в мыслях не допуская равенства этой девчонки со своею сестрою, задавал сейчас

[1] Что это?

вопрос себе, догадалась бы или нет лучшая девушка его класса, Лотта Киттель, унести с собой, на груди, крупицу штукатурки, скажем, от мюнхенской святыни, Frauenkirche, даже навсегда покидая страну.

Одно время бомбовые разрывы настолько приблизились, что струйки песка сочились сквозь неплотную обшивку наката. Потом звуки налета стали стихать: видимо, закончив работу, советская эскадрилья возвращалась назад. Не спуская с Поли иронических, чуть искоса, глаз, Киттель опустил ее камень в нагрудный кармашек с намерением показать свой занятный трофей на докладе в рейхсканцелярии кое-кому из преуменьшающих трудности восточного похода. Он глядел долго, и Поля начинала испытывать состояние мышонка под взглядом большой немецкой кошки с высшим военным образованием.

В наступившей затем недоброй тишине вдруг заворочался староста.

— Ну, вы сговаривайтесь тут... спать побреду, пожалуй,— попытался он показать свою самостоятельность — для Поли Вихровой, но сделал это — тоном, каким просят позволенья.— Кажись, утихло на дворе...

Офицер просто не обратил внимания на это понятное малодушие предателя, и Поле запомнилось сквозь ужас, с каким скрипом эта уже поднимавшаяся глыба костей и мяса опустилась назад, подчиняясь едва приметному движенью немецкого пальца.

— Ты хороши девошка. Можешь нанести пользу Германии. Только жестоки люди могли послать тебя в руки сам Вальтер Киттель,— и лицо его стало грустное и ласковое перед очередным клевком.— Теперь скажи. Какой штаб послал? Тебе все будет тихо, хорошо. Aber надо бистро, когда спрашивает немецки официр. Аполлинаария...— и коротко стукнул ладонью по столу.

Поля подняла глаза, воздух стеснился в ее горле, плечи обвисли. В лице сидевшего перед нею офицера она прочла обещание самых изощренных неприятностей, какие может придумать фашистский сверхчеловек на основе длительного опыта и достижений медицины. Внутренним зрением, как бы сквозь мглу, она прочла полторы скупых строчки о себе в еще не существующей сводке Информбюро. «Вот как оно на деле-то бывает!..» — подумала она, готовая встать и босая итти, куда ей положено теперь... и тогда вся все-

ленная покачнулась вкруг нее от разрыва, наверно, самой большой бомбы, какие применяются в современной войне.

За ним последовали другие, чуть поглуше, и потом они двинулись в обход блиндажа, похожие на шаги исполина, что вслепую шарит по земле утерянное сокровище. Так, значит, советские самолеты ни на минуту не покидали Поли... может быть, и прилетали лишь ради нее, чтобы салютовать безвестной русской комсомолке, уходящей из жизни. Теперь ничего больше не хотелось Поле, кроме прямого попадания в блиндаж: более великодушного исхода и не могла бы предоставить ей судьба... а в эту оставшуюся минутку и нужно было уложить какие-то еще неизвестные ей, ликующие слова, что зарождались в ней от восхищения великолепной яростью своего, советского оружия там, вверху.

Она никогда не смогла бы ни вспомнить, ни повторить их.

— Что ж, погрызите наше железо, а мы посмотрим, каковы кусалки у вас...— почти с шопота начала Поля, отрезая себе обратный путь.— Вот вы сказали давеча: за большевиков дерусь... О, кабы могла я со своим умишком: какой уж я солдат! Я только пуля на излете... вот силенок не хватило до цели долететь! Нет, это они дерутся за меня день и ночь... день и ночь за меня дерутся, а я только учусь у них пока... да помогаю им хоть немножко, чтоб потом не совестно стало перед мертвыми-то за юность свою. Меня-то легко пришибить... ладно, ну сорвете вы меня, одну хвоинку с дерева, а сколько их еще останется... сколько их останется, я спрашиваю: всех-то не закопаешь! Нет, нас теперь с планеты не выкурить, поздно. Zu spät, verstehen Sie? [1] — и как репка блеснул в оскале влажный ряд ее зубов.

— Пожалуста, не так скоро. Аполлина-ария,— вставил Киттель с лицом исследователя, терпеливого к превратностям научного эксперимента.

— Да, нас больше, потому что мы — род людской... Эх, кабы вас не было, кабы не было вас совсем! Все вокруг вами загажено, отравлено вами, даже вода, которую пьют дети... даже вода! Но ничего, мы подождем... у земного шара время длинное! Вот вы давеча спросили меня: кто я такая? Я девушка моей эпохи... пускай самая рядо-

---

[1] Слишком поздно, понятно?

вая из них, но я завтрашний день мира... и тебе сто́я, сто́я следовало бы со мной разговаривать, если бы ты хоть капельку себя уважал! А ты сидишь предо мной, потому что ничего людского в тебе не осталось..., а только лошадь дрессированная под главным палачом! Ну, нечего сидеть теперь, работай... веди, показывай, где у вас тут советских девчат стреляют?

Она была сейчас старше и мудрей своих лет, скорее вовсе без возраста, как и Володя Анкудинов... и она была красивей всех своих сверстниц, самая курносая девчонка из Москвы. Все мысли, какие обычно созревают с годами, досрочно обступили Полю в ту последнюю минуту. Наверно, с тем же восторженным исступленьем ее современники в армейских шинелях кидались под вражеские танки, обвязавшись гранатами, или огонь своей же артиллерии вызывали на себя. Прерывистая, как в агонии, речь ее сливалась с возрастающим гулом налета, так что сперва и прервать ее не представлялось Киттелю возможности, тем более что в заключение произошел довольно неожиданный поворот, в корне изменивший обстановку допроса.

Поля никогда не могла установить, что произошло раньше — самый выстрел или хриплое, как команда: «Беги, дочка!» Равным образом она не сумела бы объяснить и поступок шихановского старосты: потому ли выстрелил он, что совесть заговорила, или расплачивался за давнюю обиду в немецком плену, а может первый взнос решил сделать за какую-то свою заветную кровинку, оставшуюся на советской стороне. Поля помнила только, как он схватил кольт со стола, и сразу затем увидела дымящуюся дыру в глазнице Киттеля. То было второе на протяженьи вечера откровение для образованного и любознательного германского офицера, и, надо надеяться, прежде чем погасла его пытливая мысль, он успел удостовериться, как много еще не исследованного таится в русском лесу.

Звук выстрела слился с очередным воздушным ударом, от которого захрустел накат, и, наверно, все обошлось бы в наилучшем виде, если бы на пороге не объявился как раз подручный Киттеля: видимо, его поразил необычный вид пока еще сидевшего командира. Вторая пуля старосты прошла мимо лянгера, и потом они, сцепившись, покатились по ковру, а Поля проскочила в дверь мимо них, не дожидаясь исхода схватки.

4

Налет был в разгаре. Со злым треском рвалась промороженная земля: самая лютая валка леса происходила кругом. В глубине рощи, налево, пылала автоцистерна с горючим, и видно было в просвете между черных накренившихся древесных стволов, как ластится огонь и по-кошачьи трется о бока соседней, такой же парализованной машины. Спотыкаясь и погибая на каждом шагу, Поля возвращалась к жизни. Она не запомнила, сколько ей пришлось пробежать. Все попряталось, звезды и люди... Лишь когда покидала побоище, в последний раз поднырнув под черную бахромку дыма, тут, на полянке, чуть не сшиб ее какой-то обхвативший руками голову и еще более окровавленный, чем Киттель... а может быть, отблески пламени нес он на себе? Не приметив Поли, он помчался дальше, стеная и крича на чужом языке. На этот раз Поле дано было видеть его конец, когда, в изнеможеньи привалясь к случайному плетню на пути, оглянулась назад. Вдруг весь воздух над Шихановым Ямом лопнул, как железная бочка, и падающая сосна с нахлестом накрыла оккупанта, а Полю с расстоянья опахнуло жарким, пополам со снежной пылью ветерочком... Ничего не осталось в ее памяти от этого получаса; лишь казалось, вся вселенная валится, подрубленная под корешок. В те минуты ни страха, ни радости избавленья не чувствовала Поля. Боль в потревоженной при паденьи коленке вернула ей пониманье действительности. Она взглянула сперва на свои босые и бесчувственные, в изодранных чулках ноги, потом на смятую мамину карточку в ладони, машинально захваченную при бегстве. Следующая мысль была о продолжении похода в Лошкарев, но теперь робкой человеческой былинке был уже знаком восторг движения на самом гребне, в обгон всего на свете, времени в том числе.

Под большим нависшим сугробом невдалеке темнел скорее лаз, чем вход в землянку. Поля наудачу спустилась по обледенелым от помоев ступенькам, толкнула коленом визгнувшую дверь и, пригнувшись, заглянула в спертую духоту крестьянского жилища. Казалось, ничего там не было, кроме оранжевого сумрака с длинным, качающимся на нитке копоти огнем у самого края.

— Какую еще там душу живую бог принес? Входи, закрывай за собой, дитё застудишь...— послышалось из глубины, и Поля вошла с доверием былинки к своей мудрой повелительной реке.

Посреди во исполненье жизни древняя старуха мыла девочку в таком же древнем деревянном корыте. Она совершала это неторопливо и важно, как священнодействие, которому не смела помешать никакая война. Все остальное соответствовало происходящему: помятый, с начищенной конфоркой набекрень, самовар смолисто чадил на земляном полу, да из-под овчины у стены кто-то стариковским подспудным кашлем, однообразным как *аминь,* откликался на раскаты бомбежки.

— Можно мне у вас, бабушка, водички из бадеечки попить? — на пробу и стуча зубами, попросилась Поля.

Пить ей вовсе не хотелось, и старуха сразу уловила в ее голосе тот неуловимый оттенок смирения, пароль горя, по которому от века в народе нашем признают нищих, погорельцев и странников. И, как всегда это делают крестьяне, хозяйка обернулась не прежде, чем довела дело до конца и завернула ребенка в теплое веретье.

— Чья ж ты будешь такая?.. видать, нездешняя? Лицо твое мне вроде незнакомое,— подавая ковшик, спросила она для проверки.— Где ж ты вся порвалася?.. ай тебя собаки грызли, деточка? — жалостно повторила старуха, но взглянула Поле на ноги и отвела глаза.

— Вот к маме пробираюсь из самой Москвы,— и, забыв про питье, опустилась на лавку.— Можно, посижу у вас немножко? Уж больно устала я с дороги-то, бабушка.

Возможно, старуха слышала что-то о поимке еще одной прохожей девчонки, все в ней — растерзанный вид, босые ноги, заиканье от пережитого — подтверждало ее догадки. Она без расспросов усадила гостью, отогрела кружкой кипятка, поделилась кашей с донышка, и никогда, ни раньше, ни впоследствии, не доводилось Поле принимать от своего народа более щедрых даров. Между делом Поля спросила и о матери; старуха не раз лечилась в пашутинской больничке, и это сроднило ее с Полей еще теснее. Нет, в Шихановом Яму ничего не знали о судьбе фельдшерицы, исчезнувшей из Пашутина месяца полтора

назад. Возможно, по старой памяти Елена Ивановна перебралась на житье к Павлу Арефьичу, и, таким образом, у Поли появлялся законный повод для дальнейшего движения на Лошкарев.

Ей захотелось подержать ребенка, на счастье.

— Девочка-то какая у вас хорошенькая... как морковочка! — польстила Поля, покачивая ее и благодарная за гостеприимство.— Умненькая такая, не плачет совсем.

— Нонче они тихие у нас стали, ребятки: отощали. И не пошумят, как прежде, и бегать разучилися... сидючи играют. А как славно все налаживалось, да вот... обезоружили нас злые люди до последнего куреночка. Видать, и за вами, девчатами, очередь пришла,— и немножко всплакнула, но без слез и совсем беззвучно, словно смеялась.

Тогда, уложив ребенка в зыбку, Поля пересела поближе, взяла старуху за руку:

— А ты не убивайся, бабушка... мы их еще подомнем. Разве солнышко погасишь? — И еще многое наговорила в тот раз, всю себя вкладывая в шопот.— Ой, как им все это отзовется!

— То-то и горе, родимая, что отзовется: не за тебя одноё убиваюся. Эка что творят, ровно о семи жизнях! Накликают беду на себя, а у них, поди, тоже младенчики имеются.— И тут из боли ее вырвалось то знаменитое словцо, через сотню уст докатившееся до газетных ротаций, что все дети мира плачут на одном языке.— Хошь бы нам-то, старым, самый край твоего солнышка повидать... и ладно!

— Еще успеешь, бабушка... но раньше своего сроку ничего на свете не случается,— непослушным языком, простонародной интонацией откликалась Поля, борясь с дремотой, потому что успела пропитаться сытным домашним теплом... и глядела, глядела, как тень от зыбки, подвешенной на жерди, усыпляюще качается над головою лежавшего у стенки старика.— Прихворнул, знать, дедушка-то... или так, отдохнуть прилег?

Она сидела как раз в его подшитых валенках, с его овчиной на плечах, радуясь, как высшему благу на свете, и керосиновому *моргасику* на столе и душному теплу первобытного жилья. Ответа Поля не расслышала; щеки у нее

пылали, и безудержно клонило в сон, как ни поднимал ее с места Осьминов.

— Ступай же, пока не утихло... а то еще шарить почнут,— шепнул он старухиным голосом Поле на ухо.

Поля поднялась и ладонями, всухую, отерла лицо, словно умывалась.

— Непременно к тебе заеду, бабушка, когда все кончится... если доживу! — И попросила каких-нибудь бахилок в дорогу.

Старуха ничего не позволила ей снять с себя из подаренной одежды.

— Ему боле не понадобится, старику моему, уж на отходе он,— доверительно пояснила она.— Все на лесные работы гоняли, а много ли протянешь на одной-то баланде! Сперва глаза у него на нервной вишь почве загноились, а там и в ноги перекинулось. Ничего, наше дожито... Ты на шастыревский проселок-то не сворачивай, там ерманцы сено берут. А лучше иди все прямичком, по автобану, на волю божию. Эх ты, вояка наша сирая! — И оттого, что больше нечем было снабдить в дорогу, покрестила ее разочка два.— Ну, ступай своей дорогой... да шейку-то береги, былиночка моя!

Палящим зноем повеяло на Полю от этих слов, и ей ясно представилось, как с годами ненаписанная книга о ее лошкаревском походе неминуемо станет сокращаться сперва до размера страницы, абзаца, потом единственной строки — про это последнее напутствие родины. Буря еще бушевала, где-то в глубине бора доламывала вражеское железо. Местные зенитки молчали, работа подходила к концу. Любой на полином месте различил бы в торжествующем ворковании моторов: «Иди, мол, иди по своим неотложным государственным делам, Поля Вихрова... Иди и не страшись, если иной раз и просвистит над головой, потому что это наше, твое свистит... Иди и не оглядывайся, а уж мы пока подзадержим их на часок».

Синяя мгла висела впереди, и ни зарева в ней, ни фар запоздалых автомашин — ничего там не было. Робкие вначале, разгорались звезды на ветру, и видно было порой, как поднявшийся ветер клонит на сторону их колючее синее пламя. Поля вспомнила неоднократное, в стихах утверждение Родиона, что самые крупные звезды светят не в пустынях, не в Арктике, а у них, на Енгѐ.

5

Последние километры дались всего трудней; порой дремала на ходу, безразличная к возможной участи. Из-за частых остановок и выжиданий Поля к своей цели подошла лишь на исходе следующего дня. Как ни шатало ее от голода и утомленья, пришлось долго мерзнуть за снежным сугробом в ожиданьи оказии, а солнце тем временем опускалось за городок. Он лежал весь как на ладони, под горой, и хоть прибавилось морозца к вечеру, не виднелось над ним синеватых на закате, соблазнительных для путника дымков. По счастью, мобилизованные жители возвращались с окопных работ — каждый нес по снопу из не обмолоченных с осени, иные по три, кто посмелей. Когда растянувшееся шествие поравнялось с канавой, Поля пристроилась сзади. Она предложила одной тетеньке разделить ее ношу; так бедный сноп с остекленевшими колосками послужил Поле пропуском в глазах немецких часовых.

Городок проглядывался насквозь по главной улице, в дальнем его конце догорала вечерняя зорька. Близилось наступленье комендантского часа и новых полиных несчастий вместе с ним. Ни души не попалось на пути, ни огня за ставнями, словно в успокоение немецкой комендатуры, что все живое смирилось, вымерло и, во всяком случае, не имеет прямого касательства к жизни. Брела из последних сил, еле различая на углах таблички переименованных улиц. Небо совсем гасло на западе, когда *проспект Великой Германии* отыскался наконец. Раньше это была веселая, вся в садах Пушкинская, по которой Поля пробежала бессчетное число раз, направляясь в школу; сейчас обточенная пожаром, пустая и длинная, она казалась положенной навзничь шахтой. Адрес указанной Осьминовым явки и номер дома подозрительно совпадали с местом постоянного полина жительства. Было дико входить в знакомый дворик с предосторожностями и в окно собственной комнатки стучаться не прежде, чем удостоверилась, справа ли там стоит фуксия, год назад ею же, Полей, посаженная в консервной банке.

Впустила неизвестная Поле женщина. Неприязненно, кутаясь в рваный платок, она выслушала желание Поли повидать сапожника и провела в охолодавшую к ночи

столовую; при этом она пронзительно покричала кому-то в коридор, что не нанималась отпирать дверей всяким ночным залетным пташкам. Ссутулясь и при коптилке тачал сапог седой человек в очках и с запущенной бородкой; у Поли осталось ощущенье, что он присел к верстаку всего за минуту до ее прихода. Ничто там не противоречило логике военного существования, и вместе с тем все было до крайности непривычно, в особенности добротный, цельной кожи чемодан на полу и без крышки, уже располосованной на подошву. Не разгибаясь, налегая на нож, сапожник дикими глазами взглянул на Полю поверх очков. Это был он, Павел Арефьич, только такой весь, словно десять каторжных лет протекло со времени полиных проводов в Москву. Что-то метнулось в его лице, злое, острое, измученное, совсем не радость свиданья.

— Чего надо? — спросил он, хоть и не мог не узнать с первого взгляда; потом прибавил, не подымая головы, что из-за перегрузки ничего в починку не берет.

Поля стояла, настолько смущенная черствостью встречи, что хотелось заплакать от обиды. С клубком в горле она все же надумала сказать ему, что хотела бы заказать к Новому году вечерние туфельки на лосевой подошве. И тотчас же, как и предупреждал Осьминов при расставаньи, Павел Арефьич отвечал, что лосевую рассчитывает получить не раньше будущей весны. Оба помолчали, давая друг другу время привыкнуть к новизне их отношений. Все еще не раздеваясь, Поля передала ему поручение Осьминова и затверженные цифры, смысла которых не понимала сама. Как и надо было ожидать, молчанье лошкаревской группы объяснялось гибелью радиста, застигнутого на передаче. В порядке отчета Павел Арефьич сообщил также, что, по дошедшим слухам и отсутствию последствий для товарищей, он умер хорошо.

Поле показалось, что этот умный и смелый человек если не оправдывается, то все же несколько робеет перед нею, девчонкой, посланницей с Большой земли. Впрочем, он не спросил о здоровьи, не обласкал, как бывало раньше, да и сам ни на что не пожаловался, а только заглянул в красные от бессонницы полины глаза, помог раздеться, посадил возле нетопленной печки.

— Ну, здравствуй теперь. Зачем пришла, я сразу догадался по маскараду твоему, но вот как ты проскользнула

сюда, не знаю...— неопределенно приступил он и сжал в ладонях ее сухие, потрескавшиеся руки, чтобы в трепетном их биеньи различить контрольный пароль.— Хочешь есть?.. нет? Ну, тогда докладывай свои мытарства, странница.

— Может, поспать мне хоть часок? — заикнулась Поля, то и дело поникая от утомления.— А то просто голова у меня, Павел Арефьич, отымается.

— Потерпи, мы с тобой люди военные. Мне надо теперь же знать, что́ случилось с тобой в дороге. Видишь ли этот Шиханов Ям стал могилою многих, твоих ближайших друзей в том числе.

Было что-то бесконечно лестное в настойчивости, с какой Павел Арефьич пренебрег ее жалобой: теперь она была настоящим, без всяких скидок солдатом. Павел Арефьич слушал, покачивая головой, но почему-то, едва добралась до выстрела старосты, выпустил ее руки; по своему характеру он не склонен был верить чудесам.

— Жутко вы здесь живете,— растерянно сказала Поля после паузы.— Я это к тому, что седины-то сколько у вас... едва признала сзади!

— Да... и это совсем недавняя, Поленька.— Он отошел и шильцем поковырял изрезанную доску верстака.— На мушке каждую минуту, даже когда спишь, и не знаешь, откуда выстрелят, но привыкает ко всему человек, даже к ворчанью вулкана у себя под койкой... Так он, что же, раньше знал тебя, этот староста?

— Нет, я его не помню, верно с мамой встречался... а что? — И по счастью, из-за утомления дальше ее мысли не пошли.— Кстати, откуда здесь эта женщина... жиличка новая? Колючая, недобрая какая!

— Да, поганцы... две комнаты забрали. У ней брат корректором в местной газетке служит. Вселились через комендатуру — ни дня без скандала не обходятся,— пожаловался он, искоса присматриваясь к гостье, верит ли... И, значит, все это время не переставал думать о полином приключении в Шихановом Яму.— Да, повезло тебе... не всем такая удача!

Поля горько усмехнулась: она действительно была бы счастлива, если бы не тревожные думы о матери. И, как бы в разгадку их, Павел Арефьич рассказал самые последние, утешительные новости о ней. Нет, сам он не видал

Елены Ивановны, но, по точным сведениям, она была жива и находилась в партизанском отряде, созданном на Енгè вскоре после известного сталинского призыва. Трудно было придумать более желанную награду Поле за ее лишенья, и прежде чем Павел Арефьич успел отдернуть руку, она коснулась ее губами.

— Не сердитесь... это только то, что предназначалось ей самой!

К ее удивлению, он до сих пор ни намеком, ни вопросом не обмолвился о дочери, и Поля решилась сама спросить о Варе. Тогда Павел Арефьич поднялся и пошел в угол за табаком.

— Теперь-то почти все стало о ней известно, даже в подробностях... правда, слишком тягостных для тех, кто ее любил,— после долгого молчанья начал он.— Кое-что я добыл прямо от свидетелей ее гибели, чтобы при возможности переслать на Большую землю: слава ее уже всем *нам* принадлежит. Да, именно то и случилось, от чего ты содрогнулась сейчас. Наша Варя умерла недели полторы назад, и как раз в Шихановом Яму... она в фашистской петле умерла.— Павел Арефьич произнес это с леденящим спокойствием, изредка паузами прерывая рассказ; Поля не запомнила, сколько времени молчал он в этом месте.— Я в том смысле и обмолвился, что очень... очень повезло тебе, Поленька: ты выбрала довольно опасный маршрут. По отзывам очевидцев, она, как и радист наш, очень достойно держалась. Они направлялись ко мне вдвоем с подружкой, но кто была вторая, нам неизвестно пока. Ты там не через площадь шла?

— Через площадь...— побелевшими губами прошептала Поля.

— А... ну, значит, уже убрали. Так что одна ты у меня теперь дочка осталась. За поздним временем придется тебе у меня ночевать. Пойдем, уложу тебя по старой памяти...

Он взял коптилку с верстака и повел ее, похрамывающую, на ночлег в варину комнату. Поля сочла бы кощунством в ту минуту иоду попросить: смазать распухавшую коленку. Он долго еще не уходил в ту ночь, расспрашивая Полю о московских делах, не давая заснуть, и разок оговорился, назвав ее Варей.

Полкомнаты занимала составленная сюда хозяйственная утварь, но варина кровать стояла на прежнем месте.

Было страшно ложиться на те же простыни, под знакомое стеганое одеяло и потом остаться наедине с ландышами и птицами на обоях, столько раз слышавшими ее сокровенные беседы с Варей. Здесь, задолго до поступления в педагогический институт, она мечтательно пересказывала Поле содержание любимых страниц из знаменитой книги о путешествии дарвинского корабля. «Бигль, Бигль...» — вслух позвала Поля, и лишь одна душа на свете могла бы разгадать и откликнуться на ее пароль. Не было ни слез пока, ни полноты пониманья постигшего ее одиночества, а лишь ревнивое отчаянье, что другая разделила с Варей ее последний путь. Целый час Поля пролежала с открытыми глазами, пока немота не разлилась по всему телу, но не сон. Постепенно стены стали исчезать, тьма пояснела, превращаясь в пасмурное, без ветринки, пространство, как бы на исходе дня и лета. Тонкоствольные, с плоскими кронами и под самое небо деревья высились, раскиданные на пологих холмах, похожие на поднимающиеся дымы, и будто Варя ждала ее там, такая невозмутимая, несомненная и живая, что Поля доверчиво двинулась к ней туда отдать ей долг любви и верности, чего мы никогда не успеваем сделать при жизни наших близких. Но как ни искала, нигде не могла ее найти, потому что все кругом была Варя. Это было ощущенье близости, более радостное, чем виденье. И не страх, не тоска по милой, а непривычное светлое тепло, почти озарение охватило Полю. Из этого, в свою очередь, рождалось спокойное сознание своих человеческих обязанностей на земле, то есть зрелость.

Среди ночи протяжный скрип двери ворвался в полино забытье. Как в нежилых строеньях, здесь сильно пахло сухим деревом. Шопот за перегородкой заставил Полю окончательно проснуться и насторожиться. Судя по голосам, их было трое там; женский, как не сразу и с благодарным изумлением открыла Поля, принадлежал жиличке Павла Арефьича. Неожиданно тепло она принялась пересказывать третьему, вошедшему, эпизод полиной поимки; изредка Павел Арефьич вносил поправки по ходу повествования. Только здесь, в расшифровке, Поля узнала смысл доставленных ею секретных инструкций, уже оплаченных вариной гибелью; почтительность, с какой эти люди говорили о полином походе, не вызвала у ней даже малень-

кой гордости за свою удачу... В свою очередь тот, третий, поделился свежими новостями,— кажется, это и был корректор из скверной газетки. По его словам, на Енгé, в устьи Склани, спешно возводя́тся оборонительные укрепления, а в Дергачевке местные партизаны тщетно пытались сжечь полсотни тонн зерна, предназначенного к отправке в Германию. «Бензинчику бы плеснуть!..» — с сожалением вставила жиличка. «Откуда же у них, не обзавелись пока хозяйством»,— отвечал корректор и минутку спустя сообщил, что утром при значительном стечении народа оккупанты повесили своего старосту в Шихановом Яму. При этом старик якобы сам надел петлю, покрестился и напоследок обложил оккупантов некоторыми словами, точное содержание которых пока не установлено... Так Поля узнала, чем кончилась схватка с лянгером в землянке после ее бегства.

— Верно, из тех был, в которых чувство родины сильнее накопленной злобы...— высказал предположение Павел Арефьич и сразу перешел к рассказу о какой-то Кате, тем же утром заезжавшей к нему с починкой на гаулейтерской машине.— Редкостное событие было... вся улица к окнам прилипла.

— Ну, как она? — шопотом спросил корректор.— На улице ее недавно встретил, похудела очень, бедняжка...

— Я бы не сказал, даже напротив... сколько я ее помню, никогда такой красивой не была,— возразил Павел Арефьич.— Только воспаленная вся, того гляди — взорвется. Обнять ее хотел, не далась: не поганься, говорит, об меня. Жаловалась, что изныла вся... ты же слышал, что Вася Гладких перед смертью плюнул в ее сторону? Уж на что, говорит, героиня стойкая была Юдифь, а и той, говорит, было позволено: уложила *своего* на пружинном матрасе, да и оттяпала ему башку-то начисто. Так и сказала!.. но вот откуда она библейскую историю прослышала, ума не приложу.

— А ты бы объяснил ей Павел, что рано, мол, девочка.

— Я уж и так... молчи, говорю, сердце мое, Юдифь моя, терпи, а то и я заодно с тобой заплачу. Два раза так сказал. «Ладно,— гордо так усмехнулась,— я уж все равно вся закоченела изнутри. Мне бы, говорит, теперь хоть издали звездочку советскую посмотреть, а там и еще год выдержу!»

— Родная ты моя, железная!..— еле слышно вздохнула жиличка.— Племя-то какое незаметно подросло: прикажи, без крыльев полетит!

Временами разговор стихал, походил на шелест бумаги. Поле стыдно становилось подслушивать такого величия тайну; во всяком случае, понимала, что теперь не только внукам, а и матери родной посовестится рассказывать про избегнутые и такие ничтожные опасности своего похода в Лошкарев. Она с головой завернулась в одеяло и кое-как забылась до утра.

За скудным завтраком Павел Арефьич расспрашивал Полю, как выспалась и отдохнула, причем виноватое смущение сквозило в его тоне.

— Два раза заходил к тебе, крепко же ты спала... натерпелась от покойного Киттеля, бедняга!

— Нет, я слышала, половица скрипнула под вами... но мне почудилось, что я еще маленькая и меня будят, чтобы в школу итти. Ужасно не хотелось... Кстати, что там теперь, в школе?

— Там теперь немцы мороженые лежат... Тоже науку проходят, науку разочарования. Как, накопила мужества на обратную дорогу?

И опять, после всего, что узнала в Лошкареве, Поля не посмела жаловаться на опухшую коленку, просто решила до возвращенья не глядеть туда, чтобы не расстраиваться, но каждый шаг отзывался саднящей болью в бедре.

— О, хоть в два раза дальше! — как могла веселей сказала Поля.

— Так оно и получится: назад пойдешь кружным путем. Мы тебе за ночь отличное удостоверенье сготовили... даже с приложением курицы.— Он объяснил мимоходом, что так у них, в подпольи, зовут германского имперского орла.— Отлично... итак, за урок, Поленька, и в дорогу!

...Лишь к концу дня, когда Поля затвердила сложное ответное послание Осьминову, сам Павел Арефьич проводил ее до заставы. Чуть поодаль она прошла с ним через весь городок. Если не считать развалин монастыря на песчаной крутизне да гораздо менее живописных головешек знаменитой лошкаревской каланчи, город почти не пострадал от войны, а, пожалуй, только попросторней стал за счет заборов и деревянных домишек, разобранных жителями на дрова. Смертная тень неволи лежала даже

на каменных, вдоль набережной, всегда таких равнодушных к людскому горю, особняках прежних енежских промышленников. На месте вырубленного парка Молодости бравыми шеренгами выстроились приземистые немецкие кресты под командой одного, более внушительного, с железной каской на верхнем торце... В заметно потеплевшем воздухе плыли робкие снежинки, и такая же унылая скудость, рабская скованность сказывались в пустоватых улицах с очередями за хлебом или на вновь объявленную регистрацию.

Только рынок еще шумел, не громче улья после заморозка. Поля мимоходом разглядывала продавцов и их товары, потому что по ним легче всего узнается уровень простонародной жизни. Древняя чиновница с опухшими ногами, вся обвешанная вдовьим имуществом, как универмаг, держала на ладони спички, продаваемые поштучно, да худенькая девочка-подросток, предлагавшая прохожим свои учебники для шестого класса, проводила Полю безнадежными глазами, да еще, видно, местный леший, прикинувшись деревенским старичком, весь зеленоватого колера, высматривал покупателя на свои банные веники укороченного, военного образца... Здесь, одними глазами, издали, Поля простилась с вариным отцом.

Никто не остановил бедную замарашку и на заставе; только иззябший часовой заглянул было в полину кошелку с огрызками подаяний и, брезгливо махнув рукой, заскулил песенку о фатерлянде... Дальше простиралась необъятная енежская пойма; острый встречный ветерок несколько подбодрил Полю, ненадолго заставил забыть про неотступную теперь боль в колене. Через час понеслась поземка, дорога стала путаться под ногами, и было бы совсем плохо, если бы на перекрестке не вышла из кустов такая же нищенка, что и Поля, только румяная и востроглазая,— связная. Засветло они успели миновать деревню, в наиболее опасные минуты выпрашивая милостыню у чужих, неласковых солдат.

— Как звать-то тебя? — спросила Поля.

— Варюшкой... а что тебе?

В иное время Поля непременно подивилась бы такому совпаденью.

— Тогда давай потише, Варя... а то как бы не свалиться мне.

— А мы уж и без того до места добрались,— и показала на темневший впереди, клином выдавшийся лес.

И правда, вскоре их окликнули из сугроба, и потом люди сторожевого охранения на розвальнях отвезли Полю в штаб отряда, где как раз, по сведениям варина отца, находилась теперь Елена Ивановна. Наверно, все это было гораздо сложней, Поля еле примечала подробности; время от времени как бы дымкой застилалось сознание. Почему-то именно в эту ночь продвижение вдоль железной дороги мимо Красновершья представлялось небезопасным, зато партизанские разведчики брались с утра прокинуть московскую посланницу по рокадным проселкам и деревням, свободным от немецкого постоя.

Неожиданно для себя Поля получала небольшую передышку в пути.

6

Часа полтора она просидела в большой, до зноя натопленной землянке; с минуты на минуту ждали возвращения командира с очередной операции. Неопределенного возраста худенькая женщина в стеганой кацавейке выстукивала что-то пальцем на машинке да могучий дядька с набором всевозможного оружия по бокам усердно придвигал Поле угощенье во исполнение приказа, в особенности белый трофейный хлеб в пергаментной упаковке, и увещевал еще разок *вдарить* по творожку для подкрепленья девичьего организма; выразить иначе почтительную заботу о важной московской гостье ему никак не удавалось. То был великан с озорными, на кораблики похожими глазами в широком и рябоватом, как море, лице. Самой природой, казалось, был он приспособлен для преодоления самых что ни есть космических стихий, и Поля прикинулась задремавшей, чтоб избавить его от исполнения непривычных и мелкостных обязанностей.

Когда еще через часок она проснулась от махорочного дыма, землянка была полна народу; запоздавшие толпились у входа. Все, сколько их там набилось, терпеливо смотрели на спящую и, судя по всеобщему вздоху облегчения, порядком притомились от ожиданья. К Поле приблизился некрупного роста старик, без оружия и, пожалуй, самый невзрачный из собравшихся, если бы не этот

немигающий взор из-под низких, насупленных бровей; облачко всеобщей тишины предшествовало ему. Какую-то бесконечно мирную должность занимал он до войны, в пределах от колхозного счетовода до простого конюха, пока среди ночи, минуя военкомат, совесть и родина не призвали его к ратному делу, и он пошел на зов, по обычаю русских отрекшись от дома и ближних, от самого тела своего. Говорил он негромко, но как бы на железный стержень были нанизаны звенья его гладкой, без запинки, певучей речи.

— Вот и славно, ладушка, а то заждалися мои хлопцы. Теперь знакомиться давай. Тут все наша гвардия лесная, советская. Вон тот — Караулов Петя, бродячей миной его зовем... к чему ни коснется, то и в воздух летит. И подаст же господь этакой талан человеку! А вот, что поближе, рымского сложения, на тяжелый бомбардировщик похож...— и показал на незадачливого полина собеседника,— это есть Василий Парфентьевич из Дергачевки... Т-Б-З прозывается у нас за свои размеры; и, верно, значительные опустошения и огорчения как неприятелю, так и повару нашему наносит, дай ему бог здоровья. К слову, покормил он тебя, ладушка? А подале, в уголок с забинтованной головой забился,— это и есть очень тоже интересный гражданин по кличке *фашистская смерть,* так-то... а ты думала, поди, что *она* старушка с косой да впалыми очами? Не-ет, ладушка. Спеклося у него внутри... да и, правда же, крепко *они* его обидели, я бы на его месте тоже не простил. Ну, это комиссар мой, а сам я командир ихний являюсь...— Он протянул Поле маленькую костистую руку и назвал фамилию, часто служившую впоследствии для обозначения непримиримой народной расправы с оккупантами.— Чего-то вид у тебя подмоклый... не остудилась ли?

— Нет, мне хорошо, и я сыта, спасибо,— сказала Поля. правильно расценивая командирскую хитрость старика, стремившегося щедрой, на людях, похвалой удвоить доблесть своих бойцов.

Как ни искала Поля глазами среди собравшихся, так и не нашла, но старик угадал ее желание.

— Такая жалость, не знала Елена-то Ивановна, что ты здесь... на крылышках прилетела б! — шепнул он Поле на ухо и, вздохнув, в раздумьи почмокал губами.— Хотя

нет... не прилетела б, пожалуй. Много у ней сейчас деток скопилось на руках, хуже грудных, хоть и с бородищами. Не раньше утра прибудет, а пока... подымайся-ка, ладушка, обогрей человечьи-то души. Попристыли с дороги, им теперь в самый раз горяченького хлебнуть. Как, можно и приступать? — опросил он всех, приглашая к тишине, и, прежде чем Поля уяснила, чего хотят от нее, объявил затихшим партизанам, что среди них находится гостья, которой посчастливилось лично побывать на ноябрьском параде в Москве.

Он за руку вывел Полю на средину, чтоб всем было слышно, и отечески кивнул со стороны.

Бледная от волненья, Поля слушала дружные, незаслуженные ею партизанские рукоплесканья, пока сама не догадалась присоединиться к ним, потому что аплодировали бессчетному народному единству и будущему своему... Она действительно присутствовала на гордом и прекрасном празднике своего народа, слышала Сталина, как если бы сама говорила с ним, и это дало ей силу на вступительные слова. Все бывает важно в цепи обстоятельств, сопровождающих неповторимое событие; из боязни упустить бесценную подробность, Поля начала со своей встречи с Сапожковым, причем скупая запись памяти об этом эпизоде ширилась и проявлялась теперь за счет трагических с тех пор душевных накоплений Поли. Они придавали глубину и значительность образу безвестного комсомольского секретаря, размаху его замыслов, так и не претворенных в жизнь, даже теплоте его мнимой, мальчишеской небрежности... Наверно, то был не самый обстоятельный, но наиболее непосредственный отчет о беспримерном параде сорок первого года, без разъяснений и прикрас, умаляющих величие исторического акта: о том, как били часы, как поднимались на трибуну, и во что был одет Сталин, и как похрустывал снежок под ногами проходившего советского войска. А чего не смогла разглядеть в рассветном сумраке седьмого ноября, про то рассказала так, как это отразилось в сердце русской комсомолки середины века.

И, значит, ей удалось передать грозную торжественность Красной площади, сплавляющий зной единства и предчувствие победы, ветерком в то утро пронесшееся по стране.

— Вот спасибо тебе, ладушка, за твой щедрый дар: нам это всяких боеприпасов важней!.. То — дело отваги да рук человечьих, а твое — из глазу в глаз передается. Смотри, ведь плачут люди-то! — после долгой всеобщей паузы сказал командир и от лица всех поцеловал Полю.— Ой, никак жар у тебя?.. как же назад-то пойдешь, ладушка?

Она не ответила. Правда, коленка теперь не болела совсем, только кружилась голова, зато порой хотелось лечь, где придется, и продолжить прерванную беседу с Варей. Сквозь строй расступившихся партизан женщина в кацавейке повела Полю спать; несколько рук одновременно протянулось распахнуть выходную дверь. И, едва закрыла глаза, тотчас над нею склонилась Варя — теплая, туманная и добрая, как весенний дождь.

К рассвету стало легче,— Поле дали водки и, закутанную, усадили в розвальни. Деревья стояли, разряженные в иней. Командир согнутым перстом погрозил вознице и тронул вислые усы. Конные провожали до сворота на Красновершье; там, невдалеке, за посеревшими снежными отвалами зимы, проходил фронт. Расстались у спуска в лощинку с побитым, печальным леском, задичалым, как всё в несчастье. Если бы не болото впереди, хоть и подмерзшее, да количество вражеских частей, возраставшее по мере приближения к переднему краю, всего часа полтора ходьбы оставалось бы Поле до дома, где поджидал ее Осьминов. Объяснили дорогу и спросили на прощанье, дойдет ли; она отвечала сквозь стиснутые зубы, что теперь-то уж непременно дойдет:

— Я легкая, с кочки на кочку допрыгаю как-нибудь!..

Было голо и глухо кругом, ни следа птичьего на снегу, и небо пепельного цвета. Горстка золотистой шелухи от беличьей трапезы порадовала глаз и отдаленно напомнила цветы по бережку Склани, где совсем недавно, кажется — всего сто лет назад, взявшись за руки, бродила с Родионом. Она дословно помнила весь тот разговор, закончившийся очередной размолвкой.

Так, помнилось, Поля спросила его, во-первых, нравится ли ему, как пишет Кант, и еще — считает ли он ее достойной счастья; словно предчувствуя скорую военную разлуку, она торопила его с признанием. Дети, они в своем обиходе избегали произносить то слово, самое

святое и бессмертное в человеческой речи, может быть, целомудренно страшась его грешной и смертной изнанки. Им все казалось, что даже вздоха неосторожного достаточно, чтобы погасить их взаимные нежность и благоговенье. Полино чувство к Родиону еще не достигло той силы, какая заключена в желаньи всегда владеть своим избранником,— из-за войны оно сразу началось с боязни утратить его навсегда.

Помнилось также, она выразила Родиону глубокомысленное удивление, какие громадные механизмы бывают пущены в ход для осуществления самых маленьких причуд природы. Она имела в виду, например, сколько могущественных физических законов, подобно хирургам столпясь над цветком купальницы, бережно раскрывают ее венчик, чтоб не повредить лепестков, не причинить ранения. Она полагала, что Родиону придется по сердцу ее замечание, а тот лишь посмеялся в ответ. Он сказал тогда, что это и есть *обыкновенное* чудо жизни, как тень листвы на неторопливой лесной воде, или крик птицы в позлащенных закатом вершинах, или как она сама, Поля, наконец. И заключил неосторожно, что степень чуда мерится количеством гения, вложенного в явную, хотя бы в милую и бесполезную безделицу.

— Это я безделица, по-твоему?.. спасибо на добром слове!.. но еще посмотрим, кто окажется обыкновенней и бесполезней из нас двоих! — вспыхнула Поля, обозвала его жалкой фигурой нашего времени, и после той ссоры они не встречались до самого родионова отъезда в Казань.

...Так она шла, стараясь думать о чем угодно, кроме смерти, которая караулила ее со всех сторон. Три последних часа оказались наиболее утомительными за все четверо суток лошкаревского похода. Похрамывая, малоезженной лесной дорогой она кое-как выбралась на юго-восточную опушку Пустошей; ошибка показалась Поле незначительной. По расчетам перед нею должен был простираться тот самый край енежской поймы с геодезической вышкой в полукилометре, на бугре, условленное место встречи с осьминовскими людьми. Ничего не виднелось там, в смутной белесой пелене: приходилось ждать темноты. К ночи зашумел лес, и опять, как ни напрягала воспаленных глаз, набухших от ветра, как ни прислушивалась к воздуху — нигде самолета не было.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

За минувшие полгода Поля и Сережа при разных обстоятельствах сталкивались не однажды, не подозревая о своем родстве. В развитие детской полиной мысли о механизмах явлений и — если отвлечься от причин происходившей тогда гигантской схватки за будущее планеты, достойны самого пристального внимания те громоздкие предпосылки, какие потребовались для возникновения этой дружбы, теснейшей всякого родства... После восстановительного ремонта бронепоезд не вернулся на прежние позиции, к югу от Москвы; по соображениям подготовки к крупнейшему контрнаступлению того года командование перекинуло его в составе бронедивизиона на лошкаревский участок фронта, и уже на второй день по прибытии на место война повела молодых людей навстречу друг другу.

Началось с того, что на рассвете, в самом начале месяца, штабу армии стало известно о скоплении немецкой мотопехоты в ничейной зоне, на том заболоченном отрезке Енги́, между Красновершьем и одноименным железнодорожным полустанком, где параллельно реке изгибался левый фланг нашей группировки. Численность неприятеля не превышала батальона, а по состоянию дорог и условиям местности район этот не считался подходящим для крупных наступательных операций. Целые сутки перед тем пурга бушевала на Енгѐ, так что наша разведка не смогла обнаружить немецкой переправы — тайком вмороженный в лед настил почти шестиметровой ширины. Вражеское оживление у Красновершья было понято как отвлекающий маневр, прикрывающий более опасные для нас войсковые передвижки к северу от Лошкарева... В то же самое время немецкий мотобатальон мог оказаться головной походной заставой полка, а при удаче в брешь за ним могла просунуться и дивизия. Для выяснения намерений противной стороны выгодней всего, в тамошних условиях, представлялось послать туда тяжелый бронепоезд, чтоб мешал дальнейшей переправе и, как было передано по телефону, держал этих коричневых чертей в лихорадочном состоянии.

От базы до Нижнего Березника, где проходил передний край нашей обороны, было не больше двенадцати километров. Бронепоезд приступил бы к операции без опоздания, если бы на исходном рубеже, пока командир Цветаев ходил на телефон в землянку уточнять цели налета, не случилось некоторых непредвиденных происшествий. При остановке раздался нехороший хруст под колесами, и старший машинист Титов спустился взглянуть, не лопнул ли рельс; путь был избитый, местами шитый на живую нитку, а при нагрузке в двадцать тонн на ось паровозной бригаде надлежало быть особо осмотрительной. Тут-то, в просвете путевой просеки, машинист и увидал стайку десятка в два немецких двухмоторных самолетов, летевших вдоль линии на восток,— почти одновременно последовала команда Морщихина изготовиться к воздушной обороне. Бомбардировщики шли на порядочной высоте, изредка пропадая в хлопьях рассветного неба, и, судя по вспышкам вокруг, уже вступили в зону наших зениток на передовой.

Сережа находился на паровозе, когда за минуту перед тем, хоть и не полагалось по уставу, в будку заскочил погреться его дружок, запасной помощник машиниста Колька Лавцов, взятый в налет ввиду чрезвычайности задания. Команда была свежая после сравнительно спокойной ночи, даже побритая, у кого росло, так что выход в предстоящий бой был им вроде бы и в охотку: только курили не переставая. И оттого, что кочегар Гришин, из старичков — по сравнению с зеленой молодежью, проговорился невзначай, будто видел яблоки во сне, что́, по его мнению, считалось не к добру, то Лавцов и обронил вполголоса, что вот, мол, *наши* летят, наши — не в смысле их принадлежности, а по назначению их смертоносного груза,— обронил не из каких-либо дурных предчувствий, а единственно по привычке подзадорить приятеля, уже не Сережу Вихрова, на этот раз, а помянутого кочегара Гришина, безответного и необстрелянного пока новичка.

Впрочем, тот был всего лет на шесть старше Лавцова.

— Так что зря ты, папаша, сахару своего давеча не доел. Теперь пропадет зазря, пожалуй, твой сахарок. Однако не горюй... зато академики преклонного возраста станут опыт твоей незадачливой жизни изучать в полную силу своей исторической науки.

— Смотри, как бы у самого не закапало,— невозмутимо огрызнулся Гришин, поливая водой свой уголь на лотке.

— Это они станцию бомбить летят,— сообразил Сережа Вихров, подразумевая крупный железнодорожный узел в тылу, где всю последнюю неделю ночи напролет разгружались эшелоны.

— А ты не утешай, надо с товарищем правдиво обращаться,— возбужденно тешился Лавцов, не отрываясь от окошка.— Сам увидишь, такой сейчас концерт начнется, что Грибоедова не хватит описать. Вишь, отваливает один... значит, Гришина нашего заприметил. Ну, жди теперь своего яблочка, кочегар! Этот и есть *наш.*

С правого крыла будки видно было, как напрямки, по целине, бежал к паровозу командир Цветаев, все бежал — путаясь в полах шинели да еще, как на грех, споткнулся о пенек под снегом. К слову, это был тот, известный удачами и мужеством, впоследствии в стихах воспетый Цветаев, и ребята, затихнув, с тревогой следили за любимым командиром, поспеет ли: один самолет, поотстав от звена, заметно снижался навстречу шквальному огню зенитных пулеметов.

— Заметили нас... А ну, закрывай окно, ребята, а то дождик пойдет, намочит,— приказал вернувшийся к тому времени машинист Титов, наготове придерживая для командира бронированную дверцу.

Первая бомба угодила в тот злосчастный, только что покинутый цветаевский пенек,— гибель всю жизнь ходила по следам товарища Цветаева. Он был уже в будке наполовину, так что дверца силой взрывной волны втолкнула его внутрь, начисто срезав каблук с сапога. Вторая последовала незамедлительно, и сквозь треск пальбы все расслышали стонущий лязг где-то рядом, чуть ли не в тендере. Цветаев успел крикнуть машинисту, чтоб открывал инжектора, и так как еще накануне говорили о таком маневре как о средстве маскировки, то Сережа еще раньше Титова разгадал спасительную выдумку командира. Пока тот перекрывал водяные пробки, он поднырнул под броню с левой стороны и в полной тьме рванул на себя рукоять грязевого крана, каким обычно пользуются при продувке котла. Только прямым попаданьем в паровоз возможно было вызвать такое пышное и гремучее облако пара,

вдвойне убедительное на морозце. Двухминутного извержения в двадцать начальных атмосфер вполне хватило обмануть воздушного налетчика: редкому удальцу с одного захода достается такая добыча... После основательной пулеметной очереди по воображаемым обломкам немецкий летчик пустился догонять своих.

По счастью, дурное начало не смогло помешать выполнению задания: тендерный бак оказался цел, ходовая часть не затронута. Однако сдвинутая волной передняя контрольная площадка стала поперек пути, глубоко врезавшись в шпалы; из-за перекоса стало невозможным и отцепить ее, так как винтовая стяжка не порвалась при ударе. Выход на огневой рубеж задерживался на неопределенное время... но всегда везло Цветаеву: заминка случилась на глазах нашего сторожевого охранения, и солдаты под командой своего лейтенанта, воодушевленные прибытием подмоги, приняли деятельное участие в устранении беды... К слову, такая спешка проходит безнаказанно лишь на войне, когда предельное мускульное усилие сочетается с безукоризненным расчетом движений. Все же, пока вышибали упряжной клин сцепки и в сотню рук разгружали подбитую платформу, пока подымали ее на домкратах и с *дубинушкой* валили под откос,— тем временем окончательно рассвело.

Очень своевременно из разговора с пехотным лейтенантом выяснилось, что при всем его уважении к внушительному виду бронепоезда, вынужденного перемещаться в одном измерении, он смотрит на него с тем же почтительным сочувствием, как и на устарелые пулеметные тачанки гражданской войны. По словам лейтенанта, всего месяц назад он самолично наблюдал гибель одного бронепоезда ПВО, застигнутого на базе армейского снабжения; при этом отметил ногтем то место на цветаевской карте, где полторы дюжины самолетов в течение получаса разгружались на зажатое между двух глубоких воронок героическое железо, до последнего дыхания извергавшееся громами, как вулкан. Командиру Цветаеву некогда было вступать в дискуссию об уязвимости бронепоезда с воздуха, однако запомнил время и место той трагической дуэли.

— А вам не кажется, товарищ лейтенант, что на самолетах еще опасней? Оттуда можно еще упасть вдобавок,— пошутил Морщихин смущенному лейтенанту, и стоявший

поблизости Сережа Вихров с благодарностью взглянул на своего комиссара, поддержавшего боевую репутацию их оружия.

...Дальше пошли крадучись, без дымка или искорки, тендером вперед и с учетом всех, казалось бы, привходящих обстоятельств, даже — невыгодного в том месте, под уклон, путевого профиля. Поэтому, чтоб легче было выбираться при отходе, машинист Титов распорядился держать под рукой неприкосновенный запас — пару банок мазута и охапку-другую сухих дровец для подтопки на случай, если подведет слабый подмосковный уголек. По опыту прежних боевых случайностей Сережа заранее перекрыл и водомерное стекло... Словом, все было предусмотрено бригадой, кроме коренных изменений в обстановке, которых пока не знали и на командном пункте.

Значит, сверху, от Цветаева, видимость была гораздо лучше, чем из паровозной будки.

— Вот они, голубчики... да еще, гляди-ка, с сюрпризцем! — глуховато, но так явственно произнес слуховой рупор над ухом, что Титов невольно поднял голову, словно мог увидеть командира в его броневом шестигранном колпаке.

Грохот движения глушил все остальные звуки... Однако по мере того, как по сторонам расступался лес, виднее становилась оживленная перестрелка на передовой. Покачиваясь и постукивая на стыках, бронепоезд спустился в последнюю выемку... и вдруг перед ним раскинулась неоглядная снежная равнина с черными проталинками воронок и редкими султанами только что вздыбленной, оседающей земли. Цель лежала впереди, как на ладони,— собственно теперь их стало две. Кроме основной и чуть правей ее тянулись развалины кирпичного завода; там, за уцелевшей стеной, и копилась вражеская мотопехота. В стереотрубу можно было разглядеть, как спешивались мотоциклисты и почти сливавшиеся с утренней мглой фигурки вытаскивали на плечах застрявший в снегах бронетранспортер. Но главной целью попрежнему оставалась река.

Вынужденное запозданье бронепоезда обертывалось благоприятной стороной. Под прикрытием немецкой полевой артиллерии, бившей откуда-то из-за реки по нашим батареям, два тяжелых танка гуськом переползали

переправу. Два других дожидались очереди на берегу, и, следовало предположить, немало их еще таилось в леске, подступавшем кое-где чуть не к самому ледовому припаю. Оба они по разным причинам находились в положеньи, одинаково невыгодном для самообороны; с другой же стороны, после ремонта огневая мощь бронепоезда была увеличена, а пушки на немецких танках в ту пору не превышали 37 миллиметров. Примечательно, что прибытие на место минутой раньше или позже, когда танки встали бы на твердую землю, грозило бы поединком без надежды на успех, так как с выходом в седловину, меж двух глубоких выемок, цветаевский бронепоезд сам становился отличной, на возвышении поставленной мишенью. Словом, было от чего притти в упоение такому заправскому охотнику, как артиллерист Самохин... если только пренебречь тем, что может свершиться впоследствии, когда немецкая артиллерия перенесет огонь на пристрелянный квадрат, а танки развернутся к бою, и на фашистском аэродроме расчухают давешний обман с мнимым попаданьем в паровоз.

Теперь утрата и дольки этого кратковременного преимущества выглядела бы как военное преступление.

Дальше время мерилось совсем уж мелкими деленьями, неощутимыми в мирных условиях; поэтому нестерпимо долгими показались те мгновенья, пока Цветаев распределял цели и раздавал прицельные установки.

— А ну, покажь ему себя и свою сноровку, бог войны,— заключил командир так спокойно, словно тетеревов сбирался стрелять из шалаша, одновременно обращаясь как к Самохину, так и к его прославленному сопернику, Гнацюку, пушкарю со второй бронеплощадки.

Естественно, наибольшим успехом сопровождался первый залп бронепоезда — правым бортом и всем огнем, потому что и зенитчики, приспустив орудия, приняли участие в дележе и расправе. С третьего снаряда нащупали цель, а рыжие развалины направо, под прикрытием которых копились немецкие войска, стали первой добычей Самохина. Неизвестным осталось, во что он всадил свои фугасы, но только вслед за рыжей пылью красивое розовое дерево с черным танцующим стволом выросло за кирпичной кладкой и само стало покрываться алыми, недолговечными цветами. И так как ничего нет на свете грозней военных машин и — уязвимей!.. то одновременной целью второй

бронеплощадки стали два переправлявшихся танка, вернее — бугристый под ними, с синими натеками лед.

Машинист Титов с потемневшим лицом припал к смотровой щели. Сквозь дым, то и дело застилавший реку, видно было, как дыбились концы расщепленных бревен на переправе, с одной стороны, и веселые роднички вскипали в трещинах и промоинах — с другой, и как передняя машина вслед за тем начала боком скользить на край погрузившейся в воду деревянной дорожки. Танк сползал в ледяную купель неохотно, как и любое зверье при насильственном купании. Из-за дальности, дыма и брызг трудно было разглядеть вторую машину, но, верно, пятилась и упиралась, прогрызая гусеницами настил,.. да еще у задней, как и полагается в несчастиях, заело что-то в моторе, так что треск древесины и выхлопная пальба мешались с грохотом разрывов и той отчаянной людской бранью, какой обычно глушится сознание перед погибелью. Крен становился круче, но не рвалось пока надежное саперное шитво, а лишь скручивалось по спирали... Тут сообразительный Самохин добавил огоньку, разрубив поперечные пожилины, и, наконец, *это* свершилось, и потом два толстых пузыря один за другим всплыли из кипящей полыньи.

— От гарно, Самохин... от уважаю, сынок! Ты ведь волчатник, никак? — прокричал командир сквозь огневую трескотню, и впоследствии номерные всех орудий клялись, будто с этой минуты Цветаев нараспев подавал свою команду.— Пускай знают, как наказывают власти советские неумеренные страсти немецкие... Полный назад теперь, в укрытие!

За первым налетом последовал второй и третий, и всякий раз в выемку отходили с чувством той охотницкой сытости, как на волчьей облаве, когда, вогнав заряд в грудастого материка, видишь его исходящее злостью и кровью, клонящееся на снег, обмякшее тело. Едва осколки начинали сечь по броне или оседающая земля — царапаться о кровлю, бронепоезд переползал на другой край выемки, сбивая наводку вражеских орудий, чтобы, отстрелявшись, снова спрятаться в свою норку, подобно мальчику, играющему в снежки. Однако с каждым разом убавлялся перевес нападающего, а все новые немецкие танки наползали из лесу, с ходу вступая в бой, и вот уж дважды пришлось

картечью отбиваться от набегающей вражеской пехоты, и вот уж пойма вся рябая стала от воронок, и вышла из строя башня на одной площадке, и грязным копотным огнем пылали полушпалки на другой. Однако число совершенных бронепоездом налетов сократилось бы вполовину, если бы на помощь ему не подоспели тяжелые пушки наших дальних батарей... и вот уже в штабе фронта проведали про этот некрупный, местного значения бой.

Дрались пятнадцатую минуту, когда машинист Титов увидел в перископе дымный, с добрую сосну, фонтан за своей хвостовой платформой, и тотчас же гулкая дрожь докатилась по рельсам до будки. Путь за спиной был взорван, а дорога к отступлению оказалась отрезанной, и затем почти у самого тендера был обнаружен второй немецкий подрывник с гранатами. Невероятным представлялось, как он подобрался сквозь такой огонь и — столь близко, что можно было при желании видеть кровь в углах его рта и различить, к примеру, как уже простреленный, в предсмертном ожесточении кричал он почти без акцента: *«Ну ехай, ехай!»* — и смеялся, и, точно заразясь отвагой русских, показывал назад, на подорванный путь. Ему щедро заплатили за дерзость... в то же мгновенье черная угольная пыль заволокла смотровые щели, и все колыхнулось в будке от удара в подбрюшье паровоза.

Катастрофа наступила при самом выходе на огневую позицию, когда машинист еще не успел перевести реверса в обратное положенье, необходимое для отхода. Титов всем телом повис на своем маховичке, но никакая сила теперь не сдвинула бы его ни на градус. Бронепоезд попадал в смертельную вилку, и оставалось ждать повторного, более точного попадания, так что лишь крайностью минуты объяснялся тот невероятный цветаевский приказ — «открыть огонь по соображениям личного ума»,— даже без указания цели, по старому миру вообще, по всемирному злу, что опаляет цветы, гасит детский смех, давит горло человечьей радости!.. Впрочем, он был спокоен и теперь, цветаевский голос, так что команда выражала скорее призыв к последнему вдохновению бойца, чем прощанье... Однако, стремясь хоть временно отсрочить гибель, машинист Титов открыл пар, и бронепоезд со скоростью мишени, проплывающей в стрелковом тире, двинулся вперед, в глубь ничейной зоны.

— Что теперь будет-то? — с посеревшими губами спросил Гришин.

— А что тебе будет? Это как в коктейль-холле: выпито, покушано, прошу платить по счету... и домой,— единственно от возбуждения не сдержался Коля Лавцов и замолк под строгим, хуже всякого окрика, титовским взглядом.

Правда, применительно к их положению нельзя было придумать местности благоприятней. Почва содрогалась вокруг, а здесь было вроде и безопасно, за высоким земляным отвалом с мелкой-мелкой елочкой на гребне. По другую сторону железнодорожного пути открывалась та же низменная снеговая пойма с непонятною, полукольцом, грядой, терявшейся на отдаленной и мглистой лесной опушке. Экипаж бронепоезда высыпал наружу на осмотр повреждений, и все украдкой поглядывали в хмурое, пока — зловеще пустое небо. Когда Морщихин приблизился к паровозу, машинист Титов, запустив руку по локоть, шарил в пробоине и сдержанно ворчал командиру на техника за отсутствие газовой сварки на бронепоезде.

— Чего ты варить собрался, отец? Лучше разобрался бы сперва, где у тебя там заколодило,— настаивал Цветаев, потому что, зная свою удачливость, рассчитывал на какой-то иной варьянт поправимой поломки.

— Тут помереть надо, чтоб забыть такое приключение...— тянул Титов, продолжая исследование.— Да, к обеду, надо думать, не управимся...— и сам горько усмехнулся на свою шутку.

Надежды Цветаева не подтверждались; в оплавленной по краям дыре виднелись крупичатый откол и вмятина, заклинившая кулисный камень в верхнем положении. Прогиб золотниковой тяги еще возможно было и выправить после разогрева в топке, но без замены правой кулисы нечего было и думать о самостоятельном возвращении домой... Тогда-то и вспомнил Цветаев рассказ пехотного лейтенанта о разбитом бронепоезде ПВО в лесном тупичке. Значит, та убегавшая к лесу снеговая гряда, принятая им сперва за противотанковый эскарп, и была железнодорожною веткой на базу,— путь начинался в двухстах метрах от их нынешней стоянки. Решение напрашивалось само собой, и если только лейтенант не совершил топографической ошибки, если посланец успеет обернуться до прилета

вражеской авиации, пока оставшаяся команда примется за починку пути, если немцы на лом не порезали подбитого паровоза, если, как и во всяком выигрыше, совпадут серии...

Командир вопросительно покосился на Морщихина, тот, прочтя его мысль, молча кивнул в ответ. Когда машинист Титов повернулся к ним лицом, видно было по всему, что и он думает о том же. В их положении стоило пойти на любой риск, лишь бы раздобыть запасную кулису.

— Во всяком случае, следует попытаться,— вслух колебался Морщихин, на глазок прикидывая расстояние до леска.— Тут километра три всего. Много она потянет, тяжелая?

— От силы пуда полтора... дотащить можно и одному, когда бы под прикрытием сумерков. Вопрос во времени...— сказал Титов, опять настороженно взглянул в небо и полез за табаком.

Все трое пристально и сравнительно долго в тех условиях глядели на обоих помощников машиниста Титова, стоявших поблизости, сообразуясь со смекалкой и физической выносливостью каждого из них. Понимая значение смотра, ребята молчали с остановившимся сердцем и опущенными глазами. Оба были слесарями пятого разряда, оба были готовы на любое за советскую власть; Лавцов выглядел вроде бы посильней... но вдруг Сережа понял, что выбор падает на него, и краска волнения выступила на его щеках.

— Так вот, Вихров... подшибленный паровоз вон в том лесочке стоит, а надо выручать товарищей...— замедленно и не без колебаний начал Морщихин.— Ты где это сапоги-то прожег?

Сережа правильно разгадал его вопрос.

— Вы за меня не бойтесь, товарищ комиссар... я коммунист,— тихо ответил он, и, впервые произнесенное в применении к себе, слово это опалило ему гортань.— Благодарю товарищей за оказанное доверие...

Судя по всему, он понимал срочность и ответственность порученья; улыбка стала решающим доводом для его посылки за кулисой.

— Карабин прихвати на случай да почаще оглядывайся,— сказал Цветаев.— Ждать тебя будем... сам понимаешь, с каким нетерпением!

— Дай ему, Николка, что потребуется,— мельком приказал Лавцову машинист.— Да главное, ты сперва покачай на валу кулису-то. Подважь ее чем придется изнутри... ручником-то не бей, погнешь! Ну, все тогда... в остальном проявляй настойчивость и подчиняйся голосу разума! — и показал стиснутый кулак.

Сережа молча принял из рук товарища ключ, бородок, зубило и откуда-то чудом взявшуюся у Лавцова дубовую втулочку с четверть длиной: «чтоб не шуметь, как почнешь валик-то вышибать». Лавцов же помог Сереже надеть маскировочный халат.

В этом месте шальная пуля срубила наверху зеленый хвостик с елочки, упавший прямо к комиссаровым ногам.

— Ну, ступай, ступай! — вздрогнув, велел Морщихин и взглянул на часы под рукавом.— Зря на рожон не лезь, рабочему классу герои нужны, а не покойники... однако поторапливайся.

Неизвестно, надеялись ли они на благополучное завершение дела, но некоторое время все трое невесело следили за посыльным, пока тот не потерялся в снегу, за поворотом ветки.

2

По расположению огневых точек противника первые метров триста были наиболее безопасны,— дальше стало потруднее. Узкая полоска мертвого пространства находилась под обстрелом; редкие минометные разрывы то и дело вперебежку патрулировали вдоль нее. Ветер с враждебной стороны гнал по полю вихри сухого снега, выдувая глубокие впадины, и, когда в одной из них, впереди Сережи, обнаружилась подозрительная чернота, по ней дополнительно стал бить немецкий пулемет. С легким свистом он вколотил в нее две коротких очереди, хотя та на поверку оказалась всего лишь лошадиной головой, одеревеневшей, подсохшей на морозе и маленькой, как у карусельной лошадки. Несмотря на понятное возбуждение, Сереже пришло в голову, что, пожалуй, безрадостней занятия для повелителей природы не смогла бы придумать самая сатанинская башка! Все же пришлось пережидать, пока немецкий пулеметчик не удостоверится в отсутствии угрозы для себя. На это ушла несчитанная уйма времени,

и никогда с такой остротою Сережа не ощущал бесполезно утекающей жизни. Последний отрезок пути он прошел как бы кролем, по макушку в снегу, зажмурясь и на исходе сил, зато не больше метров сорока оставалось до опушки. Он поднырнул в снег под кустом калины с промороженными кровинками ягод, прополз для верности еще немного и выглянул из своей траншеи.

Молодой гонкий лес с густым ежистым подростом обступал его. Занесенный снегом железнодорожный путь круто сворачивал влево, и здесь, на сгибе, Сережа оглянулся, но ничего не увидел позади, в просвете просеки. Клочковатая муть застилала горизонт с навешенными поверху белыми искусственными облачками. Виноватое чувство бездельника подсказало Сереже, сколько времени он потратил на дорогу. Остаток пути он почти пробежал, не переводя дыханья, ногой прощупывая колею. Лес там был никлый, мертвый, хоть бы синичка в нем; когда же он поредел, почернел от огня, ремнями сверху донизу окоренный вдобавок, Сережа понял, что добрался до места.

Сквозь лесной завал стала видна просторная прогалина, походившая на гигантскую воронку с начисто сметенным подлеском по краям. Все кругом вперебой торопилось рассказать о побоище. Там и здесь из сугробов торчали обгорелые стойки вагонов, крюки платформ, поднятых на дыбы, и всякий другой, до неузнаваемости скрученный металл; самое страшное скрывалось под рыхлым, спокойным снегом... но и деревья здесь выглядели, как люди. Одни лежали навзничь с вырванными корнями, другие же, даже обезглавленные на бегу, еще стремились вон из западни, наклонясь вперед расщепленными стволами, а наиболее рослые и стойкие, сами в глянцевитых обдирах и ранах, казалось, вели куда-то пошатнувшихся товарищей. Милосердная зима припорошила кое-где, клоками снега заткнула до весны их увечья.

Рукавом маскировочного халата Сережа обмахнул мокрое лицо и прислушался. Все обстояло в полном порядке, единственным звуком здесь было его собственное сердцебиение.

Некогда было разбираться, в чем именно напутал пехотный лейтенант. В снегу чернел обыкновенный *черный* паровоз без брони, однако той же самой серии ОВ, по счастью. Потребовалось отоптать снег кругом, чтоб при-

ступить к работе. Машина сошла с насыпи наискось, по дышло зарывшись в землю, раздетая взрывом догола, как наглядное пособие. Бомбовый удар небольшого веса пришелся в самую смертельную точку, в сухопарник; за порванной обшивкой видны были посеченные внутренности машины, жаровые и дымогарные трубы с желтым, чужим тротиловым нагаром поверх накипи и — какой-то тигровой расцветки. Кулиса оказалась неповрежденной, и, если бы не опасный наклон почти отвалившегося ската, Сережа вдвое быстрее справился бы со своим заданием. Он уже высвободил эксцентриковую тягу, выбил валик кулисной подвески, когда явственно различил прерывистое журчанье над головой. Вражеские бомбардировщики шли с севера по направлению к реке, расклевывать его бронепоезд. Время становилось еще строже и тесней, даже некогда стало еще разок посмотреть вверх и увидеть два спасительных звена наших истребителей, летевших врагу навстречу. Воздух наполнился стонущим воем машин вперемежку с деликатно-негромкими пулеметными очередями. Лишь десять минут спустя от начала воздушного боя обнаружилась сережина ошибка: он разбирал левую кулису вместо правой.

Будь их трое на сережином месте, с самим Титовым во главе, они все равно не поспели бы к сроку, но это стало известно много позже, а пока, мнилось Сереже, целой жизни не хватило бы оплатить одну эту упущенную четверть часа. По видимым повреждениям разбитого паровоза легко было представить последствия сережина промедленья, а именно — чтó происходило сейчас с его бронепоездом там, на огневой позиции. Да тут еще мучительная догадка, почему именно его, Вихрова, спасая от ада воздушной расправы, избрал Морщихин, а не Кольку Лавцова, который ни за что не допустил бы такой оплошности.

— Сбился, сбился профессорский щенок!..— шептал Сережа, облизывая раскровавленный палец и глядя в небо, где во всем разгаре, на размашистых вертикалях, длился воздушный бой.

Вдруг он понял, что вот еще полторы бесценных минуты растратил лично на себя; холод и твердость влились в него. Работа с правой стороны паровоза пошла не в пример спорее. Пальцы пристывали к железу, они стали

алыми и липкими,— он не чувствовал своего тела: теперь оно являлось всего лишь подсобным инструментом товарищей, доверивших Сереже свои жизни. Судьба улыбнулась парнишке: удалось наверстать кое-что за счет лопнувшей золотниковой тяги. Двухметровый отрубок ели вполне своевременно подвернулся ему на глаза. Сдвинутая рычагом, кулиса скользнула с вала и зарылась в снег. Мысленно Сережа взглянул под рукав Морщихина, на часы. Короткий зимний день кончался,— это удваивало силы и сокращало обратный путь... и вот уже лесная опушка снова засветлела впереди, когда сквозь запорошенные снегом заросли лещины Сережа обнаружил чужих лыжников. Четверо скользили ему наперерез, и слышно было посвистывание лыж, а Сережа все не мог придумать позу поестественнее, будто убитый. Спасение пришло внезапно, как во сне: шагах в сорока от старого сережина следа лыжники необъяснимо, под прямым углом, свернули в глубь чащи: на войне трудней всего разгадать логику врага.

В свою очередь Сережа метнулся в противоположную сторону и, метрах в двадцати, сразу попал на свежую лыжню другой четверки. Видимо, немецкий отряд разделился надвое, еще не доходя до разбитого состава, так что Сережа оказался в вилке между ними. Пока он отсиживался в сугробе, вторая половина отряда успела достигнуть опушки, и, окажись там Сережа минутой раньше, он на собственном опыте изведал бы опасность хождения по минным полям... Когда же, потрясенный зрелищем и оглушенный взрывом, дымясь от испарины и по пояс в снегу, он ринулся на прежнюю дорогу, начался частый артиллерийский обстрел поймы. Помощник машиниста заметался, и сердце его стало тяжелей металла, который он нес. Таким образом, со всех четырех сторон была очерчена площадка предстоящей знаменательной встречи; оставалось наметить точку времени на ней. Сережа не услышал настигающего свиста, взрывная волна ударила его сзади чем-то большим и плоским, вместе с ношей зарывая в снег.

Тяжелые вражеские машины кружили над его бронепоездом,— он не знал. Ликуя, взмывали красные ястребки в прояснявшую синеву, жгли и лущили с них листы дюралия,—он не видел. Бой кончился с неизвестным исходом,

уцелевшие разошлись по своим аэродромам,— Сережа попрежнему лежал в забытьи. Тем временем смерклось и по морозной синеве стали проступать звезды. Минутный проблеск жизни заставил Сережу повернуться на спину, и на это он израсходовал всю свою волю; потом долго лежал, глядя на приблизившиеся звезды. Таким на обратном пути и нашла его сбившаяся с дороги Поля.

В первое мгновенье она решила, что только Родион мог лежать так, с раскинутыми руками. Из-за копоти и налипшего снега Поля не могла сразу распознать его черты, но знакомые глаза спокойно глядели мимо нее в ночное небо; казалось, ничто на свете не могло прервать теперь солдатского мышления. Приподняв голову лежавшего, Поля сняла льдистую корочку с его лица и век,— пальцы нащупали липкие натеки в углах рта. Но нет, он был теплый, и одежда на нем была цела, только не отзывался на имя, словно забыл, как его звать, и зачем пришел сюда, и сколько ему было от роду, когда убили.

— Слышишь ты меня? Мигни, я пойму... во что, куда они в тебя попали? — шептала ему Поля, но вместо ответа лишь холодный звездный свет мерцал на поверхности зрачка.— Где у тебя болит?

Значит, то был не Родион,— тот из любой бездны откликнулся бы ей!

— Нет...— протянул этот без всякого значенья, и через эту минутную лазейку Поле удалось проникнуть в его сознанье.

Ей пригодился госпитальный опыт беседы с такими, как он. На детском языке она стала объяснять ему, что ночь и пора домой, что можно остудиться, что начальники рассердятся, если опоздает к перекличке. Ее усилия увенчались успехом,— Сережа приподнялся и прежде всего стал шарить кругом: Поля помогла ему отыскать в снегу уже ненужное сокровище. Теперь оставалось заново обучить контуженного ходьбе и речи.

Они продели сережин карабин в отверстие кулисы и поволокли ее по целине, оставляя тройной след. Всякий раз приходилось предварительно натаптывать снег, чтоб поставить ногу; больше всего времени ушло на первые шаги. Когда сила покидала их, они пережидали, привалясь друг к другу, пока погаснет в глазах надоедливая желтая пурга.

...Но был вполне напрасен их беспримерно тяжкий труд. Уже давно присланный на выручку черный паровоз утащил на базу раскромсанный цветаевский бронепоезд, а молодые люди средины двадцатого столетия все брели, преодолевая снег и наиболее страшную полночь своего поколенья. Правда, только раз обстреляли их, вслепую, как вползали на насыпь,— зато теперь их поджидало последнее разочарование. Бронепоезда на месте не оказалось, не было его и под откосом, и вообще ничего там не было уже, ни елочек, ни рельсов, ни самой насыпи кой-где. По обгорелому, невдалеке, самолету с белым крестом да разбитой бронеплощадке, нависавшей над воронкой, легко было представить, что произошло здесь после сережина ухода.

— Значит, они уехали,— сказала Поля.— Пойдем тогда.

— Погоди, это и есть то самое место... я узнал,— отозвался ее спутник.— Куда они ушли?

— Верно, домой,— догадалась Поля.

Что-то слабо и зеленовато светилось перед ними, в темноте воронки. По склону, оползавшему от слабого прикосновенья, молодые люди соскользнули вниз, на дно. Сережа нагнулся и поднял. То были знакомые часики Морщихина. Как и прежде, они находились на руке Морщихина и еще шли; соединившиеся стрелки показывали полночь. Кроме мерзлых комьев, ничего больше не было кругом. Значит, *остальное* командир Цветаев увез с собою.

— Чья это? — шопотом спросила Поля.

— Это от комиссара нашего...— пояснил Сережа непослушными, прыгающими губами.

Оба молчали, еще не наученные старшими, как полагается поступать в тех случаях, когда находишь не целого, а только часть друга. На своем коротком веку молодые люди успели обучиться похоронной науке — с речами, воинскими почестями и салютом, но в конце концов это была всего лишь человеческая рука.

— Ты не убивайся... он, может, еще живой,— сказала Поля, касаясь Сережи кончиками пальцев, чтобы остановить его дрожь.— Надо закопать это. В землю.

— Да. Подержи пока, отдохни... я справлюсь один.

Взрыхленная взрывом почва легко подавалась под ногтями, но Сереже хотелось сделать ямку поглубже.

Отложив находку в сторону, Поля нагнулась помочь. Наверно, если посмотреть с неба, они походили на детей, мирно играющих в песок.

— Вот теперь хорошо,— сказала Поля, когда свеченье циферблата окончательно сокрылось под холмиком мерзлой земли диаметром в полметра.— Теперь пойдем, а то убьют.

— Давай посидим, я устал,— отвечал Сережа.— Ты не озябла?

— Немножко озябла, а немножко нет...— по-детски отвечала Поля.

Они присели на край воронки: здесь было потише, с подветренной стороны, и где-то во мгле, впереди, подстерегал их жизни старый мир. Все отвлеченное, ранее накопленное школьное знание о нем отступало перед этой свежей непрощаемой раной. Он признался Поле в этом.

— Ты знаешь, зачем им это нужно?

— Значит, они так привыкли... Как тебя зовут?

— Меня Полей. А тебя?

— Меня — Сергей.

Его захватила щемящая тоска по друге, который щедро дарил его суровой и гордой, выше всех других, солдатскою любовью. Он заплакал, и вместе со слезами утекали остатки его веселого, безоблачного мальчишества. То была грубая, благодетельная боль, неизбежная при ковке или закалке, когда безличный кусок металла приобретает форму, прочность и назначенье в жизни.

Вдруг он поднялся с земли, и Поля вслед за ним.

— Будь проклят ты навечно, убийца,— тихо и раздельно произнес он в ночь перед собою.— Не прощу тебе, пока живой... но не прощу и мертвый!

— И я...— припав к нему сбоку, сказала Поля.

— И когда убьем войну, и когда хорошо мне будет, и тогда обещаюсь ненавидеть тебя за горе наше, за Павла Андреича, за товарищей моих! И если мое тело по малодушию или страху изменит слову моему, обещаюсь наказать его самой жестокой карой...

— И я,— прибавила Поля.

Стояла небывалая для фронтовой ночи тишина. Все спало мертвецким сном после недавнего неистовства, кроме звезд, протянувших вниз, в человеческие зрачки, свои серебряные нити.

Ни Сергей, ни Поля не видали, как вся закраина неба вспыхнула у них за спиной; лишь на мгновенье длинные тени пролегли по заалевшему снегу. Воздух наполнился множественным гулом, и затем такое же зарево разлилось по горизонту впереди. Над головой в тысячу струй с беспощадным ликованием неслись эшелоны артиллерийского металла. Затихнув, ребята внимали этому грохоту, как благовестию великой перемены.

...Еще в предыдущем месяце свыше полусотни танковых, моторизованных и пехотных дивизий врага скопилось в Подмосковьи; становилось ясно, что здесь назревает величайшее сраженье года. Неприятельские армии глубоко вдавились во фланги советской обороны, бессильные раздвинуть ее и двумя клиньями выйти в обход столицы. На последнем дыхании, трагически удаленные от своих баз, с догола раздетыми тылами и нередко — порванными коммуникациями, они продолжали давить и теперь, не превосходством стратегического плана, а инерцией железа и солдатского мяса: лезли и висли на русской рогатине. Чем глубже прогибался советский фронт, тем более копилась в нем энергия доотказа натянутой тетивы. К этому времени у советских армий уже имелось все необходимое для мощной контратаки с переходом в наступленье.

То, что фашистская Германия считала боями местного значения, оказалось началом ее катастрофы. За несколько дней в восточных снегах полегла значительная часть ее поколения, соблазненного на ограбление вселенной. Кривая фашистского могущества стала клониться вниз, и первая трещина под воздействием дальнейших неудач последовательно превращалась в сомнение, отчаянье и, наконец, в панический ужас разгрома.

Всего этого еще не знали Сережа и Поля, но в голосе поднявшейся бури они узнавали гневный голос родины и, затихшие, внимали ему с тем доверчивым восторгом, с каким дети приветствуют первовесеннюю грозу. Здесь, в воронке, двумя часами позже и наткнулась на них советская разведка.

Знаменитое шестое декабря на Енгé наступило тремя днями позже, так что Поля, хоть и на госпитальной койке, успела довести свое задание до конца.

3

По прошествии стольких лет довольно трудно установить, чего ради Иван Матвеич потащился к Грацианскому на встречу Нового года. Конечно, перед лицом общего врага посгладились личные обиды и естественные следы болезненного раздражения, что возникают от длительного поглаживания неподходящим предметом одного и того же места... все же, казалось бы, не стоило ему в такую ночь чокаться с человеком, всю жизнь наносившим ему одно пораженье за другим. Нет, новогодний поход Ивана Матвеича в Благовещенский тупичок совсем не означал сдачи на милость победителя или — намеренья приобрести его расположение прозапас; было бы вовсе несправедливо связывать этот визит только с происшедшей перед тем утерей продовольственных карточек. Умнее будет допустить приступ неодолимого, на досуге, интереса к своему низкому, всесильному и трижды безнаказанному врагу,— влечения узнать происхождение его подлой силы — сродни той любознательности, что заставляет человечество на изучение недолговременных микробов тратить время, отпущенное ему для созерцания вечных светил.

Действительно, со средины декабря Вихровым пришлось круто поурезать ежедневный рацион, постепенно снижавшийся к концу месяца, но на фоне общемосковских затруднений той поры личные нужды выглядели столь ничтожными, что у Ивана Матвеича и духу не хватило бы хлопотать о дополнительных талонах на питание. Все равно бо́льшую часть дня он проводил за рабочим столом, без затраты физических усилий,— что же касается Таиски, то она давно уже прихварывала, по ее увереньям — от преклонных лет, последнюю неделю поднимаясь лишь для мелкой приборки по дому.

Именно она, рискуя навлечь на себя гнев брата, настояла на его новогодней прогулке:

— Чего тебе дома-то мерзнуть... Эх, лесник, и дровишек себе не выслужил! Все в думах, хмуришься... полно тебе за учеников-то бояться, всех не побьют. А сходил бы ты к *нему,* поразвеялся. Старуха-то пирогов, поди, напекла... отсюда угар слышу,— соблазняла сестра, такая

маленькая в тот вечер.— Они богатые... Знающие люди сказывали: под прикрытием совести в семь рук загребал.

И опять Иван Матвеич сердился:

— Это все сплетни... тебе унизительно их повторять, а мне слушать,— и старательно подтыкал одеяло вкруг сестры, не обладая ничем другим порадовать ее в этот вечер.— Уж поздно... да и как я уйду от тебя теперь.

— А ты по мне не равняйся, Иваша, не жалей... здоровье мое подносилося. И сам-то на воздухе проветришься... глядишь, и мне калачика домашнего принесешь,— и с таким просительным стеснением взглянула, что брат уступил ей.

Согласие его прежде всего диктовалось особыми, тайными пока побуждениями. Длительные неудачи привели Ивана Матвеича к мысли о бесполезности его усилий и, как следствие, об отставке от ученых должностей; с годами колебания эти выросли в бесповоротное, что бы ни случилось теперь, решение. На месте обыкновенного лесничего в Пашутине, к примеру, он становился вовсе недосягаем для противника,— ему и захотелось напоследок повидать Грацианского накануне крупнейшего шага в жизни, уже не для того, чтобы переубедить, а чтобы выяснить в откровеннейшем, душа в душу, разговоре, насколько сам-то хулитель был искренен в своих многолетних нападках; соответственный вывод мог бы чуточку ослабить стариковское разочарование... В последнее время под влиянием некоторых предчувствий, что ли, друзья и сторонники стали покидать Грацианского, так что Иван Матвеич почти не сомневался, что застанет его одного. О возможной и нежелательной встрече с австралийцем Иван Матвеич вспомнил лишь в прихожей у Грацианских: не было уверенности, что без заправки новогодним пирогом у него хватит сил на обратный путь.

Сомнения его тотчас рассеялись: у Александра Яковлевича оказались гости, малозначительные старички с дочкой припадочной внешности; чинно сложив руки, они слушали патефонную запись *Лунной сонаты* и любовались яствами на столе, которыми хозяева собирались вознаградить их за скромность и верность.

Видимо, Александр Яковлевич запамятовал свое приглашение и сперва вроде нахмурился при виде Ивана Матвеича, но вслед за тем даже в чрезмерной степени

обрадовался, помог раздеться, повлек в кабинет, так зловеще оглаживая гостя со спины, словно приглашал в западню и... тут необходима самая точная передача речей и обстоятельств, чтоб не пропала выразительность последовавшего затем поворота событий.

— Ты это отлично придумал, Иван, что пришел ко мне... но ведь это в первый раз за двадцать лет... и не стыдно, а? Ну, мало ли, что я не приглашал... значит, и у самого тебя не было потребности. Ладно, я не злопамятный... входи!

— Неудобно же тебе гостей-то покидать,— слегка упирался Иван Матвеич, щекотливо поеживаясь на пороге, но австралийца не оказалось и в кабинете.

— Э, пустяки, там соседи по даче... полюбился я им лет восемнадцать назад, с тех пор не пропускают ни одного новогодья мне в наказанье. Чорт с ними, посидят и одни! Только извини, я иголку сменю, а то опять ценную пластинку испортят...

Пока он там управлялся со своей машиной, в кабинет к Ивану Матвеичу зашла черная старушка, мать.

— Здравствуйте...— обратилась она, глядя на рукав Ивана Матвеича и не называя по имени, так как всю жизнь путала лица этих нищих, вечно голодных студентов, что прожигали у ней на Сергиевской скатерти окурками.— Как старый друг, вы, конечно, любите Сашу... да и нельзя иначе: надо быть извергом, чтоб его не любить. Вот я и хотела предупредить вас: всякий раз под Новый год он заводит одну и ту же пластинку, связанную у него с некоторыми воспоминаниями...

— Какую, простите, какую пластинку? — проявляя интерес из вежливости, осведомился Иван Матвеич.

— Ну, *Серенаду Брага*... вам это безразлично, вы сразу узнаете ее. Видите ли, обычно переживанья его настолько... сгущаются к полночи, что нередко он плачет при этом... так вот, не смейтесь над его слабостью, пожалуйста! При такой повышенной чуткости и впечатлительности всем нам необходимо в особенности щадить сашино здоровье.

— Нет, нет, я не очень смешлив, мадам,— сквозь зубы успокоил ее Иван Матвеич и собрался прибавить еще кое-что, но здесь очень своевременно воротился сам Александр Яковлевич.

До наступленья Нового года оставалось не меньше часа, и, таким образом, у них имелось достаточно времени обсудить погоду, военные намерения западных держав насчет открытия второго фронта и кое-какие мелочи текущей жизни.

— Как вообще-то поживаешь, лесной скандалист? Ну, рад, рад за тебя,— говорил Александр Яковлевич, не дослушав его провинциально-добросовестного отчета.— Вид отличный, хоть и похудел слегка, но глаза блестят... снова полон творческих замыслов?

— Угадал, пожалуй,— загадочно согласился Иван Матвеич, доставая бумагу и табак.— Готовлюсь к завершительному шагу в жизни.

— Порадуй, порадуй... я всегда числил себя в почитателях твоих талантов. Ты кури, кури... вообще-то у меня не курят, но ты кури!.. Вот и меня тоже потягивает на одно *заключительное* мероприятие, да никак сил не накоплю,— проговорился он, и тут глаза его разъехались, а лицо поблекло и приобрело оттенок асимметричности, как при воспоминании о неизлечимой болезни; впрочем, он довольно быстро справился с собой.— Так чем же ты намерен порадовать свободолюбивые народы нашей планеты, не секрет?

— Уже не секрет, хотя заявления пока не подавал.— Впервые Иван Матвеич не опасался раскрывать перед этим человеком свои планы.— Вот хочу уходить из института, таким образом!

Тот недоверчиво нахмурился:

— Хм, редкий случай: леший бежит из леса... куда же, в воду, что ли? Непонятно, поясни.

— Напротив, возвращаюсь в лес... Под старость оно вроде и горько признаваться в содеянных ошибках, но гораздо хуже, когда вовсе не остается сил на их исправленье. У меня они пока имеются. Словом, пришел сегодня сказать тебе, что ты победил, Александр Яковлевич.

— В чем же я тебя, однако, победил? — недоверчиво улыбался тот.

— О, нет, что касается моих теоретических взглядов, я попрежнему против американского кочевого лесопользования с вырубкой лесов начисто... другими словами, я, как и раньше, за разумное, плановое постоянство. Но ты убедил меня в другом... что я взялся за непосильное дело.

Притом Иван Матвеич глядел прямо в глаза противника и вдруг заметил в них странное, ускользающее беспокойство; при спартанских потребностях и общеизвестном вихровском пренебреженьи к хлебным местам этому человеку ничего не стоило привести в исполненье свой коварный, в отношении оппонентов, ход. В таком случае школка Грацианского с ее негативными установками становилась лицом к лицу с народом, который стал бы судить стороны не по благонадежности их деклараций, не по длительности шумовых эффектов, а по количеству производимых ими ценностей, в данном случае — по наличию годных для промышленности лесов; тогда-то к победителям и обратится требовательное внимание общества, что в силу разных причин было крайне невыгодно Александру Яковлевичу и его вертодоксам.

Сказать правду, я не подозревал в тебе такого малодушия, Иван. Твое дело, но... по-моему, не очень благородно ложиться наземь в поединке, если еще можешь стоять на ногах. Когда же ты вознамерился сделать это, после войны?

— Не знаю, но... институт наш в эвакуации, отлично обходится й без меня, а незаменимых на земном шаре не имеется.

Именно поэтому, казалось бы, уход Вихрова не грозил особыми последствиями Грацианскому, но, значит, такая бесповоротность звучала в голосе первого и настолько пошатнулось положение второго, что требовались срочные меры воздействия.

— Но ведь это же дезертирство, Иван... больше того, я рассматриваю твой шаг, как, э... пускай несознательное, предательство в отношении русского леса. Обидней всего твое решение выглядит сегодня, когда после стольких бессонных ночей, э... я как раз собирался признаться тебе, что теоретически ты совершенно прав... и даже в печати заявил бы, если бы не сгущенная военная обстановка. Правда, мне еще необходимо сделать кое-какие статистические подсчеты... в настоящее время я как раз усиленно занимаюсь ими,— и не очень уверенно коснулся, видной Ивану Матвеичу с его места, тетради в темном переплете, лежавшей на столе под большой, наискось склеенной фотографией.— Да, наконец, Иван, ты просто не ценишь себя, чертила ты этакий, а уж тебе изве-

стна моя воздержанность на похвалу. Ведь по твоим знаниям...

— Перестань, а то окончательно зазнаюсь,— засмеялся Иван Матвеич на его усыпительные маневры и понял, что человек этот опасается, кроме всего прочего, остаться с русским лесом наедине.— Право, перестань, а то уйду!

— Но теперь-то уж я не могу отпустить тебя в таком невменяемом состоянии. Да у тебя просто в башке что-то засорилось, Иван... Посиди, вот я сейчас бутылочку промывательного принесу! — и выскочил в коридор, притворив за собою дверь, чтобы гость тем временем сбежать не вздумал.

Иван Матвеич даже не успел предупредить его, что воздерживается принимать вино натощак... помнится, вскоре после того и раздался коротенький звонок в прихожей, возвещавший о приходе пятого, запоздалого гостя. Взять бутылку со стола было минутным делом, но вот уже вторая минута потекла, а хозяин все не возвращался. Со скуки Иван Матвеич погулял по кабинету, пощупал холодные отопительные батареи и глазами поискал, откуда здесь берется этакая тропическая благодать, потом подошел к столу и просто так, из интереса к характеру статистических выкладок Грацианского, посдвинул наброшенный на рукопись глянцевитый лист лесной аэрофотосъемки. Под ним оказалась раскрытая клеенчатая тетрадка, исписанная мелким и скрытным, влево наклоненным почерком самого Александра Яковлевича; никаких ожидаемых цифр там не было. Легкая оторопь пополам с изумлением охватила Ивана Матвеича по прочтении первых же строк, но оторваться он уже не мог, даже опустился на поручень кресла для удобства. Угрызений совести он не испытывал при этом, так как тетрадка нисколько не походила на дневник — без указанья дат, записи, без интимных признаний или фактов личной биографии, но это было окно в чужую потаенную жизнь, и непогрешимый Александр Яковлевич, этот блюститель лесного чистомыслия и отрезатель голов бескровным способом, представал здесь с несколько неожиданной стороны.

Вероятно, то была самая полная научная подборка материалов для монографии о самоубийстве, сопровожденная в конце перечнем использованных источников.

Первые десятка два страниц занимали суждения древних о праве человека на самовольное прекращение своего существования, и красным карандашом были жирно выделены предсмертное письмо Сенеки, отзыв Плиния о благом утешении, доставляемом своевременным уходом из природы, завещательное обращение Иоанна Стобея к духовному сыну Септимию о том, что «жизнь должна быть покидаема добрыми — в несчастьи, дурными же — в наивысшем счастьи», резонный вывод Лактанция, что в акте умерщвления себя одновременно заключаются и человекоубийство и казнь за него, совет Теренция тщательно исследовать, что такое жизнь, прежде чем разлучаться с нею, и многое другое, обличавшее подоплеку знаменитой и специфической начитанности Александра Яковлевича. В особой табличке разбирался моральный спектр поступков такого рода, от Иуды и Сарданапала до их позднейших последователей. В этом списке ночных собеседников Александра Яковлевича можно было найти имена Клеандра и Хризиппа, Зенона и Демокрита, Эмпедокла, бросившегося в кратер Этны, и Катона Младшего, пронзившего себя мечом по прочтении *Федона*... Не хватало лишь помянутых у Клавдия Элиана и у других — скифского коня и его подруги, убивших себя по совершении некоего предосудительного поступка... Самые поля тетради пестрели заметками о ритуале подобных явлений в разные эпохи — от самосожжения индийских вдов и русских раскольников до свидетельства Валерия Максима о Массилии, где, выяснилось к удивлению Ивана Матвеича, кубок с цикутой вручался желающему магистратом публично и на казенный счет, по представлении достаточных оснований... Невольно создавался образ человека, который маньякально вертит в руках огнестрельное оружие, уже всецело поглощенный своей идеей и все еще не владеющий решимостью для последнего шага. Словом, профессионально в качестве лесника порицая чрезмерную краткость человеческого бытия, Иван Матвеич и не подозревал, что выдающиеся умы столько времени уделяли размышлениям о наиболее низком виде дезертирства из жизни. Тем не менее, он с большим интересом перевернул дочитанную страничку.

Вслед за кратким изложением известного трактата Юма о самоубийстве шли собственные мысли Александра

Яковлевича о том же самом, о смерти, как инструменте познания, о праве человека на все, не наносящее ущерба ближнему, о соблазнительности такой единовременной всепоглощающей утраты, за которой уже нечего утрачивать. Также, в *утешение уходящим,* было там нечто и о конструкции космоса, о повторяемости миров, о каких-то кольцевидно вдетых друг в дружку сферах бытия, о содержащихся в ядрах атомов миллионах галактик и еще многое, доморощеное и с неприятным нравственным запашком, каким бывают пропитаны в смятеньи написанные завещанья, и все же — с предельной откровенностью — без риска сгореть со стыда или погубить свою карьеру. Ивану Матвеичу в особенности запали в память две собственные мыслишки Грацианского, показавшие ему, насколько мало, несмотря на свое соседство по науке и эпохе, знал он этого современника. «Хотение смерти есть тоска бога о неудаче своего творения», и еще — «*это* есть единственное, в чем человек превосходит бога, который не смог бы упразднить себя, если бы даже пожелал»... И вдруг по характеру записей ясно стало, что, если только автор их не стремился возможно полно изложить свою болезнь, чтоб сжечь ее потом вместе с бумагой,— значит, это и была та статистическая подготовка, привыкание Грацианского к заключительному мероприятию, о котором намекал в начале разговора.

Итак, хваленый оптимизм Грацианского не стоил и гроша, если уже заглядывал в черную дыру в поисках единственного выхода из своих стесненных обстоятельств. Иван Матвеич поспешно отошел от стола и бессознательно вытер пальцы о пиджак, словно хоть буква из прочитанного могла пристать к ним. Сперва он подумал даже, что по своей душевной изощренности *этот* человек вполне способен был и нарочно оставить гостя наедине со своей записной книжкой, чтоб заблаговременно создать вокруг себя атмосферу участия и жалости, которым и надлежало сыграть роль подстилки при паденьи... но вслед за тем Ивану Матвеичу стало стыдно, он пожалел товарища в беде. В ту минуту он еще не знал, что это всего лишь вражеский солдат корчится перед ним на поле отвлеченного проигранного боя. Конечно, Александр Яковлевич слишком много знал о смерти, чтоб этак легкомысленно ринуться ей навстречу, а то Иван Матвеич непременно

решился бы удержать его от ужасного шага, пошатнуть его волю к самоистреблению, предоставив кое-какие хрестоматийные доказательства красоты и ценности жизни.

Он успел вернуться в свое кресло и скрутить папироску, когда послышались шаги и к нему снова вошла старушка Грацианская.

— Саша просит вас уйти отсюда,— просто сказала она Ивану Матвеичу, глядя куда-то поверх его плеча.

— Виноват, я не понял... из кабинета уйти? — уточнил тот, простодушно решив, что его приглашают на полагающуюся перед Серенадой Брага плотную новогоднюю закуску.

— Нет, совсем уйти, из квартиры,— с каким-то девственным бесстыдством пояснила старушка.

Вначале Иван Матвеич решил, что за ним подсмотрели в щелку, как он там почитывал чужие мысли... но в таком случае его погнали бы немедленно, а не карали бы три минуты спустя: к тому же хозяйка и мельком не взглянула на тетрадку, которую самовольный читатель не успел прикрыть второпях. Сопоставив это приглашение удалиться со звонком в прихожей, Иван Матвеич рассудил, что хозяина вызывают на какое-то срочное, государственной важности совещание, но при таком варьянте гости могли и подождать часок: вряд ли под Новый год стали бы заседать, как всегда, до помрачения.

— И он, что же, всех выпроваживает... таким образом? — сгущенным голосом, ради сохранения личного достоинства осведомился Иван Матвеич.— Или только меня?

— Ладно-ладно, все равно уходите, пожалуйста...— И приоткрыла дверь, чтоб избежать повторных объяснений.

Все оборачивалось столь глупо и ошеломительно, что по врожденной деликатности Иван Матвеич как-то растерялся, например, следует ли ему при уходе ограничиться передачей в адрес Александра Яковлевича какого-нибудь не слишком лестного о нем суждения или же произвести погром новогоднего стола и, хотя бы, хлопнуть дверью напоследок. По нраву своему он непременно совершил бы и нечто похуже, если бы малость подкрепился перед выходом из дому, но в ту минуту он испытывал лишь жгучую потребность по возможности сократить процедуру своего незаслуженного изгнания. Нахлобучив шапку, на

ходу втискиваясь в пальто, он так поспешно выскочил на улицу, словно по крайней мере двое помогали ему в этом. Такая покорность судьбе вовсе не означала его склонности к оплеухам; напротив, не принадлежа к половинчатым натурам, он бы весьма мог пошуметь в иных случаях жизни... но сознавал, насколько осложнились бы его частная жизнь и работа, если бы привык давать волю своим чувствам. Вспомнилось, кроме того, что и остальные гости с озабоченными лицами переминались на пороге столовой. Общность обиды несколько поуспокоила его, а к концу обратного пути, под влиянием редкостной в ту ночь погоды, на душе оставалось лишь простецкое недоумение, что́ именно толкнуло Грацианского на такую загадочную и во всяком случае непростительную выходку.

Из-за позднего часа он возвращался пешком, с наслаждением вдыхая иглистый, отстоявшийся воздух, полный чудесных снежных скрипов и новогодних надежд. На его памяти с начала зимы еще не бывало так дивно на Москве. В синем полумраке еле угадывались силуэтные громады кварталов, которым отсутствие огней и подробностей придавало благородную простоту единого ансамбля. С раздумий о войне и отважных людях, совершавших историческую перебежку в будущее, он перекинулся на Сережу и Полю и до самой своей окраины мысленно шел с ними, как бы обняв их за плечи и стараясь сдружить навечно. Наперед зная, какие обстоятельства он застанет дома, Иван Матвеич не слишком торопился и, таким образом, допустил ошибку, неминуемую для тех, кто строит свои предположения на минимальном количестве координат из предоставляемых жизнью.

Большая черная машина стояла у его дома; за выездом жильцов по эвакуации в нижнем этаже теперь размещался штаб местной противовоздушной обороны.

— Где ты там запропал... мы уж соскучились ждамши! — весело покричала с кухни Таиска, узнав брата по стуку палки, брошенной в угол.

— Не принес я тебе калачика-то, сестра,— издали повинился Иван Матвеич.

— Да ты погляди, Иваша, кто сидит-то у нас!

На кухне, у таискиной койки, поглаживая шибко поседевшие усы, сидел улыбающийся Валерий, почему-то показавшийся Ивану Матвеичу настоящим великаном.

4

Еще не обнявшись, они долго и ревниво оглядывали друг друга, сохранил ли в себе тот, другой, самое свое бесценное и молодое.

— Ну так как же дела-то, старик? — спросил кто-то из них, и, может быть, оба сразу.

— Вот учуял, что ты здесь, и вернулся из гостей пораньше,— быстро нашелся Иван Матвеич.— Все хорошо, Валерий.

— Да, но война.

— Ничего, пройдем... Так сколько же мы не видались-то с тобой... неужто четырнадцать? Ну да, Поле шел пятый годок тогда... Дай-ка я присяду, а то устал... пешком в оба-то конца. Надолго?.. или, как в прошлый раз, дыхнуть разок московского морозцу и опять туда, *на дно?*

— Теперь так рассчитываю, что навсегда. Чего мало попировал у Саши Грацианского? — и глаза Валерия смешливо блеснули, словно догадывался о чем-то.

— В гостях хорошо, но дома как-то приятнее,— уклонился Иван Матвеич.— Давно ли к нам?

— Со вчерашнего дня: проездом в Ташкент, к семье... прямо с Черноморского побережья: обожаю скрежет зимней гальки под ногами!.. Самая подходящая пора стариковские итоги подводить.

— Незаметно пока насчет старости... только очки вот. Но выглядишь ты, Валерий, как африканский баобаб, попрежнему!

— Потому и незаметно... что все мы равномерно движемся в ту же сторону. Но вчера после обеда отправился взглянуть на Москву и сделал грустное открытие, что душа-то вроде и прежняя, но вот мясо за обедом становится жестче, а девушки почтительней, а дни короче, а лестницы круче. «С чего бы это, Валерий? — спросил я сам себя.— А помнишь, как весною девятьсот двенадцатого года гнали тебя этапом в ссылку? Лед на Волге был синий и тонкий, а шли пешком, с шестами... и, между прочим, женщина там одна, из наших, провалилась в воду. И потом ты нес ее, Валерий, застывшую, до берега на руках... и впереди предстояло еще тыщи полторы полномерных сибирских верст, но никогда дорога жизни не казалась тебе такой легкой и прекрасной». Так вот, ежели примечаешь, Иван,

будто мир вроде ухудшается вкруг тебя, имей юмор относить эти перемены за свой счет.— Он помолчал.— Лет через двадцать, если доживем, мы обменяемся с тобой теми же речами.

— Возможно... но пойдем ко мне! Таиска подымется посидеть с нами ради такого случая. Вот только...— помялся Иван Матвеич,— в силу разных обстоятельств потчевать мне тебя нечем, но все равно пойдем: я для тебя хоть печку затоплю. Если бы ты уведомил о своем приезде, я мог бы встретить тебя, с вещами помочь: человек я теперь свободный, да и в гости не пошел бы.

— Ну, мы отлично посидели с Таисой Матвеевной... рассказала мне кое-что, чего я не знал раньше: с пользой время провели. Кстати, почему свободен... разве ты ушел из института?

Чтоб не огорчать друга, Иван Матвеич не сказал ему тогда о принятом решении вернуться на Енгу́.

— Нет, но мой институт в эвакуации.— Тут он заглянул в кабинет и головой покачал.— Ой, кудесник заморский, сколько же ты даров-то притащил!

В промежутках между рукописями на столе лежала всякая снедь в пакетах, коробках и свертках: видно, недельный паек. Припахивало мандариновой коркой, неуместившиеся бутылки стояли на полу. Прежде чем растапливать печь, Иван Матвеич не смог отказать себе в удовольствии перетрогать все это.

— Я ведь на всех четырех мушкетеров рассчитывал, да как-то не получилось,— пояснил Валерий, и с мыслями об одном и том же они взглянули друг на друга, но воздержались пока от обмена ими.— Давай-ка я помогу тебе!

На коленях они принялись заправлять печь. Валерий с удовольствием щепал лучину,— он не догадывался, что это последние в доме дрова.

— Мне бы в истопники! — шутил он, кладя под бересту зажженную спичку.— Со времени ссылки полюбился мне таежный дымок... шибко истосковался я по этой штуке за границей. Раз заехал как-то к Горькому в Сорренто... славным кострищком в лощинке, под цветущими агавами, угостил меня тогда старик, даже городские пожарные прискакали. Чего на часы смотришь... пора?

До полуночи оставалась минута. Иван Матвеич разлил вино. Подняли три рюмки, Таиске досталась меньшая.

— Итак, за победу, за великодушный наш народ, за партию нашу, творящую всемирный подвиг, за все роднички жизни, за неомраченную дружбу современников! — стал перечислять Валерий.— Ну, что еще упустил?

— А про русский-то лес и забыл, лесник?

Все трое молча и благодарно глядели на разгорающийся огонь.

— Принято после разлуки начинать беседу с подведения итогов,— приступил Иван Матвеич.— Вот ты долго жил за границей... ну, как *они* там, в особенности по ту сторону *большой воды?* Мне всегда было трудновато понять механику их житейских отношений...

Валерий поискал начальную нитку в накопившихся впечатлениях:

— Да, это так же нелегко, как из окна в окно двух встречных поездов рассмотреть, что делается внутри... Ну сперва, когда спускаешься по сходням, бросается в глаза обманчивая слаженность отношений... даже вспоминается гладкость голышей на морском берегу, где века поработала прибойная волна. Простака поразит также отливающее радугами движение, называемое буржуазным прогрессом: выстрелы самоубийц обычно звучат ночью и на окраинах, когда туристы спят в своих отелях... Постепенно становится понятней смысл этой деятельной диффузии: по нисходящей линии все пожирает все... все сплетается зубами в круговой классовой поруке, как и полагается в джунглях или на дне, как ты назвал. Есть такие насекомые с беспримерным аппетитом, богомолы, помнишь энтомологическую коллекцию на стене нашего Лесного института? Так вот невольно приходит в память страничка из Фабра с описанием их склонностей... когда один мирно выедает брюшко у коллеги, в свою очередь увлеченного пожираньем доставшейся ему жертвы. Совершается это под легкую, приятную музыку, с соблюдением внешней благопристойности: вежлив до поры и поглощаемый, иногда в расчете на загробное, верней, заутробное, вознаграждение, вежлив и поглотитель, ибо сие способствует пищевареныю.

— Но есть же та́м и люди? — вставил Иван Матвеич.

— Их большинство... но, значит, как всегда в истории, требуются особые несчастья, чтобы сплотить их в единую армию человечества. Наверху ты встретил бы только

компаньонов и сообщников, а товарищи и соратники встречаются лишь внизу общественной лестницы, в среде класса, построившего богатейшую страну... но представь себе амбар, где наиболее лакомые куски достаются грызунам всех мастей. Собственно грабитель тем лишь и отличается от капиталиста, что первый снимает свой барыш сразу и с одного объекта, а другой — регулярно и с десятков подвластных ему тысяч, запуганных безработицей. Пожалуй, преступление там состоит в превышении дозволенных скоростей обогащения и в неопрятности способов, какими оно достигается. В том лишь и заключается их хваленая пригонка частей, что рядом и взаимно дополняя друг друга, уживаются гангстер, защищающий его адвокат, фабрикант войны, христианский проповедник и бессовестный сочинитель, воспевающий эту романтику планктонного существования и воображаемые буржуазные свободы... Видишь ли, Иван, когда эта *свобода* предоставляется одновременно саблезубому тигру и обыкновенному безоружному труженику, последний довольно быстро разочаровывается в ней, сразу на всю жизнь. Словом, постоянно терзаемые алчным страхом перед наступающей новизной, *они* не прочь были бы поутолить свою ненависть, если бы имелась гарантия, что при нанесении жестоких ран противнику они сами смогут вынести первую такую же, ответную...

— Кто же они тогда, солдаты или грабители? — перебил Иван Матвеич.

— Они торгаши... Солдат есть великое звание человека, способного умереть за идею... но назови мне хоть одну, на протяжении последнего века зародившуюся в этом классе и реализованную во имя жизни. Они покупают и продают: из купцов в лучшем случае получались пираты. А раз нет святого за душой, приходится, с одной стороны, повернуть все общественное воспитание на то, чтобы привить своей юной смене тягу к наживе, презрение к святыням, жевательные склонности при виде ближнего, вкус ко всему, что гниет, рушится, идет в землю и оборачивается с выделением надлежащего процента в пользу ловких... то есть вырастить своих собственных суперменов, способных и себя не пощадить в запале. С другой же стороны — всемерно тормозить прогресс противного лагеря военной угрозой, отвлекающей его силы от мир-

ного созидания, усердной клеветой на них в глазах колеблющихся народов и просто заброской ночных людей и мин в наши тылы, на трассы наибольшего движения. Разумеется, в наши дни история несколько поспутала их карты.

Валерий нагнулся поднять обугленный сучок, выпавший из печки.

— Не трудись, я подниму,— потянулся Иван Матвеич.

— Нет, не отдам...— и с видимым удовольствием вдохнул сизую струйку, пробившуюся сквозь гаснущее пламя.— Не утомил я тебя?

— Наоборот,— внимательно слежу за тобой...

— Так вот, слыхал я от сведущих людей, что бывают мины мгновенного взрывного действия... и горе наступившему на нее ротозею! Бывают и замедленные: лежит такая чурка десяток лет вполне безвредно, так что иная бабушка даже приладит ее как грузило при соленьи огурцов... да, глядь, в одно утро — ни кадушки, ни бабушки! Но подлее всех, думается мне, мины периодического, неоднократного действия — время от времени выпускающие некий газ малыми порциями, не уловимыми никакими регистрирующими аппаратами.

— Любопытно, что за газ ты имеешь в виду?

— Ну, скажем, газ недоверия... газ, внезапно заставляющий современников усомниться друг в друге, а там уж они и сами, без постороннего вмешательства!..— Он покосился на задремавшую в кресле Таиску и понизил голос.— Вот, кстати, не серчай: я согласен кое с кем из твоих критиков, осуждающих преждевременность твоих лесных теорий. Но в своих воззрениях на лес ты исходишь из законных патриотических тревог за судьбу важнейшего источника народного благосостояния. Объясни, будь добр, какой расчет твоим оппонентам объявлять твои взгляды враждебными советскому обществу... мне, например?

Иван Матвеич пожал плечами:

— Чужая душа — лес дремучий!.. Вот Докучаев говорил, что трясут лишь то дерево, которое с плодами: пустого не трясут. Кроме того, бессилие логических доводов всегда ищет подкрепления в излишнем темпераменте.

— Конечно, завистливая злоба всегда служила источником вдохновения для негодяев, но... Нет, не то! Скажи,

не случалось у тебя когда-нибудь крупной личной ссоры с Грацианским?

Иван Матвеич помолчал.

— Не упомню, разве только... Видишь ли, он скуповат по натуре, и я, еще в Петербурге, как-то пошутил насчет той породы людей, что́, завидев пирамидон у приятеля, заблаговременно принимают таблетку, чтоб самим не тратиться впоследствии, когда потребуется.

— Нет, опять не то... Я к тому, Иван, что со мною только что произошел довольно странный казус. Еще утром сегодня вздумалось мне собрать вас всех и вчетвером посидеть за новогодней чаркой. Как бы ни расходились люди к старости во взглядах, все же современники мы, и отблеск одного и того же знамени лежит на наших лицах... верно? Словом, набрав провизии в кулек, я и отправился по вашим адресам на манер рождественского деда. Чередилов оказался в Тобольске... и тогда я решил обосноваться у тебя, прихватив Сашу Грацианского по дороге. Нашел его не сразу в его тупике, и какая-то черненькая старушка долго разглядывала меня через дверную цепку...

— И не впустила? — вдруг оживился при этом Иван Матвеич.— А ты объявил ей... кто, зачем и откуда?

— Ради шутки и чтоб сюрпризом вышло, я назвался Чарльзом Диккенсом. И после того она разрешила мне войти, но...— он раздумчиво пожевал ус,— объятия друзей не состоялись.

— Позволь, в котором часу это было?

— Что-то около одиннадцати.

— Значит, тотчас после моего ухода. Это любопытно...— сообразил Иван Матвеич и в свою очередь рассказал про свое изгнание из рая.— Признаться, никогда в жизни я еще не подвергался подобной экстирпации. Вероятно, его срочно вызвали куда-то?..

Валерий покачал головой:

— Нет, он как раз оказался дома... даже вышел на минутку из кабинета, не ожидая встретить именно меня в прихожей. Должен сказать, никогда не видал человека в такой растерянности. Не глядя мне в глаза, он сразу пробурчал, что мне следовало сперва созвониться с ним насчет посещенья... и потому он принять меня никак не может. Естественно, меня несколько озадачила такая

встреча... как-никак, я и сам вроде генерала теперь, ничем пока не опорочен и вряд ли могу бросить тень на кого-нибудь в нашей стране. Позволь, ты сейчас оговорился, что слышал звонок в прихожей? Занятно...— Он полуприкрыл глаза, стараясь сопоставить в логическую связь известные ему обстоятельства.— Видимо, кто-то пришел к нему на протяжении того часа и пришел без предупрежденья, так? Следовательно, по неотложному делу... но по какому?

— Там были еще трое, кроме меня,— вспомнил Иван Матвеич.— Застал ты их?

— Пока старушка открывала мне, я видел из прихожей накрытый стол, но уже никого не было вокруг него.

— Возможно, перешли в кабинет?

— Тоже не подходит, вешалка была пуста.

— У них имеется вторая вешалка для своей одежды, в конце коридора,— вспомнил Иван Матвеич.

— Однако эта была совсем пуста, хотя кто-то посторонний, кого он не желал обнаружить, сидел же у него в кабинете... так?

— В ответ на подозрение Ивана Матвеича, что это могла быть и дама сердца, Валерий кротко сказал, что сыщик из него никогда не получится: и правда, трудно было допустить в их возрасте такие нетерпеливые страсти. Оставалось предположить того выдающегося знатока тихоокеанских лесов, что так усердно и по неизвестным побуждениям добивался знакомства с Иваном Матвеичем, а теперь, напротив, нуждался в конфиденциальном, с глазу на глаз, разговоре с Грацианским.

— Пожалуй, это ближе к делу,— с паузой раздумья согласился Валерий.— Тогда прикинем начерно, зачем было прятать с вешалки пальто посетителя... в новогоднюю ночь возымевшего... настолько внезапную потребность потолковать об эвкалиптах... что для этого пришлось за дверь вытуривать старых друзей?

Некоторое время оба сидели в полной тишине.

— Вот ты намекнул давеча на Грацианского, как на долговременную мину газового действия,— засмеялся Иван Матвеич, доливая гостю вина.— Однако в данную минуту он мирно сидит в своем тупичке, а газ недоверия заметно ощущается в воздухе. Значит, уже кто-то из нас двоих повинен в этом?

— Ну, бдительность и недоверие совсем разные вещи,— без особой настойчивости сопротивлялся Валерий.

Только здесь ему во всей очевидности предстала вся нелепость подозрения, окрашенного личной обидой. В конце концов Александр Яковлевич мог и заболеть внезапно или получить письмо, омрачившее ему новогоднее настроение... Во всяком случае, количество неизвестных заставляло Валерия отказаться от попытки решить уравнение тут же на месте, а для более глубокого исследования не оставалось времени: билет на Ташкент лежал в его жилетном кармане.

5

Истина заключалась в том, что Александр Яковлевич уже направлялся в кабинет с двумя, на выбор, бутылками отменного винца и непременно застиг бы Ивана Матвеича за чтением запретной тетрадки, если бы не расслышал позади вкрадчивый стук в наружную дверь. Все были в сборе, никого не ждали. Отсюда следовали два одинаково неутешительных вывода, что ночной посетитель или незнаком с расположением наружного, вполне исправного звонка, или же не слишком стремится оповещать всех находящихся в квартире о своем приходе. Подкравшись к двери, Александр Яковлевич различил чирканье спички, и вслед за тем последовал краткий, такой же воровской звонок, показавшийся ему оглушительней недавнего фугаса. Единственно, чтоб утолить свое изнуряющее любопытство, Александр Яковлевич притушил свет, выглянул искоса за дверь и тотчас же захлопнул ее, скорее постаравшись ничего не увидеть, чем действительно ничего не разобрав в потемках... Однако внятный голос успел произнести нечто, заставившее Александра Яковлевича затрепетать: это была фамилия Чандвецкого, беглого полковника из петербургской охранки.

Не говоря уже о физической невозможности его появления в советской Москве, представлялось вообще невероятным, чтобы этот человек продолжал существовать где-то на земле, так что весь эпизод носил оттенок некоей потусторонней пакости... И все же Александр Яковлевич предпочел бы самое вульгарное новогоднее привиденье за дверью, тем более, что не было ничего предосудительного

и политически зазорного в том, что знакомый, уже вполне безопасный и благовоспитанный покойник, соскучась в могильном одиночестве, решился подать весточку о себе в такую торжественную ночь. К сожалению, то был не сам Чандвецкий, а, видимо, лишь его доверенное лицо: как правило, призраки редко говорят с акцентом. Правда, иностранное происхождение гостя сквозило едва уловимо в самой интонации, но все же гораздо заметнее, нежели у австралийца, тоже приходившего с приветом от Чандвецкого недели три назад. Таким образом, имя жандармского полковника становилось чем-то вроде пароля, приоткрывающего доступ к человеку с нечистой совестью.

Теперь как бы ниточка связывала Александра Яковлевича с незнакомым господином за дверью, и не было силы на свете, способной порвать ее. Затаясь, он слушал шорохи за дверью и, несомненно, даже скольжение пылинки расслышал бы в тишине, но, слава богу, уже ничего там не было... Да и вряд ли самый терпеливый, без личного достоинства, человек выстоял бы унизительную четверть часа на холоде лестничной клетки. Возникла смутная надежда, что тот ушел, выполнив свое порученье... однако нельзя стало вернуться к гостям и напиться под *Серенаду Брага* на радостях, не удостоверясь в отсутствии опасности. Тогда Александр Яковлевич еще разок беззвучно приоткрыл дверь и попятился, весь облившись гадкой испариной.

— Я привез вам привет от господина Чандвецкого,— без выражения, будто ничего не случилось, повторил посетитель.

— Но ко мне уже приходил другой... тоже с приветом,— замирающим от сердцебиения голосом защитился Александр Яковлевич, становясь бочком и пропуская его в квартиру.

— Он уехал... но это не имеет значения. Вы заставили меня ждать, это неосторожно. Я не уверен, что вы правы, задерживая меня на лестнице... для обозрения посторонними лицами.— По-русски он говорил совсем гладко, с тою лишь особенностью, словно держал посторонний предмет под языком.— Мы должны поговорить по одному... интересующему вас делу.

Стряхнув с высокой шапки капельки натаявшего снега, посетитель стал раздеваться без приглашения.

— У меня гости... Новый год!..— мертвым языком сказал Александр Яковлевич.

Тот улыбнулся спокойно, как если бы имел квитанцию на душу пожилого, осунувшегося господина, стоявшего перед ним с двумя бутылками в опущенных руках:

— Я сожалею, попытайтесь удалить их. У меня есть планы на эту ночь.

И опять трудно предположить, что́ случилось бы с Александром Яковлевичем дальше, если бы из столовой на помощь ему не вышла мать, движимая тем необъяснимым чутьем, каким все они узнают издалека о несчастьях своих детей.

— Проведи пока гостя в комнату ко мне, сейчас я освобожу кабинет. Отнеси его пальто на ту вешалку и... не забудь принять лекарство,— сказала она важно и печально, как на похоронах; повидимому, то было условное обозначение совета держать себя в руках, пока жив, дышит и способен к самостоятельному передвижению.— Извините, у меня там не прибрано.

— Ничего,— чопорно поклонился гость.— Это очень мило. Я сожалею.

Перечисленные обстоятельства достаточно показывают, что у старушки не было преднамеренного желания оскорблять Ивана Матвеича, когда приглашала его покинуть свою уютную квартирку. Подробности разъяснились лишь полгода спустя, когда на поверхность стали всплывать обломки этого крайне знаменательного кораблекрушения. Можно согласиться, что не стоило бы копаться в том липком мусоре, если бы там не попадались крупицы кое-каких дополнительных сведений о неподкупном вихровском оппоненте.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1

За время своего пребывания на фронте Морщихин неоднократно возвращался мыслями к Грацианскому; не располагая иными материалами для сужденья, он мог лишь перебирать в памяти содержанье последней с ним беседы, в частности — его художественно округленный

рассказ об отважном поединке с жандармским подполковником, пытавшимся совратить его на стезю предательства. На взгляд молодого советского деятеля, не имевшего личных впечатлений от царской охранки, все в повести Грацианского выглядело вполне правдоподобно, если понимать под этим словом достоверность в передаче события. В случае примеси хоть малой лжинки такого рода признанья произносятся бегло, без знаков препинания, чтоб легче было перескочить порожек нарушенной логической связи. Грацианский же, будучи общепризнанным рассказчиком, излагал свой эпизод с неторопливой чеканкой подробностей и с добродушным юморком, чем всегда бывают окрашены воспоминания победителя. Неискушенный в человеческих тайностях Морщихин даже не подозревал, что лучшие сорта лжи готовятся из полуправды.

Повесть свою о столкновении с Чандвецким Александр Яковлевич заключал эффектным каламбуром насчет подполковничьей жены, придавая своему вызову — испытать ее устойчивость — характер, так сказать, пощечины старому миру; между прочим, он достаточно прозрачно намекал, что некоторое время спустя ему удалось привести в исполнение свою угрозу. И здесь, чтобы не задевать честь дамы, дарившей его своим вниманием, он ставил загадочное многоточие, тогда как на деле там стояла всего лишь запятая, за которой следовало не менее увлекательное продолжение... Если по ходу дела столько места было уделено рассмотрению вихровской биографии, было бы несправедливо ограничивать его для Грацианского. Эту вторую часть следует начинать с исправления хронологической неточности в его повести: первая встреча с Чандвецким относится к началу августа 1911 года, а лекция в Народном доме графини Паниной была назначена действительно на первое сентября, когда и произошло покушение на известного царского сановника П. А. Столыпина. Месячный промежуток между двумя датами, надо думать, и был использован для подготовки спектакля, легшего в основу наиболее острого приключения во всей жизни Александра Яковлевича. Таким образом, он никак не мог прямо из полицейского участка отправиться на свою лекцию о Пушкине, вообще не состоявшуюся по указанным ниже причинам.

Собственно в тот давний вечер студент Саша Грацианский уже собирался выходить из дому, когда к нему ввалился Слезнев,— он-то и уговорил приятеля поехать с ним вместо лекции в один прелюбопытнейший, но совершенно приличный дом известного петербургского якобы нумизмата, то есть собирателя разных монет, разбогатевшего на поставках в русско-японскую войну, и председателя некоего попечительного совета... но кому и какого рода он оказывал попечение, в точности не знал и сам Слезнев. По его словам, там каждый четверг собиралась самая разнообразная компания от игроков и биржевых спекулянтов, как они тогда назывались, до незаконнорожденного сына одной подразумеваемой августейшей особы. Тащиться за город на стакан вина с отпрысками династических кровей... нет, такое предприятие не привлекало Сашу Грацианского! Однако именно это общество он и собирался взрывать изнутри путем усиленной гимназической самодеятельности: в то время он окончательно уверовал в дьявольскую силу миметизма, изобретенного ужасно ловким на подобные штуки Слезневым.

«Без основательного знания представителей этой среды, их биологии, их слабостей и подноготной нечего и думать о том, чтобы поднять на воздух старый мир,— поучительно сказал Слезнев, не снимая пальто.— Тут мало твоих зажигательных талантов, а требуется овладеть еще ненавистью, которая рождается лишь из непосредственного общения с врагом. Надо работать, братец ты мой, раз взялись. Словом, я за тобой прискакал... можно не переодеваться. Прихвати горстку папашиных сигарок на дорогу. Извозчик ждет внизу».

Саша колебался:

«Пойми же, меня ждет целый зал... перед рабочими неловко. И вовсе не за овациями я туда собрался, врешь ты все... хотя, разумеется, могу и пропустить разок: каждый имеет право заболеть, вывихнуть ногу, я в том числе. Чорт возьми... *они,* что́ там, у твоего нумизмата, танцуют, играют, пьют?»

«Не хочу тебя обольщать, раз на раз не приходится. Бывает, что напорешься и на тоскливый концертишко, когда нагрянет какая-нибудь гастрольная знаменитость... Зато, как и в каждой капле стоялой воды, иногда там попадаются довольно премиленькие козявочки,— искуси-

тельно шептал Слезнев на ухо Саше, нервно теребившему перчатку.— Учти, кстати, что в местах такого рода и зарождаются ветры большой политики!»

«Да опять же и неловко туда незваным-то заявляться...» — мучился Саша с блудливой щекоткой в коленях.

«А там, братец, все незваные, все являются запросто, на огонек. Хозяин — этакий Фамусов нашего времени... презанятнейшая акула капитализма. Одно имечко чего стоит: Тиберий Вонифатьевич Постный. Впрочем, разумеется, младенцам у такого чорта делать нечего...»

«Э,— решился и зубами с отчаянья поскрипел Саша,— катнули тогда, раз уж Фамусов!»

У подъезда стоял лихач на дутых шинах,— Слезнев шепнул ему магическое словцо, и как бы адские крылья выросли у сытого животного, запряженного в пролетку. К месту прибыли сразу по заходе солнца. То был аристократический петербургский пригород, и, проезжая мимо, Слезнев успел показать спутнику находившуюся там же дачу Столыпина; нумизмат Т. В. Постный проживал поблизости. В глубине осеннего пламенеющего парка утопал двухэтажный особнячок с подъездом по хрусткой, щебенчатой дорожке. Полгода спустя, Саша припомнил, что несколько наемных экипажей с похоронного вида клячами теснились на площадке у левого крыла. Пожилой лакей в каторжно-полосатом жилете под ливреей провел молодых людей анфиладой подзапущенных комнат; кое-где на фоне гобеленовых панелей торчали ремонтные леса, и опять Слезнев прикинул Саше на ухо, во что обошлись России подобные хоромы в переводе на солдатские несчастья. Застывшее в выжидательной неподвижности общество собиралось садиться за расставленный глаголем стол. И едва Саша Грацианский, подобно сказочному королевичу, пробуждающему сонное царство, кинул взор на этих странных призраков, все немедленно оживилось, зашумело и зашаркало, пришло в движенье... Тем временем Слезнев шопотом же пояснил приятелю, что, насосавшись народной крови, Постный возлюбил простецкую кухню. Действительно, при роскошных хрусталях и различных деликатесах основной харч носил несколько даже запьянцовский колорит: струганая тешка, всевозможной

обработки гриб, редька с квасом. Вся эта компания при дневном свете выглядела бы чудовищно... но нет, свечи горели вдоль стола!

«Вон он сидит, глыба мирозданья: гильотину сломаешь о такую шею!» — с невыразимой ненавистью, глазами показал Слезнев и повел Сашу к хозяину, сидевшему во главе пиршества.

Не подымаясь с места, Постный отечески потрепал Слезнева по плечу, заодно поласкав и Сашу заплывшими медвежьими глазками; сразу затем сборище принялось шумно усаживаться в кресла, за спинки которых все они держались. Новоприбывшим достались крайние места за столом, под чахоточной пальмой, так что рядом с Сашей оказалось вовсе свободное место; впрочем, он и был там моложе всех. Выгода заключалась в том, что отсюда без помехи можно было рассматривать представленную коллекцию петербургских типов. Их набралось человек двадцать пять вместе с хозяином, отдаленно напоминавшим и гривастого екатерининского вельможу и скверного пошиба бильярдного маркера, неоднократно ученого кием меж лопаток. Вопреки своей фамилии то был баснословно тучный старик с набором складок у подбородка, как на голенище; все же, от возраста, что ли, просвечивала в нем хоть та напускная порядочность, какую в качестве высшей роскоши позволяет себе прожженный плут. Остальных мать-природа настряпала в еще более озлобленном настроении.

Сидевший рядом Слезнев показал дружку на мелкого хлыщеватого человечка, поминутно, как в тике, оправлявшего свой спортивный, в крупную желтую клетку жакет,— известного на всю столицу искателя приключений и сорвиголову Дорбынь-Бабкевича, который самолично гулял в скафандре по дну Азовского моря, катался на подводной лодке, на свободно парящем аэростате, даже на роликах в здании только что открывшегося в Петербурге скетинг-ринга, изобрел стеносушительный аппарат, где железная коробка с тлеющим древесным углем равномерно ползала по обреченной стене, и в завершение помрачительной славы грозился открыть фабрику синематографических лент. На ухо ему, сверкая подлыми глазами и не скрывая дурных зубов, испорченных хорошей жизнью, нашептывал столичную сплетню не менее скандальный журналист

и пройдоха с громадным фуляровым галстуком и в визитке с пятнами, Борька Штрепетинский, ухитрившийся на пари побрить лошадь эмира бухарского и снять самого митрополита Антония в объятиях двух аристократических прихожанок. Следующим сидел породистой лошадиной внешности господин, видимо тот самый *незаконнорожденный* династический отпрыск, не общавшийся ни с кем за столом, чтоб не уронить царственного достоинства... И, верно, от длительного употребления ценной пищи было в нем нечто, если не вполне человеческое, то во всяком случае, сближавшее его с людьми. Присутствовал также непременный член всяких темных компаний, фольклорист Панибратцев, собиравший неприличные баллады антиправительственного содержания,— рыхлый мужчина в косоворотке и с кольцом из настоящего кандального железа, с помощью которого, по слухам, и улавливал в охранку молодые доверчивые души. «Несомненный, не раскрытый пока, но крайне одаренный провокатор»,— вполголоса рекомендовал его Слезнев. Имелась там для разнообразия и женщина, перезрелая красавица, с ниткой жемчуга цвета охотничьей картечи на громадных алебастровых плечах; по праву старинной дружбы хозяин звал ее попросту Невралгией Захаровной, отчего та всякий раз рассыпалась мелким, приводившим Сашу в уныние хохотком.

«А дальше кто это там, насупленная такая личность с ветчинным румянцем?» — со скуки допытывался Саша Грацианский.

«Тот, что рядом с Бенардаки? Это сам Фридон Хаджумович Паппагайло, акционер по добыванию азота, восходящая звезда, соперник Рябушинского. Обрати внимание на изумруд в галстуке — подарок раджи из Ешнапура. Вот она, братец ты мой, круговая классовая порука вампиров!»

«Нет, я про того спросил, что наискосок, этакого сатанинского вида. Честное слово, не удивлюсь, если у него и хвост окажется под сюртуком. Кто он?»

Саша движением головы показал на мрачного господина со шпиковатым, прислушивающимся лицом.

«О, это Брюм».

«Тоже... аристократический волдырь какой-нибудь или хапуга биржевая?»

«Нет, это просто Брюм...» — уклончиво прошелестел Слезнев, втянув голову в плечи и прекратил разговор.

Так, значит, не на Лиговке, где толклась и галдела в те годы пьяная столичная рвань, а именно здесь находилось дно столицы. Саше Грацианскому пришло в голову, что неплохо было бы заложить добрый заряд под эту виллу, поднести спичку и полюбоваться издали, что из того получится. В ту же минуту все, как по сговору, обернулись в его сторону, словно учуяв ледяной холод сашиной решимости подорвать устои старого мира; об истинном значеньи этих взглядов он догадался с запозданием в полгода... Ждали какого-то сигнала, и едва Саша Грацианский наклонился над своей тарелкой, сборище так и накинулось на еду с таким азартом, словно их с утра пешком пригнали сюда из города. Не рассчитывая на воздержанность соседей, Невралгия Захаровна заблаговременно взяла на тарелку две кисти винограда из хрустальной вазы посреди и третью впихнула в кожаный, еще ранее раздувшийся ридикюль.

«Полюбуйся, Слезнев, как эта барынька с деликатесами управляется»,— злорадно шепнул Саша своему соседу, и тот с набитым ртом наставительно повторил ему о необходимости изучения повадок этого негодяйского класса.

Впрочем, нажрались довольно быстро, и когда поутихнул стук ножей о тарелки, стало возможно различить обрывки разговоров в разных концах стола. Речь шла о наиболее злободневных новостях той осени: о шансах негуса Менелика на абиссинский престол, о приезде в Россию герцога Артура Коннаутского, о намерениях популярного разбойника Зелим-хана объявить себя имамом Чечни, об успехах препарата «606»; двое сбоку тихонько ворковали о скупке платины... Почти совсем смерклось в окнах, даже не видно стало, какие они непромытые; уже неотразимая тоска одолевала Сашу Грацианского, уж он подумывал, что еще поспеет на свою лекцию в Дом графини Паниной, если не поскупится на лихача. К великому неудовольствию Слезнева, он решительно сложил салфетку, намереваясь исчезнуть, как вдруг стеклянная створчатая дверь распахнулась сама собой, и неожиданный, несравненно свежей и нарядней, чем в прошлый раз, в полицейском участке, появился Чандвецкий, встреченный почти-

тельным гулом. С коротким гвардейским кивком он извинился перед хозяином за опозданье, шутливо сославшись на некоторые неотложные дела по империи. Тотчас все раздалось, расступилось, и Панибратцев уже вдвигал почетное кресло в образовавшуюся брешь... но вовсе не эта естественная суматоха с шумными рокировками заставила Сашу Грацианского побледнеть, забыть себя, остаться здесь до конца ужина.

Об руку с Чандвецким вошла высокая и красивая дама в длинном, глухом до ворота, ослепительно скромном платье; ей было вряд ли больше тридцати, и, прошелестел кто-то почтительно вблизи, звали ее Эммой. Необъяснимая печаль, похожая на тень цветущей ветки, лежала на ее бледном лице с ботичеллиевским овалом, как сразу определил начитанный в искусстве Саша Грацианский. Если считать его со Слезневым, теперь это было третье здесь человеческое существо, так что у юноши возникала потребность немедля защитить эту прелестную, чуть растерявшуюся даму от жадных и потных, отовсюду протянувшихся рук с предложением потесниться ради нее. Озабоченная, она двинулась было к своему надменному спутнику... но тут все закричали, что нѐчего, нѐчего и даже бессовестно подполковнику в одиночку наслаждаться своим счастьем, что надо хоть на вечерок разлучить мужа с женой. И так как Чандвецкий уже занял место возле Тиберия, она сама, минуя устремленные к ней глаза и руки, пошла к пустому месту, на тот угол стола, где и сидел Саша Грацианский.

Он привстал, помогая ей устроиться и бормоча слова высокопарной благодарности за оказанную ему честь выбора; она не взглянула на него ни разу, он видел ее только в профиль. Было что-то бесконечно влекущее и торжественное в ее сложной, чуть набок склоненной прическе, в тяжелой серьге, вызывавшей жалость к маленькому розовому уху, словно выточенному из вечерней зари,— в таинственном шелесте шелка, сближавшем ее с Незнакомкой из знаменитого в ту пору стихотворения, растворенного в самом воздухе тогдашнего Петербурга. Вдобавок спрятанная музыка заиграла что-то не очень кстати, помнится, *Серенаду Брага,* и все это вместе со скрипками слилось для Саши Грацианского в один из тех неповторимых праздников, участие в которых оплачи-

вается жизнью да еще с благодарностью небу за предоставленный входной билет.

«Боже мой, из-за его ужасной службы мы всегда опаздываем... даже в театр,— проговорила сашина соседка со вздохом, самой себе, оглядывая сидевших за столом.— О, как страшно, сколько же тут незнакомых людей!»

Не обученный языку, на каком говорят ангелы, Саша Грацианский робко промолчал бы весь вечер, но близость к Чандвецкому низводила чудесное видение с его поэтических небес, делала эту женщину настолько земной и доступной для любованья, что Саша почти ревновал ее к хмурому, не спускавшему с него кабаньих глаз офицеру, которого отныне возненавидел вдвое.

«С вашего позволения, сейчас этих страшных незнакомцев станет одним меньше,— отозвался Саша Грацианский и тотчас сделал вывод, что во избежание кое-каких досадных случайностей кабан держит свою пташку в золотой клетке, взаперти.— Меня зовут Александр Грацианский. Мне двадцать лет. Я студент Лесного института».

Он был в форменной тужурке, дама покосилась на него через плечо.

«Я не люблю студентов, все они скандалисты,— наивно призналась она, следя краем глаза, как ей накладывают на тарелку из мельхиорового судка.— У нас был один такой сосед-студент... тоже, кажется, лесник».

«Разве в райских кущах бывают лесники?»

Она не поняла его признанья, возводившего ее в ранг ангела.

«Вот уж не знаю... но только ужасный баловник. Боже мой, сколько возни с вашим братом!»

Простодушие ее доверчивой жалобы и новый, очень кстати перехваченный, через весь стол, сощуренный и недобрый взгляд Чандвецкого толкнули молодого человека выйти за стеснительные рамки первого знакомства.

«О, если бы у меня имелась...— и вложил особое восторженное содержание в свою паузу,— имелась сестра такая, у вас не было бы брата тише и послушней меня! Впрочем, ваше знакомство с лесниками внушает мне дерзкую надежду... Скажите, можно мне по праву безграничного подчинения и покорности называть вас просто *дама Эмма*... как паладину, как в стихах, как сестру?»

В ответ она посмотрела на него испуганно, перестала есть и замолкла: видно, никто еще не говорил с нею так. Нельзя было придумать тяжелее кары в наказанье: больше Саша Грацианский не видел ее глаз. И вот ему уже трудно стало переносить их отсутствие даже на тот короткий срок, пока опускались ресницы.

В ее волосах еще сверкали необсохшие капельки влаги. Он спросил тоном, каким дети просят прощенья:

«Скажите мне... ну, пожалуйста... на улице дождь?»

Она простила его сразу:

«Да, с пронизывающим ветром...» — и слегка поежилась от воспоминания о непогоде.

«Это осень. Все знают, что она однажды придет, и все же она приходит неожиданно. Потом мы жалеем, что лето ушло. Так и в жизни... Хотите согреться? Я налью вам вина».

«Не надо. Я нехорошая, когда пью... Кроме того, он не велел мне пить сегодня».

Но Саша Грацианский пересилил, налил ей, тешась бешенством Чандвецкого, который попрежнему из-под приспущенных век украдкой следил за ними. И дама Эмма подчинилась сашину желанью и сделала глотка три с таким видом, словно нарушала супружескую верность; подумала и со вздохом отпила четвертый. Ее глаза потемнели, и порозовели чуть раздувшиеся ноздри... и тогда что-то новое, чего не знал раньше из своих мимолетних встреч с женщинами и чего не могла доставить юная и щедрая Наташа Золотинская, с головой захватило Сашу Грацианского. Не смея пока выразить это в одном слове, где мольба сливается с обязательством, он заговорил о чем-то постороннем, пышно и много, потому что и тогда уже страдал даром красноречия; он предпочитал покорить свою даму пиротехникой ума, блеском накануне вычитанных знаний и вынудить к сдаче без каких-либо существенных ограничений для себя. Возможно, он заранее предчувствовал свой жребий — судьбу паучка, подергивающего паутинку, на другом конце которой находится предмет его любви; его добыча и могила.

«Зачем все это... боже мой!» — только и сказала дама Эмма.

...После ужина все перешли в соседнее помещение петербургско-мавританского стиля, с напитками, сластями

и табаком на низких мозаичных табуретках. Часть гостей с хозяином и Чандвецким во главе уселась на двух столах за карты, снова при свечах, потому что люстра едва пропускала свет сквозь плавленое цветное стекло, кусками вкрапленное в чеканный обод. С намерением продолжить атаку Саша Грацианский устроил было уютное гнездышко в полутьме за колоннами, но пока бегал за вторым креслом для своей дамы, ее отбил, увел Дорбынь-Бабкевич. Окруженный поклонниками, он в качестве будущего командора описывал маршрут и возможные бедствия предстоявшего через неделю автомобильного пробега по средней России.

«И вы не страшитесь, Дорбынь, что по ходу вашей эскапады, э... вам придется заночевать в каком-нибудь таком, э... зараженном ауле?» — озабоченно и несколько запинаясь осведомлялся незаконнорожденный, через монокль изучая смельчака.

«Сир! — пылко рванулся тот ему навстречу, вовсе не потому, что уже окоселая личность эта обладала правом на помянутый титул, а потому, что такое обращение возвышало его в собственных глазах.— Стихия всегда неласкова к своему покорителю, но истинный спортсмен, идя по следам своих великих предшественников, Стэнли и Миклухо-Маклая, не страшится никаких лишений!»

«Но, боже мой!..— ужаснулась дама Эмма, и Саша Грацианский дрогнул, услышав ее низкий, грудной голос.— Что же вы станете делать, если под вами в дороге взорвется мотор?»

«Мадам...— бесшабашно отрезал этот герой своего времени, сплетя ноги в невыразимых желтых гетрах и опираясь локотком на каминный экран бисерного шитья,— тогда я уйду в мать-сыру землю с воспоминаньем о таинственном блеске ваших чудных глаз, мадам!»

Целый час Саша Грацианский безумно страдал от одиночества в своем углу; кроме того, его немножко мутило от сырых шампиньонов, поданных под горячим гусиным жиром по последнему слову западноевропейской кулинарии. Ему захотелось напиться и учинить какое-нибудь всемирное бесчинство, чтоб вернуть вниманье дамы Эммы... да, без сомнения, он так и поступил бы, если бы не опасался доставить огорчение своей матери. После долгого раздумья, оскорбить ли ему действием неповинного

Дорбынь-Бабкевича, или прожечь ковер сигаркой, Саша счел за благо разбить бутылку ликера; никто, кроме лакеев, немедля вынесших коврик, не заметил его маленького бунта. Нет сомнения, что в следующем приступе ревности он выкинул бы фортель и позанозистей, если бы не вклинилось одно происшествие, в корне изменившее расстановку сил.

На исходе одиннадцатого часа взволнованный дворецкий вызвал подполковника Чандвецкого к прискакавшему из столицы курьеру, и тот поспешно вышел, но вскоре вернулся нахмурясь и на ходу надевая шинель.

«Прошу соблюдать полное спокойствие, господа. Мне доставили невеселую новость с телеграфа,— сообщил он с официальным бесстрастием в чрезвычайной тишине.— В Киеве только что убит гофмейстер Столыпин».

Все повскакали, почему-то выстраиваясь в шеренгу, кроме Невралгии Захаровны, повалившейся на турецкую тахту от дурноты.

«Кто, кто стрелял?.. куда попало?» — раздались озабоченные голоса.

«На *Царе Салтане*. В живот и печень. Государь здоров. Во фраке, лет восемнадцати. Второй антракт. Фамилия неизвестна. Чорт, фуражку мне!»

«Боже мой, неужели наповал?» — почти простонала дама Эмма, так что невольно возникало подозрение, не доводился ли ей родственником подстреленный сановник.

«К сожалению, телеграф не располагает дополнительными сведениями. Прошу всех заниматься своими делами. Мне необходимо уехать... могу ли я рассчитывать, что кто-нибудь проводит Эмму?.. Коляска будет ждать тебя у подъезда, мое дитя!» — И молящими глазами попросил ее не терять присутствия духа.

Железной походкой, лбом вперед, он ринулся к выходу, как бы изготовясь пойти на таран в предстоящей битве за благоденствие империи. Некоторое время Постный тщетно пытался успокоить гостей. Один за другим, забыв порученье Чандвецкого, они заспешили кто куда: в редакции, на биржу или просто домой запирать сундуки и ставни. То даже не страх был перед возможными в таких случаях последствиями, скорее деловитая оживленность, приятнейшее возбуждение среди этих обитателей дна, обычные при паденьи камня, когда заодно с илом всплывает жирная

и легковесная пища. Незаметно пропал и Слезнев, так что вскоре в мавританском помещении, кроме хозяина и Саши Грацианского, оставались только Эмма да тот, незаконнорожденный, успевший нахлестаться до полной непригодности к какому-либо применению в жизни.

«Мне тоже пора домой...» — вспомнила дама Эмма, ни на кого не глядя.

В ее голосе слышалась понятная робость перед судьбою, как бы вручавшей ее незнакомому студенту. Саша Грацианский склонил голову с готовностью служить, но пряча под маской слегка озабоченной покровительственной почтительности свое явное торжество, после чего хозяин, сопя и охая, спустился проводить гостей, усадил в подполковничью пролетку и сам застегнул кожаный фартук на их наконец-то соединившихся коленях.

...Вечером первого сентября 1911 года в столице установилась дождливая, с переменным ветром погода. К ночи сравнительно постихло, и желтоватый петербургский туман окутал окрестности, причем моросило порой, так что сразу пришлось поднять верх экипажа.

«Ладно, ступай теперь, ступай же!..» — нетерпеливо бросила дама Эмма сановитому кучеру в кафтане, подбитом ватой и подпоясанном алым кушаком... и потом по сторонам двинулось пряное, с ума сводящее, нарушаемое лишь мокрым стуком копыт, осеннее безмолвие.

Затихший не только от восторга, скорее,— от некоторых желудочных ощущений, Саша Грацианский покачивался на сиденьи рядом со своею дамой. Довольно скоро, под влиянием равномерных покачиваний экипажа, шампиньонная тоска улеглась, однако красноречие пока не возвращалось. Через полверсты Саша решился взглянуть на спутницу — лица ее не было видно, только серьга под шляпкой дразняще сияла, подрагивала и пропадала то ли в локонах волос, то ли в клочьях тумана, заплывавшего к ним в укрытие. Из-за позднего времени ни живой души не попадалось по дороге, и в указанных обстоятельствах эту поездку следовало считать величайшим промахом Чандвецкого и удачей его счастливого противника...

Но, как на грех, молодого человека одолела вдруг глубочайшая, кухарочная какая-то икота. Лишь версты полторы спустя Саша Грацианский надоумился отнести свое

прискорбное молчание за счет обязательных для провожатого благородства и морального старшинства.

«Я вот все ехал и думал о вас, дама Эмма...— крепнущим голосом приступил он к делу.— Допускаю, что и ангелам полезно время от времени спускаться в преисподнюю для самообразования, однако на месте вашего супруга я не повез бы вас в подобный притон. Это оскверняет... Что касается меня, я до сих пор чувствую какую-то вяжущую муть... а вы?»

«О, боже мой!» — сокрушенно вздохнула она, пошумела шелком и отодвинулась слегка, насколько это позволяло тесное пространство экипажа.

Собственно в те годы балованый Саша Грацианский уже привык глядеть на молодость свою как на чековую книжку для оплаты запретных удовольствий. Было что-то бесконечно приятное и порочное в этой поездке вдвоем, но не вследствие жаркого магнитного поля, с первой же минуты образовавшегося между ними, или, скажем, грешного тепла, исходившего из колен незнакомой женщины; порочное заключалось прежде всего в самом соприкосновении Саши с темным учрежденьем, где в данную минуту супруг ее скверными способами добывал пропитание и для нее самой, и для лошади, которая везла их, и для кучера, дремавшего на облучке. Сердце сашино сжималось от боязни, что Валерий и Вихров когда-нибудь прознают о столь расширенном круге его знакомств; Чередилов был покладистее. Требовалось на скорую руку подыскать нравственное оправданье своей слабости... и тут весьма кстати подвернулась мыслишка, что было бы до бездарности глупо упускать такую оказию — сдержать угрозу, проучить подполковника и на практике позондировать прочность его семейного очага. Тот же бесенок толкнул Сашу Грацианского на кое-какие предварительные шаги, причем сразу выяснилась неопытность дамы Эммы в отраженьи подобного рода атак. К концу пути Саша даже осмелился поцеловать ее... не очень удачно, потому что не к месту тряхнуло на выбоине; он больно расцарапал щеку о расстегнувшуюся серьгу.

«Боже мой! — прошептала Эмма, ловя его руки.— Я на вас пожалуюсь... *ему!*»

Таким образом, на первых же шагах между ними установилось свойственное всем любовникам суеверное

соглашение не произносить вслух имени третьего заинтересованного лица, чтобы не навлечь на себя преждевременной беды.

«О, жалуйтесь, жалуйтесь! — твердил Саша Грацианский, крайне ободренный развитием событий.— Жалуйтесь, и пусть он меня, ха-ха, во глубину сибирских руд за это!..»

На следующей полуверсте ему удалось исправить оплошность первого нападения и отомстить даме Эмме за причиненную ею боль.

«Будьте же разумны, боже мой!..— кое-как сопротивлялась она и кивала на могучее полушарие кучерской спины, служившее им четвертой стенкой.— Что он подумает, если услышит?»

«Пустяки! Во-первых, жена цезаря выше подозрений, а во-вторых... куда мне завтра прислать цветы?»

«Да вы с ума сошли!..» — совсем испугалась она, готовая остановить коляску.

Точно так же она воспротивилась его попытке проводить до дверей квартиры из боязни, что соседи смогут опознать выезд Чандвецкого. Не было ничего предосудительного в том, что благовоспитанный студент с дозволения владельца доставляет его сокровище домой, и потому в самом запрете дамы Эммы Саша Грацианский прочел ее понятный страх за свою будущую судьбу. Это окрылило его на целую неделю, в течение которой она обещалась уведомить его о дне и месте наконец-то выпрошенного свиданья.

Письмо от дамы Эммы так и не пришло, Саша рано торжествовал победу; обиднее всего было, что за отсутствием общих знакомых другого такого случая встретиться с нею могло не представиться за всю жизнь. По сведениям Слезнева, бывшего в курсе всех закулисных новостей и сплетен, начальник киевской охранки Кулябко был смещен со службы за нерадивость и по особому указанию Двора подполковник Чандвецкий с чрезвычайными полномочиями выехал на расследование таинственного выстрела в опере. Молчание Эммы следовало рассматривать как раскаяние неискушенной в сердечных шалостях женщины, и тогда, на целый месяц запустив лекции, Саша Грацианский принялся в любую погоду прохаживаться под окнами у Чандвецкого, пока дворники не стали принимать его за

сыскную личность, чего он уже не мог стерпеть. Ничего ему больше не оставалось, как израсходовать свой накал на эпигонскую поэмку об интимных переживаниях пилигрима, шествующего босиком по терниям на поиски некоей прекрасной и неблагосклонной Дамы. Крайне посредственные, проникнутые модной в те годы символической дымкой стихи эти вызвали восхищение знатоков, в первую очередь Слезнева.

«Да ты, братец, просто Дант какой-то!.. И даже хуже: Казанова, чорт возьми!.. да не терзай, откройся же, мучитель, кто *она?* — как и прочие, допытывался он, а Наташа Золотинская, кротко готовясь к последствиям своей девической доверчивости, простодушно сияла и думала, что это про нее, но Саша Грацианский лишь загадочно улыбался.— Правда, чувствуется в твоем опусе некая вполне понятная психологическая неудовлетворенность, Александр, зато представляю себе, чем ты нас шарахнешь, когда доберешься, наконец, до ее будуара!..»

...В начале зимы, в сумерках, выйдя из дому пройтись для восстановления гемоглобина, Саша Грацианский лицом к лицу столкнулся с дамой Эммой.

2

Она возвращалась с катка в легкой беличьей шубке, озябшая и усталая. Немножко странным показалось это Саше, потому что Сергиевская была ей не по пути, но, по словам Эммы, она заходила поскучать к подруге, которой не оказалось дома.

«Какая неожиданность, боже мой!» — только и сказала она, опустив глаза и отступая, как от призрака.

«Я не подозревал за вами этой склонности к подобному спорту, иначе мы могли бы... Однако я тоже бываю на этом катке... почему же я не встретил вас ни разу?»

«Значит, не хотели встретить»,— и тоненько прозвенели коньки на ремешке.

Он закидал ее вопросами: почему похудела, вернулся ли *он* из Киева, зачем так безжалостно обманула своего паладина. Дама Эмма молчала, не смея вырвать у него своих рук, утративших волю к сопротивлению.

«Ну, приподнимите теперь вуалетку!» — властно и горько приказал Саша, причем дама Эмма поняла, что скоро он потребует и других наград за свои сердечные терзанья.

При желтом свете газового фонаря он долго разглядывал ее, милое ему, тем более привлекательное лицо, с чуть запавшими щеками и лихорадочным блеском во взгляде, что, по опыту с Наташей Золотинской, самонадеянно относил это за счет своего неотразимого обаянья; помнится, Сашу в особенности тронули начальные морщинки возле ее рта. Вслед за тем задор и петушиная ярость охватили Сашу Грацианского.

«Все это время я умирал от тоски по вашим глазам... каждый день, в любую минуту. Наверно, самое большое чудо, даже расточительность неба — в том, что вы видите меня на ногах! — Он считал себя вправе и не на такие поэтические преувеличения.— Так вот-с: за вами должок-с, дама Эмма!»

«Я знаю,— через силу согласилась она, и какая-то необъяснимая смешинка скользнула по темным, с пушком над ними губам.— Но не надо, боже мой... прошу вас!»

Чем дольше он вглядывался в нее, тем сильней убеждался в ее сходстве с Джокондой, о похищении которой из Лувра не переставали в тот год твердить газеты.

«Вас тоже украли у меня, но я нашел. По праву находки треть принадлежит мне. Этот вечер мой, я не отпущу вас... хотя бы это стоило мне жизни. Мы немедленно едем куда-нибудь...»

Видимо, дама Эмма не читала газет, в ее глазах отразилась мучительная тревога при упоминании о краже. Еле слышно она спросила Сашу Грацианского:

«Но куда, куда?.. Боже мой!»

«Выбор за вами, дама Эмма. Возьмите, тут перечислены все райские услады Санкт-Петербурга»,— корректно поклонился Саша, еще более влюбленный в нее за эту неповторимую грацию испуганного согласия и, не глядя, протянул даме Эмме вечерний листок из кармана.

Было почти великодушно с его стороны, что, понимая смятенное состояние жертвы, он вместо единовременной уплаты предоставлял ей рассрочку. На желтый от газового света развернутый лист с объявлениями о столичных зрелищах падали тихие снежинки, тотчас же превра-

щаясь в ничто на морозце. Эмму потянуло в оперу, где имелись закрытые ложи: «Вы же понимаете, Саша, меня тут знают все»,— пояснила она с краской стыда, видимо, за ремесло мужа. Молодой человек ответил ей запальчиво на это, что всю скуку мира, музыкальную в том числе, он вместе с подагрой оставляет в резерве под старость. Они стали выбирать что-нибудь позанятней, водя пальцами по строкам и воркуя, как заговорщики. В двух театриках на Невском шли модные пьесы — *Триумф вакханки* и *Пьяный труп;* в цирке *Модерн* показывали смертельное сальтомортале одного смельчака над живым извозчиком в полной упряжке; в *Кабаре интим*, что на Фонтанке, с выдающимся успехом выступал двуногий аккумулятор Альва Станхон, способный выдерживать ток в восемьсот тысяч вольт. Кроме того, в тот же вечер негр Бамбула боролся с Лурихом, а в *Вилла-Роде* у Строгановского моста m-lle Лялечка показывала разные штучки для взрослых. Под конец они надумали поехать на Марсово Поле, в *Привал Комедиантов,* наиболее изысканную трущобу тогдашнего Петербурга, помещавшуюся в доме известного уголовно-светского дельца Митьки Рубинштейна.

Пестрые афишки, напечатанные навыворот для привлечения публики, висели у входа в подвальный этаж, чарами модных художников превращенный в кабак столичной богемы. Теплой болотной тинкой попахивало там, под сводчатым потолком, с пылающими жар-птицами на падающих стенах и другими, погреховнее, сюжетами самого Бориса Григорьева. Заедино со всякой столичной накипью там бывали виднейшие литераторы, Куприн и Арцыбашев забредали со свитами поклонников из наиболее редкостных профессий, сам Леонид Андреев запросто, в бархатной блузе, спускался сюда из своей квартиры понежиться в лучах славы... Когда Саша со своею спутницей сбегали по ковровым ступенькам, за колонной, у гардеробного прилавка, мелькнуло напряженное, в пятнах лицо Слезнева и исчезло. Кроме того, пожилая личность в котелке, какие носили тогда банкиры и уважающие себя сыщики, к великому и неискреннему гневу студента, облапила Эмму масленистыми глазами и поразгладила усы,— на деле же Саше Грацианскому лестно было показаться на людях с такою блистательной дамой. Все

же, в целях самосохранения, даме Эмме лучше было остаться в шляпе и вуалетке, чтоб не привлекать внимания болтунов, не вспугивать отсутствующего ревнивца, пока ветвистые украшения не прорастут как следует у него на лбу. Саша Грацианский сделал вид, будто стряхивает пыль с груди,— бумажник был на месте. Теплое ночное болото встретило их смрадом, бульканьем, чертячьей трескотней, как всегда, когда оттуда уходят люди.

Им достался неудобный столик на проходе, возле арки. Выгодней было занять закутку за одной из таинственных занавесок, с которых ухмылялись небесные, с бородавками, светила судейкинской работы, но у Саши Грацианского имелось всего тридцать рублей, накануне полученных от матери на карманные расходы, а с посторонних лиц, не принадлежавших к искусству и слывших там под кличкой *фармацевтов,* администрация *Привала Комедиантов* драла втридорога. Сквозь кухонный чад сновали официанты с вознесенными к потолку натюрмортами, и какой-то стеклянный мальчик с накрашенными щеками, один из картавцев поэта Кузьмина, нараспев скандировал нечто о ландыше, ладане и леденящей сладости безграничных падений. На смену ему, как на раденье, привстав из-за столика в углу, молодая женщина с челкой над неверными, монашескими глазами стала читать стихи о красавице Мюргит, поклявшейся душу дьяволу предать и вечному огню; кто-то рядом, шибко навеселе и поводя пьяным набрякшим носом над скатертью, прищелкивал ей кастаньетами.

Эмма слушала, склонясь лицом к столу, и вдруг Саша Грацианский с восторгом опытного грешника разглядел слезу у ней под вуалеткой.

«Да что это с вами, дама Эмма? — подался он вперед, тиская ее руку.— Неужели вас могли растрогать эти безнадежно провинциальные вирши... без новых ритмов и запредельных откровений? ...какая же это бездна: семь вершков глубины! Пейте ваше вино, не бойтесь: *он* далеко, *он* не услышит, не оценит верности своей Пенелопы!»

«Нет, я просто так устала там... на катке,— обронила она виновато и пряча голову в плечи.— И посмотрите, пожалуйста, кто там стоит за моей спиной, в пенсне на черной ленте... и почему он смеет так мерзко улыбаться?»

Саша Грацианский кинул грозно-нащуренный взгляд в указанную сторону.

«О, это просто Панибратцев... несомненный сикофант и старый шулер в прибавку. Хотите, я подойду и ударю его разок? С ним это можно, приказывайте, дама Эмма!»

Разумеется, у него вовсе не было особой охоты кататься по полу с этим вялым и рыхлым, но все же буйволом; он рассчитывал на благоразумную умеренность своей дамы.

«А, не стоит, пускай его!.. Но, боже мой, какая же все это гадость! — С минуту она еще осматривалась вокруг себя, где все жевало, обнималось, фальшиво клялось в любвях и дружбах, как умеют это люди искусства, под коньячок назначало свиданья, цедило скабрезности сквозь прокуренные зубы, заключало союзы, пари и биржевые сделки, подписывало авторские книжки и сообща производило тот шум безнадежной опустошенности, как в гигантской приложенной к уху раковине... Вдруг Эмма решительно поднялась:

«Нет, не хочу... ради бога, уедем скорей отсюда!»

Он всполошился из понятных соображений:

«Но это же безумие... Куда же нам ехать, раз мы только что приехали!»

«Все равно... везите меня теперь куда вам угодно»

«Но почему же, почему, дама Эмма?.. объясните по крайней мере вашу прихоть!» — холодно, сквозь зубы допытывался Саша Грацианский, потому что всадил почти все свои наличные в эту вовсе нетронутую пищу и распечатанное вино: не уносить же было бутылку под полою!

Эмма успела надеть шубку, пока он, стоя, спорил с официантом по поводу цены на шницель. Но именно необъяснимость каприза еще более возвысила эту женщину в его глазах: он даже благодарен был ей за вынужденное расточительство, доставлявшее ему возможность похвастаться в *своем* кругу,— равнявшее его с теми, выше себя, кому с ненавистью завидовал за возможность безотчетных и бесполезных трат... Однако в наличности у Саши оставались теперь всего золотая монетка да серебряная мелочь для гардеробщика, а целая ночь сказочных приключений предстояла ему впереди.

«Так что же мы намерены предпринять в данном случае?» — вызывающе спросил он Эмму на подъезде,

трепеща от мысли о новых, непосильных его карману, причудах.

К счастью, у ней не было других желаний, кроме как тысячу лет ехать куда-нибудь наугад. Извозчичьи сани с бедной, залубеневшей от мороза полостью ждали седока на углу. Скрипнули подреза́, и полузанесенные снежком каменные громады поплыли назад и мимо. Эмма не произносила ни слова, только подавленно глотала воздух девственно чистого первозимья, зато через минуту-две Саша Грацианский вполне успел оправиться от сожалений. Вцепившись в тычок саней за спиной своей дамы, он, как из короба, сыпал ей двусмысленности, но преимущественно исторические анекдоты, что, подобно лакомому для обывателей сору, в изобильи валяются у подножья великих лиц и потрясений. Выходило даже, что тысячелетия сряду человечество затем лишь и шалило огнем и кровью, чтоб было чем Саше Грацианскому развеять скуку своей Прекрасной Дамы и лишний раз нечаянно пощекотаться губами о черный локон над серьгой.

Тут ему показалось вполне своевременным перевернуть затянувшуюся страницу.

«Да ты кормишь ли свою клячу хоть в праздники, мошенник?» — привстав, по-гусарски крикнул Саша Грацианский извозчику, и санки полетели, как с горы.

По озорному вдохновению, чтоб смягчить грубоватость очередного хода, он спросил Эмму, любит ли она Грига. Наверно, воспитанная в условиях почти монастырского неведения, с уклоном к Баху и Гайдну, та затруднилась с ответом, так как не знала, кто он, этот Григ: адвокат, чиновник, коммерсант? Пользуясь ее замешательством, Саша Грацианский попытался просунуть пальцы в ее тесную, с меховыми крагами, перчатку, а когда не получилось, то и в рукав.

«Не надо, боже мой!.. вы же станете раскаиваться!» — невесело оборонялась Эмма и все отклонялась, муфтой прикрывая лицо от снега, комьями летевшего из-под копыт.

«Но разве вы не видите... шалун уж отморозил пальчик, пустите же его погреться! И он не боится, не боится никаких жандармов на свете...»

«Правда, не боитесь? — переспросила Эмма, странно поглядев ему в лицо, и вдруг приказала остановить

сани.— Но взгляните сперва, что это за люди там?.. верно, погорельцы? Бедные... идите, узнайте у них».

Дело происходило на открытом за год перед тем Охтенском мосту, перекинутом через темную, стылую воду. У чугунных перил, сбившись в кучку, чернели какие-то призраки, неподвижные, как и всякая уличная скульптура, только отлитые из мглы и стужи, а не из бронзы или чугуна. Несломанный снег белел у них на плечах и в складках овчины. Это были крестьяне, четверо: жердистый старик в армяке и три разного возраста, некрасивые женщины в нагольных, на тугой крючок застегнутых полушубках. Верно, они притащились сюда из самых сокровенных глубин России: холодом бескрайнего простора веяло от них. Проницательный Саша Грацианский успел догадаться, в чем дело: в газетах изредка упоминалось об очередном неурожае в Поволжьи.

Саша Грацианский подошел поближе выполнить приказанье дамы Эммы.

«Ну, братцы, э... чего же вы тут встали? — приветливо, чтоб не пугать зря, осведомился он.— Этак и замерзнуть можно. Шли бы вы куда-нибудь в дешевую гостиницу или, еще лучше, на постоялый двор... вот именно. Чего примолкли, откуда вы, сказывайтесь... кто такие?»

Никто не отвечал ему, но ближняя, помоложе, отшатнулась при виде форменной, с металлическими пуговицами, шинели; только старик отважно, без удивления или испуга продолжал глядеть на студента, скорее даже сквозь него, как если бы то было всего лишь его очередное голодное видение. В ту минуту Саша Грацианский разглядел и пятую фигуру, привалившуюся к коленям старухи,— девочку в таких же лапотках и крест-накрест опоясанную полушалком; проснувшись, она глядела на студента теми же смутными глазами цвета зимней мглы... Из самых похвальных побуждений молодой человек потянулся приласкать ребенка, но старуха ревниво и дико прижала ее головку к себе: не трожь, дескать, наше... что было обидно студенту, потому что он ничего не собирался отнимать у них, а, напротив, сам хотел влить в их души немножко бодрости. Кроме того, снегу там навалило на добрых полторы четверти, а Саша Грацианский при своей подверженности к простуде вышел в тот раз из дому без калош. Впрочем, дикость и упрямство мужиков были ему

даже наруку, так как освобождали молодого человека как от денежных расходов, так и угрызений совести.

«Нет, это не погорельцы, это просто так, мужики. Они, видимо, приезжие,— неопределенно доложил он, возвратясь к саням.— Это, по всей видимости, хлебопашцы из-за Волги... Леса-то повырубили, вот и терпят теперь. Ну, дама Эмма, поехали?»

«Дайте им что-нибудь»,— странным зябким голосом велела Эмма.

Саша Грацианский замялся, мысленно катая в пальцах оставшуюся золотую монетку. И вовсе не гривенника ему было жалко, он бы и побольше для России отвалил, чтоб потом изобразить в чеканных стихах свои жертвенные переживания, но... представлялось крайне унизительным требовать у нищих сдачи четыре рубля восемьдесят пять копеек... да ему еще предстояло расплачиваться с извозчиком.

«Э, ничего..., собственно говоря, они уж привыкли. Ведь у них там всегда что-нибудь *такое*... вот только зря ноги мальчик замочил»,— лихо отшутился Саша, усаживаясь в сани.

...Дня два затем его мучила не столько совесть, сколько досада, что уронил себя в глазах женщины, хотя, по его расчетам, он вполне достаточно потратился на нее в тот вечер. Но, значит, мужественность его поступков и убедила Эмму в напрасности дальнейшего сопротивленья. Дело быстрей пошло на лад: теперь Саша Грацианский чуть ли не каждый день провожал свою даму к подруге или просто носил за ней пустяковые покупки и на ходу все читал ей в примороженное ушко всякие стихи, усыпляющие супружескую верность, а она спешила, все как бы убегала от него в редкий, падающий снежок, видно, избегнуть хотела настигавшей ее судьбы. Окончательное посрамление жандармского подполковника произошло в меблирашках *Дарьял* на углу Невского и Владимирского... «Боже мой!» — только и произнесла за весь тот вечер Эмма. Она вообще мало говорила, ни о чем не расспрашивала, со всем соглашаясь одними глазами, и в совершенстве владела даром восхищенно слушать, что обычно у женщин сходит за признак ума в глазах не в меру разговорчивых поклонников. Целый месяц Саша Грацианский был в упоении от своей покорной, подавлен-

ной его нетерпеньем жертвы и в конце концов до того распалился, что готов был и жениться на ней...

«Гляди на меня, Эмма, и слушай! Ты завтра же подашь на высочайшее имя прошение о разводе со своим кабаном,— твердил он, дурея от ее мертвых чар.— У моего отца есть приятель, прославленный адвокат, и если... Чего ты смеешься?»

Чаще и чаще какие-то искорки поблескивали в ее глазах, не слезы.

«Во-первых, я старше тебя, Сашок, а во-вторых...— и качала головой.— Боже мой, да отец просто выгонит тебя, если ты притащишь разведенную жену в его дом! Не торопись, все уладится само собой. Пусть это и будет волшебный сон, о котором тебе мечталось... и совсем не надо тебе просыпаться!»

Конечно, в профессорской либеральной семье Эмме нечего было рассчитывать на успех; тогда Саша Грацианский предложил ей бегство.

«Не хочу, чтобы кто-нибудь посторонний даже смотрел на тебя... тем более твой кабан! Будь готова завтра к вечеру. Ничего не бери с собой... кроме, разве, только самых любимых твоих безделушек! И жди меня у аптеки, на углу».

«Ты глупый и привязчивый... привязчивый ты, да? — и все не давала ему рассмотреть что-то в глубине своих зрачков, и временами что-то зловещее возникало в ее голосе, словно бы сжалиться над ним хотела, но всякий раз вспоминала нечто и не сжалилась.— Ну, куда же мы помчимся с тобой без денег? ...покажи, сколько у тебя осталось?»

«Все равно,— бледнел он, закусывая губы.— Я ограблю банк, убью Бенардаки, возьму под проценты у Постного... ты еще не знаешь, на что я способен для тебя. Я возьму мир за холку и пригну его, как собаку, к твоим ногам».

...Впрочем, к концу второго месяца Саша Грацианский был очень доволен, что не привел в исполненье ни одного из своих посулов. Тогда-то, одновременно с сердечным охлажденьем, и созрел у него сверхсатанинский план вовлечь Эмму в *Молодую Россию* и таким образом для начала забросить своего человечка в недра царской охранки: не оставалось сомнений, что Слезнев задним числом

одобрит его затею. Почти ежедневно, возвращаясь домой с прогулки, Саша мимо Зимнего дворца проходил с усмешкой старого бомбиста, всем своим видом как бы говоря: «Вот, погодите: будет вам ужо мыло за мыло, штучка за штучку и за Азефа — Азеф!» О, это был бы такой удар по Чандвецкому, от которого тот рухнул бы почище быка на мадридской арене.

Постепенно Саша Грацианский стал вводить свою пленницу в круг тогдашних передовых идей, приоткрывал ей некоторые глубины политической экономии, в масштабе собственных познаний, и обучал начальной грамоте ненависти, тем более, что и сама она, видно — натерпевшись от мужа, очень плохо отзывалась о петербургской знати, в частности о лично известных ей, среднего ранга, чиновниках.

Вместе с тем, однажды, лежа с закинутыми под затылок руками, она призналась любовнику, что не питает особой склонности и к революционерам.

«Это оттого, дурочка, что сама ты никогда и не видала их, а судишь лишь по наветам своего мужа. Среди них попадаются отличные, ледяного блеска люди. Например, я знаю одного в Лесном институте... двумя курсами старше меня; он, как клинок на взмахе. Между нами говоря, этот человек запросто целую типографию в чемоданах на юг перевез...— О подпольной деятельности Валерия совсем недавно намекал ему Слезнев, с собачьим ожиданием ласки в глазах, и с тех пор Саша Грацианский считал себя вправе изредка хвастнуть чужим геройством, так как близость к Валерию и на него самого набрасывала романтическую дымку.— Завтра я буду с ним в театре, можешь взглянуть из ложи... но, чур, не влюбляться!»

Эмма наотрез отказалась, точно так же, как и во второй раз, когда, раззадорясь ее недоверием, Саша Грацианский назвал ей истинное имя Валерия, назвал без боязни выдать товарища, потому что в случае дурного оборота Эмме пришлось бы раскрыть мужу обстоятельства, при каких получила эти сведения. Кстати, самому Саше Грацианскому они достались без затраты усилий, в единственный их совместный, вчетвером поход к греку на Караванную. Простоватая пожилая девушка, приезжая в столицу незамужняя тетка Валерия, неосторожно опознала его на улице. Правда, Валерий не откликнулся на свое

старое имя, но от Грацианского, как и от Вихрова, шедшего с другой стороны, не ускользнули ни рывок внезапно выпрямившейся руки, ни его краткая речевая заминка... Арест Валерия Крайнова последовал недели две спустя, так что у студента не возникло никаких подозрений относительно участия Эммы в том происшествии.

Свидания становились реже, и Саша Грацианский искусно воспользовался первой же пустяшной размолвкой, чтоб оборвать затянувшийся роман; киевское следствие к тому времени также закончилось,— Чандвецкий вернулся в Петербург с повышением в чине. Уж лед шел на Неве, когда Слезнев под секретом сообщил своему дружку о предстоящем отъезде соперника на лечение в Аббацию. Полковник уезжал туда с женой, и Саша Грацианский выбрал этот день для нанесения своего беспощадного удара. Возможно, остатки порядочности и удержали бы его от столь низкой неблагодарности в отношении женщины, дарившей его своим вниманьем, если бы при размолвке дама Эмма не произнесла одного колючего словца насчет его поведения на Охтенском мосту... Утром Саша Грацианский помчался на вокзал, купив по дороге охапку дорогих роз, прямо из Ниццы и какие попунцовее, смысл которых был понятен и ребенку. Походкой бреттера он нес по перрону свой букет, громадный, как пожар, без обертки и на глазах у всех, чтоб умножить свое мстительное торжество.

Поезд готовился к отбытию. Личности служебного назначения прощупали глазами студентовы карманы. Чандвецкий в расстегнутом кителе гулял по проходу спального вагона.

«Если позволите... я привез цветы вашей прелестной супруге,— церемонно и без приветствия начал студент с тем же приблизительно удовлетворением, с каким на охоте вводят в кабана длинный, с зазубринами нож.— Прошу прощенья, так боялся опоздать, что времени не было завернуть в газетку...»

«О, это весьма благородный жест, господин Грацианский,— без тени изумления или гнева отвечал полковник и, вдохнув запах свежести от цветов, заглянул в купе.— Ты ничем не занята, Эльзи? Тут один молодой человек хочет поднести тебе чудесные розы. Он оказал нам кое-какие услуги и, видимо, хотел бы закрепить наши отношения».

Прежде чем пошатнувшийся Саша Грацианский успел издать какой-либо звук, из купе вышла незнакомая ему, болезненного вида женщина в длинной, до полу, юбке и с несколько сизым от промозглой погоды, продолговатой формы носом.

«Боже мой, это такие милые цветы!» — сказала она, слегка коверкая русские слова и протягивая руки.

Студент Саша Грацианский испытал нечто подобное тому, как если бы вершковой толщины доской плашмя хлестнули его по лицу: желтые круги с кровавой искоркой поплыли в его глазах. Кто-то ахнул, кто-то из шпиков угодливо засмеялся поблизости, когда студент, выронив на пол свое подношенье, бросился к выходу. Еще непонятно было, что именно произошло, но только, судя по намеку Чандвецкого, то был наихудший из возможных вариантов... Смятение и ужас погнали Сашу через весь город к Слезневу.

Тот добривал вторую щеку перед крохотным зеркальцем, когда осунувшийся, со страдальческими глазами к нему ворвался Саша Грацианский.

«Н-да, братец ты мой, дело-то негоже обернулось... совсем негоже,— согласился Слезнев, выслушав хриплую исповедь приятеля.— От этого, конечно, не умирают, но... негоже. Да и слезами тут не поможешь... нет, пожалуй, не поможешь. А я, признаться, никак уяснить не мог, что именно привлекло тебя к этой мамзельке... которую пол-Петербурга знает накоротке. Подай-ка мне, братец, спиртовку с подоконника!»

«Так почему же утаил от меня, темная ты душа, почему не удержал от бездны?» — со стоном вырвалось у Саши Грацианского.

«Но ты ведь и не делился со мной своими тайнами, братец... и вообще скрытен стал в последнее время, разве неправда? — смеялся Слезнев, прямо фитилем, смоченным в денатурате, прижигая срезанный прыщик на щеке.— Даже поделиться со мной не захотел, за что арестовали этого твоего... ну, Валерия. Да и как было тебя удержать!.. Панибратцев жаловался, что ты его чуть глазами не прожег, когда он улыбнуться посмел на счастливую парочку... вот именно: на барана да ярочку. Я уж решил в душевной простоте, что ты спасать ее, эту Эмку, задумал... сейчас многие этим занимаются, оно подешевше!

А в таком случае — кому жизнь не дорога, кто станет под руку прохлаждающие вещи говорить? Да присядь же ты, идолище, не мелькай, порежусь... кончу, завтракать пойдем. Тут за углом новая ресторация открылась, под названием *Нирвана:* душу за расстегаи отдашь!»

«Адрес *ее* тебе известен? — помертвевшими губами спросил Саша Грацианский.

«Убивать, что ли, торопишься? — через зеркало засмеялся ему Слезнев.— Плюнь, обойдется: пригрози ей только построже, чтоб не болтала...»

«Адрес ее, немедленно!» — вторично прошелестел Саша.

Оказалось, она проживала в тех же самых меблирашках, где они встречались, только этажом повыше и двумя номерами ближе к лестнице, так что ей совсем недалеко было ходить на свиданья. «Там все эти магдалины живут и ихние спутники жизни...» — пояснил Слезнев, изнутри выдавливая языком щеку и наклеивая бумажку на порез. Неизвестно, зачем Саша Грацианский полетел туда на опаленных крыльях мечты,— возможно, при усиленной деятельности не столь болят сердечные раны.

Он долго искал по номерам свою даму Эмму и сперва нарвался на чернявого, прямо с гималайских отрогов, преподавателя магии и тибетской медицины, а потом попал в гости к одной скучающей шведке, кроме того гадавшей на картах японским способом. Эмма вышла к Саше Грацианскому с несвежим румянцем, во фланелевом капотике, и то лишь когда студент стал плечом ломиться в дверь.

«Боже мой, кого я вижу! — не слишком искренно обрадовалась она, оправляя сбившуюся прическу.— Где же ты запропал, Шурик, как живешь?»

Он задыхался, его душил здешний смрад подгоревшего сала, спаленных волос, прокисшего вежеталя, нечищенных ковров.

«Мне необходимо говорить с вами!..» — и уже распахивал пыльные, огненного цвета плюшевые драпировки.

«Ко мне сейчас нельзя... тебе придется в другой разок зайти. Вторник и среда у меня всегда заняты, так что лучше в четверг, от трех до пяти.— Она озабоченно наморщила лобик.— Нет, в четверг тоже не получится. Знаешь... лучше в субботу на той недельке забегай».

«О, как же вы меня не пожалели, дама Эмма! — простонал Саша Грацианский голосом разбитой виолончели.— За это ж убивают наповал! Во всяком случае, я благодарен вам, что вы не наказали меня более жестоко...»

Ее глаза засверкали от возмущения:

«Не понимаю, чего ты раскипятился, дружок, чорт тебя возьми!.. Каждый тянет свою лямку, как может. Разве тебе было плохо со мной или я клянчила деньги, ценные подарки у тебя!.. ну, что еще там? — обернулась она на басовитый призыв из-за ширмы.— Не могу же я разорваться между вами, господа!.. Ах, боже мой, какие же вы все негодяи: ищете гаденького и сладенького, а потом сами же приходите скандалить! Не ты ли, наконец, называл это волшебным сном?»

Саша Грацианский выслушал ее с видом истерически-преувеличенной вежливости:

«И сколько я должен вам за этот сон по совокупности? — И никак не мог разглядеть в ее глазах, чем же, чем она вовлекла его в эту пропасть.— По крайней мере я хотел бы получить назад свои стихи, которые писал вам в ослепленьи...»

Она начала сердиться:

«Какие еще стихи? Ах, эти!.. Но это невозможно, дурачок, они же в *деле*. Надо же понимать, милый: меня *туда* просто не пустят... Ну, ладно, ладно, ступай, а то вон коридорный сердится. Только не опаздывай в субботу!» — и, вытолкнув, в мгновенье ока закрылась на крючок.

Лишь теперь Саша Грацианский полностью ощутил оплеуху Чандвецкого, нанесенную рукой в перчатке и с оттяжкой. Значит, памятный ужин у Постного и был началом беспримерной бесовской потехи, травли зайца, игры с юнцом. Значит, Эмма не случайно попалась ему на улице с коньками два месяца спустя, а, верно, с утра взад-вперед фланировала по Сергиевской, проклиная свое сучье подневольное житье: ее бы не лососинами, ей бы стакан горлодера тогда!.. Значит, он не поскупился, этот цезарь из охранки, чтоб вывернуть наизнанку молодого барича, сразить наповал, но без порчи здоровья и одежды. И, если только не было ядовитым воспареньем петербургского болота, значит, все там было взято напрокат — особняк, мавританское паникадило, Паппагайло с его индийским

изумрудом. Можно было допустить с отчаяния, что и Столыпина-то они ухлопали лишь затем, чтоб придать в глазах жертвы правдоподобность своей злой забаве.

Весенний дождь хлестал на улице. Саша Грацианский до вечера бродил по городу, а когда утомился, то, мокрый до нитки, поехал поплакать в коленях у Наташи Золотинской, видевшей однажды, как он выходил с Эммой из меблирашек.

Здесь и закончить бы этот никогда не раскрытый эпизод, если бы главный-то удар не поджидал Сашу Грацианского впереди. Через неделю по возвращении из Аббации полковник Чандвецкий прислал ему официальную повестку с вызовом к себе, на Гороховую. Когда, почтительно втянув голову в плечи, молодой человек вошел в служебный кабинет, там, кроме хозяина, находился и Гиганов. Шпик приоделся ради такого случая и, сидя в кресле, с томным видом листал синий журнальчик, причем все приглаживал отлакированный, с начесом на лоб, пробор, после чего украдкой нюхал ладонь.

Оба они не поднялись с места при появлении Саши Грацианского.

«Я обеспокоил вас, господин Грацианский, чтоб поблагодарить за помощь в известном вам деле,— не приглашая сесть, начал полковник.— Ваш Валерий оказался довольно высокого полета птицей, и, поразмыслив на досуге, мы тут с Гигановым приняли ваш поступок как доказательство раскаяния. Нет, нет...— вскользь успокоил он, заметив плачевное состояние молодого человека,— я вовсе не собираюсь оформлять наши отношения. Возьмите-ка воды...»

Это было не беспокойство за сашино самочувствие, а просто полицейская вежливость: он-то хорошо знал степень жизнелюбия у этого холеного, слегка пошатнувшегося барича.

«Ничего, благодарю вас»,— кивнул Саша Грацианский, одной рукой держась за край стола, а другой вытирая увлажнившийся лоб.

«Повторяю, я не собираюсь уточнять создавшиеся между нами отношения, но, разумеется, наши пимены занесут в свои свитки вашу услугу. Это послужит лучшей рекомендацией для вашей будущей карьеры и предостережет от легкомысленных политических увлечений. И вы понимаете, конечно, какие неприятности могут постигнуть

вас, если при дурном повороте отечественной истории эти летописи станут достоянием наших врагов?.. Пардон, вы желаете что-то сказать?»

«Я просил бы вас, полковник...» — рыдая всухую, начал Саша Грацианский.

«Надо называть меня господин полковник»,— без нажима поправил Чандвецкий.

«Я хотел просить... не найдете ли вы возможным, господин полковник, дать распоряжение о моем аресте... хотя бы на месяц-другой?»

«О, это лишнее! — посмеялся тот.— Никто не будет знать про состоявшийся сегодня разговор... только я, вы да вот Гиганов... но это могильного молчания деятель. Повторяю, он далеко не философ... однако мне очень хотелось бы, чтобы вы... если не семьями подружились, то хотя бы нашли почву для примиренья. Ну же, по-христиански забудьте прошлое и протяните ему руку, Гиганов!»

В этом месте Гиганов жеманно пожмурился от непоказанного в его профессии, но до щекотки приятного чувства собственного достоинства. По его мнению, начальник даже слишком расщедрился, хотя и на чужой счет. Ему было бы вполне достаточно, если бы сердитый барчук просто подарил ему рублей сорок за поношение.

...На улицу Саша Грацианский вышел покачиваясь, словно его напоили навечно мертвой водой. Он, может, и застрелился бы, непременно и даже в тот вечер застрелился бы, если бы только не боялся нанести своей матери такую жестокую боль. Кстати, приключение с Эммой надолго отбило у него охоту иметь дело с женщинами. Целый год затем он ходил с подлым ощущеньем, будто сидит в кармане брюк у Чандвецкого, что было несколько погаже равелина в Петропавловской крепости. Среди ночи вскакивал Саша с постели — в паническом предчувствии, что вытянут за воротник и скажут: ну, хватит груши околачивать, молодой человек, пора приниматься и за работу. Однако продолженья так и не последовало... С годами сквозь душевное оцепененье стала пробиваться робкая надежда, что о нем забыли: в конце концов он был только мальчишка, вполне заслуживший, чтоб его малость, с небольшой кровью, посекли по заслугам.

«О, боже мой!..» — сам себе говорил он иногда, разглядывая свою ладонь, помнившую гигановское рукопожатье,

и заводил Серенаду Брага, и ронял романтичную слезу, вызывая неизменное участие вертодоксов и друзей.

...После революции, в период усиленных исторических занятий в архивах, Александру Яковлевичу удалось немножко обезопасить себя от нежелательных документов, а непосредственные свидетели его грехопадения по разным причинам не дожили до зимы сорок первого года. Уж он опять стал влюбляться в жизнь, когда знаток тихоокеанских эвкалиптов привез ему посмертный привет от Чандвецкого.

Следует предположить в объяснение сказанного, что к старости беглый жандарм крайне бедствовал за границей. И когда все было продано: личные сувениры августейших особ, ценности покойной жены, кое-что из носильного платья,— он вспомнил изящный грешок Саши Грацианского и, как старые штаны, снес его в одно из тех заведений, где покупают ржавые пружины скандалов, ключи от секретных сундуков, обломки душ и прочую житейскую ветошь, годную после перелицовки для вторичного применения.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

1

Потомкам с их орлиной высоты еще виднее будет подвиг советских народов в битве за великий город. Исход ее не означал пока выигрыша кампании — предстояло шаг за шагом отбивать наиболее населенные и экономически важные области Советской страны с третью всей промышленности и почти половиной посевных площадей. Еще не сломленная завоевательская ярость перекинулась к югу, в глубинный охват столицы, наперерез хлебу и нефти. Из пороховой дымки на нас надвигались два самых крупных зарева — Сталинграда и Курской дуги, но именно декабрьские события под Москвой и одновременный удар по стратегическим сочленениям врага на северо-западе вернули всем простым людям на земле надежду, помраченную в первые месяцы войны. К весне 1942-го значительно повеселело на Москве, хотя попрежнему рвались к ней

вражеские эскадрильи с запоздалой местью за военные разочарованья, но уже мало кто прятался в подвалах, предпочитая из затемненного окна поглядывать на далекие вспышки заградительных огней и с терпеливой скукой ждать отбоя.

Теперь, когда была пробита первая брешь в боевом духе врага, открытие второго фронта в Европе могло значительно ускорить разгром фашизма и сберечь не один мильон солдатских жизней. Однако священные, казалось бы, обязательства тогдашних наших союзников не были выполнены ни в том году, ни в следующие три — по соображениям дальнего прицела. Жители Москвы с горечью узнавали в этом промедлении хитрость того, третьего из латинской поговорки,— радующегося при виде истекающих кровью противников, который вместе с черными птицами приходит к концу на поле битвы. Из 256 своих дивизий, имевшихся в распоряжении германского фашизма, 179 находилось на Восточном фронте, сверх еще 50, сколоченных по вассальным захолустьям. Все бремя поединка легло на плечи советского народа, и оттого, что никогда не забывается поведение друга в бою, Вихровы также навсегда запомнили, как три года подряд гадали они с соседями о варьянтах второго фронта... и все искали в утренних газетах вестей о высадке англо-саксонских армий на континент, и девятьсот раз подряд была обманута их вера в солдатскую дружбу... пока в девятьсот первый, при наступленьи немцев в Арденнах, москвичи сами с улыбкой не прочли телеграфной просьбы своих союзников о помощи.

Все чаще в ту весну, отложив в сторонку перо, Иван Матвеич оборачивался к карте Европы, висевшей у него за спиной; казалось кощунственным писать в такую пору о весе сухой хвои на га столетних насаждений. Вспоминая себя самого в четырнадцатом году, Иван Матвеич думал тогда не о свирепых сражениях наступавшей весны, а о самом повседневном на войне — о размякших фронтовых дорогах, о своих учениках, что́ в мокрых шинелях, такие нужные для жизни и русского леса, шагали сейчас в моросящую даль. И хотя по роду оружия представлялось маловероятным встретить их там, где-то в заднем ряду узнавал он Сережу и Полю, шел и молча беседовал с милыми свои́ми.

Снова рассеянным взором обегал он на карте атлантическое побережье, как будто рассчитывал застать на ней заокеанскую армаду или черный дым артиллерийского наступления, но было пусто там: только ожившая муха переползала от одной гавани к другой, греясь в косом солнечном луче.

— Что слыхать... в сводке-то? — всякий раз спрашивала Таиска, накрывая на стол.

— Все хорошо, сестра... не сегодня-завтра наши Лошкарев назад отберут. Тут-то и мы тронемся по их следу,— зачарованно отвечал Иван Матвеич, не отрываясь от карты.

В громадном алом пространстве отечества он находил голубую жилку Енги́ и по еле заметной излучинке на ней безошибочно угадывал отсутствующую точку Красновершья... Выросший на природе, Иван Матвеич с особой остротой ощущал непрочность городского бытия, особенно в годы великих потрясений; чем старше становился, тем с большей приязнью вспоминал он простую телегу, топор, прокопченный казанок над очагом, и тогда сам стремился по возможности сократить число потребностей и вещей в своем обиходе. Деревушка детства на енежском косогоре мнилась ему прочнее всех цитаделей на свете... Отсюда Иван Матвеич и отправлялся в мысленную прогулку на свои заповедные Пустоша́ и, как ни старался замедлить шаг, разглядывая подробности, за полчаса добирался до Шиханова Яма; значит, начинал забывать родные места.

Понимая это усилившееся влеченье к местам детства как верную примету надвигающейся старости, он всю зиму колебался в принятом решеньи. Окончательным толчком послужил один горький разговор с человеком, которого считал ближайшим наследником своих лесных идей. Будучи в Москве по служебным делам, Осьминов навестил своего учителя в самом конце апреля. Они высидели наедине длинный русский часок, причем Иван Матвеич с нетерпеньем расспрашивал друга о фронтовых новостях и старательно засматривал ему в глаза, силясь прочесть в них потаенные солдатские думки. Он был так благодарен Осьминову за посещенье, что на вопрос об очередных замыслах не скрыл от него планов окончательного переселенья на Енгу́.

Однако, чтобы поослабить впечатление, он сделал это как бы мельком.

— Приезжайте к нам в гости после войны: глядишь, и более важными свершеньями похвастаюсь, на глухарей свожу, шанежками угощу с морошкой,— заключил Иван Матвеич незначащим тоном.— У моей Таисии это лихо получалось в прежние годы.

Признаньем своим он хотел подчеркнуть свое доверие, какого не оказал и Валерию в последней встрече, но вместо ожидаемого отклика и прямой поддержки неприятная жесткость появилась в лице и голосе Осьминова.

— И давненько при таких мыслях состоите, Иван Матвеич?

— Собственно, это — стариннейшее мое намеренье: соскучился по лесу. Но сперва дописывал очередные, оказавшиеся бесполезными сочинения, а потом... все ждал, когда наши войска снова окажутся за Енго́й. Так что крайне вы меня порадовали своими вестями... таким образом!

— И вы решили, что удобней всего совершить этот акт бегства под шумок войны? Уйти, вполне корректно и без суматохи прикрыв за собой дверь?

Иван Матвеич нахмурился, как если бы его упрекали в несвоевременном стариковском кокетстве.

— Вам нельзя отказать в известной прозорливости, дорогой Осьминов. Да, мне не хотелось бы своим отъездом возбуждать толки, нежелательные для нашего общего дела. Кроме того, еще перед войной во всех областях нашей жизни замечалась благородная тяга от канцелярских гроссбухов к живому, кипучему делу. Мне тоже надоело крутиться на холостом ходу... Война поразорила мои Пустоша́; буду лечить, займусь подсадкой новых... Во всяком случае, хлеб свой я оправдаю, и, помяните мое слово, еще что-нибудь похвальное, не только брань в газетке обо мне прочтете.

— Считаете, что великая битва за русский лес закончена?

— Нет, но... выросла отличная лесная молодежь, вы в том числе. И если только не отрекутся, как другие отрекались в свое время от Морозова и Тулякова, то главное еще впереди. Слаб и податлив человек на легкий хлеб с изюмцем: общеизвестный Чередилов — тому примером...

Не слыхали, кстати, где он сейчас ковыряет свой изюм?

По его орнаментальному значению вопрос этот можно было оставить без ответа.

— Вот именно по праву вашего верного ученика я и должен сказать со всею прямотой, Иван Матвеич, что у нас, на фронте, довольно сурово взглянули бы на подобное вашему бегство.

— Неправда! — вспылил Иван Матвеич.— Лес для меня не профессия, а призванье: от души никуда не сбежишь. Дали бы мне вторую жизнь, я повторил бы ее в том же духе. Я вполне лесной, угрюмый, непритязательный человек... без излишней склонности к изюму. Подобно отцу моему, я послан был лесным ходатаем... И вот уже тепленьким местом обзавелся, а сделать ничего для леса не успел, кроме груд исписанной бумаги. Так что разрешите же мне, Осьминов, соразмерить остатки сил моих и времени.

Осьминов засмеялся:

— Слушайте, дорогой вы мой учитель... вы могли уехать и втайне от меня, и какая сила на свете могла бы удержать вас от покупки железнодорожного билета? Но вы затем и затеяли этот разговор, чтобы выслушать мое сужденье... так?

— Приглашенье к разговору не означает заблаговременного согласия с вашими доводами,— заворчал Иван Матвеич.

— Однако позвольте же мне высказать их... Я тоже отвергаю разрушительное американское лесохозяйство, без возврата на разоренные места. Вырубив кое-где догола свои территориальные леса, они уже вторглись с топорами в Канаду, которая когда-нибудь изведает, почем фунт лиха! Мне всегда нравились ваши мысли о создании вполне современных лесокомбинатов с постоянной сырьевой базой и без утечки ни в полграмма органического вещества вместо нынешних леспромхозов, занятых заготовкой кругляка. Я даже согласен с вами, что повышение интенсивности и доходности северного лесохозяйства скорее продвинет цитрусовые на север, чем долговечное и сомнительное перевоспитание их для полуарктических условий. Словом, я безоговорочно принимаю ваш давний тезис о праве северных русских ребяток на рождественский мандарин...

— Я крайне признателен вам за снисхождение к моей надоедливой старческой воркотне,— иронически вставил Иван Матвеич.— Мне действительно казалось не вполне справедливым приравнивать жатву столетнего леса к сбору хлопка, выращенного за один сезон. Я всего лишь экономического гражданства для леса требовал и протестовал против систематических лесных растрат, Осьминов... Эх, нам бы на лесосеке наш спор вести! Мы режем лес, усиленно сокращая срок оборота, и все, что тоньше трех вершков в отрубе или иной породы, остается на месте, становясь добычей ветровала, короеда и огня. Зря, значит, растили их солнышко да мать-сыра земля. Вот у себя на Пустошáх я и попытаюсь применить на практике мои чрезмерные и опасные симпатии к русскому лесу.

Вместе с тем Иван Матвеич чувствовал перемену в настроении гостя, и это тревожило его.

— Мы, ваши ученики, и полюбили вас такого, колючего и нетерпеливого... и мы всегда верили, что мечта ваша осуществится в свое время.

— К той поре, когда тундра сомкнется со степью?

— Надеюсь, что раньше... но вы же сами учили нас, что все на свете, лес в том числе, является лишь инструментом человеческого счастья. Будет хорошо человеку, и все заулыбается кругом. Будет ему худо, и тогда... Да вы у солдат спросите, что случается с природой, когда человеку не по себе. Значит, ничто на свете не смеет отказываться от участия в человеческом прогрессе и нести соответственные тяготы борьбы. Брешь пробита, и теперь всё — таланты, лес и недра — всё туда, в пролом: таков закон всех великих наступлений. Самое главное тут в логике и последовательности социальных и хозяйственных преобразований... И вы сами понимаете, чтó было бы, если бы лес мы поставили первее прочего на повестку эпохи. Так политика для настоящего ученого неминуемо становится верхним этажом его науки... Лишь овладев всем, освобожденное человечество наверстает упущенное не по его вине... и в гораздо меньший срок, чем ему потребуется на окончательное излечение от самого жестокого недуга, пожирающего его молодость, творческие силы, самую его веру в жизнь.

— Так что, скажем, ежели бы вам пришлось заново зажигать факел оного человеческого прогресса на голой и стерильно-чистой планете...— едко вставил Иван Матвеич.

— Нет, нет, я не говорил этого,— с ответным холодком посмеялся Осьминов.— Но я сказал бы словами Архимеда: снимите с человечества оковы, и оно любую... я сказал — *любую* пустыню через короткое, сравнительно, время превратит в цветущий сад.

— Мне кажется, вы рано перебираетесь в верхний этаж науки, не поработав как следует в нижнем,— холодно, непонятно и грустно сказал Иван Матвеич.— Что же, вы очень выросли... пожалуй, даже до полной неузнаваемости выросли за последнее время, Осьминов... таким образом.

— Солдат много ходит, много видит... так сказать, круглосуточно пополняет свое образование — оттого.

Дело шло к разрыву, самая ничтожная уступка означала бы для каждого отказ от своих убеждений. И тут Иван Матвеич явственно, как бы в обратную сторону бинокля, увидел один неуютный дом в Петербурге, своего собственного учителя в смешной старомодной шубе у промерзлого окна и тогдашнего себя — молодого, подающего старику советы грандиозной морально-этической ценности. И вдруг Ивану Матвеичу до щекотки любопытно стало, повторит ли ему Осьминов те мудрейшие советы, что́ сам он однажды дарил Тулякову.

— Насколько я понял, вы не досказали чего-то главного...— натолкнул он легонько.

— Да,— сразу поддался Осьминов.— Вы ждали моего одобрения, но, нет, я не могу одобрить вашего бегства с поля боя, Иван Матвеич. С другой стороны, все эти пятилетки вы работали без отпусков и выходных дней, а это тоже нехорошо. Мыслители нередко делаются пленниками своих кабинетных созданий и тогда пуще всего страшатся, чтобы кто-нибудь, особливо жизнь, не потоптал их чертежей. Даже у Архимеда они были начертаны на песке... Так вот, почему бы вам, Иван Матвеич, не прогуляться по нашей Советской державе без вещей, налегке... проветриться, поглядеть и, говоря высоким слогом, этак побродить странничком по местам детства? Такое прикосновенье к родине неизменно будит свежие мысли.

Иван Матвеич выслушал своего входящего в силу ученика со спокойной и мужественной улыбкой, только, правду сказать, ему всегда казалось, что в этот неизбежный, завершающий цикл развития он вступит несколько позднее. Во всяком случае, он щедро заплатил бы судьбе

за право присутствовать при подобном разговоре Осьминова с таким же дерзким и неуступчивым незнакомцем, сидящим пока за школьной партой.

— Спасибо за подаренное мне время, дорогой Осьминов, я непременно воспользуюсь вашим советом,— сказал Иван Матвеич и с такой горячей благодарностью пожал ему руку на прощанье, что обоим сразу стало неожиданно просто и хорошо.

В прихожей Осьминов снова, по другому поводу, вернулся к затронутой теме:

— Совсем забыл сообщить... при некоторых фронтовых обстоятельствах мне довелось познакомиться с вашей дочкой. Можете гордиться ею, Иван Матвеич: отличное существо, чистое и отважное. Нет у вас охоты воспользоваться ее приездом и посоветоваться насчет своих намерений... с представителем, так сказать, семейной общественности?

Отвечая на многочисленные вопросы Вихровых, он сообщил, что в Москву Поля приехала днем раньше, попутно рассказал о состоявшемся награжденьи Поли орденом и прибавил, что ему якобы неизвестна цель полиной командировки. И так как теперь не было у дочки причин обходить сторонкой отчий дом, Иван Матвеич вызвался проводить Осьминова до метро, в надежде встретить Полю в дороге.

2

Очень волнуясь, он не меньше часа протоптался у спуска в метро и даже составил примерную речь к потомку, где подводил итоги прошлому, осмысливал настоящее и заглядывал за порог будущего. К сумеркам трудней стало всматриваться в лица прохожих, Иван Матвеич отправился домой и носом к носу столкнулся с сестрой: ей тоже не сиделось дома. Авральная апрельская суматоха происходила в тот вечер на окраине: потоки шумели под ногами, ветер пыхтел, раскутывая землю, и надсадно над голой институтской рощей кричали грачи, устраиваясь на новосельях. Из опасенья разойтись по такой погоде старики прибавили шагу и действительно в самом конце улицы догнали девушку в новом военном тулупчике; она шла, опираясь на палку.

Здесь же Поле пришлось принять первые поздравленья, объятья и упреки.

— Нас, таким образом, крайне тронули твои обстоятельные, хотя и немногочисленные письма, таким образом. В особенности спасибо тебе за сведения о Сереже...— Лишь неудобство места помешало Ивану Матвеичу произнести заготовленную речь.— И крайне примечательно, что, молодые люди своего времени, вы породнились между собой на поле боя, таким образом.

— Мы с ним лежали в одном медсанбате, но сам он не мог пока писать. Теперь ему лучше, выздоравливает... Да чего ты убиваешься, тетя Таиса? Кабы еще руку начисто отмахнули или контузили меня, как его, а то ведь целехонька,— говорила Поля старухе, безмолвно уткнувшейся в ее плечо.

— Однако хромаешь,— сказал Иван Матвеич.

— Ну, это просто наследственность. Как-никак, я ведь дочка твоя,— отшутилась Поля.

Так они и в квартиру поднимались, держась друг за дружку, и вот где пригодились остатки валериева винца. На радостях Таиска кликнула соседок, помнивших Полю ребенком: пускай весь мир пригубит по чарочке за ее храбрую племянницу... Поля еле успевала отвечать, и первый вопрос был, много ли денечков на этот раз отвалит старикам от своих солдатских щедрот. Нет, в свою часть, на Енгу́, Поля собиралась уже послезавтра. Таиска тотчас предложила ей погостить недельку, чтобы вместе ехать с отцом: вдвоем-то, дескать, и с билетами управляться полегче, и вещи есть кому посторожить. Поля поблагодарила тетку беглым прикосновеньем к ее заискивающей руке; к сожалению, у таискиной племянницы имелись кое-какие дела даже на этот вечер, не говоря уже о дальнейших... и все почтительно замолкли при намеке на секретнейшие планы, которых и отцу доверить нельзя.

Если не считать, что осунулась да чуть вытянулась, внешне Поля выглядела по-старому, но что-то незнакомое, волевое просвечивало теперь в ее внимательной приглядке, в терпеньи, с каким принимала ласку стариков, в молчаливой привычке время от времени проводить рукой по глазам, словно пыталась избавиться от неотвязного воспоминанья, в усталой складке возле рта, наконец. Вся в беспрестанном движеньи, Таиска то придвигала скудное,

военного времени угощенье, то поправляла звездочку-обновку над правым кармашком гимнастерки — никак не могла освоиться с непривычным ощущеньем полиной зрелости и, пожалуй, того прямого превосходства, что больше всего поражает близких в пронзительно ясных, как бы нацеленных глазах фронтовика.

— Сколько я уловил из твоего письма и от Осьминова, ты все время в госпитале работала? — деловито допытывался Иван Матвеич.

— И в госпитале.

— Значит, приходилось вытаскивать раненых с поля боя, если и тебя задело?

— О, пустяки, просто поцарапала коленку... доктора сказали, что в полгода это бесследно пройдет. Я думаю, что Сережу ты еще застанешь у мамы, если у тебя будет желание заглянуть к ней. Кстати, чуть не забыла карточку ее тебе вернуть... помялась немножко, извини! Зато очень выручила меня однажды...

— Так уж держала бы у себя: война еще не кончилась!

— О, я себе другую достала... а то как-то неуютно без нее на твоем столе,— и, лукаво улыбнувшись, проворно вставила фотографию в пустовавшую рамку.

Как и Таиска, Иван Матвеич покорно принял полин намек за несомненное доказательство ее осведомленности и старшинства.

— Ты видела маму? — спросил он, разглядывая недопитый глоток на дне стакана.

— Да... — неделю назад она была вполне здорова, у нее много работы, ей хорошо.— Поля рассказала также, что после почти полугодовой работы в отряде Елена Ивановна вернулась в свою больницу; одно время, по дороге на запад, в Пашутине помещался медсанбат, где они и лежали у ней втроем.

— Кто же это промеж вас третий-то был? — робко поинтересовалась Таиска и опять несмелой рукой поправила полину звездочку.

— Так, один мой старинный товарищ по школе, Родион. Его тоже ранили в первый же день наступления. Спасибо маме, выходила... ведь он в пехоте был! — И вот незнакомое старикам ожесточенье родилось в ее голосе: — Но, кажется, ничего не жаль, лишь бы отделаться от всякой дряни... чтобы хоть дети наши в чистый дом вошли.

По интонации скрытой боли и гордости за неизвестного солдата Родиона легко было догадаться о характере ее привязанности... да и пускай бы уж вили свое гнездышко, лишь бы в голубином согласии прожили отпущенный им век. Однако упоминание о детях встревожило Таиску.

— Какие ж у тебя дети, Поленька? — спросила она поласковей, чтоб не обидеть.— Сама еще былиночка, того гляди, ветер сломит.

— Я и не говорила — мои. Я сказала — наши.

Поля произнесла это звонким и чистым голосом, удивленная в своей чистоте подозрительностью старухи, и что-то засветилось в ее взгляде, чего нельзя выдержать не мигая. Стало ясно, что если она еще вчера всем до последнего лоскутка была обязана старшим, теперь сами они целиком зависели от ее мужества и успехов.

Искоса она взглянула на часы и поднялась.

— Теперь, извините, мне придется ненадолго уйти по одному неотложному дельцу. Но я вернусь до ночи... на свое старое место! — и с улыбкой оглянулась на смежную комнату, с гитарой над сережиной кроватью.— Все забываю спросить: кто это музыкой занимается у вас?

— Это я в годы пашутинского одиночества моего грешил...— сказал Иван Матвеич с новой тревогой в голосе.— Тоже по служебному идешь, по делу-то?

Она замялась:

— Да не совсем, папа... нужно должок один занести. Я туда уж заходила давеча, но не застала. Ничего, я одним духом на метро скатаю... и чаю не успеете напиться!

— У чужих-то и взаймы берешь, а своих и минуткой лишней не подаришь: все в бегах да в бегах,— попрекнула Таиска.— И завтра будет день!

— Это такой должок, тетя Таиса, что никак отложить нельзя. А то еще растрачусь на войне... платить станет нечем.

Длинное сиротливое молчание наступило после ее ухода.

— Вот и покончилось ихнее детство,— вздохнула одна из соседок, тоже мать четырех солдат на самых грозных участках фронта, вздохнула и прибавила в том смысле, что вот подросли детушки и подключаются к исполнению служебных обязанностей, высоких служебных обязанностей человека на земле.

3

Ввиду того, что полин должок был не денежного свойства, у нее хватило бы физических возможностей отдать его и раньше, начиная с сентября, сразу после лекции в Лесохозяйственном институте, но в ту пору она, по ее искреннему убеждению, еще не обладала если не юридическим, то моральным правом на осуществленье своего порыва. С этим настроением почти год назад она приехала в Москву, и, правду сказать, лишь отсутствие отца при первом полином визите избавило ее от ужасной и непоправимой ошибки. Все это время Поля вела как бы следствие по вихровскому делу, затянувшееся из-за переменной удачи, но с каждым днем он возрастал, грустный полин должок, а в последние месяцы даже начал омрачать ее существованье. Знакомство с Сережей и через него с догадками Морщихина помогло Поле разобраться в истории лесной распри, так что к весне сорок второго года в полином сердце сосредоточился весь обвинительный материал об Александре Яковлевиче Грацианском, лишь в отдельных фрагментах известный кое-кому из его современников.

К этому следует прибавить ее собственные детские слезы о своей социальной неполноценности, ее многолетнюю унизительную зависть к сверстникам, чьи отцы — летчики, строители, полководцы — оставили по себе огненный, без помарок росчерк в истории своей страны, и, наконец, постоянное сознание своей бесчестности, потому что таилась даже от Родиона. Словом, это был такой должок, что вряд ли можно было оплатить его в один прием... и самое занятное заключалось в том, что для расплаты в сентябре стоило только спуститься семью этажами по лестнице, но потребовался громадный окольный путь, через сугробы и смертельные опасности, чтобы однажды вечерком притти на то же место в Благовещенский тупичок и пальчиком постучаться в дверь с красивой медной дощечкой.

Маленькое, ладонью прикрыть, личико старушки выглянуло в щель.

— А, это вы,— сказала мать Александра Яковлевича, опознав утреннюю гостью, и впустила ее, но вслед за тем что-то заставило старуху насторожиться, может быть, белый новый полушубок, сближавший эту девушку с Морщихиным.— Да, профессор вернулся с важного заседанья, но

прилег отдохнуть. И вообще вам лучше было бы созвониться с ним по телефону или передать через меня.

— К несчастью, это очень такое *личное* дело,— упорствовала Поля.— И я его не утомлю... мне ненадолго, так что я и раздеваться не стану.

Старуха все оглядывалась назад: что-то варилось у ней на плите, лилось через край, и вот уж горелый чад валил из кухни в коридор. Растерянно вытягивала Поля нитку за ниткой из дырявой перчатки, как вдруг дверь раскрылась, и сам Александр Яковлевич сперва одним глазом выглянул из своей засады, лишь бы избавиться от постоянного теперь, при каждом шорохе в прихожей, расслабляющего ожидания несчастий.

— Я действительно немного простужен, но, э... кто это там? — и вскоре показался весь, придерживая на горле поднятый ворот венгерки.— Позвольте, дитя мое, откуда же мне так знакомо ваше юное, привлекательное лицо?

— Я до военной службы жила в этом доме, у подружки... там, наверху,— и взглядом показала в потолок.— Мы с вами в бомбоубежище встречались, в самом начале войны... Забыли?

Несмотря на армейский беретик, чуть набекрень, и такой же, перетянутый ремешком несколько великоватый ей полушубок, было что-то бесконечно домашнее, успокоительное в облике девочки, просительно стоявшей у порога.

— А-а... боже мой! — великодушно вспомнил Александр Яковлевич, и в звуке этом выразилось его животное ликованье по поводу выскользнувшей было из рук и вновь возвращенной жизни.— Так снимайте же вашу суровую овчину, дорогая... Я всегда готов посильно служить нашей чуткой, отзывчивой, передовой молодежи,— продолжал он, радуясь еще не отнятому у него дару речи, радуясь смраду горелого сала, разлитому в воздухе, радуясь и даруя жизнь пролетевшей мимо молевой бабочке, за которой машинально потянулись было руки, радуясь по отдельности каждой дольке той чудесно-продолжительной минуты, пока Поля раздевалась.— И, поверьте, дитя мое, в этом утешительном сознаньи своей скромной полезности заключается, э... единственная услада бедного, с расшатанным здоровьем старика, уже неспособного принять непосредственное участие в гигантской схватке, э... двух антагонистических миров!

— Ну что вы... я бы не назвала ваше здоровье расшатанным, скорее наоборот! — говорила Поля, тоже вся ликуя, правда, несколько по иному поводу, и тугой походкой входя за хозяином в предупредительно распахнутую дверь.

Она огляделась, и все до кончиков пальцев похолодело в ней: это был тот самый кабинет, еще в Пашутине придуманный ею для отца,— с окнами в гобеленовых рамах занавесей, с чем-то вкрадчивым и мягким на полу, без единой подробности, напоминавшей о профессии его владельца, зато с уймой музейных безделиц, созданных вдохновением нищих на потеху разочарованных. Стопка чистой бумаги лежала посреди стола под охраной бронзового зверя на чернильнице, и сквозь хрусталь, налитая наполовину, просвечивала тусклая жидкость цвета лжи и такого неимоверного сгущенья, что капли ее хватило бы очернить любое на земле.

— О, нет, нет, я не хочу ни лести, ни жалости, даже если бы они исходили из самых нежных уст на свете,— кокетливо продолжал между тем Александр Яковлевич, обеими ладонями защищаясь от возражений, которых не было.— Нет, добрая фея моя... повелители материи, мы целиком находимся в ее власти и лишь ужасной ценой, э... и кто знает —, куда нам удается вырваться под конец из ее орбиты! Но хотя даже мудрецу свойственно надеяться, что природа сделает для него исключение, я благословляю эту жестокую правду, заключенную, э... в листопаде, в таяньи снега, в допитом до донышка стакане, чорт возьми! Значит, у природы много вина и мало посуды: пусть заново в нее нальет другой...— А в переводе на человеческий язык это означало лишь: «Господи, как хорошо в твоем хозяйстве даже в этот знобящий весенний вечерок, даже в ожиданьи очередной бомбежки... даже если камнем всю вечность в пустыне пролежать, лишь бы глядеть вот на эту, мелькнувшую в просвете шторки голубую звезду!»

Полей овладевало тягостное чувство плена, словно ее замуровали наполовину, и все тело затекло, и уж дышать нечем, а он все обкладывал ее чем-то вроде брикетов из стеклянной ваты, применяемой для заполнения строительных пустот.

— Однакоже какая неотложная нужда привела вас ко мне, дорогая? — услышала она, наконец, и, может быть,

это означало, что теперь, насладясь ее подавленным молчанием, он разрешал девочке произнести хвалу его великодушию и покинуть святилище.

— Хорошо, я сейчас... я сейчас все, все скажу. Я Поля Вихрова, мне восемнадцать лет...— заученно произнесла она, собираясь с силами, и вдруг подняла голову.

Она увидела перед собой осунувшееся, складками вниз, как при смертельном недуге, лицо с холодными, предельного беспощадства глазами в нем... совсем как у того, кто кружил над нею в ночи московских налетов и однажды в чистом поле расстрелял старика Афанасьева вместо нее, и кто вел ее за руку к немецкой землянке в Шихановом Яму и — который позже выпытывал у ней в допросе какие-то сокровенные тайности о восточном пространстве. Теперь она глядела на Грацианского, не отрываясь, чтобы не ускользнул, потому что вдруг как бы мелкая неизъяснимая колдовская рябь стала застилать его от нее.

— Я Поля Вихрова, мне восемнадцать лет...— повторила она, приближаясь.— Вот, мне в книжке одной попалось: бывают вши такие на моржах, которые и на суше едят их и под водой... и чем быстрей он движется, безрукий и могучий, тем прочней они держатся на его коже...

Но, значит, и Грацианский узнал в ней свой призрак, мучивший его наяву и в сновиденьях,— по этим гневно взведенным бровям, по гадливо опустившимся углам рта, по чуть печальному речевому складу, каким обычно произносится приговор. Собственно ничего не было в руках у Поли, так что, кроме чисто поверхностной неприятности, ничто не грозило ему, но, вцепясь в локотники, он стал сдвигаться от нее вместе с креслом на тот десяток сантиметров, что отделял его от стены.

— Опомнитесь, я старик,— проронил он каким-то пересохшим голосом.

Она улыбнулась, не спуская глаз.

— Ничего, это уравнивает наши силы.

И оттого ли, что все равно ей не дотянуться было до него или вспомнила милицейские запреты поступков такого рода, но только в последнюю минуту она переменила свое решение. Чернильницу нашарила рука, и, прежде чем тот успел закрыться вглухую, Поля в упор выплеснула ее Александру Яковлевичу в лицо.

— Боже мой...— только и сказал Александр Яковлевич.

— Это пока задаток... и вот, молитесь хорошенько, чтоб я не воротилась с фронта,— очень тихо посоветовала Поля и назвала номер своей полевой почты на случай, если бы тому захотелось жаловаться на нее.

Теперь ей оставалось поправить сбившийся беретик и, уходя, поплотнее притворить за собою дверь. Безумный, точечный зрачок следил за Полей сквозь черные, залитые пальцы. Так начался конец Грацианского; конечно, то еще не смерть была, но все существо его как бы раздвоилось, и одна, уже покинувшая его половинка души как бы спрашивала другую: скоро ты там?

Старая хозяйка застала Полю в прихожей, когда та затягивала поясной ремешок на полушубке.

— Вот и хорошо... Я как раз спешила предупредить вас, милочка, чтобы вы не слишком утомляли Александра Яковлевича: у него так плохо с гемоглобином, что...

— О, мы уже кончили,— сказала Поля и посмотрела на свои сапоги.— Немножко наследила у вас... пожалуйста, извините!

— Это высохнет, пустяки. Кажется, сыро сегодня на улице?

— Ну, я думаю, что еще подморозит к ночи...

У нее едва хватило сил выйти наружу. Привалясь к тополю при выходе из Благовещенского тупика, Поля оглянулась на дом, покидаемый навсегда. Обитый маскировочной фанерой, верхний его этаж почти растворился в весенних сумерках. Она вспомнила свой прошлогодний приезд в столицу, добрую Вареньку, свои поломанные мечтанья и впервые поразилась, как быстро свою былинку мчит река. В суматохе даже не заметила, что подступали ее любимые, на переломе зимы, вечера, еще подернутые хрусткой льдинкой, но уже проникнутые знобящим томленьем надежды.

4

Вслед за советскими армиями на Енгу́ хлынуло все успевшее бежать от вражеского нашествия. Из-за усиленных военных перевозок пассажирское сообщение по этой линии производилось с перебоями: кое-где пешком было бы скорей. Своим ходом тащились крестьянские стада, поредевшие от зимних скитаний; тряслось на подводах

исполкомское добро, необходимое для начального устроения; женщины вели ребяток, прикрытых дерюжкой от непогоды, и ветхое, с прозеленью в бородах старичье меряло костылями непролазные грязи, чтоб босыми ногами перед кончиной обойти какой-то там заповедный, непросохший лужок... Как правило, вместо родных деревень, их встречало безмолвие крайнего разоренья. Присаживались у черепков и головешек, доставали из тряпицы хлеб и, смочив сольцой горя, справляли тризну по своей порушенной жизни, как на кладбищах, бывало, в дни родительских поминовений.

Ивану Матвеичу выпало редкое счастье в виде командировочного по лесным делам удостоверения на Енгу́, снабженного клочком картона для проезда от Москвы до самого Красновершья. Он пришел задолго до отхода поезда, ему достался последний краешек скамьи в проходе. Слышно было, как ходили ноги по крыше вагона в поисках пристанища; кроме того, грудной ребенок надсадно всхлипывал в углу, да кто-то богатырского сложения, гремя железной кружкой о походный сундучок, укладывался в ногах у своих более счастливых спутников.

— Ну, пожалуй, и устроился. Эх, чайку бы теперь... и до чего ж, признаться, граждане, пить охота!

— Чего захотел! — откликнулся ему насмешник из душных потемок над головой, единственно для поддержания духа бодрости и дружбы.— Этак ты и совсем, милый человек, разбалуешься. А на чаю раньше-то дома каменные воздвигали.

— О, как так?

Чиркнула спичка, освещая обинтованную, под солдатской ушанкой голову с тяжелым запущенным подбородком и неожиданно-озорные, вопросительные поверх пламени глаза: надо думать, воин в часть к себе возвращался после раненья.

— А вот так. Иные, сказывают, чаю-то не пили, воду одну... так огромаднейшие богатства скапливали!

— На чаю не скопишь...— тоном знатока возразил солдат, и до Ивана Матвеича докатился залп махорочного дымка.— Эй, хозяйка, как младенчика-то кличут? Чего он больно надрывается у тебя...

— Митрюнькой,— сквозь баюканье отозвался женский голос из темноты.— Сладу с ним нету.

— Не трожь, ему тоже домой не терпится. Поддержись, обожаемый Митрюнька: пущай война пройдет! Глянь, в аккурат к самой свадьбе и поспеешь.

Спокойной, безунывной силой человека, владеющего бессчетным количеством времени, повеяло от его шутки, и соседи пристально следили за угольком его цыгарки в ожиданьи очередного балагурства, лучшего лекарства от дорожных невзгод. Но тут началась проверка документов, а вскоре за тем поезд тронулся, и надолго все потонуло в перестуке колес... Ночь выдалась ясная, и никто не спал, не столько от предчувствия налета, скорее от трепетного и радостного беспокойства, естественного при возвращении на родину после разлуки. Иван Матвеич становился теперь частью великой и бессмертной реки; не было надежней защиты от возможных бед, кроме как до последней мысли раствориться в ней без остатка... Когда же уши попривыкли к гулу движенья, он стал различать обрывки разговоров в разных концах вагона на извечные народные темы: о богатстве и нищете, чести и бесчестии, славе и ничтожестве. Оттого ли, что человеческие души легче сплавляются в потемках, или же теснота и дальняя дорога располагали ко взаимному доверию, но только то были наиболее сокровенные народные думы вслух, какие вряд ли подслушаешь при дневном свете. Так, совсем рядом, за спиной, обсуждалось грядущее за победой житье, останутся ли *там* глупцы да бюрократы — казенные сердца! — и прежде всего как обезопаситься при коммунизме от природной жадности людской, чтобы каждый ложку свою в общий котел запускал в очередь, по совести, а не загребал бы вчетверо да прозапас. «Эва, я считал, двадцати верст не проехали, а ты, гражданин, восьмую спичку жжешь, а мне коробки на неделю хватает. Вот и уравняй нас!» На все недоумения отвечал немедля молодой смышленый голос, такой снежно чистый, похожий на ручеек из предгорий коммунизма.

В соседнем же купе, видно как отголосок на упоминанье о неправедных богатствах, передавалась история одного якобы орловского купчины. То был длинный, невольно усыпляющий сказ, как в японскую еще кампанию разжился злодей через подмешивание обыкновенного белгородского мела в солдатский хлеб, так что все кассы и банки в России своими деньжищами заполонил.

— Это действительно случалось на Руси,— подтвердил в темноте не унывающий насмешник.— Дядя мой хлюста одного знавал: сушеный снег в соль подмешивал, такая хитрость! Так, верите ли, о пяти этажах домину сколотил.

— Заткнися, глупая голова,— без обиды оборвали его со стороны.

Однако протекло не меньше минуты, прежде чем рассказчица невозмутимо продолжала свою повесть про то, как обогатился злодей значительным капиталом и как, промежду прочим, зачала его за это в клочья рвать судьба: сынка пьяный казак с ходу шашкой надвое расхлестнул, а дочка родная, на что уж в холе жила, под встречный транспорт кинулась от обманутой любви, отчего вся купецкая домашность в полный разор пришла... и как, ища замиренья с богом да народом, ставил злодей у себя во дворе щедрые странноприимные столы, с непокрытой головой, да все в пояс кланяясь и зазывая к себе мимохожую голь... но будто не приняла земля его покаянья, а как помер от червивой долговременной болезни, то и зачал он гудеть, скажи, ровно поддувало адское открыли, слушать силы нет; а в последнюю ночь внезапно расселась его могила, никакими канатами дна не достать... так и скинули, причем еле хватило оставшегося богатства скверную его ямину засыпать.

— Так-то, милые, зреет яблочко, наливается румянчиком, потом само с ветки долой просится. Я в ту пору совсем алым цветочком была, а вот запомнила...— И хотя все понимали несообразность расписанных старухой подробностей, никто не посмел осмеять ее сказки за крохотную долю заключенной там народной правды.

...Поезд шел с частыми и долгими остановками в пути. В обгон всего на свете военная сталь катилась на запад, оставляя глухоту в ушах и щемящую надежду в сердце; встречных почти и не было. И еще, пока пропускали очередной эшелон, вражеский летчик заскочил на полустанок; в течение не меньше, как трех четвертей часа, показалось всем, пытался он всадить заряд похлеще в вагон, где вновь захныкал проснувшийся Митрюнька и засветилась солдатова цыгарка. Делал это летчик неумело, возможно — всего лишь ученик, и, судя по реву мотора над кровлей, очень сердился на свои промахи, но никто не бежал наружу из боязни утратить место, а каждый терпе-

ливо молчал в ожиданьи, когда обучится, наконец, либо израсходует боеприпасы и усердие.

Одно время, когда разрывы приблизились и стали царапать осколками по обшивке, пассажиры, затаив дыханье, глядели во мрак над собой, словно могли видеть незадачливого асса, который ложился на крыло, пускался на развороты, как бы потягиваясь перед прыжком на добычу, или же забирался в высоту и падал оттуда с наклеву, желая по крайности если не убить, то хоть попугать младенчика свистом новейшей военной техники; вдруг он затих.

— Улетел...— сказал в тишине молодой голос.

— А, может, в моторе заело что али горючее кончилось,— хрустко, словно по снежку промороженному шел, заговорил солдат.— Оно и в работе случается: не заладится, так и гвоздя не вобьешь! А может, и молодой, навыку нет, боевое ученье на нас проходит!

— Вы потише, герои, еще приманите,— сторожко сказал стариковский голос сверху.

— Ничего не страшись, папаша, ничего с тобой не случится, раз я тут. Чего было суждено, то по мне отстреляно; теперь мой черед. Вот, сам пужать *их* еду!

— А не загадывай, не заговоренный. В видении, что ль, тебе открыто было? — послышалось сразу с двух концов.

— Нет, видения мне не было, обошлося, а так обернулось дело...— Больше никто в вагоне не слышал эволюций ночного летчика над головой; кстати, поезд стал крадучись отходить с полустанка.— Летом дело случилось: с Вязьмы нас уже согнали, а до Медыни еще не дошли. Все тогда на свете перепуталось, невесть где свои, где наши. Небеса без облачинки были... и *туда* все эшелоны шли да все птицы черные во множестве на поживу летели, а *оттуда,* глядеть жутко, старушки брели с детками в горьком лесном дыму. Мы как раз из окруженья вышли, семеро, при оружии. Дело прошлое, чего греха таить: где и ползком приходилось для сохранения жизни, не без того.

— А чего ж, под силою страха-то и на брюхе поползешь. Ведь они жуткие, паразиты, ничего по-человечеству не разумеют,— поддержал незнакомый Ивану Матвеичу женский голос, но потому лишь поддержал, что провидел

благоприятную концовку в беспощадной к себе солдатской исповеди.

— А еще по гроб жизни запало мне в душу, как один приезжий, очень такой грамотный товарищ, нас увещевал,— в раздумьи продолжал солдат.— «Вы молодцы,— говорит,— сыночки, очень удачно отступали нонче. Заманывай, мать их так, пускай располагают, будто и нет вас вовсе. Одначе, теперь бы вам денечек-другой в обороне постоять, огрызнуться, а там и шарахнуть по силе возможности».— «Семеро нас,— отвечаем,— из окруженья идем, а в семерых какая сила!» Озлился он тогда: «Эх, видно, невест у вас,— говорит,— всех надо пострелять, раз слезы материнские не действуют». А того не может понять, что мы еще не раскачалися... Ну, обошли мы его сторонкой от греха и опять в путь-дорогу: ведь оно легко идется под горку-то! И, главное, не скажу, чтобы смерти там боязно было или другое что, а просто с жизнью расставаться не тянуло: уж больно охота на коммунизм-то хоть глазком посмотреть... что это за коммунизм такой? Ведь сила-то какая в землю вбита! Да вроде и неохота из-за богатого стола не отобедамши-то вылезать.

— Вот-вот, разбаловались, доверились, подзабыли, в каком окруженьи находимся. Рано пока без запоров-то жить,— вставил для ясности тот, молчавший дотоле, молодой голос.— Вот у Маркса-то и сказано...

— А ты с Марксом погодь, не встревай. Он завсегда при тебе останется, а мне на войну скоро вылезать,— спокойно оборвал солдат.— Этак-то вваливаемся вечерочком после дожжика в одно безлюдное село... покоится оно в туманце, ровно в саване. Все на молчок заперто, и собак не слыхать. Стучимся в крайнюю избу, выходит к нам дедуся на крыльцо... уж на исходе жизни, однако еще бравый такой, без костыля. «Здорово,— говорит,— беженцы. Чего это вы с таким запозданием? — А сам не смеется между тем.— Тут у нас гулять — дело опасное: десант ихний сброшен, человек двадцать пять. Как бы они вас за ухи не оттрепали... За питанием двое даве приходили, так подстрелили девицу одноё... А не верите, так ознакомьтеся: у колодца лежит». И враз дверь перед нами на запор, будто его и не было. Ну, пошли, ознакомились мы... Действительно, лежит на тропочке существо женского полу, годков шестнадцати, самый цвет жизни... ничком лежит и,

заметьте, камень-булыжник в руке дёржит... кинуть не успела! Оборонялась, видать. Постояли мы возле, семеро-то, отдохнули. Тут Федяев, тоже наш, саратовский, говорит: «В лапшу их за это!», и я тоже прибавил, что в лапшу. За ночь-то еще пятеро окруженцев наших подошло, а со светом в лес, на врага отправились... Тут и мне один достался. В упор он обойму в тело мое выпустил, промазал... я тогда и понял, что теперь меня до самой ихней берлоги не убьешь. Да еще, на беду мою, патроны у меня все вышли, пришлось просто так, руками. А, видать, хорош я был, в кровище весь, а он колени мне целует... Вот, говорят, народ мы воинственный, а какое там воинственный, кто ее любит, войну... в том и дело, что мирный мы народ, мирней на свете нет.

— Как же тебе в таком случае голову-то зацепили, неуязвимый? — спросил кто-то издалека, после паузы.

— А то уж моя личная вина, прошибка получилась,— отшутился солдат и стал закуривать.— Не раз меня отец, с японской войны ефрейтор, просвечал: на войне первое дело, говорит, Петруха, как завидишь, летит в тебя пуля али какая покрупнее вещь, то не гордись, а отойди от греха в сторонку. Ан, забыл Петруха родительское наставленьице, вот и провалялся на койке полтора месяца...

На это все тихонько посмеялись кругом, весьма довольные солдатом и его поведением, что болью своей не хвалится и правды от народа не таит.

— Эй, солдат! — сказал потом голос сверху.— Я тут яблочек мороженых домой захватил. Чайку-то тебе хотелось... возьми-ка, пожуй, пожалуй.— И при свете спички с верхней полки протянулась стариковская рука в овчинном обшлаге.

И опять очень это всему народу понравилось, и никто не понял дар старика как плату за доставленное развлеченье. К тому же яблочки его были маленькие, терпкого лесного вкуса, да не в том была их сила... Заодно, расщедрясь, стал старик и других, кто поближе, оделять, причем не посмел отказаться и сам Иван Матвеич. Кто-то с верхней полки остерег старика, что внукам ничего не останется, и тогда другой голос в соседнем купе завел не менее поучительную историю одной можайской якобы солдатки, что́ в самый переполох осеннего отступления неизменно каждый день выходила к беженцам на шоссе с ко-

шелкой печеной картошки... и будто слышали в народе, как сопровождавшая ее малолетняя дочка спросила у матери-солдатки, отчего это, дескать, как ни тратят они свое добро, а в мешках у них не убавляется?.. Путь на том перегоне шит был заново, на живую нитку, старенький вагон раскачивался на ходу и скрипел, грозя развалиться, так что до Ивана Матвеича долетали лишь обрывки забытого русского сказанья, неизменно воскресающего в годы бедствий.

Постепенно он погружался в то целительное забытье, что происходит от ощущения просторного дорожного времени и сытного тепла простонародной жизни. Перед ним открывалась зеленая томительная неизвестность с прямою, как стрела, и пятнистою от солнца просекой. Бесконечно милая его сердцу женщина шла впереди со слегка откинутой рукой, как бы в намерении приласкать попутные елочки, и надо было торопиться, догнать, в последний раз заглянуть в ее лицо, прежде чем скроется в каких-то излишне нарядных на этот раз воротах Пашутинского лесничества.

Когда он проснулся, пассажиров уменьшилось вдвое, все спали; погожее утро пробивалось в щель под приспущенной шторкой. Поеживаясь от холодка, Иван Матвеич вышел с чемоданчиком на площадку: близилось Красновершье. Ночной балагур с забинтованной головой курил в тамбуре, расставив ноги для устойчивости, привалясь спиной к открытой двери. Встречный ветер выхлестывал наружу то дымок, то полу его шинели. Солдат был суровый, с огрубелым лицом, весь как из-под топора, так что можно было назвать его Перуном. Пристальными голубоватыми глазами он скользил по запустелому, дотла разоренному краю.

Мимо неслась раздольная енежская пойма, обсохшая местами и прозеленевшая сквозь нанесенный ил. Река вернулась в свое русло, и бросалось в глаза непривычное безделье сильной воды, впервые не загруженной сплавом; теплый ветер срывал пену с водяных гребешков. За поворотом открылась знакомая излучина с деревушкой на косогоре: Иван Матвеич узнал ее скорей по сердцебиенью, чем по десятку побитых изб и печных остовов.

Он спросил у солдата, сходит ли в Красновершье, и тот отвечал, что пойдет поискать питья; они сошли вместе.

Предпоследний в составе вагон их остановился, так и не дотянувшись до деревянной, наскоро сколоченной платформы. Девочка лет восьми шла по стежке внизу, вдоль насыпи, прижимая к груди стеклянную банку, такая худенькая, что и ветер дул там побережней, чтоб не расплескать ей ноши. То был клюквенный морс, прибавок к пайку военного времени. Краем глаза Иван Матвеич видел, как солдат спускался под откос.

— А ну, постой, зорька...— позвал он так тихо, что Иван Матвеич и не расслышал бы, кабы не стоял с подветренной стороны.— Никак, родная, квасок у тебя?

— На, испей,— певучим местным говором отвечала та.

Обеими руками приняв склянку, солдат отхлебнул два мужских глотка, подумал, отпить ли ему третий, обмахнул рот рукавом и, усмехнувшись девочке, жестом благословения коснулся ее головы. А Иван Матвеич понял, что он сейчас видел свой народ настолько близко, до рези в глазах, как редко достается наблюдать его в условиях мирного благополучия.

5

Свое путешествие он начал с обхода Красновершья.

Поднявшись по бывшей главной улице, он заглянул в лощинку, где сквозь корзиночный ивняк и поваленные колья с колючей проволокой стремился вешний поток, потыкал палкой старую ветлу, которую знавал еще прутиком, и долго стоял на бугре, к подозрительному недоумению сопровождавших его ребятишек. Мертвых из полей уже убрали, но и льнов еще не видать было нигде. Все выглядело иначе, чем в памяти: Томашевское — сельцо на горизонте — передвинулось ближе к Енгé, а юный, второго поколения, лесочек как бы перетащили вправо и ближе, чтоб не мешал обозрению окрестностей, в частности,— горелого немецкого танка со вскинутым стволом. Отсюда еще убедительней становилась старая истина, что и самое незыблемое на свете — те же изменчивые облака, что бежали сейчас в досиня промытом небе, но лишь формируемые иным, тугим и властным ветром времени.

Нет, это не было крушением мечты, а просто кончилась вчерашняя страничка и рядом начиналась другая. По ту

сторону лощины сверкало приземистое, уже каменной кладки строеньице колхозной фермы; солдаты из части, расположенной по соседству, ладили дранчатую кровлю на обугленные кое-где стропила. Запах сырой щепы мешался с дымком из землянок, нарытых по склону, и, хотя первозданная скудость сквозила во всем, все чудился почему-то Ивану Матвеичу мерный, такой успокоительный звук молока о бадью... Было бы вполне бессмысленно искать здесь подводу в Пашутино, да и как-то достойней представлялось пройти пешком двенадцать километров до калинова родничка. И тут Ивану Матвеичу довелось на опыте узнать непостоянство расстоянья: неодолимое в детстве, втрое сократившееся в годы службы на Пустоша́х, оно приобретало к старости прежнюю протяженность.

Частые передышки в пути сам Иван Матвеич объяснял потребностью поздороваться с родными, безлюдными теперь местами. Только за грядой кустарничка у Облога попался ему житель с лукошком, сеявший семена вразброс, и паренек вел за ним корову, запряженную в борону; по старинке Иван Матвеич пожелал им удачи, и старший ответил степенным поклоном. Километром позже, перед Пустоша́ми, донеслась голосистая девичья частушка, такое же благовестие возвращающейся жизни, как и внезапная трель жаворонка над головой. Дождевая тучка копилась в небе, но, в сущности, Иван Матвеич находился уже дома, на том древнем тракте, по которому сорок с лишним лет назад отправлялся с Демидкой на открытие мира. Где-то поблизости начиналось бывшее калиново царство. Из опасенья заплутать или порвать пальто в чащобе Иван Матвеич двинулся в обход по проселку, что и сберегло его от случайностей, спрятанных в лесных завалах.

...Если не считать веселых дней в разгаре лета, когда грозы прополаскивают июльский зной и огненным росчерко́м расписываются в небесах, или той благодатной пустоты в конце осени с опушками, одетыми в прощальную красу, как бы в намереньи разжалобить наступающую стужу, если не считать вдобавок пушистых зимних сумерек с острым, пьяней водки воздухом, процеженным сквозь игольчатые фильтры мороза, с увлекательными повестями о лисьих хитростях и волчьем нарыске по снегу, лапа в лапу, сапожок в сапожок, то нет, пожалуй, в русской

природе поры чудесней, чем эти весенние предвечерья, когда орешник почти отпылил, а береза еще робеет зеленеть, не доверяя наступившей теплыни, а лес, совсем прозрачный, без теней, словно щурится спросонья, наступить боится на оживающую под ногами мелюзгу. Раздвигая нелюдимую можжевеловую стражу, Иван Матвеич вступил в чащу; влага хлюпала под ногами в непросохших мхах, и дождик слегка покропил его в знак приветствия. Вдруг таинственной прохладой повеяло из глубины, и потом громадный, как событие, глухарь порхнул из куста, крылом задевая ветви. «Дозорный...» — с мальчишеским чувством догадался Иван Матвеич и по гортанному, еле слышному клекоту воды понял, что добрался до цели своего путешествия.

Перед ним был тот самый, заросший теперь отовсюду овражек с плоским валуном на дне. Ни цветика, но и опавшего сучка не виднелось на пологих скатах; распустившиеся сережки серой ольхи свисали в строгой тишине. Иван Матвеич с обнаженной головой спустился вниз, и оттого, что некому было поглядывать за ним в такой глуши, вслух поздоровался с Калиной и тем маленьким, сердитей ежика божеством, что жило здесь, под древней ледниковою скалою.

— Здравствуй, добрый и вечный,— сказал приезжий с опущенными руками, как перед начальством, выше какого не бывает.— Это я, Иван Вихров, если помнишь меня. Вот навестить и отчитаться к тебе пришел... здравствуй!

Коротко, потому что ни божество, ни друга не следует утомлять перечисленьем происшедших бедствий, он доложил главное за четыре минувших десятилетия, и тот, внизу, поворчал немножко, но про что именно, Иван Матвеич с непривычки разобрать не сумел. Трава была еще мокра, он присел на чемоданчик.

Приближенные деревья кругом стали рослей и старше — гвардия; гуще курчавился лишай на камне. Света пробивалось достаточно, чтобы различить, как вздымался в своей норке хрустальный бугорок и сплетались струйки бессонной воды. Нет, калинов родничок не жаловался, что потревожила война, не благодарил, что отстояли, а лишь ворклтиво рассказывал о своих недавних злоключеньях.

Оставалось напиться на весь остаток жизни той живой воды и засветло отправляться в дорогу; ночевать Иван Матвеич собирался в Пашутине. И точно под руку подсунули, прошитый лычком берестяной ковшик нашелся под навесом скалы.

— Не трожь, не тобой кладено!..— раздалось сверху, едва за ним потянулся приезжий.

Иван Матвеич вздрогнул и поднял голову. Все было недвижно кругом, меркнущий свет проливался сквозь нагие вершины... Но тревожные глаза следили за гостем из заросли, и можно было различить в ней детскую фигурку, сливавшуюся с окраской апрельского леса. Так получали объяснение неумелой посадки елочки вокруг родника, устланная щебнем дорожка перед ним и вся вообще отменная опрятность овражка, прибранного заботливой рукой. Значит, из века в век отсутствие игрушек заставляло крестьянских детей приглашать явления природы в сообщники своих забав.

— Не вижу, кто ты там. А ну, покажись! — негромко и сам в мурашках от волнения позвал Иван Матвеич.

Кусток раздвинулся, и мальчик лет десяти в лесниковском картузе до бровей появился на склоне.

— Чего здесь нужно-то? Это *мой* дом,— спросил он враждебно, подтягивая спадающие сапоги.

Но не впервые в жизни Иван Матвеич забредал в чужие владенья и оттого не устрашился стоявшего перед ним хозяина.

— А я издалека, брат, из самой Москвы. Вот закусывать собрался с дороги, а ты и подвернулся во-время... за компанию не желаешь ли? Давай тогда присаживайся,— и стал раскрывать чемоданчик с соблазнами таискиной стряпни.

Ему пришлось дать дополнительные заверенья, что по состоянию здоровья и зубов давно уже не употребляет в пищу маленьких ребят. Уловка подействовала вернее, чем приманка на еду.

— Полно брехать-то... это даже фашисты людского мяса не едят! — усмехнулся мальчик и, спустясь стороной, с показным равнодушием заглянул в глубину чемодана.

— Где ж ты их видел, фашистов?.. разве и сюда заходили?

— Сюда-то они боялись: тут лес! Они мамку мою закололи на станции, и то не ели... штыком только поковыряли и бросили,— все еще дичась, сказал мальчик и подернул плечом от удивленья перед обычаями старого мира.

Вдруг доверясь, он рассказал приезжему, как ходил по осени с мамкой, здешней лесничихой, на линию,— выбирать продовольствие из разбитого германского эшелона, и все окрестные жители тоже ходили с голодухи, и сошло на первый раз, тем и кормились всю зиму, а во второй — застигнул их патруль под проливным дождем, и в сторожку к деду мальчик вернулся один, с пустыми мешками. Нет, отец у него не на войне, так что и пособия им не положено, отца он не помнил вовсе — и суровая сиротская замкнутость явственно прозвучала в его голосе! — а дедка уже старый, сам в домовину примеряется, а фамилия ему Лисагонов. И хотя трудно верилось в подобное долголетье, Иван Матвеич догадался, что это тот, ближайшего обхода лесник Миней, шестидесятилетие которого праздновали в ночь разгрома сапегинской усадьбы.

— Да ты, я вижу, мужик бывалый...— минуту спустя и без особого сочувствия, чтоб не бередить детское горе, сказал Иван Матвеич.— Обширнейшее, брат, у тебя хозяйство. Небось, и шалашик поблизости соорудил?

— А то!..— с законной гордостью отвечал мальчик.— Я и черемушку возле посадил... кужлявенькая.

Он такую хозяйскую ласковость вложил в это местное слово, что не оставалось сомнения в его родстве с потомственным пашутинским лесником.

— Вот и я, брат, теми же, лесными делами занимаюсь. Значит, мы с тобой приятели... Как зовут-то тебя? — И, уже потрясенный, знал наперед, что услышит то редкостное, ставшее для него священным имя.

— Калинка,— тихо сказал мальчик, беря с его ладони протянутый пирожок.

Это не было чудом, ни даже удивительным совпадением, а самое обыкновенное в природе продолжение жизни. Несмотря ни на что, он и не мог прерваться, сгинуть вовсе, поток веселого, пенного, мудрого вещества. И если старый Калина запросто принимал обличье дерева или тумана, осеннего ветра и задремавшего кота, тем более ничего ему не стоило скинуться бедным крестьянским мальцом. Однако, как ни вглядывался в его лицо

Иван Матвеич, не мог отыскать ни крупицы сходства с владыкой Пустоше́й, если не считать крохотной щербинки у виска, сохранившейся и после переплава от рассеченной брови Калины. Так завершался круг вихровской деятельности, и в самом конце четко намечалось ее очередное кольцо. Казалось, весь затихший русский лес прислушивается сейчас к знаменательному знакомству, имевшему впоследствии первостепенное значение в его судьбе.

— Значит, родня мы с тобой,— протянул Иван Матвеич, поднимаясь.— Ну, веди меня к деду своему, если родня...

Погода менялась, лишай полиловел на камне, зябко ежились голые березки в просвете оврага. Солнце давно спряталось, рваный простудный туманишко выползал наружу, как всегда в эту пору, чуть небесный хозяин со двора! Маленький Калинка шел впереди, по своим приметкам узнавая повороты и лазейки в завалах. Вскоре показалась ветхая сторожка с отблесками неба в темных окнах. Внучек вбежал первым, и слышно было, пока Иван Матвеич вытирал ноги на крыльце, как он тормошит своего дедку, оповещая о приходе московского гостя. Долго зажигали огонь. Вопреки ожиданиям, не домовитым кислым тестом пахло здесь, не старой вощиной, как в калиновой избушке, а нежилой деревянной пустотой. Древняя старуха рукавом смела с пустого стола воображаемые крошки и поставила светец посреди. Сам Миней, длинный и тощий, лежал на лавке, головою в красный угол, где вместо образов висели поникшие, хвостиком вниз, ходики.

При звуке чужих шагов старик приподнялся на локтях и вглядывался в мерцающую полутьму перед собою с той напряженной пристальностью, какой обозначается наступление слепоты.

— Докладает шешнадцатого обхода лесник Лисагонов Миней...— начал было он, обращаясь к огню, который еще достигал кое-как его сознанья, и замолк, потому что докладывать ему, в сущности, было не о чем.

Он очень старался вернуть себе прежнюю выправку, и гостю пришлось применить усилие, чтобы смирить его служебное рвенье.

— Лежи, Миней, лежи. Никакой я не начальник, даже не корреспондент. Это просто Вихров забрёл к тебе

мимоходом... помнишь, был у вас такой хромой лесничий до революции?

— Ить много их скрозь нас прошло... и хромые и всякие,— сказала минеева бабка и пошикала на Калинку, чтоб не шурстел под лавкой со своей птицей, а лучше подал бы гостю сесть.

— А то еще Саксонов был у нас, Михал Петров... ужасной силы мужчина,— глухо и почтительно вставил Миней.— Он бы и теперь еще, каб медведь его не поломал.

— Чего ж ты путаешь-то, Минеюшка? — вставила бабка и суеверно покачала головой.— Это Крутилев от медведя помер, а Саксонов сам на высшую должность перевелся...

— Да не слушай ты ее... ить какая баба упрямая: Саксонов, я сказал! — заворчал Миней и поершился под лоскутным одеялом.

Пришлось Ивану Матвеичу подробнее напомнить о себе, и прежде всего об их совместных трудах по лесоустроению Пустошéй. На вопрос его, как живут после фашизма, старуха сообщила, что живут ничего, ни в чем не забытые, солдатики оправиться подмогли, а недели две назад докторица пашутинская порошки от хворости привозила, такая ласковая, пошли господь здоровья!.. да, видно, Минею собираться время пришло.

— За зиму-то уж третий раз его прихватывает. Оно и пора: давно с нашего дерева облетели листики... вот только два и осталося. Да вишь, не отпускает его кормилец-то: держит, ласковый! — Она лес имела в виду.

— Он меня дёржит...— с достоинством повторил Миней.

— Рано тебе свою зеленую державу покидать... сколько ты жизни в нее вложил,— по долгу всех провожающих в дорогу стал утешать Иван Матвеич.

— Это верно, много силов вложено, чего только за него не принято: всего было! Лес, чай, хозяин...— торжественно и важно вздохнул Миней.— Это верно, я работы легкой не искал, а век свой царем прожил, так-то! Ух, бывало, на зорьке-то...— и пожмурился, вторично обласканный солнышком какого-то особо памятного ему рассвета.— Оно можно бы и еще послужить, да беда, вишь глаза отказывают. Без света фонарь-то вроде и ни к чему. Вот лежу,

а всякую хворостинку чую. Слышь, в Сватковской роще дерево рубят...— И, выпростав руку из-под одеяла, поднятым перстом пригласил ко вниманию, но, как ни вслушивался Иван Матвеич, ничего не разобрал, кроме потрескиванья огня в плошке.

— То за Скланью рубят, дед,— для порядка поправила старуха.

— Ведь эка баба несговорчивая... в Сватковской, я сказал! — раздражительно заскрипел Миней.— Не иначе, как кленок свалили... там всё больше клен у нас.

Довольно толково он распространился, на какие породы теперь спрос пойдет по крестьянскому делу; клен на топорища да шершебки, а осинка на крупномерную деревенскую посуду, а ильмовое дерево, *лемнек* по-тамошнему, на *устужны,* чем крепится *заголовник* полоза с *копылами* русских саней. Всякой мелочью приходилось обзаводиться заново в разоренном краю.

Попозже бабка согрела воды в казанке, а гость разложил на столе свои гостинцы, достал и водку, сунутую Таиской в чемодан на случай простуды. Заслышав приветный звон на столе, Миней оживился... и тут Иван Матвеич попытался допросить старика о лесных происшествиях, а главным образом, почему столь плохо хваленого-то кормильца берегли и что за хозяин безрукий сидел последние годы в Пашутинском лесничестве,— такое расстройство допустил, что знаменитые каравайковские кварталы, где раньше большая старая елка стояла, восьмидесятилетняя, ныне на три четверти осинкой да дровяной березкой затянулись... да и те местами вповалку полегли!

Не без горечи и чтоб душой не кривить, Иван Матвеич напрямки перечислил все те непростительные для лесника упущенья, каких вдоволь нагляделся по дороге,— от заросших просек и заиленных канав до плешин беспорядочных рубок.

— Мне таиться нечего, я так на это скажу,— с частыми остановками отвечал Миней на его упреки.— Вот, сколько живу, испокон веков всё в жизни мы наспех делали. Оно и верно, и дорога-то наша дальняя, да и лошаденка не махонька. Забежит головой вперед,— значит, хвост настегивай, чтоб не оторвался... Бывало, отведут делянку, знай — пляши, топор, гони, не разговаривай. Тут-то все злые люди дураками и прикинулись: брали и

неклейменое. Строительства не успели покончить, а уж война навернулася. Опять же серчать не приходится, а то всем нам от злодеев *секир-башка*. Скажем, выходит приказ лес на дорогах кучами складать, не обрубамши, а чуть с фронта напирать зачнут — запалить их к шутовой матери. И клали его навзничь, кормильца-то, и возжигали... кровью сердца заместо спичек. У нас, в России, лес за все в ответе, так-то!

Утомясь, он замолчал, и тут по свистящей одышке, по восковому отсвету на скулах понял Иван Матвеич, как плохи минеевы дела.

— Ладно, отдохни, Миней, растревожил я гебя.

— Теперь уж ничего, можно...— продолжал обходчик, передохнув.— Что было нами постановлено, то сделано: пробилися! Наша совесть чистая, хлебушка зря не кушали, с грудными дитенками в бой ходили, так-то. Теперь их черед впрягаться да о кормильце думать.— Руководясь безошибочным чутьем, он покосился в сторону Калинки, который сладко спал, сложив голову на руки, калачиком свернутые на столе.

Еще дотлевало вечернее облачко в небесах... но рано ложатся в лесу. Иван Матвеич отвел мальчика на полати за печку и улыбнулся на себя со стороны: с течением времени у него образовалась известная сноровка в обращеньи с такими ребятами. Потянуло наружу; накинув пальто, он с полчаса просидел на крыльце в раздумьях такого рода, что при иных семейных обстоятельствах не подбирал бы чужих сироток на житейской дороге, сидел бы у себя за столом сам-двенадцать, в окруженьи целой обоймы сынов, дюжих и бравых лесников. И он разогнал бы их по всем лесам страны, и каждую пятилетку они слетались бы к нему с отчетом, а уж он бы и жучил их за каждую лесную промашку. И еще обдумывал теперь Иван Матвеич, как ему без комендантского пропуска провезти своего нового питомца в Москву.

Волглый вешний туман окутывал Пустошá, и было странно слышать в такую пору глухие, без зарниц, раскаты грозы, похожие на отдаленные подвижки почвы: где-то далеко, откуда ветер, добивали еще одну окруженную вражескую армию... В соседней каморке громоздился покатый сундук, а от покойной лесничихи нашелся большой пук кудели — сунуть в изголовье. Если забыть

про закоченевшие к рассвету ноги и пренебречь кое-какими кусачими беспокойствами ночевки на запущенном кордоне, давно Ивану Матвеичу не спалось так сытно... Его разбудил надсадный вой мотора за стеной. Трудно было разглядеть сквозь пыльное, с потеками дождя окошко, что̀ за женщина с санитарной сумкой через плечо ждет под елью, когда выберется из глубокой колеи буксующий грузовик. Попавший на глаза Калинка пояснил, что это пашутинская докторица заезжала проведать дедку. Иван Матвеич успел выскочить, когда женщина со ступицы колеса поднималась в машину.

Елена Ивановна обернулась не раньше, чем сообразила, кто еще на земле, если исключить чудо, мог позвать ее давним именем детства:

— Ах, это ты, Иван?.. как же ты напугал меня! — держась за сердце, сказала она, а Ивану Матвеичу почудилось в ее голосе маленькое разочарованье.

6

Он вглядывался в нее, ища ответа на вопрос, которого вслух задать не смел, но, значит, никаких особых перемен не произошло с нею за годы разлуки. Елена Ивановна стояла перед ним такая же молодая... только построже, только похудевшая чуть-чуть и даже, как сперва показалось Ивану Матвеичу, в том же шевиотовом, с накладными карманами пальто, купленном года через три после переезда в Москву. Конечно, оно пообтрепалось на обшлагах, а на плечах изредилось и приобрело неопределенный цвет крестьянского армяка, привычного к любому ненастью. Но самой ее почти не коснулись пролетевшие годы... только неминуемые морщинки пролегли у рта и немножко возле глаз, впрочем — как у большинства деревенских жителей, от привычки жмуриться в широте слепительных горизонтов. Но как ни вглядывался Иван Матвеич в ее суховатые, совсем теперь успокоенные черты, не мог различить за ними трогательного детского личика, на индейский образец раскрашенного акварелью. Да и более поздний, московского периода, образ несколько отускнел, пожалуй... но это следовало отнести за счет убийственно пасмурного освещенья.

Косой холодный дождик, предпоследний перед распусканьем зелени, заладил на весь день.

— Я тоже очень рада повидать тебя — сдержанно заговорила Елена Ивановна, высвобождая свои, мокрые, из его цепких рук: кроме мальчика на крыльце, еще две пары чужих глаз следили за ними из кабинки.— Вот уж не гадала встретиться с тобою в такой глуши, Иван!

С полиных слов Елене Ивановне было известно о его возможном приезде, а в конторе лесничества лежали две срочные телеграммы на имя Вихрова, вдогонку посланные из Москвы, но она не предполагала, что встреча произойдет мельком, на ходу. Все же, торопясь сказать ему хоть что-нибудь приятное, она помянула мельком, что все утро она терялась с Полей в догадках, где мог Вихров запропаститься в пути.

— Поля еще здесь? — опустив глаза, спросил Иван Матвеич.

— Тебе повезло, они все трое у меня пока. Такие славные ребята... жаль, завтра утром разъезжаются по своим частям...— И стала надевать старенькие вязаные рукавички.— Ну, рада повидать тебя. Теперь извини, Иван: машина чужая, не могу задерживаться больше.

— Мне хотелось поговорить с тобой, Леночка!

— Но я полагала, ты забежишь к нам вечерком... с ребятами проститься.

— Видишь ли, это должен быть длинный разговор... желательно наедине. Не бойся, пожалуйста, я не собираюсь терзать тебя неуместными признаньями или запоздалыми сожаленьями...— не подымая глаз, поторопился он, опасаясь застать гримаску досады в ее лице.

Нет, теперь его бывшая жена не боялась ничего на свете: просто ей недоставало решимости к прежним причиненным Ивану Матвеичу огорчениям присоединить еще одно. Кстати, дверца приоткрылась, и безразличный женский голос напомнил Елене Ивановне, что до обеда им предстоит заехать в Полушубово и к вечеру вернуть машину в Лошкарев.

— Не знаю, что и сказать тебе, Иван...— все еще колеблясь, сказала Елена Ивановна.— Впрочем, тебе все равно идти в Пашутино, а тут мины кругом... как раз я и спешу в Полушубово, там на-днях нарвалась несчастная одна... вот везу военного врача к ней. Война добирает свои

жертвы. Если у тебя нет других дел и вымокнуть согласен, мы могли бы поговорить в дороге. Но в таком случае поторопись: я на работе.

Нескольких мгновений Ивану Матвеичу хватило надеть калоши, сорвать пальто с сундука, крикнуть Калинке, не сводившему с него глаз, чтобы ждал его завтра утром для совместного отъезда в Москву... Поездка складывалась с возможными по тому времени удобствами: дощатый, как раз на двоих, тарный ящик был положен поперек кузова, тюк пакли позади мог сойти за спинку дивана. Там же помещалась бочка керосина, подпертая поленьями и на растяжках укрепленная посреди.

Елена Ивановна подвинулась, делясь местом, и протянула край жесткого от влаги бывалого брезента.

— Я-то привычная тут, а тебе, городскому, советую прикрыться с головой.

— Это ты напрасно меня презираешь... я еще хоть куда! — засмеялся Иван Матвеич.

— Смотри, Иван, как бы не запомнился тебе этот дождик.

Машина выбиралась на второй скорости по зыбкой гати военного времени, хлюпанье лесин сливалось с переплеском в бочке. Из щелей бревенчатого настила поминутно выбивалась вешняя вода и ливнем низвергалась в кузов; волей-неволей пассажирам пришлось натянуть на плечи концы брезента, что должно было бы содействовать их сближенью... Разговор начался с расспросов о детях; оказалось, Поля одновременно с Сережей поступила на излеченье в тот же медсанбат, куда сутками позже, в состояньи шока, был доставлен и Родион, которого сама Елена Ивановна знала лишь понаслышке. «Мы всё считаем их детьми, не замечая, что по опыту военного времени они порою старше нас...». Выяснилось также из ее слов, что с конца зимы медсанбат размещался в пашутинской больнице и прилегающем поселке, но неделю назад перекатился дальше, на запад, вслед за наступающими войсками, оставив на месте небольшую группу с десятком раненых. После возвращения из партизанского отряда для Елены Ивановны также нашлась там внештатная работа.

— Со мною едет из нашего медсанбата врач, отличная женщина... она согласилась посмотреть моих подопечных

перед отъездом. Знаешь, этот Миней сделал много хорошего для меня...

— За время войны? — удивился Иван Матвеич.

— Нет, еще до замужества. Когда мне бывало нехорошо, я пробиралась из усадьбы к нему в сторожку, и он прятал меня... от самой себя. Кажется, этот простой лесной человек лучше всех понимал мои тогдашние настроенья...

— Но теперь-то счастлива ты по крайней мере?

Она помялась:

— Конечно, старую болезнь свою я залечила... признанный член общества теперь. И если только счастье происходит от сознанья своей необходимости для людей... то, пожалуй, да.

Ответ ее естественно будил заглохшие, было, надежды у Ивана Матвеича; он вопросительно, украдкой покосился на Елену Ивановну... но, видимо, он ошибался. В глазах у этой женщины теплился теперь ровный, не омраченный свет того полного бесстрашия, что, пожалуй, происходит лишь от близости к вечным родникам жизни или от постоянного общенья с простыми, чистыми людьми. Перемена эта в корне исключала и жалость и смешные стариковские намеренья, привезенные из Москвы. Разговор прервался на срок, необходимый для примиренья с этим; потом Елена Ивановна, в свою очередь, спросила о столице, об институте, о Таиске.

Поездка выдалась длинная, времени оказалось вдоволь: Иван Матвеич обстоятельно рассказал, что за последние годы Москва в особенности похорошела, так что если бы, к слову, Леночка собралась к ним хотя бы на недельную побывку, то вряд ли узнала бы ее... однако не потому не узнала бы, что похорошела, а оттого, что Москва грозная и раскаленная сейчас, с баррикадами и надолбами в улицах, с мешками песка у витрин, воительница с опущенным забралом... но как раз это и прибавляет ей вдвое прелести в глазах тех, кто красоту жизни полагает в мужестве и движеньи к большой исторической цели. Несмотря на суровую обстановку, Лесохозяйственный институт на-днях возвращается из Средней Азии, причем ходят слухи о крупнейших, государственного масштаба, лесных мероприятиях в ближайшие годы; относительно учебного сезона ничего не слыхать пока. Что же касается

Таиски, она шлет поклоны Елене Ивановне, повидаться хотела бы, тоскует без дела, рвалась на работу поступать, но он ее не пустил.

— Ведь нас только двое теперь. Ничего, вот вернусь с прибавком: мальца тут одного отыскал, сиротку... хватит ей тогда забот. И в самом деле, Леночка, приезжай отдохнуть,— без заметного нажима, но почти с мольбой уговаривал Иван Матвеич.— Представляю себе: вернешься с работы — печь холодная, и суп вчерашний надо разогревать. А у нас центральное отопление, хорошо... а Таиску-то как обрадуешь!

— Она хорошая...— мысленно поздоровалась с нею Елена Ивановна,— и счету нет, сколько я раз за бумагу садилась, написать ей. Да сперва думалось, что полегче у тебя пройдет наш разрыв без моих писем, а потом вроде бы и не к чему стало напоминать о себе. Случилось, я ту неделю у Павла Арефьича в Лошкареве гостила, когда ты Полю навестить приезжал... в соседней комнате сидела, пока ты чай пил. Из тех же соображений и не вышла я к тебе...

— Да, я знал тогда, сердцем узнал, что ты рядом,— сказал Иван Матвеич и, отвернувшись, стал глядеть на молодые, в правильных шеренгах сосны его давней собственной посадки.

То была наглядная мерка протекшего времени: давно и сами они стали матерями, вот уж и детки их в иссиня-зеленых распашонках выбегали на дорогу. Им было неплохо здесь, на старой вырубке: нежились под дождем и, казалось от движенья автомашины, медленно поворачивались на корню, чтоб промыло каждую хвоинку. Немудрено, что война в оба захода пощадила их чудесную юность... Вряд ли Иван Матвеич и сам признал бы это место, если бы не речка впереди, кроткая Веселуха, с дрянным мостком, памятным ему еще с похорон отца. Этим путем в грозовый, с испаринкой полдень отвозили Матвея Вихрова на погост, и Демидка все выпрашивал хоть до речки понести угодника, пока не обрушился на шествие тот сверкающий, добрый проливень детства... Так остро было наваждение памяти, что ноздри пощекотал вкусный запах мокрого ластика, из которого шита была тогдашняя рубашка, иванова обновка.

— Возможно, я и навещу вас... к осени, не теперь,—

говорила между тем Елена Ивановна.— Я и сама соскучилась по Москве. О, конечно, я жестоко с тобой поступила, ах, Иван, Иван!..— и неожиданный влажный блеск проискрился в глазу,— но пойми, в ту пору ведь я за полгода сгорела бы у тебя... просто потаяла бы, как вон тот запоздалый снежок под мостком. Знаешь, я как капля была, оторвавшаяся от моря... Но где ни носится она, как ни бегствует, все равно к нему вернется, даже с риском разбиться при паденьи с высоты. И тем глубже вина моя перед тобой, что не шибко верила я в наше счастье.

— Я ведь и не обвиняю тебя, Леночка, но дай мне удостовериться по крайней мере, что теперь хорошо тебе.

Видимо, ему хотелось доказательств перемены к лучшему. Оттого ли, что нечего ей было вспоминать, Елена Ивановна и не любила предаваться воспоминаниям. Она сделала вид, что не расслышала вопроса...

— О, как же я моря своего страшилась, Иван... а вместе с тем и душевного покоя хотелось, как куска хлеба с голоду. А все же добилась...

— Но на это ушла вся жизнь,— вздохнул Иван Матвеич.— Дай-ка лучше я тебе ноги-то брезентом закутаю... чулки, я вижу, у тебя неважные, а ехать еще далеко.

Дождик к тому времени унялся, но боковой ветер из открытого поля чуть не опрокидывал машину. Занятая своими мыслями, Елена Ивановна подчинилась без возражений.

— Что же, за *такое* — жизнь совсем не дорогая цена. Но ведь и твоя долька вины есть в твоих несчастьях, Иван. Может, я и свыклась бы у тебя, кабы ты намертво уставать меня обучил. Счастье не через глаза в человека входит, а только через беспокойные руки его... и смерть, если ты обращал внимание, тоже с лености рук настает. Как у Минея-то они отбелились: ненужные стали.

— Нет, это все неверно... это ты сейчас придумала,— горячо возразил Иван Матвеич и прежним именем не решился ее назвать из суеверного опасения потерять ее навсегда.— Просто я полюбил тебя на всю жизнь до беспамятства, Елена Ивановна, таким образом... и главное, неужели же я безответно тебя полюбил?

Оба знали, что скоро повторится их свидание, и потому разговор, ради которого Иван Матвеич только и ехал на

Енгу́, больше не возобновлялся. Вдруг в развитие своих мыслей Елена Ивановна благодарно и тепло спросила о Валерии, а Иван Матвеич с гордостью за друга описал их последнюю встречу, не утаив и загадочных, предшествовавших ей обстоятельств. Здесь-то и нашлось место для последней новости, достойной краткого упоминания,— о всколыхнувшем лесную общественность решении Грацианского самовольно, в расцвете творческих сил, уйти из жизни, что он успешно и выполнил месяц назад посредством речной проруби.

— Правда,— заключил Иван Матвеич,— такой несколько простонародный способ самоубийства не очень вяжется с его балованой натурой... ибо *это* долго и холодно! но зато при этом не остается следов и оснований для догадок. Мы же с Валерием вообще сомневаемся, не оставил ли он у проруби шапку и палку нашим простакам, в намерении еще раз обвести их вкруг пальца!..

Заодно Иван Матвеич высказал свои догадки относительно нового назначения Валерия, с каким он улетел на Дальний Восток. «Эх, пошлю я ему в очередной книге нашей весны клочок, как когда-то горстку русского снега посылал!»

...На протяжении дня они побывали не в одной деревне: Елене Ивановне хотелось по возможности использовать чужую автомашину и опыт старшего товарища, прежде чем останется в опустевшей пашутинской больничке за хозяйку до приезда нового врача. Иван Матвеич славно проветрился в ту поездку, причем открыл неизвестное ему дотоле качество его народа: чем больше горя, тем меньше слез. Безжалобная решимость светилась в крестьянских лицах и еще, показалось ему, готовность любой ценой прорваться к вечерней, негаснущей полоске неба, какою в мечте народной обозначается мирная, трудовая тишина грядущего века.

Надо думать, эти люди видели в Елене Ивановне нечто роднее, чем только своего районного депутата или местную фельдшерицу. Из того, как встречали ее и долго, старые и малые, провожали глазами, как расспрашивали ее о дочке... и одна все совала ей в карман тройку яиц, из самых первых на этой горькой, едва освобожденной земле, Иван Матвеич мог вывести заключенье, что, пожалуй, в жизни Елена Ивановна добилась большего при-

знанья, чем сам он со своими толстыми книжками о русском лесе.

— Что это с тобой? — отправляясь в обратный путь, пошутила Елена Ивановна.— Никак, соринка в глаз попала?

— Все гораздо проще, Елена Ивановна: разволновался, глядя на моих земляков. Обычное следствие некоторых возрастных изменений...— честно признался он и вот уже порадовался, что хоть и не похожа на себя, прежнюю, эта женщина, а все такая же легкая, статная и молодая.

Километра три оставалось до дому. Погода совсем разветрилась, ясная закраина неба на западе предвещала на завтра погожий денек. В Пашутино приехали на заходе солнца. Добрая примета: молодой долгоногий петушок в ситцевых шароварах перебежал дорогу. Иван Матвеич прочел московские телеграммы. Первая запрашивала его согласия на пост директора Лесохозяйственного института, остальные две требовали безотлагательного выезда в Москву на предварительное пока, как можно было понять между строк, важнейшее в истории русского леса совещание.

...Дело происходило в просторной, залитой закатом, чуть не вчера восстановленной конторе лесничества, временно приспособленной под жилье. Рыжий бородач с руками по локоть в глине на подмостках складывал печь, торопясь дотемна вывести дымоход. Заходящее солнце, отразясь в луже на полу, струйчато подсвечивало ему на свежетесовом потолке. Пока Елена Ивановна бегала по делам хозяйства, Иван Матвеич развесил на стене мокрую одежду, одновременно прислушиваясь к молодым голосам из соседней, за ситцевой занавеской комнатки, откуда струилось обжитое тепло.

— Что ты, сестра, все на Родиона нападаешь... он у тебя завял совсем! — И можно было узнать по голосу Сережу.

— Ничего, это ему по заслугам! Однажды в Москве я еще не так на него обозлилась,— смеялась Поля, будто и не война, будто уже позади великая победа.— Мы с покойной Варей в кино зашли: там в хронике фронтовой концерт показывали. Множество солдат сидело на траве, и какой-то приезжий артист пел... очень смешно пел,

словно горло доктору показывал. И вот этот самый солдат, Родион, тоже сидел под деревом, ближе всех и спиной ко мне... строгал какую-то щепочку. Но, представь, как ни глядела я, какую гипнотическую силу в глаза ни вкладывала, так и не оглянулся, бесчувственный!

— Так ведь на спине-то нету глаз. Ты бы крикнула, я бы непременно обернулся к тебе,— пробасил третий, и голос его был незнаком Ивану Матвеичу.

В ту минуту Елена Ивановна сзади подошла с алюминиевыми тарелками и походным, дымящимся котелком.

— Ты, конечно, пообедаешь с нами, Иван Матвеич? У нас сегодня пир прощальный...

Иван Матвеич придержал ее за руку:

— Послушай их смех: насколько же молодость и жизнь сильнее разрушения и смерти! Кстати, кто этот, третий, там? Неужели...— и посмотрел на Елену Ивановну.

— О, ты с годами ужасно проницательный стал! — засмеялась та.— Иди уж, здоровайся, знакомься...

Тогда, волнуясь и покашливая, Иван Матвеич переступил порог, напустив на лицо то неопределенно-замысловатое выражение, с каким и надлежит всяким там старичкам появляться среди молодежи.

Январь 1950 — декабрь 1953

ОГЛАВЛЕНИЕ

РУССКИЙ ЛЕС

Редактор *Н. Крюков*

Переплет и титул
художника *А. Радищева*

Технический редактор *Ж. Примак*

Корректор *А. Сабадаш*

*

Сдано в набор 2/II 1955 г. Подписано в печать 15/IV 1955 г. А 01859. Бум. 84 X 108 1/32. 47 1/2 печ. л. = = 38,95 усл. печ. л. 39,8 уч.-изд. л. Тираж 75000. Зак. 88. Цена 9 р. 50 к.

Гослитиздат.
Москва, Ново-Басманная, 19.

3-я типография
«Красный пролетарий»
Главполиграфпрома
Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.

9 р. 50 к.

Гослитиздат
1955